



ГЕЛЬВЕЦИЙ

СОЧИНЕНИЯ





ФИЛОСОФСКОЕ **Н**АСЛЕДИЕ

Клод Адриан ГЕЛЬВЕЦИЙ

СОЧИНЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ 2

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ

« МЫСЛЬ »

МОСКВА — 1974

1 Ф
Г 32

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Составление и общая редакция
Х. Н. МОМДЖЯНА

Г $\frac{10501-059}{004(01)-74}$ П. и.

© Издательство «Мысль». 1974

О ЧЕЛОВЕКЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Составить этот труд меня побудила любовь к людям и к истине. Пусть только они узнают себя, пусть они приобретут ясные идеи о нравственности — и они станут счастливыми и добродетельными.

Намерения мои не могут внушать сомнений. Если бы я выпустил эту книгу при жизни, то я подвергся бы преследованиям и не приобрел бы ни богатств, ни новых званий.

Я не отказываюсь от принципов, установленных мною в книге «Об уме»: они одни кажутся мне разумными, они после издания моей книги были признаны всеми просвещенными людьми.

Эти принципы расширены и углублены в предлагаемом труде по сравнению с книгой «Об уме». Создание этого труда пробудило во мне ряд мыслей. Те, которые менее тесно связаны с исследуемыми мною вопросами, помещены в примечаниях, находящихся в конце каждого раздела. Я сохранил в тексте лишь те из них, которые могут либо пояснить его, либо ответить на те возражения, коих я не мог опровергнуть, не удлиняя и не затягивая хода изложения.

Особенно много этих примечаний во втором разделе, ибо излагаемые в нем принципы, будучи наиболее спорными, требовали собирания большего числа доказательств.

Предлагая этот труд читающей публике, я замечу, что какое-нибудь произведение кажется ей негодным либо потому, что автор не дает себе необходимого труда, чтобы хорошо его написать, либо потому, что у него мало ума, либо, наконец, потому, что он нечестен с самим собой. В этом последнем отношении я ни в чем не могу упрекнуть себя. В настоящее время истину можно найти

только в запрещенных книгах, в остальных — лгут. Большинство авторов ведут себя в своих сочинениях так, как светские люди за беседой: занятые только тем, чтобы нравиться, они мало заботятся о том, как достигнуть этого — ложью или истиной.

Всякий писатель, ищущий милости власть имущих и мимолетного признания, должен усвоить себе их взгляды. Он должен держаться господствующего мнения, не быть ни в чем самим собой, а во всем подчиняться воле других и писать, лишь следуя их мнению. Этим объясняется отсутствие оригинальности в большинстве сочинений. Оригинальные книги разбросаны там и сям в ночи времен, как солнца в пустынях мирового пространства, чтобы осветить его мрак. Эти книги составляют эпоху в истории человеческого духа и с помощью их принципов приходят к новым открытиям.

Я не стану восхвалять предлагаемый труд, но я уверяю читающую публику, что, оставаясь всегда честным с самим собой, я не сказал ничего такого, чего я не считал бы истинным, и не написал ничего такого, чего я не думал бы.

Возможно, что я отнесся еще слишком бережно к некоторым предрассудкам; я обращался с ними, как молодой человек со старой женщиной, по отношению к которой он не ведет себя ни грубо, ни льстиво. Дань своего первого уважения я принес только истине, и это уважение сообщит, несомненно, некоторую ценность моей книге. Любовь к истине — это наиболее благоприятное условие для нахождения ее.

Я старался излагать свои мысли ясно и, сочиняя этот труд, не искал милости вельмож. Если эта книга плоха, то, быть может, потому, что я *глуп*, но не потому, что я *плут*. Немного найдется других авторов, которые могут сказать о себе то же самое.

Книга эта покажется смелой робким людям. В жизни каждого народа бывают такие моменты, когда слово *благоразумный* является синонимом слова *трус* и когда благонамеренным считают лишь раболепно написанное произведение.

Я хотел выпустить эту книгу под псевдонимом, и ее текст может заставить этому поверить. По моему мнению, это было единственным способом избежать преследований, не переставая быть полезным своим соотечественникам. Но за время, ушедшее на создание этого труда, бедствия

моих сограждан и характер управления ими изменили мое намерение. Болезнь, для борьбы с которой я рассчитывал дать известное лекарство, стала неслепимой. Я потерял надежду быть им полезным, и я откладываю издание этой книги на время после моей смерти.

Мое отечество подпало в конце концов под иго деспотизма, и отныне оно не будет уже порождать знаменитых писателей. Деспотизм обладает тем свойством, что он подавляет мысль в умах и добродетель в душах.

Этот народ уже не сумеет снова прославить имя французов. Эта опустившаяся нация есть теперь предмет презрения для всей Европы. Никакой спасительный кризис не вернет ей свободы. Она погибнет от истощения. Единственным средством против ее бедствий является ее завоевание, и только случай и обстоятельства могут решить, насколько действительно такое средство.

У каждого народа бывают такие моменты, когда граждане, не зная, чью сторону принять, и колеблясь между хорошим и дурным правительствами, испытывают жажду просвещения, когда умы, так сказать разрыхленные и подготовленные, представляют почву, легко впитывающую в себя росу истины. Пусть в такой момент появится хорошее произведение — оно сможет произвести благодатные реформы. Но достаточно упустить этот момент, как граждане, сделавшись уже нечувствительными к зову славы, непреодолимо будут увлечены формой своего правления на путь невежества и отупения. Тогда умы представляют собой как бы затвердевшую почву. Вода истины падает на нее, течет по ней, но не оплодотворяет ее. Таково состояние Франции.

С каждым днем здесь все меньше будут придавать значения просвещению, ибо с каждым днем оно будет здесь становиться все менее полезным: оно будет просвещать французов относительно пагубности деспотизма, не доставляя им средств избавиться от него.

Говорят, что счастье, подобно наукам, странствует по земле. В настоящее время оно направляет свой бег к северу. Великие государи призывают туда все даровитое, а гений — счастье.

Нет теперь более разительного контраста, чем противоположность между югом и севером Европы: небо юга все более и более завлакивается туманами суеверия и азиатского деспотизма. Небо севера с каждым днем все более проясняется и очищается. Екатерина II, Фридрих I*

желают стать любимцами человечества; они понимают цену истины; они побуждают говорить ее; они ценят также и усилия, предпринимаемые, чтобы ее открыть. Таким государям я посвящаю этот труд; они должны просветить мир.

Солнце юга гаснет, а северное сияние сверкает все более ярким светом. С севера исходят теперь лучи, проникающие даже в Австрию. В последней все готовится к великим переменам. Заботы императора, направленные на то, чтобы облегчить бремя налогов и дисциплинировать свои армии, доказывают, что он хочет приобрести любовь своих подданных, сделать их счастливыми внутри страны и внушающими к себе почтение извне. Его уважение к прусскому королю предвещало еще в ранней его юности то, кем он некогда станет. Уважают лишь себе подобных.

ГЛАВА I

О РАЗЛИЧНЫХ ТОЧКАХ ЗРЕНИЯ, С КОТОРЫХ МОЖНО РАССМАТРИВАТЬ ЧЕЛОВЕКА; О ТОМ ВЛИЯНИИ, КАКОЕ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ НА НЕГО ВОСПИТАНИЕ

Наука о человеке, взятая во всей своей широте, необъятна; изучение ее — дело долгое и трудное. Человек есть модель, выставленная для обозрения ее различными художниками: каждый рассматривает некоторые стороны ее, никто еще не охватил ее в целом.

Живописец и музыкант знают человека, но лишь в отношении действия красок и звуков на зрение и слух.

Корнель, Расин и Вольтер изучают человека, но лишь в отношении впечатлений, которые производят на него величественные, нежные, сострадательные, безумные и т. д. поступки.

Мольер и Лафонтен рассматривали людей с других точек зрения.

Когда философ изучает людей, его предмет есть их благо. Это благо зависит как от законов, при которых они живут, так и от воспитания, которое они получают.

Усовершенствование этих законов и этого воспитания предполагает предварительное знание сердца человеческого и ума, знание их различных действий, наконец, препятствий, стоящих на пути прогресса наук, нравственности, политики и воспитания.

Без знания этого — какими способами сделать людей лучшими и более счастливыми! Поэтому философ должен добраться до наиболее простого первоисточника их умственных способностей и их страстей. Только этот первоисточник может открыть ему степень совершенства, которой могут достигнуть их законы и образование, и обнаружить, каково могущество над ними воспитания.

В человеке я рассматривал ум, добродетель и дарование как продукт воспитания. Эта идея, изложенная в книге «Об уме», и сейчас кажется мне истинной, но, может быть, она не была в ней достаточным образом доказана. Было признано, что воспитание имеет большее влияние на ум, на характер людей и народов, чем это думали; это все, в чем со мной согласились.

В предлагаемом труде я начну с рассмотрения этого взгляда. Чтобы воспитать человека, просветить его и сделать его счастливым, надо знать, к какому воспитанию и к какому счастью он способен.

Прежде чем заняться предметом по существу, я скажу несколько слов:

1. О важном значении этого вопроса.
2. О ложной науке, которой продолжают еще давать название воспитания.
3. О сухости этого предмета и о трудностях в его рассмотрении.

ГЛАВА II

О ВАЖНОМ ЗНАЧЕНИИ ЭТОГО ВОПРОСА

Если верно то, что таланты и добродетели какого-нибудь народа обеспечивают его могущество и счастье, то нет вопроса более важного, чем нижеследующий:

Следствием чего являются таланты и добродетели каждого индивида — его организации или полученного им образования?

Я придерживаюсь этого последнего мнения и постараюсь доказать здесь то, что могло быть выдвинуто лишь в предварительной форме в книге «Об уме».

Если бы я доказал, что человек в действительности есть лишь продукт своего воспитания, то я, несомненно, открыл бы народам великую истину. Они знали бы тогда, что в их руках находится орудие их величия и их счастья и что для того, чтобы быть счастливыми и могущественными, им остается только усовершенствовать науку о воспитании.

Каким образом можно узнать, действительно ли человек является продуктом полученного им образования? Путем тщательного исследования данного вопроса. Даже если бы это исследование и не дало окончательного ответа, то все же его нужно было бы предпринимать: оно принесло бы пользу, побудив нас изучить самих себя.

Те, кто управляет людьми, часто не знают их. Между тем, чтобы управлять движениями человеческой куклы, надо знать нити, приводящие ее в движение. Поскольку этого не знают, не удивительно, что ее движения часто противоречат тому, чего ждет законодатель.

Произведение, в котором рассматривается человек, если даже в него и вкралось несколько ошибок, все же ценное произведение.

Как много света могло бы пролить знание человека на разные отрасли государственного управления!

Искусство наездника заключается в знании всего того, что он может заставить выполнить дрессируемое им животное, а искусство министра — в знании всего того, что он может заставить выполнить управляемые им народы.

Наука о человеке¹ составляет часть науки о государственном управлении. Министр должен прибавить к этому знание дел². Только тогда он может издавать хорошие законы.

Пусть философы проникают все дальше и дальше в глубины человеческого сердца, пусть они отыскивают здесь все принципы его движения, и пусть министр, пользуясь их открытиями, найдет им в зависимости от времени и обстоятельств удачное применение.

Если считать знание о человеке абсолютно необходимым для законодателя, то нет ничего более важного, чем исследование проблемы, которая его предполагает.

Если бы люди, лично равнодушные к этому вопросу, судили о нем лишь в связи с общественными интересами, то они поняли бы, что из всех препятствий к усовершенствованию воспитания самым большим является взгляд на таланты и добродетели как на результат человеческой организации. Нет мнения, которое более благоприятствовало бы лени и небрежному отношению к своим обязанностям со стороны наставников. Если то, как мы устроены, почти целиком определяет то, кем мы являемся, на каком же основании можно упрекать учителя за невежество и тупость его учеников? Почему, скажет он, приписывать образованию грехи природы? Что можно ответить ему на это? Если признать некоторый принцип, то как отрицать непосредственно вытекающие из него следствия?

Наоборот, если будет доказано, что таланты и добродетели являются чем-то приобретенным, то мы этим пробудим рвение названного учителя и предотвратим его

пребрежное отношение к своим обязанностям. Он будет более тщательно подавлять пороки и совершенствовать добродетели своих учеников.

Ум, более пылко стремящийся к усовершенствованию средств воспитания, заметит, быть может, в множестве этих мелочей, требующих забот, которые ныне считаются бесполезными, скрытые зародыши наших пороков, наших добродетелей, наших талантов и нашей глупости. Кто знает, до чего сможет тогда ум довести свои открытия?!³ Одно достоверно, что в настоящее время мы не знаем истинных принципов воспитания и что до сих пор оно сводилось почти исключительно к изучению нескольких ложных наук, которым стоит предпочесть невежество.

ГЛАВА III

О ЛОЖНОЙ НАУКЕ. ИЛИ О БЛАГОПРИОБРЕТЕННОМ НЕВЕЖЕСТВЕ

Человек рождается невежественным; он не рождается глупым и не без труда даже становится таковым. Нужны особое умение и метод, чтобы сделать человека глупым и суметь заглушить в нем даже природные способности; нужно, чтобы воспитание забило нашу голову разными заблуждениями и чтобы усиленное чтение книг умножило число наших предрассудков.

Если глупость у цивилизованных народов — обычный удел людей, то это результат губительного образования; это объясняется тем, что люди у них воспитываются лжеучеными, что у них читают глупые книги. Среди книг, как и среди людей, можно попасть в хорошее и в дурное общество. Хорошая книга — это почти повсюду запрещенная книга⁴. Разум требует опубликования ее, но этому противится изуверство, оно желает править миром и заинтересовано поэтому в распространении глупости. Оно ставит себе целью сделать людей слепыми, заставляет их блуждать в лабиринте ложной науки. Менее опасно, когда человек невежествен. Невежество стоит посередине между истинным и ложным знанием. Невежда настолько же выше лжеученого, насколько он ниже умного человека. Изувер желает, чтобы люди дошли до нелепостей; он боится просвещения. Кому же поручает он задачу довести их до скотского состояния? Схоластам. Из всех сынов Адама эти — самые тупые и горделивые⁵. «Чистый схо-

ласт (согласно Рабле) занимает между людьми место, которое между животными занимает тот, кто не возделывает земли, подобно волу, не носит на себе тяжести, подобно мулу, не лает на вора, подобно собаке, но кто, подобно обезьяне, грязнит все, ломает все, кусает прохожего и вредит всем».

Схоласт, богатый словами, слаб в рассуждениях. Поэтому он и воспитывает людей тупых в своей учености⁶ и горделиво-глупых. Я уже сказал, что существует два вида глупости: одна — природная, другая — благоприобретенная; одна — результат невежества, другая — результат воспитания.

Какой же из обоих этих видов невежества или глупости самый неизлечимый? Последний. Человек, ничего не знающий, может еще научиться; надо только зажечь в нем желание этого. Но тот, кто обладает ложным знанием и постепенно потерял свой ум, воображая, что совершенствует его, слишком дорого заплатил за свою глупость, чтобы когда-нибудь от нее отказаться^а.

Если ум обременен грузом ученого невежества, то он уже не воспаряет к истине. Он утратил стремление, увлекавшее его прежде к ней. Знание того, что он раньше знал, отчасти связано с забвением того, что он знает теперь. Чтобы вбить в его голову некоторое количество истины, из нее приходится часто выбить такое же количество заблуждений. Но удаление их требует времени, и когда оно наконец осуществляется, то уже слишком поздно стать зрелым человеком. Мы удивляемся тому, в каком раннем возрасте греки и римляне становились зрелыми людьми. Каких только талантов не обнаруживали они с юношеских лет! Когда в двадцать лет Александр приступил к завоеванию Востока, он был уже литературно образованным человеком и великим полководцем. В том же возрасте Сципион и Ганнибал строили грандиознейшие планы и осуществляли грандиознейшие начинания. Помпей, победитель в Европе, Азии и Африке, еще до зрелого возраста прославился на весь мир. Каким же образом эти греки и римляне, будучи одновременно писателями, ораторами, полководцами, государственными

^а Один молодой художник, пользуясь негодными приемами своего учителя, нарисовал картину и показал ее Рафаэлю. «Что вы думаете об этой картине?» — спросил он его. «*Что вы скоро кое-чему научились бы*», — ответил Рафаэль, — *если бы вы ничего не знали*».

деятелями, могли занимать самые различные государственные посты, выполнять эти обязанности и часто даже слагать их с себя в таком возрасте, в котором в наше время ни один гражданин уже не в состоянии их выполнять? Неужели тогдашние люди отличались от теперешних? Неужели человеческая организация была тогда более совершенной? Разумеется, нет. Ведь известно, что современные народы превосходят древних в науках и искусстве мореплавания, в физике, в часовом деле, математике и т. д.

Следовательно, столь продолжительное превосходство древних в морали, политике и законодательстве должно считаться результатом их воспитания. Воспитание молодежи поручали тогда не схоластам, а философам. Задачей этих философов было воспитать героев и великих граждан. Слава ученика падала на учителя — это была его награда.

Задача воспитателя теперь иная. Заинтересован ли он в том, чтобы возвысить душу и ум своих учеников? Нисколько. Чего же желает он? Ослабить их характер, сделать из них суеверных людей, перешибить, если можно так выразиться, крылья их гения, заглушить в их уме всякое истинное знание⁷, а в их сердце всякую патристическую добродетель.

Золотой век схоластов был золотым веком невежества, мрак которого до Лютера и Кальвина покрывал всю землю. Тогда, как говорит один английский философ, суеверие управляло всеми народами. «Люди, превращенные, подобно Навуходоносор^{1*}, в скотов и мулов, были скованы, взнузданы, нагружены огромными тяжестями, они стонали под бременем суеверия. Но наконец некоторые из мулов, встав на дыбы, сбросили сразу и ношу, и всадника».

Нельзя рассчитывать ни на какую перемену в деле воспитания, пока оно поручено схоластам. Наука, преподаваемая такими наставниками, будет всегда лишь наукой заблуждений, и древние будут сохранять в нравственности, политике и законодательстве превосходство над современниками благодаря не превосходству своей организации, но, как я уже сказал, превосходству своего воспитания.

Я показал всю бессодержательность ложных наук.

Я дал понять всю важность предлагаемого труда.

Мне остается кое-что сказать о сухости этого предмета.

О СУХОСТИ ЭТОГО ПРЕДМЕТА И О ТРУДНОСТЯХ
В ЕГО РАССМОТРЕНИИ

Исследование поставленного мной вопроса требует тонкого и глубокого обсуждения. Но всякое обсуждение такого рода скучно.

Меня не удивит, если человек, являющийся подлинным другом человечества и привыкший уже к тому, чтобы напрягать свое внимание, прочтет эту книгу без отвращения. Его уважения, несомненно, было бы достаточно для меня, если бы, желая сделать этот труд полезным, я не поставил бы себе сначала задачу сделать чтение его приятным. Но какими цветами украсить изложение столь важного и столь серьезного вопроса? Я желал бы просветить обыкновенного среднего человека, а почти у всех народов такие люди неспособны к проявлению внимания. То, что требует от них прилежания, вызывает в них отвращение. Особенно часто встречаются люди этого рода во Франции.

Я провел 10 лет в Париже, тогда в нем не царил еще дух ханжества и фанатизма. Если верить молве, то теперь это — господствующий во Франции дух. Что касается светских людей, то они становятся все более и более равнодушными к философским произведениям. Их ничто не интересует, кроме изображения чего-либо смешного⁸, — это удовлетворяет их злорадство, не нарушая их ленивого покоя. Поэтому я отказываюсь от надежды поправиться им. Как бы я ни старался, я никогда не сумею сделать достаточно приятной столь сухую, столь серьезную матерью.

Замечу, однако, что если судить о французах по их книгам, то либо это народ менее легкомысленный и пустой⁹, чем о нем это думают, либо дух его ученых резко отличается от духа нации. Идеи этих последних показались мне великими и возвышенными. Пусть же они пишут и будут уверены, что независимо от национального пристрастия они всюду найдут справедливых ценителей их заслуг. Я рекомендую им только одно, а именно осмелиться иногда пренебрегать мнением какого-нибудь одного народа и помнить, что истинно широкий ум занимается проблемами, интересующими все народы.

Такого порядка и исследуемый мною вопрос. Я напомню принципы, изложенные в книге «Об уме», лишь

для того, чтобы углубить их, изложить с новой точки зрения и извлечь из них новые выводы.

В геометрии всякая задача, еще не решенная точным образом, может быть предметом нового доказательства. То же самое имеет место в нравственности и политике.

Поэтому пусть не отказываются от исследования столь важного вопроса, ответ на который требует, впрочем, изложения еще ряда малоизвестных фактов.

Является ли различие между умами следствием различия организации либо воспитания? — таков предмет моего исследования.

РАЗДЕЛ I

Воспитание различных людей по необходимости различно: оно, быть может, является причиной того умственного неравенства, которое до сих пор приписывалось неодинаковому совершенству органов

ГЛАВА I

НЕТ ДВУХ ЛЮДЕЙ. ПОЛУЧАЮЩИХ ОДНО И ТО ЖЕ ВОСПИТАНИЕ

Я продолжаю учиться, мое воспитание еще не закончено. Когда же оно закончится? Когда я не буду более способен к нему — после моей смерти. Вся моя жизнь есть, собственно говоря, лишь одно продолжительное воспитание.

Что нужно для того, чтобы два индивида получили в точности одно и то же воспитание? Чтобы они находились в точности в одном и том же положении, в одних и тех же условиях. Но подобное предположение неосуществимо. Очевидно, следовательно, что нет двух людей, получающих одно и то же воспитание.

Но нужно ли отодвигать окончание нашего воспитания к концу нашей жизни? Почему же не приурочить его ко времени, специально предназначенному для воспитания, т. е. к периоду детства и юности?

Я ограничу свое исследование именно этим промежуток времени. Я докажу также, что невозможно, чтобы два человека приобрели в точности одни и те же идеи.

ГЛАВА II

О ТОМ МОМЕНТЕ, КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ВОСПИТАНИЕ

Свое первоначальное воспитание ребенок получает в то самое мгновение, когда он начинает двигаться и жить. Иногда еще во чреве матери он знакомится с состоянием болезни и здоровья. Но вот мать произвела его на свет; ребенок беспокойно движется, издает крики: голод возбуждает его; он испытывает некую потребность, эта потребность заставляет его разжать губы, схватить

и начать жадно сосать материнскую грудь. Проходит несколько месяцев, его глаза раскрываются, его органы крепнут, мало-помалу они становятся способными ко всем впечатлениям. Тогда раскрываются чувства зрения, слуха, вкуса, осязания, обоняния — словом, все врата его души. Тогда все предметы природы устремляются массой сюда и запечатлевают в его памяти бесконечное множество идей^а.

В эти первые моменты жизни кто может быть истинным воспитателем детства? Различные испытываемые им ощущения. Все это — различные получаемые им наставления.

Двум детям дали одного и того же учителя; если их научили различать буквы, читать, цитировать наизусть катехизис и т. д., думают, будто тем самым им дали одно и то же воспитание. Философ судит об этом иначе. По его мнению, истинными воспитателями детства являются окружающие его предметы; этим воспитателям детство обязано почти всеми своими идеями.

ГЛАВА III

О ВОСПИТАТЕЛЯХ ДЕТСТВА

Краткая история детства человека дает нам возможность познакомиться с последним. Едва только он увидит свет, как тысячи звуков поражают его уши, донося до его слуха лишь смутный шум. Множество тел открывается для его глаз, представляя ему лишь плохо очерченные предметы. Только незаметно ребенок научается слышать, видеть, обонять и исправлять заблуждения одного какого-нибудь чувства с помощью другого чувства^б.

Получая всегда одни и те же ощущения от одних и тех же предметов, он приобретает о них воспоминания, тем более отчетливые, чем чаще повторяется воздействие предметов на него. Их воздействие следует рассматривать как самую важную часть его воспитания.

^а См. красноречивое и замечательное рассуждение Бюффона о человеке.

^б Чувства никогда не обманывают нас. Предметы производят на нас всегда то впечатление, которое они должны произвести. Квадратная башня кажется мне на известном расстоянии круглой. Это потому, что на этом расстоянии отраженные башней лучи должны сливаться и представить ее мне такой. Поэтому бывают случаи, когда реальная форма предметов может быть установлена лишь благодаря согласному свидетельству нескольких чувств.

Между тем ребенок растет, он начинает ходить и ходит один. Тогда множество падений приучает его сохранять свое тело в равновесии и держаться на ногах. Чем болезненнее падение, тем оно поучительнее; он становится более ловким, внимательным и осторожным при ходьбе.

Ребенок окреп, он начинает бегать, он уже в состоянии перепрыгивать через маленькие канавки, пересекающие и орошающие насаждения его сада. Тогда после повторных попыток и падений он научается соразмерять свой разбег с шириной этих канавок.

Камешек оторвался от берега; ребенок видит, как этот камень опускается на дно, между тем как кусок дерева плавает на поверхности вод. В этот момент он приобретает первоначальную идею о тяжести.

Предположим, что он выудит из канавки этот камень и легкий кусок дерева; благодаря случаю или его неловкости оба они упадут ему на ноги. Неодинаковая степень боли, вызванной падением обоих тел, еще глубже запечатлеет в его памяти представление об их тяжести и их неодинаковой твердости.

Он бросит тот же камень в один из цветочных горшков или в одну из кадок с апельсиновыми деревьями, помещенные вдоль этих канавок; тут он узнает, что некоторые тела ломаются от удара, который другие тела выдерживают.

Не найдется поэтому ни одного просвещенного человека, который не увидел бы во всех предметах наставников, коим поручено дело воспитания нашего детства^а.

Но разве эти воспитатели не одни и те же для всех? Нет, случай не бывает в точности одним и тем же ни для кого; и если даже предположить, что двое детей обязаны своей ловкостью в ходьбе, беге и прыгании своим падениям, то все же, утверждаю я, невозможно, чтобы случай заставил их упасть точно одно и то же число раз, причем чтобы эти падения были одинаково болезненными, и тем самым дал им одно и то же воспитание.

^а Если я описываю так быстро различные этапы детства, то это потому, что я боюсь надоесть читателю. Что ему за дело до времени, какое требуется ребенку, чтобы пройти эти этапы? Достаточно, что он их проходит. Нет никакой необходимости, чтобы мое изложение было столь же продолжительным, как и детство человека.

Двое детей, перенесенные в равнину, лес, театр, собрание, наконец, в лавку, благодаря одному только своему физическому положению не смогут подвергаться воздействию одних и тех же предметов; следовательно, это не вызовет в них одних и тех же ощущений. Кроме того, сколь различное зрелище будет непрерывно представать перед глазами этих детей под влиянием повседневных происшествий!

Два брата путешествуют со своими родителями. Чтобы вернуться домой, им приходится пересечь длинные горные цепи. Старший следует за отцом по крутым и узким дорогам. Что же он видит перед собой? Природу во всех ее грозных проявлениях: вздымающиеся до облаков ледяные горы, нависшие над головой путника скалы, бездонные пропасти, наконец, вершины бесплодных утесов, с которых низвергаются со страшным шумом потоки. Младший брат последовал за матерью по более доступным дорогам, где природа предстает перед ним в более приветливом виде. Какие же предметы раскрываются его взорам? Повсюду холмы, покрытые виноградниками и плодовыми деревьями, повсюду долины с извивающимися в них ручьями, переплетающиеся рукава которых разделяют луга, где пасется скот.

Эти два брата проделали одно и то же путешествие, а увидели весьма различные картины, получили весьма различные впечатления. Но тысячи случайностей этого рода могут вызвать то же действие. Наша жизнь есть, так сказать, длинная цепь подобных случайностей. Поэтому никогда не нужно надеяться, что можно дать в точности одно и то же воспитание двум детям.

Но какое влияние на умы может оказать разница в воспитании, вызванная какой-нибудь ничтожной разницей в окружающих предметах? Как! Неужели еще неизвестно, какое различие во всем подходе к вещам и в способе суждения двух людей может вызвать небольшое количество различных идей в сочетании с теми идеями, которые у них одинаковы?

Допустим даже, что случай представляет двум людям всегда одни и те же предметы. Но представит ли он им их в момент, когда у них в точности одинаковое состояние души, когда, следовательно, эти предметы должны произвести на них одно и то же впечатление?

О РАЗЛИЧНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ. ПРОИЗВОДИМЫХ НА НАС ПРЕДМЕТАМИ

Бесспорен факт, что различные предметы вызывают в нас различные ощущения. Опыт показывает нам далее, что одни и те же предметы вызывают в нас различные впечатления в зависимости от момента, когда они воздействуют на нас. И может быть, этой разнице во впечатлениях следует главным образом приписать различие и большое неравенство ума, наблюдаемое у людей, вскормленных в одной и той же стране, воспитанных в одних и тех же привычках и нравах, имевших, кроме того, перед глазами почти одни и те же предметы.

У души бывают моменты отдыха и покоя, когда ее поверхность не колеблется даже легчайшим дуновением страстей. Представляемые нам тогда случаям предметы иногда полностью приковывают к себе наше внимание; мы исследуем на досуге их различные стороны, и впечатление, произведенное ими на нашу память, тем более отчетливо и глубоко.

Случайности этого рода обычны, особенно в ранней юности. Ребенок провинился, и в наказание его запирают в его комнате. Он находится в ней один. Что ему делать? Он замечает на окне горшки с цветами; он срывает цветы, он рассматривает их краски, наблюдает их оттенки; его бездеятельность как бы обостряет у него чувство зрения. В этом случае с ребенком происходит то же, что и со слепым. Если обыкновенно у последнего чувство слуха и осязания тоньше, чем у других людей, то это потому, что его не отвлекает, подобно им, воздействие света на его глаза. Благодаря этому он более внимателен, более углублен в себя и, наконец, он, согласно замечанию Дидро ^{1*}, для замены недостающего ему чувства сильнее заинтересован в усовершенствовании имеющихся у него чувств.

Впечатление, производимое на нас предметами, зависит главным образом от момента воздействия на нас этих предметов. В приведенном выше примере внимание, которое ребенок, так сказать, вынужден уделить единственным находящимся перед его глазами предметам, заставляет его открыть в красках и формах цветов такие тонкие различия, которых не дал бы ему заметить рассеянный взор или поверхностный взгляд. Наказание или иная подобная случайность часто решает вопрос о склонностях молодого

человека — делает из него живописца цветов, сообщает ему сперва некоторое знакомство с их красотой и затем любовь к такого рода картинам. Но каким только случаям подобного рода не подвержено воспитание детства! И как можно вообразить, что оно может быть одинаковым для двух индивидов? А сколько, кроме того, других причин препятствует тому, чтобы дети получили в школе или в родительском доме одно и то же воспитание!

ГЛАВА V О ШКОЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ

Думают, что дети получают одно и то же образование, когда они воспитываются в одних и тех же школах. Но в каком возрасте они поступают в них? В 7—8 лет. В этом возрасте их память уже полна представлений, которые, возникнув отчасти под влиянием случая, а отчасти будучи приобретены в родительском доме, зависят от положения, характера, состояния и богатства их родителей. Что же удивительного в том, что дети, вступив в школу с идеями часто столь различными, обнаруживают большее или меньшее усердие в занятиях, больший или меньший интерес к определенным наукам и уже приобретенные ими ранее идеи, соединяясь с теми, которые им, как и другим, сообщают в школах, сильно изменяют и искажают эти последние. Измененные таким образом идеи, заново сочетаясь друг с другом, должны часто приводить к неожиданным результатам. Этим объясняется то неравенство умов и то разнообразие вкусов, которые наблюдаются у учеников, воспитывающихся в одной и той же школе^а.

Можно ли сказать то же самое о домашнем воспитании?

ГЛАВА VI О ДОМАШНЕМ ВОСПИТАНИИ

Воспитание этого рода, несомненно, наиболее единообразное, наиболее одинаковое. Два брата, воспитывающиеся у родителей, имеют одного и того же наставника,

^а Замечу, впрочем, что большей частью своего образования мы обязаны случаю, т. е. тому, чему не учат наставники. Ребенок, знания которого ограничивались бы истинами, которые он узнал от своей гувернантки или от своего воспитателя, и фактами, содержащимися в немногих книгах, которые прочтывают в школе, был бы, несомненно, самым глупым ребенком в мире.

видят перед глазами почти одни и те же предметы, читают одни и те же книги. По-видимому, только разница в возрасте должна вносить разницу в их воспитание. Можно захотеть окончательно уничтожить ее и предположить для этого, что оба брата близнецы. Но спрашивается: будет ли у них одна и та же кормилица? Скажут: а какое это имеет значение? Неужели можно сомневаться во влиянии характера кормилицы на характер вскармливаемого ею ребенка? Во всяком случае в Греции в этом не сомневались, в чем можно убедиться по тому, как там ценили лакедемонских кормилиц. Действительно, говорит Плутарх, если спартанец, еще сосущий грудь, не кричит, если он недоступен страху и уже терпеливо переносит боль, то этим он обязан своей кормилице. Поэтому и во Франции, моем отечестве, выбор кормилицы не может быть безразличен, как он не был безразличен в Греции.

Но допустим, что одна и та же кормилица вскормила этих близнецов и воспитала их с одинаковой заботливостью. Но неужели можно думать, что, когда она передаст их родителям, отец и мать будут относиться с совершенно одинаковой степенью нежности к обоим детям и что предпочтение, оказываемое незаметно одному из них, не будет иметь никакого влияния на его воспитание? Но предположим даже, что отец и мать относятся к ним с одинаковой нежностью. Можно ли сказать то же самое об их домашних? Не будет ли воспитатель относиться к одному из них как к своему любимцу? И долго ли дружба, выказываемая к одному из детей, останется скрытой от другого? Неужели раздражительность или терпеливость учителя, мягкий или строгий характер его преподавания не оказывают на них никакого действия? Наконец, неужели эти близнецы обладают одинаковым здоровьем?

Пусть оба будут первоначально с одинаковым успехом заниматься искусствами и науками. Но вот один будет задержан в развитии какой-нибудь болезнью и даст другому слишком обогнать себя, тогда учение опротивеет ему. Если ребенок утрачивает надежду отличиться, если он вынужден признать в какой-нибудь области известное число стоящих выше него лиц, то он теряет в этой области способность к труду и к живому вниманию. Даже страх наказания тогда бесплен. Этот страх прививает ребенку привычку к вниманию, заставляет его научиться читать и выполнять все то, что ему велят, но он не вну-

шает ему жажды учения, которая одна только обеспечивает большие успехи.

Соревнование производит гениев, а желание прославиться порождает таланты. Умственные успехи у человека можно датировать с того момента, когда в нем пробуждается и развивается любовь к славе. Я всегда думал, что наука о воспитании есть, быть может, лишь наука о способах вызывать соревнование. Одно какое-нибудь слово зажигает или гасит его. Иногда достаточно похвалить тщательность, с какой ребенок исследовал какой-нибудь предмет, и его точный рассказ об этом, чтобы пробудить в нем то внимание, которому он окажется обязан впоследствии выдающимися качествами своего ума. Таким образом, воспитание, полученное в школе или в родительском доме, никогда не бывает одинаковым для двух индивидов.

Перейдем от воспитания, получаемого в детстве, к тому, которое получают в юношеские годы. Не следует считать это исследование излишним. Это второе воспитание наиболее важно. У человека имеются тогда другие воспитатели, с которыми полезно познакомиться. Кроме того, в юношеские годы решается судьба наших призваний и талантов. Это второе воспитание, наименее единообразное и наиболее зависящее от случая, в то же время наиболее способно подтвердить истинность моего взгляда.

ГЛАВА VII

О ВОСПИТАНИИ, ПОЛУЧАЕМОМ В ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ

По выходе из школы при нашем вступлении в свет начинается воспитание юношеского возраста. Оно менее одинаково и более разнообразно, чем воспитание, получаемое в детстве, но оно более зависит от случая и, несомненно, более важно. Человека тогда осаждает большее число ощущений. Все окружающее его воздействует на него и воздействует живо.

В возрасте, когда пробуждаются известные страсти, все предметы природы действуют и влияют на человека особенно сильно. Именно тогда он получает наиболее действительное образование, тогда кристаллизуются его вкус и его характер, наконец, именно тогда, когда он является более свободным и более самим собой, загоревшиеся в его сердце страсти определяют его привычки и часто все его жизненное поведение.

У детей разница в уме и характере не всегда очень заметна. Занимаясь одними и теми же предметами, подчиняясь одним и тем же правилам, одной и той же дисциплине и не имея, кроме того, страстей, они с внешней стороны довольно схожи. Зародыш, развитие которого внесет в дальнейшем столько различий в их вкусы, еще не образовался или еще не заметен. Я сравниваю двух детей с двумя людьми, сидящими на одном и том же холмике, но глядящими в различных направлениях. Если они встанут и начнут идти в указанных направлениях, то они незаметно удалятся друг от друга и вскоре потеряют друг друга из виду, если только какое-нибудь новое случайное изменение направления не сблизит их вновь.

Сходство между детьми в школах есть результат принуждения. Это принуждение прекращается по выходе из школы. Тогда начинается, как я сказал, второе воспитание человека, воспитание, тем более подчиненное случаю, что, вступая в свет, юноша оказывается среди большого числа предметов. Но чем более многочисленны и разнообразны окружающие предметы, тем менее отец или наставник могут быть уверены в результатах своего воздействия, тем менее оба они сами участвуют в воспитании молодого человека.

Новыми и главными наставниками юноши являются форма правления, при которой он живет, и нравы, порождаемые у народа этой формой правления.

Учителя и ученики одинаково подчинены этим воспитателям. Это — главные, но, впрочем, не единственные воспитатели молодежи. К этим воспитателям я причисляю еще место, занимаемое молодым человеком в свете, его бедность или богатство, посещаемое им общество^а, наконец, его друзей, прочитанные им книги и его любовниц. Но от случая зависит, богат он или нет; от случая зависит выбор им общества¹⁰, друзей, книг и любовниц. Таким образом, случай определяет большинство его воспитателей^{1*}. Кроме того, случай, ставя его в то или иное положение, зажигает, гасит или видоизменяет его вкусы и его страсти; следовательно, он играет наибольшую роль в самом образовании его характера. Характер у человека

^а Если кто-нибудь ищет общества образованных людей, если он живет обыкновенно с людьми, превосходящими его по уму, то он становится от этого просвещеннее. Один знаменитый автор сказал мне как-то: «Я обязан своими небольшими талантами моему всегдашнему желанию беседовать с такими людьми».

есть непосредственный результат его страстей, а его страсти часто являются непосредственным результатом того положения, в котором он находится.

Наиболее резко выраженные характеры иногда порождены бесчисленным множеством мелких случайностей. Самые толстые канаты складываются из бесчисленного множества нитей конопля¹¹. Нет такой перемены в характере человека, которой не мог бы вызвать случай. Но почему эти изменения происходят почти всегда без его ведома? Потому что заметить их он мог бы, лишь взглянув на самого себя самым суровым и наблюдательным образом. Но удовольствие, легкомыслие, честолюбие, бедность и т. д. одинаково отвращают его от этого наблюдения. Все отвлекает его от него самого. Кроме того, мы относимся с таким уважением к себе, с таким почтением к своему поведению, мы считаем его результатом столь мудрых и глубоких размышлений, что редко позволяем себе анализ его. Этому противится гордость, а гордости подчиняются.

Таким образом, случай оказывает неизбежное и значительное влияние на наше воспитание. События нашей жизни являются часто плодом ничтожнейших случайностей. Я знаю, что признанию этого противится наше тщеславие. Оно предполагает всегда великие причины у следствий, которые оно считает великими. Чтобы разрушить иллюзии гордости, я, призвав на помощь факты, докажу, что самые знаменитые граждане были обязаны иногда своими талантами ничтожнейшим случайностям. На основании этого я приду к выводу, что так как случай действует одинаковым образом на всех людей, то если влияние его на посредственные умы менее заметно, то это лишь потому, что умы этого рода менее замечательны.

ГЛАВА VIII

О СЛУЧАЙНОСТЯХ, КОТОРЫМ МЫ ЧАСТО ОБЯЗАНЫ ЗНАМЕНЫТЫМИ ЛЮДЬМИ

В качестве первого примера я приведу Вокансона (Vaucanson)^{1*}. Его набожная мать была духовника. Последний жил в келье, передней для которой служил зал с часами. Мать часто навещала этого духовника. Сын сопровождал ее до передней. Оставаясь там один и не зная, что делать, он плакал от скуки, в то время как его мать

проливала слезы раскаяния. Однако люди всегда стараются по возможности меньше плакать и скучать. Так как в состоянии бездеятельности не существует безразличных ощущений, то вскоре молодой Вокансон, внимание которого привлекло равномерное движение маятника, захотел выяснить причину этого. Его любознательность пробудилась. Чтобы удовлетворить ее, он приблизился к ящику, в котором находились часы. Через щели его он увидел сцепление колес, открыл часть механизма, а устройство остальной угадал. Он возымел план изготовить подобную же машину, выполнил его с помощью ножа и дерева и в конце концов изготовил более или менее совершенные часы. Под влиянием этого первого успеха определилось его призвание к механике, его таланты развились, и тот самый гений, который побудил его изготовить часы из дерева, позволил ему предугадать в будущем возможность создания музыкального автомата.

Аналогичный случай пробудил гений Мильтона. Умер Кромвель, власть перешла к его сыну, но он был изгнан из Англии. Мильтон, разделив его участь, потерял место секретаря у протектора. Он был заключен в тюрьму, затем выпущен, после чего вынужден был удалиться в изгнание. Наконец он поселился в деревне и там на досуге, доставленном ему уединением и немилостью, сочинил поэму, которая, будучи задумана им еще в молодости, поставила его в ряд величайших людей.

Если бы Шекспир всегда оставался, подобно своему отцу, торговцем шерсти, если бы вследствие дурного поведения он не был вынужден бросить торговлю и родную округу, если бы он не пристал к распутной компании, не украл ланей в парке одного лорда, не был бы преследуем за эту кражу, не вынужден был бы спастись бегством в Лондон и поступить в труппу актеров, если бы, наконец, наскучив быть посредственным актером¹², он не стал автором, то Шекспир с его житейским здравым смыслом никогда не сделался бы знаменитым Шекспиром и, какую бы ловкость он ни обнаружил в торговле шерстью, его имя не прославилось бы в Англии.

Почти такая же случайность определила призвание Мольера к театру. Его дед любил комедию и часто водил его в театр. Молодой человек вел рассеянный образ жизни. Заметив это, его отец спросил с гневом, неужели из его сына хотят сделать комедпанта. «Дай бог, — ответил дед, — чтобы он был таким же хорошим актером, как

Монроз». Эти слова поразили молодого Мольера. Ему опротивело его ремесло, и этому случайному ответу Франция обязана своим величайшим автором комедий. Мольер, оставшись он искусным драпировщиком, никогда не был бы причислен к великим людям своего народа.

Корнель¹³ влюблен; он сочиняет стихи в честь своей возлюбленной, становится поэтом, пишет «Мелиту», затем «Цинну», «Родогуну» и т. д. Он становится гордостью своей страны, предметом подражания для потомства. Будь Корнель благоразумен, он остался бы адвокатом, он писал бы прошения, которые были бы забыты, как и дела, которые он защищал. Таким образом, набожность матери, смерть Кромвеля, кража ланей, восклицание старика и красота одной женщины дали Европе в различных областях пять знаменитых людей^а.

Я никогда не окончил бы, если бы захотел привести список всех писателей, прославившихся своими талантами и обязанных этим талантами подобным случайностям. Некоторые философы придерживаются по этому вопросу моей точки зрения. Г. Бонне^{62*} сравнивает, как и я, гений с зажигательным стеклом, зажигающим обыкновенно только в одной точке. Гений, по-нашему, может быть лишь продуктом усиленного внимания, сосредоточенного на каком-нибудь искусстве или какой-нибудь науке. Но чем объяснить это внимание? Сильным призванием, которое чувствуют к этому искусству или к этой науке. Но это призвание не есть чистый дар природы^в. Если люди рождаются без идей, то они рождаются также без призваний^г. Последние можно считать приобретением, которым мы обязаны положению, в котором мы находимся. Гений есть отдаленный продукт событий или случайностей, примерно таких, о каких я упомянул¹⁴.

^а Несомненно, скажут, что подобные случайности могут оказать такое влияние лишь на людей определенного рода. На это возражение я отвечаю во втором разделе.

^б См. его «Аналитический опыт о способностях души».

^в Если дети редко обнаруживают то призвание, которое желают им внушить, то это не по вине их организации, но по вине их воспитателей.

^г Единственная наклонность, которую при рождении человек приносит с собой для знания, — это способность сравнивать и комбинировать.

Действительно, все операции его разума сводятся необходимым образом к наблюдению отношений между предметами и отношений их к себе самим и к нему. В следующем разделе я исследую, что представляет в нас эта способность.

Руссо не разделял этого взгляда, но он сам служит примером власти случая.

При вступлении в свет он благодаря счастливому случаю попадает в свиту одного посланника. Ссора с этим послом заставляет его оставить политическую карьеру¹⁵ и избрать область искусств и наук. При этом ему предстоит выбор между литературой и музыкой. Способный одинаково преуспевать в обоих этих видах искусства, он некоторое время неуверен в своем призвании. Наконец особое стечение обстоятельств заставляет его предпочесть литературу, стечение обстоятельств другого рода могло бы сделать из него музыканта. Кто знает, не привела ли бы к этому благосклонность одной прекрасной певицы?¹⁶ Во всяком случае никто не может утверждать, что из Платона Франции любовь не сделала бы тогда ее Орфея^{3*}. Но какое особенное обстоятельство заставило Руссо избрать литературную карьеру? Это — его секрет, я его не знаю. Я могу сказать лишь одно: что достаточно было первоначального успеха в этой области искусства, чтобы окончательно закрепить его выбор.

Дижонская академия предложила тему на соискание премии по литературе. Тема эта была довольно странная^a, а именно: «Не были ли науки более вредны для общества, чем полезны?» Единственный оригинальный способ ответить на этот вопрос заключался в том, чтобы выступить против наук. Руссо понял это. Он сочинил, исходя из этого, красноречивое рассуждение, которое заслуженно вызвало много похвал. Этот успех составил эпоху в его жизни. Отсюда его слава, его злоключения и его парадоксы.

Красоты собственного рассуждения действуют на него так, что приемы оратора¹⁷ становятся у него скоро методами философа, и с этого момента в погоне за парадоксами он ни перед чем уже не останавливается. Он утверждает, если это нужно для защиты его тезиса, что человек, абсолютно грубый, незнакомый с искусством, с промышленностью и стоящий ниже всякого известного нам дикаря, тем не менее и более добродетелен, и более счастлив, чем цивилизованный гражданин Лондона и Амстердама.

^a Тот, кто предложил эту тему на соискание премии, думал, очевидно, что единственная возможность быть столь же достойным уважения, как и всякий другой человек, состоит в том, чтобы всякий другой человек был столь же невежествен, как и он.

Жертва собственных литературных приемов, довольствуясь репутацией красноречивого спорщика, он отказывается от имени философа, и его заблуждения становятся следствием его первого успеха. Еще меньшие причины часто порождали большие следствия. Озлобленный в дальнейшем возражениями или, быть может, слишком дорожа своей оригинальностью, Руссо покидает Париж и своих друзей. Он удаляется в Монморанси¹⁸. Он пишет здесь и выпускает в свет своего «Эмпиля», подвергается преследованию со стороны завистников, невежд и лицемеров. Почитаемый всей Европой за свой литературный талант, он преследуем во Франции. К нему применимо изречение: *cruciatur ubi est, laudatur ubi non est* (его распинают там, где он находится, его прославляют там, где его нет)^а. Вынужденный затем удалиться в Швейцарию, все более и более раздраженный преследованиями, он пишет здесь знаменитое письмо, адресованное к архиепископу парижскому. Вот таким образом все взгляды какого-нибудь человека, вся его слава и его злоключения оказываются часто сцеплением невидимой власти какого-то первого события. Руссо, как и множество других знаменитых людей, можно считать ярким примером власти случая.

Пусть меня не упрекают за то, что я подробно остановился на вопросе о причинах, которым столь часто обязаны были своими талантами великие люди; этого требовала тема моей книги. Я не углублялся в детали. Я знаю, что для публики, дорожающей великими талантами, не интересны ничтожные причины, порождающие их ничтожные поступки. Я гляжу с удовольствием, как река величественно катит свои воды по равнине, но лишь с трудом мое воображение добирается до ее источников, чтобы составить представление о всем количестве воды, необходимом для ее течения. Предметы предстают перед нами в массе, и мы с неохотой приступаем к разложению ее на составные части. Я с трудом могу убедить себя, что комета, бурно проносящаяся через нашу Вселенную и угрожающая ей катастрофой, представляет собой большую или меньшую совокупность невидимых атомов.

В духовной области, как и в физической, нас поражает только великое. У великих следствий всегда предполагают великие причины. Полагают, что небесные знамения

^а Это изречение применимо почти ко всем философам, сочинения которых заслужили общественное признание.

возвещают падение государств или перевороты в них. Между тем сколько было предпринято или приостановлено крестовых походов, произведено или предупреждено переворотов, начато или прекращено войн благодаря интригам какого-нибудь священника, какой-нибудь женщины или какого-нибудь министра! Только из-за отсутствия мемуаров или секретных анекдотов не всюду находят перчатку герцогини Мальборо ^{а4*}.

Применим к простым гражданам то, что я говорю о государствах. И в этом случае их возвышение или падение, их счастье или несчастье являются результатом определенного стечения обстоятельств и бесконечного множества непредвиденных и по внешности бесплодных случайностей. Я сравниваю мелкие обстоятельства, подготавливающие крупные события нашей жизни, с мельчайшими разветвлениями корня растений, которые, забираясь незаметно в щели скалы и увеличиваясь там, в свое время взорвут ее.

Таким образом, случай играет ^б и всегда будет играть известную роль в нашем воспитании, и особенно в воспитании гениальных людей. Если желают увеличить число их у какого-нибудь народа, пусть изучают средства, какими пользуется случай, чтобы внушить людям желание прославиться. Пусть после такого изучения их намеренно и часто ставят в такое же положение, в какое их изредка ставит случай, — это единственный способ увеличить число гениальных людей.

Нравственное воспитание человека теперь почти целиком предоставлено случаю. Чтобы усовершенствовать его, нужно было бы составить план его в соответствии с общественной пользой, основать его на простых и неизменных принципах. Это единственный способ уменьшить влияние случая на нравственное воспитание и устранить

^а Как уверяют врачи, повышенная кислотность семенного вещества была причиной непреодолимого влечения Генриха VIII к женщинам. Таким образом, этой кислотности Англия была обязана уничтожением католицизма ^{5*}. История утратила бы, может быть, часть своего благородства и достоинства, если бы таким образом всегда добиралась до скрытых причин великих событий, но она стала бы от этого поучительнее.

^б Я предупреждаю читателя, что под словом *случай* я понимаю неизвестное нам сплетение причин, способных вызвать то или иное действие, и что я никогда не употребляю этого слова в ином значении.

противоречия, которые имеются и должны неизбежно существовать между всеми различными правилами теперешнего воспитания.

ГЛАВА IX

О ГЛАВНЫХ ПРИЧИНАХ ПРОТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ ПРАВИЛАМИ ВОСПИТАНИЯ

Если в Европе, и особенно в католических странах, все правила воспитания противоречивы, то это происходит потому, что общественное образование доверено здесь двум властям, интересы которых противоположны и правила которых должны поэтому быть различными и противоположными.

*Одна — это духовная власть,
другая — это светская власть.*

Сила и величие этой последней власти зависят от силы и величия того государства, которым она управляет. Государь силен поистине лишь силой своего народа. Если перестают уважать народ, то и государь перестает быть могущественным. Он желает и должен желать, чтобы его подданные были мужественными, трудолюбивыми, просвещенными и добродетельными. Можно ли сказать то же самое о духовной власти? Нет, ее интересы не те же самые. Власть священника зависит от суеверия и тупой доверчивости народов. Ему вовсе не нужно, чтобы они были просвещенными. Чем меньше они знают, тем более они покорны его решениям. Интересы духовной власти связаны не с интересами какого-нибудь народа, но с интересами определенной религии (Secte).

Два народа воюют друг с другом; какое дело папе до того, кто из них будет рабом или господином, раз победитель должен стать столь же подчиненным ему, как и побежденный. Если французы терпят поражение под ударами португальцев, если Браганцкий^{1*} дом восходит на трон Бурбонов, то папа видит в этом событии лишь возрастание своего авторитета. Чего требует от народа духовенство? Слепой покорности, безграничной доверчивости и детского и панического страха. Если этот народ помимо того прославится своими талантами или патриотическими добродетелями, то это мало интересует духовенство. Великие таланты и великие доблести почти неизвестны в Испании, в Португалии и повсюду, где особенно страшна духовная власть.

Правда, честолюбие свойственно обоим этим властям, но способы удовлетворения его у них очень различны. Чтобы подняться до своей высшей точки, одна власть должна возбуждать у человека страсти, а другая — уничтожить их у него.

Светская власть обязана своими войнами, правителями, купцами и учеными любви к общественному благу, к справедливости, к богатству и славе; государь завоевывает своей нации уважение других наций благодаря торговле своих городов, мужеству своих войск, справедливости своего суда, гению своих ученых — это значит, что сплывные и направленные к общему благу страсти служат основой величия нации.

Наоборот, духовенство основывает свое величие на уничтожении этих страстей. Попы честолюбивы, но им ненавистно честолюбие светского человека. Оно противоречит их намерениям. Попы хотели бы погасить в человеке всякое желание, внушить ему отвращение к своим богатствам и к своей власти и воспользоваться этим отвращением, чтобы присвоить себе и то и другое¹⁹. Можно с уверенностью утверждать, что все религии всегда руководствовались этой целью.

Что проповедовало христианство, когда оно утвердилось? *Общность имущества*. Кто выступил в качестве хранителя этого общего имущества? Попы. Кто похитил это вверенное им имущество и завладел им? Попы, когда распространились слухи о близком конце мира. Кто способствовал распространению этих слухов? Попы. Слух этот благоприятствовал их намерениям, они надеялись, что люди, охваченные паническим ужасом, будут иметь только одну (действительно важную) заботу — заботу о своем спасении. Жизнь, говорили им, вещь преходящая, истинным отечеством людей является небо — зачем же отдаваться земным привязанностям? Если подобные рассуждения не совсем отрывали от них мирянина, то они во всяком случае ослабляли в нем любовь к родным, к славе, к общественному благу и к отечеству. Герои тогда стали более редкими, а государи, охваченные надеждой обеспечить себе большее могущество на небесах, иногда уступали духовенству часть своей власти на земле. Попы завладели ею и, чтобы сохранить ее за собой, дискредитировали истинную славу и истинную добродетель. Они не могли потерпеть, чтобы почитали Минноса, Ликурга, Кодра, Аристида, Тимолеона — словом, всех защитников и

благодетелей своего отечества. Они выдвинули зато другие образцы. Они внесли другие имена в календарь, подставив вместо имен древних героев имена святого Антония, святого Криспина, святой Клары, святого Флакра, святого Франциска — словом, имена всех тех отшельников, которые, будучи опасными для общества примерами своих безумных добродетелей, удалились в монастыри и пустыни, чтобы бесполезно там прозябать и умирать²⁰.

При помощи таких образцов духовенство надеялось приучить людей считать жизнь каким-то кратким путешествием. Оно полагало, что тогда люди, утратив стремление к земным благам, не питая дружбы к тем, кого они встречали в своем странствовании, станут столь же равнодушны к собственному счастью и к счастью своих потомков. Действительно, если жизнь — какой-то ночлег, то зачем придавать столько значения земным вещам? Ведь путешественник не требует, чтобы починили стены гостиницы, где он должен провести только одну ночь.

Таким образом, для утверждения своего величия и удовлетворения своего честолюбия духовная и светская власти должны были во всех странах прибегать к совершенно различным средствам. Обе они, имея общую задачу воспитания народа, могли запечатлеть в сердцах и умах лишь противоречивые правды: в соответствии со стремлением одной — разжечь страсти, а другой — погасить их^а.

Я согласен с тем, что обе эти власти одинаково проповедуют добродетель. Но они не связывают с этим словом одного и того же значения. Современный Рим, находящийся под властью пап, не имеет, разумеется, того же представления о добродетели, какое имел о ней древний Рим в консульство первого из Брутов.

Заря разума начинает заниматься. Люди знают уже, что одни и те же слова не для всех представляют одни и те же понятия. Чего вследствие этого требуют они в настоящее время от автора? Чтобы он связывал ясные идеи с употребляемыми им выражениями. Царство темной схоластики может прекратиться, богословы, быть может, не всегда будут властвовать над народами и правительствами. Но в одном во всяком случае можно быть

^а Желать уничтожить у людей страсти — это желать уничтожить их деятельность. Богослов, хулящий страсти, подобен маятнику, издающемуся над приводящим его в движение механизмом, или следствию, не знающему своей причины.

уверенным. В том, что им не удастся сохранить свою власть при помощи тех средств, которыми они ее приобрели: времена и обстоятельства изменились. В настоящее время признают наконец необходимость страстей: знают, что с их сохранением связано сохранение государств. Действительно, страсти — это сильные желания, которые одинаковым образом могут соответствовать и противоречить общественному благу. Если скупость и нетерпимость — вредные и преступные страсти, то иное дело — желание прославиться талантами и патристическими добродетелями²¹. Уничтожая желания, уничтожают души, и всякий человек, лишенный страстей, не имеет в себе ни принципа действия, ни побуждений для деятельности.

Вы, католические священники, богаты и могущественны на земле, но могущество ваше может быть уничтожено вместе с могуществом наций, которыми вы управляете. Пусть они станут еще более забытыми, и нации эти, побежденные другими нациями, не будут уже подчиняться вам. В ваших же интересах, чтобы страсти и потребности продолжали оживлять человека. Чтобы заглушить их в нем, нужно было бы изменить его природу.

О достопочтенные богословы! О скоты! О братья мои! Откажитесь от этой смехотворной затеи; изучите человеческое сердце, исследуйте пружины, приводящие его в движение, и если вы не имеете еще ясных представлений о нравственности и политике²², то перестаньте обучать им. Гордость слишком долго вводила вас в заблуждение. Вспомните остроумную басню о рождении Момуса^{2*}. В момент своего появления на свет, говорит великий поэт, божественный младенец наполнил Олимп своими криками. Небесный двор был им оглушен. Чтобы успокоить ребенка, каждый сделал ему какой-нибудь подарок. Юпитер подарил Момусу человека, которого он только что создал, и с тех пор человек — всегда игрушка, кукла безумия.

Но среди кукол этого рода самой жалкой, самой тщеславной и самой смешной был доктор богословия²³. О богословская кукла! Не упорствуй в своем желании уничтожить страсти: они принципы жизни государства²⁴. Постарайся направить их к общему благу, попробуй начертать для этого план воспитания, простые и ясные принципы которого все устремлены к общественному благу.

Как далеки мы от плана подобного воспитания! Родители и воспитатели, расходясь в этом вопросе между

собою, одинаково не знают, чему они должны учить детей. У них имеются лишь смутные идеи о воспитании, и этим объясняется поразительная противоречивость всех их правил.

ГЛАВА X

ПРИМЕР ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ИДЕЙ ИЛИ ПРАВИЛ, ПОЛУЧЕННЫХ В РАННЕЙ МОЛОДОСТИ

Пусть меня простят, если, желая дать лучше понять противоречивость всех правил нашего воспитания, я вынужден буду допустить не совсем благородный тон, — этого требует тема моей книги. Противоречия эти особенно бросаются в глаза в монастырях, предназначенных для воспитания молодых девушек. Итак, войдем в монастырь. 8 часов утра. Это — время собеседования, когда в речи о стыдливости настоятельница доказывает, что воспитанница монастыря не должна никогда поднимать глаза на мужчину. Пробило 9 часов. В приемной появился учитель танцев. Держитесь как следует, говорит он своей ученице, подымите голову и глядите всегда прямо на своего партнера. Кому же верить: учителю танцев или настоятельнице? Воспитанница не знает этого и не приобретает ни того изящества, которое хочет воспитать в ней одна, ни той скромности, которую проповедует другая. Но чему приписать эти противоречия в воспитании, как не противоречивым желаниям родителей, чтобы их дочь была в одно и то же время и мила, и скромна, чтобы она соединяла с монастырским ханжеством театральную грацию? Они хотят примирить непримиримые вещи^а.

Возможно, что у одних только турок воспитание соответствует тому, что требуется у них от женщин²⁵.

Правила воспитания будут оставаться спорными и неопределенными до тех пор, пока их не свяжут с какой-нибудь единой целью. Какова же может быть эта цель? Наибольшее общественное благо, т. е. наибольшее удовольствие и наибольшее счастье наибольшего числа граждан.

Утрачивая из виду эту цель, родители начинают бесполезно путаться в вопросе о воспитании. Их руково-

^а Желают, чтобы девушка была правдивой и простодушной. Ей представляют жениха, он ей не нравится, и она говорит это. Это находят дурным. Таким образом, родители хотят, чтобы она была правдивой или лживой в зависимости от их заинтересованности в том, чтобы она была той или иной.

дителем становится одна только мода. От нее они узнают, что для того, чтобы сделать из своей дочери музыкантку, надо нанять ей учителя музыки; они не знают, что для того, чтобы дать ей ясное представление о добродетели, ей надо таким же образом нанять учителя нравственности.

Мать берет на себя заботу о воспитании своей дочери; утром, накладывая румяна, она говорит ей, что красота — ничто, что доброта и таланты — это все^а. В эту минуту кто-либо входит в будуар матери. Каждый повторяет девочке, что она красива; но за ее таланты^б и гуманность ее не похвалят даже один раз в год. Кроме того, единственными наградами, которые ей обещают за ее прилежание и ее добродетели, являются различные украшения. И в то же время хотят, чтобы девочка была равнодушной к красоте. Какую путаницу подобное поведение должно вносить в ее голову!

Не более последовательно воспитание молодого человека. Первая внушаемая ему обязанность — это соблюдение законов; вторая — нарушение их, если его оскорбляют: в случае оскорбления он должен под страхом бесчестия драться на поединке. Ему доказывают, что уважение на земле и небесную славу завоевывают благодаря услугам, оказанным отечеству. А на какие образцы для подражания указывают ему? На какого-нибудь монаха, на фанатика и бездельника-дервиша, нетерпимость которых привела к смутам и запустению государства.

Отец рекомендует своему сыну верность своему слову. Но вот появляется богослов и говорит этому сыну, что мы не связаны словом по отношению к врагам божьим; что Людовик XIV на этом основании отменил Папский эдикт, изданный его предками; что папа окончательно решил этот вопрос, объявив недействительным всякий договор, заключенный между еретическими и католическими государями, и предоставив последним право нарушить его, если они сильнее.

^а Пусть уверяют девушку, что без талантов нельзя выйти замуж, — на следующий день она узнает, что самая глупая из ее подруг сделала прекрасную партию, потому что имела большое приданое и потому что теперь женятся только на приданом.

^б Если девочку хвалят обыкновенно только за красоту, то это объясняется тем, что красота представляет действительно самое интересное и желанное качество той женщины, к которой приходят с визитом, не будучи ни мужем ее, ни другом, и тем, что у женщин мужчины бывают лишь с визитом.

Проповедник доказывает с кафедры, что христианский бог — это бог истины, что его последователей узнают по их ненависти ко лжи²⁶. Но только он сошел с кафедры, как он уже согласен с тем, что очень благоразумно умолчать об истине²⁷; сам он, прославляя истину, остерегается, однако, говорить ее²⁸. Действительно, человек, который написал бы в католических странах истинную историю своего времени, восстановил бы против себя всех почитателей этого бога истины²⁹. В подобных странах от преследований избавлены только немой, глупец или лгун.

Если какой-нибудь воспитатель благодаря своим заботам сумеет наконец внушить своему воспитаннику кротость и человечность, появляется духовник и говорит этому воспитаннику, что людям можно прощать их пороки, но не заблуждения; что в этом последнем случае снисходительность есть преступление и что следует сжигать всякого, кто думает не так, как он сам.

Невежество богослова и его противоречия с самим собой столь велики, что он выступает против страстей даже в тот самый момент, когда хочет побудить своего ученика к соревнованию. Он забывает тогда, что соревнование — это страсть, и, судя по результатам ее, даже очень сильная страсть.

Таким образом, все противоречиво в деле воспитания. Какова причина этого? Незнание истинных принципов этой науки, о которой люди имеют лишь смутные идеи. Нужно было бы просветить людей — попы этому противятся. Если истина засияет на минуту над их головами, то они затемняют ее лучи мраком своей схоластики. Заблуждение и преступление одинаково стремятся к темноте: первое — к темноте слов³⁰, второе — к тьме ночи. Впрочем, пусть не приписывают одной только теологии всех противоречий нашего воспитания. Имеются также противоречия, которыми мы обязаны порокам правительства. Как убедить юношу быть верным, быть честным в обществе и уважать чужие секреты, если даже в Англии правительство под самым ничтожным предлогом вскрывает письма частных лиц и нарушает публичное доверие? Как надеяться внушить ему отвращение к доносу и шпионству, если он видит, что шпионы находятся в почете, получают пенсии и осыпаются наградами?

Желают, чтобы по выходе из школы молодой человек бывал в свете, держал себя там хорошо, чтобы он оста-

вался целомудренным. Но неужели в тот самый момент, когда потребность любить дает себя чувствовать особенно сильно, молодой человек сможет остаться нечувствительным к прелестям женщины^а, не испытывая никаких желаний? Неужели отцы могут быть настолько глупы и думать, что в то время, когда правительство строит оперные театры, когда обычай открывает доступ туда молодежи, последняя будет думать о своем целомудрии и останется равнодушной к зрелищу, в котором восторги, удовольствие и могущество любви изображены самыми яркими красками и во время которого эта страсть проникает в наши души через все органы чувств^б.

Я никогда не кончил бы, если бы захотел привести список всех противоречий европейского, и в особенности папистского, воспитания^{1*}. Каким образом распознать в тумане его предписаний тропу добродетели? Не удивительно, что католики часто удаляются от нее. Не имея твердых принципов в этом вопросе, они поэтому обязаны своими пороками или своими добродетелями положению, в котором они находятся, книгам, друзьям и, наконец, любовницам, доставляемым им случаем. Но разве нет средства сделать воспитание человека более независимым от случая? И каким образом добиться этого?

Учить только истине. Заблуждение всегда противоречит себе, истина — никогда.

Не поручать воспитание граждан двум различным властям с противоположными интересами, которые всегда будут учить двум противоречивым системам нравственности³¹.

^а Предположим, что действительно захотели бы охладить у молодых людей любовные желания. Что же нужно сделать для этого? Ввести энергичные физические упражнения и внушить молодежи вкус к ним. Физические упражнения являются в этом случае действенной проповедью. Чем больше поту, чем больше затрат животной энергии, тем меньше остается силы для любви. Холодность и равнодушие к женщинам у канадских дикарей зависят от усталости и истощения их во время долгих и утомительных охот.

^б Пусть не думают на основании этих слов, будто я желаю уничтожить театры, оперы или комедии. Я критикую здесь лишь противоречие между нашими обычаями и действующими правилами нравственности. Я не враг театральных зрелищ и не придерживаюсь в этом вопросе взглядов Руссо. Театральные зрелища представляют, несомненно, удовольствие. Но нет такого удовольствия, которое не могло бы стать в руках мудрого правительства принципом, творящим добродетель, если оно служит наградой последней.

В силу какой роковой необходимости, могут спросить, почти все народы поручили нравственное воспитание своей молодежи духовенству? Что представляет собой нравственность папистов? Грудю суеверий. Между тем нет такой вещи, которой не добилось бы духовенство с помощью суеверия. Благодаря суеверию оно лишает правителей их авторитета и королей их законной власти; благодаря ему оно подчиняет себе народы и приобретает власть над ними, часто стоящую выше законов; словом, благодаря ему оно губит даже принципы нравственности. Какое же есть средство против этого зла? Только одно: заново и целиком перестроить эту науку. Нужно было бы, чтобы прониклись новым духом при формировании ее новых принципов и чтобы все стремились к общественному благу.

Пора, чтобы правители (Magistrats) в качестве священнослужителей нравственности основали ее на простых, ясных, соответствующих общему интересу принципах, о которых все граждане могли бы составить себе одинаково правильные и точные представления. Но возникает вопрос: соответствует ли простота и единообразие этих принципов различным страстям людей?

На это нужно ответить: желания людей могут быть различными, но их взгляд на вещи по существу одинаков: они поступают дурно, но видят хорошо. Все люди рождаются со здоровым умом, все видят истину, когда им ее ясно показывают. Что касается молодежи, то она тем более жадно стремится к истине, чем меньше она привыкла к компромиссам и чем меньше у нее интереса видеть предметы отличными от действительности. Не так легко удастся испортить ум молодых людей. Для этого нужно использовать всю терпеливость и все искусство теперешнего воспитания, но все же время от времени эти молодые люди замечают благодаря природному уму ложность взглядов, которыми загружают их память. Почему же они не изгоняют их из нее, заменив их новыми идеями? Потому что подобная перемена в идеях требует времени и усилий, а задача эта слишком тягостна для большинства людей, которые часто сходят в могилу, не приобретя отчетливых и точных идей о добродетели.

Когда у людей будут здоровые идеи о добродетели? Когда религиозная система соединится с системой блага нации, когда религии, эти обычные орудия честолюбия и духовенства, станут орудием общего блага. Возможно ли

вообразить себе такую религию? Исследование этого вопроса заслуживает внимания мудрых людей. Поэтому я остановлюсь мимоходом на ложных религиях.

ГЛАВА XI О ЛОЖНЫХ РЕЛИГИЯХ

«Всякая религия, — говорит Гоббс, — основывающаяся на страхе перед невидимой силой, есть вымысел, который в случае признания ее каким-нибудь народом называется религией, а в случае непризнания ее этим самым народом называется суеверием». Девять воплощений Вишну — это религия в Индии и вымысел в Нюрнберге.

Я не стану опираться на это определение, чтобы отрицать истинность религии. Если я буду верить своей няне и своему воспитателю, то всякая чужая религия будет для меня ложна; только моя — истинна^а.

Но считает ли ее такой весь мир? Нет. Земля стонет еще под тяжестью множества храмов, посвященных заблуждению. Нет такого заблуждения, которое не было бы религией в каких-нибудь странах.

История Нумы, Зороастра, Магомета и многих основателей современных религий показывает нам, что все религии можно рассматривать как политические учреждения, оказывающие большое влияние на благо народов. И так как человеческий дух создает еще время от времени новые религии, я думаю, что для того, чтобы сделать их возможно менее пагубными, важно указать плац, которому нужно следовать при создании их.

Все религии ложны, за исключением христианской религии, но и ее я не смешиваю с папизмом.

ГЛАВА XII ПАПИЗМ ЕСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

В глазах здравомыслящего человека папизм — чистое идолопоклонство³². Римская церковь, несомненно, видела в религии лишь человеческое учреждение, когда она дала

^а Может быть, это утверждение покажется нелепым, но я разделяю эту нелепицу со всеми другими людьми. Эта смешная слабость является у меня, как и у них, результатом гордости. Если каждый считает свою религию лучшей, то это потому, что каждый говорит себе: кто не думает так, как я, тот ошибается. Я повторяю это, подобно другим.

ей скандальное употребление, сделав ее орудием своей жадности и своего величия; когда она воспользовалась ею, чтобы содействовать преступным планам пап и придать законный характер их жадности и честолюбию. Но, говорят паписты, эти обвинения клеветнические.

Чтобы доказать истинность их, я спрошу: правдоподобно ли, чтобы главы монашеских орденов считали религию божественной, когда для обогащения себя и своих монастырей они запрещали монахам хоронить на священной земле всякого, кто умер, ничего им не оставив? Были ли они сами одурачены общепринятым верованием, когда завладевали³³ имуществом, которое они должны были распределить в качестве управителей домов для бедных? Действительно ли папы думали, что они поступают справедливо и смиренно, когда взялись за распределение областей Америки, на которые у них не было никаких прав; когда демаркационной линией они разделили эту часть света³⁴ между испанцами и португальцами^{1*}; когда они, наконец, рассчитывали повелевать государям, распоряжаться произвольно их светской властью и их тронами?

О паписты, подумайте о том, каким было поведение вашей церкви во все времена! Она была заинтересована в том, чтобы содержать во всех государствах римские гарнизоны и привязать к себе множество людей (в этом заинтересованы все честолюбивые секты). Она учредила большое число религиозных орденов, построила и обеспечила доходом множество монастырей. Наконец, она ловко добилась того, чтобы это духовное воинство содержали нации, у которых она его учреждала.

Желая по тем же самым мотивам увеличить численность белого духовенства, она увеличила число таинств. Народы, чтобы добиться приобщения к ним, были вынуждены увеличить у себя число священников, которое вскоре сравнялось по численности с египетской саранчой. Подобно последней, они пожирали жатвы. И это белое и черное духовенство содержалось за счет католических народов. Чтобы еще крепче связать это духовенство с церковными интересами и безраздельно пользоваться его привязанностью, церковь допустила далее, чтобы ее священники — эти вынужденные холостяки — жили без жен, без детей, но зато в роскоши и довольстве, которые составляли их с каждым днем все более дорожить своим состоянием. Но это еще не все. Чтобы увеличить свое богатство и свое могущество, римская церковь стала со-

бирать под названием лепты святого Петра или под другими названиями налоги во всех государствах. С той же целью она учредила банк по меновым операциям между небом и землей и под названием индульгенций заставляла оплачивать наличными деньгами на этом свете векселя, выдаваемые прямо в рай.

Мы видим, что духовенство во все времена постоянно жертвовало добродетелью ради желания величия и богатства; что, изучая историю политики, честолюбия, нравов, наконец, поведения пап, мы находим его весьма отличными от поведения, приписываемого Евангелием. В таком случае можно ли думать, что те, кто вершил делами этой религии, видели в ней нечто иное, чем средство захватить власть и богатства на земле? ³⁵ Всякий протестант может, я думаю, на основании нравов и поведения монахов, духовенства и первосвященников показать в оправдание своей веры для блага народов, что папизм всегда был лишь чисто человеческим учреждением.

Но почему религии носили до сих пор только местный характер? Нельзя ли представить себе такой религии, которая стала бы универсальной?

ГЛАВА XIII ОБ УНИВЕРСАЛЬНОЙ РЕЛИГИИ

Универсальная религия может основываться только на принципах вечных, неизменных и таких, которые, будучи, подобно теоремам в геометрии, доступны самым строгим доказательствам, заимствуются из самой природы человека и вещей. Существуют ли такие принципы? Могут эти принципы, когда их узнают, одинаково быть пригодными для всех народов? Несомненно, да, а если они изменяются, то лишь в некоторых из своих приложений к различным странам, в которых случайно оказались различные народы.

Но какой первый и самый священный из принципов или законов, пригодный для всех обществ? Тот, который обеспечивает каждому право на его имущество, жизнь и свободу.

Если человек не уверен в том, что его земля — его собственность, то он не обрабатывает своего поля, не возделывает своего виноградника. В этом случае народ вскоре становится жертвой голода и гибнет от него. Если собственник не уверен в своей жизни и своей свободе, то, на-

ходясь вечно в страхе, он теряет мужество и мастерство. Заботясь только о личном самосохранении и о самом себе, он не обращает своих взглядов вовне, не изучает науки о человеке, не наблюдает ни желаний, ни страстей его. Между тем, только обладая предварительно этим знанием, можно найти в нем наиболее соответствующие общему благу законы.

В силу какой роковой необходимости эти законы, столь нужные для обществ, все еще неизвестны им? Почему небо не раскрыло им их? Небо, отвечу я на это, хотело, чтобы человек способствовал своему счастью своим разумом и чтобы в многолюдных обществах³⁶ лучший образец превосходного законодательства был, подобно шедеврам других наук, продуктом опыта и гения.

Бог сказал человеку: я создал тебя, я дал тебе пять чувств, я наделил тебя памятью и, следовательно, разумом; я хотел, чтобы твой разум, подстрекаемый сперва нуждой, затем просвещенным опытом, заботился о своем пропитании, научил тебя оплодотворять землю, совершенствовать орудия ее возделывания и наконец научил тебя всем наукам, удовлетворяющим основным потребностям; я хотел, чтобы, совершенствуя этот разум, ты достиг знания моих нравственных требований, т. е. своих обязанностей по отношению к обществу, способов поддержать в нем порядок, наконец знания наилучшего возможного законодательства.

Вот единственный культ, до которого я хочу, чтобы человек возвысился, единственный, который может стать универсальным, единственный достойный бога, отмеченный его печатью и печатью истины. Всякий другой культ носит на себе печать человека, печать плутовства и лжи. Воля справедливого и благого бога заключается в том, чтобы сыны земли были счастливы и пользовались всеми удовольствиями, совместимыми с общественным благом.

Таков тот истинный культ, который философия должна раскрыть народам. В подобной религии нет иных святых, кроме благодетелей человечества, кроме Ликургов, Солонов, Сиднеев^{1*}, кроме изобретателей какого-нибудь искусства, какого-нибудь нового удовольствия, согласного, однако, с общим интересом. И наоборот, в ней нет никаких иных отверженных, кроме людей, наносящих вред обществу, и злобных врагов его удовольствий.

Смогут ли священники стать когда-нибудь апостолами такой религии? Их интересы препятствуют этому. Туман,

заволакивающий принципы нравственности и законодательства (относящихся по существу к одной и той же науке), наваяв их политикой.. Отныне, лишь разрушив большинство религий, можно заложить в государствах основы здоровой нравственности. Дай боже, чтобы священники, преисполнившись благородного честолюбия, отыскали в принципах организации человека неизменные законы, на которых следует в соответствии с желанием природы и неба построить счастье общества; дай боже, чтобы религиозные системы могли стать охраной общественного счастья! Тогда охрана его была бы поручена священникам. Их слова и величие были бы основаны на общественной признательности. Они могли бы говорить себе каждый день: благодаря нам смертные счастливы. В действительности же такое величие, столь длительная слава кажутся им жалкими и ничтожными. О служители алтаря, вы могли бы стать предметом обожания просвещенных и добродетельных людей, но вы предпочли повелевать суеверным и рабам, вы стали ненавистным добрым гражданам, вы — язвы народов, орудие их бедствий и разрушители истинной нравственности.

Единственная истинная религия — это нравственность, основанная на истинных принципах. Однако нашлись люди, ненасытная доверчивость которых³⁷ могла удовлетвориться мистической религией. Пусть поклонники чудесного знают по крайней мере, установление какой из религий этого рода будет наименее пагубным для народов.

ГЛАВА XIV

ОБ УСЛОВИЯХ. БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ РЕЛИГИЯ СТАНОВИТСЯ ПАГУБНОЙ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГА

Религия, проявляющая нетерпимость, религия, требующая огромных расходов для своего культа, есть, бесспорно, вредная религия. С течением времени ее нетерпимость должна повлечь за собой обезлюдение государства, а ее слишком дорогой культ — разорить его³⁸. Есть такое католическое государство, где насчитывают почти 15 тысяч монастырей, 12 тысяч припостов, 15 тысяч часовен, 1300 аббатств, 90 тысяч священников, обслуживающих 45 тысяч приходов; где насчитывают, кроме того, бесчисленное множество аббатов, семинаристов и духовных лиц всякого рода. В совокупности их имеется по

крайней мере около 300 тысяч человек! ^a На расходуемые на них суммы можно было содержать значительный флот и сухопутную армию. Столь обременительная для государства религия ³⁹ не может оставаться в течение долгого времени религией просвещенного и цивилизованного королевства ⁴⁰. Народ, подчиняющийся ей, трудится только для содержания в роскоши и довольстве священнослужителей. И каждый из его граждан есть лишь крепостной духовенства.

^a В стране, где насчитывается 300 тысяч разных кюре, епископов, прелатов, монахов, священников, каноников и т. д., расходы на жилище, отопление, пищу, одежду и т. д. каждого такого попа должны в среднем обходиться государству ежедневно в 1 экю. Но чтобы иметь необходимые для этого деньги, какие огромные суммы должно взимать с народа духовенство в виде земельных участков, рент, десятин, пенсий, плат за обедни, постройки зданий, ремонта церковных зданий и часовен, садовых участков, сокровищниц приходов и братств, церковных украшений, серебра, милостынь, сдачи в наем церковных стульев, крестов, пожертвований, свадеб, похорон, служб, сборов подаяний, отпущений грехов, оплаты проповедников, миссий и т. д.!

Одной только десятины духовенство взимает с обрабатываемых земель государства почти столько же, сколько все его собственники. Во Франции арпан возделываемой земли, арендуемый за 6 или 7 ливров, приносит почти 20 или 22 минно (minots) зерна по четыре на сетье ^{1*}. Попы взимают с них в виде своей десятины 2 минно. Стоимость этих 2 минно равняется в среднем 9 или 10 ливрам. Кроме того, попы получают 50 охапок соломы стоимостью 6 ливров, а также десятину с ячменя и с его соломы стоимостью 40 или 50 су, а в общем 17 ливров 10 су. Эту сумму попы получают три года с того же самого арпана земли, с которого собственник получает лишь 18 или 21 ливр, причем из названной суммы этот собственник должен выплачивать десятую часть, содержать свою ферму, нести на себе бремя бездоходной земли, прекращение платежей фермером и натуральные дорожные повинности.

На основании этих вычислений можно судить о колоссальных богатствах духовенства. Если принять общее число попов в 200 тысяч, то содержание их все же должно обходиться в 600 тысяч ливров в день и, следовательно, в 210 миллионов в год. Но какие флот и сухопутную армию можно было бы содержать на такие деньги! Таким образом, мудрое правительство не может быть заинтересовано в сохранении столь разорительной и столь обременительной для его подданных религии. В Австрии, Испании, Баварии и, может быть, даже во Франции попы (за вычетом процентов, уплачиваемых рантье) богаче, чем государи.

Как бороться с этим злом? Для этого есть лишь одно средство: уменьшить число попов. Но существуют такие религии (как, например, католическая), в которых само отправление культа предполагает большое их число. В этом случае надо изменить этот культ и по крайней мере уменьшить число обрядов. Чем меньше будет попов, тем меньше потребуется денег для содержания их.

Чтобы религия была хороша, она должна недорого стоить⁴¹ и отличаться терпимостью. Ее духовенство не должно иметь никакой власти над гражданами. Страх перед попами унижает ум и душу, доводит ум до оупения, душу до низости. Неужели служители алтарей всегда будут вооружены мечом? Можно ли игнорировать злодеяния, совершенные благодаря их нетерпимости? Сколько крови было из-за нее пролито! Земля все еще пропитана ею. Для обеспечения мира между народами недостаточно гражданской терпимости; духовенство тоже должно стремиться к этой цели. Всякий религиозный догмат — это зародыш преступлений и раздоров между людьми. Какая же религия поистине отличается терпимостью? Или та, которая, подобно языческой религии, не имеет никаких догматов, или же та, которая, как у философов, сводится к здоровой и возвышенной нравственности и которая, несомненно, станет когда-нибудь религией всего мира.

Помимо того нужно, чтобы религия была кроткой и гуманной, чтобы ее обряды не имели в себе ничего печального и сурового, чтобы она повсюду представляла пышные зрелища и приятные празднества⁴², чтобы отправление ее культа вызывало страсти, но страсти, направленные на общее благо. Религия, заглушающая страсти, рождает талапуэзов, бопз, браминов, но никогда не рождает героев, знаменитых людей и великих граждан.

Если религия является радостной, то ее радостный характер предполагает благородное доверие к благости верховного существа. Зачем превращать последнего в восточного тирана, изображать его осуждающим на вечные муки за ничтожные поступки? Зачем ставить, таким образом, пмя божества под портретом дьявола? Почему

Но — скажут — эти деньги священны. Почему? Не потому ли, что они в некоторой своей части отняты у бедных? Ведь духовенство является лишь хранителем их. Поэтому оно может брать из них лишь деньги, абсолютно необходимые для содержания управления. Замечу даже в связи с этим вопросом, что так как светская власть специально обязана заботиться о земном счастье народов, то она вправе взять на самое себя управление имуществом, завещанным бедным, и вступить во владение всеми суммами, украденными монахами у бедных. Как употребить эти суммы? Да использовать их действительно для облегчения судьбы несчастных, для милостыни или путем уменьшения налогов, или путем приобретения мелких участков земли: раздача их тем, кого несчастье лишило этих сумм, сделала бы последних вновь гражданами, сделав их собственниками.

нужно сжимать души тяжестью страха, разрушать их движущие силы и из поклонника Иисуса делать жалкого и малодушного раба? Только злые люди пзображают бога злым. Что представляет собой их набожность? Покров для их преступлений.

Религия сама отдаляет себя от политической цели, которую она себе ставит: человек, справедливый и гуманный по отношению к своим ближним, человек с выдающимися талантами и добродетелями не уверен в благосклонности неба — минутное желание, вспышка гнева или непосещение обедни могут навсегда лишить его этой благосклонности.

Небесные награды не должны быть в религии наградой за какие-то мелкие обряды, дающие жалкое представление о всевышнем и ложное представление о добродетели. Это воздаяние не должно быть наградой за пост, за ношение власяницы, слепое послушание и соблюдение дисциплины.

Человек, считающий эти обряды добродетелями, с таким же правом может считать добродетелями искусство прыгать, танцевать, ходить по канату. Что за дело народам до того, что какой-нибудь молодой человек бичует себя или совершает опасный прыжок!

Если некогда обожествляли лихорадку, то почему до сих пор еще не сделали божественным общественное благо? Почему это божество не имеет еще своего культа, своих священников? ⁴³ Почему, наконец, нужно выдавать самоотречение за возвышенную добродетель? Только гуманность является в человеке единственной и подлинно возвышенной добродетелью; это первая и, быть может, единственная добродетель, которую религии должны внушать людям: она заключает в себе почти все прочие добродетели.

Пусть в монастырях почитают смирение: оно благоприятствует низости и лености монахов ⁴⁴. Но должно ли это смирение быть добродетелью народа? Нет. Благородная гордость всегда была добродетелью благородного народа. Лишь презрение греков и римлян к рабским народам, лишь справедливое и гордое сознание при своей силе и своего мужества совместно с их законами подчинили им весь мир. Скажут, что гордость привязывает человека к земле. Тем лучше, значит, гордость по-своему полезна. Религия должна не осуждать, но укреплять в человеке привязанность к земным делам. Всякий гражда-

нин должен заботиться о счастье, славе и могуществе своего отечества; религия должна прославлять всякое действие, направленное к пользе наибольшего числа людей, освящать всякое полезное установление и никогда не уничтожать его; интересы духовной и светской властей должны быть всегда одними и теми же; пусть, как в Риме, обе эти власти будут объединены в руках правителей⁴⁵; пусть голос неба станет голосом общественного блага и пусть прорипания богов подтверждают всякий закон, выгодный для народа.

ГЛАВА XV

КАКИЕ ИЗ ЛОЖНЫХ РЕЛИГИЙ БЫЛИ НАИМЕНЕЕ ВРЕДНЫ ДЛЯ БЛАГА ОБЩЕСТВА?

Первая, на которую я укажу, — это языческая религия. Но во время своего установления эта мнимая религия была, собственно говоря, лишь аллегорическим выражением системы природы. Сатурн — это было время, Церера — материя, Юпитер — творческий дух⁴⁶. Все басни мифологии были лишь изображениями некоторых начал природы. Если рассматривать мифологию как религиозную систему, то так ли было нелепо^a почитать под различными именами разные атрибуты божества?

Чему поклонялись в храмах Минервы, Венеры, Марса, Аполлона и Фортуны? Юпитеру, которого по очереди рассматривали как мудрого, красивого, сильного, освящающего и оплодотворяющего Вселенную? Разве более разумно строить храмы верховному существу под названиями св. Евстахия, св. Мартина или св. Роха? Но, скажут, язычники преклоняли колени перед деревянными или каменными статуями. Католики поступают таким же образом, и если судить по внешним признакам, то часто они почитают своих святых больше, чем всевышнего.

Впрочем, допускаю, что языческая религия была действительно самой нелепой. Вредно, если религия нелепа: ее нелепость может иметь пагубные следствия. Однако это еще не худшее из всех зол; если ее принципы не совсем губельны для общественного блага, а ее правила могут согласоваться с законами и с общей пользой, то она еще не так дурна, как другие.

^a Мы удивляемся нелепостям языческой религии. Нелепости папистской религии будут когда-нибудь еще больше удивлять наших потомков.

Такой была языческая религия. Никогда она не ставила препятствий планам законодателя-патрота. Она не имела догматов и вследствие этого отличалась гуманностью и терпимостью. Между ее приверженцами не возникало никаких раздоров, никаких войн, которых не могло бы предупредить самое легкое внимание правителей. Кроме того, отправление ее культа не требовало большого числа жрецов и не было неизбежным бременем для государства.

Боги-лары и домашние боги удовлетворяли повседневное благочестие частных лиц. Для национального же благочестия было достаточно нескольких храмов, возведенных в больших городах, нескольких коллегий жрецов, нескольких пышных празднеств. Празднества эти, которые устраивались в такое время года, когда конец полевых работ позволял поселянам отправиться в города, становились для них удовольствием. Как ни пышны были эти празднества, они были редкими и не требовали больших расходов. Таким образом, языческая религия не имела по существу ни одного из недостатков папизма.

Кроме того, эта религия чувств была как бы специально создана для людей: она была особенно способна производить те сильные впечатления, которые иногда необходимо вызывать законодателю. Благодаря ей воображение, находившееся всегда в действии, подчиняло всю природу власти поэзии, оживляло все части Вселенной, одухотворяло все.

Вершины гор, просторы равнин, лесные чащи, истоки рек, морские глубины были населены ореадами, фавнами, нимфами, гамадриадами, тритонами, nereпдами^{1*}. Боги и богини жили в сообществе со смертными, принимали участие в их празднествах, в их войнах, их любовных историях. Нептун отправлялся на пиршество к царю Эфиопии; красавицы и герои занимали места среди богов; Латона^{2*} имела свои алтари; обожествленный Геркулес взял в супруги Гебу. Менее знаменитые герои жили в Елисейских полях и рощах. Эти поля, украшенные в дальнейшем пылким воображением пророка, который принес туда гурий, были местопребыванием воинов и людей, прославившихся во всех областях. Там Ахилл, Патрокл, Аякс, Агамемнон и все воины, сражавшиеся под стенами Трои, продолжали заниматься военными упражнениями; там Пиндары и Гомеры продолжали прославлять олимпийские игры и подвиги греков.

Все виды упражнений и поэтических гимнов, которыми герои и поэты занимались на земле, наконец, все усвоенные ими на земле вкусы сопровождали их в загробном царстве. Их смерть была, собственно говоря, лишь продолжением их жизни.

При наличии этой религии каковы должны были быть наиболее сильное желание, наиболее могущественный интерес язычников? Это было желание служить отечеству своими талантами, мужеством, честностью, благородством и добродетелями. Им важно было стать дорогими для тех, с кем они должны были после своей смерти продолжать жить в загробном царстве. Эта религия не только не угасала энтузиазм, вызываемый мудрым законодательством по отношению к добродетели и талантам, но, наоборот, еще более возбуждала его. Убежденные в полезности страстей, древние законодатели не ставили себе цели подавлять их. Кого можно найти среди народа, не имеющего желаний? Купцов, полководцев, солдат, писателей, талантливых министров? Нет, только монахов.

Народ, не имеющий предприимчивости, мужества, богатства, науки, — прироченный раб всякого соседа, достаточно смелого, чтобы наложить на него оковы. Людям нужны страсти, и языческая религия не угасала в них священного и животворного их огня.

Быть может, еще религия скандинавов, мало отличавшаяся от религии греков и римлян, более действенно толкала людей на путь добродетели. Слава была богом этих народов. Лишь от этого бога граждане ожидали себе награды. Каждый хотел быть сыном славы. Каждый почитал бардов, как распределителей славы и как жрецов храма молвы^а. Воины и даже государи страшились молчания бардов. Презрение было уделом всякого, кто не был сыном славы. Язык лести был тогда еще чужд поэтам. Суровые и неподкупные жители свободной страны, они не дошли еще до подлых и низких дифирамбов. Никто из них не осмелился бы прославить имя, которое не было бы уже освящено общественным уважением. Чтобы добиться этого уважения, надо было оказать услуги отечеству. Таким образом, сильное религиозное желание бессмертной славы

^а Неоценимы преимущества этой религии над другими: она вознаграждает лишь таланты и поступки, полезные для отечества; между тем в других религиях рай является наградой за посты, отшельничество, умерщвление плоти и добродетели, столь же нелепые, сколь и бесполезные для общества.

побуждало людей прославляться своими талантами и своими добродетелями. Каких только выгод не могла бы доставить народу подобная религия, притом более чистая, чем языческая!

Но каким образом установить такую религию в образовавшемся уже обществе? Известно, как велики привязанность народа к своему культу, к своим богам и его отвращение к новому культу. Каким образом изменить в этом отношении общепринятые взгляды?

Но по-видимому, это легче сделать, чем думают. Если у народа разум в почете, то он заменит религией славы всякую другую религию. Если бы он заменил ее лишь деизмом, то и тогда какое благодетельное он оказал бы этим человечеству! Но, спросят, долго ли сохранится в чистоте культ божества? Ведь народ груб, и суеверие является его религией. Храмы, воздвигнутые всевышнему, вскоре были бы посвящены различным его совершенствам; невежество сделало бы из них ряд богов. Пусть будет так, пусть правители в это не вмешиваются. Но когда дело дойдет до этих пределов, тот же правитель должен, следя внимательно за ходом развития невежества и особенно суеверия, не терять его из вида; он должен узнать его, какую бы форму оно ни приняло; он должен противиться установлению какого бы то ни было религиозного догмата, каких бы то ни было принципов, противных принципам здоровой нравственности, т. е. общественной пользе.

Всякий человек ревнив к славе. Если правитель будет объединять в своем лице, как в Риме, функции сенатора и служителя алтаря⁴⁷, то священник будет в нем всегда подчинен сенатору и религия будет всегда подчинена общественному благу.

Аббат де Сен Пьер сказал: священник может быть действительно полезным только в качестве служителя нравственности. Но кто лучше правителя может выполнять эту благородную функцию? Кто лучше его может объяснить и побуждения общего интереса, на которых основываются частные законы, и неразрывные узы, соединяющие благо индивидов с общим благом?

Какое огромное влияние должно было бы оказывать на умы нравственное воспитание, даваемое сенатом! С каким уважением народы принимали бы его решения! Только от законодательного корпуса можно ожидать благотворной религии, которая, недорого стоя и проявляя терпимость, сообщала бы о божестве лишь великие и благород-

ные идеи, зажигала бы в душах лишь любовь к талантам и добродетелям и, подобно законодательству, имела бы своей целью только счастье народов.

Если просвещенные правители облечены духовной и светской властью, то всякое противоречие между религиозными и патристическими предписаниями должно исчезнуть. Все граждане должны тогда усвоить одни и те же нравственные принципы и составить себе одно и то же представление о науке, изучение которой одинаково важно для всех.

Быть может, пройдет несколько веков, прежде чем удастся произвести в ложных религиях изменения, требуемые благом человечества. Что будет до того момента? У людей будут лишь смутные идеи о нравственности, идеи, которыми они будут обязаны различию в своем положении и случаю, который, не ставя никогда двух человек в точно одно и то же положение, никогда не позволит им получить одно и то же воспитание и приобрести одни и те же идеи. Отсюда я делаю вывод, что наблюдаемое в настоящее время неравенство между умами различных людей нельзя считать доказательством их неравных умственных способностей.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Наука о человеке — это наука мудрецов. Интриганы думают, что они в этом отношении выше философа. Действительно, они лучше его знают окружение министра и поэтому имеют самое высокое мнение о своих заслугах. Но если они желают, чтобы их оценили, то пусть напишут книгу о человеке, пусть попробуют опубликовать свои мысли. То, как отнесется к этому публика, покажет им, как они должны относиться к самим себе.

² Министр знает лучше философа подробности дел. Его знания в этой области обширнее; но у философа больше досуга для того, чтобы изучить человеческое сердце, и он знает его лучше, чем министр. Оба они ввиду того, что области их знаний различны, предназначены дополнять друг друга. Влиятельный человек, желающий блага людям, должен быть другом и покровителем науки. До запрещения печатать в Париже что-нибудь иное, кроме катехизисов и альманахов, Франция была обязана своим вывозом зерна многочисленным брошюрам знающих людей. Ученые доказали выгоду его. Находившийся тогда во главе финансового ведомства министр воспользовался их указаниями.

³ До какой бы степени совершенства ни довели воспитание, не следует думать, будто можно сделать гениальных людей из каждого, кто способен получить это воспитание. С помощью воспитания можно вызвать соревнование между гражданами, приучить их к вниманию, раскрыть их сердца для гуманности, а их ум —

для истины и сделать в конце концов из всех граждан если не гениальных, то по крайней мере здравомыслящих и чувствующих людей. Как я докажу в дальнейшем ходе изложения, это все, чего может добиться усовершенствованная наука воспитания. Но и этого достаточно. Народ, состоящий в основном из подобных людей, был бы, бесспорно, первым народом в мире.

⁴ В Вене, Париже, Лиссабоне и во всех католических странах позволяют продавать оперы, комедии, романы и даже некоторые хорошие книги по геометрии и медицине. Выдающиеся произведения из других областей знания — произведения, считающиеся таковыми во всей остальной Европе, — здесь запрещены. К ним относятся книги таких авторов, как Вольтер, Мармонтель, Руссо, Монтескье и т. д. Во Франции одобрение цензора является для автора почти всегда свидетельством глупости. Оно свидетельствует о том, что у книги не будет врагов, что о ней с самого начала отзовутся хорошо, потому что о ней не нужно будет думать, потому что она не вызовет зависти, не оскорбит ничьей гордости и будет повторять лишь то, что знают все. Всеобщая похвала в данный момент почти всегда исключает в будущем похвалу потомства.

⁵ Схоласт, говорит английская поговорка, попросту осел, который не обладает ни кротостью истинного христианина, ни разумом философа, ни приветливостью придворного и представляет собою лишь смешное существо.

⁶ К чему сводится наука схоластов? К тому, чтобы злоупотреблять словами и делать значение их неопределенным. Некогда волшебники возводили и разрушали волшебные замки или по крайней мере видимость их с помощью некоторых варварских слов. Схоласты, наследники могущества древних волшебников, аналогичным образом придавали с помощью некоторых непонятных слов видимость науки самым вздорным фантазиям. Единственное средство уничтожить их колдовство — это спросить у них, каково точное значение слов, которыми они пользуются. Как только они вынуждены связать с ними ясные идеи, чары прекращаются и престиж науки рассеивается. Пусть же не доверяют всякому сочинению, в котором слишком часто пользуются схоластической терминологией. Для человека с ясными идеями почти всегда достаточно обыкновенного языка. Тот, кто хочет учить людей, а не обманывать их, должен говорить на их языке.

⁷ Мало стран, в которых изучают науку о нравственности и о политике. Молодым людям редко позволяют тратить свои умственные силы на подобного рода вопросы. Духовенство не желает, чтобы они усвоили привычку рассуждать. Слово *разумный* стало в настоящее время синонимом слова *неверующий*. Духовенство, очевидно, предполагает, что мотивы, говорящие в пользу веры, — подобно крылышкам, приданным Меркурию, — слишком слабы для того, чтобы поддерживать ее. «Чтобы быть философом, — говорит Мальбранш, — надо яснее видеть, а чтобы быть правоверным, надо слепо верить». Мальбранш не замечает, что из своего правоверного он делает глупца. Действительно, в чем заключается глупость? В том, чтобы верить, не имея достаточных мотивов для этого. В связи с этим мне укажут на веру угольщика ¹. Но он находился в особенном положении: он говорил с богом, бог изнутри просвещал его. Поэтому всякий человек, который, не будучи этим угольщиком, хвалится своей слепой верой

и поддакиванием чужим словам, — это человек, который гордится своей глупостью.

⁸ Очень хорошо, если немного забавляются изображением смешного. Всякая хорошая картина этого рода предполагает много ума у нарисовавшего ее художника. Общество обязано ему признательностью и похвалой в соответствии со злом, от которого его избавляет высмеивание тех или иных недостатков. Но нация, которая придавала бы большое значение подобной услуге, сделала бы сама себя смешной. «Какое имеет значение, — говорит один англичанин, — что у такого-то буржуа странный нрав, что такой-то щеголь носит пзысканные костюмы, наконец, что такая-то кокетка жеманится? Она может покрывать румянами, белилами, мушками свое лицо и спать со своим любовником, не покушаясь на мою собственность и не нанося ущерба моей торговле. Докучный шелест непрерывно раскрывающегося и закрывающегося всера не потрясает нашей конституции». Народ, уделяющий слишком много внимания кокетству какой-нибудь женщины или фатовским замашкам какого-нибудь щеголя, несомненно, легкомысленный народ.

⁹ Все народы упрекали французов в легкомыслии. «Если француз, — говорил некогда де Савиль ^{2*}, — так легкомыслен, испанец так важен и суеверен, англичанин так серьезен и глубокомыслен, то это объясняется различной формой их правления. В Париже должен обосноваться человек, интересующийся драгоценностями и любящий поговорить, не сказав по существу ничего; в Мадриде или Лиссабоне должен поселиться всякий, кто любит налагать на себя церковную дисциплину и смотреть, как сжигают его ближних, и в Лондоне, наконец, должен жить всякий, кто хочет мыслить и пользоваться способностью, которая прежде всего отличает человека от животного».

Согласно де Савиллю, есть только три предмета, достойных размышления: природа, религия и государственный строй. «Но француз, — прибавляет он, — не осмеливается размышлять об этих вопросах. Его книги, неинтересные для мужчин, могут забавлять лишь женщин. Лишь свобода возвышает дух народа, а дух народа — дух его писателей. Во Франции души лишены энергии. Единственный любимый мною и заслуживающий уважения автор — это Монтень ^{3*}. Немногие из его сограждан достойны того, чтобы восхищаться им; чтобы понять его, надо думать, а чтобы думать, надо быть свободным».

¹⁰ Иезуиты служат поразительным примером силы воспитания. Если их орден дал так мало гениальных людей в области искусства и наук, если они не имели своего Ньютона в физике, Расина в трагедии, Гюйгенса в астрономии, Пота в химии, не имели своего Локка, Бэкона, Вольтера, Лафонтена и т. д., то это не потому, что эти монахи не рекрутировались из наиболее способных учеников своих школ. Известно, кроме того, что в тиши убежища никакие заботы не отвлекали иезуитов от их занятий, наконец, что их образ жизни особенно благоприятствовал развитию талантов. Почему же они дали так мало знаменитых людей Европе? Потому, что иезуиты, окруженные фанатиками и суеверными людьми, не осмеливаются думать иначе, чем думают те, кому принадлежит старшинство в ордене; далее, потому, что они вынуждены тратить несколько лет на изучение казуистов и теологии, а такие занятия претят здоровому уму и должны искалечить

его. Как сохранить здравый смысл, сидя на их школьной скамье? Привычка к схоластике дает уму ложное направление.

¹¹ Если все савояры ^{4*} обладают в известных отношениях одинаковым характером, то потому, что случай ставит их приблизительно в одинаковое положение и что все они получают приблизительно одинаковое воспитание. Почему все они путешествуют? Потому, что для жизни нужны деньги, а денег у них нет. Почему они трудолюбивы? Потому, что они все бедны; потому, что, не получая нигде помощи и не имея покровителей в той местности, куда переезжают, они голодают, а хлеб добывается ими лишь трудом. Почему они честны и деятельны? Потому, что они должны превосходить деятельностью и честностью коренных жителей, чтобы им оказывали предпочтение. Наконец, почему все они бережливы? Потому, что привязанные, подобно всем людям, к своему родному краю, они покидают его нищими, чтобы вернуться на родину богатыми и жить на свои сбережения. Предположим же, что очень захотели внушить какому-нибудь молодому человеку добродетели савояра. Что нужно сделать для этого? Поставить его в такое же положение: поставить на некоторое время его воспитание в зависимость от бедствий и нужды. Из всех воспитателей нужна и необходимость — единственные, урокам которых всегда внимают и советы которых всегда действительны. Но если национальные обычаи не позволяют дать юношам подобного воспитания, то каким другим заменить его? Я не знаю другого, столь же верного. Не удивительно поэтому, если наш молодой человек не приобретет ни одной из тех добродетелей, которые желали бы видеть в нем. Кого может поразить безуспешность недостаточного воспитания!

¹² Шекспир играл хорошо лишь одну роль, именно роль тени отца Гамлета.

¹³ См. извлечение из словаря Морери; извлечение из «Литературной республики» за январь 1685 г. В этом сочинении можно прочесть следующую фразу: «Франция обязана великим Корнелем одной даме, которую в Руане называли Мелитой». Любовной же историей Англия обязана своим знаменитым Хогартом.

¹⁴ Большинство гениальных людей утверждает — такая у них мания, — что они уже в ранней молодости обещали быть теми, кем они должны были стать. Они думают, будто они иной и высшей породы, чем прочие люди. Пусть, не нужно спорить по этому вопросу с их тщеславием — это их рассердило бы. Но не следует им верить на слово, чтобы не ошибиться. Нет ничего более илюзорного и неопределенного, чем эти первые признаки гениальности. Ньютон и Фонтенель были посредственными учениками. Классы полны милых детей, но свет полон глупых людей.

¹⁵ Жизнь или смерть, милость или немилость какого-нибудь покровителя часто решают вопрос о нашем положении и нашей профессии. Сколькими гениальными людьми мы обязаны подобного рода случаям! При каком-нибудь дворе царствует ложь, низкопоклонство и легкомыслие; там не питают уважения ни к истине, ни к людям, ни к потомству. Можно ли сомневаться в том, что опала или несправедливость бывает иногда полезна для царедворца, что изгнание, напоминающее ему об обязанностях человека по отношению к самому себе, отрывающее его от рассеянной жизни двора, от пустоты его бесед и заставляющее его, наконец,

заняться и размышлять, способно иногда привести к развитию у него величайших талантов?

¹⁶ Руссо не недоступен чувству. Доказательством этого являются даже оскорбления, посылаемые им по адресу женщин. Каждая из них может применить к нему следующий стих: «Все, даже твое презрение, доказывает мне твою любовь».

¹⁷ Мне всегда казалось, что Руссо в своих сочинениях старается не столько учить своих читателей, сколько пленять их. Оставаясь всегда красноречивым литератором и редко будучи философом, он забывает, что если в философских спорах иногда и позволительно пользоваться литературными образами, то это лишь когда нужно дать ясно почувствовать все важное значение взгляда, уже признаваемого истинным. Когда нужно было вывести афинян из их оцепенения и вооружить их против Филиппа, Демосфен должен был проявить всю силу красноречия. Но если дело идет о каком-нибудь новом взгляде, то требуется тщательное обсуждение его. Кто захочет тогда быть красноречивым, тот впадет в заблуждение. Кто знает, всегда ли дают себе ясный отчет в английской палате общин о разнице между красноречием и теоретическим обсуждением?

¹⁸ В Монморанси Руссо познакомился с маршалом де Люксембургом. Этот вельможа полюбил его, отнесся с уважением к его талантам, взял его под свое покровительство и этим покровительством приобрел право на признательность со стороны всех ученых. Ученые не должны стыдиться хвалить вельмож: зачем отказывать им в заслуженной похвале? Они не должны забывать, что если народы нуждаются в знании, то ученые нуждаются в покровителях. Правда, дружба Люксембурга не избавила Руссо от преследований; но, быть может, этот вельможа был слабохарактерен, или, быть может, лицемерие злых людей сильнее, чем покровительство добрых людей и вельмож. К чести Люксембурга можно прибавить, что он никогда не расточал своих благодеяний тем козявкам от литературы, которые только позорят своего покровителя. Банальная милость, говорит милорд Шефтсбери, оказанная вельможей этим посредственным и презренным писателям, которые добиваются с помощью низкопоклонства его дружбы, не является доказательством его любви к науке. Я видел, прибавляет он, влиятельных людей, объявляющих себя покровителями ученых и присваивающих себе в этом качестве звание *гроссмейстеров ордена ученых*. Их милости, слишком часто расточаемые посредственным людям, были вреднее для науки, чем их равнодушие. Неправильно раздаваемые награды обескураживают подлинные таланты. Напрасно будут говорить, что литературные заслуги не могут быть известны влиятельным людям, любящим таланты и разыскивающим их; образованная публика всегда укажет им человека, которого они должны отметить своей милостью. Талант, страдает ли он от нужды или от преследования суеверия, не является неким инкогнито. Поэтому вельможи, имеющие всегда возможность помочь ему, могут всегда рассчитывать на уважение и признательность со стороны наиболее ученой и просвещенной части человечества.

¹⁹ Двенадцать или пятнадцать миллионов, отобранных в Испании у двух иезуитов, монастырских экономов из Парагвая, доказывают, что иезуиты, проповедуя отказ от богатств, сами никогда не верили в свои проповеди.

²⁰ Из всех сказок самые смешные — это сказки, сочиненные монахами об основателях их орденов. Они рассказывают, например, что, «увидя лань, преследуемую волками, св. Томер приказал им остановиться, что они и выполнили немедленно».

Что «св. Флоран приказал в отсутствие пастуха встреченному им медведю пасти его овец, и медведь пас их ежедневно».

Что «св. Франциск приветствовал птиц, говорил с ними, приказывал им слушаться слова божия, а птицы, слушая речи св. Франциска, удивительным образом радовались, вытягивая шейки и раскрывая клювы».

Что «тот же самый св. Франциск провел будто бы целую неделю с кузнечиком, пел целый день с соловьем, вылепил бешеного волка и сказал ему: брат мой волк, ты должен обещать мне, что впредь не будешь больше таким хищником, каким ты был раньше, — и волк обещал ему это, наклонив голову. Тогда св. Франциск сказал ему: поклонись мне, и с этими словами св. Франциск протянул ему руку, чтобы принять его клятву, а волк, подняв тихо свою правую лапу, вложил ее в руку св. Франциска». О многих других святых можно тоже прочесть, что они находили удовольствие в беседах с животными.

²¹ Со словом *страсти*, несомненно, не связывают ясного представления, когда их считают вредными. Дело сводится здесь просто к спору о словах. Сами богословы никогда не утверждали, что сильная любовь к богу является преступлением. Они не осуждали Деция за то, что на поле битвы он посвятил себя подземным богам. Они не упрекали Пелопида за ту сильную любовь к отечеству, которая его вооружила против тиранов и ввергла его в самое рискованное предприятие. Наши желания движут нами, и сила наших желаний определяет силу наших пороков и добродетелей. Человек, не имеющий желаний и потребностей, лишен также понимания и разума. Ничто не побуждает его комбинировать и сравнивать свои идеи. Чем ближе человек к подобному состоянию апатии, тем он невежественнее. Если восточные государи вообще являются столь мало просвещенными, то потому, что ум есть сын желания и нужды. Но султан не испытывает ни того ни другого. Нет такого удовольствия, которого не доставил бы им простой акт их воли, и поэтому ум почти всегда бесполезен. Он становится необходимым им только в одном случае, а именно когда, мечтая о славе завоевателя, они желают отнять трон у могущественного соседа. Требовать ума от деспота во всех других случаях, все равно что желать получить следствие без причины. Безумие — рассчитывать при самодержавии на ум государя, родившегося престолонаследником. Поэтому, если исключить случай какого-нибудь особенного воспитания, мало встречается абсолютных и просвещенных государей. История приписывает к великим королям только таких государей, как Генрих IV, Фридрих, Екатерина II и т. д., и вообще тех государей, воспитание которых было сурово и которым, кроме того, пришлось пробивать себе дорогу, преодолевая множество препятствий.

²² Верующий человек может быть выдающимся математиком, отличным художником в определенной области живописи. Но если принять во внимание реальные противоречия между общественным интересом и интересами духовенства, то нельзя, не будучи непоследовательным, быть одновременно набожным человеком и государственным человеком, верующим человеком и хорошим гражда-

нином, т. е. добродетельным человеком. Истина эта будет доказана мною в дальнейшем изложении.

²³ Всезнайкой, не учившимся ничему, был когда-то пети-метр^{5*} — теперь таков богослов. Если спросить его о природе животных, то он ответит, что это простые машины. Но на каком основании высказывает он это суждение? Разве он изучил в качестве охотника или наблюдателя природу и нравы животных? Нет, он не воспитал ни собаки, ни кошки, ни даже воробья; но он доктор богословия, и с того момента, как он надевает докторский колпак, он себя считает обязанным, подобно китайскому императору, следующему соответствующему его положению этикету, отвечать на все, что ему говорят, *я это знаю*. Стоический мудрец слыл знатоком всех искусств и наук — это был универсальный человек. Таков ныне и богослов: он поэт, математик, физик, часовщик и т. д. Я готов признать, что он обладает всеми этими талантами; но пусть меня не заставляют читать его стихи и платить ему за часы занятий. Пусть он позволит мне дать ему совет: прежде чем говорить о животных, ему надо справиться в сочинениях Бюффона и в трех или четырех сочинениях, помещенных в иностранном журнале одним естественным исследователем, являющимся в то же время талантливым писателем. Пусть он оставит в покое мои взгляды по этому вопросу. Я, говорят, приписал понимание и разум животным. Это — любезность, оказанная мною докторам. Чем же вы отплатили мне, о неблагодарные!

²⁴ Деспотическое правительство обладает тем свойством, что оно ослабляет в человеке движение страстей. Эти империи погибают от смертельного истощения. Поэтому народы, находящиеся под властью деспотизма, не обладают обыкновенно ни мужеством, ни смелостью республиканцев. Даже эти последние вызывают наше восхищение именно в те критические моменты, когда их страсти находятся в особенном возбуждении. Когда голландцы и швейцарцы проявили сверхчеловеческие подвиги? Когда они были одушевлены двумя сильными страстями: жаждой мести, с одной стороны, ненавистью к тиранам — с другой. Всякий народ нуждается в страстях — это истина, которая в настоящее время неизвестна разве только настоятелю капуцинов.

²⁵ Турки считают женщину созданной для удовольствия мужчин и для возбуждения его желаний. Таково, говорят они, явное намерение природы. Нет ничего особенного в том, что в Турции позволяют усиливать при помощи ухищрений искусства женские чары, или даже в том, что женщинам разрешено усовершенствовать употребляемые ими способы пленять мужчин. Можно ли злоупотреблять красотой в гареме, где заключена женщина? Предположим, если угодно, существование такой страны, в которой женщины принадлежат всем мужчинам сообща. Чем больше они придумают в подобной стране способов пленять мужчин, тем больше они увеличат их удовольствие. Какого бы совершенства они ни достигли в этой области, можно быть уверенным, что их кокетство нисколько не будет противоречить общественному благу. От них можно было бы требовать только одного, а именно чтобы они так высоко ставили свою красоту и благосклонность, что считали бы возможным оказывать ее только мужчинам, уже отличившимся своим гением, своим мужеством и своей добродетелью. Благодаря этому их благосклонность стала бы средством поощрять таланты и добродетели. Но если в Турции женщины

могут безопасно обучаться искусству сладострастия, то можно ли сказать то же самое о стране, в которой, как в Европе, они не заперты и не принадлежат сообща всем мужчинам или в которой, как во Франции, все дома открыты? Можно ли думать, что, разнообразия женские способы нравиться, этим сильно увеличат счастье супругов? Я сомневаюсь в этом: до тех пор пока не была бы произведена какая-нибудь реформа в законах о браке, то, что искусство могло бы прибавить к природной красоте пола, находилось бы, может быть, в противоречии с употреблением, которое позволяют делать из него европейские законы.

²⁶ Есть люди, считающие себя правдивыми, потому что они склонны к злословию. А между тем нет ничего более различного, чем правдивость и злословие: первая — всегда снисходительна, вдохновляется гуманностью; вторая — всегда колючая, дочь гордости, ненависти, дурного настроения и зависти. Тон и жесты злословия всегда обнаруживают, что его порождает.

²⁷ Если нельзя, не совершая преступления, замолчать истину перед народами и государями, то о ком можно сказать, что он всегда вел себя правильно и безупречно в этом отношении?

²⁸ При чтении истории церкви молодой итальянец может начать возмущаться преступлениями и злодеяниями пап и усомниться в их непогрешимости. «Какое безбожное сомнение!» — восклицает его наставник. «Но, — может возразить ему ученик, — я говорю то, что я думаю; разве вы не запрещали мне всегда лгать?» «Да, в обыкновенных случаях, но ложь, совершаемая ради церкви, — это обязанность». «Но какое вам дело до пап?» «Очень большое, — может возразить ему учитель. — Если папу признают непогрешимым, то никто не может сопротивляться его воле; народы должны слепо подчиняться ему. Это уважение к папе заставляет с большим почтением относиться ко всему духовенству, а следовательно, и ко мне».

²⁹ Всякий, кто пишет историю и искажает ее факты, — дурной гражданин. Он обманывает читателей и лишает их неоценимой выгоды, которую они могли бы извлечь из чтения истории. Но в каком государстве можно найти правдивого историка, действительного поклонника бога истины? Во Франции. в Португалии, в Испании? Нет, лишь в свободной и протестантской стране.

³⁰ Почему не видно конца теологическим спорам о благодати? Потому, что, к счастью для спорящих, никто из них не имеет ясных идей о том, о чем они говорят. Но более ли ясны их идеи в их определении божества? Кардинал дю Перрон, после того как доказывал в речи Генриху III бытие божье, сказал ему: «Если ваше величество желает, я докажу вам столь же очевидным образом небытие божье».

³¹ Почему большинство просвещенных людей считает, что всякая религия несовместима со здоровой нравственностью? Потому, что попы всех религий выдают себя за единственных судей добродетельности или порочности человеческих поступков; потому, что они желают, чтобы богословские постановления считались истинным кодексом морали. Но попы тоже люди, они судят в соответствии со своим интересом. А их интерес почти всегда противоречит общественному интересу. Поэтому большинство их суждений несправедливо. Однако власть духовенства над умами народов так велика, что последние относятся к схоластическим софизмам часто с большим уважением, чем к здоровым правилам

морали. Какие ясные понятия могут составить себе о ней народы? Постановления церкви, столь же изменчивые, как и ее интересы, постоянно вносят в этот вопрос хаос, неясности и противоречия. Чем заменяет церковь истинные принципы справедливости? Обрядами и смешными церемониями. Поэтому Макнавелли в своих рассуждениях о Тите Ливии приписывает чрезмерную испорченность итальянцев лживости и противоречивости моральных правил католической религии.

³² Человек, говорил Фонтенель, создал бога по своему образу и подобию и не мог поступить иначе. Монахи создали представление о небесном дворе по образцу восточных дворов. Восточный государь, невидимый для большинства своих подданных, доступен только для своих царедворцев. Жалобы народа доходят до него лишь через посредство его фаворитов. Аналогичным образом монахи окружили трон царя Вселенной фаворитами под названием святых и изобразили дело так, что милость неба получается лишь благодаря вмешательству этих святых. Но что сделать, чтобы добиться их расположения? Собравшиеся с этой целью попы постановили, чтобы в церквах поместили изображения святых, выточенные из дерева или иные, чтобы перед этими образами преклонялись, как перед изображениями всевышнего; чтобы внешние знаки поклонения были одинаковы для всевышнего и его фаворитов; наконец, чтобы некоторые святые, почитаемые христианами, подобно тому, как пенаты и фетиши почитались язычниками и дикарями, например Николай угодник в России и св. Януарий в Неаполе, пользовались большим поклонением и уважением, чем сам бог.

На этих фактах основывается обвинение, выдвинутое против православной и католической церквей. Последней в особенности мы обязаны восстановлением фетишизма. Так, Франция имеет национального фетиша в св. Дени, а в св. Женевьеве — фетиша столицы. И нет такой общины или такого гражданина, которые не имели бы помимо этого своего особенного фетиша, именуемого св. Петром, Клодом или Мартином.

³³ Нет такой лжи, таких хитростей, обмана, злоупотребления доверием, наконец, низких и подлых средств, к которым ни прибегали бы для своего обогащения попы. Составленный Балюзом сборник капитуляриев^{6*} (том II) показывает нам, каким образом церковники добились некогда во Франции того, чтобы им платили десятину. «С неба якобы снизошло послание Иисуса Христа. В этом послании спаситель угрожал язычникам, колдунам и тем, кто не станет платить десятины, поразить их поля бесплодием и наслать на их дома крылатых змей, которые-де будут пожирать сосцы их женщин». Когда это первое послание не имело успеха, церковники обратились к дьяволу. Они изображают его (см. те же самые капитулярии, том I) говорящим на народном собрании, и дьявол, сделавшийся вдруг апостолом и миссионером, принимает здесь близко к сердцу благо французов. Он старается призвать их к выполнению их обязанности спасительными наказаниями. «Откройте наконец глаза. — говорило духовенство, — сам дьявол — виновник последнего голода, сам дьявол пожрал зерно в колосьях, бойтесь его ярости. Среди деревенского люда он объявил со страшными завываниями, что найдет самые суровые наказания на ожесточившихся христиан, отказывающихся вносить нам десятину». Весь этот обман со стороны духовенства доказывает, что во времена

Карла Великого десятину платили только набожные люди. Если бы духовенство имело право взимать ее, то оно не обращалось бы за помощью то к богу, то к дьяволу. Этот факт напомнил мне другой аналогичный факт, а именно проповедь одного кюре на ту же самую тему: «О мои дорогие прихожане. — говорил он, — не следуйте примеру злополучного Канна, а следуйте лучше примеру доброго Авеля. Канн никогда не желал ни платить десятину, ни идти к обедне. Наоборот, Абель вносил десятину, всегда отдавал самые прекрасные и лучшие из своих плодов, и он не пропустил ни одного дня, чтобы не пойти к обедне».

Гроций говорит по поводу этих десятин и дарений, что Тиберий был более щепетилен в этом вопросе и что это должно было бы пристыдить монахов, принимающих такие дары.

³⁴ Папы своими нелепыми притязаниями по отношению к Америке подали пример несправедливости и узаконили все те преступления, которые там совершали христиане.

Однажды, когда в палате общин разбирался вопрос, должен ли такой-то кантон, расположенный на границе Канады, принадлежать Франции, один из членов палаты поднялся и сказал: «Вопрос этот, милостивые государи, тем более деликатен, что французы, подобно нам, абсолютно убеждены в том, что эта территория не принадлежит туземцам».

³⁵ Если после этих фактов паписты будут продолжать прославлять высокое совершенствование нравов, произведенное их религией, то вряд ли они убедят кого-нибудь в этом. Для выяснения вопроса о притязаниях папистов достаточно спросить себя, какова задача науки о морали. Ясно, что ею может быть лишь *всеобщее благо*; что если требуют добродетели от частных лиц, то потому, что добродетели членов общества создают счастье общества в целом. Ясно, что единственное средство сделать народы просвещенными, добродетельными и счастливыми — это обеспечить при помощи хороших законов собственность граждан, пробудить их предприимчивость, позволить им свободно мыслить и сообщать свои мысли друг другу. Но разве католическая религия благоприятствует созданию подобных законов? Разве итальянцы и португальцы более уверены в своей жизни и в своей собственности, чем англичане? Разве здесь наилучшие нравы правительства? Разве оно здесь менее сурово и поэтому более достойно уважения? Не доказывает ли, наоборот, опыт, что германские лютеране и кальвинисты лучше управляют и счастливее, чем католики, и что протестантские кантоны Швейцарии богаче и могущественнее католических кантонов? Следовательно, реформистская религия более стремится к общему счастью, чем католическая, и, значит, она более благоприятствует той задаче, которую ставит себе нравственность. Следовательно, она порождает лучшие нравы, превосходство которых не знает другой меры, кроме блага самих народов.

³⁶ Существуют большие общества, но существуют и небольшие. Законы этих последних просты, потому что таковы их интересы; они соответствуют интересу большинства, потому что они устанавливаются с согласия всех; наконец, они очень строго соблюдаются, потому что счастье каждого индивида зависит от их соблюдения. Законы небольших обществ продиктованы здравым смыслом — законы больших обществ диктует гений.

Но что могло побудить людей образовать столь многочисленные общества? Случай, незнание отрицательных сторон подобных обществ. наконец, жажда завоевания, боязнь быть завоеванными и т. д.

³⁷ В своем трактате «Об энтузиазме» Шефтсбери рассказывает об одном епископе, который, не найдя в католическом катехизисе достаточно материала, чтобы удовлетворить свое ненасытное легковерие, начал верить еще в сказки о феях.

³⁸ Папизм подобен деспотизму. Оба они губят страну, в которой они обосновываются. Самое верное средство ослабить могущество Англии и Голландии было бы установить в них католическую религию.

³⁹ Если наша религия, говорят паписты, стоит очень дорого, то это потому, что в ней очень много наставлений. Пусть так; но каков же результат этих наставлений? Стали ли люди от этого лучше? Нет. Что же делать, чтобы сделать их лучшими? Распределить десятину, взимаемую каждым приходом, между теми крестьянами, которые будут лучше всего обрабатывать свою землю и совершать наиболее добродетельные поступки. Разделение этой десятины даст больше тружеников и добродетельных людей, чем проповеди всех кюре, вместе взятые.

⁴⁰ История Ирландии показывает нам (т. I, стр. 303), что этот остров был прежде постоянной добычей алчности очень многочисленного духовенства. Поэты, жрецы этой страны, пользовались в ней всеми преимуществами и привилегиями теперешних католических священников. Подобно последним, они содержались за счет общества. В результате поэты настолько размножились, что тогдашний ирландский король Гюг понял необходимость избавить своих подданных от столь тяжелой обузы. Этот государь любил свой народ, он был мужественным, он решил уничтожить духовенство или по крайней мере значительно уменьшить численность его. И он добился этого.

В Пенсильвании нет государственной религии: каждый придерживается там той религии, которая ему правится. Духовенство ничего не стоит государству; жителям самим предоставляется возможность обзавестись священниками, устройв для этого складчину. Священники здесь, подобно купцам, содержатся за счет потребителя. Кто не имеет священника и не пользуется его товаром, тот ничего не платит. Было бы полезно последовать примеру Пенсильвании.

⁴¹ Сам Нума учредил только четырех весталок и небольшое число жрецов.

⁴² Между языческой религией и папистской, говорил один англичанин, я нахожу ту же разницу, что между Альбани и Калло^{7*}. Имя первого вызывает в моей памяти приятную картину, изображающую рождение Венеры; имя второго — причудливую картину искушения св. Антония.

⁴³ В царствование Нумы римляне посвятили один храм Добросовестности. Посвящение этого храма сделало их на время людьми, добросовестно выполняющими заключенные ими договоры.

⁴⁴ Из человека, принимающего столь смиренный вид и привыкающего с ранних лет рассматривать жизнь лишь как какое-то паломничество, может выйти только монах, и он никогда не будет содействовать благу человечества.

⁴⁵ Говорят, что соединение духовной и светской власти в руках деспота было бы опасно. Это верно. Вообще всякий деспот, заботясь только об удовлетворении своих прихотей, мало думает о благе народа, счастье его подданных для него безразлично. Он часто пользовался бы духовной властью для оправдания своих прихотей и жестокостей. Но дело обстояло бы иначе, если бы эту духовную власть доверили законодателям.

⁴⁶ Почему Юпитер был последним из детей Сатурна? Потому, что Порядок и Размножение, преемники Хаоса и Бесплодия, были, как указывают философы, последним продуктом Времени. Почему Юпитер в качестве Производителя был богом воздуха? Потому, что (говорили эти философы) растения, ископаемые, минералы, животные, наконец, все сущее выделяет испарения, гниет и заполняет воздух летучими началами. Когда эти начала согреты и приведены в действие солнечным огнем, то воздух должен тогда употребить на новые порождения соли и духи (esprits), получившиеся от гниения. Таким образом, воздух, единственное начало рождения и гниения, казался им необъятным океаном, в котором действуют многочисленные начала. В воздухе, по их мнению, плавают семена всех вещей, которые, будучи всегда готовы к размножению, ожидают для этого момента, когда случай занесет их в соответствующую матку. Атмосфера, с их точки зрения, была, так сказать, всегда живой, всегда наполненной кислотой для разъедания и зародышами для размножения. Это было обширное вместилище всех начал жизни.

Аналогичным образом титаны и Янус были, по мнению древних, эмблемой хаоса; Венера, или любовь, — эмблемой притяжения, этого начала, порождающего во Вселенной порядок и гармонию.

⁴⁷ Объединение светской и духовной властей в одних и тех же руках необходимо. Простое унижение духовенства нисколько не страшно для него. Кто не уничтожает его, тот просто устраняет на время, но не разрушает его влияния. Сохранившись как корпорация, оно бессмертно: достаточно какого-нибудь благоприятного обстоятельства — доверия государя, волнения в государстве, чтобы вернуть ему его первоначальное могущество. Оно появляется тогда снова, вооруженное тем более грозным могуществом, что, зная причины своего унижения, оно тем тщательнее старается уничтожить их. Английское духовенство в настоящее время не имеет никакой власти, но не уничтожено. Кто может утверждать, сказал один лорд, что будет, если эта корпорация вернет себе свое бывшее влияние: не станет ли она по-прежнему жестокой и не прольет ли она когда-нибудь столько же крови, сколько она ее уже пролила? Одна из величайших услуг, которую следовало бы оказать Франции, состояла бы в том, чтобы употребить часть колоссальных доходов духовенства для погашения национального долга. Что сказали бы церковники, если бы, соблюдая справедливость по отношению к ним, им позволили пожизненно пользоваться своим имуществом, отбирая его только после их смерти? Разве было бы плохо пустить в обращение такие огромные состояния?

РАЗДЕЛ II

Все люди с обыкновенной, нормальной организацией обладают одинаковыми умственными способностями

ГЛАВА I

**ВСЕ НАШИ ИДЕИ ПОЛУЧАЮТСЯ НАМИ
ПОСРЕДСТВОМ ЧУВСТВ; ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО СТАЛИ
СЧИТАТЬ УМ РЕЗУЛЬТАТОМ
БОЛЬШЕЙ ИЛИ МЕНЬШЕЙ ТОНКОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ**

Когда те, кого просветил Локк, узнают, что мы обязаны своими идеями не, следовательно, своим умом органам чувств, когда, далее, замечают различия в органах и умах различных людей, то обычно приходят к выводу, что неравенство умов есть результат неравной тонкости чувств.

Столь правдоподобное мнение, полученное путем аналогии, отправляющейся от действительных фактов^a, должно быть тем более общераспространенным, что оно благоприятствует человеческой лени и избавляет от труда проводить исследование, представляющееся бесполезным.

Однако если бы опыты противоположного характера доказали, что совершенство ума не соразмерно большему или меньшему совершенству пяти чувств, то для объяснения этого явления пришлось бы прибегнуть к некоторой другой причине.

В настоящее время среди ученых наблюдаются две точки зрения по этому вопросу. Одни из них говорят: *ум есть результат известного рода темперамента и внут-*

^a При помощи аналогии иногда приходят к величайшим открытиям. Но в каком случае можно довольствоваться доказательством по аналогии? Когда невозможно получить других. Доказательства этого рода часто обманчивы. Если мы постоянно наблюдаем, что животное размножается путем совокупления самцов с самками, то отсюда заключаем, что живые существа могут размножаться только этим способом. Из этого заблуждения нас могли вывести только точные и добросовестные наблюдатели, которые помещали травяную вошь в стеклянную банку, разрежали полипов и доказали путем повторных опытов, что в природе существуют и другие способы размножения животных.

ренной организации; но никто из них еще не определил путем ряда наблюдений того рода органов, темперамента или пищи, которые производят ум^а. Это неопределенное и бездоказательное утверждение сводится, таким образом, к следующему: *ум есть результат какой-то неизвестной причины или какого-то скрытого качества, которое я называю темпераментом или организацией.*

Квинтиллиан^{1*}, Локк и я утверждаем:

Неравенство умов есть результат известной причины, и эта причина — разница в воспитании.

Чтобы доказать первую из этих двух точек зрения, пришлось бы показать путем повторных опытов, что совершенство ума зависит действительно только от определенного рода органов и темперамента. Но подобные опыты еще не произведены. Поэтому если из допущенных мною принципов можно вывести ясным образом причины неравенства умов, то предпочтение следует, по-видимому, отдать этой последней точке зрения.

Если известная причина объясняет некоторый факт, то зачем приписывать его какой-то неизвестной причине, какому-то скрытому и всегда сомнительному качеству, не объясняющему ничего, чего нельзя было бы объяснить без него?

Чтобы показать, что *все люди с обыкновенной, нормальной организацией обладают одинаковыми умствен-*

^а Некоторые врачи — среди прочих Лозель де Маньп — утверждали, что люди наиболее сильного и мужественного темперамента — самые умные люди. Однако никогда еще не указывали на Расина, Буало, Паскаля, Гоббса, Толанда, Фонтенеля и т. д., как на сильных и мужественных людей. Другие ученые утверждали, что желчные люди и сангвиники были в одно и то же время и самыми умными и наименее способными к постоянному вниманию людьми.

Но разве можно быть в одно и то же время неспособным к вниманию и одаренным большими талантами? Неужели думают, что если бы Локк и Ньютон не были прилежными, то они пришли бы к своим великим открытиям?

Некоторые сделали то наблюдение, что предающиеся размышлениям и умные люди обыкновенно меланхоличны. Они не заметили, что принимали здесь следствие за причину; что умный человек умен не потому, что он меланхолик, но он меланхолик потому, что его сделала таким привычка к размышлению.

Наконец, некоторые мыслители ставили ум в зависимость от возбудимости нервов. Но женщины отличаются впечатлительностью, и, следовательно, возбудимость их нервов должна была бы давать им превосходство над мужчинами. Но имеют ли они поэтому больше ума? Нет. Кроме того, какую ясную идею можно составить себе об этой большей или меньшей возбудимости нервов?

ными способностями^а, надо отыскать порождающее ум начало. Что же это за начало?

Все в человеке есть физическое ощущение. Может быть, я недостаточным образом развил эту истину в книге «Об уме». Что же я должен сделать? Доказать строгим

^а Локк, несомненно, имеет в виду эту истину, когда, говоря о неравных умственных способностях, утверждает, что, по его мнению, это неравенство меньше, чем думают. «Я считаю себя вправе утверждать, — говорит он на стр. 2 своей книги о воспитании, — что из ста людей имеется больше девяноста, которые являются тем, что они суть, т. е. хорошими или дурными, полезными или вредными для общества, благодаря полученному ими воспитанию. От воспитания зависит большая наблюдаемая между ними разница. Самые ничтожные и незаметные впечатления, полученные нами в детстве, влекут за собой очень важные и длительные последствия. Эти первые впечатления похожи на реку, воды которой можно без труда направить в различные каналы по совершенно противоположным путям при помощи незаметного изменения направления реки у истока ее; она может начать течь в разные стороны и прибыть наконец в места, весьма удаленные друг от друга; с такой же легкостью, думаю я, можно направить умы детей в желаемую сторону». Правда, в этом месте Локк не утверждает определенным образом, что все люди с обыкновенной, нормальной организацией обладают одинаковыми умственными способностями, но он говорит здесь то, чему он был, так сказать, свидетелем и чему его научил повседневный опыт. Этот философ не свел всех способностей духа к способности ощущать, к первоисточнику, который один только может дать ответ на этот вопрос.

Квинтилиан, который, занимаясь так долго воспитанием молодежи, приобрел в этом вопросе еще больше практических знаний, чем Локк, в то же время более смел в своих утверждениях. Он говорит (кн. I Inst. Orat.) следующее: «Ошибочно полагать, что существует мало людей, рождающихся со способностью правильно схватывать преподаваемые им идеи; воображать, будто большинство теряет время и усилия на преодоление врожденной лени своего ума. Наоборот, большинство людей, по-видимому, одинаково способно по своей организации к мышлению и к быстрому и легкому запоминанию. Это — талант, столь же свойственный от природы человеку, как полет птицам, бег лошадям и свирельность хищным животным. Жизнь души заключается в ее активности и деятельности. Это побудило приписать ей небесное происхождение. Неповоротливые и неспособные к наукам умы так же противостоят порядку природы, как уроды и исключительные явления. Эти последние редки. Отсюда я заключаю, что в детях имеются значительные ресурсы, которые утрачиваются с возрастом. В таком случае очевидно, что следует винить в этом не природу, но наше собственное небрежное отношение».

Взгляд Квинтилиана и взгляд Локка, одинаково основывающиеся на опыте и наблюдениях, а также доводы, которыми я пользовался, чтобы доказать их истинность, должны, по-моему, помещать читателю высказать слишком поспешные суждения по этому вопросу.

образом то, на что я, может быть, только указал в той книге, а именно что все умственные операции сводятся к ощущению. Только этот принцип объясняет нам, как возможно то, что мы обязаны своими идеями нашим чувствам и что в то же время, как свидетельствует опыт, вовсе не исключительному совершенству этих чувств мы обязаны большей или меньшей широтой своего ума.

Если этот принцип может примирить два по видимости столь противоречивых факта, то я вправе заключить отсюда, что совершенство ума не есть продукт ни темперамента, ни большей или меньшей тонкости чувств, ни какого-то скрытого качества, но есть результат такой хорошо известной причины, как воспитание, и что можно наконец неопределенные и столь часто повторяющиеся утверждения на эту тему заменить весьма точными идеями.

Прежде чем приступить к подробному исследованию этого вопроса, чтобы сделать его более ясным и устранить путаницу, внесенную в него богословием, я считаю необходимым выяснить различие между умом и тем, что называют душой.

ГЛАВА II

РАЗНИЦА МЕЖДУ УМОМ И ДУШОЙ

Не существует слов, которые бы были вполне синонимами. Незнание этой истины одними, забвение ее другими часто заставляли смешивать ум и душу. Но какая между ними разница и что такое душа? Если следовать древним и первым отцам церкви, то ее нужно рассматривать как чрезвычайно тонкую и нежную материю, как одушевляющий нас электрический огонь. Приводить ли здесь все то, что думали о душе различные народы и разные философские секты? Они имели о ней только неопределенные, неясные и ничтожные представления. Лишь парсы выражались по этому поводу возвышенным образом. Пропнося надгробную речь на могиле какого-нибудь великого человека, они восклицали: «О земля, о общая мать человечества! Возьми обратно от тела этого героя то, что принадлежит тебе. Пусть водяные части, заключенные в его жилах, испарятся в воздух, пусть они прольются дождем на горах, наполнят реки, оплодотворят равнины и потекут в пропасть морей, откуда они вышли. Пусть огонь, сосредоточенный в этом теле, воссоединится с небесным светилом, источником света и огня. Пусть воздух,

сжатый в его членах, разобьет свою темницу! Пусть ветры рассеют их в пространстве. И наконец, ты, дыхание жизни, если — что невозможно — ты особое существо, воссоединись с неизвестной субстанцией, которая тебя произвела. Если же ты лишь смесь видимых элементов, то, после того как тебя рассеял по Вселенной, собери вновь свои разбросанные части, чтобы еще раз образовать столь добродетельного гражданина».

Таковы были благородные образы и возвышенные выражения, которыми пользовались в своем энтузiasме парсы для выражения своих идей о душе. Философия, менее смелая в своих гипотезах, не отваживается ни описать природу души, ни дать ответ на этот вопрос. Философ шествует, опираясь на посох опыта. Он идет вперед, но всегда от наблюдения к наблюдению; *он останавливается там, где у него отсутствует возможность наблюдения*. Он знает одно, а именно что человек ощущает, что в нем имеется начало жизни и что без крыльев теологии нельзя подняться до познания этого начала и его природы.

Все, что зависит от наблюдения, относится к ведению философской метафизики; все, что сверх этого, относится к теологии^а или к схоластической метафизике.

Но почему человеческий разум, просвещенный наблюдением, не смог до сих пор дать ясное определение или, выражаясь точнее, отчетливое и подробное описание жиз-

^а Некоторые сомневаются в том, что наука о божестве, или теология, есть наука. Всякая наука, говорят они, предполагает ряд наблюдений. Но какие можно сделать наблюдения над невидимым и непостижимым существом? Следовательно, теология вовсе не есть наука. Действительно, что означает слово *бог*? Неизвестную еще причину порядка и движения. Но что можно сказать о неизвестной причине? Если же со словом *бог* связывают некоторые другие идеи, то, как доказывает Робинс, мы становимся жертвой множества противоречий. Если богослов наблюдает орбиты, описываемые небесным светилom; если он отсюда заключает, что существует сила, приводящая их в движение: *Coeli enarrant gloriam Dei* (небеса повествуют о славе божьей), то этот богослов является уже физиком или астрономом.

«Нет никакого сомнения, — говорят китайские ученые, — что в природе существует некоторое могущественное и неизвестное начало того, что существует; но когда обожествляют это неизвестное начало, то создание бога является в этом случае лишь обожествлением человеческого невежества».

Я не согласен с китайскими учеными, хотя я должен признать вместе с ними, что теология, или наука о божестве, или непостижимом, вовсе не есть особенная наука. Что же такое теология? Этого я не знаю.

ненного начала? Потому что это начало еще ускользает от самого тонкого наблюдения; последнее имеет больше успеха в том, что называют умом. Впрочем, можно исследовать это начало и размышлять по этому вопросу, не страшась невежества и фанатизма изуверов. Поэтому я рассматриваю некоторые из замечательных различий, существующих между умом и душой.

Первое различие

Душа полностью существует в ребенке, как и в юноше. Ребенок, подобно взрослому человеку, способен ощущать физическое удовольствие и страдание, но он не имеет ни столько идей, ни, следовательно, столько ума, сколько взрослый. Но если ребенок имеет столько же души, не имея столько ума, то, значит, душа не есть ум^а.

Действительно, если бы душа и ум были тождественны, то для объяснения превосходства взрослого над ребенком пришлось бы допустить больше души у взрослого и предположить, что его душа выросла соответственно тому, как выросло его тело. Но это — абсолютно безосновательное и бесполезное предположение, если отличать ум от души, или от жизненного начала.

Второе различие

Душа покидает нас лишь после смерти. Пока я живу, я имею душу. Так ли обстоит дело с умом? Нет, иногда я теряю его при жизни, потому что при жизни я могу потерять память, а ум есть почти целиком продукт этой способности. Если греки дали матери муз имя Мнемозина, то это потому, что, будучи внимательными наблюдателями человека, они заметили, что его суждение, его ум и т. д. являются по большей части продуктом его памяти^б.

^а За ребенком до семи лет отрицают возможность грешить. Почему? Потому что, как полагают, до этого возраста он не имеет еще ясного представления о добре и зле. Если же после семи лет его признают грешником, то это потому, что в данном случае он, как полагают, приобрел достаточно идей для различения того, что справедливо, от того, что несправедливо. Таким образом, даже церковь считает ум чем-то приобретенным и, следовательно, весьма отличным от души.

^б И у животных ум или понимание. — тоже продукт их памяти. Если собака приходит на мой призыв, то это потому, что она вспоминает свое имя. Если она слушается меня, когда я про-

Если человек лишен орудия памяти, то о чем может он судить? О прошлых ощущениях? Нет, он забыл их. О теперешних ощущениях? Но чтобы судить о двух актуальных ощущениях, орудие памяти должно продлить их по крайней мере настолько, чтобы дать ему время *сравнить их между собой, т. е. наблюдать попеременно различные впечатления, которые он испытывает в присутствии двух предметов.* Но без помощи памяти, сохраняющей полученные впечатления, как заметить различия даже между впечатлениями настоящего времени, которые в каждое мгновение и ощущаются и снова забываются? Без памяти, следовательно, нет ни суждений, ни идей, ни ума. Слабоумный, которого усаживают у порога его двери, — это просто человек со слабой памятью или совсем лишенный ее. Если он не отвечает на задаваемые ему вопросы, то либо потому, что различные словесные выражения не вызывают в нем различающихся идей, либо потому, что, слушая последние слова какой-нибудь фразы, он забывает предшествующие им слова. Если обратиться к опыту, то можно убедиться, что человек обязан своим идеям, своим умом памяти (существование которой предполагает наличие способности ощущать). Нет ощущений без души; но без памяти нет опыта, нет сравнения между предметами, нет идей; человек был бы в старости тем, чем он был в детстве^а.

Человека считают слабоумным, если он невежествен; но в действительности человек бывает слабоумным тогда, когда орудие памяти не выполняет своих функций^б. Но

изношу слова: «Тубо. берегись, не трогай этого», то это потому, что она вспоминает, что я сплен и что я ее бил.

Что заставляет животных выполнять на ярмарке всякие фокусы? Страх хлыста, воспоминание о котором вызывает у них жест, взгляд, слово хозяина. Если моя собака смотрит мне прямо в глаза, то это потому, что она хочет прочесть в них, рассержен ли я или доволен, и, таким образом, узнать, может ли она подойти ко мне или должна от меня бежать. Следовательно, моя собака обязана своим пониманием своей памяти.

^а Если богословы допускают, что ребенок и слабоумный не грешат и что и тот и другой имеют душу, то отсюда следует, что у человека грех не связан существенным образом с его душой.

^б Знаменитый Эрно, который занимался воспитанием глухонемых, говорит в докладе, представленном Парижской академии наук, что если у глухонемых способность суждений обнаруживается лишь в течение коротких интервалов, если они мало размышляют, их ум слаб и их разум проявляется лишь на мгновение, то это потому, что их память почти всегда дремлет и, значит, у них нет и не может быть связи между их идеями и их поступками.

можно, не теряя души, потерять память. Для этого достаточно падения, апоплексии и другой случайности в этом роде. Ум, стало быть, по существу отличается от души, ибо ум можно потерять при жизни, а душу можно потерять лишь вместе с жизнью.

Третье различие

Я сказал, что ум человека складывается из совокупности его идей. Без идей нет ума.

Не так обстоит дело с душой: для ее существования не нужны ни мышление, ни ум. Человек имеет душу, пока он способен ощущать. Если лишить душу того, что не есть собственно душа, т. е. физического органа памяти, то какая способность останется у нее? Способность ощущать. Душа не сохраняет тогда даже сознания своего существования, ибо это сознание предполагает связь идей и, следовательно, память. Таково состояние души, когда она еще совершенно не пользовалась физическим органом памяти.

Память теряют от удара, падения, болезни. Если душа лишена этого орудия, то она должна находиться тогда — предполагая, что не произойдет чуда или не будет особого вмешательства воли божьей, — в таком же состоянии слабоумия, в каком она находилась в человеческом зародыше. Мышление, следовательно, не абсолютно необходимо для существования души. Душа есть не что иное, как наша способность ощущать, и вот почему, как это доказано Локком и как следует из опыта, все наши идеи получают нами через наши чувства.

Своей памяти я обязан тем, что сравниваю свои идеи и имею суждения, а своей душе я обязан своими ощущениями; значит, собственно говоря^а, мои ощущения — а не мои мысли, как это утверждает Декарт, — доказывают мне существование моей души. Но что такое в нас способность ощущения? Является ли она бессмертной и нематериальной? Человеческий разум не знает этого, и этому

^а Г. Марион, преподаватель философии в Наваррском колледже, и по его примеру несколько других профессоров утверждали, что вся деятельность ума объясняется одним только движением жизненной энергии и ее следами, запечатленными памятью. Отсюда следует, что жизненная энергия, приведенная в движение внешними предметами, могла бы породить в нас идеи независимо от того, что называют душой. Таким образом, ум, согласно учению этих профессоров, весьма отличается от души.

нас учит откровение. Мне могут возразить, что если душа есть не что иное, как способность ощущать, то ее действия, подобно действиям тела, сталкивающегося с другим телом, всегда носят вынужденный характер и в этом смысле душа должна рассматриваться как чисто пассивная. Но ведь и Мальбранш считал ее именно такой, а его философская система^а публично преподается. Если современные богословы ее осуждают, то они впадают в противоречие сами с собой, чем они, вероятно, мало смущаются. Впрочем, до тех пор пока люди будут рождаться без идей порока, добродетели и т. д., какую бы систему ни приняли богословы, они никогда не сумеют доказать мне, что мысль составляет сущность души и что душа, или способность ощущать, не может существовать в нас без того, чтобы мы имели идеи или ощущения.

Орган существует даже тогда, когда он не издает звуков. Человек подобен этому органу, когда он находится в утробе матери или когда, измученный усталостью и не тревожимый никакими сновидениями, он погружен в глубокий сон. К тому же если все наши идеи могут быть подведены под некоторые классы наших знаний и если можно жить без идей математики, физики, нравственности, часового дела и т. д., то метафизически невозможно иметь душу и не иметь идей.

У дикарей мало идей, и тем не менее они имеют душу. Существуют также дикари, которые не имеют ни идей о справедливости, ни даже слов для выражения этой идеи¹. Говорят, что один глухонемой, обретший внезапно слух и речь, признал, что до своего выздоровления он не имел идей ни о боге, ни о смерти.

Король прусский, принц Генрих, Юм, Вольтер и др. имеют не больше души, чем Бертье, Линьяк, Сеги, Гоша^{1*} и т. д. Однако первые настолько же выше по уму, чем вторые, насколько последние выше обезьян и иных животных, показываемых на ярмарке.

У Помпиньяна, Шомэ, Кавейрака^{62*}, несомненно, мало ума, и, однако, о них всегда будут говорить: он

^а По Мальбраншу, бог обнаруживается нашему разуму, ему мы обязаны всеми нашими идеями. Следовательно, Мальбранш не думал, что душа может произвести их сама по себе; он ее считал, следовательно, лишь пассивной. Католическая церковь не осудила этого учения.

⁶ Имена всех этих шутов известны в Германии и вообще в Европе лишь из маленьких сочинений Вольтера. Без него не знали бы даже об их существовании.

разговаривает, он пишет, он имеет даже душу. Но если и при небольшом уме имеют не меньше души, то, значит, идеи не являются составной частью ее и они, следовательно, не являются чем-то существенным для ее бытия. Следовательно, душа может существовать независимо от всяких идей и от всякого ума.

Резюмируем в конце этой главы наиболее важные различия между душой и умом.

Первое различие заключается в том, что люди от рождения обладают всей своей душой, но не всем своим умом.

Второе — в том, что ум можно утратить при жизни, а душу можно потерять лишь вместе с жизнью.

Третье — в том, что мышление не является необходимым для существования души.

Таков был, без сомнения, взгляд и теологов, когда вслед за Аристотелем они утверждали, что душа обязана чувствам своими идеями. Пусть поэтому не думают, что можно считать ум совершенно независимым от души. Без способности ощущать память^а, производящая наш ум, не имела бы никаких функций и равнялась бы нулю. Существование наших идей и нашего ума предполагает существование способности ощущать. Эта способность и есть сама душа. Отсюда я заключаю, что если душа не есть ум, то ум есть продукт души, или способности ощущать^б.

^а В книге «Об уме» говорится, что память есть в нас лишь продолженное, но ослабленное ощущение. В самом деле, память есть продукт способности ощущать.

^б Меня могут спросить, что такое способность ощущать и что производит в нас это явление. Вот что думает один знаменитый английский химик по вопросу о душе животных.

В телах, говорит он, признают два рода свойств. Существование одних из них постоянно и неизменно; таковы непроницаемость, тяжесть, подвижность и т. д. Эти качества относятся к общей физике.

В тех же телах имеются другие свойства, существование которых мимолетно и временно: их последовательно производят и разрушают известные комбинации, разложения или движения во внутренних частях. Свойства этого рода находятся в ведении различных отраслей естественной истории, химии и т. д. и относятся к частной физике.

Железо, например, представляет собою соединение флогистона^{3*} и некоторой особенной разновидности земли. В состоянии соединения оно подвержено притягательной силе магнита. Но если разложить железо, то свойство это исчезает. Магнит не оказывает никакого действия на железистую землю, лишенную флогистона.

О ПРЕДМЕТАХ, НА КОТОРЫЕ ДЕЙСТВУЕТ УМ

Что такое природа? Совокупность всего сущего. В чем может состоять применение ума в мире? В том, чтобы наблюдать отношения предметов между собой и их отношение к нам. Отношения предметов ко мне немногочисленны. Мне показывают розу. Ее цвет, форма и запах нравятся мне или не нравятся. Таковы ее отношения ко мне. Всякое отношение этого рода сводится к тому, что предмет действует на меня приятным или неприятным образом. Завершенное наблюдение таких отношений образуется вкус и его правила.

Что касается отношений предметов между собою, то они столь же многочисленны, как многочисленны, например, предметы, с которыми я могу сравнивать форму,

Когда соединяют этот металл с другой субстанцией, как, например, купоросная кислота, то это соединение тоже уничтожает в железе свойство быть подверженным притяжению магнита.

Нелетучая щелочь и селитренная кислота обладают каждая в отдельности бесконечным множеством различных качеств, но от этих качеств не остается и следа, когда эти вещества после соединения образуют селитру.

При обыкновенной атмосферной температуре селитренная кислота выделяется из всех других тел, чтобы соединиться с нелетучей щелочью.

Но достаточно подвергнуть это соединение действию теплоты при температуре, способной довести селитру до красного плавления, и прибавить к этому какое-нибудь горючее вещество, чтобы селитренная кислота покинула нелетучую щелочь и соединилась с горючим началом, и в процессе этого соединения возникает та упругая сила, действие которой так удивляет нас в порохе.

Все свойства нелетучей щелочи разрушаются, когда ее соединяют с песком и образуют из нее стекло; его прозрачность, нерастворимость, электрическая сила и т. д. представляют, если можно так выразиться, новые творения, которые, будучи произведены этой смесью, разрушаются при разложении стекла.

Почему же в животном царстве организация не может равным образом произвести то особенное качество, которое называют *способностью ощущать*? Все явления, изучаемые в медицине и в естественной истории, доказывают с очевидностью, что эта способность является у животных результатом строения их тела, что она возникает вместе с образованием их органов, сохраняется, пока они существуют, и наконец утрачивается вследствие разложения этих органов.

Если метафизики спросят меня, чем тогда становится способность ощущать в животном, — тем же, я отвечу им, чем становится в разложившемся железе качество быть притягиваемым магнитом.

См. Treatise on the principles of chemistry ^{2*}.

цвет или запах моей розы. Отношения этого рода бесчисленны, и наблюдение их относится более непосредственно к естественным наукам.

ГЛАВА IV КАК ДЕЙСТВУЕТ УМ?

Все умственные операции сводятся к наблюдению сходств и различий, соответствий и несоответствий, которые различные предметы имеют между собою и по отношению к нам. Безошибочность ума зависит от большей или меньшей степени внимания, с какой производятся эти наблюдения.

Что делаю я, когда хочу узнать отношения некоторых предметов между собою? Я помещаю перед своими глазами или восстанавливаю в своей памяти несколько предметов или по крайней мере два из них, затем я их сравниваю. Но что значит сравнивать? *Это значит попеременно и внимательно наблюдать различные впечатления, производимые на меня этими двумя имеющимися налицо или отсутствующими предметами*^а. После этого наблюдения я выношу суждение, т. е. *точно передаю полученное мною впечатление*. Пусть, например, мне важно определить, какой из двух почти не отличающихся друг от друга оттенков одного и того же цвета темнее. Я долго и последовательно изучаю куски сукна, окрашенные в эти два оттенка; *я их сравниваю, т. е. их попеременно рассматриваю*. Я слежу очень внимательно за различными впечатлениями, которые на мои глаза производят лучи, отражающиеся от обоих образчиков сукна, и составляю наконец суждение, что один образец темнее другого, т. е. *точно передаю полученное мною впечатление*. Всякое другое суждение было бы ложным. Таким образом, всякое суждение *есть лишь рассказ о двух ощущениях, либо испытываемых в настоящий момент, либо сохранившихся в моей памяти*^б.

^а Если память, хранилище полученных впечатлений, заставляет меня испытывать при отсутствии предметов почти те же самые ощущения, какие во мне возбуждало их присутствие, то по отношению к рассматриваемому вопросу безразлично, имеются ли налицо или имеются в моей памяти предметы, относительно которых я выношу суждение.

^б Без памяти, как я доказал в предыдущей главе, нет суждения.

Когда я наблюдаю отношения предметов ко мне, то я равно внимательно слежу за впечатлением, которое от них получаю. Это впечатление приятное или неприятное. Но что значит *судить* в том или в другом случае? Это значит говорить то, что я ощущаю. Я получил удар в голову, боль от этого сильна. Простое сообщение об ощущении, которое я испытываю, образует мое суждение.

К сказанному только что я добавлю лишь, что между суждениями об отношениях предметов между собою и суждениями об их отношениях к нам имеется различие, по видимости незначительное, но заслуживающее быть отмеченным.

Когда дело касается суждения об отношении предметов между собою, то для этого результата надо иметь перед собою по крайней мере два предмета. Но если я сужу об отношении какого-нибудь предмета ко мне, то для вынесения суждения, очевидно, достаточно одного предмета, потому что всякий предмет может вызвать ощущение.

Из этого наблюдения я делаю тот вывод, что всякое утверждение об отношении предметов между собою предполагает сравнение этих предметов, всякое сравнение — усилие; всякое усилие предполагает сильный интерес, побуждающий сделать его. И наоборот, когда дело идет об отношении какого-нибудь предмета ко мне, т. е. о каком-нибудь одном ощущении, то, если это ощущение сильно, оно само представляет сильный интерес, привлекающий меня к вниманию.

Поэтому всякое ощущение этого рода всегда влечет за собою суждение. Я не буду останавливаться больше на этом наблюдении; повторю лишь на основании того, что я сказал выше, что во всех случаях *выносить суждение* — значит *ощущать*.

Признав это, можно сказать, что все умственные операции сводятся к чистым ощущениям. Зачем же признавать в нас какую-то способность суждения, отличную от способности ощущения?! Но, скажут, эта точка зрения общепринята. Согласен с этим, она и должна быть такой. Говорят себе: я ощущаю и сравниваю, значит, во мне имеется способность судить и сравнивать, отличная от способности ощущать. Этого рассуждения достаточно, чтобы убедить большинство людей. Однако достаточно связать со словом *сравнивать* какую-нибудь ясную идею, чтобы заметить всю ошибочность его. Если выяснить

значение этого слова, то нужно признать, что оно не означает никакой реальной деятельности ума; операция сравнения сводится, как я уже сказал, не к чему-нибудь, как к тому, чтобы *быть внимательным к различным впечатлениям, которые вызывают в нас предметы, либо имеющиеся перед нашими глазами, либо имеющиеся в нашей памяти.* И следовательно, всякое суждение может быть лишь *выражением испытанных ощущений.*

Но если суждения, составленные на основании сравнения физических предметов, суть лишь чистые ощущения, то, спрашивается, можно ли сказать то же самое о всех суждениях иного рода?

ГЛАВА V

О СУЖДЕНИЯХ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ СРАВНЕНИЯ АБСТРАКТНЫХ, СОБРАТЕЛНЫХ И ДРУГИХ ИДЕЙ

Слова *слабость, сила, малость, величина, преступление* и т. д. не представляют никакой субстанции, т. е. никакого тела. Каким же образом свести к чистым ощущениям суждения, вытекающие из сравнения подобных слов и идей? На это я отвечу следующее: так как эти слова не представляют для нас никакой идеи, то, пока их не применяют к какому-нибудь частному, осязаемому предмету, о них невозможно вынести никакого суждения. Если же их, намеренно или не замечая этого, применяют к какому-нибудь определенному предмету, то после такого применения слово *величина* будет выражать некоторое отношение, т. е. некоторое различие или сходство, замеченные между предметами, находящимися у нас перед глазами или в нашей памяти. Но суждение, вынесенное об идеях, приобретших благодаря этому применению физический характер, будет, повторяю, лишь *выражением испытанных ощущений.*

Меня могут спросить: под влиянием каких побуждений люди придумали и ввели в язык эти, если можно так выразиться, алгебраические выражения, которые не имеют никакого реального значения до применения их к чувственным предметам и не представляют никакой определенной идеи? На это я отвечу, что люди полагали, что, возможно, таким путем сообщать друг другу легче, быстрее и даже яснее свои идеи. Вот почему они создали во всех языках множество прилагательных и существи-

тельных, одновременно и столь неопределенных^а и столь полезных.

В качестве примера этих не имеющих значения выражений возьмем слово *линия*, которую в геометрии рассматривают независимо от ее длины, ширины и толщины. Понимаемое таким образом слово не вызывает в уме никакой идеи. В природе не существует подобной линии, и нельзя составить себе идею о ней. Что же имеет в виду учитель, пользуясь этим выражением? Он просто хочет предупредить ученика, чтобы он полностью обратил свое внимание на то, что тело рассматривается как имеющее длину, без отношений к другим его измерениям.

Когда для облегчения выкладок в математике вместо точных количеств подставляют буквы *A* и *B*, то представляют ли эти буквы какие-нибудь идеи, означают ли они какую-нибудь реальную величину? Нет. Но то, что выражается в алгебраическом языке через *A* и *B*, в обычном языке выражается словами *слабость*, *сила*, *малость*, *величина* и т. д. Слова эти означают лишь неопределенное отношение вещей между собою и дают нам ясные реальные идеи лишь в момент, когда их применяют к определенному предмету и сравнивают этот предмет с другим предметом. Тогда эти слова, если можно так выразиться, включаются в уравнение или в сравнение, очень точно выражают отношение предметов между собою. До этого момента слово *величина*, например, будет вызывать в моем уме весьма различные идеи в зависимости от того, буду ли я его применять к мухе или к киту. То же самое

^а В состав языка какого-нибудь цивилизованного народа всегда входит бесконечное множество местоимений, союзов, наконец, слов, которые, будучи лишены сами по себе смысла, заимствуют различные значения от выражений, с которыми их соединяют, или от фраз, в которых их употребляют. Изобретение большинства этих слов вызвано боязнью народов слишком умножить число словесных обозначений и их желанием облегчить передачу друг другу своих идей. Действительно, если бы люди вынуждены были создать столько слов, сколько имеется вещей, к которым можно применить, например, прилагательные *белый*, *сильный*, *толстый* — вроде *толстый канат*, *толстый бык*, *толстое дерево* и т. д., то, очевидно, множество выражений, необходимых для передачи идей, весьма обременило бы их память. Поэтому они сочли необходимым изобрести слова, которые, не представляя сами по себе никакой реальной идеи, имея значение лишь в контексте и, наконец, выражая лишь отношение предметов между собою, вызывали бы, однако, в их уме различные идеи в тот момент, когда эти слова соединены с предметами, отношения которых они обозначают.

относится к тому, что в человеке называют идеей или мыслью. Эти выражения сами по себе не имеют никакого значения. Однако какое множество заблуждений они породили! Сколько раз утверждали в школах, что так как *мысль не относится к протяжению и материи*, то, очевидно, душа есть нечто духовное. Я, признаюсь, никогда ничего не понимал в этой ученой галиматье. Действительно, что означает слово *мыслить*? Либо это слово лишено смысла, либо, подобно слову *двигаться*, оно выражает просто способ бытия человека. Но сказать, что некоторый модус или способ существования не есть тело или не обладает протяжением, — ничего нет более ясного. А делать из этого модуса какое-то существо и даже духовное существо, по-моему, нет ничего более абсурдного.

Есть ли, далее, что-нибудь более неопределенное, чем слово *преступление*? Для того чтобы этот собирательный термин вызвал в моем уме ясную и определенную идею, я должен применить его к краже, убийству или к какому-нибудь другому подобному поступку. Люди придумали такого рода слова лишь для того, чтобы легче или по крайней мере быстрее передавать свои идеи. Предположим, что создали общество, в котором допускаются только честные люди. Чтобы избавить себя от труда составлять длинный список всех поступков, закрывающих доступ в это общество, скажут посредством одного слова, что из него изгоняют всякого человека, запятнанного каким-нибудь преступлением. Но будет ли тогда слово *преступление* представлять какую-нибудь ясную идею? Никакой. Слово это, имеющее единственное назначение — напомнить этому обществу вредные поступки, которые могут совершить его члены, говорит обществу лишь о необходимости следить за их поведением. Слово это в конечном счете есть собственно звук и более сокращенный способ пробудить в этом отношении внимание общества.

Предположим, что, будучи вынужден определить наказание за преступление, я обязан был бы составить себе о последнем ясные и точные идеи. Мне пришлось бы в этом случае последовательно вызвать в своей памяти картины различных преступлений, какие из этих преступлений особенно вредны для общества, и наконец вынести суждение, являющееся, как я уже говорил неоднократно, лишь *выражением ощущений, полученных от наличия различных картин этих преступлений*.

Таким образом, любая идея может всегда быть сведена в конечном счете к физическим фактам или ощущениям. Некоторую неясность в споры этого рода вносят неопределенное и неточное значение известного числа слов и иногда трудность извлечь из них отчетливые идеи. Анализировать некоторые из этих выражений и свести их, если можно так выразиться, к их составным идеям, быть может, так же трудно, как в химии бывает трудно разложить некоторые тела. Но если воспользоваться для этого разложения надлежащим методом и проявить необходимое внимание, то можно быть уверенным в успехе.

Сказанного мною достаточно, чтобы убедить просвещенного читателя в том, что всякая идея и всякое суждение могут быть сведены к некоторому ощущению. Поэтому для объяснения различных умственных операций было бы бесполезно допустить наличие в нас способности суждения и сравнения, отличной от способности ощущать. Но, могут сказать, каковы же принцип или побуждение, которые заставляют нас сравнивать предметы между собою и которые побуждают нас напрягать внимание, насколько это необходимо для наблюдения их отношений? Это — интерес, который, как я это докажу, равным образом есть результат физической чувствительности.

ГЛАВА VI

ЕСЛИ НЕТ ИНТЕРЕСА, ТО НЕТ СРАВНЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ МЕЖДУ СОБОЮ

Всякое сравнение предметов между собою предполагает внимание; всякое внимание предполагает усилие, а всякое усилие — побуждение, заставляющее сделать его. Человек, лишенный желаний, — если бы такой человек мог существовать — не сравнивал бы предметов между собою и не высказывал бы никаких суждений. Но и при этом предположении он мог бы все-таки судить о непосредственном впечатлении, производимом на него предметами. Да, если бы это впечатление было сильным. Сила его, ставшая *мотивом внимания*, повлекла бы за собою *суждение*. Иное дело, если бы это ощущение было слабым; в этом случае он не имел бы ни сознания, ни воспоминания о суждениях, которые это ощущение могло бы вызывать. Человек окружен бесконечным множеством предметов; в нем необходимым образом вызывается бесконечное множество ощущений; поэтому он выносит бесконечное

множество суждений, сам того не зная. Почему? Потому, что природа его суждений есть следствие природы его ощущений. Они оставляют в нем лишь легкий след, так же быстро стирающийся, как и ощущаемый. Суждения, выносимые им об этого рода ощущениях, такого же рода; он их не осознает. Действительно, нет такого человека, который, сам того не замечая, не делал бы ежедневно бесконечного множества выводов, которых он не осознает. В качестве примера я приведу те суждения, которые предшествуют почти всем быстрым движениям нашего тела.

Когда в балете Вестрис делает прыжок, а не антраша, когда в фехтовальном зале Моте^{1*} предпочитает сделать терцию, а не кварту, то, раз нет действия без причины, нужно, чтобы Вестрис и Моте решили это путем умозаключения, слишком быстрого для того, чтобы, если можно так выразиться, его можно было заметить. Такое же умозаключение делаю я, когда я рукой оказываю противодействие телу, могущему ударить меня в глаз. Оно сводится приблизительно к следующему.

Опыт показал мне, что моя рука безболезненно оказывает сопротивление удару тела, способному лишить меня зрения. Кроме того, глаза мне дороже руки. Поэтому, чтобы спасти глаза, я должен выставить руку.

Нет человека, который в подобном случае не сделал бы того же вывода. Но это обычное рассуждение не является ли столь быстродействующей причиной, что можно скорее закрыть рукой глаза, чем заметить действие рассуждения, результатом которого явился поступок?

Но сколько есть ощущений, похожих на эти привычные рассуждения! Сколько есть слабых ощущений, которые, не приковывая к себе нашего внимания, не могут вызвать в нас ни сознания, ни воспоминания!

Бывают моменты, когда самые сильные ощущения сводятся, так сказать, к нулю. Я сражаюсь, я ранен, я продолжаю сражаться и не замечаю своей раны. Почему? Потому, что забота о самосохранении, гнев, возбуждение крови делают меня нечувствительным к удару, который в любое другое время полностью приковал бы к себе мое внимание. Наоборот, бывают такие моменты, когда я сознаю самые слабые ощущения; это бывает, когда такие страсти, как страх, любовь к славе, скупость, зависть и т. д., сосредоточивают на предмете всю силу нашего ума.

Если я заговорщик, то нет такого жеста, взгляда, который ускользнул бы от тревожного и подозрительного

взора моих соучастников. Если я художник, то меня поражает всякий особенный световой эффект. Если я ювелир, то нет такого пятнышка в алмазе, которого я не заметил бы. Если я завистник, то нет такого недостатка у великого человека, которого не обнаружил бы мой зоркий глаз. Впрочем, те самые страсти, благодаря которым все мое внимание сосредоточивается на некоторых предметах и делает меня в этом отношении способным к тончайшим ощущениям, закаляют меня также против всякого рода других ощущений.

Если я влюблен, ревную, снедаем честолюбием, испытываю беспокойство и если в этом душевном состоянии я прохожу через великолепные палаты государей, то на меня не оказывают действия лучи, отраженные от мрамора, от статуй, от окружающих меня картин. Пробудить мое внимание может лишь новый и неизвестный предмет, внезапно представившийся моему взгляду и производящий на меня сильное впечатление. Если нет такого впечатления, я иду, не видя и не слыша ничего и не осознавая испытываемых мною ощущений.

Наоборот, если я прохожу эти же палаты в спокойном состоянии духа, без желаний, чувствительный ко всем красотам, которыми их украсили искусство и природа, то душа моя, открытая для всех впечатлений, будет разрываться между теми впечатлениями, которые она получает. Конечно, у меня не будет, как у влюбленного и снедаемого честолюбием, того острого и пронизывающего взора, который они устремляют на все их интересующее; я не замечу, подобно им, того, что видимо, так сказать, лишь глазам страсти. Чувства мои будут менее обострены, но более широко открыты для впечатлений.

Допустим, что какой-нибудь светский человек и какой-нибудь ботаник прогуливаются вдоль канала, покрытого тенью старых дубов и обсаженного кустарниками и благоухающими цветами. Первый, пораженный только прозрачностью вод, возрастом дубов, разнообразием кустарников, приятным запахом цветов, не будет обладать глазами ботаника и не сможет наблюдать сходство и различие этих цветов и этих кустарников между собою.

Не имея интереса в том, чтобы заметить, он не будет обладать и вниманием, нужным для того, чтобы их увидеть. Он будет получать ощущения и выносить суждения, не сознавая этого. Только ботаник, дорожащий своей

репутацией, ботаник, тщательно наблюдающий эти различные цветы и кустарники, может отнестись внимательно к различным испытываемым от них ощущениям и к выносимым о них суждениям^а.

Словом, если сознание или отсутствие сознания таких впечатлений не изменяет их природы, то верно, как я уже сказал, что всякое наше ощущение влечет за собою суждение, существование которого, будучи неизвестным, пока оно не приковало к себе нашего внимания, тем не менее реально.

Из этой главы следует, что все суждения, вызываемые сравнением предметов между собою, предполагают наличие в нас интереса к тому, чтобы их сравнивать. Но интерес этот, основывающийся необходимым образом на нашем стремлении к счастью, может быть лишь результатом физической чувствительности, ибо здесь коренятся все наши удовольствия и страдания. Исследовав этот вопрос, я приду к выводу, что физическое удовольствие и страдание и есть неизвестное начало всех человеческих поступков^б.

ГЛАВА VII

ФИЗИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЕСТЬ ЕДИНСТВЕННАЯ ПРИЧИНА НАШИХ ДЕЙСТВИЙ. НАШИХ МЫСЛЕЙ. НАШИХ СТРАСТЕЙ И НАШЕЙ ОБЩИТЕЛЬНОСТИ

Действие

Ремесленник и крестьянин размышляют, воображают, трудятся для того, чтобы одеться, чтобы нарядить свою любовницу или свою жену, доставить им развлечения, прокормить себя и свою семью, наконец, испытывать наслаждение, связанное с удовлетворением физической потребности. Следовательно, физическая чувствительность есть единственный двигатель человека^в; он способен, как

^а Действительно, не существует ни воспоминания без внимания, ни внимания — без интереса.

^б В нескольких местах своего «Эмиля» Руссо отрицает, что физическая чувствительность является началом всех человеческих поступков; но доводы, на которых он основывается, доказывают, что он не продумал серьезно этого вопроса.

^в То, что называют умственным удовольствием или страданием, всегда может быть сведено к какому-нибудь физическому удовольствию или страданию. Для доказательства этой истины приведу два примера.

я это докажу, к двум родам удовольствия и страдания. Первый — это физические страдания и удовольствия, второй — страдания и удовольствия, связанные с предвидением или памятью.

Что заставляет нас любить игру с небольшими ставками? Вызываемые ли ею в нас приятные ощущения? Нет, мы любим ее потому, что она избавляет нас от скуки и освобождает от того отсутствия впечатлений, которое всегда ощущается как какое-то физическое недомогание и страдание.

Что заставляет нас любить крупную игру? Жадность к деньгам. Что заставляет нас любить деньги? Любовь к жизненным удобствам, потребность в развлечениях, желание избавиться от страданий и доставить себе физическое удовольствие. Но разве нельзя любить при крупной игре ту эмоцию, которую она в нас вызывает? Разумеется, можно. Но эмоция, испытываемая мною в тот момент, когда я должен потерять или выиграть тысячу, две тысячи или, если угодно, десять тысяч лундоров, имеет своим источником или боязнь лишиться удовольствий, которыми я наслаждаюсь, или надежду испытать те удовольствия, которые доставило бы мне увеличение моего состояния. Но, скажут, разве эта эмоция не бывает также у некоторых людей результатом гордости? Бывают столь высокомерные люди, что они чувствуют себя униженными, когда их покидает фортуна, хотя бы это было в игре в булавки. Но такого рода гордость встречается редко. Кроме того, даже эта гордость, как это доказано в книге «Об уме» (гл. XIII, рассуждение 3), есть тоже лишь один из результатов физической чувствительности. Следовательно, любовь к карточной игре имеет свое начало или в боязни скуки, т. е. физического страдания, или в надежде на физическое удовольствие.

Можно ли сказать то же самое о внутреннем удовольствии, которое испытывают, когда помогают несчастному человеку или совершают какой-нибудь щедрый поступок? Разумеется, это — удовольствие очень сильное. Всякий поступок этого рода заслуживает всеобщей похвалы, ибо он полезен всем. Но что такое гуманный человек? Человек, для которого зрелище чужого несчастья — мучительное зрелище.

Так как человек рождается без идей, без пороков и добродетелей, то все, даже гуманность, есть в человеке его приобретение. Этими чувствами он обязан своему воспитанию. Между различными способами внушить его человеку, самый действенный — это приучить ребенка, так сказать, с колыбели при виде какого-нибудь несчастного спрашивать себя, благодаря какому случаю он не является жертвой непогоды, жажды, голода, боли и т. д., подобно этому бедняге. Если ребенок приобрел привычку отождествлять себя с несчастными, то его тем более трогает их несчастье, что, оплакивая их судьбу, он обнаруживает сострадание к людям вообще и, следовательно, к себе самому в частности. К этому первому чувству примешивается тогда множество различных других чувств, и из их совокупности складывается то целостное чувство удовольствия, которым наслаждается благородный человек, помогая несчастному, чувство, которое он не всегда в состоянии анализировать.

Я знаю два рода страданий: действительное страдание и страдание, связанное с предвидением. Когда я умираю от голода, то я испытываю действительное страдание. Когда я предвижу, что я вскоре умру от голода, то я испытываю страдание от этого предвидения, впечатление от которого тем сильнее, чем более близким и сильным должно быть это страдание. Преступник, идущий на эшафот, не испытывает еще никакого мучения; однако предвидение, приближающее казнь, является уже его началом^а.

Угрызения совести

Угрызения совести суть не что иное, как предвидение физических страданий, которым подвергает нас преступление. Следовательно, угрызения совести в нас суть результат физической чувствительности. Я дрожу при виде огня, колес, бичей, которые зажигает, сгибает и сплетает воображение живописца или поэта, изображающее Тартар. Если человек лишен страха, если он стоит выше законов, то он совершает без раскаяния бесчестный, но выгодный для него поступок, по крайней мере до тех пор,

Участь несчастных облегчают:

1. Для того чтобы избавиться от физического страдания при виде их мучений.

2. Чтобы наслаждаться зрелищем благодарности, вызывающей в нас по крайней мере смутную надежду на какую-то отдаленную выгоду.

3. Чтобы обнаружить свое могущество, проявление которого нам всегда приятно, ибо оно всегда вызывает в нашем уме представление об удовольствиях, связанных с этим могуществом.

4. Потому что идея счастья всегда соединяется при правильном воспитании с идеей благотворительности; а так как благотворительность помогает нам снискать уважение и любовь людей, то ее, как и богатство, можно считать способом или средством избавиться от страданий и доставить себе удовольствия.

Вот каким образом из бесконечного множества различных чувств образуется целостное чувство удовольствия, которое испытывают, совершая акт благотворительности.

Сказанного достаточно, чтобы показать уму человеку, каким способом можно разложить равным образом и все другие так называемые интеллектуальные наслаждения и свести их к чистым ощущениям.

^а Нет никакого сомнения в том, что предвидение заставляет нас в эти ужасные минуты испытывать физически болезненное ощущение. Что такое предвидение? Результат памяти. Но память

пока он еще не приобрел добродетельных привычек. Раз эти привычки усвоены, то им нельзя изменить, не испытывая неприятного тайного чувства и беспокойства, которое тоже называют угрызением совести. Опыт показывает, что всякий поступок, не влекущий для нас наказания по закону и не наказываемый бесчестьем^а, совершается вообще всегда без угрызений совести. Солон и Платон любили женщин и даже юношей и признавались в этом^б. Воровство не наказывалось в Спарте, и лакедемоняне воровали без угрызений совести. Восточные государи могут безнаказанно обременять своих подданных налогами, и они обременяют их ими. Инквизитор может безнаказанно сжечь любого человека, придерживающегося иных взглядов, чем он, по некоторым метафизическим вопросам, и он мстит без всяких угрызений совести ужасными муками за легкую обиду, нанесенную его тщеславию противоположным мнением какого-нибудь еврея или неверующего. Таким образом, угрызения совести обязаны своим существованием страху наказания или же стыду, который можно всегда, как я уже сказал, свести к физическому страданию.

Дружба

Равным образом физической чувствительностью объясняются слезы, которые я проливаю над урной друга. Смерть отняла его у меня; я оплакиваю в нем человека,

обладает тем свойством, что она вызывает в органах до известной степени те сокращения, которые вызовет в них более сильным образом казнь. Очевидно, что все страдания и удовольствия, считаемые внутренними, также суть физические ощущения и что под словами *внутренние* или *внешние* следует понимать впечатления, вызванные в нас либо воспоминанием о предметах, либо самим наличием их.

^а Если бесчестье или презрение со стороны людей невыносимо для нас, то это потому, что оно предвещает нам несчастье; обесчещенный человек частично лишается выгод, связанных с объединением людей в общество; презрение выражает отсутствие у последних готовности помогать нам — это рисует нам будущее лишенным удовольствий и полным страданий, которые все можно свести к физическим страданиям.

^б Галлы некогда делились на бесчисленное множество *союзов* (clubs) или *отдельных обществ*. Общества эти состояли из дюжины хозяйств, в которых женщины были общими. С ними жили без угрызений совести, не осмеливаясь полюбить женщину из другого союза: закон запрещал это, а угрызения совести начинаются там, где кончается безнаказанность.

беседа с которым избавляла бы меня от скуки — этого душевного недомогания, являющегося в действительности физическим страданием; я оплакиваю того, кто рискнул бы своей жизнью и состоянием, чтобы спасти меня от смерти и от страданий, и кто, занятый непрерывно мыслью о моем счастье, желал бесконечно продлить его при помощи всяческих удовольствий. Если погрузиться в глубины своей души и покопаться в них, то во всех этих чувствах можно заметить лишь дальнейшее развитие физического удовольствия или страдания. На что только не способно это страдание! С его помощью правитель обуздывает пороки и обезоруживает убийц.

Удовольствие

Есть два рода удовольствий, подобно тому как есть два рода страданий: одно — это физическое удовольствие, другое — удовольствие от предвидения. Если человек любит прекрасных рабынь и красивые картины, то, найдя сокровище, он приходит в восторг. Скажут, он, однако, не испытывает еще никакого физического удовольствия. Это верно. Но в этот момент он приобретает средства доставить себе предметы своих желаний. Одно это предвидение близкого удовольствия есть уже удовольствие. Если бы он не любил прекрасных рабынь и прекрасные картины, он был бы равнодушен к находке этих сокровищ.

Следовательно, удовольствие от предвидения всегда предполагает существование удовольствий, испытываемых чувствами. Надежда наслаждаться завтра своей любовницей делает меня сегодня счастливым. Предвидение или память превращает в реальное наслаждение приобретение всех средств, способных доставить мне удовольствие. Действительно, почему я испытываю приятное ощущение всякий раз, когда добиваюсь более высокой степени почта, уважения к себе, богатств и особенно власти? Потому, что я считаю власть самым надежным средством увеличить свое счастье.

Власть

Люди любят самих себя. Все желают быть счастливыми и думают, что они были бы совершенно счастливы, если бы обладали властью, необходимой, чтобы доставить им всякого рода удовольствия. Желание власти имеет, стало быть, своим источником любовь к удовольствиям.

Предположим абсолютно бесчувственного человека. Но, скажут, такой человек был бы лишен идей и, следовательно, был бы просто статуей. Согласен. Допустим, однако, что он мог бы существовать и даже размышлять. Какое значение придавал бы он королевской власти и короне? Никакого. Действительно, что могла бы прибавить эта огромная власть к счастью бесчувственного человека?

Если честолюбец так добивается власти, то это потому, что он видит в ней средство приобрести удовольствия. Власть, подобно деньгам, является ходячей монетой. Действие власти и банковских чеков одно и то же. Если я имею подобный чек, то по предъявлении его я получаю в Лондоне или Париже 100 тысяч эку, а следовательно, и все те удовольствия, которые представляет эта сумма. Если я имею приказ, предоставляющий мне командование или власть, то я таким же образом получаю по предъявлении его от своих сограждан известное количество продуктов или удовольствий. Результаты богатства и власти почти одинаковы, ибо богатство есть тоже власть.

Каким образом взимали бы налоги в стране, в которой были бы неизвестны деньги? Натурой, т. е. в виде хлеба, вина, скота, фуража, зерна, дичи и т. д. Каким образом там торговали бы? Путем обмена. Деньги, таким образом, следует рассматривать как портативный товар, на который условились для облегчения торговли обменивать все другие товары. Не так ли обстоит дело с должностями и почестями, которыми цивилизованные народы вознаграждают услуги, оказанные отечеству? Почему бы и нет? Что такое почести? Монета, тоже представляющая всякого рода продукты и удовольствия. Предположим страну, в которой не была бы в ходу монета почести; предположим народ, слишком свободный и гордый, чтобы терпеть чрезмерное неравенство в условиях жизни граждан и давать слишком много власти одним над другими. Каким образом этот народ стал бы вознаграждать великие и полезные для отечества деяния? Продуктами и удовольствиями в натуре, т. е. перенесением такого-то количества зерна, пива, сена, вина и т. п. в погреб или амбары героя, принесенным ему в дар такого-то количества арпанов нераспаханной земли и такого-то количества прекрасных рабынь. Греки вознаградили мужество Ахилла, предоставив ему обладание Бризеидой^{а1*}.

^а На острове Рамии никто не может жениться, если он не убьет неприятеля и не принесет его голову. Человек, победивший

Какая была у скандинавов, саксов, скифов, кельтов, самнитов, арабов^а награда за мужество, таланты и добродетели? То подаренная героям прекрасная женщина, то приглашение на пиршество, где вопны, угощаемые тонкими яствами и приятными напитками, слушали с восхищением песни бардов.

Очевидно, что если у большинства цивилизованных народов наградой за добродетельные поступки являются деньги и почести, то это потому, что они представляют те же блага и удовольствия, которые бедные и свободные народы доставляли своим героям в натуре и для приобретения которых эти герои подвергались величайшим опасностям. Предположим, что эти должности и почести не представляют этих продуктов и удовольствий; допустим, что эти почести являются лишь пустыми титулами^б, тогда титулы эти, оцениваемые по их настоящей стоимости,

двух неприятелей, имеет право взять двух жен и т. д., до пятидесяти. Какой причиной объяснить установление подобного обычая? Положением этих островитян, которые, будучи окружены со всех сторон враждебными народами, не могли бы сопротивляться им, если бы для внушения своим гражданам мужества они не давали им за храбрость самых больших наград.

^а Среди даров, которые еще и в настоящее время караваны приносят арабам пустыни, наиболее ценными считаются девушки, достигшие половой зрелости. Такую же дань победители-сарацены требовали некогда от побежденных. После завоевания Испании Абдерам потребовал от мелкого князька Астурии ежегодной дани в виде сотни прекрасных девушек.

^б В деспотических странах побуждение славы обыкновенно очень слабо. Это потому, что слава не дает здесь никакой власти; потому, что вся власть поглощена деспотом; потому, что в этих странах герой, покрытый славой, не находится в безопасности от интриг ничтожнейшего царедворца; потому, что он не является собственником ни своего имущества, ни своей свободы; потому, наконец, что по приказу государя его могут бросить в тюрьму, отнять у него богатства, почести и даже лишить его жизни.

Почему англичанин смотрит на большинство иностранных вельмож как на удостоенных отличий лакеев и как на украшенные лентами жертвы? Потому что простой крестьянин в Англии имеет большее значение, чем в других странах человек, занимающий видное положение. Этот крестьянин свободен, он может безнаказанно быть добродетельным, он не знает ничего выше себя, кроме закона.

В бедных республиках самым могущественным источником деятельности должно быть желание славы, в деспотических же странах источником действия и движущей силой народа, подчиненного правительству, является желание денег, основывающееся на любви к роскоши.

скоро перестали бы быть предметом желаний. Чтобы солдат шел на приступ, экую его жалованья должно представлять пинту водки и ночь маркитантки. Солдаты прежних времен и современные солдаты — одни и те же^а. Человек не изменился, и за одно и то же вознаграждение он во все времена будет совершать те же приблизительно поступки. Предположим, что он равнодушен к удовольствию и страданию: он не станет ничего делать; он не будет способен ни к угрызениям совести, ни к дружбе, будет нечувствителен, наконец, к любви, богатству и власти. Действительно, человек, нечувствительный к самому удовольствию, неизбежно будет нечувствителен к средствам приобрести его. В богатстве и власти люди ищут средства избавиться от физических страданий и доставить себе физические удовольствия. Если приобретение денег и власти всегда представляет удовольствие, то это потому, что предвидение и память превращают в реальное удовольствие все средства получить его.

Общий вывод из этой главы: все в человеке есть ощущение. Но я приведу еще одно доказательство этой истины, показав, что результатом той же чувствительности является и общительность человека.

ГЛАВА VIII ОБ ОБЩИТЕЛЬНОСТИ

Человек по своей природе и травоядное и плотоядное существо. При этом он слаб, плохо вооружен и, следовательно, может стать жертвой прожорливости более сильных, чем он, животных. Поэтому, чтобы добыть себе пищу или спастись от ярости тигра и льва, человек должен был соединиться с другими людьми. Целью этого союза было нападение на животных и их умерщвление^б — либо для того, чтобы поедать их, либо для того, чтобы защищать от них плоды и овощи, служившие человеку пищей. Ме-

^а Известно, что вторжение Бренна в Италию было не первым, но пятым нашествием сюда галлов. До него туда вторгся Белловез. Но каким образом этот вождь побудил своих соотечественников последовать за ним по ту сторону Альп? Послав им итальянского вина. «Отведайте этого вина, — писал он им, — и если оно вам понравится, то пойдемте со мной и завоюем страну, которая его производит».

^б В Африке говорят, что существует особая порода диких собак, которые в силу того же побуждения отправляются сворой на войну с более сильными, чем они, животными.

жду тем люди размножились, и, чтобы прожить, им нужно было возделывать землю. Чтобы побудить земледельцев сеять, нужно было, чтобы ему принадлежала жатва. Для этого граждане заключили между собою соглашения и создали законы. Эти законы закрепили узы союза, в основе которого лежали их потребности и который был непосредственным результатом физической чувствительности^а. Но нельзя ли рассматривать их общительность как врожденное качество^б, как своего рода нравственную красоту? Опыт показывает нам по этому вопросу, что у человека, как и у животного, общительность есть результат потребности. Если потребность в самозащите собирает в стадо или общество травоядных животных, как быки, лошади и т. д., то потребность нападать, охотиться, воевать, драться со своей добычей соединяет также в общество таких плотоядных животных, как лисы и волки.

Интерес и потребность — таков источник всякой общительности. Только одно это начало (отчетливые представления о котором встречаются лишь у немногих писателей) объединяет людей между собою. Поэтому сила их союза всегда соразмерна силе привычки и потребности. С того момента, когда молодой дикарь^в и молодой кабан

^а Из того, что человек общителен, сделали вывод, что он добр. Это — заблуждение. Волки живут обществом и не добры. Я прибавлю к этому даже, что если человек создал, как выражается Фонтенель, бога по своему образу и подобию, то нарисованный им ужасающий портрет божества должен вызвать сильные сомнения относительно доброты человека. Гоббса упрекают за следующий афоризм: «Сильный ребенок есть злой ребенок». Между тем он повторил лишь в других словах следующие прославленные стихи Корнея:

Кто может сделать все, чего желает, —
Желает большего, чем должен, —

и следующий стих Лафонтена:

Довод более сильного — всегда лучший довод.

Люди, рассматривающие человека как материал для романа¹, порицают этот афоризм Гоббса, но люди, пишущие историю человека, восхищаются этим афоризмом, и необходимость законов доказывает всю его истинность.

^б Любопытство, которое иногда считают врожденной страстью, является у нас результатом желания быть счастливым и все более и более улучшать свое положение. Оно есть лишь дальнейшее развитие физической чувствительности.

^в По словам большинства путешественников, привязанность негров к своим детям подобна привязанности животных к своим детенышам. Эта привязанность прекращается, когда детеныш мо-

в состоянии добывать себе пищу и защищаться, первый покидает хижину, второй — логово своих родителей^а.

Орел перестает узнавать своих орлят с того момента, когда, сделавшись достаточно быстрыми в своем полете, чтобы молнией ринуться на свою добычу, они могут обойтись без его помощи.

Узы, связывающие детей с отцом и отца с детьми, менее сильны, чем думают. Будь эти узы слишком сильными — это было бы даже пагубно для государства. Первой страстью для гражданина должна быть любовь к законам и общественному благу. Говорю это с сожалением, но сыновняя любовь подчинена у человека любви к отечеству. Если это последнее чувство не превосходит всех прочих, то где найти критерий порока и добродетели? В этом случае такого критерия нет и всякая нравственность тем самым уничтожается.

Действительно, почему людям заповедали превыше всего любовь к богу или к справедливости? Потому, что смутно поняли опасность, которой подвергла бы их чрезмерная любовь к родным. Если узаконить эту чрезмерную любовь, если признать ее первым из всех чувств, то сын получит право ограбить своего соседа или обокрасть общественную казну для того, чтобы удовлетворить потребности отца или увеличить его благополучие. Сколько существует семейств, столько было бы маленьких народов с противоположными интересами, которые всегда воювали бы друг с другом!

гут сами позаботиться о своих потребностях (см. т. I «*Mélanges intéressants de Voyages d'Asie, d'Amerique*», etc.). Анксикк, говорит по этому вопросу Даппер в своем «Путешествии по Африке», поедают своих рабов. Человеческое мясо встречается на рынках так же часто, как говядина в наших мясных лавках. Отец питается мясом своего сына, сын — мясом своего отца, братья и сестры едят друг друга, и мать без отвращения питается только что родившимся ребенком. Наконец, негры, по словам отца Лабба, не чувствуют ни признательности, ни привязанности к своим родителям, лишены также сострадания к больным. У этих народов, прибавляет он, можно наблюдать матерей, настолько бесчеловечных, что они оставляют в деревнях своих детей в добычу тиграм^{2*}.

^а В Европе самое обычное явление, что сыновья покидают своего отца, когда, став старым, слабым, неспособным к труду, он живет лишь милостыней. В деревнях можно наблюдать, что отец кормит семь или восемь детей, а семь или восемь детей не могут прокормить отца. Если не все сыновья так жестоки, если бывают нежные и человеческие дети, то своей человечностью они обязаны воспитанию и примеру; природа же сделала из них маленьких кабанов.

Всякий писатель, который, желая внушить хорошее мнение о своем добросердечии, основывает общительность на ином принципе, а не на физических и привычных потребностях, обманывает недальновидных людей и дает им ложное представление о нравственности.

Природа хотела, несомненно, чтобы признательность и привычка играли у человека роль своего рода тяготения, которое влекло бы его к любви к своим родителям; она хотела также, чтобы человек нашел в естественном стремлении к независимости силу отталкивания, которая уменьшала бы чрезмерную силу этого тяготения^а. Поэтому дочь радостно покидает дом матери, чтобы перейти в дом мужа. Поэтому сын с удовольствием покидает отцовский очаг, чтобы получить место в Индии, заняв должность в провинции или просто путешествовать.

Несмотря на мнимую силу чувства, дружбы и привычки, в Париже то и дело меняют квартиры, знакомых и друзей. Желая обмануть людей, преувеличивают силу чувства и дружбы, общительность рассматривают *как любовь или как врожденное начало*. Неужели можно искренне забыть, что существует только одно такое начало — физическая чувствительность?

Одному этому началу мы обязаны и любовью к самим себе, и столь сильной любовью к независимости. Если бы между людьми, как это утверждают, имело место сильное взаимное притяжение, то разве заповедал бы им небесный законодатель любить друг друга, разве он повелел бы им любить своих родителей и матерей?^б Не предоставил ли бы он заботу об этом самой природе, которая без помощи какого бы то ни было закона заставляет человека есть и пить, когда он испытывает голод и жажду, открывать глаза по направлению к свету и беречь палец от огня?

Если судить по рассказам путешественников, то любовь человека к ближним не так обычна, как это уверяют. Мореплаватель, спасшийся при кораблекрушении и выброшенный на неизвестный берег, не бросается с рас-

^а Человек ненавидит зависимость. Отсюда может возникнуть ненависть к отцу и матери, и этим объясняется следующая пословица, основанная на повседневном наблюдении: любовь исходит от родителей к детям, но не восходит от детей к родителям.

^б Заповедь любить своих отцов и матерей доказывает, что любовь к родителям есть скорее дело привычки и воспитания, чем природы.

простертыми объятиями на шею первому встречному. Наоборот, он старается пританцываться в каком-нибудь кустарнике. Отсюда он изучает нравы туземцев, и отсюда он выходит дрожа навстречу им.

Но, скажут, когда какой-нибудь европейский корабль пристаёт к неизвестному острову, то разве дикари не сбегаются толпой к нему? Несомненно, их поражает его зрелище. Дикарей удивляют новые для них одежда, наши украшения, наше оружие, наши орудия. Это зрелище вызывает их изумление. Но какое желание следует у них за этим первым чувством? Желание присвоить себе предметы их восхищения. Сделавшись менее веселыми и более задумчивыми, они измышляют способы отнять хитростью или силой эти предметы их желания. Для этого они подстерегают благоприятный момент, чтобы обокрасть, ограбить и перерезать европейцев, которые при завоевании имп Мексики и Перу уже ранее дали им образец подобных несправедливостей и жестокостей.

Из этой главы следует вывод, что принципы этики и политики должны, подобно принципам всех прочих наук, покоиться на многочисленных фактах и наблюдениях. Но что следует из производившихся до сих пор наблюдений над нравственностью? Что любовь людей к своим ближним есть результат необходимости помогать друг другу и бесконечного множества потребностей, зависящих от той же физической чувствительности, которую я считаю первоначальным источником наших поступков, наших пороков и наших добродетелей.

Продолжая придерживаться по этому вопросу своего взгляда, я считаю необходимым защитить книгу «Об уме» от гнусных обвинений со стороны ханжей и невежд.

ГЛАВА IX ОПРАВДАНИЕ ПРИНЦИПОВ, ПРИНЯТЫХ В КНИГЕ «ОБ УМЕ»

Когда появилась книга «Об уме», богословы увидели во мне развратителя нравов. Они упрекали меня в том, что я, следуя Платону, Плутарху и опыту, утверждал, что любовь к женщинам иногда побуждала мужчин к доблести.

Однако факт этот бесспорен, и, следовательно, их упреки абсурдны. Если можно сказать им, что наградой за труды и мастерство может быть хлеб, то почему не могут

быть наградой женщины? ^а Всякий предмет, служащий объектом желания, может стать стимулом к добродетели, если добиться его можно лишь при помощи услуг, оказанных отечеству.

Какая добродетель должна быть особенно почитаема в те времена, когда нашествия северных народов и набег бесчисленного множества разбойников заставляли граждан держать всегда оружие наготове, когда женщины, которым часто грозили оскорбления со стороны похитителей, постоянно нуждались в защитниках? Мужество. Поэтому благосклонность женщин была наградой наиболее храбрых; поэтому всякий человек, добившийся этой благосклонности, должен был, чтобы приобрести ее, обнаружить такое исключительное мужество, которое одушевляло четырех лет назад всех храбрых рыцарей.

Таким образом, любовь к удовольствию была в эту эпоху творческим началом единственно известной тогда добродетели — мужества. Поэтому, когда произошла перемена в нравах, когда в связи с усовершенствованием полиции робкая дева оказалась в безопасности от всяких посягательств, тогда (ведь все связано между собою в деле управления) красота, которой уже менее угрожали оскорбления со стороны похитителя, начала меньше ценить своих защитников. В наше время восхищение женщин мужеством уменьшилось соразмерно ослаблению их страха; сохранившееся еще теперь уважение к мужеству является лишь уважением по традиции; в наше время обыкновенно предпочтением пользуется самый молодой, постоянный, любезный и особенно самый богатый любовник. Всему этому не приходится удивляться: все это так и должно быть.

Благосклонность женщины является — или перестает быть — стимулом к известным добродетелям в зависимо-

^а Если потребность в удовлетворении голода есть источник стольких поступков и если она имеет такую власть над людьми, то как можно думать, что потребность в женщинах не оказывает на них влияния? Пусть в тот момент, когда юноша согревается первыми лучами любви, ему предложат любовные наслаждения в качестве награды за его прилежание, пусть ему будут напоминать даже в объятиях его любовницы, что ее ласкам он обязан своим талантами и добродетелями. Этот послушный, прилежный, доблестный молодой человек будет наслаждаться тогда с пользой для своего здоровья, для своей души, для своего ума, наконец, для общего блага теми удовольствиями, которыми он наслаждался бы в другом положении только по-скотски, истощая себя, разоряясь и живя в разврате.

сти от изменений, происходящих в нравах и в правительстве. Таким образом, любовь сама по себе вовсе не есть зло. Зачем же считать любовные удовольствия причиной политической коррупции нравов? Во все времена у людей были почти одни и те же потребности, и во все времена они их удовлетворяли. Эпохи, когда народы особенно предавались любви, были эпохами, когда мужчины были особенно крепкими и сильными. Эдда^{1*}, ирландские саги, наконец, вся история учат нас тому, что эпохи, считающиеся героическими и доблестными, не отличаются особым воздержанием.

Молодежь сильно привлекают женщины. Молодежь более падка на удовольствия, чем люди зрелого возраста, но молодежь обычно более гуманна и добродетельна; во всяком случае она более активна, а активность есть добродетель.

Не любовь и не любовные удовольствия развратили Азию, довели до изнеженности нравы мидян, ассирийян, индусов и т. д. Греки, сарацины, скандинавы не были ни более воздержанными, ни более целомудренными, чем персы и мидяне, и, однако, их никогда не считали изнеженными и расслабленными народами.

Если бываю случаи, когда благосклонность женщин может стать источником развращения, то это тогда, когда она продажна; когда пользование ею покупается; когда деньги, перестав быть наградой за заслуги и таланты, становятся вознаграждением за интриги, лесть и когда, наконец, какой-нибудь сатрап или набоб может путем несправедливости и преступлений добиться от государя права тиранить и грабить народ и присваивать себе добычу.

О женщинах можно сказать то же самое, что о почестях, этих обычных предметах людских желаний. Если почести являются наградой за несправедливость, если для получения их надо льстить сильным мира сего, приносить слабого в жертву сильному и интересы народа в жертву интересу какого-нибудь султана, тогда почести, столь удачно придуманные в качестве награды и отличия за заслуги и таланты, становятся источником развращения. Точно так же и женщины могут, как и почести, стать в зависимости от времени и нравов стимулом то добродетели, то порока.

Таким образом, политическая развращенность нравов заключается лишь в извращенности средств, употребляе-

мых для доставления себе удовольствий. Суровый моралист, выступающий с непрерывными проповедями против удовольствий, повторяет лишь слова своей милой или своего духовника. Как можно погасить в людях всякое желание, не уничтожая в них всякое действительное начало? Тот, кто не чувствует ни к чему интереса, ни на что не годеи и ни в чем не проявляет ума.

ГЛАВА X

О ТОМ, ЧТО ЧУВСТВЕННЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ДАЖЕ БЕЗ ВЕДОМА НАРОДОВ ИХ НАИБОЛЕЕ МОГУЩЕСТВЕННЫМИ ДВИЖУЩИМИ СИЛАМИ

Движущими силами человека являются физические удовольствия и страдания. Почему голод — наиболее обычный первоисточник его деятельности? Потому, что из всех его потребностей потребность в удовлетворении голода повторяется чаще всего и наиболее повелительно. Голод и трудность удовлетворить потребность в пище дают в лесах хищным животным большое умственное превосходство над травоядными животными. Голод учит их сотням остроумных способов нападать, застигать врасплох добычу; голод заставляет дикаря проводить целых шесть месяцев на озерах и в лесах, учит его сгибать свой лук, плести сети и устраивать западни животным. Голод же заставляет у цивилизованных народов всех граждан работать, возделывать землю, учиться ремеслу и выполнять любые обязанности. Но, выполняя эти обязанности, каждый забывает мотивы, заставляющие его выполнять их, — это потому, что наш ум интересуется не потребностью, но средствами ее удовлетворения. Не есть трудно, но приготовить обед!

Удовольствие и страдание суть и всегда будут единственным первоначалом человеческих поступков^а. Если

^а Если потребности являются единственными движущими нас силами, то изобретение искусств и наук следует объяснить также нашими различными потребностями. Вследствие потребности в удовлетворении голода создается умение распахивать и возделывать землю, изготовлять плуги и т. д. Потребности защищаться от непогоды мы обязаны умением строить дома, изготовлять одежду и т. д.

^б Что касается пышных экипажей, материи, мебели, что касается музыки, зрелищ, наконец, всех искусств, обслуживающих роскошь, то их изобретение следует равным образом объяснять любовью, желанием нравиться и боязнью скуки. Без любви не из-

бы небо позаботилось обо всех его потребностях, если бы пища, подходящая для его тела, была, подобно воздуху и воде, составным элементом природы, то человек коснел бы в лености.

Голод, следовательно, страдание есть источник деятельности для бедных, т. е. для большинства людей, а удовольствие есть источник деятельности для людей, стоящих выше нужды, т. е. богатых. Но из всех удовольствий сильнее всего, бесспорно, действует на нас, сообщая нашей душе больше всего энергии, удовольствие, доставляемое женщинами. Природа, связав с пользованием их благосклонностью величайшее опьянение, сделала из них один из самых могучих источников нашей деятельности ^а.

Ведно, сколько было бы искусств! Какое было бы дремотное погружение в природу! Лишенный потребностей, человек не имел бы действительного начала. Потребности в удовольствиях обязана отчасти молодежи своей активностью и своим превосходством в этом отношении над людьми зрелого возраста.

^а Говорят, что среди ученых встречаются такие, которые, удалившись от света, предпочитают жить в уединении. Как доказать, что и у них любовь к талантам имеет своим основанием любовь к физическим удовольствиям, и в особенности любовь к женщинам? Как примирить столь непримиримые вещи? Для этого достаточно предположить, что с таким талантливым человеком происходит то же, что и со скупцом. Последний лишает себя сегодня всего необходимого в надежде наслаждаться завтра избытком. Скупец желает иметь прекрасный замок, а талантливый человек — прекрасную женщину. Но, чтобы получить то и другое, нужны большое богатство, с одной стороны, и большая слава — с другой. Оба эти человека работают каждый по-своему для увеличения: первый — своих сокровищ, второй — своей славы. Но за время, ушедшее на приобретение этих денег и этой славы, они могут состариться, усвоить привычки, от которых они не могут отказаться без непосильных для их возраста усилий; скупец и талантливый человек сойдут тогда в могилу — один без замка, другой без женщины.

Огромное сходство можно обнаружить также не только между этими двумя людьми, но между тем же скупцом и кокеткой. Оба они более счастливы, чем это думают, счастливы одинаковым образом. Скупец, пересчитывая свои деньги, наслаждается перспективой скорого обладания всеми теми предметами, на которые они могут быть обменены; кокетка же, любясь собой в зеркале, наслаждается равным образом наперед всем тем поклонением, которое ей принесут ее грация и красота. Я советовал бы им обоим ограничиться только этим. Лучше для них не иметь ни замков, ни возлюбленных: вступив в обладание предметами своих желаний, они могут испытать неизвестные им до того неприятные чувства.

Состояние желания есть состояние удовольствия. Возможность получить замки, любовников и женщин, которых может доставить богатство, красота и таланты, представляет собою удовольствие от предвидения. Оно, несомненно, менее ярко, но более длительно,

Никакая другая страсть не производит больших изменений в человеке. Ее власть простирается даже на животных. Робкое животное, дрожащее при приближении другого, даже самого слабого животного, становится смелым под влиянием любви. Повинуясь чувству любви, животное останавливается, забывает всякий страх, нападает и вступает в драку с животными, равными ему или даже превосходящими его по силе. Нет таких опасностей, нет таких трудностей, перед которыми стала бы в тупик любовь. Она — источник жизни. По мере того как в человеке угасают желания, он теряет свою активность, и постепенно смерть наступает его.

Физическое удовольствие и страдание — таковы единственные истинные движущие силы при всяком правлении. Любят, собственно говоря, не славу, богатство и почести, но лишь удовольствия, которые представляют эта слава, эти богатства, эти почести. И что бы ни говорили, до тех пор, пока будут давать на водку рабочему, чтобы побудить его как следует работать, до тех пор придется признавать власть над нами чувственных удовольствий!

Когда в книге «Об уме» я сказал, что средоточием всех наших удовольствий и страданий являются физические страдания и удовольствия, то я тем самым открыл великую истину. Что следует отсюда? Что не в наслаждении этими удовольствиями состоит политическая распущенность нравов. Что такое в самом деле изнеженный и испорченный народ? Народ, который приобретает при помощи порочных средств те же удовольствия, которые выдающиеся народы приобретают средствами добродетели.

Никакие разглагольствования отдельных моралистов никогда не смогут опровергнуть основные принципы автора, которые оправдываются и подтверждаются на опыте.

Пусть не думают, что это рассуждение о физической чувствительности не имеет отношения к моей теме. Какую задачу поставил я себе? Показать, что все люди с обыкновенной, нормальной организацией обладают одинаковыми умственными способностями. Что я сделал для этого? Я провел различие между умом и душой. Я дока-

чем реальное физическое удовольствие. Тело истощается, воображение же никогда. Поэтому из всех удовольствий наибольшую сумму счастья за всю нашу жизнь нам дают, вообще говоря, удовольствия, основанные на воображении.

зал, что душа в нас есть лишь способность ощущать; что ум есть ее результат; что у человека все сводится к ощущению; что, следовательно, физическая чувствительность есть первоисточник его потребностей, его страстей, его общительности, его идей, его суждений, его желаний, его поступков; что, наконец, если все можно объяснить физической чувствительностью, то бесполезно допускать наличие у нас еще других способностей^а.

Человек есть машина, которая, будучи приведена в движение физической чувствительностью, должна делать все то, что она выполняет. Это — колесо, которое, будучи приведено в движение потоком, поднимает поршень, а вслед за ним воду, наплавляющуюся затем в предназначенные для приемки ее резервуары^{1*}.

Мы доказали, таким образом, что в нас все сводится к ощущению, к воспоминанию и что мы ощущаем лишь посредством пяти чувств. Чтобы узнать затем, является больший или меньший ум результатом большего или меньшего совершенства органов, надо выяснить, всегда ли в действительности умственное превосходство соразмерно тонкости чувств и обширности памяти. Если бы опыт доказывал противное, то не было бы никакого сомнения, что постоянно наблюдаемое неравенство умов зависит от какой-то другой причины.

Таким образом, поставленный нами себе вопрос сводится теперь к исследованию только этого факта, от него зависит решение всего вопроса.

ГЛАВА XI

О НЕОДИНАКОВОМ ОБЪЕМЕ ПАМЯТИ

По этому вопросу я повторяю лишь то, что я сказал уже в книге «Об уме». Я замечу:

1. Что Ардуэн^{1*}, Лонгрю, Скалигер и вообще все люди, обладавшие исключительной памятью, обыкновенно не отличались гениальностью и их никогда не ставили рядом с Макпавелли, Ньютоном и Тацитом.

^а Утверждают, что кроме способности ощущать человек обладает еще способностью вспоминать. Я знаю это, но орган памяти есть нечто физическое; ее функции заключаются в том, чтобы делать для нас наличными прошлые впечатления, а для этого нужно, чтобы она вызывала в нас нынешние ощущения; поэтому я все же вправе утверждать, что в человеке все сводится к ощущению.

2. Что если, как доказывает Декарт, для того, чтобы делать открытия в любой области и быть признанным изобретателем или гениальным человеком, нужно больше размышлять, чем учиться, то большая память должна исключать большой ум^а.

Кто хочет приобрести обширную память, должен работать над ней, укреплять ее ежедневными упражнениями. Кто хочет приобрести известную выдержку в размышлениях, должен равным образом укреплять в себе привычку к ней ежедневными упражнениями. Но то время, которое я трачу на размышления, я уже не могу употребить на размещение фактов в моей памяти. Таким образом, человек, который много сравнивает и размышляет, обладает обыкновенно тем большей памятью, чем меньше он пользуется ею. Кроме того, для чего нужна обширная память? Для потребностей великого человека достаточно самой обыкновенной памяти. Кто знает свой язык, уже обладает множеством идей. Что нужно для того, чтобы заслужить название умного человека? Сравнивать эти идеи между собою и прийти таким путем к какому-нибудь новому и интересному результату, полезному или приятному для нас. Память, содержащая в себе все слова какого-нибудь языка и, следовательно, все идеи какого-нибудь народа, есть палитра с известным количеством красок. Для живописца на этой палитре имеется материал для превосходной картины; его задача заключается в том, чтобы смешать и разбавить краски таким образом, чтобы из этого получилась большая правдивость оттенков, большая выразительность колорита, словом, прекрасная картина.

Обыкновенная память обширнее, чем это думают.

^а Люди с необыкновенной памятью становятся эрудитами; размышление создает гениальных людей. Оригинальный, самобытный ум предполагает сравнение предметов между собою и улавливание отношений, неизвестных обыкновенным людям. Другое дело — светский ум. Он складывается из вкуса и памяти. Человек, знающий больше исторических подробностей, остроум, забавных анекдотов, — самый приятный собеседник. Ньютона, Локка, Корнелия понимали немногие люди. Глубокомысленный человек не под стать толпе. Светский человек может не быть ни хорошим поэтом, ни хорошим живописцем, ни хорошим философом, ни великим полководцем. Но во всяком случае он очень приятен. Если его слава не простирается дальше его кружка, то это потому, что он не пишет ничего, не совершенствует науки и не оказывается полезным для людей, почему и не заслуживает большого уважения с их стороны.

В Германии и в Англии почти нет хорошо воспитанного человека, который не знал бы трех или четырех языков^а. Но если изучение этих языков входит в обыкновенную программу образования, то оно, значит, рассчитано на среднюю организацию; следовательно, все люди имеют от природы^б больше памяти, чем это требуется для открытия величайших истин. По поводу этого я замечу: умственное превосходство, как замечает Гоббс, заключается главным образом в знании истинного значения слов и нет человека, который при размышлении над одними только словами своего родного языка не нашел бы больше вопросов, требующих обсуждения, чем их можно разрешить в течение долгой жизни. Если это так, то в таком случае никто не может жаловаться на свою память. Но, говорят, бывает быстрая и медленная работа памяти. Действительно, мы быстро вспоминаем слова родного языка и медленнее — слова чужого языка, особенно если мы редко говорим на нем. Но что же следует из этого? Только то, что мы вспоминаем предметы быстрее или медленнее в зависимости от того, более или менее они привычны для нас. Между различными видами памяти имеется только одно реальное и замечательное различие, именно их неодинаковый объем. Но если все люди с обыкновенной, нормальной организацией обладают, как я это доказал, памятью, достаточной для того, чтобы подняться до высочайших идей, то гений, следовательно, не является продуктом обширной памяти. Пусть читатель обратится по этому вопросу к гл. III, разд. 3 книги «Об уме».

Я рассмотрел там этот вопрос со всех сторон. Мое мнение было, как казалось, принято всеми, ибо опыт под-

^а Если французы знают только свой собственный язык, то это результат их воспитания, а не организации. Пусть только какой-нибудь француз проведет несколько лет в Лондоне или во Флоренции, и он вскоре будет знать английский и итальянский языки.

^б Природа, утверждают, наделяет каждый народ каким-нибудь особенным качеством или дарованием. Нет такого народа в Европе, который, следуя примеру пруссаков, не произвел бы изменений в военном обучении и военной тактике и не сделал бы этого с успехом. Но, спрашивается, заинтересовались ли народы, пораженные блеском этих новых военных методов, способами возбудить мужество у своих солдат? Я сомневаюсь в этом. Европейцы не движимы теми мотивами, которые побуждали греков и римлян подвергать свою жизнь риску в сражениях. Храбрость современных армий не обнаруживается уже в столь смелых предприятиях и сводится, быть может, в каждом бойце только к тому, чтобы не бежать первым.

тверждает его истинность и доказывает, что вообще недостаток ума не следует объяснять недостатком памяти.

Теперь я перейду к выяснению того, нельзя ли видеть в недостатке ума результат неодинакового совершенства других органов.

ГЛАВА XII

О НЕОДИНАКОВОМ СОВЕРШЕНСТВЕ ОРГАНОВ ЧУВСТВ

Если в людях все есть физическое ощущение, то, значит, они отличаются друг от друга лишь оттенками своих ощущений. Пять чувств являются органами их; это — пять ворот, через которые к душе приходят идеи. Но одинаковым ли образом открыты эти ворота у всех людей? Не должен ли каждый в зависимости от различной структуры органов зрения, слуха^а, осязания, вкуса и обоняния по-разному обонять, вкушать, осязать, видеть и слышать? Наконец, не должны ли люди с наиболее тонкой организацией обладать большим умом^б и не являются ли они, быть может, единственными людьми, которые могут иметь ум?

Опыт, отвечу я, расходится в этом пункте с отвлеченными рассуждениями. Правда, он доказывает, что своими идеями мы обязаны своим чувствам, но он вовсе не доказывает, что ум у нас всегда соразмерен большей или меньшей тонкости этих чувств. Так, у женщин осязание тоньше благодаря их коже, более нежной, чем кожа мужчин, но они не обладают большим умом^в, чем, ска-

^а Однако не следует предполагать чрезмерную разницу в обычной организации людей. У всех людей не одни и те же уши, однако во время концерта или при исполнении некоторых мелодий все музыканты, все танцоры оперы и все солдаты какого-нибудь батальона двигаются одинаково, в такт.

^б Если между людьми, обладающими наиболее совершенной организацией, мало умных людей, то это, говорят, объясняется тем, что ум есть совокупный результат тонкости чувств и хорошего воспитания. Допустим это; но в таком случае было бы невозможно, чтобы при отсутствии особенной тонкости чувств хорошее воспитание могло давать великих людей. Однако факт этот опровергается опытом.

^в Оба пола, несомненно, очень отличаются друг от друга в известных отношениях своей организацией; но следует ли считать это различие причиной более низкого умственного уровня женщин? Нет, доказательством противного служит то, что так как ни одна женщина не организована так, как мужчина, то ни одна не должна была бы обладать таким же умом. Но такие женщины, как Сафо, Гипатия^{2*}, Елизавета, Екатерина II и др., уже ви-

жем, Вольтер, этот, быть может, самый изумительный из всех людей по плодотворности, обширности и разнообразию своих талантов.

Гомер и Мильтон рано ослепли. Столь преждевременная слепота предполагает наличие какого-то недостатка в органах их зрения; однако можно ли найти более сильное и яркое воображение? То же самое можно сказать о Бюффоне. Он близорук, однако какая у него могучая голова и какой яркий стиль! ^a Среди людей, у которых особенно развито чувство слуха, найдутся ли такие, которые выше Сен-Ламбера, Сорена, Ниверне ^{1*} и т. д.?

Разве люди, у которых чувства вкуса и обоняния особенно развиты, более даровиты, чем Дидро, Руссо, Монтелье, Дюкло и т. д.? Как бы ни вопрошать опыт, он всегда ответит, что большее или меньшее умственное превосходство не зависит от большего или меньшего совершенства органов чувств и что все люди с обычной, нормальной организацией одарены от природы тонкостью чувств, необходимой для того, чтобы подняться до величайших открытий в математике, химии, политике, физике и т. д. ^b

сколько не уступают по дарованию мужчинам. Если женщины вообще умственно ниже мужчин, то это потому, что они вообще получают еще худшее воспитание. Сравним между собой женщин весьма различных социальных положений, как, например, принцесса и горничная. Я утверждаю, что в обоих этих положениях женщины имеют обыкновенно столько же ума, сколько их мужья. Почему? Потому что оба пола получают здесь одинаково дурное воспитание.

^a Не замечалось, чтобы чувство зрения у величайших художников значительно превосходило по своей тонкости чувство зрения других людей.

^b Если бы предположение, что больший или меньший ум зависит от большей или меньшей тонкости чувств, было верно, то различие температуры воздуха, географической широты и пищи имело бы, вероятно, некоторое влияние на умы, и, следовательно, страна, которой небо наиболее благоприятствует, производила бы самых умных жителей. Но можно ли представить себе, чтобы жители ее не приобрели испокон века явного превосходства над другими народами, чтобы они не создали для себя лучших законов и поэтому не управлялись бы лучше всех, чтобы в конце концов они не подчинили себе других народов и не произвели наибольшего числа знаменитых людей во всех областях?

До сих пор еще неизвестен климат, который создал бы подобный народ. История не показывает, чтобы какой-нибудь народ обнаруживал постоянное умственное превосходство над другими народами; она доказывает, наоборот, что от Дели до Петербурга все народы были то невежественными, то просвещенными, что

Если бы умственное превосходство предполагало столь значительное совершенство органов, то, прежде чем побудить человека приступить к трудным занятиям и заставить его избрать, например, литературное или политическое поприще, пришлось бы исследовать, обладает ли он зрением орла, чувствительностью мимозы, обонянием лисицы и слухом крота.

Утверждают, что собаки и лошади ценятся в зависимости от их породы. Поэтому, прежде чем использовать человека, надо было бы еще выяснить, сын ли он умного или глупого отца. Между тем таких вопросов не задают. Почему? Потому, что самые умные отцы часто имеют глупых детей, потому, что люди с наилучшей организацией часто не умны и, наконец, потому, что опыт доказывает бесполезность подобных вопросов. Что касается данного вопроса, то опыт показывает нам, что гениальные люди бывают всякого роста и темперамента; что они бывают сангвиниками, холериками, флегматиками, высокими, низкими, толстыми, худыми, крепкими, хрупкими, меланхоликами² и что наиболее здоровые и сильные люди не всегда самые умные^а.

Но предположим в человеке какое-нибудь чрезвычайное тонкое чувство; что получится от этого? То, что этот человек станет испытывать ощущения, неизвестные большинству людей; что он будет испытывать то, чего не позволяет ощущать другим людям их менее тонкая организация. Но станет ли он от этого умнее? Нет, ибо эти ощу-

в одних и тех же условиях все народы, как это замечает Робертсон^{3*}, имеют одни и те же законы, один и тот же ум и что по этой причине у американцев (индейцев) можно встретить нравы древних германцев.

Таким образом, различие в географической широте и в пище не имеет никакого влияния на ум, и, может быть, оно имеет меньше влияния, чем это думают, и на тело. Действительно, большинство политиков исчисляет население городов или государств по списку умерших на основании наблюдений, что по крайней мере в значительной части Европы продолжительность жизни приблизительно одна и та же.

^а Руссо пишет на стр. 300 и 323 своего «Эмиля»: «Чем более ребенок чувствует себя сильным и здоровым, тем более он становится рассудительным и здравомыслящим. Для того чтобы можно было извлечь выгоду из орудия нашего разума, тело должно быть здоровым и крепким». Хорошее телосложение делает умственные операции легкими и надежными. Но пусть только Руссо обратится к опыту, и он убедится, что болезненные, хрупкие и горбатые люди имеют столько же ума, сколько стройные и здоровые люди. Примерами этого служат Паскаль, Поп, Буало, Скаррон.

щения, оставаясь всегда бесплодными до тех пор, пока их не сравнивают друг с другом, сохраняли бы между собою всегда одни и те же отношения^а. Предположим, что ум соразмерен тонкости чувств. В таком случае существовали бы истины, которые могли бы быть на всем земном шаре открыты лишь десятку или дюжине людей с наилучшей организацией. Следовательно, человеческий ум не был бы доступен усовершенствованию. К этому я прибавлю даже, что люди, столь тонко организованные, необходимым образом достигли бы в науках результатов, которых нельзя было бы сообщить обыкновенным людям. Но мы вовсе не знаем таких результатов.

Из истин, содержащихся в трудах таких людей, как Локк и Ньютон, нет ни одной недоступной теперь пониманию всех людей с обычной хорошей организацией, не обладающих никаким превосходством в чувствах вкуса, обоняния, зрения, слуха и осязания.

Я мог бы прибавить к этому (ибо в природе нет ничего тождественного)^б, что из людей с наиболее тонкой организацией каждый должен в известных отношениях еще более превосходить других. Поэтому каждый человек должен был бы испытывать ощущения и приобретать идеи, которых он не мог бы сообщить своим соотечественникам. Но идей такого рода не существует. Тот, кто имеет ясные идеи, легко сообщает их другим людям. Нет таких идей, которых не могли бы постигнуть люди с обыкновенной, нормальной организацией.

^а Ощущение для памяти есть лишь отдельный лишний факт, который можно заменить и другим фактом. Но один факт не прибавляет ничего к умственным способностям людей, поскольку эти способности представляют лишь возможность наблюдать отношения, которые имеют между собою различные предметы.

^б Обнаруживается ли различие между существами уже в их зародыше или только в их развитом состоянии? Я не знаю этого. Но факт тот, что различные породы животных укрепляются или ослабевают, идут в гору или приходят в упадок в зависимости от рода или изобилия пастбищ. То же самое можно сказать о дубах. Дубы бывают маленькими, большими, прямыми, искривленными, наконец, нет ни одного дуба, абсолютно похожего на другой. Это может быть потому, что за ними нет в точности одного и того же ухода, они не поставлены в одни и те же условия, не посажены в одну и ту же почву и не подвергаются действию одного и того же ветра. Но время развития у неодушевленных существ соответствует периоду воспитания у людей, которые, быть может, никогда не бывают одинаковы, потому что ни один из них, как я это доказал в разделе I, не может получить в точности такое же воспитание, как другой.

Из причин, которые могут повлиять на ум, наиболее действенной должна бы быть разница в географической широте и в пище. Но, как я уже сказал, толстый англичанин, питающийся маслом и говядиной и живущий во влажном климате, определенно имеет не меньше ума, чем тощий испанец, питающийся луком и чесноком в условиях очень сухого климата. Г. Шоу, английский врач, заслуживающий нашего доверия как верностью и точностью своих наблюдений, так и ввиду не очень отдаленной от нас даты его путешествия в варварские страны, говорит о маврах: «Ничтожные успехи, достигнутые этими народами в искусстве и науках, вовсе не являются результатом какой-нибудь природной неспособности или тупости. У мавров имеются и тонкий ум, и даровитость. Если они не применяют их к изучению наук, то это потому, что у них нет стимулов к соревнованию: их правительство не оставляет им ни свободы, ни покоя, необходимого для занятия науками и усовершенствования их. Мавры, родившиеся рабами, подобно большинству восточных народов, должны быть врагами всякого труда, не преследующего непосредственно их личного и непосредственного интереса».

Только свобода может зажечь у какого-нибудь народа священный огонь славы и соревнования. Если бываю века, когда в каком-нибудь государстве появляются вдруг великие люди, подобно редким птицам, заносимым ураганом, то появление их следует считать результатом не какой-нибудь физической, но духовной причины. При всяком правительстве, которое будет вознаграждать таланты, эти награды, подобно зубам дракона, посеянными Кадмом, должны будут породить людей. Если Декарт, Корнель и др. прославили царство Людовика XIII, Расин, Бейль и др. — царство Людовика XIV, Вольтер, Монтескье, Фонтенель и др. — царство Людовика XV, то это потому, что искусство и науки находились в эти различные царствования под покровительством то Ришелье, то Кольбера, то покойного герцога Орлеанского, то регента. Что бы ни говорили, великие люди являются необходимой принадлежностью не правления Августа или Людовика XIV, но того царствования, которое покровительствует им.

Ошибаются те, кто утверждает, что прекрасными творениями великих людей мы обязаны первому пылу молодости и, если можно так выразиться, свежести органов чувств. Расин создал «Александра» и «Андромаху», не

имея тридцати лет, а в пятьдесят лет он написал «Гоффию», и эта последняя вещь, наверное, не ниже первых двух. Даже легкие недомогания — результат более или менее хрупкого здоровья — не могут погасить гения^а. Люди не во все годы одинаково здоровы. Однако адвокат ежегодно выигрывает или проигрывает приблизительно одно и то же число дел, врач убивает или вылечивает приблизительно одно и то же число больных, а талантливый человек, которого не отвлекают ни дела, ни удовольствия, ни сильные страсти, ни тяжелые болезни, выпускает ежегодно приблизительно то же самое число произведений.

Как бы различна ни была употребляемая народами пища, географическая широта, в которой они живут^б, наконец, их темперамент, эти различия не увеличивают и не уменьшают умственных способностей людей. Таким образом, не от силы тела^в, не от свежести органов и не от большей или меньшей тонкости чувств зависит большее

^а Говорят, что по истечении известного числа лет физический состав человека уже не тот, что прежде. 60-летний Вольтер уже не то, что Вольтер в 30 лет. Однако и тот и другой одинаково наделены умом. Если два человека, не будучи совершенно тождественными, могут прыгать одинаково высоко, бегать одинаково быстро, стрелять одинаково метко, играть одинаково хорошо в мяч, то два человека, не будучи в точности тождественными, могут одинаково пмечь ум.

^б Умственные способности, как я это докажу ниже, суть не что иное, как способность замечать сходства и различия, соответствия и несоответствия различных предметов между собою. Возможно, что разнообразие температур, разнообразие климатов вызывает различия в нравах и склонностях какого-нибудь народа, что дикари, занимающиеся охотой в лесистых местностях, становятся скотоводами в местах, пзобилующих пастбищами. Тем не менее остается верным, что во всех этих различных странах народы будут видеть всегда одни и те же отношения между предметами. С того момента, когда бродившие в одиночку люди объединились в народы, когда болота были высушены и леса срублены, разнообразие климатов не имело заметного влияния на умы. Поэтому в Швеции и в Дании можно найти столь же хороших математиков, химиков, физиков, моралистов и т. д., как и в Греции и в Египте. «Климату Персии, — говорит Шарден, — особенно свойственно поддерживать телесную и умственную силу». Однако этот климат не делает персов даровитее французов.

^в Если умственное превосходство не зависит ни от большей или меньшей силы темперамента, ни от большей или меньшей тонкости чувств, то где же искать причину этого превосходства? Могут сказать, что в совершенстве внутренней организации. Но, отвечу я на это, если в часах внутреннее совершенство механизма обнаруживается в точности, с какой они указывают время, то

или меньшее умственное превосходство. Впрочем, мало того, что опыт доказывает истинность этого факта; я могу еще доказать, что этот факт потому имеет место, что он не может быть иным, и что поэтому объяснения явления неравенства умов следует искать в еще не известной нам причине.

Чтобы подтвердить истинность этого взгляда, нужно думать — после того как доказано, что все у людей сводится к ощущениям, — что если они различаются между собою, то лишь в оттенках своих ощущений.

ГЛАВА XIII

О РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ОЩУЩАТЬ

У людей бывают различные вкусы; но вкусы эти могут быть в равной мере результатом или их привычек и их различного воспитания, или неодинаковой тонкости организации. Если, например, негр ощущает больше желаний по отношению к черному цвету африканской красавицы, чем к лилиям и розам наших европейских женщин, то это является у него результатом привычки. Если человек в зависимости от страны, в которой он живет, более или менее чувствителен к тому или иному роду музыки и становится поэтому доступным тем или иным впечатлениям, то это опять-таки результат привычки. Здесь я не стану исследовать все вкусы, выработавшиеся как продукты различного воспитания; я рассмотрю лишь различие во вкусах, вызванное частым различием ощущений, полученных от одних и тех же предметов.

Чтобы в точности узнать, в чем может заключаться это различие, следовало бы быть последовательно самим собою и другими людьми. Но мы всегда были лишь самими собою. Поэтому, лишь изучая с величайшим вниманием различные впечатления, которые одни и те же предметы производят, как кажется, на различных людей, можно прийти в этой области к каким-нибудь открытиям.

в человеке внутреннее совершенство его организации обнаруживается равным образом (по крайней мере что касается ума) в совершенстве пяти чувств, которым он обязан всеми своими идеями. Таким образом, совершенство внешней организации предполагает совершенство внутренней организации. Поэтому, чтобы доказать, что это последнее совершенство не оказывает никакого влияния на умы, достаточно показать (в соответствии с опытом), что совершенство их ума целиком независимо от большей или меньшей тонкости пяти чувств.

Станем исследовать самих себя в этом отношении. Мы поймем, что если бы наш сосед видел квадрат там, где мы видим круг; если бы молоко казалось белым одному и красным другому и, наконец, если бы некоторые люди видели вместо розы репейник, а вместо красавиц Эгмонт и Форкалкье двух уродов, то люди не могли бы понимать друг друга и сообщать друг другу свои мысли. Но фактически они понимают друг друга и сообщают друг другу свои идеи. Следовательно, одни и те же предметы вызывают в них приблизительно одни и те же впечатления.

Чтобы лучше выяснить этот вопрос, рассмотрим на одном и том же примере, в чем люди отличаются друг от друга и в чем они сходны между собою.

Все они сходны между собою в следующем: все желают избавиться от скуки, и, следовательно, все желают испытывать эмоции (*être émus*): чем сильнее впечатление, тем оно приятнее им, если, конечно, сила впечатления не такова, чтобы оно вызывало страдание.

Они отличаются друг от друга тем, что степень эмоции, в которой один видит избыток удовольствия, становится иногда для другого началом страдания. Яркость света, приятная для меня, может раздражать зрение моего друга, а между тем и он, и я согласимся, что свет есть прекраснейшая вещь в природе. Но чем объясняется это единодушие в суждении при этой разнице в ощущениях? Тем, что эта разница незначительна и что слабое зрение испытывает при слабом освещении такое же удовольствие, какое здоровое зрение испытывает при ярком дневном свете. Переходя от физической области к области духовной, я замечаю еще меньше различий в способе, каким люди выражают свои впечатления от одних и тех же предметов, и в результате я нахожу у китайцев^а все наши европейские пословицы. Отсюда я делаю вывод, что можно пренебречь мелкими различиями в организации различных народов, ибо все народы, сравнивая одни и те же предметы, приходят к одним и тем же результатам.

Новым доказательством коренного равенства умов является изобретение одних и тех же искусств повсюду, где люди испытывали одни и те же потребности и где этим искусствам одинаково покровительствовало правительство. В подтверждение этой истины я мог бы указать

^а Если исключить все то, что имеет непосредственное и особенное отношение к правам и форме правления на Востоке, нет более сходных пословиц, чем немецкие и китайские пословицы.

также на сходство между законами и правительствами различных народов. Азиатские страны, говорит г-н Пуавр, значительная часть населения которых состоит из малайцев, управляются нашими старыми феодальными законами. Малайцы, подобно нашим предкам, не занимаются земледелием, но отличаются, подобно им, самым решительным и безрассудным мужеством^а. Таким образом, храбрость не является, как это утверждают еще и теперь некоторые, особенным следствием организации европейцев. Люди более сходны между собою, чем думают. Они различаются лишь оттенками своих ощущений. Поэзия, например, производит почти на всех приятное впечатление. Всякий будет декламировать с почти одинаковым восторгом тот гимн свету, которым начинается третья песнь «Потерянного рая». Но, могут сказать, если этот приводящий всех в восхищение отрывок одинаково нравится всем, то так происходит потому, что поэт, рисую чудесные эффекты света, пользуется словом, которое, не выражая никакого особенного юмаса освещения, позволяет каждому окрашивать предметы в наиболее приятные для его глаз оттенки света. Пусть так, но если бы свет не производил на всех сильного впечатления, то разве все считали бы его самой удивительной вещью в природе? Разве то, что почти все народы помещают трон божества в огненном вихре, не доказывает единообразия впечатлений^б, получаемых от одних и тех же предметов?

^а Если бы малайцы, говорит г-н Пуавр^{1*}, были соседями Китая, то это государство было бы вскоре завоевано ими и форма правления в нем изменена. Ничто, говорит этот автор, не может сравниться со страстью малайцев к грабежу и кражам. Но разве они одни отличаются этим свойством? Кто изучает историю, узнает, что страсть к краже, к несчастью, является общей всем людям: она основывается на их лени. Вообще люди предпочли бы жить грабежом, набегами и подвергаться в течение трех или четырех месяцев в году величайшим опасностям, чем заниматься ежедневным полезным трудом. Но почему же не все народы занимаются воровством? Потому, что для возможности воровать надо быть окруженным народами, у которых можно воровать, т. е. земледельческими и богатыми народами. Если же этого нет, то народу остается выбирать одно из двух — или трудиться, или умереть с голоду.

В каждой стране пмечются свои малайцы. В католических странах духовенство грабит, подобно им, десятину с урожая и то, что малаец осуществляет насилем и силой оружия, поп совершает с помощью хитрости и наводимого им панического ужаса.

^б В доказательство различия ощущений, испытываемых от вида одних и тех же предметов, приводят пример художников, ко-

Если бы не было этого единообразия, которое не отличающееся точностью философы восприняли как понятие абсолютной красоты и блага, то на какой основе можно было бы создать правила вкуса?

Простые и великолепные картины природы оказывают действие на всех людей. Производят ли эти картины в точности одно и то же впечатление на каждого из них? Нет, но, как доказывает опыт, — почти одинаковое впечатление. Поэтому предметы, которые чрезвычайно нравятся одним, почти всегда более или менее нравятся другим. Тщетно было бы повторять, что единообразие впечатлений, производимых красотой поэтических описаний, есть лишь иллюзия; что оно частично является результатом неопределенного значения слов и неясности выражений^а, которое вполне соответствует различным ощущениям, испытываемым от одних и тех же предметов. Если даже признать это, то все же бесспорно, что существуют правила вкуса, соблюдение которых вызывает у всех ощущение красоты. Если тщательно исследовать этот вопрос, то можно заметить, что различие впечатлений, получаемых людьми от одних и тех же предметов, зависит не столько от их физической организации, сколько от их духовного склада.

Выводы из этой главы: различие вкусов у людей предполагает лишь небольшие различия в оттенках их ощущений; единообразие их суждений, подтверждаемое единообразием народных пословиц, сходством законов и форм правления, любовью всех к поэзии и простым и великолепным картинам природы, доказывает, что одни и те же

которые придают всем своим фигурам желтый или серый оттенок. Но если бы этот недостаток в их колорите был результатом какой-то ненормальности в органах их зрения и если бы они действительно видели все предметы желтыми или серыми, то они такой видели бы и белую краску своей палитры и рисовали бы белым, хотя видели бы серое.

^а Если бы меня еще раз спросили, почему в каждом языке создано такое множество слов с неопределенным значением, то к сказанному уже по этому вопросу в гл. V этого раздела я добавил бы: при образовании языков господствовала потребность при помощи изобретения слов более легко сообщать один другому свои идеи; люди поняли, что если бы они создали столько слов, сколько существует, например, различных степеней величины, света, толщины и т. д., то их обилие обременило бы их память; следовательно, надо было сохранить за некоторыми словами неопределенное значение, делающее применение их более общим, а изучение языков более быстрым.

предметы производят одни и те же впечатления на всех людей; если же они и различаются между собою, то лишь в оттенках своих ощущений^а.

ГЛАВА XIV

НЕБОЛЬШОЕ РАЗЛИЧИЕ. ЗАМЕЧАЕМОЕ МЕЖДУ НАШИМИ ОЩУЩЕНИЯМИ. НЕ ОКАЗЫВАЕТ НИКАКОГО ВЛИЯНИЯ НА УМЫ

Люди могут, несомненно, испытывать различные ощущения от одних и тех же предметов. Но могут ли они вследствие этого замечать различные отношения между одними и теми же предметами? Нет. И если предположить, как я сказал в другом месте, что снег казался бы одним людям более белого оттенка, чем другим, то все-таки все равно были бы согласны в том, что снег — самое белое из всех тел.

Для того чтобы люди заметили различные отношения между одними и теми же предметам, эти последние должны были бы вызывать в них совершенно особенные впечатления: раскаленный уголь должен был бы леденить одних людей, затвердевшая от холода вода должна была бы обжигать других, все предметы природы должны были бы представляться каждому индивиду в совершенно различной связи отношений; наконец, люди должны бы быть по отношению друг к другу тем, чем они являются по отношению к тем насекомым, фасеточные глаза которых видят, несомненно, предметы самым различным образом.

При таком предположении между идеями и чувствами людей не было бы никакой аналогии. Люди не могли бы ни сообщать друг другу своих знаний, ни усовершенствовать свой разум, ни работать сообща над возведением необъятного здания искусства и науки. Но опыт показывает, что люди совершают ежедневно новые открытия, что они сообщают друг другу свои идеи и что искусства и науки совершенствуются. Следовательно, люди замечают между предметами одни и те же отношения.

^а Если бы от природы, как это утверждают, люди были наделены столь неодинаковыми наклонностями ума, то почему в искусствах танца, музыки, живописи и т. д. любители их почти никогда не могут сравняться со своими учителями? Почему неодинаковые природные наклонности тождественны у первых с малой долей внимания к искусству, которое последние уделяют в гораздо большей мере его изучению?

Наслаждение прекрасной женщиной может вызвать в душе моего соседа больше опьянения, чем в моей; но это наслаждение и для меня, как и для него, — наиболее сильное удовольствие. Если два человека получают один и тот же удар, они испытывают, может быть, два различных впечатления; но если удвоить, утроить, учетверить силу этого удара, то испытываемая каждым из них боль точно так же удвоится, утроится, учетверится.

Предположим, что различие в наших ощущениях от одних и тех же предметов больше, чем оно есть в действительности. Но так как предметы сохраняют одни и те же отношения между собою, то очевидно, что они действовали бы на нас в постоянной и одинаковой пропорции. Однако могут сказать: разве это различие в наших ощущениях не может изменить наши духовные аффекты, а это изменение — вызвать различие и неравенство в умах? На это возражение я отвечу, что всякие различия в аффектах^a, вызванные каким-либо различием в организации, не имеют, как доказывает опыт, никакого влияния на умы. Таким образом, можно предпочитать зеленый цвет желтому и быть, подобно Д'Аламберу и Клеро, одинаково великими математиками; можно, имея неодинаково тонкий вкус, быть одинаково хорошим поэтом, хорошим художником, хорошим физиком; можно, наконец, иметь вкус к сладкому или к соленому, к молоку или анчоусам и быть одинаково великим оратором, великим врачом и т. д. Все эти различные оттенки вкуса суть в нас изолированные и сами по себе ни к чему не ведущие факты. То же самое относится к нашим идеям, до тех пор пока их не начинают сравнивать между собою. Но чтобы заставить себя сравнивать их, надо быть побуждаемым к этому каким-нибудь интересом. Когда этот интерес имеется и эти идеи сравниваются между собою, почему, спрашивается, люди приходят к одним и тем же результатам? Потому, что, несмотря на различие аффектов и на неравное совершенство органов чувств, все люди могут подняться до одних и тех же идей. Действительно, пока не нарушен масштаб пропорций, в которых действуют на нас предметы, наши ощущения всегда сохраняют одно и то же отношение между собою. Роза очень темного цвета по сравнению с другой розой кажется темной всем людям. Мы

^a Единственные аффекты, влияние которых на умы заметно, — это аффекты, зависящие от воспитания и предрассудков.

высказываем одни и те же суждения об одних и тех же предметах. Значит, мы можем всегда приобрести то же самое число идей и, следовательно, ту же широту ума.

Люди с обычной хорошей организацией похожи на некоторые звучащие тела, которые, не будучи в точности тождественны, имеют, однако, одно и то же число звуков^а.

Итог этой главы: так как люди всегда замечают одни и те же отношения между одними и теми же предметами, то неодинаковое совершенство их чувств не оказывает никакого влияния на их умы. Чтобы сделать эту истину более убедительной, мы постараемся связать ясную идею со словом ум.

ГЛАВА XV

ОБ УМЕ

Что такое ум сам по себе? *Способность подмечать сходства и различия, соответствия или несоответствия, которые имеют между собою различные предметы.* Но каково творческое начало ума человека? Его физическая чувствительность, его память и в особенности его интерес к комбинированию между собою получаемых ощущений^б.

^а Некоторые звучащие тела издают одно и то же число звуков, но не одного и того же рода. То же самое можно сказать о нашем уме. Он издаст, если можно так выразиться, идеи или образы, одинаково прекрасные, но различные в зависимости от различных предметов, которыми по прихоти случая заполнена наша память.

Если в моей памяти находятся в данный момент снега, льдины, северные грозы, пылающие лавы Везувия и Геклы, то какую картину могу я составить с такими материалами? Картину гор, защищающих доступ в сады Армиды. Но если, наоборот, моя память вызывает во мне смеющиеся образы, весенние цветы, серебристые воды ручейков, мох лужайки и благоухающие кроны апельсиновых деревьев, то что могу я представить себе со столь приятными предметами? Чашу, куда амур увлекает Рено. Таким образом, род наших идей и наших картин зависит вовсе не от природы нашего ума, одинакового у всех людей, а от того вида предметов, которые случай запечатлевает в нашей памяти, и от нашего интереса к их комбинированию.

^б Предположим, что люди сравнили между собою в каждой отрасли знания и искусства все уже известные предметы и факты и пришли, наконец, к открытию всех их различных отношений. Так как людям нельзя будет тогда делать больше новых комбинаций, то то, что называют умом, перестанет существовать. Все тогда станет знанием и человеческий ум, вынужденный отдыхать до тех пор, пока открытие неизвестных фактов не позволит ему снова сравнивать их и комбинировать между собою, уподобится истощенному руднику, который оставляют в покое до образования новых жил.

Ум в нем, следовательно, есть *результат сравнения между собою ощущений*, а здравый ум заключается в правильности их сравнения.

Правда, не все люди испытывают в точности одни и те же ощущения, но все ощущают предметы всегда в одних и тех же пропорциях. Следовательно, у всех одинаковые умственные способности ^а.

Действительно, каждый человек, как доказывает опыт, замечает одни и те же отношения между одними и теми же предметами; каждый из них признает истинность математических положений; кроме того, нет таких различий в оттенках их ощущений, которые изменили бы их способ видеть вещи. Возьмем наглядный пример: в тот момент, когда солнце поднимается из лоно морских волн, все жители этих берегов под одновременным воздействием блеска его лучей одинаково признают его самым ярким светом природы. Если это так, то надо признать, что все люди выносят или могут выносить одни и те же суждения об одних и тех же предметах; что они могут дойти до одних и тех же истин ^б и, наконец, что если не все фак-

^а Из этого определения ума следует, что если вся деятельность ума сводится к тому, чтобы видеть сходства и различия, соответствия и несоответствия между собою различных предметов, то, значит, люди, как мы неоднократно уже говорили, не рождаются с какими-либо особенными дарованиями.

Люди приобретают различные таланты под влиянием одной и той же причины — именно стремления к славе и вниманию, которые вызывают у них это стремление. Но внимание может обращаться одинаково на все, прилагаться безразлично к предметам поэзии, математики, физики, живописи и т. д., подобно тому как рука органиста может касаться безразлично любой из клавиш органа. Если меня спросят, почему люди редко обнаруживают дарование в различных областях, я отвечу: потому, что знание является в каждой области первым материалом ума, подобно тому как незнание, если можно так выразиться, является первым материалом глупости, и потому, что люди редко обладают знаниями в двух различных областях. Немногие люди соединяют в себе, подобно Бюффону и Д'Аламберу, со знаниями Ньютона и Эйлера столь трудное искусство хорошо писать. Поэтому я не стану повторять, следуя старому изречению, что *поэтом рождаются, а оратором становятся*. Наоборот, скажу я, так как все наши идеи мы получаем через посредство чувств, то *люди не рождаются, а становятся теми, кто они есть*.

^б Чтобы постигнуть известные идеи, надо размышлять. Способен ли на это всякий? Да, когда он одушевлен каким-нибудь сильным интересом. Этот интерес придает ему тогда ту силу внимания, без которой можно, как я уже сказал, быть ученым, но нельзя быть умным человеком. Только размышление может открыть нам первые общие истины — эти ключи и принципы наук.

тически обладают одинаковым умом^а, то во всяком случае все обладают им одинаково в возможности, т. е. способностью помнить его^б.

Я не буду больше настаивать на рассмотрении этого вопроса; ограничусь тем, что напомним по этому поводу одно замечание, уже сделанное мною в книге «Об уме», потому что оно правильно.

Если, говорю я, задать различным людям какой-нибудь простой и ясный вопрос, к истинности которого они относятся равнодушно, то все вынесут одно и то же суждение^в, ибо все заметят одни и те же отношения между одними и теми же предметами.

Только открытие этих истин дает право на звание великого философа, потому что во всякой науке только общий характер принципов, объем их приложения и, наконец, величие целого составляют философский гений.

^а Некоторые, как я уже сказал, приписывают различие умов физическим особенностям различных географических широт. Но для доказательства этого факта надо было бы, следуя данному нами определению ума, уметь назвать страну, где люди не замечают ни различия, ни сходства, ни соответствия, ни несоответствия предметов между собою и предметов с нами. Но такие климатические условия еще остается открыть!

^б Так как ум редок, то его принимают за особенный дар природы. Алхимики, фокусники были редкими людьми в века невежества^{1*}, поэтому их принимали за колдунов или сверхъестественные существа. Между тем не очень трудно обмануть и одурачить глупцов при помощи разных фокусов или кунштюков. Поразительно здесь то, что люди могут серьезно заниматься столь бесполезными вещами и искусствами. Но то же самое можно сказать об уме. Если способность к нему является общей, то нет ничего столь редкого, как сильное и постоянное желание приобрести его. Говорят, что мало гениальных людей, а почему? Потому, что мало правительств, устанавливающих награды в соответствии с теми усилиями, которые, как предполагают, требуют приобретения больших талантов.

Сравнивая алхимиков и фокусников с умными людьми, я все не имею в виду упрекнуть последних обидным для них сравнением; я хочу просто показать, что сама редкость ума объясняет, почему его со столь давних времен считают особенным даром природы; я хочу уничтожить то чудесное, что падают в ум, а не его заслуги. Ему мы обязаны усовершенствованием медицины, хирургии, всех полезных искусств и наук. Следовательно, на земле нет ничего более достойного уважения, чем ум. Поэтому не существует такого народа, правильно понимающего свои интересы, который не питал бы к уму уважения, соразмерного пользе искусства или науки, усовершенствованию которых он способствует.

^в Положим, что люди различного мнения по поводу одного и того же вопроса. Это различие есть всегда результат либо того, что они не понимают друг друга; либо того, что перед ними или в их памяти находятся не одни и те же предметы; либо, на-

Все, следовательно, рождаются со здоровым умом.

Но о словах *здравый ум* можно сказать то же самое, что о словах *просвещенная гуманность*. Если из соображений просвещенной гуманности убийцу приговаривают к казни, то в эту минуту думают лишь о благе множества честных граждан. Идея справедливости и, следовательно, почти всех добродетелей включена в значение слова *гуманность*, взятого в широком смысле. То же самое относится к словам *здравый ум*. Выражение это, взятое в широком смысле, тоже включает все различные виды ума.

Во всяком случае можно утверждать, что если в нас все сводится к ощущению и к сравнению между собою этих ощущений, то всякий вид ума сравнивает, и сравнивает правильно.

Общий вывод из сказанного мною об одинаковых умственных способностях людей с обыкновенной, нормальной организацией таков. Если принять:

что у людей все сводится к ощущениям;

что они ощущают и приобретают идеи лишь посредством пяти чувств;

что большая или меньшая тонкость этих пяти чувств, внося изменения в оттенки их ощущений, не изменяет, однако, отношения предметов между собой, — то, очевидно, поскольку ум состоит в познании тех же отношений, что большее или меньшее умственное превосходство не зависит от большего или меньшего совершенства физической организации.

Поэтому женщины, у которых чувство осязания более тонко, чем у мужчин, не превосходят их в умственном отношении. Думаю, что трудно отказаться от этого вывода.

Но, могут сказать, предположим, что все признают истинность математических положений убедительным до-

каз, того, что, относясь равнодушно к самому вопросу, они проявляют мало интереса при его исследовании и придают мало значения своему суждению.

Но предположим, что люди, вынужденные каким-нибудь сильным и общим им интересом быть внимательными, понимают друг друга; предположим, что, кроме того, перед ними или в их памяти находятся одни и те же предметы. Я утверждаю, что в этом случае, замечая одни и те же отношения между одними и теми же предметами, они вынесут о них одно и то же суждение. Отсюда я заключаю, что все обладают одинаковым умом, по крайней мере в возможности, т. е. обладают одинаковой способностью его иметь.

казательством того, что все люди с обыкновенной, правильной организацией видят одни и те же отношения между предметами. Почему, равным образом, не считать различий взглядов в вопросах нравственности, политики и метафизики доказательством того, что по крайней мере в этих последних науках люди не видят одних и тех же отношений между одними и теми же предметами?

ГЛАВА XVI

ПРИЧИНА РАЗЛИЧИЯ ВЗГЛЯДОВ В НАВРСТВЕННОСТИ, ПОЛИТИКЕ И МЕТАФИЗИКЕ

Движение человеческого ума всегда одинаково. Положение ума к тому или иному роду занятий не изменяет этого движения. Если люди замечают в определенных науках одни и те же отношения между сравниваемыми предметами, то они должны необходимым образом заметить те же отношения во всех науках. Однако наблюдения не подтверждают этого рассуждения. Но противоречие это лишь кажущееся, и легко открыть истинную причину его. Исследуя ее, можно, например, убедиться, что если все люди согласны с истинностью геометрических доказательств, то это

потому, что они равнодушны к истине или ложности этих доказательств;

потому, что они связывают не только отчетливые идеи, но и одни и те же идеи со словами, употребляемыми в этой науке;

наконец, потому, что они составили себе одно и то же представление о круге, квадрате, треугольнике и т. д.

Если, наоборот, в нравственности, политике и метафизике взгляды людей очень отличаются друг от друга, то это

потому, что в этой области они не всегда заинтересованы в том, чтобы видеть вещи такими, каковы они в действительности;

потому, что у них имеются часто лишь смутные и путанные представления о вопросах, которые они трактуют;

потому, что они чаще думают, следуя чужим взглядам, чем своим собственным;

наконец, потому, что они не связывают с одними и теми же словами одних и тех же идей.

Я разберу в качестве примеров слова: *хороший, интерес и добродетель*.

Возьмем это слово во всей полноте его значения. Чтобы убедиться в том, могут ли люди составить себе о нем одно и то же представление, нужно знать, как приобретает его ребенок.

Чтобы фиксировать внимание ребенка на этом слове, его пропозносят, показывая ему какую-нибудь сладость или то, что называют конфетами. Слово это, взятое в его наипростейшем значении, первоначально применяется лишь к тому, что приходится по вкусу ребенку и вызывает приятное ощущение в его нёбе.

Затем хотят придать этому слову несколько более широкое значение. Его начинают применять без различия ко всему, что нравится этому ребенку, т. е. к животным, людям, товарищам, с которыми он играет и забавляется. Вообще до тех пор, пока это выражение связывают с физическими предметами, как, например, материя, орудия, съестные продукты, люди составляют себе о нем приблизительно одну и ту же идею. Выражение это вызывает, хотя бы смутно, в их памяти представление о всем том, что может быть непосредственно хорошим^а для них.

Наконец, возьмем это слово в еще более широком смысле и применим его к нравственности и к человеческим поступкам. Можно заметить, что в этом случае данное выражение необходимо должно заключать в себе представление о какой-нибудь общей пользе, и для того, чтобы согласиться в этой области насчет того, что является хорошим, надо предварительно условиться насчет того, что полезно. Но большинство людей не знает даже того, что общая польза является мериллом доброты человеческих поступков.

Из-за отсутствия здорового воспитания люди имеют лишь смутные идеи о моральной доброте. Это слово *доброта*, произвольно употребляемое ими, вызывает в их

^а От этого прилагательного *добрый* образовали существительное *доброта*, принимаемое столь многими людьми за реальное существо или по крайней мере за какое-то качество, присущее некоторым предметам. Неужели можно еще не знать, что в природе нет существа, называемого *добротой*? Эта доброта есть лишь название, даваемое людьми тому, что каждый из них считает «добрым» для себя; иначе, это слово *доброта*, подобно слову *величина*, есть одно из тех туманных и лишенных смысла выражений, которые представляя собою отчетливые идеи лишь в тот момент, когда люди, вопреки себе и не замечая этого, применяют их к какому-нибудь отдельному предмету.

памяти лишь воспоминание о различных приложениях его, о которых они слышали³, — приложениях, всегда различных и противоречивых в зависимости от разнообразия интересов и положения тех, с которыми они живут вместе. Чтобы прийти к всеобщему соглашению насчет значения слова *хороший* в применении к нравственности, нужен был бы отличный словарь, который определил бы точный его смысл. До появления этого словаря всякий спор по данному вопросу грозит затянуться до бесконечности. То же самое можно сказать о слове *интерес*.

Интерес

Среди людей встречается мало честных, и поэтому слово *интерес* должно вызывать у большинства представление о денежном интересе или же о каком-либо столь же низком и презренном предмете. Имеет ли такое же представление о нем благородный и возвышенный человек? Нет, это слово напоминает ему только о чувстве себялюбия. Добродетельный человек видит в *интересе* могущественный и всеобщий стимул, который, двигая всеми людьми, влечет их то к пороку, то к добродетели. Я не знаю, связывали ли иезуиты с этим словом столь широкое значение, когда они выступили против моих взглядов^{1*}. Но я знаю, что, будучи банкирами, купцами, банкротами, они должны были тогда утратить из виду всякое представление о благородном интересе, — это слово должно было вызывать у них лишь представление об интригах и денежных интересах.

Руководствуясь столь низким интересом, они должны были преследовать и без того преследуемого человека. Возможно, что втайне они придерживались его взглядов. Доказательством этого является балет, поставленный в 1750 г. в Руане, целью которого было показать, что *удовольствие prepares молодежи к истинным добродетелям: первый акт — к гражданским добродетелям; второй — к воинским добродетелям; третий — к религиозным добродетелям*. Названную истину они доказывали в этом балете при помощи танцев. Олицетворенная Религия танцевала здесь танец вдвоем с Удовольствием, а чтобы сделать удовольствие более пикантным — как говорили тогда янсенисты, — иезуиты надели на него штаны^a. Но

^a Надо отдать справедливость иезуитам; обвинение это ложно. Они редко ведут себя распущенно. Иезуит, сдерживаемый правилами своего ордена и равнодушный к удовольствию, цели-

если удовольствие может, по их мнению, сделать решительно все с человеком, то чего не может сделать с ним интерес? Разве всякий интерес не сводится в нас к поискам удовольствия? ^а

Удовольствие и страдание являются движущими силами мира. Бог объявил их таковыми на земле, создав рай для вознаграждения за добродетели и ад для наказания за преступления. Сама католическая церковь признала это, когда в споре между Боссюэ и Фенелоном она постановила, что бога любят ⁴ не ради его самого, т. е. независимо от наказаний и наград, которые он раздает. Всегда

ком поглощен честолюбием. Он желает лишь одного — подчинить себе силой или хитростью богачей и сильных мира сего. Так как он рожден для власти, то вельможи являются в его глазах марионетками, которых он приводит в движение через посредство нитей духовного руководства и исповеди. Его внутреннее презрение к ним скрыто под маской уважения. Вельможи довольствуются этим и, сами не сознавая того, становятся марионетками в его руках. То, чего пезуит не может добиться хитростью, он осуществляет силой. Если заглянуть в летописи истории, то в них можно прочесть, как пезуиты разжигали пламя восстания в Китае, Японии, Эфиопии и во всех странах, где они проповедуют евангелие мира. Известно, что в Англии они устроили подкоп, чтобы взорвать парламент; что в Голландии они руководили убийством принца Оранского. а во Франции — Генриха IV; в Женеве они дали сигналы к штурму; что их рука, часто вооруженная кинжалом, редко срывала цветы удовольствия; наконец, что их грехи — это не просто слабости, а преступления.

^а Почему же пезуиты выступили с такой яростью против меня? Почему во всех больших домах они обличали книгу «Об уме», запрещали ее чтение и повторяли без конца, как отец Каней маршалу Гокпнкуру: «Только не ум, господа, только не ум!» Потому, что, исключительно ревнивые к власти, пезуиты всегда добивались духовной слепоты народа. Действительно, допустим, что люди познакомятся с движущими их принципами; они узнают, что, руководясь всегда в своем поведении каким-нибудь низким или благородным интересом, они всегда подчиняются этому интересу; что своим гением и своей добродетелью они обязаны своим законам, а не религиозным догмам; что при форме правления римского или спартанского типа можно будет создать и теперь римлян и спартанцев и что, наконец, при помощи мудрой системы распределения наград и наказаний, славы и бесчестия можно всегда связать частный интерес с общим интересом и побудить граждан к добродетели. Но тогда как можно будет скрыть от народов бесполезность и даже опасность духовенства? Неужели народы будут тогда еще долго в неведении того, что истинно важным для их блага является создание не священников, но мудрых законов и просвещенных правителей? Чем больше пезуиты убеждались в истинности этого принципа, тем больше они боялись за свой авторитет, тем больше они старались затемнить очевидность такого принципа.

господствовало убеждение, что человек, движимый чувством себялюбия, постоянно подчиняется закону своего интереса^а.

Что же доказывает по этому вопросу разнообразие взглядов? Ровно ничего или же то, что люди не понимают друг друга. Они понимают друг друга не лучше, когда речь заходит о добродетели.

Добродетель

Это слово вызывает часто весьма различные представления у каждого в зависимости от его положения и состояния, от того общества, в котором он живет, от страны и времени его рождения. Если бы в Нормандии какой-нибудь младший сын воспользовался, подобно библейскому Иакову, голодом или жаждой своего брата и похитил у него право его первородства, то его признали бы негодяем во всех решительно судах. Если бы кто-нибудь приказал по примеру царя Давида убить мужа своей любовницы, то его причислили бы не к добродетельным людям, а к злодеям. Можно было бы говорить сколько угодно, что он имел в виду благую цель; убийцы иногда поступают так же, и все же их не называют образцами добродетели.

Таким образом, до тех пор пока со словом *добродетель* не станут связывать отчетливых идей, о ней придется говорить то, что последователи Пиррона говорили об истине: «Она, как восток, различна в зависимости от точки зрения, с какой на нее смотрят».

В первые века существования церкви христиане были предметом отвращения для всех народов, они боялись за свое существование. Что проповедовали они тогда? Кротость и любовь к ближнему. Слово *добродетель* вызывало тогда в их памяти представление о гуманности и кротости. Поведение их учителя укрепляло их в этой идее. Иисус, относившийся кротко к ессеям, евреям и язычникам, не питал ненависти к римлянам. Он прощал евреям их оскорбления, Пилату — его несправедливость. И он осо-

^а Если воин хочет выдвинуться, он желает войны. Но что означает желание войны у младшего офицера? Оно означает его желание, чтобы его жалование увеличилось на 600 или 700 франков, желание опустошать государства, желание смерти друзей и знакомых, с которыми у него общая жизнь и которые старше его чином.

бенно настаивал на милосердии. Наблюдается ли то же самое в настоящее время? Нет, ненависть к ближнему, варварство под названием рвення и гражданского порядка (*zèle de police*) включаются теперь во Францию, Испанию и Португалию в идею добродетели.

Первоначальная церковь почитала честность в человеке, каковой бы ни была его вера, и мало интересовалась его религией. «Тот, — говорит святой Юстин, — христианин, кто добродетелен, хотя бы он был атеистом» (*Et quicumque secundum rationem et verbum vixere, christiani sunt, quamvis athéi*).

Иисус предпочитал в своих притчах неверующего самаритянина набожному фарисею. Апостол Павел отличался не меньшей терпимостью, чем Иисус и святой Юстин. В гл. X, ст. 2 *Деяний апостольских* Корнелий назван религиозным человеком, потому что он был честным человеком⁵; между тем он не был еще христианином. Точно так же в гл. XVI, ст. 14 тех же *Деяний* говорится о некоей Лидии, что она служила богу; между тем она еще не слышала апостола Павла и не обратилась в христианство.

Во времена Иисуса честность и тщеславие не считались еще добродетелями. Царство божье было не от мира сего. Иисус не добивался ни богатств, ни титулов, ни кредита в Иудее. Он приказал своим ученикам оставить свое имущество, чтобы следовать за ним. А какие идеи имеются сейчас о добродетели? Нет такого католического прелата, который не гнался бы за почестями и титулами. Нет такого религиозного ордена, который не занимался бы интригами при дворах, не вел бы торговли, не обогащался бы при помощи банков. Иисус и его апостолы не имели такого представления о честности.

Во времена последних преследование не называлось еще милосердием. Апостолы не подстрекали Тиберия к заточению в темницы язычников или неверующих. Тот, кто в эту эпоху захотел бы силой навязать свои взгляды другим, править при помощи террора, создавать инквизиционные суды, сжигать себе подобных или своих ближних и завладеть их богатством, был бы объявлен негодяем. Тогда не могли бы читать без ужаса приговоры, продиктованные гордостью, жадностью и жестокостью духовенства. В настоящее время гордость, жадность и жестокость возведены в ранг добродетелей в странах, где царит инквизиция.

Иисус ненавидел ложь. Он не заставил бы Галилея, так как это сделала церковь, явиться и с факелом в руке отречься перед алтарем бога истины от открытых им истин. Церковь перестала быть врагом лжи, она освящает благочестивый обман⁶.

Иисус, сын божий, был скромнен⁷, а надменный наместник апостольского престола стремится повелевать государями, узаконивать по своему произволу преступления, превращать убийство в подвиги. Он причислил к сонму блаженных Клемана^{2*}. Его добродетель не есть добродетель Иисуса.

Дружба, почитавшаяся как добродетель у скифов, ныне не признается таковой в монастырях. Монастырские правила объявляют ее даже преступной⁸. Больному и томящемуся в своей келье старпку отказано здесь в дружбе и гуманности. Если бы монахам дали заповедь взаимной ненависти, то, наверное, она выполнялась бы — и очень строго — в монастырях.

Иисус хотел, чтобы цезарю отдали то, что принадлежит Цезарю; он запрещал завладевать хитростью или силой имуществом другого человека. Слово *добродетель* вызывало тогда в памяти представление о справедливости. Но оно уже перестало его вызывать во времена св. Бернарда, когда, находясь во главе крестоносцев, он призвал европейские народы покиннуть свои страны, чтобы опустошить Азию, лишить султанов трона и разрушить государства, на которые эти народы не имели никакого права.

Если этот святой в целях обогащения своего ордена обещал 100 арпанов на небе тому, кто даст ему 10 арпанов на земле; если благодаря этому нелепому и лживому обещанию он присвоил себе имущество множества законных наследников, то очевидно, что представление о воровстве и несправедливости входило тогда в понятие добродетели⁹.

Могли ли создать себе иное представление о добродетели испанцы, когда церковь позволила им напасть на Монтезуму и инков^{3*}, отнять у них их богатства и завладеть мексиканским и перуанским государствами? Монахи, бывшие тогда хозяевами Испании, могли бы ее заставить вернуть мексиканцам и перуанцам¹⁰ их золото, их свободу, их страну и их государя; во всяком случае они могли во всеуслышание осудить поведение испанцев. Как же поступили тогда богословы? Они молчали. Обнару-

живали ли они больше справедливости в другие времена? Нет. Францисканец о. Геннепен постоянно повторяет, что есть только одно средство обратить в христианство дикарей, — это обратить их в рабство. Пришло ли бы в голову такое несправедливое, такое варварское средство отцу Геннепену, если бы современные богословы имели те же представления о добродетели, что и Иисус? Апостол Павел определенно заявляет, что убеждение — единственное оружие, которым можно пользоваться для обращения язычников. Кто прибегнул бы к насилию для доказательства математических истин? Кто не знает, что добродетель сама говорит за себя? В каком же случае можно прибегать к темницам, пыткам и кострам? Когда проповедают преступление, заблуждение и нелепости.

С оружием в руках Магомет доказывал истинность своего вероучения; христиане тогда говорили, что религия, позволяющая навязывать силой веру другому человеку, — ложная религия. Они осуждали Магомета в своих речах, но оправдывали его собственным поведением. То, что у него они называли пороком, у себя они называли добродетелью. Неужели можно требовать, чтобы мусульманин, столь суровый в своих принципах, был по своему нраву более кротким, чем католик? Возможно ли, чтобы турок был терпим по отношению к христианину¹¹, неверующему, еврею, язычнику, а монахи, которым их религия вменяет в обязанность человечность, в Испании сжигали своих ближних, а во Франции гноили в темницах яansenистов и депстов?

Совершили ли бы христиане столько гнусностей, если бы они имели те же самые представления о добродетели, что и сын божий, и если бы священники, послушные лишь голосу своего честолюбия, не были глухи к голосу Евангелия? Если бы со словом *добродетель*¹² связывалась ясная, точная и неизменная идея, люди не имели бы о ней постоянно столь различных и противоположных идей.

ГЛАВА XVII

ДОБРОДЕТЕЛЬ ВЫЗЫВАЕТ У ДУХОВЕНСТВА ЛИШЬ МЫСЛЬ О ЕГО СОБСТВЕННОЙ ВЫГОДЕ

Если почти все религиозные корпорации, как говорил знаменитый и несчастный генеральный прокурор британского парламента, благодаря своему уставу проникнуты

интересам, противоположным общему благу, то каким образом могут составить они себе здравые идеи о добродетели? Среди прелатов встречается мало Фенелонов¹³. Немногие из них обладают его добродетелями, его человеколюбием и его бескорыстием. Среди монахов можно насчитать много святых, но мало добродетельных людей. Всякая религиозная корпорация жадно стремится к богатству и власти, нет никаких пределов ее честолюбию^а.

Доказательством этого служат сотни смехотворных булл, изданных папами в пользу пезуптов. Но если пезупты честолюбивы, то разве менее честолюбива церковь? Достаточно заглянуть в историю, т. е. в летопись заблуждений и раздоров отцов церкви, предприятий духовенства и преступлений пап. Видно, что повсюду духовная власть является врагом светской власти^б; она забывает, что

^а Смирненное духовенство объявляет себя первым сословием государства. Однако (как замечает один очень умный человек) существуют только три абсолютно необходимые для управления государством корпорации. Первая из них — правящие должностные лица, которые обязаны защищать мою собственность от посягательств моего соседа. Вторая — армия, которая тоже обязана защищать мою собственность от нашествия неприятеля. Третья — корпорация граждан, назначенных для взимания налогов, которая должна доставлять средства для содержания первых двух корпораций. Для чего нужно духовное сословие, стоящее государству дорожке трех других, вместе взятых? Быть может, для сохранения в чистоте нравов? Но в Пенсильвании нравы чисты, хотя там вовсе нет духовенства.

^б Церковь, объявив себя единственным судьей в том, что есть и что не есть грех, считала себя благодаря этому вправе приписывать себе верховную власть и верховную юрисдикцию. Действительно, поскольку никто не имеет права наказывать за хороший поступок и вознаграждать за дурной, то учреждение, судящее о том, является ли поступок хорошим или дурным, есть единственный законный судья народа. Власти и государи являются лишь исполнителями его решений, их функции сводятся к функциям палача. Замысел этот, завуалированный религией, был грандиозен. Вначале он не встревожил властей. Церковь, внешне покорная их авторитету, ожидала, что она лишит их этого авторитета тем, что, поскольку она будет всеми признана единственным судьей достоинства человеческих поступков, это признание оправдает ее притязания. Какую силу короли могли противопоставить силе церкви? Только силу войска. В этом случае народ, находясь в рабстве у двух властей, воля и законы которых часто противоречили бы друг другу, ожидал бы в неизвестности, чтобы сила решила, какой власти он должен повиноваться. Я готов признать, что этот замысел духовенства не был полностью осуществлен. Но все же остается бесспорным, что во вся-

царство ее не от мира сего, пытается каждый раз снова завладеть земными богатствами и властью, желает не только отнять у цезаря то, что принадлежит цезарю, но и безнаказанно напосить удары цезарю. Если бы католики при всем своем суеверии могли сохранить какое-нибудь представление о справедливости и несправедливости, то, возмущенные чтением подобной истории, они прониклись бы отвращением к духовенству.

Государь обещал в таком-то году уничтожение такого-то налога. По истечении этого года он высокомерно изменил своему слову. Почему церковь не упрекает его публично в нарушении своего обещания? Потому, что, относясь равнодушно к общему благу, справедливости, гуманности, она занята лишь своими собственными интересами. Пусть государь будет тираном, она отпустит ему грехи. Но если он будет тем, кого она называет еретиком, она предаст его анафеме, станет призывать к его низложению и убийству. Но в чем заключается преступление ереси? Слово *ересь* в устах мудрого и беспристрастного человека означает попросту *особое мнение*. Нельзя ожидать от такой церкви ясных идей о справедливости. Духовенство всегда будет называть добродетельными лишь такие поступки, которые могут увеличить его власть и богатство. Какими причинами, если не интересами духовенства, можно объяснить противоречивые решения^а Сорбонны^{1*}? Не будь этих интересов, разве Сорбонна поддерживала бы известное время и терпела бы во все времена учение иезуитов о цареубийстве? Могла ли бы остаться скрытой от нее вся гнусность этого учения? Ожидала ли она того, чтобы на это ей указал суд?

Но, скажут, доктора Сорбонны, принимая это учение, обпаружили больше глупости, чем преступности. С тем, что они глупы, я согласен; но можно ли считать их добродетельными, если принять во внимание ярость, с какой они обрушились на книги философов, и молчание, какое они хранили по поводу книг иезуитов? Одобрив на своих

ком католическом государстве, несмотря на то что разница между светской и духовной властью ничтожна, существуют в действительности два государства и два абсолютных господина над каждым гражданином.

^а Можно было бы составить пикантный сборник противоречивых решений, вынесенных Сорбонной в период до и после Декарта почти против всех гениальных произведений.

собраниях^а нравственность членов этого ордена, доктора Сорбонны либо считали ее здоровой¹⁴, не исследовав ее (в этом случае что нужно думать о столь легкомысленных судьях?), либо считали ее здоровой после того, как они ее исследовали и признали таковой (в этом случае что нужно думать о столь невежественных судьях?), либо, наконец, они исследовали ее и признали дурной, но одобрили ее из страха¹⁵, интереса или честолюбия (в этом последнем случае что нужно думать о таких мошенниках-судьях?).

Если в журнале под названием «Христианства, или Отомщенная религия» богослов Гоша^{2*}, этот наемный писака, выступающий против самых уважаемых философов и писателей Европы, всегда молчал насчет иезуитов, то это потому, что он ждал от них покровительства и ба-рышей.

Известно, что личные интересы всегда диктовали богословам их решения. Поэтому не сорбонникам претендовать на звание моралистов: они не знают даже принципов морали. Девизом Сорбонны должна быть надпись, встречающаяся на некоторых солнечных часах: «Quod igno, doceo» (чего не знаю, тому учу). Неужели на пути к царству небесному и добродетели можно считать руководителями людей, одобряющих иезуитскую мораль? Пусть доктора Сорбонны продолжают прославлять достоинства богословских добродетелей — добродетели эти носят местный характер. Истинная добродетель признается таковой во все времена и во всех странах¹⁶. Добродетельными можно называть лишь поступки, полезные обществу и сообразные с общим интересом. Теология никогда не допускала народов к познанию этого рода добродетели, она всегда затемняла представление о ней. Это — следствие интересов церкви. Следуя этому интересу, духовенство повсюду требовало для себя исключительных привилегий в деле народного образования. Когда французские актеры построили в Севилье театр, капитул и кюре приказали его снести: здесь, заявил один из их каноников, наша труппа не потерпит рядом с собою никакой другой...

О человек, воскликнул некогда один мудрец, кто сможет сказать, до чего дойдет твое безумие и твоя глупость?

^а Среди докторов Сорбонны имеются просвещенные и добродетельные люди, но они редко посещают эти собрания, которые, по словам Вольтера, состоят обыкновенно из наибольших педантов, входящих в эту коллегию.

Богословы знают это, они смеются над этим и извлекают отсюда выгоду.

Прикрываясь именем религии, богословы всегда имели целью приращение своих богатств^а и своего авторитета. Нет ничего удивительного поэтому, если религиозные предписания изменяются в зависимости от их положения, если в настоящее время они не имеют тех же представлений о добродетели, которые они имели некогда, и если от морали Иисуса отлична мораль его священнослужителей.

Это относится не к одной только католической церкви. Все религиозные секты и все народы благодаря отсутствию ясных идей о добродетели имели самые различные понятия о ней в зависимости от различных стран и различных эпох¹⁷.

ГЛАВА XVIII

О РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ. КОТОРЫЕ РАЗНЫЕ НАРОДЫ СОСТАВИЛИ СЕБЕ О ДОБРОДЕТЕЛИ

На Востоке, и особенно в Персии, безбрачие считается преступлением. Нет ничего, говорят персы, более противоречащего положению природы и творца, чем безбрачие^б. Любовь есть физическая потребность, необходимая секреция. Неужели можно, дав обет вечного воздержания, противиться требованиям природы? Бог, создавший наши органы, не сделал ничего бесполезного; он желал, чтобы ими пользовались.

Мудрый афинский законодатель Солон не придавал особенного значения монашескому целомудрию¹⁸. Если, говорит Плутарх, в своих законах он прямо запретил рабам умащаться маслами и добиваться любви молодых людей, то при всем том, прибавляет этот историк, в самой греческой любви Солон не видел ничего постыдного. Но эти гордые республиканцы, которые предавались без стеснения всем видам любви, никогда не унизились бы до

^а Почему всякий монах, защищающий со смехотворным рвением ложные чудеса основателя своего ордена, издевается над свидетельствами в пользу существования вампиров? Потому, что он не заинтересован в том, чтобы верить в это. Уберите интерес — остается разум, а разум отнюдь не доверчив.

^б В Персии мальчикам дают наложницу по достижении ими возраста половой зрелости.

презренного ремесла шпионов и доносчиков; они не могли бы предать интересы отечества и посягнуть на собственность и свободу сограждан. Грек или римлянин не мог бы допустить без краски стыда, чтобы на него наложили оковы рабства. Истинный римлянин не способен был даже выносить без отвращения вида какого-нибудь азиатского деспота.

Во времена Катона Цензора в Рим прибыл царь Эвмен. При его прибытии вся молодежь толпилась вокруг него, и один Катон избегал его¹⁹. Почему, спросили Катона, он избегает общества государя, желающего встретиться с ним, избегает столь доброго, столь дружески настроенного к римлянам царя? Как бы хорош он ни был, ответил Катон, *всякий деспотический монарх — пожиратель человеческой плоти*²⁰ и его должен избегать всякий добродетельный человек.

Напрасно было бы пытаться перечислить различные идеи о добродетели, которые имели разные народы²¹ и частные лица²². Одно бесспорно: католик, который чувствует более почтения к основателю какого-нибудь ордена бездельников, чем к таким людям, как Минос, Меркурий, Ликург и др., безусловно, не имеет правильных идей о добродетели. Но до тех пор, пока с этим словом не свяжут ясных идей, каждый человек будет иметь различные идеи о добродетели в зависимости от случайного характера своего воспитания.

Вот молодая девушка, воспитываемая тупоумной и набожной матерью. Эта девушка слышит, как слово *добродетель* применяется лишь в значении, приданном ему святошами, которые бичуют себя, постятся и повторяют свои молитвы. Поэтому слово *добродетель* будет вызывать в ней лишь представление о монашеской дисциплине, власянице и молитвах.

Вот, наоборот, другая девушка, воспитанная образованными и патристическими родителями. Они всегда называли при ней добродетелью лишь поступки, полезные отечеству; они прославляли таких женщин, как Арпия, Порция^{1*} и т. д. Эта девушка будет неизбежно иметь иные идеи о добродетели, чем первая. Она будет восхищаться в Арпии силой добродетели и примером супружеской любви; другая увидит в той же Арпии лишь язычницу, светскую женщину, покончившую самоубийством и осужденную на муки, женщину, которой следует избегать и к которой следует чувствовать отвращение.

Пусть повторяют на двух молодых людях опыт, проделанный над двумя девушками. Положим, что один из них усердно чтит жития святых и, будучи, так сказать, свидетелем мук, которые заставляет их испытывать демон плоти, видит, как они всегда бичуют себя, валяются на шипах, делают себе женщины из снега и т. д. Его представления о добродетели будут отличны от идей другого юноши, который, предаваясь более почтенным и полезным занятиям, возьмет себе в качестве образцов таких людей, как Сократ, Сципий, Аристид, Тимoleon или, беря деятелей более близких к нашему времени, Милон, Гарле, Цибрак, Барильон^{23:2*}. «Это были почтенные государственные деятели, — говорит кардинал де Ретц, — славные жертвы своей любви к отечеству, которые уничтожили с помощью своих здравых и мудрых правил больше противогосударственных групп (factions), чем их могло создать все золото Испании и Англии». Следовательно, слово *добродетель* не может не вызывать в нас различные идеи²⁴ в зависимости от того, читаем ли мы Плутарха или «Золотую легенду»^{3*}. Поэтому, говорит Юм, во все времена и во всех странах воздвигали алтари людям совершенно различного характера.

У язычников воздавали божеские почести Геркулесу, Кастору, Церере, Вакху, Ромулу; а у мусульман, как и у католиков, те же почести воздают неизвестным дервишам или презренным монахам, какому-нибудь Доминику или Антонию.

Древние герои открывали себе врата Олимпа благодаря своему мужеству, талантам, совершенным им благодеяниям и гуманности, укрощая чудовищ и карая тиранов. В наше же время монах открывает себе врата в царство небесное постом, соблюдением дисциплины, трусостью, слепой покорностью и самым подлым послушанием.

Этот переворот в умах привлек к себе, несомненно, внимание Макпавелла. Он говорит в своем четвертом рассуждении: «Всякая религия, вменяющая в обязанность страдания и унижения, внушает гражданам лишь пассивное мужество; она расслабляет их дух, принижает его и prepares к рабству». Результаты, несомненно, вскоре оправдали бы это предсказание, если бы, как замечает Юм, нравы и законы обществ не видоизменяли характера и духа религии.

В последних двух главах мы показали, сколь мало отчетливые идеи соединялись до сих пор со словами

хороший, интерес, добродетель. Я показал, что слова эти, употребляемые всегда произвольно, вызывают и должны вызывать различные идеи в зависимости от общества, в котором живут, и от их приложения. Поэтому тот, кто желает исследовать подобного рода вопрос, должен сперва условиться насчет значения слов. Без этого предварительного соглашения всякий спор этого рода грозит затянуться до бесконечности. Поэтому люди понимают друг друга почти во всех нравственных, политических и метафизических вопросах тем меньше, чем больше они рассуждают о них.

После того как значение слов определено, всякий вопрос решается почти тотчас же, как его выдвигают. Это доказывает, что все умы здравы, что все замечают одни и те же отношения между предметами; это доказывает, что в нравственности, политике и метафизике²⁵ различие мнений является исключительно результатом неопределенного значения слова, злоупотребления им и, быть может, несовершенства языков. Но как избежать этого зла?

ГЛАВА XIX

ИМЕЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНО СРЕДСТВО УСТРАНИТЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ЗНАЧЕНИИ СЛОВ И ТОЛЬКО ОДИН НАРОД, КОТОРЫЙ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЭТО

Чтобы устранить неопределенность в значении слов, следовало бы составить словарь, где с различными выражениями связывались бы четкие идеи²⁶. Это дело трудное, и оно может быть выполнено лишь свободным народом. Англия, быть может, единственная европейская страна, от которой мир может ожидать и получить это благодеяние. Но, скажут, разве невежество не имеет и там покровителей? Конечно, нет такой страны, где отдельные частные лица не были бы заинтересованы в том, чтобы прирешать мрак лишь к свету истины. Слепые желают, чтобы ослепление было всеобщим. Мошенники желают, чтобы глупость получила распространение и число обманутых дураков увеличилось. В Англии имеются несправедливые вельможи, как и в Португалии. Но что могут они сделать в Лондоне с каким-нибудь писателем? Нет англичанина, который, защищенный крепостью своих законов, не мог бы поступить наперекор их власти, не мог бы резко критиковать невежество, суеверие и глупость. Англичанин

рождается свободным; пусть же он воспользуется этой свободой для просвещения всего мира; пусть, наблюдая почтение, оказываемое еще и в наше время даровитому народу Греции, он предвидит почтение, какое воздаст ему потомство, и пусть это зрелище внушит ему мужество.

Наш век, говорят, есть век философии. Все европейские народы дали в этой области даровитых людей. Кажется, все занимаются в наше время поисками истины. Но в какой стране можно безнаказанно опубликовать результаты этих исследований? Только в одной — в Англии.

Англичане^а, воспользуйтесь этой свободой, этим даром, отличающим человека от презренного раба и от домашнего животного, чтобы дать свет народам! Это благодеяние обеспечит вам их вечную признательность. Какую похвалу можно воздать народу, столь добродетельному, что он разрешит своим писателям закрепить в словаре точное значение каждого слова и рассеет благодаря этому таинственный мрак, окутывающий еще до сих пор нравственность, политику, метафизику, теологию²⁷ и т. д.! Авторы подобного словаря положат конец бесчисленным, нескончаемым спорам, которые вызывает злоупотребление словами²⁸. Только они могут привести науку о людях к тому, что действительно знают люди.

Словарь этот, переведенный на все языки, был бы общим собранием почти всех идей человечества. Пусть только свяжут с каждым выраженным точные идеи, и схоласт, который столько раз потрясал мир чарами слов, окажется бессильным чародеем. Талисман, в обладании которым заключалось его могущество, будет разбит. Тогда все безумцы, которые под именем метафизиков блуждают со столь давних времен в стране призраков и переплывают во всех направлениях глубины Вселенной на мехах, наполненных ветром, перестанут говорить, что они видят то, чего они не видят, и что они знают то, чего они не знают. Они не будут больше вводить в заблуждение народы. Тогда нравственные, политические и метафизические положения станут столь же доступными доказательству, как математические теоремы, и люди будут иметь в этих областях знания одни и те же идеи, раз (как я показал) все видят

^а Всякое правительство, говорят сами англичане, которое запрещает размышлять и писать по вопросам государственного управления, явно есть такое правительство, о котором нельзя сказать ничего хорошего.

необходимым образом одни и те же отношения между одними и теми же предметами.

Новым доказательством этой истины является то, что, комбинируя примерно одни и те же факты в физическом ли мире, как это доказывает математика, или в интеллектуальной области, как это подтверждает схоластика, все люди во все времена приходят почти к одним и тем же результатам.

ГЛАВА XX

ЭКСКУРСЫ ЛЮДЕЙ И ИХ ОТКРЫТИЯ В ЦАРСТВАХ ИНТЕЛЛЕКТА БЫЛИ ВСЕГДА ПОЧТИ ОДНИ И ТЕ ЖЕ

Из воображаемых стран, которые посещает человеческий дух, я остановлюсь прежде всего на стране фэй, гениев, волшебников. Люди любят сказки: всякий читает их, слушает и сочиняет их сам. Смутное желание счастья заставляет нас с удовольствием бродить в стране чудес и химер.

Что касается химер, то все они одного и того же рода. Все люди желают бесчисленных богатств, безграничного могущества, бесконечных наслаждений, и желания эти всегда уносятся за границы действительного обладания.

Как счастливы были бы мы, говорит большинство людей, если бы наши желания выполнялись немедленно после возникновения их! О безумцы, неужели вы никогда не поймете, что часть вашего счастья заключается именно в желаниях? Счастье похоже на золотую птичку, посланную феями одной молодой принцессе. Птичка опускается в тридцати шагах от нее. Принцесса хочет поймать ее, тихонько подбегает, вот-вот она ее схватит, но птичка улетает на тридцать шагов дальше; принцесса подбегает к ней снова и так проводит в погоне за ней ряд месяцев — она счастлива. Если бы птичка дала себя поймать сразу, то принцесса посадила бы ее в клетку и через неделю она ей надоела бы. Скупец и кокетка непрерывно преследуют птицу счастья. Они не могут поймать ее и находят счастье в своей погоне за ней, ибо благодаря этому они избавлены от скуки. Если бы каждое наше желание исполнялось, то душа томилась бы в бездействии и погубилась бы от скуки. Человеку необходимы желания; для его счастья необходимо, чтобы за исполненным желанием всегда следовало новое и легко осуществимое же-

лание²⁹. Немногие люди сознают в себе эту потребность, однако своим счастьем они обязаны смене своих желаний.

Всегда нетерпеливые в стремлении к их удовлетворению, люди непрерывно строят воздушные замки; они хотели бы заинтересовать всю природу в своем счастье. Разве она недостаточно могущественна, чтобы устроить его? И вот они обращаются к воображаемым существам, феям, гениям. Они желают их существования в смутной надежде на то, что милость какого-нибудь волшебника сделает их, как в 1001-й ночи, обладателями чудесной лампы и тогда ничего не будет доставать для их счастья^{1*}.

Таким образом, любовь к счастью, вызвав жадное любопытство и любовь к чудесному, породила у различных народов сверхъестественные существа, которые под названием фей, гениев, дивов, пери, волшебников, сильфов, унди и т. д. были всегда одними и теми же существами и которых повсюду заставляли производить почти одни и те же чудеса. Это доказывает, что в данной области делались почти одни и те же открытия.

Философские сказки

Сказки этого рода — более серьезные и более важные, но иногда столь же легкомысленные и менее занятные, чем простые сказки, — сохранили между собою почти неизменное сходство. К числу этих сказок, одновременно и столь замысловатых, и столь скучных, я отношу сказки о нравственной красоте^а, о природной доброте человека, наконец, различные отвлеченные системы физического мира. Последние должны быть построены только на опыте; если философ не обращается к опыту, если ему не хватает мужества остановиться там, где ему недостает наблюдения, то он воображает, что строит систему, а в действительности только сочиняет сказки.

Такой философ вынужден подменять гипотезами недостающий опыт и заполнять догадками необъятные промежутки, оставляемые выпешним, а еще более прошлым невежеством между всеми частями его системы. Что касается гипотез, то они почти все одного и того же рода. Кто знакомится с древними философами, тот убеждается

^а Нравственная красота находится лишь в раю дураков, где, согласно Мильтону, непрерывно кружатся изображение агнца божия, нарамники, четки, пидульгенции.

в том, что все они придерживались почти одного и того же взгляда и что различия между ними заключались лишь в выборе материалов, которые они клали в основу построения Вселенной.

Фалес видел во всей природе лишь один элемент — жидкость, воду. Символом его системы был Протей, морской бог, превращающийся в огонь, дерево, воду, животное. Гераклит считал тем же Протеем такой элемент, как свет. В земле он видел лишь затвердевший огненный шар. Апаксимен видел в воздухе некоторое неопределенное действующее начало, общего отца всех элементов. Сгущенный воздух образовал воду, а еще более густой воздух образовал землю. Все вещи были обязаны своим существованием различным степеням сгущения воздуха. Те исследователи, которые вслед за этими первыми философами, подобно им, пытались быть зодчими дворца Вселенной и работали над его постройкой, впадали в те же заблуждения. Доказательство этому — Декарт. Лишь переходя от фактов к фактам, можно прийти к великим открытиям. Надо двигаться вперед, следуя за опытом и никогда не предвзято его.

Нетерпение, свойственное от природы человеческому духу и особенно гениальным людям, не примиряется со столь медленным, но всегда столь надежным движением вперед³⁰: хотят угадать то, что может открыть только опыт. При этом забывают, что открытие системы мира связано со знанием некоего первичного факта, из которого могли бы быть выведены явления природы, и что знание этого первого факта, или общего принципа, могут нам дать только случай, анализ и наблюдение.

Прежде чем приступить к возведению дворца Вселенной, сколько нужно еще добыть материала из рудников опыта! Пора наконец философам, отдавшим целиком этой работе и чувствуя себя счастливыми благодаря возможности строить время от времени некоторые части задуманного здания, стать более усердными учениками опыта и понять, что без него они блуждают в стране химер. Люди во все времена видели здесь почти одни и те же призраки и придерживались заблуждений, сходство которых доказывает в то же время и единообразие, с каким люди всех стран комбинируют одни и те же предметы, и их одинаковые умственные способности.

Сказки этого рода — менее занятные, чем первые, менее умные, чем вторые, и все же вызывающие к себе больше уважения — вооружили народы друг против друга, заставили проливать человеческую кровь и принесли миру много скорби. Под названием религиозных сказок я понимаю вообще все ложные религии. Они всегда имели величайшее сходство одна с другой.

Из различных причин, которыми можно объяснить их изобретение³¹, первой я назову желание бессмертия. Если верить Варбуртону и некоторым другим ученым, доказательством того, что бог является автором законодательства у евреев, служит тот факт, что в Моисеевых законах не говорится ни о загробных наказаниях, ни о наградах и, следовательно, о бессмертии души. Если бы, прибавляют они, еврейская религия была создана людьми, то последние сделали бы из души бессмертное существо: живой и сильный интерес побудил бы их считать ее такой³², этот интерес — их страх перед смертью и уничтожением. Этого страха было бы достаточно и без помощи откровения, чтобы заставить их изобрести этот религиозный догмат. Человек желает быть бессмертным и считал бы себя таковым, если бы гибель всех окружающих его тел не возвещала ему в каждое мгновение противоположную истину. Вынужденный признать эту истину, он в не меньшей степени жаждет бессмертия. Легенда о котле омоложения Эзона говорит о древности этого желания. Чтобы его увековечить, его надо было во всяком случае обосновать чем-нибудь правдоподобным. С этой целью признали, что душа состоит из очень тонкой материи; из нее сделали неразрушимый атом, переживающий гибель других частей организма; из нее сделали наконец первоисточник жизни.

Существо, названное душой^а, должно было сохранить после смерти все вкусы, которым оно обладало во время своего соединения с телом. После того как была создана такая система взглядов, сомнения в бессмертии души были ослаблены тем обстоятельством, что ни опыт, ни наблюдение не могли противоречить этому верованию: невидимый атом не был доступен ни опыту, ни наблюдению.

^а Дикари приписывают душу решительно всему. Они надеются ею свои ружья, горшки и огнива. См. *P. Hennepin. Voyage de la Louisiane*, p. 94^{2*}.

Правда, существование его не было доказано; но разве люди нуждаются в доказательствах, чтобы верить в то, чего они желают? И можно ли найти когда-нибудь достаточно убедительные доводы, свидетельствующие о ложности ценного для нас воззрения? Правда, люди нигде не встречались с душами, и для объяснения этого факта, после того как ими были созданы души, они сочли необходимым создать особую страну для их местопребывания. Каждый народ и даже каждый индивид изображали ее по-особенному, в зависимости от своих вкусов и особой природы своих потребностей. Дикие народы то переносили это местопребывание в обширный, пзобилующий дичью лес, по которому протекали кишевшие рыбами реки; то помещали это местожительство душ в открытой ровной местности, богатой пастбищами, посреди которой, по их словам, росла земляника величиной с гору, от которой они отделяли куски для прокормления себя и своей семьи.

Народы, менее страдавшие от недостатка пищи и, кроме того, более многочисленные и более образованные, собирали в месте пребывания душ все, что есть приятного в природе, и называли его элизиумом. Народы, отличавшиеся жадностью, рисовали его себе по образцу сада Гесперид и заставляли там произрастать растения, на золотых стеблях которых висели алмазные плоды. Более чувственные народы заставляли здесь расти сахарные деревья и течь молочные реки; наконец, они населили его гурьями. Словом, каждый народ помещал в стране душ то, что составляло предмет его желаний на земле. Воображение, руководимое различными потребностями и вкусами, работало повсюду одинаково и в результате не обнаружило большого разнообразия при изобретении ложных религий.

Если верить тому, что пишет президент де Бросс^{3*} в своей превосходной «Истории фетишизма», т. е. культа земных предметов, то фетишизм, сохранившийся еще и в наше время почти во всей Африке, и особенно в Нигриции, не только был первой религией, но и был некогда всеобщим верованием^а. Известно, прибавляет де Бросс, что греки воплощали чтимую ими Венеру-Уранию в беотийские скалы, а в додонском лесу они поклонялись дубам.

^а Если слово «католический» означает «всеобщий», то напрасно папизм называет себя католическим. Истинно католическими были религия фетишизма и языческая религия.

Известно, что боги в образе собак, кошки, крокодила, змея, слона, льва, орла, мухи, обезьяны и т. д. имели свои алтари не только в Египте, но и в Сирии, Финикии и почти во всей Азии. Известно, наконец, что озера, деревья, море и бесформенные скалы тоже были предметом поклонения европейских и американских народов. Но подобное единообразие ранних религий свидетельствует об еще большем единообразии умов, особенно учитывая, что то же единообразие встречается также в более современных, менее грубых религиях. Такова была кельтская религия. Персидский Митра повторяется в боге Торе; Ариман — в волке Фенрире; греческий Аполлон — в Бальдуре; Венера — в Фрейе, а Парки — в трех сестрах Урде, Веранди, Скульде. Эти три сестры сидят у истоков родника, воды которого орошают одни из корней знаменитого ясеня по имени *Идразиль*. Листва его покрывает своей тенью землю, а вершина, поднимающаяся выше небес, образует их свод.

Таким образом, все ложные религии были почти повсюду одинаковыми. Откуда возникает это единообразие? Из того, что люди, воодушевленные почти одинаковым интересом, имея перед собою для сравнения почти одни и те же предметы и одно и то же орудие, т. е. один и тот же ум для их комбинирования, должны были необходимым образом приходить к одним и тем же результатам. Из того, что вообще все люди полны гордыни, что все они безо всякого особенного откровения, следовательно, без доказательств считают человека единственным любимцем неба и главным предметом его забот. Разве не следовало бы вслед за неким мопахом повторить себе несколько раз:

Что значит какой-нибудь капучин по сравнению с планетой?

Можно ли, для того чтобы обосновать фактами горделивые притязания человека, предполагать, как это делают некоторые религии, что божество, покинув небо для земли, спустилось на нее в виде рыбы, змея, человека, с тем чтобы попросту беседовать со смертными? Можно ли для доказательства того интереса, который небо испытывает к обитателям земли, издавать книги, где, по мнению некоторых обманщиков, заключены все правила и обязанности, предписанные богом человеку?

Подобная книга, написанная, если верить мусульманам, на небе, была принесена на землю ангелом Гавриилом и передана им Магомету. Книга эта — *Коран*. Если

заглянуть в нее, то оказывается, что она допускает тысячи толкований, она темна, непонятна; но ослепление людей таково, что еще и теперь считают божественной эту книгу, где бог изображен в виде какого-то тирана; где этот бог все время занят тем, что наказывает своих рабов за то, что они не поняли непонятного; где, наконец, этот бог — сочинитель фраз, непонятных без комментариев какого-нибудь пимама, — изображается как бестолковый законодатель, законы коего всегда нуждаются в толковании. До каких пор масульмане будут продолжать питать уважение к книге, полной глупостей и богохульства?

Установив, что метафизика ложных религий, экскурсии людей в страну душ и открытия в духовных областях были повсюду одинаковыми, постараемся теперь выяснить, не сохраняли ли во всех странах неизменное сходство также и обманы³³, к которым прибегало духовенство для обоснования этих ложных религий.

ГЛАВА XXI

ОБМАНЫ СЛУЖИТЕЛЕЙ КУЛЬТА В ЛОЖНЫХ РЕЛИГИЯХ

Во всех странах одинаковые соображения интереса и одинаково комбинируемые факты снабдили духовенство одинаковыми способами вводить народы в заблуждение, во всех странах попы использовали их^a.

Отдельный священник может быть умеренным в своих желаниях, может быть доволен тем, чем он обладает, но духовная корпорация всегда честолюбива. С большей или меньшей быстротой, но неизменно она стремится к увеличению своей власти и своих богатств. Во все времена духовенство желало быть могущественным и богатым. Каким путем добивалось оно этого? Продажей страха и надежды. Попы, продавая оптом этого рода товар, поняли, что торговля им была верной и прибыльной и что если подобная торговля кормит разносчика, продающего на улицах надежду на большой выигрыш в лотерее, и шар-

^a В Индии жрецы приписывают горящим головням особенные свойства и качества и продают их очень дорого. В Риме пезуит отец Пееп аналогичным образом продавал небольшие молитвы к деве Марии; он давал их глотать курам и уверял, что они от этого лучше несутся.

латана, продающего на уличных подмостках надежду на выздоровление и на здоровье, то она может также кормить бонзу и талапуэна, продающего в своих храмах также страх перед адскими муками и надежду на райское блаженство. Они поняли, что если шарлатан богатеет, торгуя лишь одним из этих товаров, а именно надеждой, то попы еще больше разбогатеют, торгуя также страхом. Человек, сказали они себе, робок, следовательно, на страхе можно больше заработать. Но кому продавать страх? Грешникам. Кому продавать надежды? Кающимся. Убедившись в этой истине, духовенство поняло, что покупателей тем больше, чем больше грешников, и что если плата за лечение больных обогащает врачей, то приношения и искупления должны обогатить попов; что врачам нужны больные, а попам — грешники. Грешник всегда становится рабом попа. Увеличение числа грехов благоприятствует торговле индульгенциями, обеднями и т. д. и увеличивает могущество и богатство духовенства. Если бы жрецы считали грехами только поступки, действительно вредные для общества, то могущество их было бы невелико. Оно простиралось бы только на известное число мошенников и преступников. Но духовенство захотело иметь власть и над добродетельными людьми. Для этого нужно было придумать грехи, которые могли бы совершать добродетельные люди. Так, жрецы решили, что малейшие вольности между юношами и девушками, одно только желание удовольствия — уже грех. Кроме того, они установили множество обрядов и суеверных церемоний; они постановили, что все граждане должны выполнять их, что несоблюдение этих обрядов будет считаться величайшим из преступлений и что нарушение обрядового закона, если бы оно имело место, должно, как, например, у евреев, наказываться более сурово, чем самое ужасное злодеяние.

Эти обряды и церемонии, более или менее многочисленные у различных народов, были повсюду почти одни и те же. Повсюду они считались священными и обеспечили духовенству величайшую власть над различными сословиями государства³⁴.

Но между попами различных народов нашлись такие, которые, будучи более ловкими, чем другие, потребовали от граждан не только соблюдения известных обрядов, но и веры в известные догматы. В результате незаметного

увеличения ими числа этих догматом увеличилось и число неверующих и еретиков^а. Чего потребовало затем духовенство? Чтобы еретиков наказывали конфискацией их имущества, и закон этот увеличил богатства церкви; оно потребовало, кроме того, чтобы неверие каралось смертной казнью, и закон этот увеличил его власть. С того момента, когда жрецы осудили Сократа, гений, добродетель и сами монархи стали трепетать перед ними. Власть их начала покоиться на страхе и паническом ужасе. Окутывая умы людей мраком невежества, чувства эти стали непоколебимой опорой власти первосвященников. Когда человек вынужден погасить в себе свет разума и не знает, что справедливо или несправедливо, он обращается к попу и полагается на его советы.

Но почему человек не обращается лучше к естественному закону? Ведь даже ложные религии покоятся на этой общей основе. Это так, но естественный закон есть не что иное, как сам разум^б. А как можно верить своему разуму, если запретили себе пользоваться им? Кроме того, кто может разглядеть предписания естественного закона через мистический туман, которым его окружило духовное сословие? Этот закон, говорят, есть канва всех религий. Пусть так, но попы выткали на этой канве столько тайнств, что вышивка совершенно закрыла ее основу. Кто знаком с историей, может убедиться в том, что добродетель народов уменьшается соразмерно росту их суеверия^б. Как научить суеверного человека его обязанностям? Разве он может распознать во мраке заблуждения и невежества тропу справедливости? Страна, где образованные люди встречаются лишь среди духовного сословия, — это страна, где никогда не образуется ясной и истинной идеи о добродетели.

Попы заинтересованы не в том, чтобы граждане поступали хорошо, но в том, чтобы они не мыслили вовсе.

^а В Европе можно говорить, что бог находится на небе. Сказать это в Болгарии было бы ересью и безбожием.

^б Суеверие еще и в настоящее время является религией самых мудрых народов. Англичане не исповедуются и не почитают святых. Их набожность состоит в том, чтобы не работать и не пить по воскресеньям. Человек, который стал бы в этот день играть на скрипке, считался бы нечестивым. Но его считают хорошим христианином, если он проводит тот же день в кабаке с девушками.

Нужно, говорят они, чтобы сын человеческий мало знал и много верил^а.

Я показал те одинаковые всюду средства, с помощью которых попы приобретают свое могущество. Рассмотрим теперь, не таковы ли средства, с помощью которых они его охраняют.

ГЛАВА XXII

О ЕДИНООБРАЗИИ СРЕДСТВ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ СЛУЖИТЕЛИ КУЛЬТА В ЛОЖНЫХ РЕЛИГИЯХ СОХРАНЯЮТ СВОЙ АВТОРИТЕТ

Во всех религиях первая задача, которую ставят себе священники, — это притупить любознательность человека и сделать не подлежащим критическому исследованию всякий догмат, нелепость которого не могла бы ускользнуть от его внимания.

Чтобы достигнуть этого, надо льстить человеческим страстям; чтобы увековечить ослепление людей, надо, чтобы они желали быть слепыми и были заинтересованы в этом. Для бонзы нет ничего легче. Поступать добродетельно труднее, чем соблюдать суеверные обряды. Человеку легче преклонять колена перед алтарями, приносить на них жертвы, купаться в Ганге³⁶ и поститься в пятницу, чем прощать неблагодарных граждан, подобно Камиллу, попираť ногами богатства, подобно Папирию^{1*}, просвещать мир, подобно Сократу.

Станем же льстить человеческим порокам, сказал бонза; пусть эти пороки будут моими покровителями; заменим добродетель дарами и искупительными приношениями и убедим людей, что при помощи известных суеверных церемоний можно очистить душу, загрязненную самыми тяжкими преступлениями. Подобное учение должно было увеличить богатство и влияние бонз. Они поняли все важное значение его, они провозгласили его, и оно было принято с радостью, ибо попы всегда были настолько менее строгими в своей нравственности и более снисходительными, насколько более суровыми они были в своих правилах и чем пунктуальнее они наказывали за нарушение обрядов^б.

^а Попы утверждают, что бог воздает каждому не по его делам, а по его вере.

^б Если у католиков наблюдается вообще распущенность нравов, то это потому, что требования истинных добродетелей священники папистской религии всегда подменяли требованиями выполнения суеверных церемоний.

После этого все храмы стали убежищем преступлений, только неверие не нашло себе прибежища. Но так как во всех странах мало неверующих и много дурных людей, то интерес большинства совпадал с интересом попов.

Под тропиками, говорит один мореплаватель, имеются два острова, лежащие друг против друга. На первом из них добродетельным человеком считается тот, кто верит в известное число нелепостей и кто может выдержать, не почесываясь, самый страшный зуд; того, кто проявляет терпение, испытывая зуд, главным образом и называют добродетельным. На другом острове жителям не навязывают никаких верований; здесь можно чесаться, где зудит, и даже щекотать себя, чтобы заставить себя смеяться; но человек не считается добродетельным, если он не совершил поступков, полезных для общества.

Не должна ли нелепость религиозной нравственности раскрыть на нее глаза народу? Но поп, отвечу я на это, разве не одевается в мрачное одеяние? Не принимает ли он суровую осанку и не выражается ли темным языком? Не говорит ли именем бога и нравственности? Всем этим он обольщает слух и зрение народа. Не важно, что вообще слова *нравственность* и *добродетель* лишены в его устах смысла. Слова эти, смиренно произнесенные человеком, одетым в одежду кающегося, всегда будут вводить в заблуждение человеческую глупость.

Таково было то очарование, если можно так выразиться, та блестящая сутана, под которой попы скрывали свое честолюбие и свой личный интерес. Впрочем, их вероучение было в известных отношениях суровым, и эта суровость также способствовала обману народа. Это был своего рода ящик Пандоры^{2*}: внешность его ослепляла, но внутри он заключал в себе фанатизм, невежество, суеверие и все бедствия, одно за другим опустошавшие земли. И вот когда видишь, как во все времена служители культа ложных религий пользовались одними и теми же средствами, чтобы увеличить свое богатство и влияние^а,

^а Если попы становятся повсюду собирателями и распределителями милостыни, то это потому, что они присваивают себе часть этой милостыни, а распределение ее остатков поддерживает их влияние, подкупая бедняков. Всякое средство приобретать деньги и влияние кажется попам законным. Католическое духовенство без всякого стыда возлагает бремя ремонта церквей на народы, казну которых оно истощает. Церкви — это откупа духовства, но в противоположность богатым собственникам оно нашло способ заставить содержать их за счет других.

чтобы сохранить свой авторитет и увеличить число своих рабов; когда во всех странах встречаешь одни и те же нелепости в ложных религиях, одни и те же обманы у служителей их культа и одну и ту же доверчивость у всех народов³⁷ — можно ли думать, спрашиваю я, что между людьми имеется по существу то умственное неравенство, которое у них предполагают?

Допустим, что ум и таланты являются результатом какой-то особенной причины. Как понять тогда, что великие люди, т. е. люди, наделенные этой особенной организацией, могли верить в языческие басни, разделять верования черни и становиться иногда мучениками во имя самых грубых заблуждений? Подобный факт, необъяснимый, пока ум считают продуктом более или менее совершенной организации, объясняется просто, если ум считать чем-то приобретенным. В этом случае нет ничего удивительного, если люди, гениальные в известной области, не обнаруживают никакого превосходства над другими людьми, когда дело идет о науках или вопросах, которыми они не занимались и над которыми они мало размышляли. Известно, что в таком положении единственным преимуществом умного человека над другими (несомненно, крупным преимуществом) является его привычка к вниманию, знание им лучших методов, необходимых для исследования вопроса, но преимущество это исчезает, когда вовсе не занимаются исследованием подобной истины.

Таким образом, единообразие хитростей³⁸, применяемых служителями ложных религий, сходство призраков, которые они усматривают в области духа³⁹, одинаковая доверчивость народов — все это доказывает, что природа не наделила людей неравными умственными способностями, как это предполагают, и что если в нравственности, политике и метафизике они высказывают весьма различные суждения об одних и тех же предметах, то это является результатом их предрассудков и неопределенности значения, которое они связывают с одними и теми же выражениями.

К только что сказанному я прибавлю лишь несколько слов. А именно, если ум сводится к науке или познанию истинных отношений между различными предметами и если, какова бы ни была организация индивидов, она ничего не изменяет, как это доказывает математика, в постоянной пропорции, с которой воздействуют на них

предметы, то, значит, большее или меньшее совершенство органов чувств не имеет никакого влияния на наши идеи и, следовательно, все люди с обыкновенной организацией обладают одинаковыми умственными способностями.

Единственное средство сделать эту истину еще более очевидной, если это возможно, заключается в том, чтобы усилить доказательства, собирая большее число их. Попробуем достигнуть этого при помощи другого ряда положений.

ГЛАВА XXIII

НЕТ ТАКОЙ ИСТИНЫ. КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ БЫЛО БЫ СВЕСТИ К КАКОМУ-НИБУДЬ ФАКТУ

По признанию почти всех философов, если упростить самые возвышенные истины и свести их к наименьшему числу терминов, то они превращаются в факты и представляют тогда для ума положение вроде: *белое есть белое, черное есть черное*⁴⁰. Таким образом, кажущаяся неясность определенных истин заключается не в самих истинах, но в малоотчетливом способе изложения их и в употреблении неподходящих слов для их выражения. Если свести истину к простым фактам и если всякий факт может быть одинаково воспринимаем всеми людьми⁴¹ с обычной организацией, то нет такой истины, которую они не могли бы уловить. Но уметь возвыситься до одних и тех же истин — все равно что обладать одинаковыми по существу умственными способностями.

Но верно ли, что всякую истину можно свести к ясным положениям вышеуказанного типа? К доказательствам этого, которые уже даны философами, я прибавлю лишь одно. Я основываю его на способности человеческого ума к совершенствованию. Как доказывает опыт, ум способен совершенствоваться. Но что предполагает эта способность к усовершенствованию? Две вещи:

во-первых, что всякая истина по существу доступна всем умам;

во-вторых, что всякая истина может быть ясно изложена.

Доказательством этого является свойственная всем людям способность изучать какую-нибудь профессию. Если самые замечательные открытия древних математиков охватываются теперь элементарной математикой и знакомы малознавшим математикам, то это потому, что упомянутые открытия сведены к фактам.

Когда истины доведены до такой простоты, то, будь между ними какие-нибудь истины, которых не могли бы постигнуть обыкновенные люди, тогда, опираясь на опыт, можно было бы сказать, что только гений может подняться до духовного царства и выдержать весь блеск новой истины, подобно орлу, единственной птице, парящей над облаками и глядящей прямо на солнце. Но опыт говорит о совершенно противоположном. Раз гений подметил подобную истину и изложил ее ясным образом, то в то же мгновение все обыкновенные умы улавливают и усваивают ее. Гений — смелый вождь; он прокладывает себе путь в области открытий, он пробивает себе здесь дорогу, а обыкновенные умы устремляются толпой вслед за ним. Но, значит, у них имеется сила, необходимая, чтобы следовать за ним. Без этой силы один лишь гений проник бы туда. Но до сих пор его единственная привилегия заключалась в том, что он первый прокладывал себе дорогу.

Что это за момент, когда самые высокие истины становятся доступными самым обыкновенным людям? Это момент, когда истины, освобожденные от неясностей слов и сведенные к более или менее простым предложениям, переходят из области деятельности гения в область науки. До этого, подобно душам, которые, как говорят, бродят в небесных обителях, ожидая момента, когда они должны одушевить какое-нибудь тело и появиться на свет, еще неизвестные истины как бы бродят в сфере открытий, ожидая, чтобы гений схватил их там и перенес на землю. Спустившись на землю, будучи открыты выдающимися умами, они становятся затем общим достоянием.

В век нынешний, говорит Вольтер, прозой, как правило, пишут лучше, чем в век минувший. Но чему обязаны наши современники этим преимуществом? Образцам, имевшимся перед их взором. Наши современники не могли бы похвалиться этим преимуществом, если бы гениальные открытия минувшего века, ставшие уже наукой ⁴², не поступили, если можно так выразиться, в широкое обращение. Когда открытия гения превращаются в науку, то каждое открытие, принесенное им в храм знаний, становится здесь общим благом — храм открыт для всех. Тот, кто хочет знать, познает и может быть почти уверен в этом, что сделает такое-то расстояние в научном познании в день. Доказательством этого является то, что для обучения мастерству установлено определенное время.

Большинство искусств в том состоянии совершенства, до которого они доведены теперь, могут считаться продуктом открытий сотни гениальных людей, как бы поставленных вплотную друг за другом; поэтому рабочий, применяющий эти искусства, должен соединять в себе и уметь удачно применять идеи этой сотни гениальных людей. Можно ли более убедительно доказать способность человеческого ума к совершенствованию и его умение понимать истины всякого рода?

Если от искусств перейти к наукам, то и здесь можно убедиться в том, что истины, за открытие которых некогда обожествили бы их авторов, в настоящее время стали чем-то весьма обычным. Система Ньютона преподается теперь повсюду.

С автором новой истины происходит то же, что с астрономом, который из стремления к славе или вследствие любознательности поднимается в свою обсерваторию. Он наводит телескоп на небо. Заметив в глубине его какое-нибудь новое светило или новый спутник, он призывает своих друзей. Они поднимаются, смотрят в телескоп и замечают то же светило, ибо, имея приблизительно одинаковые органы чувств, люди должны видеть одни и те же предметы.

Если бы существовали идеи, до которых не могут подняться обыкновенные люди, то некоторые истины на протяжении веков были бы понятии на земле лишь двумя или тремя столь хорошо организованными людьми. Остальная часть жителей земли пребывала бы в этом отношении в неустранимом неведении. Открытие, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух других сторон треугольника, было бы доступно только какому-нибудь новому Пифагору; человеческий ум не был бы способен к совершенствованию; наконец, существовали бы истины, доступные лишь избранным людям. Между тем опыт показывает нам, что самое возвышенное открытие, если оно ясно изложено, понятно всем. Отсюда и то чувство удивления и стыда, всегда испытываемое нами, когда мы себе говорим: *нет ничего проще этой истины; как это я никогда не замечал ее?* Правда, так иногда выражаются из зависти. Доказательством является история с Христофором Колумбом. Когда он собирался в свое путешествие в Америку, придворные говорили: *нет ничего нелепее этого предприятия*. По его возвращении они говорили: *нет ничего легче этого открытия*. Но если так выражаются часто

из зависти, то разве никогда не говорят так и с полной искренностью? Разве люди, пораженные вдруг очевидностью какой-нибудь новой идеи и вскоре привыкнув считать ее чем-то банальным, не думают самым добросовестным образом, что они всегда знали ее?

Допустим, что мы обладаем ясной идеей, выражающей какую-либо истину; что у нас не только имеются в памяти, но и обычно предстают в нашем воспоминании все идеи, из сравнения которых эта истина вытекает; что, наконец, мы не ослеплены никаким интересом, никаким суеверием. Раз эта истина сведена к минимуму терминов, т. е. к простым предложениям типа: *белое есть белое, черное есть черное*, то она понимается почти в тот же момент, когда выдвигается.

Действительно, если системы Локка и Ньютона, которые не доведены еще до последней степени ясности, тем не менее повсюду преподаются и всеми понимаются, то, значит, люди с обыкновенной организацией могут возвыситься до идей этих великих и гениальных людей. Но понимать их идеи ⁴³ — это значит обладать теми же умственными способностями, что и они. Но, возражат мне, из того, что люди достигают этих истин, и из того, что их знания вообще всегда соразмерны их желанию учиться, можно ли заключить, что все люди одинаково способны возвыситься до открытия еще неизвестных истин? Это возражение заслуживает особого рассмотрения.

ГЛАВА XXIV

УМА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ УЖЕ ИЗВЕСТНЫХ ИСТИН, ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ДОЙТИ И ДО НЕИЗВЕСТНЫХ

Всякая истина есть всегда результат правильного сравнения сходств и различий, соответствий и несоответствий между разными предметами. Как поступает учитель, когда он желает объяснить ученикам принципы какой-нибудь науки и доказать им уже известные ее истины? Он показывает им предметы, из сравнения которых должна получиться эта истина. Но кто показывает их ему? Случай. Случай — общий учитель всех изобретателей. Таким образом, человеческий ум — безразлично, следит ли он за доказательством какой-нибудь истины или сам открывает ее, — должен в обоих случаях сравнивать одни

и те же предметы, наблюдать одни и те же отношения, наконец, производить одни и те же операции^а.

Следовательно, ума, необходимого для постижения уже известных истин, достаточно для того, чтобы прийти и к неизвестным истинам. Правда, немногие люди возвышаются до их открытия; но это различие между ними является результатом: 1) разного положения, в котором они находятся, и того стечения обстоятельств, которое называют случаем; 2) большего или меньшего стремления их прославиться, следовательно, более или менее сильной страсти, которую они питают к славе.

Страсти могут сделать все. Нет такой глупой девушки, которую любовь не сделала бы умной. Каких только способов не подсказывает ей любовь, чтобы обмануть бдительность родителей, чтобы встретиться и побеседовать со своим возлюбленным. Самая глупая девушка часто становится в этих случаях самой изобретательной.

Человек, лишенный страстей, не способен к той степени прилежания, от которой зависит умственное превосходство, превосходство, которое, быть может, есть в нас не столько результат чрезвычайных усилий внимания, сколько, по-моему, обыкновенного внимания.

Но если все люди обладают одинаковыми умственными способностями, то что же порождает такие умственные различия между ними?

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Если люди, в особенности европейцы, утверждают баньяны^{1*}, всегда боятся и не доверяют друг другу и всегда готовы биться друг с другом, то это потому, что они одушевлены еще духом своих прародителей — Куттери и Тоддикастреи. Этот Куттери, второй сын Пулона, которому бог предназначил поселиться в одной из четырех частей света, направился к западу. Первое, что он встретил, — это была женщина по имени Тоддикастрея. Она была вооружена шюшери, а он — мечом. Как только они

^а Я мог бы прибавить даже, что требуется больше внимания для того, чтобы следить за доказательством какой-нибудь уже известной истины, чем для того, чтобы открыть новую истину. Если дело идет, например, о какой-нибудь математической теореме, то ум, творческий в этой области, должен знать уже геометрию: геометрические фигуры обыкновенно имеются налицо в его памяти, он вспоминает их, так сказать, непроизвольно, его внимание может целиком устремиться на наблюдение их отношений. Что касается ученика, то, поскольку эти фигуры не имеются обыкновенно налицо в его памяти, его внимание неизбежно разделяется между усилием, какое требуется для того, чтобы вспомнить эти фигуры, и самим наблюдением их отношений.

заметили друг друга, они напали друг на друга и стали наносить друг другу удары. Сражение длилось два с половиной дня. На третий день, устав от битвы, они заговорили друг с другом, поженились, спали вместе и имели детей, всегда готовых, подобно их предкам, вступить при встрече в битву между собою.

² Я знаю, что самые умные и наиболее склонные к созерцанию люди бывают иногда меланхоликами. Но они умны и предаются размышлениям не потому, что они меланхолики; наоборот, они меланхолики потому, что предаются размышлениям. Действительно, человек обязан своим умом не меланхолии, а своим потребностям; только потребности выводят его из природной косности. Если я мыслю, то не потому, что я силен или слаб, а потому, что я более или менее заинтересован в том, чтобы мыслить. Когда несчастье называют *этот великий учитель человечества*, то этим желают сказать только, что несчастье и наше желание избавиться от него заставляют нас мыслить. Почему жажда славы часто приводит к тому же результату? Потому, что некоторые люди испытывают потребность в славе. Впрочем, ни Рабле, ни Фонтенель, ни Лафонтен, ни Скаррон не считались грустными людьми, а между тем никто не отрицает большего или меньшего превосходства их ума.

³ То, что я говорю о доброте, можно с одинаковым успехом применить к красоте. Различные представления о ней почти всегда зависят от объяснений этого слова, которые мы слышим с детства. Мне всегда хвалили в особенности лицо одной женщины. Это лицо запечатлелось в моей памяти как образец красоты, и я буду судить о красоте других женщин лишь на основании большего или меньшего сходства их с этим образцом. Отсюда разнообразие наших вкусов, и в этом причина того, почему один человек предпочитает стройную женщину, в то время как, наоборот, другого больше влечет к женщине полной.

⁴ Это решение церкви показывает всю нелепость критики, которая была направлена против меня. Каким образом, говорят, мог я утверждать, что дружба основана на взаимной потребности и интересе. Но если церковь и даже иезуиты признают, что бога при всей его благодати и могуществе любят не ради него самого, то ясно, что и я люблю своего друга не без причины. Но какого рода может быть эта причина? Она не из тех причин, которые порождают ненависть, т. е. чувство стеснения и страдания; наоборот, она из тех причин, которые порождают любовь, т. е. чувство удовольствия. Критика, которой меня подвергли по этому вопросу, столь нелепа, что мне просто стыдно на нее отвечать.

⁵ Первоначальная церковь не придиралась к людям из-за их верований. Пример этому Синезий. Он жил в V в. Он был философом-платоником. Тогдашний александрийский епископ Теофил, желая добиться чести обращения Синезия, просил его дать себя окрестить. Философ согласился на это при условии, что он сохранит свои убеждения. Некоторое время спустя жители Птолемеиды просили Синезия стать их епископом. Синезий отказался от епископства, и вот какие мотивы отказа приводит он в своем сто пятом письме, написанном к брату: «Чем более изучаю себя, — пишет он, — тем менее я чувствую себя пригодным для занятия поста епископа. До сих пор я делил свою жизнь между изучением философии и развлечениями. Выйдя из своего кабинета, я предаюсь удовольствиям. Но говорят, что епископ не должен

наслаждаться, это — человек, отдавший богу. Кроме того, я совершенно неспособен заниматься домашними делами граждан. Затем у меня жена, которую я люблю; мне было бы одинаково невозможно оставить ее или выдаться с ней тайком. Теофил знает об этом. Но и это еще не все. Ум не расстается с истинами, которые он считает для себя доказанными. Но положения философии находятся в противоречии с тем, которым должен учить епископ. Каким образом проповедовать сотворение души после сотворения тела, конец мира, воскресение, словом, все то, во что я не верю? Я не могу решиться лгать. Скажут, что философ может сплзойти до слабости черни и скрыть от нее истины, которых она не выносит. Да, но тогда нужно, чтобы притворство стало абсолютно необходимым. Я готов стать епископом, если б я мог сохранить свои убеждения, говорить о них со своими друзьями, если бы меня не заставили для поддержания народа в заблуждении рассказывать ему всякие басни. Но если епископ должен проповедовать вразрез с тем, что он думает, и думать то, что думает чернь, то я отказываюсь принять сан епископа. Не знаю, существуют ли истины, которые следует скрывать от черни, но я знаю, что епископ не должен проповедовать вещи, противоречащие тому, во что он верит. Истину следует уважать, как бога, и я заявляю перед богом, что я никогда не изменил бы своим взглядам в своих проповедях». Несмотря на свое нежелание, Синезий был рукоположен в епископы и сдержал свое слово. Сочиненные им гимны представляют собою изложение систем Пифагора, Платона и стоиков в соединении с догматами и культом христиан.

⁶ Благочестивая клевета — это тоже одна из недавно созданных добродетелей. Руссо и я стали ее жертвами. Сколько ложных цитат из наших сочинений приводится в посланиях св. епископов. Таким образом, теперь имеются и святые клеветники.

⁷ Духовенство, называющее себя смиренным, похоже на Диогена, гордость которого сквозила через дыры его плаща.

⁸ Прочтите по этому вопросу последние главы устава св. Бенедикта. Вам будет видно, что если монахи злы и безжалостны, то это потому, что они обязаны быть такими.

Вообще люди, существование которых обеспечено и которые не должны беспокоиться по этому поводу, жестоки: они не сочувствуют чужим несчастьям, которых они не могут испытать. Кроме того, счастье или несчастье монахов, живущих в монастырском уединении, совершенно не зависит от счастья их родных и сограждан. Поэтому монахи смотрят на горожанина с таким же равнодушием, с каким путешественник глядит на встретившееся ему в лесу животное. Монастырские законы делают монахов бесчеловечными. Действительно, что порождает в людях чувство доброжелательности? Немедленная или более отдаленная помощь, которую они могут оказать друг другу. Этот принцип привел к объединению людей в общество. Но если законы отделяют мои интересы от общественных интересов, то я становлюсь злым человеком. Этим объясняется жестокость самодержавных правительств, а также и то, почему монахи и деспоты вообще были всегда самыми бесчеловечными из людей.

⁹ Прежде думали, что бог в разные времена мог иметь различные идеи о добродетели, и церковь ясно высказала этот взгляд на Базельском соборе в связи с обсуждением учения гуситов^{2*}.

Когда гуситы заявили, что они принимают лишь учение, которое содержится в Священном писании, то кардинал де Казан от имени отцов собора ответил им, что «Священное писание не абсолютно необходимо для сохранения церкви, а нужно только для лучшего сохранения ее; что Священное писание следует всегда толковать в зависимости от нынешнего направления церкви, которая изменяет свои взгляды, что заставляет нас верить, что и бог изменяет свои взгляды».

¹⁰ Много шумят по поводу того возвращения имущества, к которому побуждает религия. Я наблюдал иногда, что возвращают медь, но никогда не возвращают золота. Монахи не вернули еще ни одного наследства, а католические государи — царств, отнятых в Америке у туземцев.

¹¹ Вполне справедливо вооружиться против нетерпимости нетерпимостью же, подобно тому как государь обязан противопоставить армию вражеской армии.

¹² Раскрыв энциклопедию на статье «Добродетель», с изумлением находишь здесь не определение добродетели, а какой-то набор напыщенных слов. «О человек! — восклицает автор этой статьи. — Ты хочешь узнать, что такое добродетель? Загляни в самого себя. Ее определение находится в глубине твоего сердца».

Но почему бы это определение не могло находиться в глубине сердца самого автора, а в этом случае почему он его не дал? Немногие люди, должен признаться, столь хорошего мнения о своих читателях и столь плохого о самих себе. Если бы этот писатель основательнее продумал смысл слова *добродетель*, он понял бы, что она заключается в знании взаимных обязанностей людей и, следовательно, предполагает образование обществ. До того как общество образовалось, можно ли сделать какое-нибудь добро или причинить какое-нибудь зло еще не существующему обществу? Первообытный обитатель лесов, живущий нагишом, лишенный языка, может приобрести ясное и отчетливое представление о силе или слабости, но не о праве и справедливости.

Если бы, родившись на каком-нибудь пустынном острове, я был предоставлен там самому себе, я жил бы, не имея ни пороков, ни добродетелей. Я не мог бы обнаружить ни тех ни других. Что же следует понимать под словами *добродетельные* и *порочные* поступки? Поступки, полезные или вредные обществу. Эту простую и ясную идею, по-моему, следует предпочесть напыщенному и непонятному словозвержению о добродетели.

Проповедник, не дающий в своих проповедях никакого определения добродетели, моралист, утверждающий, что все люди добры, и не допускающий существования несправедливых людей, — это порой глупцы, но чаще мошенники, желающие, чтобы их считали добродетельными на том основании, что они люди.

Быть может, чтобы осмелиться дать правильный портрет человечества, надо быть добродетельным и до известной степени безупречным. Но во всяком случае я знаю, что самые добродетельные люди — это не те люди, которые признают в человеке больше всего добродетели. Если бы я желал увериться в своей собственной добродетели, я предположил бы себя гражданином Рима или Греции и спросил бы себя: будь я на месте Котра, Регула, Брута и Леонида, совершил ли бы я те же поступки?

Малейшее колебание в этом отношении показало бы мне, что я очень мало добродетелен. Во всех областях люди сильные встречаются редко, обычно встречаются люди вялые.

¹³ Фенелон прославился своей гуманностью. Однажды какой-то кюре хвалился в его присутствии, что он запретил по воскресеньям пляски в своей деревне. Архиепископ сказал ему: «Г. кюре, будем менее строги к другим; будем воздерживаться от танцев, но пусть крестьяне танцуют. Почему не дать им забыть на несколько минут свое горестное положение?» Правдивый и всегда добродетельный Фенелон прожил часть своей жизни в немыслимости. Его соперник по гению Боссюэ был менее добродетелен — он всегда пользовался влиянием.

¹⁴ Между нравственностью иезуитов и нравственностью Иисуса нет ничего общего: одна разрушительна для другой. Этот факт доказан извлечениями из нравственных правил иезуитов, опубликованными парламентом. Но почему духовенство не перестает повторять, что одним и тем же ударом погубили не только иезуитов, но и религию? Потому, что на языке церкви религия — синоним суеверия. Суеверие или папское могущество, по-видимому, действительно пострадало от изгнания этих монахов. Впрочем, пусть иезуиты не надеются на возвращение во Францию и в Испанию. Можно себе представить, какими преследованиями сопровождалось бы их возвращение, до какой крайности могла бы дойти жестокость оскорбленного иезуита!

¹⁵ Страх, который внушали иезуиты, казалось, делал их неуязвимыми ни для какого нападения; чтобы пренебречь их ненавистью и интригами, нужны были такие люди, как Шовлен^{3*}, благородные души, отважные граждане и друзья общественного блага. Достаточно ли было бы одного мужества для уничтожения этого ордена? Нет, для этого требовался еще гений: нужно было уметь показать гражданам замыслы цареубийства, прикрытые дымкой уважения и преданности; разоблачить лицемерие иезуитов, окутанное облаком фимиама, которым они по очереди кадили вокруг тронов и алтарей; наконец, нужно было, чтобы придать смелость боязливому благоразумию парламентов, заставить их провести ясное различие между *экстраординарным* и *невозможным*.

¹⁶ Об уме можно сказать то же самое, что о добродетели. Если приложить ум к истинным наукам — геометрии, физике и т. д., то он окажется одинаков во всех странах. Если приложить ум к ложным наукам — магии, теологии и т. д., то он окажется ограничен данной областью. Первый из этих умов относится ко второму так, как африканская монета, раковина корис, относится к золотой и серебряной монете: одна в ходу у некоторых негритянских народов, другие — во всем свете.

¹⁷ На чем следует основать принципы здоровой нравственности? На многочисленных фактах и наблюдениях. Таким образом, неясность и ложность некоторых принципов следует, быть может, объяснять тем, что они слишком преждевременно сформулированы. В этике, как и во всякой другой науке, прежде чем строить систему, нужно собрать необходимые для этой постройки материалы. В настоящее время нельзя уже не знать того, что экспериментальная и основывающаяся на изучении человека и вещей нравственность настолько же выше спекулятивной и теологической морали, насколько экспериментальная физика выше разных туманных и неопределенных теорий. Так как религиозная нрав-

венность никогда не основывалась на опыте, то царство теологии всегда считалось царством мрака.

¹⁸ Самы монахи не всегда одинаково понимали стыдливость. Некоторые из них — так называемые мамиллярии («грудные») — думали, что можно без греха хватать за грудь монахинь. Нет такого постыдного поступка, из которого суеверие не сделало бы где-нибудь добродетельного поступка. В Японии бонзы могут любить только мужчин, а не женщин. В некоторых провинциях Перу акты греческой любви считались актами благочестия — это было поклонение богам, которое им воздавали публично в их храмах.

¹⁹ Г-жа Маколей, знаменитый автор «Истории Англии», — это своего рода лондонский Катон. «Никогда, — говорит она, — вид деспота или государя не запятнал чистоты моего взгляда».

²⁰ Все народы подвержены одному заблуждению: они ожидают от своего деспота гуманности, просвещенности. Безумие — желать создать хороших учеников, не наказывая ленивых и не вознаграждая прилежных. Противоречие — отменив закон, наказывающий за воровство и убийство, желать, чтобы не крали и не убивали; нелепо желать, чтобы государь занимался государственными делами, не будучи заинтересован в этих занятиях, т. е. чтобы он не мог быть наказан, если он пренебрегает ими. Наконец, желать, чтобы человек, стоящий выше законов, т. е. человек без закона, был всегда гуманен и добродетелен, — это все равно что желать следствия без причины. Если связать людей по рукам и ногам и перенести их в пещеру людоеда, то он их сожрет. Деспот — это тот же людоед.

²¹ Калмыки имеют столько жен, сколько они желают; у них, кроме того, столько наложниц, сколько они могут прокормить. Кровосмешение не считается у них преступлением. В мужчине и женщине они видят лишь самца и самку. Отец спокойно женится на своей дочери: никакой закон не запрещает ему этого.

²² Всякий говорит себе: у меня самая здравая идея о добродетели; кто думает иначе, чем я, — ошибается. Каждый человек издевается над своим соседом. Все показывают друг на друга пальцами и под чужим именем смеются над самими собою. Инквизитор, который осудил Галилея, наверное, относился с презрением к злодейству и тупоумию судей Сократа; он не думал, что когда-нибудь он, подобно им, будет предметом презрения для людей своего времени и потомства. Разве Сорбонна понимает всю глупость того, что она осудила Руссо, Мармонтеля, меня и т. д.? Нет, зато это думают вместо нее иностранцы.

²³ Барильон был сослан в Амбуаз, и Ришелье, сославший его туда, был первым министром, который, по словам кардинала де Ретца, осмелился наказать членов магистратуры *за благородную твердость, с которой они высказывали королю истины, для защиты коих присяга обязывала их отдать свою жизнь*.

²⁴ Если верно, что добродетель полезна государям, то, значит, полезно изложить ясные идеи о ней и запечатлеть их в памяти людей с раннего детства. Определение ее, которое я дал в книге «Об уме» (Рассуждение III, гл. XIII), казалось мне единственно верным. «Добродетель, — писал я, — не что иное, как желание общественного блага. Общее благо — предмет добродетели, а предписываемые ею поступки — это средства, которыми добродетель пользуется для достижения этой цели. Таким образом, —

добавлял я, — идея добродетели может быть повсюду одной и той же».

Если в течение веков в разных странах люди составляли себе о ней как будто различные идеи; если в результате этого философы «видели в идее добродетели нечто произвольное, то это потому, что они принимали за добродетель различные средства, которыми она пользуется для достижения своей цели, т. е. различные предписываемые ею поступки. Эти поступки были, бесспорно, иногда очень различными потому, что интересы народов изменяются в зависимости от времени и их положения, а также потому, что общественное благо может до известной степени осуществляться различными средствами».

Ввоз какого-нибудь заграничного товара, разрешенный в настоящее время в Германии как выгодный для торговли страны и соответствующий благу государства, может быть завтра запрещен. Завтра могут объявить куплю его преступлением, если благодаря каким-нибудь обстоятельствам купля эта становится вредной для национального интереса. «Следовательно, одни и те же действия могут попеременно быть для народа полезными и вредными, получать попеременно название добродетельных и порочных, хотя идея добродетели от этого не изменяется и остается одной и той же».

Нет ничего более согласного с естественным законом, чем эта идея. Можно ли представить себе, чтобы столь здравые, столь соответствующие всеобщему благу принципы могли быть осуждены? Можно ли представить себе, чтобы стали преследовать человека, который, определяя «истинную добродетель как привычку к поступкам, полезным для отечества, считал порочным всякий поступок, вредный для общества»? Разве не очевидно, что такой писатель не может защищать положений, противоречащих общественному благу, не противореча самому себе? Однако влияние завистников и лицемеров было так сильно, что я подвергся преследованию с их стороны. То же духовенство допустило без всякого протеста, чтобы сделали кардиналом дерзкого Беллармина за защиту им такого тезиса: *если бы папа запретил поступать добродетельно и приказал поступать порочно, то римская церковь должна была бы под угрозой греха отказаться от добродетели во имя порока, «nisi vellet contra conscientiam peccare» (если бы она не захотела грешить против совести)*. Папа, по мнению этого иезуита, имеет право уничтожить естественный закон, задушить в сердце всякое представление о справедливом и несправедливом и вновь погрузить нравственность в тот хаос, из которого с таким трудом извлекают ее философы. Разве церковь должна была одобрить эти положения? Почему папа позволил опубликование их? Потому, что они льстили его гордости.

Папы с их честолюбием всегда жадны к власти и никогда не бывают особенно щепетильны в вопросе о выборе средств. А в какой стране сильные мира сего не будут терпеть самого гнусного, самого противоположного общественному благу правила, если только оно им полезно? В какой стране систематически наказывают низких и рабоподобных людей, которые не перестают повторять государю: «Твоя власть над подданными безгранична; ты можешь по своему усмотрению отнять у них их имущество, заковать их в кандалы и подвергнуть их самой жестокой казни»? Всегда лисица безнаказанно повторяет льву:

Vous leur fîtes, Seigneur,
En les croquant beaucoup d'honneur

(Вы, государь, оказали им большую честь, съев их).

Но не повторяйте без опасности для себя государям те фразы, где устанавливаются грани, которые справедливость, общественное благо и естественный закон ставят их власти.

²⁵ Под метафизикой я понимаю не тот непонятный жаргон, который, перейдя от египетских жрецов к Пифагору, от Пифагора к Платону, а от Платона к нам, еще и теперь преподается в некоторых школах. Под этим словом я, как и Бэкон, понимаю науку о первых принципах всякого искусства или всякой науки. В поэзии, музыке, живописи есть свои принципы, основанные на постоянном и всеобщем наблюдении; значит, у них тоже есть своя метафизика.

Является ли паукой схоластическая метафизика? Нет. Как я только что сказал, это — особый жаргон; она нравится только ложно направленным умам, которые довольствуются выражениями, лишенными смысла, нравится только невеждам, принимающим слова за вещи, и мошенникам, желающим одурачивать. Здравомыслящий человек презирает ее.

Всякая метафизика, не основанная на наблюдении, состоит лишь в искусстве злоупотреблять словами. Эта метафизика постоянно преследует в стране химер мыльные пузыри, ничего не получая от них, кроме ветра. Сосланная ныне в школы богословия, она продолжает вызывать вражду между ними из-за разных метафизических тонкостей; она может все еще разжечь фанатизм и заставить снова проливаться человеческую кровь.

Эти два рода метафизики я сравниваю с двумя различными философскими системами — Демокрита и Платона^{4*}. Первый постепенно поднимается от земли к небу, второй постепенно снижается с неба на землю. Система Платона покоится на облаках; дыхание разума уже отчасти разогнало эти облака, а с ними расseyало и систему.

²⁶ Людьям всегда управляли с помощью слов. Если уменьшить наполовину вес серебряного эку, сохраняя за ним ту же номинальную цену, солдат воображает, будто он получает примерно то же самое жалованье. Судья, имеющий право выносить окончательное судебное решение в размере определенной суммы, т. е. определенного веса серебра, не осмеливается выносить решений в размере половины этой суммы.

Так люди становятся жертвами слов и их неопределенного значения. До каких пор писатели будут говорить о *добрых нравах*, не связывая с этими словами ясных и точных идей? Неужели они никогда не поймут, что добрые нравы — одно из тех неопределенных выражений, насчет которых у каждого народа имеются различные идеи; что если существуют *всеобщие добрые нравы*, то существуют и местные и что, следовательно, я могу, не оскорбляя *добрых нравов*, иметь гарем в Константинополе, но не в Вене?

²⁷ Споры theologов всегда являются, да и не могут не быть, спорами лишь о словах. Если споры эти часто вызывали великие потрясения в государствах, то это потому, говорит г. де ла Шалотэ, что государь, соблазненные некоторыми theologами, принимая участие в этих раздорах. Если правительства перестанут обращать на них внимание, то theologи, осыпав друг друга бранью и

обвинив друг друга в ереси и т. д., устанут от бесплодных разговоров, которых никто не слушает. Боязнь оказаться смешным заставит их молчать.

²⁸ К спорам о словах следует отнести также почти все обвинения в атеизме. Нет такого просвещенного человека, который не признал бы наличия некоторой силы в природе. Следовательно, нет атеистов.

Не атеист тот, кто утверждает, что движение есть бог, потому что действительно движение непостижимо, потому что мы не имеем о нем ясных идей, потому что оно обнаруживается в своих действиях и, наконец, потому что посредством его совершается все во Вселенной.

Но не атеист и тот, кто утверждает, наоборот, что движение не есть бог, потому что движение не есть существо (*un Etre*), но некоторый способ бытия.

Не атеисты те, кто признает движение присущим материи, кто видит в нем невидимую и движущую силу, распространяющуюся во всех частях материи. Мы наблюдаем, как небесные светила непрерывно изменяют свое местоположение и постоянно вращаются вокруг своей оси; мы наблюдаем, как все тела непрерывно уничтожаются, воспроизводясь в различных формах; наконец, мы наблюдаем, как природа находится в вечном брожении и разложении. Кто решится отрицать, что движение, подобно протяжению, присуще телам и что движение есть причина всего существующего? Действительно, как сказал бы Юм, если причиной и следствием мы всегда называем два сосуществующих фактора и если повсюду, где имеются тела, имеется и движение, то движение следует считать всеобщей душой материи и божества, которая одна только проникает его субстанцию. Но атеисты ли философы, придерживающиеся этого последнего взгляда? Нет, они тоже признают наличие некоторой неизвестной силы во Вселенной. Атеисты ли даже те, кто не имеет никаких идей о боге? Нет, потому что в таком случае все люди были бы атеистами; потому что никто не имеет ясных идей о божестве; потому что в этой области всякая неясная идея равна нулю; наконец, потому что признать непостижимость бога — это, как доказывает Робинз, все равно что иными словами сказать, что мы не имеем о нем никакой идеи.

²⁹ Чтобы быть счастливым, человеку необходимы желания, которые бы занимали его, предмет которых могут доставить ему его труд или его таланты. Из желаний этого рода наиболее подходящим для избавления людей от скуки является желание славы. Возгорается ли оно одинаково сильно во всех странах? Есть страны, где стремление к славе подвергает человека слишком многим опасностям. Какие разумные мотивы могли бы побудить его добиваться славы в государстве, где столь грубо обходились с такими людьми, как Вольтер, Монтескье и т. д.? Франция, как говорят англичане, считается восхитительной страной, но лишь для богача, который не мыслит.

³⁰ Я далек от того, чтобы осуждать дух системы; наоборот, я восхищаюсь им в великих людях. Усилиям, потраченным на защиту или уничтожение систем, люди обязаны, несомненно, бесчисленным множеством открытий.

Поэтому пусть пытаются объяснить, если возможно, из одного принципа все физические явления природы, но пусть будут

всегда начеку по отношению к этим принципам. Пусть их считают просто одним из различных ключей, которые можно один за другим испробовать в надежде найти наконец тот ключ, который должен открыть святилище природы. В особенности пусть не смешивают между собою сказок и философских систем — эти последние должны опираться на множество фактов. Только такие системы можно преподавать в общественных школах, с тем, однако, чтобы не защищать их истинность через сто лет после того, как опыт доказал их ложность.

³¹ Почему, спросили у одного известного кардинала, во все времена были попы, религии и колдуны? Потому, ответил он, что во все времена были пчелы и трутни, трудолюбивые люди и лентяи, обманутые и обманщики.

³² Не разбирая вопроса о том, в интересах ли общества признать догмат о бессмертии души, я замечу, что во всяком случае этот догмат не всегда считался политически полезным. Он зародился в школах платоников, и царь египетский Птолемей Филадельф считал его столь опасным, что запретил под страхом смертной казни учить ему в своем государстве.

³³ Известно, что древние друиды были проникнуты тем же самым духом, что и папистские священники: еще до них друиды придумали отлучение; подобно им, они желали господствовать над народами и над королями; подобно инквизиторам, они требовали для себя права на жизнь и смерть граждан у всех народов, где они обосновывались.

³⁴ Я был однажды свидетелем представлений, которые духовенство одного немецкого двора делало своему государю. У меня было чудесное кольцо, заставляющее людей говорить и писать не то, что они хотят, чтобы другие слышали и читали, но то, что они в действительности думают. Не обладай мое кольцо этим свойством, я, разумеется, никогда не услышал бы и не прочел следующей речи.

Духовенство занималось, как ему казалось, уверением своего государя в том, что религия погибла в его государстве, что разврат и безбожие шествуют здесь с высоко поднятой головой, что праздничные дни здесь нарушаются работой, что свобода печати расшатывает основание трона и алтаря. Поэтому епископы требовали, чтобы государь сделал законы оружием против свободы мысли, защитил церковь и уничтожил врагов ее. Но вот какие слова я, как мне казалось, в действительности услышал в этом обращении:

«Государь, ваше духовенство богато и могущественно, но оно хотело бы быть еще богаче и могущественнее. Оно скорбит не о порче нравов и не о гибели религии, а о потере своего влияния. Оно желает обладать наибольшим влиянием, а ваши народы относятся к нему без уважения. Поэтому мы объявляем их нечестивыми; мы требуем, чтобы вы оживили их благочестие и дали для этой цели своему духовенству больше власти над ними. Быть может, теперь не самый благоприятный момент для того, чтобы выступить с обвинением против ваших народов и подстрекать вас против них: никогда ваши солдаты не были столь храбрыми, ваши ремесленники — более трудолюбивыми, ваши граждане — большими друзьями общественного блага и, следовательно, более добродетельными. Вам, несомненно, скажут, что народы, более непосредственно подчиненные духовенству, как, например,

современные жители Рима, не обнаруживают ни такого мужества, ни такой любви к отечеству, ни, следовательно, такой добродетели. К этому, может быть, прибавят, что Испания и Португалия, где духовенство столь всевластно, разорены и доведены до нищеты невежеством, ленью и суеверием; наконец, что среди всех народов всеобщим уважением и почетом пользуются те самые просвещенные народы, которых католическая церковь всегда называет нечестивыми.

О государь, не прислушивайтесь никогда к подобным заявлениям! Объединившись со своим духовенством, старайтесь распространять мрак в своем государстве и знайте, что образованный, богатый и лишенный суеверий народ является в глазах духовенства безнравственным народом. Действительно, разве зажиточные и трудолюбивые граждане смогут, например, относиться к добродетели воздержания со всем тем уважением, которого она заслуживает?

Могут сказать, что в этом отношении наше время похоже на прошлые века. Карл Великий, признанный святым за свою щедрость по отношению к духовенству, любил женщин, подобно Франциску I и Генриху VIII. Французский король Генрих III имел менее пристойные вкусы. Генрих IV, Елизавета, Людовик XIV, королева Анна ласкали своих любовниц или своих любовников той же рукой, которой они разили своих врагов. К этому могут прибавить, что сами монахи почти всегда тайком наслаждались запертыми удовольствиями; что, наконец, очень трудно, не изменяя физического сложения граждан, избавить их от предосудительной склонности, влекущей их к женщинам. Однако есть средство избавить их от нее. Это довести их до нищеты. Из здорового и хорошо питающегося тела нельзя выгнать демона плоти; этого можно добиться лишь при помощи молитвы и поста.

Поэтому пусть по примеру некоторых из своих соседей его величество позволит нам отнять у его подданных всякие излишки, взимать десятину с их земель, грабить их имущество и ограничивать их лишь самым необходимым. Если его величество, тронутое этими благочестивыми представлениями, согласится на нашу просьбу, сколько благословений посыплется на его голову! Не найдется похвалы, подобающей столь заслуживающему уважения поступку. Но в век, когда испорченность охватывает все умы, а нечестие ожесточает все сердца, можно ли надеяться, что его величество и министры его примут столь благотворный совет, столь легкое средство обеспечить воздержание его подданных?

Наши представления по поводу нарушения праздничных дней также могут показаться нелепыми. Человек, работающий в праздничные и воскресные дни, не напивается, не бегает за женщинами; он никому не вредит, он служит своей стране, он увеличивает благосостояние своей семьи и торговлю своего народа.

Положим, что из двух одинаково могущественных и многочисленных народов один празднует, как в Испании, 130 дней в году, а иногда сверх того и следующие за праздниками дни, а другой, наоборот, не празднует ни одного дня; последний будет работать на 80 или 90 дней больше, чем первый. Поэтому он сможет доставить продукты своих мануфактур по более низким ценам, его земли будут лучше обрабатываться, его урожай будет богаче. Торговый баланс будет склоняться в его пользу. Поэтому второй народ, будучи более богатым и могущественным, чем первый,

сможет когда-нибудь покорить его. Между национальным интересом и интересом духовенства нет ничего общего. Чего желают священники, думающие только о власти? Ограничить умственный горизонт государей, подавить природный ум. Народ, который управляется подобным государем, рано или поздно становится добычей более богатого, более просвещенного и менее суеверного соседа. Поэтому величие католического духовенства всегда губительно для величия государства. Если попы выступают против нарушения праздничных дней, то не надо обманываться этими заявлениями: их воодушевляет не любовь к богу, но любовь к власти. Опыт учит их, что, чем реже человек ходит в церковь, тем меньше он испытывает уважения к служителям культа и тем меньше их влияние на него. Но если жажда власти есть главная страсть священников, то их мало трогает то, что для ремесленника праздничный день — это день разгула, что по выходе из церкви он бежит за девками и по кабакам, что, наконец, время после вечерни проводится таким безобразным образом. Чем больше грехов, тем больше покаяний, тем больше приношений, тем больше духовенство приобретает богатств и власти. В чем заинтересована церковь? В увеличении числа пороков. Чего требует она от людей? Чтобы они были невежественными и грешниками. Вот, ваше величество, в чем нас упрекают нечестивцы. Что касается свободы печати, то, если ваше духовенство выступает так энергично против нее, если оно постоянно повторяет вам, что эта свобода подкапывается под основы веры и рисует религию в смешном виде, не верьте ему в этом.

Духовенство понимает вместе с солидным и остроумным автором «Английского исследователя», что истина не боится насмешки, что насмешки не имеют силы над нею и что они являются ее пробным камнем. Насмешка над каким-нибудь доказательством — это грязь, брошенная на мрамор: она запачкает его на минуту, она высохнет, пройдет дождь — и пятно исчезнет. Признать, что религия не может вынести насмешки, — это все равно что признать ее ложность. Разве католическая церковь не повторяет непереставно, что врата адавы никогда не одолеют ее? Да, но священники — это не религия. Насмешки могут ослабить их авторитет, могут обуздать их честолюбие. Вот почему они всегда будут выступать против свободы печати, будут требовать, чтобы ваше величество лишило своих подданных права писать и мыслить, чтобы оно отняло у них в этом отношении привилегии человека и зажало рот всякому, кто мог бы просветить его.

Если эти многочисленные требования покажутся вам нескромными и если, заботясь о счастье своих народов, вы хотите, ваше величество, царствовать над просвещенными гражданами, то знайте, что ваше поведение, которое должно снискать вам любовь ваших подданных и уважение за границей, будет вменено вам в преступление вашим духовенством. Бойтесь мщения могущественной корпорации и, чтобы предупредить его, вручите ей ваш меч. Тогда духовенство, уверенное в благочестии ваших народов, сможет приобрести над ними свою прежнюю власть, расширять ее с каждым днем, а когда эта власть утвердится, воспользоваться ею, чтобы подчинить ей и вас самих.

Мы желаем, чтобы ваше величество снизошло к этой молитве и удовлетворило ее, тем сильнее, что это освободит нас от смутного и не лишнего оснований беспокойства. Во владениях

вашего величества могут обосноваться квакеры; они могут поставить себе целью организовать бесплатно в городах, местечках, селах и деревнях все необходимое для них моральное и религиозное воспитание. Кроме того, может образоваться какая-нибудь финансовая компания, которая возьмет с торгов по наименьшей цене дело этого образования и поставит его лучше и дешевле. Кто знает, не захочет ли тогда магистратура завладеть нашими богатствами, погасить нашим имуществом часть национального долга, сделать благодаря этому из вашей нации, может быть, самую грозную нацию в Европе? Нам, государь, мало дела до того, чтоб ваши народы были счастливы и грозны, но мы очень заинтересованы в том, чтобы духовенство было богатым и могущественным».

Вот что, как мне показалось, содержали представления духовенства. Я не переставал восхищаться искусством и ловкостью, с какой духовенство во всех странах всегда требовало для себя от имени неба богатства и власти на земле; я поражался доверчивости, какую оно встречало всегда благодаря глупости народа и особенно сильных мира сего. Но еще больше изумляло меня (при воспоминании о веках невежества) зрелище того, как в этом отношении большинство государей всегда превышало ожидание духовенства.

³⁵ Некоторые утверждают, что в момент рождения бог запечатлевает в наших сердцах предписания естественного закона. Опыт доказывает обратное. Если бога следует считать творцом естественного закона, то лишь постольку, поскольку он является творцом физической чувствительности, которая является матерью человеческого разума. Эта физическая чувствительность заставила, как я уже сказал, людей после их объединения в общество заключить между собою соглашения и законы, совокупность которых составляет то, что называют естественным законом. Но был ли одинаков этот закон у различных народов? Нет, его большее или меньшее совершенство было всегда соразмерно прогрессу человеческого ума, соразмерно большему или меньшему знанию того, что полезно или вредно для общества, а это знание было у всех наций продуктом времени, опыта и разума.

Неужели богословы для того, чтобы заставить нас видеть в боге непосредственного творца естественного закона и, следовательно, всякой справедливости, должны допустить наличие таких страстей, как любовь или месть? Неужели они должны изображать его в виде существа, способного к пристрастию, наконец, как некоторую совокупность не связанных между собою качеств? Разве в подобном боге можно признать творца справедливости? Следовало ли так стремиться примирить между собою непримиримое и смешать заблуждение с истиной, не замечая невозможности подобного сочетания? Пора людям стать глухими к теологическим противоречиям и прислушиваться лишь к голосу разума. Выйдем, говорит апостол Павел, из нашего оцепенения: ночь невежества прошла, день знания наступил. Вооружимся светом знания, чтобы уничтожить призраки мрака; для этого вернем людям их естественную свободу и возможность свободно пользоваться своим разумом.

³⁶ Как возможно, чтобы почти у всех народов идея святости была связана с соблюдением религиозных обрядов, омовений и т. д.? Неужели до сих пор еще неизвестно, что единственные по-

стоянно добродетельные и гуманные граждане — это люди счастливые благодаря своему характеру. Действительно, кто из верующих наиболее достойные уважения люди? Те, кто, будучи полон доверия к богу, забывает о том, что есть ад. Наоборот, кто из тех же верующих наиболее отвратительные и наиболее жестокие люди? Те, кто, будучи робким, беспокойным и несчастным, видит всегда разверсты под его ногами ад. Почему набожные женщины являются вообще мучением для своей семьи, почему они вечно бранят своих слуг и так ненавидимы ими? Потому, что они вечно одержимы мыслью о дьяволе, о том, что он всегда готов унести их, а страх и несчастье делают людей жестокими. Если молодежь вообще более добродетельна и гуманна, чем старики, то это потому, что у нее больше желаний и здоровья, потому, что она счастливее. Природа поступила мудро, говорит один англичанин, ограничив жизнь человека 80 или 100 годами. Если бы небо продлило старость человека, то он стал бы слишком злым.

³⁷ В Татарии первосвященник, называемый там далай-ламой, считается бессмертным; в Италии тот же самый первосвященник, называемый здесь папой, считается непогрешимым. В Монголии наместник великого Ламы носит звание Кутухты, т. е. наместника бога живого; в Европе папа носит то же звание. В Багдаде, в Татарии, в Японии первосвященники, носящие названия калифов, лам, дайро, желая унижить и подчинить себе государей, заставляли их целовать себе ноги; взбравшись на мула, эти первосвященники требовали, чтобы императоры держали его под уздцы и провожали их таким образом по улицам. А разве папа не требовал тех же самых унижений от императоров и монархов Запада? Первосвященники во всех странах обнаруживают одинаковые притязания, а государи — одинаковую покорность.

На Востоке человеческая кровь проливалась в борьбе за калифа, на Западе она проливалась равным образом в борьбе за папство. Шесть пап убили своих предшественников и заняли их место. Папы, говорит Барониус ³⁸, были тогда не людьми, а чудовищами.

Разве название правоверной не давалось повсюду религии более сильного, а название ереси — религии более слабого? Повсюду люди сжигали друг друга ради разных теологических бредней и обнаруживали в этой области одинаковое упрямство и мужество.

Но народы обнаружили свое сходство не только в религиозных вопросах: они обнаружили не меньше сходства, когда дело шло о какой-либо перемене в их нравах и обычаях. Маньчжуры, победив китайцев, захотели отрезать у них волосы; последние сбросили с себя иго рабства, напали на этих грозных маньчжуров, разбили их и восторжествовали над своими победителями. Царь захотел, чтобы русские ходили бритыми, — они подняли бунт. Английский король пожелал, чтобы шотландские горцы стали носить штаны, — они восстали против этого. Таким образом, от востока до запада народы повсюду одинаковы, и повсюду одинаковые причины вызывают к жизни и разрушают государства.

Какой государь был на китайском троне в эпоху завоевания Китая? Какой-то глупец, какой-то идола, которому не осмеливались объяснить дурное состояние его государственных дел, которому курлины фимиама его любимцы и которого окружали лишь глупые, невежественные и трусливые интриганы. Кто распоря-

жался судьбам Восточной и Западной империй, когда Рим и Константинополь были взяты и разграблены Аларихом и Магометом II? Государи того же самого калибра. Таково было, может быть, и состояние Франции в старости Людовика XIV, когда Франция терпела поражения на всех фронтах.

Доказательством того, что люди повсюду одинаковы, является то унижение и невежество, в какое впадают одни за другим все народы, когда правительства видят свой интерес в том, чтобы их довести до такого скотского состояния. Допустим, что какой-нибудь министр неспособен; он боится, что раскрывшие глаза народы увидят это, — он заставляет их держать глаза закрытыми. Невежество народа является тогда результатом не физической, а духовной причины.

Не вызывает ли одинаковая причина одинаковые помыслы у тех, кого случай ставит в одинаковое положение? Какова в Испании, Германии, даже в Англии первая забота человека, занимающего видное положение? Обогащаться. Общественные дела следуют лишь после его собственных дел.

Чем объяснить, что почти все чиновники, занимающие низшие судейские должности, обнаруживают одинаковую спешность и одинаковую неспособность к делам управления? Недостатками их физической организации? Нет, недостатками их воспитания. Всякий человек, много занимающийся тонкостями сутяжничества и привыкший судить лишь на основании авторитета, с трудом может добраться до первых принципов закона; расширяя свою память, он делает более узкой самостоятельность своего суждения.

Органы духа, подобно органам тела, сильны лишь в том случае, если их упражняют. Доказательством этого служат ноги носильщиков портшезов и руки мясников. Если мускулы разума обыкновенно довольно слабы у служителей Фемиды, то это потому, что они мало ими пользуются.

Бесчисленные факты доказывают, что люди повсюду по существу одинаковы, что различие климата не оказывает заметного влияния на их умы и очень малое влияние на их вкусы. Иллиносец, подобно исландцу, сидит около своей бочки с водкой до тех пор, пока он ее не выпьет. Почти во всех странах, как и во Франции, женщины имеют одинаковое желание нравиться, одинаковый вкус к украшениям, обнаруживают одинаковую заботу о своей красоте, одинаковую нелюбовь к жизни в деревне и, наконец, одинаковую любовь к столице, где, окруженные всегда большим или меньшим числом поклонников, они чувствуют себя действительно более сильными.

Окинем взором весь мир. Мы встретим во всех сердцах одинаковое честолюбие, во всех умах одинаковую доверчивость, у всех попов одинаковые плутни, у всех женщин одинаковое кокетство, у всех граждан одинаковое желание обогатиться. Как не признать, что все люди, будучи похожи друг на друга, отличаются лишь своим воспитанием, что во всех странах их органы приблизительно одинаковы, что они почти одинаково пользуются ими. Наконец, поэтому руки японцев и китайцев столь же искусны в изготовлении тканей, как и руки европейских женщин. Ничто, следовательно, не доказывает, как это постоянно повторяют, будто неравенство умов следует приписать разнице в географической широте.

³⁸ Хитрости попов повсюду одинаковы. Повсюду попы стремятся завладеть деньгами мирян. С этой целью римская церковь продает разрешения вступать в брак с родственниками. Она берет за столько-то обеден, т. е. за столько-то монет в 12 су, освобождать ежегодно столько-то душ из чистилища и, следовательно, прощать им столько-то грехов. В Тинагогской пагоде, как и в Риме, попы за те же суммы продают приблизительно те же надежды.

«В Тинагого, — говорит автор «Всеобщей истории путешествий» (т. IX, стр. 462), — на третий день после жертвоприношения, которое приносят в декабрьское новолуние, размещают на шести длинных красных улицах множество весов, подвешенных на бронзовых стержнях. Там каждый верующий, желая получить отпущение своих грехов, становится на одну из чашек этих весов и в зависимости от характера его прегрешений кладет в виде противовеса на другую чашку различного рода продукты или деньги. Если он виновен в чревоугодии, в нарушении поста, он кладет на противоположную чашку весов мед, сахар, яйца и масло. Если он предавался чувственным удовольствиям, он кладет хлопок, перья, сукно, духи и вино. Если он был жесток с бедняками, он кладет монеты. Если он был ленив, он кладет дрова, рис, уголь, скот и фрукты. Наконец, если он был горд, он кладет сушеную рыбу, веники, коровий помет. Все то, что служит грешникам противовесом, принадлежит жрецам. Все эти дары образуют огромные груды. Даже бедняки, которым нечего давать, не освобождены от этих подаяний. Они приносят в дар свои волосы. Больше сотни жрецов сидят с ножницами в руках и отрезают у них волосы. Эти волосы тоже образуют целые груды. Более тысячи жрецов садятся в ряд и делают из них шнурки, тесемки, кольца, браслеты и т. д., которые верующие покупают и уносят с собою как драгоценный знак милости неба. Чтобы составить себе представление о том, в какую сумму можно оценить подаяния для одной только Тинагогской пагоды, достаточно указания Минто, автора этого сообщения, что, когда посланник спросил жрецов, во сколько они оценивают эти подаяния, они не колеблясь ответили ему, что от одних только волос бедняков они получают ежегодно больше ста тысяч пардинов, равняющихся девяноста тысячам португальских дукатов».

³⁹ Некоторые философы определяли человека как *смеющуюся обезьяну*, другие — как *разумное животное*, наконец, третьи — как *легковерное животное*. У этого животного, прибавляют они, две ноги,гибающиеся пальцы, ловкие руки; у него много потребностей, и поэтому оно очень трудолюбиво. Впрочем, будучи столь же тщеславно и спесиво, как легковерно, оно думает, что все миры созданы для земли, а земля создана для него. Не будет ли наиболее правильным это определение или описание человека?

⁴⁰ Всякий спрашивает, что такое истина, или очевидность? Корень слов указывает на ту идею, которую нужно связывать с ними. Слово *очевидность* (evidence) — производное от *videre*, *video* — я вижу.

Что такое очевидное для меня положение? Это факт опыта, в котором я могу убедиться через свидетельство моих чувств, никогда не обманывающих, если я буду проверять их показания с надлежащей осторожностью и вниманием,

Что такое очевидное для всех людей положение? Тоже факт, в котором все могут убедиться посредством свидетельства чувств и существование которого они могут к тому же проверить в любое время. Таковы, например, следующие два факта: *два и два — четыре, целое больше своей части.*

Например, я стану утверждать, что в северных морях водится чудовищный полип, называемый кракеном, и что этот полип величиной с маленький остров. Факт этот, очевидный для меня, если я видел этого полипа и если я употребил для изучения его все внимание, необходимое для того, чтобы убедиться в его реальности, лишен всякой вероятности для того, кто не видел его. Более разумно со стороны всякого сомневаться в моей правдивости, чем верить в существование столь необычайного животного.

Но если на основании показаний путешественников я буду описывать подлинную форму пекинских зданий, то описание это, очевидное для обитателей Пекина, лишь более или менее вероятно для всех прочих людей. Значит, истинное не всегда очевидно, а вероятное часто истинно. Но чем отличается очевидное от вероятного? Я уже объяснил это: «Очевидность — это факт, который доступен нашим чувствам и существование которого все люди могут проверить в любое время. Что касается вероятности, то она основывается на догадках, на свидетельствах других людей и на сотнях доказательств подобного рода. Очевидность однозначна. Нет различных степеней очевидного; наоборот, есть различные степени вероятности в зависимости от различия: 1) свидетельствающих о ней людей, 2) засвидетельствованного факта». Пять человек рассказали мне, что они видели в польских лесах медведя. Факт этот, которому ничто не противоречит, очень вероятен для меня. Но если бы не только эти пять человек, а еще пятьсот других стали уверять меня, что в тех же лесах они встречали привидения, людоедов, вампиров, то их соединенное свидетельство не представляло бы для меня ничего вероятного, потому что в этом случае все же легче собрать пятьсот лгунов, чем увидеть такие чудеса.

⁴¹ Пусть нам покажут все факты, из сравнения которых должна получиться некоторая новая истина; пусть связывают ясные идеи со словами, которыми пользуются для ее доказательства. Ничто тогда не ускользнет от наших взоров, и истина эта, сведенная вскоре к некоторым простым фактам, будет понята всяким внимательным человеком, как только ее ему представят. Чем же объяснить слабые успехи какого-нибудь юноши в науках? Двумя причинами:

во-первых, недостатками метода преподавания у наставников; во-вторых, недостатком рвения и внимания у ученика.

⁴² Это постоянное превращение гениальных открытий в научные положения заставляло меня часто подозревать, что в природе все подготавливается и приходит само собою. Возможно, что совершенство искусства и наук является делом не столько гения, сколько времени и необходимости. Единообразный прогресс наук во всех странах подтверждает эту точку зрения. Действительно, если у всех народов, как замечает Юм, *начинают хорошо писать прозой лишь после того, как хорошо пишут стихами*, то в столь постоянном продвижении человеческого разума мне представлялось бы возможным видеть результат некоторой общей и скрытой причины. Во всяком случае оно предполагало бы одинаковые

умственные способности всех людей во все времена и во всех странах.

⁴³ Так как люди беседуют и спорят между собою, то, значит, они должны быть убеждены в том, что они одарены способностью замечать одни и те же истины и, следовательно, одарены одинаковыми умственными способностями. Как бессмысленны были бы без этого убеждения споры политиков и философов! Какой смысл имело бы говорить друг с другом, если бы нельзя было понимать друг друга? Но если последнее возможно, то, очевидно, неясность какого-нибудь положения заключается не в вещах, а только в словах.

Поэтому, говорит в связи с этим один из знаменитейших английских писателей, если люди придут к соглашению о значении слов, то они вскоре начнут замечать одни и те же истины и станут придерживаться одних и тех же взглядов. См. *Hume, Sect. 8 Of Liberty and Necessity* ^{6*}.

Факт этот, доказанный опытом, дает решение проблемы, поставленной пять или шесть лет назад Берлинской академией, а именно: доступны ли метафизические истины вообще, *могут ли первые принципы естественной теологии и нравственности быть столь же очевидными, как и геометрические истины?* Связывают ли ясную идею со словом *добродетель*? Считают ли ее вместе со мной *привычкой к поступкам, полезным для отечества?* Что нужно тогда для строго демонстративного определения того, какие поступки добродетельны или порочны? Надо назвать те поступки, которые полезны или вредны для общества. Но вообще нет ничего легче этого. Таким образом, если общественное благо является целью нравственности, то предписания ее, основывающиеся на принципах, столь же достоверных, как принципы геометрии, подобно положениям этой последней науки, доступны самым строгим доказательствам. То же самое относится к метафизике. Это — подлинная наука, если в отличие от схоластики ее ограничивают теми пределами, которые указывают ей определение знаменитого Бэкона.

РАЗДЕЛ III

Об общих причинах неравенства умов

ГЛАВА I

КАКОВЫ ЭТИ ПРИЧИНЫ?

Они сводятся к двум.

Первая — это различное стечение событий, обстоятельств и положений, в которых находятся разные люди. (Стечение, которое я называю случайностью.)

Вторая — это их более или менее сильное желание учиться.

Случай не вполне одинаково благоприятствует всем людям, между тем случайность играет более значительную роль, чем это думают, в открытиях, честь которых приписывают гению. Чтобы понять все значение случайности, надо обратиться к опыту. Он покажет нам, что в искусствах мы обязаны случайности почти всеми нашими открытиями.

В химии алхимики^а обязаны большинством своих секретов работе над философским камнем. Эти секреты не были целью их исследований, и поэтому они не должны считаться продуктом усилия гения. Достаточно применить к различным наукам то, что я говорю о химии, чтобы убедиться, что в каждой науке мы обязаны всеми открытиями случаю. Наша память подобна тигелю алхимиков. Из смешения известных веществ, брошенных без всякого плана в тигель, получаются иногда самые неожиданные и удивительные результаты; точно так же из смешения некоторых фактов, расположенных без всякого плана в нашей памяти, в результате получаются наши самые новые и возвышенные идеи. Все науки одинаково подчинены власти случая. Случай оказывает одинаковое влияние на все науки, но не во всех них это влияние обнаруживается одинаково убедительным образом.

^а Некоторые алхимики ищут философский камень в книге Бытия. Одни только церковники нашли его в ней.

ВСЯКАЯ НОВАЯ ИДЕЯ ЕСТЬ ДАР СЛУЧАЯ

Какая-нибудь совершенно неизвестная истина не может быть предметом моего размышления; когда я только неявно замечаю ее, то тем самым она уже открыта. Первая догадка в этой области является чертой гения. Кому я обязан этой первой догадкой? Своему уму? Нет, он не мог заниматься поисками истины, существования которой он даже не подозревал. Следовательно, эта догадка есть плод какого-нибудь услышанного слова, какой-нибудь прочитанной книги, какой-нибудь беседы^а, какого-нибудь пропсшествия, в конечном счете какого-нибудь пустяка, который я называю случайностью. Но если мы обязаны случаю этими первыми догадками и, следовательно, этими открытиями, то можно ли утверждать, что мы не обязаны также случаю способом расширить и усовершенствовать эти открытия?

Сирена Комуса^{1*} — наиболее подходящий пример для иллюстрации моих идей. Если эту сирену так долго показывали на ярмарке и никто не мог угадать ее механизма, то потому, что случай не представлял ничьим глазам предметов, из сравнений которых должно было получиться это открытие. Комусу случай более благоприятствовал. Но почему во Франции его не считают великим человеком? Потому, что его автомат скорее занятен, чем действительно полезен. Если бы от него была большая выгода для значительной части общества, то нет никакого сомнения, что признательность общества причислила бы Комуса к самым знаменитым людям. Своим открытием он был бы обязан случайности, а именем гениального человека — важности своего открытия.

Что следует из этого примера?

1. Что всякая новая идея — дар случая.
2. Что если имеются надежные методы для подготовки ученых и даже умных людей, то нет таких методов для формирования гениальных людей и изобретателей. Но,

^а Самыми удачными своими идеями мы часто обязаны пылкости беседы или спора. Если эти идеи, раз ускользнув из памяти, не представляются больше ей и оказываются безвозвратно потерянными, то это происходит потому, что почти невозможно очутиться дважды в точности при том стечении обстоятельств, которое их породило. Таким образом, подобные идеи следует считать даром случая.

скажут, независимо от того, считать ли гения даром природы или даром случая, разве он не является при обоих этих предположениях одинаково результатом не зависящей от нас причины? Почему же в таком случае придавать такое значение большему или меньшему совершенству воспитания?

Причина этого проста. Если гений зависит от большей или меньшей тонкости чувств, то, раз образование не может менять физическую организацию человека, не может возвращать слух глухим, а дар речи немым, оно абсолютно бесполезно. Если же, наоборот, гений есть отчасти дар случая, то люди, узнав путем повторных наблюдений средства, применяемые случаем для формирования больших талантов, смогут, пользуясь приблизительно теми же самыми средствами, прийти приблизительно к тем же самым результатам и умножить до бесконечности число этих больших талантов.

Предположим, что для создания гениального человека случай должен сочетаться в нем с любовью к славе. Предположим, далее, что какой-нибудь человек родился в стране, где правительство не только не почитает, но, наоборот, унижает таланты. В таком государстве гениальный человек будет, очевидно, целиком делом случая.

Действительно, либо этот человек будет проводить жизнь в свете и будет обязан своей любовью к славе тому уважению, которое еще сохранится к талантам в тех особых кругах общества, в которых он вращается^а. Либо же он будет жить в одиночестве и будет обязан тогда этой любовью к славе своим занятиям историей, воспоминаниям о почестях, воздававшихся добродетели и таланту в старину, наконец, не будет знать о пренебрежительном отношении к ним своих сограждан.

Предположим, наоборот, что этот человек родился в такое время и в такой стране, где правительство чтит заслуги. При этом предположении его любовь к славе и его гений будут, очевидно, не делом случая, а делом самого государственного строя и, следовательно, полученного им воспитания, на которое всегда имеет величайшее влияние форма правления.

Если станут считать ум и гений следствием не столько физической организации, сколько случайности¹, то,

^а У всех народов, даже у самых тупых, если только они цивилизованные, существуют такие общественные круги.

бесспорно, можно будет, как я уже сказал, наблюдая средства, которые случай использует для формирования великих людей, составить на основании этих наблюдений план воспитания. Его провидение, умножив число великих людей у данного народа, ослабит здесь до бесконечности значение случайности и уменьшит огромную роль, которую она играет в настоящее время в нашем воспитании.

Однако поскольку первой догадкой и, следовательно, открытием всякой новой идеи мы всегда обязаны непредвиденным причинам и событиям, то скажут, что случайность всегда сохранит известное влияние на умы. Я согласен с этим, но это влияние тоже имеет свои границы.

ГЛАВА III

О ГРАНИЦАХ ВЛАСТИ СЛУЧАЙНОСТИ

Если бы почти все предметы, как это показывает внимательное их рассмотрение, не заключали в себе зародыша какого-нибудь открытия; если бы случай не распределял почти равным образом своих даров и не предлагал вниманию всех людей предметов, при сравнении которых могли получаться великие новые идеи, то ум был бы почти целиком даром случайности.

Тогда своими знаниями люди обязаны были бы своему воспитанию, а своим умом — случайности; всякий имел бы больше или меньше ума в зависимости от того, насколько благоприятствовал ему случай. Но чему учит нас по этому вопросу опыт? Опыт говорит, что неравенство умов у нас не столько результат неравномерного распределения даров случая, сколько следствие безразличия, с которым их принимают.

Таким образом, неравенство умов должно главным образом рассматриваться как следствие различной степени внимания, с которым мы наблюдаем сходства и различия, соответствия и несоответствия разных предметов. Но это неодинаковое внимание есть необходимый продукт неодинаковой силы наших страстей.

Нет человека, одушевленного пылким желанием славы, который когда-нибудь более или менее не отличился бы в искусстве или науке, являющихся предметом его занятий. Правда, из двух людей, одинаково желающих прославиться, превосходство одного из них определит случай, представляющий его вниманию предметы, при срав-

нении которых получаются более плодотворные идеи и более важные открытия. Следовательно, случайность всегда сохранит влияние на умы благодаря влиянию, которое она оказывает на выбор предстоящих перед нами предметов. Если мы сумеем ограничить ее власть этими узкими пределами, то мы сделаем все, что можно сделать. Не следует ожидать от науки о воспитании — до какого бы совершенства она ни была доведена, — чтобы она сумела когда-нибудь воспитать гениальных людей из всех жителей государства. Воспитание может только одно — умножить их число и сделать из большинства граждан здравомыслящих и умных людей. Вот до каких пределов простирается его власть. Но и этого достаточно, чтобы пробудить внимание граждан и побудить их разрабатывать науку, совершенство которой доставило бы вообще столько счастья человечеству и, в частности, столько выгод нации, которая заинтересовалась бы этим.

Народ, у которого общественное воспитание давало бы дарование определенному числу граждан, а здравый смысл почти всем, был бы, бесспорно, первым народом в мире. Единственное надежное средство добиться такого результата — это с ранних лет приучать детей к работе внимания.

Семена открытий, которые случай представляет всем, бесплодны, если их не оплодотворит внимание. Так как внимательность встречается редко, то редки и гениальные люди. Но что сделать, чтобы заставить людей быть привлекательными? Зажечь их страстью соревнования, славы и любви к истине. Неравная сила этих страстей — вот что следует считать причиной столь большого неравенства их умов.

ГЛАВА IV О ВТОРОЙ ПРИЧИНЕ НЕРАВЕНСТВА УМОВ

Почти все люди лишены страстей, не питают любви к славе². Большинство правительств не только не пробуждает в них желания славы, а, наоборот, старается мелочной и ложной политикой³ погасить ее. Граждане, сделавшись тогда равнодушными к славе, придают мало значения общественному уважению и прилагают мало усилий, чтобы заслужить его.

В большинстве людей я вижу лишь жадных торговцев. Если они снаряжают корабль, то не в надежде дать

свое имя какой-нибудь новой стране. Доступные одной лишь надежде на прибыль, они боятся, чтобы их судно не покинуло проторенных путей. Но эти пути не ведут к открытиям. Если случай или буря занесут их корабль на неизвестные острова, то кормчий, вынужденный сделать здесь остановку, не старается ознакомиться ни с местностью, ни с жителями ее. Он набирает здесь воду, ставит снова паруса и опять пускается в путь для обмена своих товаров. Вернувшись наконец в родную гавань, ставит корабль на прикол и заполняет склады хозяина его богатствами и непроданными товарами, не принеся ему никаких открытий.

Колумбов мало; и по морям этого мира, жаждущего лишь почестей, теплых местечек, влияния и богатств, немногие люди отправляются в путь за открытием новых истин. Что же удивительного, если эти открытия редки?

Волею неба истины посеяны там и сям в темном, бездорожном лесу. У опушки этого леса тянется дорога, посещаемая множеством путешественников. Среди них имеются любопытные, которым сама густота и сумрак леса внушают желание проникнуть в него. Они вступают в него, но, запутавшись в колючих кустарниках, исцарапанные шипами, обескураженные с первых же шагов, они отказываются от этой затеи и возвращаются обратно на дорогу у опушки. Другие, немногочисленные путники, одушевленные не каким-то неопределенным любопытством, а сильным и постоянным желанием славы, углубляются в лес, пересекают его трясины и не перестают бродить по нему, пока случай, наконец, не откроет им какой-нибудь более или менее важной истины. Сделав это открытие, они возвращаются обратно и проводят дорожку от этой истины до большой дороги. Тогда всякий путешественник замечает ее на своем пути, ибо у всех есть глаза, чтобы ее заметить, а для открытия ее им не доставало только большего желания ее искать и терпения, необходимого для того, чтобы ее найти.

Человек, который мечтает прославиться и хочет заняться поисками какой-нибудь важной истины, должен вооружиться терпением охотника. О философе можно сказать то же самое, что о дикаре-охотнике: малейшее движение последнего спугивает дичь, а малейшая рассеянность первого удаляет от него истину. Но нет ничего

более тягостного, чем держать продолжительное время свое тело и свой дух в одном и том же состоянии неподвижности или внимания, — это возможно лишь под влиянием большой страсти. Дикаря к этому побуждает потребность в пище, философа — потребность в славе.

Но что такое потребность в славе? Просто потребность в удовольствии. Поэтому во всякой стране, где слава перестает представлять собой удовольствие, граждане равнодушны к славе; такая страна не рождает гениальных людей и не дает открытий. Однако нет такой страны, где время от времени не появляются знаменитые люди; ибо нет такой страны, где не рождался бы время от времени такой гражданин, который, как я сказал, под воздействием похвал, расточаемых в истории талантам, не пожелал бы заслужить подобные похвалы и с этой целью не стал бы искать какой-нибудь новой истины. Положим, он будет упорно искать ее. Он добьется ее открытия. Возгордившись своей победой, он торжественно принесет ее в дар своему отечеству. Каково же будет его удивление, когда равнодушные, с каким ее примут, покажут ему наконец, какое ничтожное значение этому придано.

Убедившись, что все труды и тяготы, которых требуют поиски истины, приносят ему на родине мало славы и бесчисленные преследования, он потеряет мужество, падет духом, не станет пытаться делать новые открытия, предастся лени и остановится на полпути своей карьеры.

Наше внимание непоседливо: чтобы удержать его в одном направлении, нужны сильные страсти. Я готов признать, что можно для забавы подсчитать страницу с цифрами; но целый том цифр подсчитывают лишь тогда, когда к этому побуждает такой сильный интерес, как желание славы или богатства. Страсти приводят в действие одинаковые у всех умственные способности. Без них эти способности были бы лишь мертвой потенцией.

Итак, еще раз, что такое ум? Знание истинных отношений, которые определенное число предметов имеют между собою и нами. Чему мы обязаны этим знанием? Размышлению, сравнению предметов. Но что предполагает это сравнение? Более или менее сильный интерес к тому, чтобы сравнивать их. Таким образом, ум является в нас продуктом этого интереса, а не большей или меньшей тонкости чувств.

Но, скажут, силу наших желаний определяет сила нашего физического сложения; человек обязан своим гением своим страстям, а своими страстями — темпераменту. И при этом допущении гений является в нас результатом организации и, следовательно, даром природы.

К рассмотрению именно данного пункта сводится теперь этот важный вопрос, от исследования этого факта зависит точное его решение.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Я имел возможность узнать глупость и злобность теологов. С их стороны приходится опасаться всего. Поэтому я вынужден повторять время от времени одно и то же изложение своих убеждений — повторять, что я не считаю случайность каким-то существом, что я не делаю из нее бога и что под этим словом я понимаю лишь «совокупность следствий, причин которых мы не усматриваем». В этом смысле говорят: *случай ведет игральную кость*. Между тем все знают, что тот способ, каким встряхивают стаканчик с игральными костями и подбрасывают эти кости, — сам по себе достаточное основание для того, чтобы выпала тройка, а не шестерка.

² Люди, не понимающие дела, могут сколько угодно произносить речи против страстей. Но опыт показывает нам, что без страстей нет ни великих артистов, ни великих полководцев, ни великих министров, ни великих поэтов, ни великих философов. Философия, как это доказывает этимология самого слова, состоит в любви к мудрости и в поисках истины. Но всякая любовь есть страсть. Следовательно, именно страсти всегда поддерживали в трудах таких людей, как Ньютон, Локк, Бейль и другие; их открытия были плодом их размышлений. Эти открытия опирались на страстное, постоянное, настойчивое искание истины, а эти поиски и есть страсть.

Не философ тот, кто, относясь равнодушно ко лжи и к истине, предается апатии и якобы философскому покою, который удерживает душу в оцепенении и задерживает ее продвижение к истине. Пусть это состояние приятно, поскольку при нем находишься в безопасности от зависти и ярости изуверов; следовательно, *ленивец может назвать себя благоразумным, но пусть он не называет себя философом*. Какое общество опаснее всего для молодежи? Общество тех благоразумных и осторожных людей, которые тем вернее могут задушить в юноше соревнование всякого рода, что они указывают ему в невежестве убежище от преследования, т. е. видят счастье в бездействии.

Среди апостолов праздности встречаются иногда очень умные люди. Это те, лень которых имеет своим источником огорчения и неприятности, испытанные ими при поисках истины. Большинство других — это посредственные люди, желающие, чтобы все люди были посредственностями. Зависть заставляет их проповедовать лень.

Как избавиться от соблазна их речей? Усомниться в их искренности; вспомнить, что люди говорят всегда под влиянием

какого-нибудь благородного или низкого интереса, что всякое умственное превосходство неприятно тому, кто пренебрегает славой и предается якобы философской лени; помнить, что подобный человек всегда рад задушить в сердцах других зародыши соревнования, которые породили бы слишком много людей, стоящих выше его.

³ Стремление большинства деспотов — царствовать над рабами, превратить всякого человека в автомат. Эти деспоты, соблазняемые минутным интересом, забывают, что невежество подданных предвещает гибель государей, что оно пагубно для их власти и что в конечном счете легче управлять просвещенным народом, чем невежественным.

РАЗДЕЛ IV

*Люди с обычной, нормальной организацией все доступны одной и той же степени страсти; неравная сила страстей у них — всегда результат различия положений, в которые ставит их случай. Своеобразие характера каждого человека есть (как замечает Паскаль) продукт его пер-
вых привычек*

ГЛАВА I

О МАЛОМ ВЛИЯНИИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕМПЕРАМЕНТА НА СТРАСТИ И ХАРАКТЕРЫ ЛЮДЕЙ

Когда ребенок покидает утробу матери и перед ним раскрываются врата жизни, он вступает в нее без всяких идей, без страстей. Единственная испытываемая им потребность — это голод. Таким образом, гордость, скупость, зависть, честолюбие, желание пользоваться уважением и славой дают себя знать не с колыбели. Эти искусственные страсти^а, зародившиеся в городах и местечках, предполагают уже существование у людей соглашений и законов и, следовательно, их объединение в общество. Значит, эти страсти были бы известны тому, кто, занесенный в момент своего рождения бурей и волнами на пустынный берег, был бы там вскормлен, подобно Ромулу, волчицей. Их не знал бы и тот, кто был бы похищен ночью из своей колыбели какой-нибудь феей или духом и помещен в один из очарованных и уединенных замков, где блуждало некогда столько принцесс и рыцарей. Но если люди рождаются без страстей, то, значит, они рождаются и без характера. Характер, порождаемый в нас любовью к славе, есть нечто приобретенное нами и, следовательно,

^а В Европе можно причислить к неестественным страстям и ревность. Люди в Европе ревнивы, ибо они здесь тщеславны. Тщеславие — составная часть почти всякой большой любви в Европе. Иное дело в Азии. Здесь ревность может быть просто результатом любви к физическим удовольствиям. По опыту знают, что, чем более сдерживаются желания султанш, тем они сильнее и тем больше они дают и получают наслаждения. Ревность, будучи здесь дочерью сладострастия султанов и визирей, может побудить их строить гаремы и запирает в них женщин.

результат образования. Но, спросят, разве природа не наделяет нас с самого раннего детства тем особенным видом организации, которая способна сформировать в нас подобный характер? На чем основывается это предположение? Разве наблюдали, чтобы определенное расположение нервов, жидкостей или мускулов постоянно сообщало один и тот же способ мышления; чтобы природа отделяла некоторые волокна из мозга одних с тем, чтобы прибавить их к мозгу других и чтобы вследствие этого она внушала последним сильное желание славы? Если предположить, что характер является результатом организации, то что же может сделать воспитание? Разве нравственное может изменить физическое? Разве самое истинное правило нравственности может вернуть слух глухим? Разве самые мудрые уроки наставника могут выровнять спину горбуна, удлинить ногу хромого, увеличить рост карлика? То, что сделала природа, только она одна может и уничтожить. Единственное чувство, которое она с детства запечатлела в наших сердцах, — это любовь к себе самим. Эта любовь, основывающаяся на физической чувствительности, обща всем людям. Поэтому, как бы различно ни было их воспитание, это чувство всегда одинаково у них. Поэтому во все времена и во всех странах люди всегда любили себя, любят себя и будут всегда отдавать себе предпочтение перед другими людьми. Если люди различаются другими чувствами, то это потому, что все другие чувства являются в человеке результатом духовных причин. Но раз изменяются эти причины, то изменяться должны и их следствия. Желая подтвердить эту истину опытом в большом масштабе, я обращаюсь сначала к истории народов.

ГЛАВА II

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ. ПРОИСШЕДШИХ В ХАРАКТЕРЕ НАРОДОВ, И О ВЫЗВАВШИХ ИХ ПРИЧИНАХ

Всякий народ имеет свой особенный способ видеть и чувствовать, который образует его характер, и у всех народов характер этот изменяется либо внезапно, либо постепенно, в зависимости от внезапных или незаметных изменений, происшедших в форме их правления и, следовательно, в общественном воспитании^а.

^а Форма правления, при которой мы живем, составляет всегда часть нашего воспитания.

Характер французов с давних времен считается веселым, но он не всегда был таким. Император Юлиан говорил о парижанах: *я люблю их, ибо их характер, как и мой, суровый и серьезный*¹.

Следовательно, характер народов изменяется. Но в какой момент бывает особенно заметно это изменение? В моменты переворота, когда народы переходят сразу от состояния свободы к состоянию рабства. Тогда народ, бывший гордым и смелым, становится слабым и малодушным; он не осмеливается поднять свои взоры на чело века, занимающего видное положение; им управляют, и он мало интересуется тем, кто им управляет. Народ этот, упавший духом, говорит себе, как осел в басне: *кто бы ни был мой хозяин — моя ноша останется столь же тяжелой*. Как свободный гражданин страстно желает славы своему народу, так раб равнодушен к общественному благу. Лишенный активности и энергии, он не имеет добродетели, ума, талантов; способности его души притупились; он пренебрегает искусствами, торговлей, земледелием и т. д. Рабские руки, говорят англичане, не способны обрабатывать и оплодотворять землю. Симонид^{1*}, прибыв в одно деспотическое государство, не застал там и следа подлинных людей. Свободный народ мужественен, прямодушен, человечен и лоялен². Для народа в рабстве характерны трусость, вероломство, доносы, варварство; свою жестокость он доводит до крайности. Слишком строгий офицер должен во время сражения всячески бояться солдата, с которым он плохо обращался: день битвы есть для последнего день отомщения за обиды. Таким же образом день восстания является для угнетенных рабов долгожданным днем мести. Они тем свирепее, чем долее страх вызывал накопление их ярости³.

Какую поразительную картину внезапного изменения характера народа представляет нам история Рима! Какой народ до возвышения цезарей обнаруживал больше силы, доблести, любви к свободе, отвращения к рабству и какой народ (после того как власть цезарей укрепилась) обнаружил больше слабости и подлости?³ Его низость претитла даже Тиберию.

Римский народ становится равнодушным к свободе. Траян предлагает ее ему — он отказывается от нее. Он

¹ Доказательством этого является показание набоба Джафира Алихана, о чем было сообщено в Лейденской газете от 23 июня 1761 г.

пренебрегает той свободой, за которую его предки отдали бы всю свою кровь. Все изменяется тогда в Риме, и можно видеть, как упорный и серьезный характер, отличавший первых жителей города, сменяется теми легкомысленными и ничтожными чертами характера, в которых Ювенал упрекает римлян в своей десятой сатире.

Желаете иметь более свежий пример подобной перемены? Сравним современных англичан с англичанами времени Генриха VIII, Эдуарда VI, Марии и Елизаветы. Этот народ, ныне отличающийся такой гуманностью, терпимостью, просвещенностью, свободой, трудолюбием, другим искусства и философии, был тогда народом рабов, бесчеловечным, суеверным, лишенным искусств и промышленности.

Какой-нибудь государь узурпирует безграничную власть над своими народами. Он может быть уверен, что этим изменит их характер, расслабит их душу, сделает ее боязливой и низкой⁴. С этого момента его подданные, сделавшись равнодушными к славе, утрачивают черты смелости и постоянства, благодаря которым они могли переносить все тяготы и пренебрегать всеми опасностями. Тяжесть самовластия ломает в них пружины соревнования.

Если, не терпя возражений, государь станет называть мятежниками правдивых людей, он заменит в характере своей нации правдивость лживостью. В критические моменты этот государь, окруженный льстецами, найдет вокруг себя лишь недостойных людей. Кого он должен будет винить за это? Самого себя: он сам сделал их такими.

Кто подумал бы, наблюдая бедствия, проистекающие от рабства, что существуют еще государи, столь ничтожные, что они желают царствовать над рабами, столь невежественные, что они игнорируют пагубные перемены, вносимые деспотизмом в характер их подданных.

Что такое самовластие? Семя бедствий, которое, развиваясь в лоне государства, приносит в качестве плода нищету и опустошение. Поверим в этом отношении прусскому королю. «Нет ничего лучше, — говорит он в речи, произнесенной в Берлинской академии, — чем самодержавное правительство, но только при справедливых, гуманных и добродетельных государях; нет ничего хуже его при власти обычных королей». Но как много королей этого последнего вида! И сколько можно насчитать среди королей Титов, Траянов и Антонинов? Вот как рассуждает великий человек. Какую возвышенную душу, какую просвещенность предполагает такое признание в устах монар-

ха! Действительно, что предвещает деспотическая власть? Часто гибель самого деспота и всегда гибель его потомства⁶. Основатель такой власти как бы безвозвратно отдает в заклад свое государство; только плохо понятые временные интересы царской власти, т. е. интересы гордости, лени или какой-нибудь иной подобной страсти, заставляют предпочитать жестокую и несправедливую деспотическую власть над несчастными рабами законной и любимой власти над свободным и богатым народом⁷. Самовластие — это лишенное предвидения дитя, постоянно жертвующее будущим во имя настоящего.

Самым страшным врагом общественного блага являются не смуты, не восстания, а деспотизм⁸. Деспотизм изменяет характер нации, и притом всегда в дурную сторону: он заражает его пороками. Каково бы ни было могущество султана Индии, он никогда не создаст у себя великодушных граждан, он никогда не найдет в своих рабах доблести свободных людей. Химия может извлечь из сложного тела лишь столько золота, сколько в нем его содержится, и самое беспредельное самовластие может извлечь из раба лишь низость, которую содержит в себе его характер.

Таким образом, опыт доказывает, что характер и ум народов изменяются вместе с формой их правления; что разные формы правления придают одной и той же нации поочередно характер то возвышенный, то низкий, то постоянный, то изменчивый, то мужественный, то робкий.

Следовательно, люди рождаются либо без предрасположений, либо с предрасположением к самым противоположным порокам и добродетелям. Значит, они являются лишь продуктом воспитания. Если перс не имеет никакого представления о свободе, а дикарь — никакого представления о рабстве, то это результат их различного воспитания.

Почему, спрашивают иностранцы, вначале кажется, что у всех французов одно и то же умонастроение и один и тот же характер, подобно тому как все негры представляются с одной и той же физиономией? Потому, что французы думают и мыслят не самостоятельно⁹, но следуют в этом людям, занимающим важное положение. Поэтому их подход к вещам должен быть единообразным. О французах можно сказать то же самое, что об их женщинах: когда они нарумянились и находятся в театре, у всех как будто одна и та же физиономия. Я знаю, что при внимательном отношении всегда можно найти некоторое

различие между характерами и умами отдельных лиц, но, чтобы заметить это, требуется время.

Невежество французов, система полицейского сыска, влияние духовенства делают их вообще более сходными между собою, чем где бы то ни было в другой стране. Но если таково влияние формы правления на нравы и характер целых народов, то, спрашивается, какие перемены в идеях и в характере отдельных лиц должны произойти в общественном положении?

ГЛАВА III

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИСХОДЯЩИХ В ХАРАКТЕРЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ

То, что совершается у народов в крупном масштабе и поражающим нас образом, совершается в миниатюре и незаметным образом у индивидов. Почти всякое изменение в их положении вызывает соответствующие изменения в их характере. Вот суровый, раздражительный, властный человек; он вечно брюзжит, обращается дурно со своими слугами, детьми и домочадцами. Ему случилось заблудиться в лесу, и он прячется на ночь в пещеру. Но сюда приходят на отдых львы. Сохранит ли этот человек здесь свой суровый и раздражительный характер? Нет, он притаится в уголку пещеры и постарается не возбудить никаким лишним жестом ярости этих зверей.

Перенесем этого самого человека из пещеры физического льва в логово льва духовного. Пусть он окажется на службе у жестокого и деспотического государя; тогда, тихий и смиренный в присутствии господина, этот человек, быть может, станет самым жалким и угодливым из его рабов. Но, скажут, его характер, испытывая принуждение, от этого еще не изменяется: он словно силою согнутое дерево, которому его природная эластичность вернет вскоре его первоначальную форму. Как, неужели можно думать, что это дерево, сохранявшее в течение ряда лет из-за привязанных к нему канатов кривую форму, сможет когда-нибудь выпрямиться? Тот, кто уверяет, что характер можно только подчинить принуждению, по нельзя изменить, утверждает попросту, что в одну минуту нельзя уничтожить давно усвоенные привычки.

Своеправный человек всегда будет таким, потому что всегда найдется кто-нибудь стоящий ниже его, на кого он может излить свое раздражение. Но если он пробудет долгое время со львом или деспотом, нет сомнения, что продолжительное повторное и превратившееся в привычку принуждение смягчит его характер. Вообще, пока человек достаточно молод, чтобы суметь усвоить новые привычки, единственным неисправимым недостатками и пороками будут те, от которых нельзя избавиться, не прибегнув к таким средствам, пользоваться коими не позволяют нравы, законы или обычное право. Для воспитания нет ничего невозможного, можно научить танцевать даже медведя.

Достаточно хорошенько подумать над этим вопросом, чтобы понять, что наша первая природа, как это доказывает Паскаль и подтверждает опыт, есть не что иное, как наша первая привычка^а.

Человек рождается без идей, без страстей; он рождается подражателем; он подчиняется примеру, и, следовательно, своими привычками и своим характером он обязан воспитанию. И вот я спрашиваю, почему привычки, усвоенные в течение известного времени, не могут быть в дальнейшем уничтожены противоположными привычками? Сколько есть людей, у которых изменяется характер в зависимости от их сана, от места, занимаемого ими при дворе или в министерстве, наконец, от изменения в их положении. Почему бандит, сосланный из Англии в Америку, часто становится там честным человеком? Потому, что он становится там собственником, потому, что он имеет землю, требующую обработки, потому, что его положение изменилось.

Военный человек в лагере суров и безжалостен; офицер, который привык видеть кровопролитие, становится нечувствительным к этому зрелищу. Но достаточно ему вернуться в Лондон, Париж, Берлин, чтобы он снова стал гуманным и сострадательным человеком. Почему нужно считать всякий характер результатом особенной организации, раз нельзя определить, какова эта организация? Зачем искать в скрытых качествах причины определенного нравственного явления, если они так легко, ясно и просто объясняются развитием чувства себялюбия?

^а Если автор «Эмиля» отрицал истинность этой аксиомы, то это потому, что он не понял мысли Паскаля.

Человек чувствителен к физическому удовольствию и страданию; вследствие этого он избегает последнего и ищет первого, и это постоянное стремление избежать страданий и поиски удовольствий называют себялюбием.

Это чувство, являющееся непосредственным результатом физической чувствительности и, следовательно, свойственное всем людям, неразрывно связано с человеком. В качестве доказательства я приведу его постоянство, невозможность его изменить или даже извратить. Из всех чувств оно одно таково; мы обязаны ему всеми своими желаниями, всеми своими страстями, которые являются в нас лишь приложением чувства себялюбия к тому или иному предмету. Следовательно, именно этому чувству, которое модифицируется различным образом в зависимости от полученного воспитания, в зависимости от формы правления, при которой живут, и от различных положений, в которых находятся, следует приписать поразительное разнообразие страстей и характеров.

Себялюбие делает нас целиком тем, чем мы являемся. Почему люди так жадно стремятся к почестям и должностям? Потому, что люди любят себя, потому, что они желают счастья и, следовательно, власти для того, чтобы его себе доставить.

Любовь к власти и к средствам приобрести ее необходимо связана у человека с себялюбием¹⁰. Всякий желает повелевать, ибо всякий желал бы увеличить свое счастье и с этой целью желал бы, чтобы этим занимались все его сограждане. Но из всех средств понудить их к этому самое верное — это сила и насилие. Поэтому любовь к власти, основывающаяся на любви к счастью, есть общий предмет всех наших желаний¹¹. Богатство, почести, слава, зависть, уважение, справедливость, добродетель, нетерпимость, наконец, все искусственные страсти^a — под этими различными названиями в нас скрывается лишь любовь к власти.

Власть — единственная цель человеческих стремлений. Чтобы обосновать это, я постараюсь показать, что все вышеназванные страсти являются, собственно говоря, лишь любовью к власти. Я сделаю из этого вывод, что

^a Все в нас есть искусственная страсть, за исключением физических потребностей, удовольствий и страданий.

так как любовь к власти свойственна всем людям, то, значит, всем им доступны желание уважения и славы и, следовательно, того вида страсть, которая может привести в движение одинаковые умственные способности людей с обычной, нормальной организацией.

ГЛАВА V

О ЛЮБВИ К БОГАТСТВУ И СЛАВЕ

Во главе основных добродетелей помещают силу и власть — это наиболее уважаемая и, быть может, единственная истинно уважаемая добродетель. Уделом слабости является презрение.

Чем объясняется наше пренебрежение к восточным народам, из коих некоторые могут сравниться с нами в промышленности, как это доказывают изготавливаемые ими ткани, а другие, быть может, превосходят нас общественными добродетелями. Разве мы презираем в них просто ту низкую покорность, с которой они переносят иго постыдного и жестокого деспотизма? Такое презрение было бы заслуженным; но нет, мы их презираем за трусость и неумение владеть оружием, потому что мы уважаем силу¹² и презираем слабость. Любовь к силе и к могуществу свойственна всем людям^а. Все желают их, но не все стремятся, подобно Цезарю или Кромвелю, к верховной власти; немногие люди питают такого рода планы, а еще меньшее число способно их выполнить.

Вообще люди желают власти такого рода, чтобы можно было легко приобрести ее. Каждый может стать богатым и каждый желает богатства: благодаря ему люди удовлетворяют всем своим вкусам, помогают несчастным, оказывают услуги множеству людей и, следовательно, распоряжаются ими.

Слава, как и богатство, доставляет власть, и люди стремятся также и к ней. Слава приобретается или оружием, или красноречием. Известно, с каким уважением относились в Риме и в Греции к красноречию; оно приводило там к величию и власти. *Magna vis et magnum poмен*, — говорят по этому поводу Цицерон, — *sunt unum et idem* (большое могущество и большое имя —

^а Человек, лишенный желаний, человек, считающий себя вполне счастливым, был бы, несомненно, нечувствительным к любви, к могуществу. Существуют ли такие люди? Да, но их слишком мало, чтобы с ними считаться.

одно и то же). У этих народов большое имя давало и большую власть. Знаменитый оратор распоряжался массой клиентов, и во всяком республиканском государстве человек, за которым следует толпа клиентов, — всегда могущественный гражданин. Галльский Геркулес, из рта которого выходило бесконечное множество золотых нитей, был символом духовной силы, красноречия. Но почему красноречие это, пользовавшееся некогда таким уважением, в настоящее время почитается и культивируется только в Англии? Потому, что во всех других странах оно не открывает более пути к почестям.

Таким образом, наша любовь к славе, к уважению, к почету есть, собственно говоря, лишь замаскированная любовь к власти.

Как утверждают, слава — любовница почти всех великих людей; они стремятся к ней сквозь все опасности; для завоевания ее они бросают вызов тягостям войны, скуке научных занятий и ненависти множества соперников¹³. Но в каких странах? В тех, где слава доставляет власть. Повсюду, где слава является лишь пустым звуком, где заслуги не дают реального влияния, гражданин, оставаясь равнодушным к общественному уважению, употребляет мало усилий для того, чтобы ее добиться. Почему славу считают растением, которое произрастает на республиканской почве и, вырождаясь в деспотических странах, никогда там не пускает достаточно сильных ростков? Потому, что в славе люди любят собственно лишь власть, а при деспотизме всякая власть исчезает перед властью деспота. Человек, проводящий ночи в лагере или в канцелярии, воображает, будто он любит уважение; он заблуждается. Уважение есть лишь то имя, которое он дает предмету своей любви, а сам этот предмет есть власть.

В связи с этим я замечу, что тот же блеск, то же могущество, которым иногда окружена слава и которое делает ее для нас столь дорогой, часто должны делать ее для нас ненавистной, когда ею пользуются наши сограждане: здесь источник зависти.

ГЛАВА VI О ЗАВИСТИ

Заслуга, говорит Поп, вызывает зависть, подобно тому как тело отбрасывает тень. Зависть дает знать о заслуге, как дым о пожаре и пламени. Зависть, ожес-

точившись против заслуги, не оказывает ей уважения ни на видном посту, ни на троне. Зависть одинаково преследует и Вольтера, и Катина^{1*}, и Фридриха. Если бы люди почаще вспоминали, до чего доходит ее неистовство, то, может быть, уstraшенные терниями, которыми усыпан путь великих талантов, они потеряли бы мужество, необходимое для приобретения их.

Гениальный человек говорит себе при свете своей лампы: сегодня вечером я заканчиваю свое произведение, завтра — день награды, завтра благодарная публика воздаст за мои труды, завтра, наконец, я получу венок бессмертия. Человек этот забывает, что существуют завистники. Действительно, завтрашний день наступает; произведение издано, оно великолепно, а между тем публика не оплачивает своего долга автору. Зависть относит далеко от автора сладкий аромат похвал^a, она заменяет его отравленным запахом критики и клеветы. Лучи славы почти всегда сияют лишь над могилой великих людей. Кто заслуживает уважения, редко наслаждается им, и кто сажает лавровое дерево, редко отдыхает под его сенью^b.

Но разве зависть живет во всех сердцах? Во всяком случае нет такого сердца, куда бы она не проникла. Сколько есть великих людей, которые не выносят соперников, не желают делить уважение ни с одним из своих сограждан и забывают, что на пиршестве славы всякий, если можно так выразиться, должен иметь свою долю.

^a Из всех страстей зависть — самая отвратительная. Портрет ее, сделанный не помню каким поэтом, ужасен.

Сострадание, говорит он, имеет жалость к человеческому несчастью — зависть наслаждается им и радуется горестям людей.

Нет такой страсти, которая не ставила бы себе целью какое-нибудь удовольствие. Зависть ставит себе целью только чужое несчастье.

Заслуга возмущается преуспеянием злого и глупого человека, а зависть — успехами доброго и умного.

Любовь и гнев, загоревшиеся в душе, пылают здесь час, день, год — зависть грызет душу до могилы.

Под знаменем зависти шествуют ненависть, клевета, предательство и интриги.

Повсюду за завистью влatchаются худоба голода, яды чумы и гнев войны.

^b Если великие писатели становятся после своей смерти наставниками рода человеческого, то следует признать, что наставников этих при жизни жестоко наказывают их ученики.

Даже самые благородные души прислушиваются иногда к голосу зависти; они сопротивляются, но не без усилий, ее советам. Природа создала человека завистливым. Желать изменить его в данном отношении — это все равно, что желать, чтобы он перестал любить себя, все равно, что желать невозможного. Поэтому пусть законодатель не ставит себе целью заставить замолчать зависть; достаточно, если он сделает ярость ее бессильной и создаст, как в Англии, законы, способные защищать заслуги от дурного настроения министра и от фанатизма священника. Это все, чего может добиться мудрость в пользу талантов. Безумие — рассчитывать на большее и надеяться уничтожить зависть. Во все времена ополчались на этот порок, но к чему привели эти выступления? Ни к чему. Зависть существует еще и в наше время и насколько не потеряла своей силы, ибо ничто не может изменить природу человека.

Однако есть пора, когда зависть неизвестна человеку, — это пора ранней юности. Тогда мы можем еще льстить себя надеждой превзойти или по крайней мере сравняться по заслугам с людьми, уже окруженными общественным уважением; тогда мы надеемся разделить с ними их почет. В нас, полных уважения к ним, их присутствие вызывает соревнование; мы с восторгом хвалим их, ибо мы заинтересованы в том, чтобы хвалить их и приучить, таким образом, публику уважать в них наши будущие таланты. Таким образом, похвала есть дань, которую молодость охотно воздает заслуге и в которой зрелый возраст всегда отказывает ей.

В 30 лет чувство соревнования двадцатилетнего молодого человека превратилось уже в зависть. Если потеряна надежда сравняться с теми, кем восхищаются, восхищение уступает место ненависти. Для гордости здесь выход — это презрение к талантам. Мечта посредственного человека — не видеть человека, стоящего выше его. Сколько завистников повторяют про себя слова не помню какого автора комедии:

Я люблю тебя тем больше, чем меньше я тебя уважаю.

Если не могут уничтожить репутацию знаменитого человека, то от него требуют во всяком случае величайшей скромности. Какой-то завистник упрекал Дидро даже за те слова, которыми начинается его «Истолкование природы»: «Молодой человек, возьми и читай».

Некогда были менее требовательными. Юрист Дюмулен^{2*} говорит о себе: «Я, не имеющий себе равного и стоящий выше всех людей...» Смирение, которого требуют теперь от авторов, предполагает особенное возматание гордости читателей. Такая гордость говорит о ненависти к заслуге, и ненависть эта естественна. Действительно, если, заботясь о своем счастье, люди стремятся к власти и, следовательно, к славе и уважению, которые ее доставляют, они должны ненавидеть в знаменитом человеке того, кто их у них отнимает. Почему говорят вслух столько дурного об умных людях? Потому, что внутренне чувствуют себя вынужденными думать о них плохо. Когда выигрывают королевский пирог, долго его оставляют богу; когда разбирают по косточкам заслуги выдающегося человека, то у него всегда находят какой-нибудь изъян: это — доля зависти.

Если человек не возвышается над своими согражданами, он желает унижить их до себя; кто не может быть выше, желает по крайней мере жить с равными¹⁴. Таков человек, и таким он будет всегда.

Среди добродетельных душ, стоящих выше зависти, быть может, не найдется ни одной, которая не имела бы ни малейшего пятнышка в этом отношении. Действительно, кто может похвалиться тем, что он всегда мужественно прославлял гений, что он никогда не скрывал своего уважения к нему, что в присутствии учителя он не хранил преступного молчания и к похвалам по адресу талантов не добавлял одного из тех коварных «но», которые так часто вырываются у завистников^а.

Всякий большой талант является, как правило, предметом ненависти, и этим объясняется готовность покупать пасквиллы, в которых жестоко критикуют выдающихся людей. Из каких других побуждений стали бы их читать? Из желания улучшить свой вкус?¹⁵ Но авторы этих листков отнюдь не Лонгин и не Деппео, они не имеют даже претензий просвещать публику. Человек, способный написать хорошую книгу, не забавляется критикой чужих книг.

Неспособность самостоятельно творить порождает критика. Его профессия жалкая. Если какой-нибудь Ла-

^а Сколько людей отдадут предпочтение древним перед современниками, чтобы не быть вынужденными признать в окружающем их обществе наличие людей такого масштаба, как Локк, Сенека, Вергилий и т. д.

фонтен нравится публике, то в качестве утешения глупцов^а. Горечь такой сатиры является признанием гения.

Ожесточенное порицание — таков способ хвалить у зависти. Это первая похвала, которую получает автор хорошего произведения, и единственная похвала, которой он может добиться от своих соперников. Люди восхищаются другими лишь с сожалением. Только себя желают они признать достойными уважения.

Почти нет человека, который не способен был бы убедить себя в этом. Если кто обладает здравым смыслом, то он его предпочитает гению. Если он обладает некоторыми небольшими добродетелями, то он ставит их выше величайших талантов. Умалют все, что не есть мое.

Только тот может считать себя свободным от зависти, кто никогда не изучал себя.

Защитниками¹⁶ гения, воздающими ему хвалу, являются молодежь и некоторые просвещенные добродетельные люди. Но их бессильная защита¹⁷ не приносит ему ни влияния, ни уважения. Между тем талант и добродетель обычно питаются уважением и похвалами. Лишенные этой поддержки, они чахнут и гибнут; активность и энергия души гаснут. Это — пламя, которому нечего пожирать.

Почти во всех странах талантливых людей отдают, подобно пленникам у римлян, на съедение диким зверям, и те становятся их добычей. Если гений в немилости при дворе, зависть доканчивает остальное¹⁸. Она уничтожает все вплоть до семени его. Заслуга должна всегда бороться с завистью; она устает и покидает арену борьбы, в которой не видит награды победителю. Занятия и славу любят не ради самих, но ради доставляемых ими удовольствий, уважения и власти. Почему? Потому, что вообще желают быть не столько достойными уважения, сколько уважаемыми; большинство писателей, жаждущих минутной славы¹⁹ и думающих только о том, чтобы угодить вкусам своего времени и своей нации²⁰, представляют им лишь модные идеи — идеи, приятные сановнику, благодаря покровительству которого они на-

^а Расин и Прадон оба написали «Федру». Современные Расину Лафонтены выступили против него, и их критика имела успех. Она освободила на некоторое время глупцов от невыносимого бремени уважения.

деются получить деньги, добиться уважения и даже эфемерного успеха.

Но есть люди, пренебрегающие таким успехом. Это те, кто, перенесясь духовно в будущее и заранее наслаждаясь похвалами и уважением потомства, страшится славы, которую он может пережить²¹. Только этот мотив побуждает их жертвовать минутной славой и уважением в надежде — иногда далекой — на большую славу и уважение. Эти люди редки. Они желают уважения лишь со стороны достойных уважения граждан.

Какое дело Мармонтелю до критики Сорбонны? Он покраснел бы от ее похвал. Венок, сплетенный глупостью, не подходит к голове гения. Это как тот новый архитектурный орнамент, которым увенчали в Лангедоке квадратный дом. Какой-то путешественник, проходя мимо этого здания, воскликнул: «Я вижу шапку арлекина на голове цезаря».

Однако пусть не думают, что гражданин, более всего стремящийся к длительному уважению, любит самое славу и истину. Если природа каждого индивида такова, что он вынужден любить себя больше всех других людей, то любовь к истине всегда подчинена у него любви к своему собственному благу; в истине он может любить лишь средство увеличить свое счастье. Поэтому он не ищет ни славы, ни истины в тех странах и у тех правительств, у которых они находятся в пренебрежении.

Вывод из этой главы и из предыдущей: неистовство зависти, желание богатства и талантов, любовь к уважению, славе и истине — все они всегда являются у человека лишь любовью к силе и к власти²³, которая скрывается под этими различными названиями.

ГЛАВА VII О СПРАВЕДЛИВОСТИ

Справедливость охраняет жизнь и свободу граждан. Каждый желает пользоваться своей различной собственностью. Поэтому каждый любит справедливость в других людях и желает, чтобы они были справедливы по отношению к нему. Но кто может заставить его быть справедливым по отношению к другим людям? Разве справедливость любят ради самой справедливости или ради доставляемого ею уважения? Таков вопрос, которым я займусь теперь.

Человек часто плохо знает самого себя; столько противоречий можно заметить между его поведением и его словами^а, что для того, чтобы узнать его, надо изучать его поступки и самое его природу.

ГЛАВА VIII

О СПРАВЕДЛИВОСТИ У ЕСТЕСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Чтобы судить о человеке, рассмотрим его в первобытном состоянии, когда он является еще нелюдным дикарем. Разве этот дикарь любит и уважает справедливость? Нет, он уважает силу. Он не имеет в своем сердце ни идеи справедливости, ни слов для выражения ее в своем языке. Какую идею мог бы он составить себе о ней и что такое в действительности несправедливость? Это нарушение некоторого соглашения или закона, созданного для выгоды возможно большего числа людей. Ясно, что несправедливость не может предшествовать установлению такого соглашения, закона и общего интереса. Значит, до закона не существует несправедливости. Si non esset lex, non esset peccatum (если бы не существовало закона, то не существовало бы и греха). Но установление законов предполагает:

1) объединение людей в большее или меньшее общество;

^а В морали, как и в религии, мало добродетельных людей и много лицемеров. Тысячи людей украшают себя чувствами, которых они не имеют и не могут иметь. Если сравнить их поведение с их словами, то видно, что они мошенники, ищущие дураков. Вообще не следует доверять добродетели человека, афиширующего слишком строгое поведение и выдающего себя за древнего римлянина. Есть люди, которые оказываются действительно добродетельными в тот момент, когда поднимается занавес и когда они играют большую роль на сцене этого мира. Но много ли найдется людей, сохраняющих ту же добродетель и оставшихся всегда справедливыми без грима (*déshabillé*)?

Я убежден в любви древних римлян к добродетели благодаря знакомству с их законами и нравами. Не будь этого знакомства, нравы современных римлян заставили бы меня сомневаться в нравственности древних и я бы выразился, как кардинал Виссарион по поводу чудес, что *чудеса новые заставляют его сомневаться в старых*.

Справедливый, но просвещенный человек не претендует любить справедливость ради самой справедливости. Нравственно безупречный человек признает без всякого стыда, что во всех своих поступках он всегда имел в виду свое благо, но что для него оно всегда совпадало с благом его сограждан. Лишь немногие так счастливо понимают его.

2) создание языка, пригодного для сообщения друг другу известного числа идей^а.

Но существуют дикари, язык которых ограничивается лишь пятью или шестью звуками или криками^{1*}; значит, образование языка есть дело ряда веков. Следовательно, пока эта работа не закончена, люди, не имея соглашения и законов, живут в состоянии войны между собою.

Это состояние, могут сказать, есть состояние бедствий, а бедствия должны были бы побудить людей создать законы и принять их. Это верно, но до того, как они примут законы, люди если и несчастны, то во всяком случае они не несправедливы. Каким образом можно посягать на поле или фруктовый сад собственника, совершить, наконец, кражу, когда еще нет собственников и поля и сады еще не разделены? На что мог бы жаловаться какой-нибудь дикарь, живущий на изобилующем дичью участке, с которого его хотел бы изгнать более сильный дикарь, до того, как общественный интерес объявил право первого захвата священным законом?

— Какое имеешь ты право, — сказал бы первый дикарь, — изгнать меня с этого участка?

— На каком основании, — ответил бы ему второй, — ты владеешь им?

— Случай, — ответил бы слабый, — привел меня сюда; этот участок принадлежит мне потому, что я живу

^а Согласно Локку, «закон — это правило, предписанное гражданам и содержащее санкцию в виде некоторого наказания или награды, способных определить их волю», «Всякий закон, — согласно Локку, — предполагает наказание и награду, связанные с его соблюдением или его нарушением».

Если принять это определение, то человек, нарушающий среди цивилизованного народа соглашение, не сопровождаемое еще этой санкцией, не подлежит наказанию, однако он несправедлив. Но можно ли быть несправедливым до установления всяких соглашений и до образования языка, способного это выразить? Нет, ибо в этом состоянии человек не имеет ни идеи собственности, ни, следовательно, идеи справедливости.

Чему учит нас в этом отношении опыт, которому следует в нравственности, как и в физике, подчинять даже самые остроумные теории и который один подтверждает их истинность или ложность? Тому, что человек имеет представление о силе раньше, чем представление о справедливости; что вообще он лишен любви к последней; что даже в цивилизованных странах, где постоянно говорят о справедливости, всякий человек обращается к ней лишь тогда, когда он вынужден к этому страхом перед силой, равной или превосходящей его собственную силу.

на нем, и потому, что земля принадлежит первому, занявшему ее.

— Что это за право первого захвата? ²⁴ — ответил бы более сильный. — Если случай привел тебя первым в это место, то тот же самый случай дал мне силу, необходимую для того, чтобы изгнать тебя отсюда. Какому из обоих этих прав отдать предпочтение? Желаете ли вы убедиться в превосходстве моего права? Подними глаза к небу — и ты увидишь, как орел набрасывается на голубку; опусти их на землю — и ты увидишь, как лев терзает оленя; загляни в морские глубины — и ты увидишь, как акула пожирает рыбу-дораду. Все в природе говорит тебе, что слабый есть добыча сильного. Сила — это дар богов. Благодаря ей я владею всем тем, что я могу похитить. Небо, вооружив меня этими мускулистыми руками, возвестило тебе свою волю. Убирайся отсюда, уступи силе или сражайся ²⁵.

Что можно ответить на речь этого дикаря и в какой несправедливости можно упрекать его, раз право первого захвата еще не признано правом?

Справедливость предполагает установленные законы. Соблюдение справедливости предполагает наличие равновесия сил между гражданами. Сохранение этого равновесия есть верх искусства законодательства. Взаимный и благотворный страх заставляет людей быть справедливыми друг к другу. Если страх этот перестанет быть взаимным, то справедливость станет достойной награды добродетелью, но это значит, что законодательство народа содержит в себе известные недостатки. Совершенство законодательства предполагает, что человек вынужден быть справедливым.

Справедливость неизвестна одинокому дикарю. Если цивилизованный человек имеет некоторую идею справедливости, то это потому, что он признает законы. Но любит ли он справедливость ради нее самой? Об этом может рассказать нам опыт.

ГЛАВА IX

О СПРАВЕДЛИВОСТИ У ЦИВИЛИЗОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА И У ЦИВИЛИЗОВАННЫХ НАРОДОВ

Какую любовь питает человек к справедливости? Чтобы узнать это, предположим, что гражданин воспитан в такой обстановке, когда всякое его желание удовлетво-

руется и когда он не должен ничего бояться, — словом, он является каким-нибудь восточным владыкой.

Сидя на троне, он может взимать колоссальные подати со своих народов. Должен ли он делать это? Нет. Всякая подать имеет своей целью и мерой потребности государства. Всякий налог, взимаемый сверх государственных потребностей, есть воровство, несправедливость. Нет истины, более признанной, чем эта. Однако, несмотря на мнимую любовь человека к справедливости, нет такого азиатского деспота, который не совершает этой несправедливости и при этом без угрызений совести. Что вытекает из этого факта? Что любовь человека к справедливости основывается или на страхе перед бедствиями, сопутствующими несправедливости, или на надежде на блага, являющиеся результатом уважения, почета и, наконец, власти, связанной с выполнением требований справедливости.

Необходимость наказывать, награждать, издавать мудрые законы, устанавливать превосходную форму правления для того, чтобы воспитывать добродетельных людей, также с очевидностью подтверждает эту истину.

Применим к народам то, что я говорю об отдельном человеке. Вот два народа, живущие по соседству; в известных отношениях они находятся во взаимной зависимости друг от друга. Поэтому они вынуждены установить между собою соглашение и создать международное право. Будут ли они соблюдать его? Да, до тех пор, пока они будут бояться друг друга, до тех пор, пока между ними существует известное равновесие сил. Но если равновесие нарушено, то более сильный народ без всякого стыда нарушит эти соглашения²⁶. Он становится несправедливым, ибо он может им быть безнаказанно.

Столь прославленное уважение людей к справедливости является у них всегда лишь уважением к силе.

Скажут, однако, что нет такого народа, который во время войны не объявил бы себя справедливым. Согласен. Но в какой момент, в каком положении? Требования справедливости выдвигаются тогда, когда этот народ окружен могущественными нациями, которые могут вмешаться в его споры с соседями. Какова тогда цель его требований? Показать, что его враг — несправедливый, честолюбивый, грозный сосед; вызвать зависть к нему других народов, сделать из них своих союзников и вос-

пользоваться их силой. Цель всякой нации, когда она вызывает к справедливости, заключается в том, чтобы усилить свое могущество и обеспечить свое превосходство над враждебной нацией. Мнимая любовь народов к справедливости является у них в действительности лишь любовью к власти.

Чтобы убедиться в этой истине, предположим, что соседи двух соперничающих наций, занятые только своими внутренними делами, не могут вмешаться в их раздоры и оказать им помощь. Что произойдет тогда? Более сильная нация, не вызывая к справедливости и не считаясь с ней, пройдет огнем и мечом по стране вражеской нации. Ее правом будет сила. Горе, скажет она, слабому и побежденному!

Когда Бренн во главе галлов напал на клузпейцев, римские послы спросили его: «Какое оскорбление нанесли вам клузийцы?» При этом вопросе Бренн расхохотался. «Их оскорбление, — ответил он, — заключается в их отказе разделить свои земли со мною. Это то самое оскорбление, которое наносили вам некогда жители Альбы, Фидены и Адрии; которое еще недавно нанесли вам жители Вэй, Арпии, часть фалисков и вольсков¹». Чтобы отомстить за него, вы взяли за оружие, вы смыли это оскорбление их кровью, вы обратили их в рабство, разграбили их имущество, разорили их города и деревни. Делая это, вы не причинили им ни обиды, ни несправедливости; вы подчинились древнейшему из законов, который дает сильному имущество слабого, — верховному закону природы, который начинается с богов и кончается животными. Заглушите же в себе, римляне, сострадание к клузийцам. Жалость еще неизвестна галлам; не внушайте им этого чувства или же берегитесь, чтобы они не стали проявлять жалость к тем, кого угнетаете вы».

Немногие вожди народов обладают смелостью и откровенностью Бренна. Их речи пыльные, но их поступки те же, и на деле все они обнаруживают одинаковое презрение к справедливости²⁷.

История мира есть обширное собрание многочисленных доказательств этой истины. Нашествие гуннов, готов, вандалов, севов, римлян, завоевания испанцев и португальцев в обеих Индиях, наконец, наши крестовые походы — все это доказывает, что в своих начинаниях народы считались только с силой, а не со справедли-

востью. Такова картина, рисуемая нам историей. Но тот же принцип, который движет народами, должен необходимо и равным образом быть двигателем и индивидов, из которых эти народы состоят. Поведение народов должно поэтому объяснить нам наше собственное поведение.

ГЛАВА X

ОТДЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ, ПОДОБНО ЦЕЛЫМ НАРОДАМ, ЦЕНЯТ В СПРАВЕДЛИВОСТИ ЛИШЬ ДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМ ЕЮ УВАЖЕНИЕ И МОГУЩЕСТВО

Положим, что какой-нибудь человек по отношению к своим согражданам почти так же независим, как один народ по отношению к другому. Этот человек будет ценить в справедливости²⁹ лишь доставляемые ею могущество и счастье. Действительно, какой иной причиной, как не этой исключительной любовью к власти, объясняется наше восхищение завоевателями?³⁰ Завоеватель, сказал корсар Деметрий Александру Македонскому, — это человек, который, находясь во главе ста тысяч других людей, сразу похищает сто тысяч кошельков, убивает сто тысяч граждан, совершает в большом масштабе то зло, которое разбойник совершает в небольшом масштабе, который поэтому, допуская большие несправедливости, чем последний, более вреден для общества. Вор наводит страх на отдельных граждан, завоеватель же, как и деспот, — бич целого народа. Что определяет наше уважение к Александрам, Кортцам и наше презрение к разбойникам Картушам, Раффиа? Сила первых и бессилие вторых. В разбойнике мы презираем, собственно, не его преступность, но его слабость³¹. Завоеватель же представляется нам сильным. Люди желают быть сильными. Они не могут презирать того, кем они хотели бы стать.

Любовь человека к власти такова, что проявление ее приятно ему во всех случаях, ибо оно напоминает ему о ее существовании. Всякий человек желает большого могущества и знает, что почти невозможно быть всегда одновременно справедливым и могущественным. Разумеется, в зависимости от различного воспитания, получаемого людьми, они лучше или хуже используют свою власть. Но все же, как бы прекрасно ни было их воспитание, среди сильных мира сего нет человека, кото-

рый не совершал бы несправедливости. Злоупотребление властью неразрывно связано с властью, как следствие связано с причиной. Корнель выразил это так:

Кто может все, чего он хочет, желает большего,
чем то, чего он должен желать ³².

Эти стихи — аксиома нравственности, подтверждаемая опытом. Между тем никто не откажется занять важный пост из страха подвергнуться немедленному искушению совершить несправедливость. Любовь к справедливости всегда, значит, подчинена в нас любви к власти. Человек, целиком занятый самим собою, ищет лишь своего счастья. Он почитает справедливость потому, что его принуждает к этому потребность ³³.

Между двумя людьми, почти равными по силе и могуществу, возникает спор. Оба они, сдерживаемые взаимным страхом, обращаются к справедливости: каждый требует от нее решения. Зачем? Чтобы заинтересовать в свою пользу публику и таким путем приобрести известное превосходство над своим противником.

Но положим, что один из этих двух людей, будучи явно сильнее другого, может безнаказанно совершить насилие над ним. Тогда, оставаясь глухим к зову справедливости, он не вдается ни в какие рассуждения — он отдает приказания. Не справедливость и даже не видимость справедливости решают спор между слабым и сильным, а сила, преступление и тирания. Именно на этом основании турецкий диван (государственный совет) называет мятежными все жалобы угнетаемых им слабых народов.

Чтобы показать еще более убедительным образом всю любовь людей к власти, я прибавлю к предыдущим доказательствам лишь один, но особенно сильный довод.

ГЛАВА XI

ЛЮБОВЬ К ВЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИ ВСЯКОЙ ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ЛЮДЕЙ

Различным формам правления, говорит Монтескьё, свойственны разные начала действия. «Этими различными движущими началами являются: в деспотических государствах — страх; в монархических — честь; в республиканских — добродетель».

Но чем основывает Монтескьё^а свое утверждение?

Верно ли, что страх, честь и любовь к добродетели действительно являются различными движущими силами при различных формах правления? Нельзя ли было бы, наоборот, утверждать, что общим началом деятельности во всех государствах является одна-единственная причина, имеющая лишь разнообразные приложения? Если бы Монтескьё не поддался влиянию своей блестящей классификации, а более тщательно обсудил этот вопрос, то он пришел бы к более глубоким, более ясным и более общим взглядам. Он усмотрел бы тогда первоисточник, движущий всех граждан, в любви к власти; он увидел бы в различных способах приобрести власть начало, которым следует объяснять во все времена и во всех странах различное поведение людей. Действительно, у всех наций власть либо сосредоточена, как в Марокко и Турции, в руках одного человека, либо рас-

^а Страх, говорит Монтескьё, есть движущее начало в деспотических государствах. Он заблуждается. Страх не усиливает, а, наоборот, ослабляет души. Я признаю в качестве источника деятельности нации лишь постоянные предметы желания почти всех ее граждан. Но в деспотических государствах имеются лишь два таких предмета: во-первых, желание денег, во-вторых, желание снискать благосклонность государя.

При двух других формах правления существуют, согласно тому же самому писателю, два других принципа действия, по его словам весьма различной природы. Первый — это честь; он применяется в монархических государствах; второй — это добродетель; он присущ только республиканцам.

Слова *честь* и *добродетель*, правда, не вполне синонимы. Однако, раз слово *честь* всегда вызывает в уме представление о некоторой добродетели, то, значит, эти слова отличаются друг от друга лишь по объему своего значения. Следовательно, честь и добродетель суть принципы одной и той же природы. Если бы Монтескьё не поставил себе целью приписать каждой форме правления особый принцип действия, то он увидел бы, что у всех у них один и тот же принцип. Это — любовь к власти, следовательно, личный интерес, модифицируемый различным образом в зависимости от разных конституций государства и разных законодательств. Если добродетель, как он выражается, есть принцип действия республик, то во всяком случае бедных и виновных республик. Принципом деятельности торговых республик является любовь к деньгам и наживе.

По-видимому, при всех формах правления человек повинует своему личному интересу, но интерес этот неодинаков во всех государствах. Чем более изучают в этом отношении нравы народов, тем более убеждаются в том, что своими пороками и добродетелями они обязаны своему законодательству. Принципы, которых придерживается в этом вопросе Монтескьё, кажутся мне скорее блестящими, чем основательными.

пределена, как в Венеции и Польше, среди нескольких человек, либо, как в Спарте, Риме и Англии, принадлежит всей совокупности нации. Ясно, что в зависимости от этих различных форм распределения власти граждане могут усвоить различные привычки и нравы, и все же они могут ставить себе все одну и ту же цель — поправиться верховной власти, снискать к себе ее расположение и получить таким путем некоторую долю или часть ее авторитета.

Об единовластию

Положим, что формой правления является чистое самовластие. Верховная власть сосредоточена в руках одного султана. Султан этот — обыкновенно дурно воспитанный — может оказывать покровительство известным порокам, может, если он бесчеловечен, без любви к славе, жертвовать ради своих капризов счастьем своих подданных. Царедворцы, думая только о том, чтобы добиться его милости, сообразуют свое поведение с его поведением и обнаруживают тем больше презрения к патриотическим добродетелям, чем больше равнодушия выказывает к ним сам деспот. В подобных странах нельзя найти ни Тимолеонов, ни Леонидов, ни Регулов и т. д. Такие граждане могут появиться лишь там, где их уважают и почитают в такой же степени, в какой их почитали в Риме и в Греции; где добродетельный человек, будучи уверен в почете со стороны народа, не видел ничего выше себя. Какое же почтение могут питать к добродетельному человеку в деспотическом государстве? Так как один только султан распределяет награды и наказания, то на его особе полностью сосредоточивается уважение. Люди здесь светят его отраженным светом, и самый гнусный фаворит здесь шествует, подобно герою. При подобном правительстве неизбежно угасает соревнование. Поскольку интерес деспота часто противоречит интересу общества, он должен заглушить здесь всякую идею о добродетели; любовь к власти, это движущее начало гражданина, не соответствует здесь формированию справедливых и добродетельных людей.

О правлении нескольких лиц

При этой форме правления верховная власть находится в руках определенного числа вельмож. Властители

лем здесь является сословие (corps) знатных людей³⁴. Их цель — удерживать народ в нищете и в постыдном и бесчеловечном порабощении. Но что нужно делать, чтобы угодить им, чтобы добиться их покровительства и заслужить их милости? Соглашаться с их планами, потворствовать их тирании, вечно приносить в жертву гордости меньшинства счастье большинства. У подобного народа также невозможно, чтобы любовь к власти порождала справедливых людей и хороших граждан.

О правлении всей нации

Если верховная власть в государстве распределена равномерно между всеми сословиями граждан, то властителем является вся нация. Чего она желает? Блага возможно большего числа людей. Какими средствами можно добиться ее благосклонности? Оказывая народу услуги. Здесь всякий поступок, согласный с интересом большинства, справедлив и добродетелен; здесь любовь к власти, являясь движущим началом граждан, должна вызывать у них любовь к справедливости и к талантам.

Продукт этой любви — счастье общества.

Верховная власть, распределенная между всеми классами граждан, подобна душе государства, которая, будучи разлита равным образом во всех его членах, животно-творит его, делает его крепким и здоровым.

Пусть поэтому не удивляются, что эта форма правления приводилась всегда как пример наилучшего правления. Свободные и счастливые граждане повинуются здесь законодательству, которое они сами для себя установили; выше себя они видят лишь справедливость и закон; они живут мирно, потому что в духовной области, как и в физической, покой — продукт равновесия сил. Но что происходит, если его нарушило честолюбие какого-нибудь человека? Если не существует более взаимозависимости между различными классами граждан? Если имеется либо один человек, как в Персии, либо сословие вельмож, как в Польше, интересы которых противостоят интересам их народа? Тогда в государстве оказываются только угнетатели и угнетаемые и граждане разделяются на два класса — класс рабов и класс тиранов.

Если бы Монтескьё глубже продумал эти факты, то он понял бы, что во всех странах люди одинаково испытывают любовь к власти, но власть эта достигается раз-

личными способами в зависимости от того, сосредоточена ли верховная власть, как на Востоке, в руках одного человека, делится ли она, как в Польше, среди сословия вельмож или, как в Риме и в Спарте, равно распределена между различными сословиями государства. Он понял бы, что люди обязаны своими пороками и добродетелями различным способам, какими приобретается власть, и что они не любят справедливости ради самой справедливости.

Одно из наиболее убедительных доказательств этой истины — то низкопоклонство, с которым сами короли почтили несправедливость в лице Кромвеля. Этот Кромвель, слепое и преступное орудие будущей свободы своей страны, был лишь несправедливым и грозным разбойником. Однако едва лишь он назвался протектором, как все христианские государи стали искать его дружбы, все они, насколько это зависело от них, старались узаконить посредством своих представителей и послов преступления узурпатора. Никто тогда не возмущался той низостью, с какой добивались союза с Кромвелем. Следовательно, несправедливость презирается всегда лишь у слабых людей. Но если движущее начало деятельности монархов и целых народов является также движущим началом деятельности составляющих их индивидов, то можно позволить себе утверждение: люди, единственно занятые тем, чтобы добиться большего уважения к себе, ценят в справедливости лишь доставляемую ею власть и счастье.

ГЛАВА XII О ДОБРОДЕТЕЛИ

Слово *добродетель*, одинаково применимое к *благоразумию*, к *мужеству*^а, к *милосердию*, имеет неопределенное, расплывчатое значение. Однако оно всегда вызывает в уме смутную идею о некоем качестве, полезном для общества.

Когда качества этого рода являются общими для большинства граждан, народ счастлив в своей внутрен-

^а Virtus, говорит Цицерон, происходит от слова vis (сила). Его естественное значение — fortitudo (храбрость). В греческом языке оно имеет тот же самый корень. Сила и мужество — таковы первые идеи, которые люди могли составить себе о добродетели.

ней жизни, страшен для внешнего мира и заслуживает признания со стороны потомства. Добродетель, всегда полезная людям и, следовательно, всегда уважаемая, по крайней мере в некоторых странах, должна получить отражение в уважении и власти, приобретаемых добродетельными людьми. Эту свою любовь к уважению они принимают в самих себе за любовь к добродетели. Всякий уверяет, будто он любит добродетель ради нее самой. Слова эти на устах у всех, но ни у кого на сердце. Что побуждает сурового пустынноика поститься, носить власяницу и подчиняться строгой дисциплине? Надежда на вечное блаженство: он боится ада и желает попасть в рай.

Удовольствие и страдание — первоисточники, порождающие монашеские добродетели, — являются также первоисточниками патристических добродетелей. Эти последние пробуждаются надеждой на награду. Какую бы бескорыстную любовь к этим добродетелям ни выражали, *но без интереса любить добродетель не бывает добродетели.*

Чтобы узнать человека в этом отношении, надо изучать его не по его словам, а по его делам. Когда я говорю — я надеваю маску; когда я действую — я вынужден снять ее. Пусть тогда меня судят не по тому, что я говорю, а по тому, что я делаю, и меня будут судить правильно.

Кто больше, чем духовенство, проповедовал любовь к смирению и бедности? И что лучше, чем сама история духовенства, доказывает лживость этой любви?

Говорят, что баварский курфюрст тратит меньше доходов на содержание войска, администрации и двора, чем духовенство на содержание священников. Однако в Баварии, как и повсюду, духовенство проповедует добродетель бедности. Следовательно, оно проповедует бедность для других.

Чтобы знать по-настоящему, как поступают с добродетельным человеком, предположим, что он отослан к какому-нибудь государю, от которого добродетель не может ожидать ни расположения, ни милости. Какое уважение будут питать при его дворе к добродетели? Никакого. Здесь могут уважать лишь низкопоклонство, интриги и жестокость, прикрытые названиями «приличие», «благоразумие» и «твердость». Если визирь дает здесь аудиенцию, то вельможи, простершиеся у его ног, едва осмеливаются взглянуть на тех, кто имеет заслуги. Но,

могут сказать, почтительность этих царедворцев вынужденная, она результат их страха. Пусть так, но, значит, люди больше считаются со страхом, чем с добродетелью. Могут добавить, что эти царедворцы презирают идола, которому они воскуряют фимиами. Ничего подобного. Сильного ненавидят, но не презирают. Не пренебрегают гневом гиганта; презирают пигмея: его бессилие делает его смешным. Что бы ни говорили в действительности, люди не презирают того, кому они не осмеливаются выразить свое презрение. Скрытое презрение свидетельствует о слабости, а то презрение, которым кичатся в подобных случаях, — это лишь хвастовство бессильной ненависти³⁵. Человек, занимающий видное положение, — гигант и в нравственности, он всегда окружен почетом. Уважение, оказываемое добродетели, переходящее; уважение, оказываемое силе, постоянно. В лесах почитают льва, а не оленя. Сила — все на земле. Добродетель, не имеющая влияния, здесь угаснет. Если во времена угнетения она спала иногда ярким светом, если в ту пору, когда Фивы и Рим стонали под игом тираннии, появились бесстрашный Пелопид, добродетельный Брут и взяли за оружие, то это потому, что скипетр тогда еще не твердо держала рука тиранов, потому, что добродетель могла еще открыть путь к величию и могуществу. Далее она уже не способна была расчистить пути к ним. Тираны благодаря роскоши и изнеженности укрепились на троне, они поработили народ. Тогда не появляются больше возвышенные добродетели, которые своим примером могли бы еще быть столь полезными миру. Зародыши героизма задушены.

На Востоке мужественная добродетель показалась бы безумием даже тем, кто там ею еще кичится. Тот, кто стал бы там защищать дело народа, прослыл бы мятежником.

Тахмасп Кули-хан вторгся в Индию со своим войском, по его пятам следовали опустошение и разорение. Его встречает один мужественный индус. «О Тахмасп, — говорит он ему, — если ты бог, то поступай как бог; если ты пророк, то веди нас по пути спасения; если ты царь, то перестань быть варваром; оказывай покровительство народу, а не губи его». «Я, — отвечает ему Тахмасп, — не бог, чтобы поступать как бог; не пророк, чтобы указывать путь спасения; не царь, чтобы делать народы счастливыми. Я человек, посланный небесным гневом

в наказание народам»³⁶. Речь индуса была признана мятежной³⁷, а ответ Тахмаспа получил одобрение его войска.

Все восхищаются на театральной сцене характером Леонтины. Но какое уважение питали бы к подобным чертам характера при дворе такого государя, как, например, Фока?^{1*} Ее великодушие устрасило бы фаворитов, а народ — в конце концов всегда эхо сильных мира сего — осудил бы ее благородную смелость.

Достаточно пробыть день при каком-нибудь восточном дворе, чтобы убедиться в правильности сказанного мною. Здесь почитаются только богатство и влияние. Каким образом можно здесь любить добродетель? Как узнать ее? Чтобы получить о ней отчетливое представление³⁸, надо жить в стране, где единственной мерой заслуги человеческих действий является общественная польза. Страна эта еще неизвестна географам. Но, могут сказать, европейцы во всяком случае отличаются в этом отношении от азиатов. Если они не свободны, то они по меньшей мере еще не окончательно возвращены рабством. Следовательно, они могут еще ценить и познать добродетель.

ГЛАВА XIII

О ТОМ, КАК СМОТРИТ НА ДОБРОДЕТЕЛЬ БОЛЬШИНСТВО ЕВРОПЕЙЦЕВ

Большинство европейских народов почитает добродетель в теории — это результат их воспитания. Они презирают ее на практике — это результат формы их правления.

Европеец восхищается древней историей и аплодирует в театре благородным поступкам, к которым азиат часто оказывается безучастным. Это, как я только что сказал, результат его воспитания, часть которого составляет изучение греческой и римской истории. Найдется ли при чтении этой истории человек, еще свободный от своекорыстных интересов и предрассудков, который не почувствовал бы себя одушевленным теми же самыми патристическими чувствами, какие некогда одушевляли древних героев? Молодость не отказывает в своем уважении добродетелям, освященным всеобщим почетом и прославленным во все времена самыми знаменитыми писателями.

Лишенный такого воспитания азиат не испытывает тех же чувств и не чувствует того же уважения к мужественным добродетелям великих идей. Европеец восхищается ими, но не подражает им, потому что почти ни при одном правлении эти добродетели не обеспечивают видного положения и потому что в действительности почитают лишь власть.

Пусть мне покажут в истории или на театральной сцене великого человека — грека, римлянина, британца или скандинава — я буду восхищаться им. Меня побудят к этому полученные мною в детстве представления о добродетели; я тем охотнее отдамся этому чувству, что я не стану сравнивать себя с этим героем. Если его добродетель сильна, а моя слаба, то я скрою от себя эту слабость; различие, которое я вижу между ним и мною, я отнесу к различию места, времени и обстоятельств. Но если этот великий человек — мой согражданин, почему тогда я не стану подражать его поведению? Потому, что одно его наличие должно унижить мою гордость. Если есть возможность ему отомстить, то я отомщу: я стану порицать в нем то, что я уважаю в древних; я стану хулить даже его благородные поступки; я стану порицать его за его заслуги и выражать вслух презрение хотя бы его бессилию.

Мой разум, когда я сужу о добродетели мертвых, заставляет меня в теории уважать героев, бывших полезными своему отечеству. Картины древнего героизма вызывают невольное уважение у всякого неокончательно еще развращенного человека. Но этот героизм противен мне в моем согражданине. В его присутствии я испытываю два противоречивых чувства: с одной стороны, уважение, с другой — зависть. Находясь под влиянием этих двух различных импульсов, я проникаюсь ненавистью к живому герою; но я воздвигаю трофей на его могиле и доставляю таким образом удовлетворение и своей гордости, и своему разуму.

Когда добродетель лишена влияния, ее бессилие дает мне право презирать ее, и я пользуюсь этим: слабость влечет за собою хулу³⁹ и пренебрежение.

Чтобы быть почитаемым при жизни, надо быть сильным⁴⁰. Поэтому власть есть единственный предмет желания людей. Если бы им нужно было выбирать между силой Эпселода^{1*} и добродетелями Аристиды, то они отдали бы предпочтение силе. По признанию всех крити-

ков, характер Энея более справедлив и добродетелен, чем характер Ахилла^{2*}. Почему же вызывает большее восхищение характер последнего? Потому, что Ахилл силен, потому, что люди предпочитают быть сильными, чем справедливыми, а всегда человек восхищается тем, чем хотел бы быть.

Мы всегда стремимся к могуществу и уважению, давая им название добродетели. Почему требуется, чтобы на театральной сцене добродетель всегда торжествовала над пороком? Что привело к изобретению этого правила? Внутреннее смутное чувство, что в добродетели мы ценим лишь доставляемое ею уважение. Люди желают на самом деле лишь одного — повелевать, и эта любовь к власти дает законодателю средства сделать их более счастливыми и более добродетельными.

ГЛАВА XIV

ЛЮБОВЬ К ВЛАСТИ ЕСТЬ В ЧЕЛОВЕКЕ САМОЕ БЛАГОПРИЯТНОЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДОБРОДЕТЕЛИ

Если бы добродетель была у нас результатом или особенной организации, или милости божества, то добродетельными были бы лишь люди, организация которых была бы создана природой или была бы предназначена небом для этой цели. Хорошие или дурные законы, более или менее совершенная форма правления имели бы мало влияния на добродетель народов. Государи не были бы в состоянии воспитывать хороших граждан, и высшее назначение законодателя оставалось бы, так сказать, невыполненным. Наоборот, будем считать добродетель результатом желания, общего всем людям (таково желание повелевать). Тогда законодатель, имея всегда возможность связать с выполнением требований добродетели уважение, богатство, наконец, могущество — под каким бы то ни было названием, — может всегда понудить к ней людей. При отличном законодательстве единственными порочными людьми были бы глупцы. Поэтому во всех странах большую или меньшую тупость или порочность граждан следует всегда объяснять большей или меньшей нелепостью законов.

Небо, внушив всем любовь к власти, дало им самый ценный дар. Нет никакой необходимости, чтобы все люди

рождались добродетельными, если все они рождаются способными к страсти, которая может сделать их добродетельными.

После того как эта истина ясно изложена, законодателям и правителям остается, далее, открыть во всеобщей любви людей к власти средства обеспечить добродетель граждан и благо народов.

Что касается меня, то я выполнил свою задачу, если я доказал, что человек связывает и будет всегда связывать свои желанья, идеи и поступки со своим счастьем; что любовь к добродетели у него всегда основывается на желании счастья; что он любит в добродетели лишь доставляемые ею ему богатство и уважение и что, наконец, все — даже желание славы — является у человека лишь замаскированной любовью к власти. В этой же любви к власти скрыт источник нетерпимости. Есть двоякого рода нетерпимость — гражданская и религиозная.

ГЛАВА XV

О ГРАЖДАНСКОЙ НЕТЕРПИМОСТИ

Человек рождается, окруженный страданиями и удовольствиями. Он стремится к власти для того, чтобы устранить первые и добиться вторых. Поскольку человек испорчен властью, его жажда в этом отношении неутолима. Не довольствуясь тем, чтобы повелевать своим народом, он желает повелевать его взглядами. Он стремится овладеть разумом своих сограждан не менее жадно, чем завоеватель стремится захватить сокровища и земли своих соседей.

Он считает себя подлинным господином лишь тех, чьи умы он поработил. Для этой цели он прибегает к силе, с течением времени она приводит разум к подчинению. Люди кончают тем, что сами начинают верить в те взгляды, которые их заставляли признавать. То, чего нельзя добиться рассуждением, делает насилье.

Нетерпимость у государей всегда является результатом их любви к власти. Думать не так, как они, — это, значит, ставить пределы их власти, это, значит, допускать власть, равную их власти. Это их раздражает. За какое преступление особенно сурово наказывают в некоторых странах? За то, что осмеливаются противоречить власти. Какое злодеяние заставило ввести во Франции восточную пытку железной клетки? Какого несчастного

заклучили в нее? Трусливого или бесталанного военачальника, который плохо руководил осадой, плохо защищал крепость, который вследствие своей неспособности, зависти или измены допустил, чтобы враг опустошил провинции, которые он мог защищать? Министра, который наложил на народ непосильные налоги ⁴¹ и издавал законы, пагубные для общественного благополучия? Нет, несчастным, осужденным на эту пытку, был один голландский газетчик, который, критикуя, быть может слишком резко, планы некоторых французских министров ⁴², вызвал насмешки над ними всей Европы ⁴³.

Кого гноят в испанских и итальянских темницах? Судью или губернатора, злоупотребляющего, торгующего своей властью? Нет, книгоношу, продающего ради куска хлеба несколько книг, в которых высказывается сомнение насчет смирения и бедности духовенства. Кого в некоторых странах называют дурным гражданином? Мошенника или растратчика, обкрадывающего государственную казну? Такие преступления остаются почти всегда безнаказанными и повсюду находят покровителей. Дурным гражданином считается лишь тот, кто в песенке или в эпиграмме посмеялся над плутнями или над легкомыслием ⁴⁴ какой-нибудь важной персоны.

Я знаю страны, где в немилости находится не тот, кто причиняет зло, но тот, кто раскрывает его виновника. Пусть подожгут дом, здесь станут наказывать обвинителя и ласкать поджигателя. В таких государствах часто самым великим преступлением считается любовь к отечеству и сопротивление, оказываемое несправедливым приказаниям властей.

Почему заслуги всегда кажутся подозрительными бездарному министру? Чем вызывается его ненависть к писателям? ⁴⁵ Тем, что он считает их как бы светочам, способными пролить свет на его ошибки ⁴⁶.

Некогда к особе государей приставляли мудрецов под названием шутов, под этим названием им было дозволено иногда говорить истину ⁴⁷. Шуты эти перестали нравиться, должность их повсюду была уничтожена. Это, быть может, единственная общая реформа, произведенная государями при своих дворах. Эти шуты были последними мудрецами, которые были терпимы вблизи высоких особ. Хотите приблизиться к последним, желаете угодить им? Что нужно делать? Нужно говорить так, как говорят они, и укреплять их в их заблуждениях. Эта

роль не подходит просвещенному, прямодушному и честному человеку. Он говорит и думает самостоятельно; высокие лица знают это и ненавидят его за это. Они чувствуют здесь границу своей власти. Людям такого рода в особенности запрещено размышлять и писать по вопросам государственного управления. Что же получается в результате этого? То, что короли, лишённые совета просвещённых людей, жертвуют своим реальным и длительным могуществом из опасений на минуту столкнуться с возражениями. Действительно, государь сплен лишь силой своей нации; нация сильна лишь мудростью своего управления; люди, которым поручено это управление, необходимо должны быть взяты из среды нации. Поэтому невозможно, чтобы при форме правления, при которой преследуют мыслящих людей и держат во мраке всех граждан, народ производил великих министров. Опасность, которую видят в получении образования, губит здесь дело образования, и народ стонет под скипетром горделивого невежества, которое вскоре увлекает к общей гибели и деспота, и нацию⁴⁸.

Нетерпимость этого рода — подводная скала, о которую рано или поздно разбиваются самые великие государства.

ГЛАВА XVI

НЕТЕРПИМОСТЬ ЧАСТО БЫВАЕТ РОКОВОЙ ДЛЯ ГОСУДАРЕЙ

Власть и удовольствие в настоящем часто пагубны для удовольствия и власти в будущем. Государь, стремясь повелевать с большей властью, хочет, чтобы его подданные были лишены идей, энергии, характера⁴⁹, стал автоматами, всегда послушными исходящему от него давлению. Если он сумеет сделать их такими, то он будет могущественным внутри государства, но слабым по отношению к внешнему миру: он будет тираном подданных и предметом презрения соседей.

Таково положение деспота. Что заставляет его желать этого? Мгновенная гордость. Он говорит себе: обыкновенно я проявляю свое могущество на моем народе, значит, сопротивление и возражения с его стороны, чаще вызывая в моей памяти идею о моем бессилии, мне особенно невыносимы. В результате он запрещает своим подданным рассуждать и обнаруживает этим актом, что

он относится равнодушно к величию и счастью своего народа, что для него не важно то, плохо или хорошо он управляет, но очень важно управлять, не наталкиваясь ни на какое противоречие. А с того момента, когда заговорил спланный, слабый умолкает, тупеет и перестает мыслить, потому что он не может сообщать своих мыслей.

Но, могут сказать, если оцепенение, в котором страх держит умы, вредно для государства, то следует ли отсюда заключить, что свобода мысли и слова не имеет своих неудобств?

В Персии, передает Шарден, можно громко говорить и безнаказанно критиковать визиря даже в кофейнях. Правительство, которое хотело бы быть предупреждено о припадке злости, знает, что это может сделать голос общества. В Европе имеются, быть может, страны, более варварские, чем Персия.

Но, скажут, если граждане смогут размышлять и писать обо всем, сколько появится тогда книг, написанных ими по вопросам, которых они не понимают! Сколько глупостей будет сказано тогда писателями! Тем лучше, меньше глупостей останется делать визирям. Критика разоблачит ошибки автора, публика станет издеваться над ним — вот наказание, которого он заслуживает. Если законодательство есть наука, то его совершенствование должно быть делом времени и опыта. В любой отрасли знания появление превосходной книги предполагает наличие множества плохих книг. Мистерии о страстях господних должны были предшествовать трагедиям об Ираклии, Федре, Магомете и т. д. Если печать перестает быть свободной⁵⁰, то важный сановник, не получая предупреждения о своих ошибках, совершит бесчисленное множество новых промахов. Он сделает почти все те глупости, которые писатель только писал бы⁵¹. Но для нации неважно, если какой-нибудь автор говорит глупости — тем хуже для автора; но очень важно, чтобы министр не делал глупостей, ибо это тем хуже для нации.

Свобода печати несколько не противоречит общему интересу⁵², эта свобода является для народа источником соревнования. Кому поручается заботиться об этом? Лицам, занимающим видное положение. Пусть же они особенно усердно заботятся об этом, ибо если соревнование угасло, то почти невозможно снова разжечь его. Если даже цивилизованный народ впадает в состояние отупения, то чем можно помочь ему? Только завоеванием его.

Только оно может дать этому народу новые нравы и сделать его снова славным и могущественным. Если народ низко пал, то ему остается только быть завоеванным. Таково желание честного гражданина — человека, заинтересованного в славе своей нации, который считает себя великим ее величием и счастливым ее счастьем. Желание деспота не таково, ибо он не смешивает себя со своими рабами; равнодушный к их славе и к их благу, он чувствителен⁵³ лишь к их рабской покорности.

Султан доволен, если ему слепо повинуются. А то, что его подданные не имеют никаких добродетелей, что государство слабеет, что оно гибнет от истощения, — это для него неважно, лишь бы продолжительность болезни скрывала ее истинные причины и в ней нельзя было бы обвинить невежество врача. Султаны и их визири боятся только одного — внезапных волнений в государстве. О визириях можно сказать то же самое, что о хирургах: их единственное желание, чтобы государство и больной не испустили дух на их руках. А то, что помимо того они могут умереть от предписанного им режима, их мало тревожит, лишь бы их репутация не пострадала.

При самодержавном правительстве заняты только данным моментом. От народа требуют не трудолюбия, не добродетелей, но покорности и денег. Подобно пауку, который непрерывно окружает все новой паутиной насекомое, становящееся его добычей, султан, чтобы спокойнее пожирать свои народы⁵⁴, заковывает их каждый день в новые цепи. А если наконец он путем страха лишил их всякой возможности двигаться, то какой помощи может он ожидать от них против нападения со стороны могущественного соседа? Но, скажут, разве султан не предвидит, что в итоге и он, и его подданные подпадут вскоре под иго победителя? Деспотизм не предвидит ничего.

Всякое возражение докучает ему и раздражает его. Это — дурно воспитанный ребенок, хватающий отравленный плод и бьющий мать, которая вырывает его у него. Как относятся в его царствование к правдивому и мужественному гражданину? Как к сумасшедшему, которого и наказывают соответствующим образом⁵⁵. Как относятся в его царствование к раболепному и подлому гражданину?⁵⁶ Как к мудрецу, которого и вознаграждают соответствующим образом. Если султаны желают слышать лесть⁵⁷, то они слышат ее. Кто может посто-

янно оказывать сопротивление их желаниям? Кто может при подобном правительстве живо интересоваться общественным благом? Немногие мудрецы, разбросанные там и сям в государстве? Но к их совету остаются глухими. Их знания никого не просвещают: это — светильники в гробницах. Кому же доверяет деспот? Людям, которые, состарившись в передних, прониклись лакейским духом и нравами. Подобные льстецы довели Стюартов до гибели. «Некоторые прелаты, — говорит один знаменитый англичанин, — заметив ханжество и слабость Якова I, воспользовались этим, чтобы убедить его, будто общественное спокойствие зависит от единообразия вероисповедания, т. е. от известных религиозных церемоний. Яков поверил этому и передал этот взгляд своим потомкам. Каковы же были результаты этого? Изгнание и гибель династии».

«Когда небо, — говорит Веллий Патеркул^{1*}, — хочет наказать какого-нибудь государя, оно внушает ему любовь к лести⁵⁸ и ненависть к противоречиям. В то же мгновение разум государя омрачается; он начинает избегать общества мудрецов, движется во мраке, падает в пропасти и, согласно латинской пословице, попадает из огня в полымя». Если таковы знаки небесного гнева, то найдется ли такой султан, против которого небо не было бы раздражено? Кто из них выбирал своих любимцев среди наиболее правдивых и просвещенных граждан? Философ Анахарсис, говорят, низко льстил королю Кипра; по приказанию государя его будто бы истолкли в ступе. Да, но ступа эта пропала.

«Что говорят обо мне и моем правительстве?» — спросил один китайский император Конфуция. «Все молчат, — ответил философ, — все хранят угрюмое молчание». «Вот это-то и желательно мне», — сказал император. «А этого вы и должны были бы бояться, — возразил философ. — Больной, которому льстят, погиб, его конец близок. Перед монархом следует вскрывать недостатки его духа, как и болезни его тела. Без этой свободы государство и государь погибают». Этот ответ не понравился императору: он ждал похвалы. Интерес настоящего и гордыня почти всегда берут верх над интересом будущего. Народы в этом отношении похожи на государей.

ЛЕСТЬ ПРИЯТНА НАРОДАМ НЕ МЕНЬШЕ,
ЧЕМ ГОСУДАРЯМ

Народы, подобно царям, любят, чтобы им льстили и угождали. Большинство афинских ораторов были низкими льстецами черни. Государь, нация, отдельный человек⁵⁹ — все они жадны до похвал. Чем объяснить эту всеобщую страсть? Любовью к власти.

Тот, кто хвалит меня, пробуждает во мне представление о власти, с которым связывается представление о счастье.

Тот, кто противоречит мне, наоборот, вызывает в моей памяти представление о моей слабости, с которым всегда соединяется представление о несчастье. Желание похвалы обще всем; но народы, будучи слишком чувствительными к этой похвале, иногда называли хорошими патриотами самых низких льстецов. Пусть восторженно прославляются добродетели своего народа, но не нужно быть слепым к его порокам. Подлинно любимый ученик это не тот, кого больше всего хвалят. Истинный друг — не льстец.

Отдельные люди слишком склонны прославлять добродетели своих сограждан: они действуют заодно с ними. Заискивание перед нашими согражданами вовсе не есть мера нашей любви к отечеству. Вообще нет человека, который не любит своего народа. Любовь французов направлена естественным образом на французов. Я могу стать дурным гражданином лишь в том случае, если законы, отделяя мои личные интересы от общественных интересов, сделают меня таковым.

Добродетельного человека можно узнать по его желанию сделать своих сограждан, если это возможно, более знаменитыми и счастливыми. В Англии истинными патриотами являются те, кто с особенной силой обрушивается на злоупотребления правительства. А в Португалии патриотами называют тех, кто особенно раболепно прославляет людей, занимающих видное положение. Однако что это за граждане, что за патриоты!

Только такое углубленное знание причин нашей любви к лести и нашей ненависти к противоречию может дать нам решение множества нравственных проблем, иным путем необъяснимых. Почему так дурно встречают вначале всякую новую истину? Потому, что всякая истина этого рода всегда противоречит какому-нибудь обще-

принятому взгляду, доказывает слабость или лживость многих умов, следовательно, многие люди заинтересованы в том, чтобы ненавидеть и преследовать ее автора.

Монах Косьма усовершенствовал инструмент для производства операции камнесечения. Он оперирует новым способом, менее опасным и в то же время менее болезненным. Но разве это важно? Гордость знаменитых хирургов этим уязвлена; они начинают преследовать его, требуют изгнания его из Франции, добиваются королевского указа об его аресте и только благодаря случайности им отказывают.

Если почти повсюду гениального человека преследуют больше, чем убийцу, то это потому, что врагами одного являются лишь родные им убитого, врагами же другого — все его сограждане.

Я имел случай наблюдать, как одна ханжа добивалась у министра помилования для одного вора и одновременно заключения в тюрьму каких-то янсениста и деиста. Каким мотивом руководствовалась она при этом? Своей гордостью. Какое мне дело, могла бы она сказать, что людей обкрадывают и убивают; лишь бы это не касалось ни меня, ни моего духовника! Сама я хочу одного: чтобы люди были благочестивы и чтобы деист не оскорблял своими рассуждениями моего тщеславия.

Если нас просвещают, то тем самым нас унижают. Свет, внесенный в гнездо совят, раздражает их своим блеском, и они начинают кричать. Посредственные люди — это те же совята. Если им представляют некоторые ясные и очевидные идеи, они начинают кричать, что они опасны, ложны⁶⁰ и заслуживают наказания.

При каком государе и в какой стране можно безнаказанно быть великим человеком? В Англии или в царствование таких государей, как Траян или Фридрих. При всякой другой форме правления или при всяком другом государе наградой талантов является преследование. Смелые и великие идеи почти повсюду запрещены. Особенной популярностью пользуются те авторы, которые излагают новым и блестящим образом общепринятые идеи. Этих авторов хвалят потому, что они не заслуживают похвалы, потому, что они не противоречат никому. Противоречие, невыносимое для всех людей, особенно нестерпимо для сильных мира сего. До каких размеров довели оно ярость Карла V против лютеран! Однако, говорят, этот государь раскаивался в том, что он их

преследовал. Пусть так, но когда это было? Когда, отказавшись от власти, он жил в уединении. «У меня, — говорил он тогда, — на моем столике 30 пар часов и среди них нет двух таких, которые показывали бы в один и тот же момент в точности одно и то же время^а. Как же вообразить, что в религиозных вопросах я мог бы заставить всех людей думать одинаковым образом? Как велико было мое безумие и моя гордость!» О, если бы Карл V пришел к этому размышлению раньше! Он был бы более справедливым, более терпимым и более добродетельным. Скольким семенам войн он не дал бы тогда взойти! Сколько сберег бы он человеческой крови.

Никто из государей и даже из простых людей не ставит пределов своей власти. Им недостаточно царствовать над народом, повелевать идеями своих сограждан, они желают еще повелевать их вкусами. Руссо не любит французской музыки. В этом пункте его взгляды сходятся со взглядами всех европейских народов. Он заявляет об этом в одном из своих сочинений. Против него поднимаются тысячи голосов, его хотят сгноить в темнице. Для этого добиваются тайного королевского приказа об его аресте. Но, к счастью, министр был слишком мудр, чтобы согласиться на это; он не желал выставить французский народ на всеобщее посмешище.

Нет такого преступления, до которого не доходила бы человеческая нетерпимость. Рассчитывать исправить в этом отношении человека — все равно что желать, чтобы он предпочитал других самому себе, а это значит желать изменить его природу. Умный человек не должен желать невозможного; его задача не уничтожить нетерпимость, но обезоружить ее; но что может обуздать ее? Взаимный страх. Если два равных по силе человека расходятся во взглядах, то ни один из них не станет наносить оскорбление другому, ибо редко оскорбляют того, кого — как думают — нельзя безнаказанно оскорбить.

Чем объяснить вежливый характер споров, происходящих между военными? Боязнью дуэли. Чем объяснить ту же вежливость между литераторами? Боязнью оказаться в смешном положении. Никто не хочет, чтобы его смешивали со школьными педантами. На основании этих

^а Слуга Карла V, входя неосторожно в его келью, опрокинул столик и разбил 30 пар часов, лежавших на нем. Карл расхохотался. «Ты счастливее меня, — сказал он слуге, — ты нашел наконец способ установить между ними согласие».

двух примеров можно судить о том, какое благотворное влияние оказал бы на граждан еще более действенный страх перед законами.

Суровые законы могут пресечь нетерпимость точно так же, как воровство. Если я свободен в моих вкусах и взглядах, но закон запрещает мне оскорблять вкусы и взгляды других людей, то нетерпимость моя, связанная положениями закона, не дойдет до насилий. Но если бы правительство по неблагоразумию освободило меня от страха перед дуэлью, перед возможностью оказаться в смешном положении и перед законами, то нетерпимость моя, ничем не сдерживаемая, сделала бы меня снова жестоким варваром.

Доказательством этого является свирепая ярость, с какой преследуют друг друга различные религиозные вероисповедания.

ГЛАВА XVIII

О РЕЛИГИОЗНОЙ НЕТЕРПИМОСТИ

Нетерпимость этого рода самая опасная. Действительным мотивом ее является любовь к власти, религия же служит предлогом. Кого наказывают в лице еретика или безбожника? Того, кто достаточно мужествен, чтобы мыслить самостоятельно, кто больше доверяет своему разуму, чем разуму попов, и считает, что правом мыслить в равной мере обладают все. Мнимый мститель неба всегда мстит лишь за свою униженную гордость. Попы в этом отношении одинаковы почти во всех религиях.

В глазах какого-нибудь муфтия, как и в глазах какого-нибудь бонзы, неверующий — безбожник, которого должен поразить небесный огонь, это человек, который нарушает общество и должен быть сожжен им.

Но в глазах мудреца тот же неверующий — человек, который не верит в детские сказки. А чего не хватает этим сказкам, чтобы стать религией? Ничего, разве только большого числа людей, которые защищали бы их истинность.

Возможно ли, чтобы люди, одетые в рубище покаяния и носящие маску милосердия, были во все времена самыми жестокими людьми? Неужели день веротерпимости не засиял еще? Неужели добродетельные люди ненавидят и без стыда преследуют друг друга из-за спора о словах, часто из-за расхождений в выборе тех или иных заблуждений, из-за того, что они называются по-разно-

му — лютеранами, кальвинистами, католиками, магометанами и т. д.?

Разве христианский монах, предавая анафеме персидского монаха или дервиша, не знает, что в глазах этого дервиша истинным безбожником, истинным злодеем является именно христианин, папа, монах, который не верит в Магомета? Неужели нужно, чтобы всякая религиозная секта, сама навеки осужденная на ограниченность, одобряла у себя то, чего она не терпит в других религиозных верованиях?

Не мешает иногда вспомнить остроумную притчу одного знаменитого художника. «Когда, — рассказывает он, — я был вознесен во сне к вратам рая, то первое, что поразило мои взоры, был почтенный старец. По его ключам, по его лысой голове и длинной бороде я узнал святого Петра. Апостол сидел на пороге небесных врат. Толпа людей направилась к нему. Первым подошел к нему один католик. «Я, — сказал он ему, — всю свою жизнь был набожным и в то же время довольно добродетельным человеком». «Войди тогда, — ответил святой, — и сядь на скамейку католиков». Затем появился один протестант, заявивший то же самое; он получил такой же ответ. «Сядь, — сказал святой, — среди протестантов». Далее подошли купцы из Смирны, Багдада, Басры и т. д. Они были мусульмане, были всегда добродетельны, и святой Петр указал им место среди мусульман. Наконец, подошел один неверующий. «Какое твоё вероисповедание?» — спросил апостол. «Я не придерживаюсь никакой религии, ваша святость, однако я всегда был добродетельным человеком». — «Тогда ты можешь войти, но куда поместить тебя? Выбери место сам, сядь около тех, которые покажутся тебе самыми разумными».

О, если бы люди, просвещенные этой притчей, отказались от стремления повелевать взглядами других людей! Бог желает, чтобы истина была наградой исследования. Говорят, что самыми действенными молитвами, чтобы получить познание истины, являются изучение и прилежание. О глупые монахи! Произносили ли вы когда-нибудь эту молитву?

Что такое истина? Вам самим это неизвестно, и, однако, вы преследуете того, кто, по вашим словам, не знает ее: вы освятили насилием над протестантами в Сенах; вы провозгласили святым Доминика, этого вар-

вара, который основал инквизиционный трибунал и истребил альбигойцев⁶¹. При Карле IX вы ввели католикам в обязанность избивать протестантов. И наконец, в наш столь просвещенный, столь философский век веротерпимость, рекомендуемая Евангелием, должна была бы быть добродетелью всех людей. Но существуют разные Кавейраки, которые считают веротерпимость преступлением и признаком равнодушия к религии, которые желали бы повторения того кровавого дня резни, того ужасного дня святого Варфоломея, когда поповская гордость вышла на улицы, требуя смерти французов^{1*}. Так султан в сопровождении палача проходит по улицам Константинополя, требуя крови христиан, посягающих красные штаны. Вы же, большие варвары, чем этот султан, раздаете христианам мечи для того, чтобы они истребляли друг друга.

О религии (я имею здесь в виду ложные религии), все вы поразительно смешны!⁶² Но если бы вы были только смешны, то умный человек не обращал бы внимания на ваши нелепости. Если же он считает своей обязанностью делать это, то так происходит потому, что эти нелепости в руках людей, вооруженных мечом нетерпимости⁶³, являются одним из самых жестоких бичей человечества.

Какие из различных религий относятся с особенной ненавистью к другим вероисповеданиям? Католическая и еврейская. Является ли эта ненависть у служителей названных культов результатом их честолюбия или тупого бессмысленного рвення? Разница между истинным и ложным рвением разительна, и в ней нельзя ошибиться⁶⁴. Истинное религиозное рвение — это полная благодать, человечность, кротость, милосердие; оно полно всепрощения и не вредит никому. Таково во всяком случае представление о нем, которое нам дают слова и поступки сына божьего⁶⁵.

ГЛАВА XIX

НЕТЕРПИМОСТЬ И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ НЕ СУТЬ БОЖЕСТВЕННЫЕ ЗАПОВЕДИ

Кого Иисус называл порождением ехидны? Язычников ли, эссенов, саддукеев^{66, 1*}, которые отрицали бессмертие души и даже бытие божье? Нет, это относилось к фарисеям, к иудейским священникам.

Нужно ли, чтобы католические попы заслужили еще раз то же прозвище за свою яростную нетерпимость? На каком основании преследуют они еретиков? Потому, что еретики, утверждают они, не думают так, как мы. Но желать объединить всех людей в точности в одной и той же вере — все равно что желать, чтобы все они имели одни и те же глаза, одну и ту же физиономию. Это — протiwоестественное желание. Ересь — это название, которое сильные мира дают взглядам вообще верным, но противоречащим их собственному мнению. Ересь, как и противоречие, связана с местом. Еретик — человек, придерживающийся вероисповедания, не господствующего у той нации, среди которой он живет. Этого человека, меньше защищенного и, следовательно, более слабого, можно безнаказанно оскорблять. Но почему надо оскорблять его? Почему сильный преследует слабого даже за его взгляды?

Если бы нетерпимые служители культа, обвиняющие Руссо⁶⁷, родились афинянами или иудеями, то в качестве сильных они преследовали бы аналогичным образом Сократа или Иисуса. О красноречивый Руссо, пусть милость великого государя, защитившего тебя от этих фанатиков, будет для тебя отмщением за их оскорбления! Тебе не пришлось краснеть из-за уважения этих глупцов; оно могло бы служить доказательством какой-то аналогии между их взглядами и твоими, оно запятнало бы твои таланты. Не божество тебя преследовало, хотя и во имя божества.

Кто с большей силой, чем сын божий, поднимал свой голос против нетерпимости? Его апостолы хотели, чтобы он низвел небесный огонь на самаритян; он резко упрекал их за это. Апостолы, одушевленные тогда мирским духом, не восприняли еще духа божьего. Но едва они были просвещены им, как сами стали преследуемыми, а не преследователями.

Небо никому не дает права избивать еретиков. Иоанн не призывал христиан вооружаться против язычников⁶⁸. «Любите друг друга, — повторял он без конца, — такова воля божья. Кто выполняет эту заповедь — исполняет закон».

Я знаю, что Нерон преследовал первых христиан за то, что они придерживались отличных от него взглядов; но Нерон был тираном, вызывавшим ужас у человечества. Кто совершает подобные жестокости и без угрозы-

ний совести нарушает естественный и божественный закон, запрещающий *делать другому то, чего мы не хотели бы, чтобы делали нам*, тот должен быть равным образом проклят богом и людьми.

Кто терпит людей, проявляющих нетерпимость, сам становится соучастником всех их преступлений. Если какая-нибудь церковь называет себя преследуемой, когда у нас оспаривают право преследования ею других, государь должен быть глух к ее домогательствам. В своем поведении церковь должна руководствоваться поведением сына божьего. Но Иисус и апостолы разрешали человеку свободно пользоваться своим разумом. Почему церковь запрещает ему пользоваться им? Никто не имеет права ни на воздух, которым я дышу, ни на самую благородную функцию моего ума — способность самостоятельного суждения. Неужели я должен предоставить другим заботу думать за меня?

У меня есть собственная совесть, собственный разум, собственная религия, и я не хочу ни совести, ни разума, ни религии папы. Я не хочу брать образцом для своей веры веру других людей, сказал один кентерберийский епископ. Каждый отвечает за свою душу; поэтому каждый должен рассмотреть:

во что он верит;

почему он в это верит;

какая вера кажется ему самой разумной.

Как говорит Жан Герсон, канцлер Парижского университета, небо наделило меня душою, способностью суждения, а я возьму и подчиню ее суждению других людей, и они будут руководить мною в моей манере жить и умирать!

Но может ли человек предпочесть свой разум разуму своей нации? Законна ли такая гордыня? А почему бы нет? Если бы Юпитер продолжал держать в руках весы, при помощи которых он некогда взвешивал судьбы героев; если бы он положил на одну из чаш взгляды таких людей, как Локк, Фонтенель, Бейль, а на другую чашу взгляды итальянского, французского, испанского и других народов, то эта последняя чаша поднялась бы вверх, словно не имея на себе никакого груза. Различие и абсурдность разных культов доказывают, какое малое значение следует приписывать взглядам народа. Сама божественная мудрость говорит то же самое в Священном писании. *Judaeis scandalum, gentibus stultitiam* — соблазн

в глазах пудеев, безумие в глазах народов (язычников). В религиозных вопросах я не питаю никакого уважения к взглядам народа: отчет о своей вере я должен дать только самому себе. Все то, что относится непосредственно к богу, может иметь своим судьей лишь само верховное существо. Даже государственная власть, единственной обязанностью которой является счастье людей на земле, имеет право наказывать лишь преступления против общества. Никакой государь, никакой поп не может преследовать меня за мнимое преступление — за то, что я думаю не так, как они.

Почему закон запрещает моему соседу распоряжаться моим имуществом, но позволяет ему распоряжаться моим разумом и моей душой? Моя душа — это мое имущество. От природы я получаю право думать и говорить то, что я думаю. Первые христиане излагали окружающим их народам свою веру и мотивы этой веры, они давали язычникам возможность пропозвести выбор между языческой и их собственной религией, пользуясь разумом, данным человеку, чтобы отличать порок от добродетели и ложь от истины. Изложение их взглядов не представляло, несомненно, ничего преступного. С какого же времени христиане заслужили ненависть и презрение этих народов? С тех пор как, сжигая храмы с их идолами, они захотели насильем оторвать язычника от его религии, которую он считал наилучшей⁶⁹. Какова была цель этого насилия? Сила заставляет разум молчать; она запрещает выполнение тех или иных религиозных обрядов, но что может она сделать с верой? Вера предполагает наличие внутреннего побуждения верить. Сила не является таким побуждением. Но без внутренних побуждений люди в действительности не верят, в лучшем случае они верят, будто бы верят⁷⁰.

Нет никакого оправдания для нетерпимости, осужденной разумом и естественным законом. Естественный закон свят, он исходит от бога, который не отменил его; наоборот, в своем Евангелии он подтвердил его.

Всякий священник, который, прикрываясь званием ангела мира, побуждает людей к преследованию друг друга, вовсе не является, как это думают, лишь жертвой своего нелепого и бессмысленного рвения⁷¹. Он повинен не своему рвению, но своему честолюбию.

НЕТЕРПИМОСТЬ — ОСНОВА ВЕЛПЧИЯ ДУХОВЕНСТВА

Учение, поведение попов — все доказывает их любовь к власти. Что защищают они? Невежество. Почему? Потому, что невежда доверчив; потому, что он мало пользуется своим разумом, думает так, как другие; потому, что его легко обмануть и одурачить грубейшими софизмами⁷².

Что преследуют попы? Науку. Почему? Потому, что ученый не принимает ничего на веру без исследования; потому, что он хочет видеть своими собственными глазами и его трудно обмануть. Врагами ученого являются бонза, дервиш, брамин, наконец, служитель любой религии. В Европе попы поднялись против Галилея; они подвергли отлучению Вергилия за его открытие антиподов, а Шейнера — за открытие солнечных пятен; они изгнали в лице Бейля здравую логику, а в лице Декарта — единый метод исследования, заставив этого философа покинуть отечество⁷³; они обвиняли прежде всех великих людей в колдовстве⁷⁴, а в настоящее время, когда колдовство вышло из моды, они обвиняют в атеизме и материализме⁷⁵ тех, кого прежде сожгли бы как колдунов.

Попы всегда старались удалить истину от людского взора. Разве людям запрещается всякое поучительное чтение? Попы запираются с ними в темную комнату и стараются там лишь заткнуть отверстия, через которые мог бы проникнуть свет. Они ненавидят и всегда будут ненавидеть философов. Они всегда будут бояться, чтобы просвещенные люди не свергли власти, основанной на заблуждении и ослеплении.

Не чувствуя любви к талантам, попы являются тайными врагами человеческих добродетелей. Попы часто отрицают даже существование их. В их глазах добродетельные поступки — это поступки, соответствующие их учению, т. е. их интересам. Первые из добродетелей — вера и покорность духовенству; лишь своих рабов оно готово называть святыми и добродетельными людьми.

Между тем нет ничего более разнящегося между собою, чем идеи добродетели и святости. Добродетелен тот, кто делает добро своим согражданам. Слово *добродетель* содержит в себе всегда идею о чем-то полезном для общества. Иное дело слово *святость*. Какой-нибудь

пустышник или монах налагает на себя обет молчания, бичует себя еженощно, питается сваренными в воде овощами, спит на соломе, приносит богу свою нечистоплотность и свое невежество. Умерщвлении плоти они могут сделать себе карьеру в раю, их могут почтить ореолом. Но если они не сделали никакого добра на земле, то они не добродетельны. Какой-нибудь злодей может на смертном одре покаяться — он тогда спасен, он блажен; но он все же не добродетелен. Имя добродетельного можно заслужить обычно лишь справедливым и благородным поведением.

Монастыри — это минареты, откуда добывают обыкновенно святых. Но что такое вообще монахи? Бездельники, сутяги, опасные для общества, соседства с которыми следует бояться. Что доказывает их поведение? Что нет ничего общего между религией и добродетелью. Что пужно сделать, чтобы получить отчетливое представление о добродетели? Поставить новую нравственность на место той нравственности теологов, которая всегда снисходительна к вероломству, обнаруживаемому различными религиозными сектами⁷⁶, освящает еще и в настоящее время варварские преступления, в которых обвиняют друг друга янсенисты и моливисты^{77; 1*}, и приказывает им наконец отнять у сограждан их имущество и их свободу.

Какой-нибудь азиатский деспот требует, чтобы его подданные содействовали всем, что в их власти, его удовольствиям; чтобы они приносили ему свое поклонение и свои богатства. Равным образом папистские попы требуют поклонения и богатств от католиков.

Они ищут, нет ли какого-нибудь средства увеличить их могущество и богатство, которых они еще не использовали. Если для этого нужно было прибегнуть к варварству и жестокости, то они прибегали к тому и другому.

С того момента, когда попы узнали из опыта, что люди считаются больше со страхом, чем с любовью, что они воздают больше приношений Ариману, чем Ормузду, жестокому Молоху, чем кроткому Иисусу, то они решили основать свою власть на терроре. Они захотели иметь возможность сжигать по своему произволу евреев, заключать в темницу янсенистов и деистов; они задумали с тех пор установить суд инквизиции, несмотря на ужас, внушаемый им всякой гуманной и чувствительной

душе. При помощи интриг они достигли этого в Испании, Италии, Португалии и других странах.

Чем больше произвола было в действиях этого суда, тем больше он был страшен. Попы, заметив, что власть духовенства увеличивалась благодаря тому ужасу, который она внушала воображению людей, стали вскоре безжалостными. Монахи, безнаказанно глухие к зову сострадания, к слезам горести и к стенаниям страдания, не щадили ни добродетели, ни талантов. Путем конфискации имуществ, путем пыток и костров они узурпировали наконец у народов власть, превосходящую власть государства и часто даже власть царей. Но какая дерзновенная рука осмелилась заложить в христианском государстве основы подобного суда? Его воздвигло честолюбие духовенства, а неразумие народов и государей попустительствовало этому.

Неужели в католической церкви нет больше таких людей, как Фенелон и Фитц Джемс^{2*}, которые, тронутые бедствиями своих ближних, с ужасом взирали бы на подобный суд? Существуют еще яansenисты, настолько добродетельные, чтобы ненавидеть инквизицию даже тогда, когда она сжигает пезуита. Но люди, как правило, не бывают религиозными и терпимыми в одно и то же время. Гуманность предполагает просвещение.

Просвещенный человек знает, что насилие создает лицемеров и лишь убеждение — христиан; что еретик — это брат, пнакомыслящий по некоторым метафизическим вопросам; что этого брата, лишенного дара веры, следует жалеть, а не наказывать⁷⁸. Если никто не может считать истинным то, в чем он видит ложь, то никакая человеческая власть не в праве распоряжаться его верой. Что получается из религиозной нетерпимости? Несчастье народов. Что освящается нетерпимостью? Честолюбие духовенства. Чрезмерная жадность монахов к власти породила их чрезмерное варварство. Жестокый по своей теории, монах жесток еще и по своему воспитанию. Всякий католический поп, слабый, лицемерный и трусливый по своему положению, как правило, должен быть жестоким⁷⁹. Поэтому в странах, находящихся под их властью, эти попы во все времена делали все, что только может придумать самая утонченная несправедливость и жестокость. Нет ничего удивительного в том, что из религии, основанной для того, чтобы учить кротости и милосердию, они сделали орудие преследования и

убийств; что, забрызганные кровью, пролитой на аутодафе, они осмеливаются у алтаря воздымать к небу руки, обогранные человеческой кровью. Монах таков, каким он должен быть. Покрытый кровью еретиков, он должен считать себя мстителем за божество. В какие минуты умолять его о милосердии? Станут ли его руки чистыми от того, что церковь объявит их такими? А какая корпорация не признавала законными самые гнусные поступки, если они имели целью рост ее могущества?

Этого, по признанию церкви, достаточно, чтобы освятить любое преступление. Я изучил различные религии и нашел, что их различные последователи вырывают друг у друга факелы, с помощью которых они хотят сжигать своих ближних. Я нашел, что различные суеверия служат опорой гордости духовенства. Кто же, сказал я себе, истинный безбожник? Неверующий? Нет, честолюбивый фанатик⁸⁰. Он, преследователь и убийца своих братьев, завидует испытываемому исполнителем небесного мщения удовольствию от мучений людей в аду и выполняет его ужасные обязанности на земле. Видя в неверующем лишь осужденную душу, он хотел бы быстрой смертью еще ускорить его осуждение; верх жестокости — он хотел бы, чтобы этот человек, его ближний, был в одно и то же время арестован, заключен в тюрьму, приговорен, проклят, сожжен и осужден на вечные муки.

ГЛАВА XXI

О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПОДАВИТЬ В ЧЕЛОВЕКЕ ЧУВСТВО НЕТЕРПИМОСТИ; О СПОСОБАХ БОРЬБЫ С ЕГО РЕЗУЛЬТАТАМИ

Семя нетерпимости неистребимо, можно только парализовать его развитие и действие. Поэтому строгие законы должны преследовать его, как воровство.

Если дело идет о частном интересе, то власти связывают руки нетерпимости, запрещая насилие. Почему же они развязывают их ей, когда, надев на себя маску религии, эта нетерпимость может совершать величайшие злодеяния?

Люди по своей природе склонны к нетерпимости. Просветит ли их солнце разума на мгновение? Они должны воспользоваться этим, чтобы наложить друг на друга оковы в виде мудрых законов и поставить себя этим в благополучные условия, при которых невозможно

вредить друг другу в случае нового приступа яростной нетерпимости.

Хорошие законы могут равным образом сдерживать буйного святошу и вероломного попа. Это доказывает положение в Англии, Голландии и части Германии. Многочисленные преступления и бедствия раскрыли наконец глаза этим народам. Они понимают, что свобода мысли есть естественное право; что мышление порождает потребность сообщать свои мысли и что равнодушие в этом отношении, проявляемое как отдельными людьми, так и целым народом, является признаком тупоумия.

Кто не испытывает потребности мыслить, тот не мыслит. О духе можно сказать то же самое, что и о теле; если не пользоваться способностями того и другого, то можно стать импотентными телесно и духовно. Когда нетерпимость подавляет душу граждан, когда она уничтожает внутренние пружины ее деятельности, тогда дух заблуждения и ослепления охватывает нацию.

По словам поэта, Мидас своим прикосновением превращал все в золото; голова Медузы все превращала в камни; подобным же образом нетерпимость превращает в лицемеров, сумасшедших, идотов⁸¹ всех тех, кто находится в атмосфере ее влияния. Эта нетерпимость породила на Востоке первые зародыши тупости, которые впоследствии взрастили там деспотизм. Эта нетерпимость обрекает на всеобщее презрение в настоящем и в будущем все суеверные страны, жители которых скорее напоминают животных, чем членов человеческого рода.

Только в одном случае веротерпимость может стать пагубной для нации — это тогда, когда она терпит у себя религию, отличающуюся своей нетерпимостью, вроде католической⁸². Когда религия эта становится самой могущественной в государстве, она проливает кровь и своих глупых покровителей; это — змея, жалящая согревшую ее грудь. Пусть Германия призадумается над этим. Ее государи имеют свой интерес в том, чтобы принять папизм: папизм может предоставить высокие посты их братьям, детям и т. д. Сделавшись католиками, государи захотят навязывать веру своим подданным и не остановятся перед тем, чтобы вновь пролить человеческую кровь. Еще дымятся факелы суеверия и нетерпимости. Достаточно легкого дуновения, чтобы воспламенить их и зажечь всю Европу. Где остановится этот пожар? Не

знаю, может ли быть уверена Голландия, что он не затронет ее? Даже Британия сумеет ли долго с высоты своих дюн бросать вызов ярости католицизма? Морской пролив — слабая защита от фанатизма. Что может помешать этим фанатикам проповедовать новые крестовые походы, вооружить Европу против Англии, завладеть там почвой для себя и начать когда-нибудь обращаться с британцами так, как они некогда обращались с альбигойцами.

Пусть протестанты не обманываются вкрадчивым тоном католиков. Тот же самый католический священник, который в Пруссии считает нетерпимость мерзостью и нарушением естественного и божественного закона, во Франции считает веротерпимость преступлением и ересью⁸³. Что делает его столь непохожим на самого себя в этих странах? Слабость этих священников в Пруссии и их могущество во Франции.

Посмотрите на поведение христиан, когда они были вначале слабыми, — это овечки. Став сильными, они превращаются в тигров.

Неужели народы, наученные своими прошлыми бедствиями, никогда не поймут необходимости наложить на фанатизм оковы и изгнать из всякой религии чудовищный догмат нетерпимости? Кто в данный момент сотрясает трон султанов в Константинополе и опустошает Польшу? Фанатизм. Фанатизм не позволяет польским католикам допустить диссидентов к участию в их привилегиях, заставляет предпочесть войну нетерпимости. Напрасно приписывают теперешние бедствия этих стран одной только гордости их властителей; без религии эти властители не смогли бы призвать к оружию свою нацию, их гордость осталась бы бессильной — это сохранило бы мир для отечества. Папизм — скрытый виновник бедствий Польши.

В Константинополе фанатизм мусульман, приводя к унижениям и оскорблениям греков-христиан, заставляет их тайком вооружаться против государства вместо того, чтобы быть его защитниками.

О, если бы эти два современных примера поразительных бедствий, вызванных религиозной нетерпимостью, были последними в этом роде! О, если бы правительства, проявляя отныне безразличие по отношению ко всем религиям, судили о людях по их поступкам, а не по их верованиям; если бы они стали считать, что только доб-

родетель и гений дают право на внимание публики! О, если бы они поняли, что часы следует покупать не у католического, турецкого или протестантского часовщика, а у лучшего часовщика; что на должность следует назначать не в зависимости от силы веры, а в зависимости от силы талантов!

Пока существует догмат нетерпимости, духовный мир содержит в себе зародыши новых бедствий. Это — полупотухший вулкан, который, вдруг начав снова действовать с большой силой, может вновь принести с собою пожар и опустошение.

Таковы опасения гражданина, который, будучи искренним другом людей, страстно желает их счастья.

Я, как мне кажется, достаточно исчерпывающим образом доказал в этом разделе, что все производные страсти, и в частности гражданская и религиозная нетерпимость, являются у человека лишь замаскированной его любовью к власти. Длительные подробности, к которым увлекло меня доказательство этой истины, несомненно, заставили читателя забыть мотивы, побудившие меня заняться их обсуждением.

Моей целью было показать, что если у людей все вышеприведенные страсти носят искусственный характер, то, следовательно, все люди способны испытывать их. Чтобы дать понять еще более наглядным образом эту истину, я снова приведу для читателя таблицу генеалогии страстей.

ГЛАВА XXII ГЕНЕАЛОГИЯ СТРАСТЕЙ

Существует одно жизненное начало, одушевляющее человека, — его физическая чувствительность. Что порождает в нем эта чувствительность? Чувство любви к удовольствию и ненависть к страданию. Из этих двух чувств, соединенных в человеке и всегда имеющих в его душе, образуется то, что называют в нем чувством себялюбия⁸⁴. Это себялюбие рождает желание счастья; желание счастья рождает желание власти; а это последнее в свою очередь дает начало зависти, скупости, честолюбию и вообще всем искусственным страстям⁸⁵; имея различные названия, эти страсти являются в нас лишь замаскированной любовью к власти в применении к различным способам обеспечить себе эту власть.

Способы эти не всегда одинаковы. Поэтому люди — в зависимости от положения, в котором они находятся, и от правления, при котором они живут, — устремляются к власти, следуя по пути или богатств, или интриг, или честолюбия, или славы, или таланта и т. д., но всегда стремятся к ней.

Если вспомнить теперь то, что я сказал в разделах II, III и IV этого сочинения, а именно:

1. что все люди обладают одинаковыми умственными способностями;

2. что эти одинаковые умственные способности являются в них мертвой потенцией, если они не оживлены страстями;

3. что чаще всего приводит в действие эту потенцию страсть к славе;

4. что все люди способны испытывать эту страсть в тех странах, где слава приводит к власти,

то из всего этого следует общий вывод: все люди с обыкновенной организацией способны быть одушевлены той страстью, которая может привести их к высочайшим истинам.

Мне остается ответить только еще на одно возражение. Все люди, можно сказать, способны любить славу⁸⁶. Но может ли эта страсть быть доведена в каждом из них до степени, достаточной для того, чтобы привести в действие их одинаковые умственные способности?

Чтобы разрешить этот вопрос, я предположу, что я нахожу все свое счастье в обладании славой. В этом случае страсть эта, столь же сильная, как и себялюбие, необходимым образом сольется во мне с этим последним чувством. Поэтому нужно доказать, что чувство себялюбия, общее всем людям, одинаково у всех них и что оно может во всяком случае сообщить им энергию и силу внимания, необходимую для приобретения величайших идей.

ГЛАВА XXIII

О СИЛЕ ЧУВСТВА СЕБЯЛЮБИЯ

Чувство себялюбия с различными видоизменениями у различных людей по существу одинаково у всех. Чувство это не зависит от большей или меньшей тонкости органов чувств. Можно быть глухим, слепым, горбатым, хромым и все же испытывать то же самое желание самосохранения, одинаковую ненависть к страданию и одинаковую любовь к удовольствию.

Ни сила, ни слабость темперамента, ни совершенство органов чувств не ведут к увеличению или к уменьшению в нас силы чувства себялюбия. Женщины любят себя не меньше, чем мужчины, однако у них иная организация. Силу этого чувства можно было бы измерить только на основании его *постоянства*, его *единства* и, если можно так выразиться, его привычного присутствия. Но во всех этих отношениях чувство себялюбия одинаково у всех людей.

Именно это чувство то наделяет их упорным мужеством, точно мечом для преодоления величайших препятствий, то придает им благоразумную робость, точно щит для избавления от опасности. Именно это чувство постоянного беспокойства каждого индивида о своем счастье непрерывно обеспечивает его самосохранение. Но если себялюбие в этом отношении одинаково у всех людей, то, значит, все люди способны испытывать одну и ту же степень страсти, т. е. ту степень ее, которая может привести в действие одинаковые умственные способности людей. Я готов предположить на минуту, что чувство себялюбия дает себя знать менее сильно у одного индивида, чем у другого; все же остается верным, что наличие этой разницы не подтверждается еще опытом; она должна поэтому быть весьма небольшой и не должна несколько влиять на умы.

Инженер отводит от какой-нибудь реки лишь часть воды, необходимую для приведения в движение колес и машин, находящихся на берегу; излишек вод течет своим путем и теряется в болотах. От чувства себялюбия достаточно подобным же образом отвести лишь часть его, способную привести в действие одинаковые умственные способности всех людей. А эта часть менее велика, чем это думают. Обратимся по этому вопросу к опыту. Он покажет нам, что страха линейки, розг или еще более легкого наказания достаточно, чтобы вызвать у ребенка внимание, требуемое для занятий чтением и языками⁸⁷. Но ведь такого рода внимание — самое тягостное и утомительное или во всяком случае один из самых тягостных и утомительных видов внимания^а.

^а Если занятия родным языком кажутся детям вообще менее трудными, чем занятия геометрией, то это потому, что дети испытывают более привычную потребность говорить, чем сравнивать между собою геометрические фигуры, и, раз потребность во внимании осознана, она становится менее неприятной и тягостной.

Опыт показывает нам далее, что все наши открытия являются даром случая; что ему мы обязаны первой догадкой о всякой новой истине; что все истины этого рода улавливаются, так сказать, помимо работы внимания; что поэтому их открытие всегда считалось результатом вдохновения. Вследствие этого нет поэта или философа, которому гармоническое, яркое, ясное и точное выражение своих мыслей не стоило бы больше забот и труда, чем самые удачные его идеи.

Отсюда следует, что все люди с обычной организацией способны к той степени внимания, которая требуется, чтобы подняться до высочайших истин, а если принять гипотезу, будто чувство себялюбия неодинаково у всех людей (гипотезу, несомненно, неверную), то ничтожная разница, которая существовала бы в этом отношении между людьми, не имела бы никакого влияния на их умы.

Действительно, предположим, что чувство себялюбия у одного человека более живое, чем у другого; от этого, как показывает опыт, названное чувство не станет в менее одинаковой степени обычным у обоих. Но всякое умственное превосходство зависит не столько от силы внимания, сколько от привычности его ^а.

^а Когда дело идет об уме, читатель должен, чтобы правильно понять мои взгляды, вспомнить, что ум есть продукт внимания, а внимание — продукт некоторой страсти, и в особенности страсти к славе; тщетно случай или воспитание стали бы предлагать нашему вниманию — в какой-нибудь книге, беседе и т. д. — предметы, из сравнения которых могли бы получить новые идеи. Предметы эти будут для нас бесплодными семенами, если их не оплодотворит внимание, т. е. если мы не будем иметь сильного интереса, сильного желания сравнивать их и наблюдать сходства и различия, соответствия и несоответствия, которые эти предметы имеют между собою, и их отношение к нам.

Если о великом человеке говорят часто, что здесь нужда помогла, то это потому, что, как правило, человек, занятый мыслью о том, чтобы избавиться от бедствий, вынужден думать и размышлять. Человек ведь есть всегда то, чем его делает положение, в котором он находится. Но так ли благотворно несчастье, как это утверждают? Да, оно может оказаться благотворным в ранней молодости, когда еще можно усвоить привычку думать и размышлять. Когда молодость прошла, несчастье удручает человека и мало просвещает его. *Несчастье*, говорит шотландская поговорка, *здорово за завтраком, безразлично за обедом и смертельно опасно за ужином*. Кроме того, несчастье вызывает часто в нас лишь сильную и короткую вспышку, ибо часто оно непродолжительно. Страсть к славе более длительна, и поэтому ей более свойственно порождать великих людей и формировать великие таланты.

Очевидно, что и при этом предположении все люди все же будут обладать степенью страсти, необходимой для приведения в действие их одинаковых умственных способностей.

ГЛАВА XXIV

О ВЕЛИКИХ ИДЕЯХ КАК РЕЗУЛЬТАТАХ ПОСТОЯНСТВА ВНИМАНИЯ

Бурная страсть вызывает часто умственное усилие, отличающееся более своей живостью, чем постоянством. Но приобретение больших талантов предполагает упорный труд и желание учиться не столько пылкое, сколько привычное.

Как ни заняты светские люди своими делами и своими удовольствиями, они испытывают временами желание славы. Почему же эти желания бесплодны у них? Потому, что они недостаточно продолжительны. Большие успехи связаны с постоянством желаний. Если Агнесам всегда удается обмануть Арнольфов^{1*}, то это потому, что желание встречаться со своими любовниками у них всегда более постоянно, чем желание помешать им в этом у тех, кто следит за ними.

Жители Камчатки, в известных отношениях обнаруживающие исключительную бестолковость, в других отношениях удивительно искусны. Если дело идет об изготовлении одежды, то их ловкость в этой области, говорит их бытописатель, превосходит ловкость европейцев^а. Почему? Потому, что они живут в одной из самых неблагоприятных в климатическом отношении стран на земле, где поэтому особенно постоянно чувствуется потребность в одежде. Но привычная потребность всегда хитра на выдумки. Если человек испытывает потребность в уважении, если последнее доставляет власть (эту обычную цель людских желаний), то он делает все, чтобы добиться ее.

^а Если жители Камчатки превосходят нас в некоторых искусствах, то, значит, они могут сравняться с нами и во всех других. Таланты представляют собою лишь различное приложение одного и того же ума к различным областям.

Тот, кто поднимает фунт птичьих перьев или шерсти, может поднять фунт железа или свинца. Таким образом, различие между предприимчивостью жителей Камчатки и нашей собственной зависит от различия потребностей, которые в различных условиях климата должны испытывать дикие или цивилизованные народы.

В обладании этим уважением человек видит все свое счастье, и тогда стремление к славе совпадает у него с себялюбием.

Но если это последнее чувство, как доказывает опыт, обычно имеется налицо у всех людей, то, следовательно, у всех их оно должно вызывать того рода внимание, с которым связано умственное превосходство.

Таким образом, все люди с обычной организацией способны не только испытывать страсти; они способны испытывать их в той обычной для них степени, которая достаточна для того, чтобы привести их к величайшим идеям.

Чем же объясняется чрезмерное неравенство умов? Тем, что никто не видит в точности⁸⁸ одних и тех же предметов; в том, что никто не находится в точности в одном и том же положении⁸⁹ и не получил одного и того же воспитания; тем, наконец, что случай, властвующий над нашим воспитанием, не всех людей приводит к одинаково богатым и обильным рудникам познания.

Таким образом, неравенство умов можно объяснить воспитанием, понимаемым в широком значении этого слова, куда включено даже представление о случайности^a.

Чтобы исчерпать доказательства этой истины, мне остается лишь показать в следующем разделе, в какие ошибки и противоречия впадают люди, придерживающиеся в этом вопросе иных принципов.

В виде примера я возьму Руссо. Из всех авторов именно Руссо рассмотрел в своих сочинениях вопрос о воспитании

^a Из того, что случайность будет играть всегда известную роль в нашем воспитании, не следует делать вывод о бесполезности воспитания. Воспитание никогда не сумеет превратить всех жителей какой-нибудь страны в выдающихся людей; но нет сомнений, что, если усовершенствовать воспитание, если придумать новые способы разжечь в людях желание славы, если часто ставить граждан в такие положения, в какие случай ставит их лишь редко, — нет сомнения, что можно будет бесконечно умножить господство случая.

В Риме имеются консерватории, или музыкальные школы, из которых все выходят хорошими музыкантами и где на протяжении всех лет всегда насчитывается несколько даровитых людей. В Париже также имеется инженерная школа, которая выпускает только образованных людей, но среди них имеются и выдающиеся люди.

Следовательно, хорошее воспитание способно умножить число выдающихся людей в данной нации, а из остальных граждан сделать людей здравомыслящих и умных. Этих выгод хорошего воспитания достаточно, чтобы побудить изучать науку, от совершенствования которой отчасти зависит счастье человечества.

танпи наиболее остроумным и красноречивым образом. Поэтому я разберу его основные взгляды. Если мне удастся доказать их ложность и противоречивость, то, думаю, общество, отказавшись тогда от прежних предрассудков, отнесется беспристрастно к моим принципам: оно обретет то спокойное и счастливое расположение духа, которое может заставить согласиться со всякой справедливой идеей, сколь парадоксальной она ни показалась бы сначала.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Некоторые видели в стремительности атак на войне отличительную черту француза. Но это не так; эта стремительность обща у них с турками и вообще со всеми народами, у которых нет привычки к строгой дисциплине. Впрочем, и французам может быть свойственна дисциплина. В войсках прусского короля имеются французы, и все они производят там упражнения на прусский манер.

² Слова *честный* и *вежливый* не суть синонимы. Порабощенный народ может быть вежливым. Привычка к страху должна сделать его почтительным. Подобный народ часто более вежлив и всегда менее честен, чем свободный народ. Купцы всех стран свидетельствуют о честности английских коммерсантов. Свободный человек, как правило, добродетельный человек.

³ У павшего низко народа нельзя встретить даже среди наилучших его граждан возвышенных характеров. Благородные и гордые души представляли бы здесь слишком резкий контраст с прочими людьми.

⁴ Кого больше всего прославляют на Востоке? Наибольшего тирана, наиболее гнусного и внушающего наибольший страх. Столь прославляемый при своей жизни тиран может всегда считать себя предметом обожания и любви своих народов. Если история нарисует наконец его верный портрет, то лишь много лет после его смерти. Как же может восточный монарх знать, уносит ли он действительно с собою в могилу уважение и сожаление своих подданных? Для этого есть только одно средство: поразмыслить о самом себе, выяснить, всегда ли он думает о счастье своих народов, и во всех ли своих действиях он считается всегда лишь с национальным интересом. Если он был к нему всегда равнодушен, то он может быть уверен — как бы его ни прославляли, — что его имя будет окружено презрением потомства. Смерть подобно копыю Итурпеля^{1*}: оно разрушает чары лжи и лести.

То, что смерть делает с султанами, немилость делает с их взырями. Если они занимают свой пост, то нет таких похвал, которых им бы не расточали, нет таких талантов, в которых им бы отказали. Но если они его покинули, то они оказываются лишь тем, чем были до того, как заняли этот пост, т. е. часто посредственными и лишенными таланта людьми.

⁵ Деспот никогда не предвидит нападения внешних врагов, но может ли он надеяться, что народы, привыкшие трепетать под бичом самовластия, павшие настолько низко, что они трусливо позволяют отнять у них обладание их собственностью, их жизнью и свободой, станут защищать его от нападения

могущественного врага? Монарх должен знать, что, разбивая цепь, которой частные интересы связаны с общим интересом, он уничтожает всякую добродетель; что если в государстве подорвана добродетель, то государство устремляется к своей гибели; что подпоры деспотического трона должны осесть под его тяжестью; что так как сила этого монарха только в его армии, то, когда армия эта разбита, его подданные, потеряв всякий страх, перестают сражаться за него. Два или три сражения решили на Востоке судьбу величайших государств. Примеры этому — Дарий, Тигран. Антиох. Римляне воевали 400 лет, чтобы подчинить себе свободную Италию, а для покорения рабской Азии им достаточно было только показаться там.

⁶ В интересах своей славы и собственной безопасности деспот должен был бы считать друзьями тех самых философов, которых он ненавидит, а врагами тех самых царедворцов, которых он ласкает и которые, низко лъстя всем его порокам, толкают его на преступления, подготавливающие его гибель.

⁷ По какому признаку можно отличать самодержавную власть от власти, основанной на законе? И та и другая издают законы, т. е. определяют смертную казнь или более мягкие наказания за нарушения этих законов; обе пользуются вооруженной силой общества, т. е. нации, либо для того, чтобы подкрепить свои указы, либо для отражения внешнего врага. Да, но они отличаются друг от друга, говорит Локк, в том отношении, что первая власть пользуется вооруженной силой общества для удовлетворения притхотей властителя и порабощения сограждан, вторая же власть пользуется силой для того, чтобы добиться для нации уважения от ее соседей, чтобы обеспечить гражданам обладание их собственностью, их жизнью, их свободой, чтобы увеличить их счастье. Наконец, использование вооруженной силы нации для всякой иной цели, кроме общей выгоды, есть преступление. Значит, самодержавную власть от власти, основанной на законе, можно отличить по различным целям, для которых она использует вооруженную силу нации.

⁸ Таким показался деспотизм добродетельному Туллию, седьмому римскому царю. У него хватило мужества самому поставить границы царской власти.

⁹ К числу различных причин неудач Франции в последней войне относят зависть друг к другу и бездарность ее генералов, а также их равнодушие к общественному благу. Но, быть может, не следовало бы забывать также о язве религиозного тупоумия, начавшего в это время охватывать все умы. В настоящее время французы не осмеливаются мыслить самостоятельно. С каждым днем они будут все меньше мыслить, и с каждым днем они будут становиться все менее грозными.

¹⁰ Любовь человека к власти так велика, что даже в Англии нет почти ни одного министра, который не желал бы облечь своего государя самодержавной властью. Головокружение от занимаемого высокого поста заставляет министра забывать, что тяжесть воздвигаемой им властью раздавит его самого и что он и его потомки, быть может, будут первыми жертвами ее.

Что заставляет добиваться высоких постов? Желание ли творить добро? Но всякий человек, который был бы одушевлен этим мотивом, считал бы высокие должности только бременем для себя. Если к ним стремятся, то не столько ради общественной выгоды,

сколько ради собственной пользы. Люди вовсе не рождаются столь добрыми, как это утверждают некоторые. Доброта предполагает любовь к другим, а у нас любовь сосредоточивается только на нас самих.

¹¹ Стремление к власти свойственно всем, и если для достижения ее не все люди решаются идти на одинаковые опасности, то это потому, что любовь к самосохранению у большинства из них уравновешивает любовь к власти.

¹² Почти во всех странах силе оказывают предпочтение перед справедливостью. Во Франции облагают особой податью (taille) адвокатов, освобождая от нее лейтенантов. Почему? Потому, что одни представляют до некоторой степени правосудие, а другие — силу.

¹³ Какие враги есть у знаменитого человека? Его соперники и почти все его современники. Его присутствие унижает их. Кто прославляет знаменитого человека? Иностранцы: иностранцы не имеют зависти, они воплощают собою живое потомство. Отдаленность в пространстве тождественна отдаленности во времени. Уважение иностранцев является для ученых и писателей почти единственной пагубой, которую они могут в настоящее время ожидать за свои труды.

¹⁴ Если люди вынуждены внутренне признать, что другой человек умнее их, они начинают его ненавидеть, его присутствие неприятно им; они желают отомстить ему, избавиться от него. Для этого либо его заставляют покинуть родину, как Декарта, Бейля, Мопертюи и других, либо его преследуют, как Монтескье, Дидро и др.

Говорят, что великий человек не является таким в глазах своей жены или своего лакея. Это верно. Можно ли привыкнуть жить с человеком, которым приходилось бы слишком часто восхищаться? В этом случае или решаются расстаться с ним, или мало уважают его.

Знать и богатство могут на некоторое время заставить молчать завистников, но последние возмущаются тайне. Мы не выносим, чтобы человек, стоящий выше нас уже по своему рождению и положению в обществе, превосходил нас также и талантами. Положим, что этот человек пишет, как, например, король Фридрих. Тогда мы высмеиваем в нем литературный талант, которым мы восхищаемся в Цезаре, Цицероне и т. д. Мы с сожалением видим, что хорошим произведением его заслуги подтверждаются. Как, говорят, разве недостаточно было бы одного его разговора, чтобы убедиться в его уме? Нет, при разговоре идеи чрезвычайно быстро сменяют друг друга; мы не имеем времени ни для того, чтобы рассмотреть их со всех сторон, ни для того, чтобы разобраться в правильности их. Кроме того, тон и жестикация говорящего, настроение слушающего — словом, все может вводить нас в заблуждение. Поэтому мы всегда вправе отрицать в этом случае наличие заслуг. Мы пользуемся таким правом и утешаемся этим.

По-видимому, чтобы быть любимым, не следует пользоваться большим уважением. Всякое превосходство вызывает уважение к себе и вместе с тем ненависть. Почему приветливость человека дает возможность выносить его заслуги? Потому, что она вызывает у нас некоторое презрение.

Сдержанный выдающийся человек вызывает одновременно уважение и ненависть, а приветливый выдающийся человек — любовь и презрение. Тот, кто хочет, чтобы окружающие любили его, должен довольствоваться небольшим уважением. Забыть о заслуге — значит простить ее. У великих талантов бывает некоторое число поклонников и мало друзей. Большинство людей втайне желает не устремлять ввысь ум, а распространять вширь глупость.

¹⁵ Что побуждает людей покупать сатирические листки? Сдерживающаяся в них критика великих людей и похвалы, которые в них уделяют посредственностям. В этом отношении нельзя заменить человеческой природы. Если афиняне, говорит Плутарх, так быстро выдвинули молодого Кимона на важнейшие должности, то это было сделано для того, чтобы ущемить Фемистокла. Им надоело очень долго уважать одного и того же человека. Почему так чрезмерно прославляют вновь появляющиеся дарования? Часто для того, чтобы унижить признанные дарования. Если, говорит Плутарх, проникнуть глубже в человеческое сердце и изучить его движущие начала, то можно убедиться, что, оказывая человеку услугу, мы часто руководствуемся не столько желанием обязать его, сколько желанием унижить другого человека.

¹⁶ Вообще добродетельные и мало просвещенные отцы неохотно смотрят на то, что их сыновья посещают ученых и писателей и предпочитают их обществу всякому другому. Это унижительно для отцовской гордости.

¹⁷ Как утверждают, науки и философия не имеют во Франции покровителей. Можно, не будучи пророком, утверждать, что следующее поколение будет здесь лишено ума и талантов и что из всех искусств будут процветать только искусства, связанные с роскошью.

¹⁸ Вообще насилие и преследование соразмерны заслугам преследуемого. Во всех странах знаменитые люди были жертвами немилости. В Англии лишь за последние 150 лет стало возможным безнаказанно быть великим человеком.

¹⁹ Немногие авторы мыслят самостоятельно. Большинство их пишет книги на основании других книг. Однако тот, кто не имеет своего собственного стиля, не должен рассчитывать на уважение потомства.

²⁰ Прежде, когда постоянно преклонялись перед древними, человек, который втайне предпочитал бы Тасса^{2*} Вергилию или Гомеру, никогда в этом не сознался бы. Однако почему нельзя высказать свое мнение, если не выдаешь его за некий обязательный закон? Что может лучше, чем разнообразие взглядов, просветить вкус публики?

²¹ Если государь и судья боятся суда потомства, то обыкновенно они удостаиваются его уважения: они справедливы в своих указах и приговорах. То же самое можно сказать об авторе. Если, работая над своей книгой, он помнит о потомстве, то его манера сравнивать становится величественной. Он открывает важные истины, он добивается всеобщего уважения, потому что он пишет для людей всех времен и стран.

²² Этот поповский пасквиль, носящий заглавие «Критика Велизария»^{3*} (*Censure de Belisaire*), внушает отвращение свирепостью и жестокостью своих утверждений. Он всегда вызывает

в моей памяти следующий прекрасный стих Расина: «Как, Матан! Разве так говорят священники?»

²³ Граждане, которым следует воздавать больше всего уважения, — это талантливые генералы и министры, мужество или мудрость которых обеспечивают величие или счастье государств; но после этих глав в области военной или законодательной какие граждане больше всего приносят пользы? Те, кто совершенствует искусство и науки, чьи полезные и приятные открытия удовлетворяют потребности человека или избавляют его от скуки. Почему же богачи или фавориты оказывают больше уважения, чем великому математику, великому поэту и великому философу? Потому, что дань нашего первого уважения мы платим власти, с обладанием которой мы всегда связываем представление о счастье и удовольствии.

Власть — это идол молодежи и даже зрелого человека, пока он еще может вплетать мирты в свои лавры.

Если же старик презирает иногда эту власть, то это потому, что он уже не извлекает из нее той же выгоды.

²⁴ С того момента, как размножение людей заставило их возделывать землю, они почувствовали необходимость обеспечить земледельцу его жатву и собственность на поле, которое он возделывает. Что удивительного, если до возникновения земледелия сильный думал, что он имеет такое же право на невозделанный бесплодный участок земли, как и тот, кто первым захватил его?

²⁵ Сопротивление власти имущим считается бунтом и преступлением даже в цивилизованных странах. Нет лучшего доказательства этого факта, чем жалоба, с которой один английский купец обратился в палату общин. «Милостивые государи, — сказал он, — вы не можете представить себе вероломство, которое проявляют к нам негры. Злоба жителей некоторых африканских берегов так велика, что они предпочитают смерть рабству. Когда их покупают, они закалывают себя кинжалом или бросаются в колодцы. Для покупателя это чистый убыток. Судите на основании этого об испорченности этой проклятой расы».

²⁶ В какие моменты народы нарушают международное право? Когда они могут сделать это безнаказанно. Неокрепший еще Рим был справедливым и добродетельным. Когда же он завоевал Македонию, то ни один народ не мог уже сопротивляться ему. Рим, ставший более сильным, перестал быть справедливым. Его жители утратили тогда свою честь и верность своему слову. Власть имущий всегда несправедлив. Справедливость между народами всегда основывается на взаимном страхе, и отсюда вытекает политическая аксиома: *si vis pacem, para bellum* (если хочешь мира, готовься к войне).

²⁷ Аристотель причисляет разбой к разновидностям охоты. Солон среди различных профессий говорит и о профессии вора. Он замечает только, что не следует обкрадывать ни своих сограждан, ни союзников республики. При первом из своих царей Рим был приютом разбойников. Германцы, говорит Цезарь, считают грабеж и опустошение единственным подходящим упражнением для молодежи, которое может излечить их от лени и сделать из них людей.

²⁸ Утверждают, что существует международное право, имеющее силу между англичанами, французами, немцами, итальян-

цами и т. д. Это верно. Оно установилось у народов вследствие страха перед возмездием. Приблизительно одинаковая сила этих народов заставляет уважать его. Но когда они свободны от этого страха, когда они имеют дело с дикими народами, международное право тотчас же теряет всякое значение в их глазах.

Смеют ли говорить о международном праве, о естественном законе и о добродетели христианские народы? Ведь они, хотя им не причиняли никакого вреда индийцы на Востоке, высадились на их берега, опустошили их города и изгнали их жителей; они принесли в африканские деревни вместе с европейскими товарами раздоры, междоусобицы и воспользовались этим, чтобы превратить их жителей в рабов; они, наконец, без всякого повода и не испытав никакой обиды со стороны западных индийцев высадились в Америке, низвергли троны Монтезумы и пинков, вырезали их подданных и захватили их государства, забыв о праве первого, завладевшего имуществом (*Primo occupanti*).

Церковь хвалится тем, что она заставляет возвращать украденные вещи и вклады. Но заставила ли она вернуть их настоящим владельцам мексиканское и перуанское государства? Разве, наоборот, она не грабила вместе с государями Новый свет? Разве она не разбогатела за счет захваченной там добычи, и, наконец, разве она своим поведением не заставила презирать предписания того самого естественного закона, который, по ее словам, запечатлен богом во всех сердцах?

Впрочем, существует ли более бессмысленная и более мелочная нравственность, чем нравственность церкви? Пусть какой-нибудь государь возьмет себе любовницу, пусть он попытается удовлетворить какую-нибудь прихоть, довольно безразличную для общественного блага. Если эта прихоть или эта любовница не соответствует планам церкви, духовенство поднимается и начинает кричать о безбожии. Но пусть тот же государь пойдет войной на народ, который ничем не обидел его, и опустошит его земли; пусть он погубит в этой кампании 400 тысяч человек, наложит на своих подданных чрезмерное бремя налогов — духовенство будет хранить молчание. Чудесная нравственность у католического духовенства!

²⁹ Говорят, люди любят справедливость. Но органом ее являются судебные учреждения. Отправляя правосудие по поручению государства, они в особенности должны защищать невинность. Но защищают ли они ее в действительности? В Испании и в Англии уголовное дело решается по-разному. При процедуре, когда обвиняемому дают адвоката, когда его процесс ведут публично, невинный человек, бесспорно, более защищен от коррупции и от пристрастия судей. Это наилучшая форма судопроизводства. Почему она не принята повсюду? Почему судьи не требуют введения ее? Потому, что они думают, что, чем произвольнее будут их приговоры, тем больше они будут внушать страха и тем большую власть над народом они приобретут. Таким образом, столь прославленная любовь к справедливости не врождена людям и не всем им свойственна. Но как можно называть себя другом человечества, когда не являешься даже другом справедливости?

³⁰ Идею счастья, тесно связанную в нашей памяти с идеей власти, с трудом можно от нее отделить. Люди уважают даже видимость власти и силы. Может быть, этим чувством следует объяснить известное восхищение перед самоубийством. Мы пред-

полагаем наличие большой силы у того, кто настолько презирает жизнь, что решается умереть от собственной руки. Какой иной причиной, если не любовью к власти, следует объяснить исключительную ненависть разумных женщин к мужчинам, обладающим некоторыми особыми склонностями? Такие люди, как Александр, Сократ, Солон, Катон, были героями, верными друзьями, добродетельными гражданами. Таким образом, можно, обладая этой склонностью, работать с пользой и для своей семьи, и для отечества. Чем же объясняется отвращение женщин к мужчинам, которых в этом подозревают? Тем, что женщины имеют мало власти над такими мужчинами, а это отсутствие власти невыносимо для них. Ведь настолько уменьшилось число рабов под их властью! Мужчины поэтому виновны в преступлении, которое может искупить одна только смерть.

³¹ Только сила вызывает взаимное уважение у монархов. Филипп II работал в своем кабинете; вдруг он почувствовал некоторую нужду; он позвал, но никто не пришел на его зов. Его шут начал смеяться. «Над чем ты смеешься?» — спросил король. «Над уважением, почтением и страхом, которые вы внушаете Европе, и презрением, которое она почувствовала бы к вам, если бы вы перестали быть сильным и если бы ваши прочие подданные служили вам так же хорошо, как ваши слуги».

³² Государь редко испытывает чувство восторга перед справедливостью. Немногие из них воодушевлены благородной любовью к человечеству. В древности, например, ее обнаружил один Гелон. Он ненавидел человеческие жертвоприношения; он начал войну в Африке и заставил побежденных карфагян отказаться от этих ужасных жертвоприношений. Екатерина равным образом начала войну, чтобы побудить поляков к веротерпимости. Из всех войн, быть может, только эти две предпринимались действительно ради счастья народов. Гелон и Екатерина II⁴⁴ заслужат в этом отношении уважение потомства. Если желать оценить заслуги государей, то следует судить о них не по небольшому злу, причиненному благодаря каким-нибудь домашним неприятностям, но по великим благодеяниям, которые они оказали или желали оказать человечеству. Желание блага редко встречается у государей. Обыкновенно общество выигрывает только тогда, когда интерес власть имущего совпадает с общим интересом. Когда французские короли дали свободу своим подданным и ослабили власть феодалов? Тогда, когда горделивые вассалы короны стали такими же могущественными, как сами государь. Движимые честолюбием, монархи освободили тогда народы.

Пусть восточные государь не хвалятся своей любовью к справедливости. Тот, кто хочет довести своих подданных до отупения, не любит их. Бессмысленно думать, будто народы станут от этого более послушными и будто ими будет легче управлять. Чем просвещеннее нация, тем более она повинуетя разумным требованиям справедливого правительства. Тот, кто хочет отнять у граждан свет знания, желает безнаказанно провялать несправедливость. Таковы вообще люди, а между тем большинство их осмеливается называть себя друзьями справедливости. Какое незнание самого себя! Какое лицемерие!

³³ Существуют ли, как говорят, люди, которые жертвовали бы своим наиболее дорогим интересом во имя интересов справедливости? Нет, но существуют люди, для которых нет ничего более

дорогого, чем справедливость. Это благородное чувство является в них результатом превосходного воспитания. Как запечатлеть его во всех душах? Показывая им, с одной стороны, что несправедливый человек подвергается унижению и презрению и что, следовательно, он слаб, а с другой стороны, что справедливый человек пользуется уважением, почетом и поэтою он силен.

Если благодаря этому идея справедливости оказалась связанной в памяти с идеями власти и счастья, то они сливаются, образуя одну идею. Если образовалась привычка вспоминать их вместе, то вскоре невозможно будет их отделить одну от другой. Когда эта привычка усвоена, считается делом чести всегда быть справедливым и добродетельным, и тогда нет ничего такого, чем не пожертвовали бы ради этой благородной гордости.

Вот каким образом любовь к власти и к уважению порождает любовь к справедливости. Правда, эта последняя чужда человеку; любовь же к власти, наоборот, прирождена ему. Она свойственна всем людям — как добродетельному человеку, так и мошеннику, как дикарю, так и цивилизованному человеку. Любовь к власти является непосредственным результатом физической чувствительности, а желание справедливости — результатом воспитания. Поэтому добродетель народов зависит от мудрости законов. Люди, считающиеся добродетельными у народа, у которого чтут справедливость, были бы несправедливыми у свирепого народа, у которого справедливость считалась бы слабостью и трусостью. Таким образом, справедливость любят не ради нее самой. Вопрос этот давно уже решен поведением и нравами всех народов и всех деспотов.

³⁴ Кто является тиранами народа при феодальном правительстве? Сенюры. Значит, могут сказать, что тираны здесь многочисленнее, чем в деспотических странах. Я сомневаюсь в этом. Султану подчинены визирь, паши, беи, сборщики податей, начальники таможи или государственных имуществ, наконец, бесчисленные множества служащих или субдеспотов, которые еще более безучастны, чем землевладельцы, к счастью вассалов.

³⁵ В Англии мелкий люд может выказывать презрение к порочности власть имущих. Это потому, что мелкий люд находится под покровительством закона и ничего не должен бояться со стороны последних. Если, наоборот, во всякой другой стране относятся с уважением к порокам власть имущих, то это потому, что в них порок вооружен властью, а власть можно ненавидеть, но не презирать.

³⁶ Атила, подобно Тахмаспу, кичился тем, что он бич божий.

³⁷ Мятежник и бунтовщик — оскорбительные имена, которыми могущественный угнетатель называет слабого угнетенного.

³⁸ Во всех тех государствах, где мимолетное желание государя является законом, все законы противоречивы и нельзя встретить нравственных принципов ни у тех, кто управляет, ни у тех, кем управляют.

³⁹ Презрение есть удел слабости. Быть может, эта истина — единственная, которую знают все государи. Если монарх теряет провинцию или город, то он заслуживает презрения в своих собственных глазах. Если же он несправедливо отнимает этот город или эту провинцию у своего соседа, то он считает себя за это достойным уважения. Он постоянно видит, что несправедливость почитается у власть имущих и что мир молчит перед силой.

⁴⁰ Сильный и злой человек, утверждает один английский поэт, страшится только еще более сильного и более злого. Но справедливый и добродетельный человек должен страшиться всех людей: все его сограждане являются его гонителями, все, даже его друзья, нападают на него. Его добродетель избавляет их от страха мести с его стороны. Его гуманность принимают у него за слабость; таким образом, при порочном правительстве добрый и слабый человек является прирожденной жертвой злого и сильного.

⁴¹ Один английский лорд прибыл в Италию и объехал расположенные вокруг Рима деревни. Внезапно он сел снова на корабль, чтобы вернуться в Англию. «Почему, — спросили его, — вы покидаете эту прекрасную страну?» «Я не могу, — ответил он, — выдержать здесь дольше зрелище бедствий римских крестьян; их нищета разрывает мне сердце; они потеряли человеческий облик». Возможно, этот вельможа преувеличивал, но он не лгал.

⁴² Убийство Клита^{5*} было пятном на совести Александра, а казнь голландского газетчика — позором для французского правительства. Преступления обоих этих несчастных были одни и те же: оба они имели неосторожность быть правдивыми. В прошлом веке возмущались тем, как поступили с этим газетчиком. Но бываюи еще более подлые времена, когда казнь правдивого человека находит сторонников.

⁴³ Испытывая жалость по поводу судьбы названного газетчика, начинаешь сравнивать преступление с наказанием. Кажется, что мы перенесены в царство того индусского султана, который приказал повесить своего визиря за то, что он положил три крупинки перца в сливочное пирожное. Знаменитый и несчастный де ля Шалотэ чуть-чуть не подвергся той же участи за то, что он подложил три крупинки соли в письмо, посланное, говорят, одному генерал-контролеру.

⁴⁴ Почему не осмеливаются во Франции изобразить на сцене легкомыслие вельмож? Потому, что, утверждают, комедии этого рода не оказали бы серьезного действия. Это верно. Поэт, который надеялся бы путем забавного и остроумного изображения легкомыслия исправить в этом отношении нравы французов, ошибся бы. Нельзя заполнить бочку Данаид^{6*}. Нельзя ожидать здорового смысла в стране, где женщины и священники имеют определенное влияние. Здесь может процветать только дух легкомыслия, ибо только он ведет к богатству.

⁴⁵ Талантливый человек пользуется покровительством невежды не благодаря своему гению, а всегда благодаря какому-нибудь особенному событию. Подобно тому как безобразие ищет общества слепых, невежество избегает общества знающих людей.

⁴⁶ Бездарный визирь всегда смотрит косо на человека, отправляющегося в путешествие к просвещенным народам и государям. Визирь этот боится, чтобы по своему возвращении путешественник не стал презирать его. Прирожденный враг образованных людей, он кичится своим презрением к ним, и по этому презрению о нем судят иностранцы. Великие министры и великие государи всегда были покровителями наук. Доказательством этого являются принц Брауншвейгский, Екатерина II, принц Генрих Прусский и т. д.

⁴⁷ Некогда шуты имели привилегию говорить иногда правду государям, да и то с какой осторожностью и в какие минуты! «Будем подражать, — сказал один из них, — благоразумию кошек,

которые считают себя в безопасности в каком-нибудь помещении лишь в том случае, если они предварительно обнюхали все уголки его».

⁴⁸ Европа обязана ничтожными остатками свободы той свободе, которой пользуются еще англичане и голландцы. Кроме них, нет почти ни одного народа, который не стонал бы под игом невежества и деспотизма. Поэтому всякий добродетельный человек и хороший гражданин должен быть заинтересован в свободе этих двух народов.

⁴⁹ Деспотизм царствует лишь над автоматами. Характером люди обладают только в свободных странах. У англичан есть характер. У жителей Востока его нет: страх и раболепие заглушают его в них.

⁵⁰ Правительство, запрещающее жаловаться по вопросам государственного управления, как бы дает обет самоослепления, обет распространенный. «До тех пор пока мои финансы будут в порядке и моя армия хорошо дисциплинирована, — говорит один великий государь, — пусть кто угодно критикует мою дисциплину и мое правление. Но если бы я стал пренебрегать финансами и войском, то, кто знает, не дошел бы я до того, что заставил бы писателей молчать?»

⁵¹ Кто получает пост министра, у того уже нет времени изучать принципы: он должен применять их. В суете текущих дел можно ознакомиться лишь с частностями, всегда игнорируемыми тем, кто не занимает этого положения.

⁵² Стеснять свободу печати — все равно что оскорблять нацию; запрещать ей чтение некоторых книг — все равно что признавать ее рабской или невежественной. Это запрещение должно вызывать в ней негодование. Но, скажут, нация одобряет или осуждает какую-нибудь книгу, почти всегда руководствуясь взглядами власти имущих. Да, в первый момент, но это первое суждение не имеет значения; это — шумиха, поднятая теми, кто выступает в пользу автора или против него. Подлинно интересное для автора суждение — это обдуманное суждение общества, которое почти всегда справедливо.

⁵³ Возраст, когда доходят до высоких постов, часто тот возраст, когда усилия внимания становятся особенно тягостными. Поэтому тот, кто в этом возрасте заставляет меня заниматься, — мой враг. Я требую наказания его и желаю его смерти. Я готов простить поэтам их прекрасные стихи, ибо могу читать их, не напрягая внимания; но я не прощаю моралисту его правильных рассуждений, так как важность разбираемых им вопросов заставляет меня размышлять. Если он борется с моими предрассудками, то он оскорбляет мою гордость; кроме того, он вырывает меня из объятий лени: он заставляет меня думать. Но всякое принуждение порождает ненависть.

⁵⁴ Почва, на которой произрастает деспотизм, обильна бедствиями и чудовищными преступлениями. Деспотизм — это извращение власти, бесполезное для счастья государя. Одна только мысль о такой власти заставляла бы содрогнуться римлянина. Она — пугало для англичанина. «Будем остерегаться, — говорит по этому поводу судья Пратт, — чтобы изучение итальянского и французского языка не довело до упадка свободный народ».

Чем являются в глазах англичанина европейские вельможи? Это — люди, соединяющие свойства угнетателей народов со свой-

ствам рабов, граждане, которых даже закон не может спасти от более важного лица. В Португалии вельможа не является собственником ни своей жизни, ни своего имущества, ни своей свободы. Это — домашний негр, которого бичуют по непосредственному приказанию господина и который презирает негра из поселка, наказываемого по приказанию управляющего. Таково почти при всех европейских дворах единственное заметное различие между скромным буржуа и горделивым вельможей.

⁵⁵ Нужно либо пресмыкаться, либо быть подальше от двора. Тот, кто вынужден жить его милостями, должен раболепствовать, или он умрет с голоду. Немногие люди решаются на последнее.

⁵⁶ Покойный прусский король, ужиная с английским послом, спросил у него, что он думает о государях. «Как правило, — ответил тот, — это негодные субъекты; они невежественны и испорчены лестью. Единственное, в чем они мастера, — это езда верхом. Из всех проходящих с ними в соприкосновение только лошадь не льстит им и ломает им шею, если они ею плохо управляют».

⁵⁷ Чем более деспотично государство, чем более унижены и развращены в нем человеческие души, тем больше говорят в нем о любви к своему тирану. В Марокко рабы благословляют свою судьбу и своего государя, когда он удаляет их чести лично отрубив им голову.

⁵⁸ Государь, развращенный лестью, похож на испорченных детей. Привыкнув повелевать рабами, он часто хотел бы сохранять тот же тон по отношению к равным и иногда платился за это потерей части своих владений. Так были наказаны римлянами Тигран, Антиох и т. д., когда эти деспоты осмелились приравнивать себя к свободному народу.

⁵⁹ Богач желает, чтобы его хвалили за богатство. Человек благородного происхождения желает, чтобы его хвалили за знатность. Хорошо сложенный человек желает, чтобы его хвалили за стройность. В вопросе о похвалах люди не особенно щепетильны, они приспособляются ко всему.

⁶⁰ Генеральный человек самостоятельно мыслит. Его взгляды противоречат иногда общепринятым взглядам: он оскорбляет тщеславие большинства. Но чтобы не оскорблять никого, надо иметь лишь те идеи, которые имеют все. В этом случае у вас не будет гения, но зато не будет и врагов.

⁶¹ С альбигойцами поступили так же, как с вальденсами. Нельзя представить себе тех эксцессов, до которых дошли в своем неистовстве против них фанатики нетерпимости. Самуил Морланд, английский посланник в Савойе, оставил нам ужасающее описание учиненных над вальденсами зверств, свидетелем которых он был. «Никогда, — говорит он, — христиане не совершили столько жестокоостей по отношению к христианам. Бородам (так называли священников этого народа) отрубали головы, их варили, их ели. Булыжниками распарывали живот женщинам до пупка. У других отрезали груди, их жарили на огне и потом ели. У других жгли срамные части, их вырывали и на их место клали горящие уголья. У иных вырывали щипцами ногти. Полумертвых людей привязывали к хвосту лошадей и волочили в таком положении по скалам. Наиболее легкая из казней заключалась в том, что людей сбрасывали с крутой горы, с которой они падали часто на деревья, на которых повисали и погибали от голода, холода или

ран. Некоторых разрубали на тысячи кусков, которые разбрасывали по полям. Девственниц сажали на кол, втыкая его в половые органы, и в таком положении их носили в виде знамен. Между прочим, одного молодого человека, по имени Пеланшюн, волокли по улицам Люцерна, усеянным острыми камнями. Если от боли он поднимал голову или руки, то по ним наносили удары. Наконец у него отрезали срамные части, заткнули их ему в горло и задушили его таким образом; затем у него отрубили голову, а труп бросили на берегу. Католики разрывали собственными руками на части детей, которых они вытаскивали из колыбели; они жарили живьем маленьких девочек, отрезали у них груди и ели их. У иных они отрезали носы, уши и другие части тела. Иным они наполняли рот порохом и поджигали его. У некоторых они сдирали с живых кожу и натягивали ее перед окнами в Люцерне; у других они вырывали мозг, варили и жарили его и потом ели. Наиболее легкими мучениями были, когда у вальденсов вырывали сердце, когда их сжигали живыми, рубили на тысячу кусков и топили их. Иезуиты показывали себя настоящими католиками и достойными последователями Рима, когда они в Гарсильяно растопили печь и заставили броситься в пламя одиннадцать вальденсов одного за другим до последнего, которого эти убийцы бросили туда сами. Во всех долинах валялись трупы и умирающие. Альпийские снега были окрашены кровью. Здесь валялась отрезанная голова, там туловище, ноги, руки, внутренности и трепещущее сердце». За какое же мнимое преступление наказывали с такой жестокостью вальденсов? Говорят, за мятеж. Их обвиняли в том, что они не покинули своих жилищ и своей родины по первому приказанию Гастальда и папы; что они не удалились в изгнание из страны, которой они владели полторы тысячи лет и где они всегда свободно отправляли свое богослужение. Так кроткая католическая религия, ее кроткие служители и ее кроткие святые всегда обращались с людьми. Что еще могли бы сделать апостолы дьявола?

⁶² Нельзя внимательно изучать религии, не испытывая крайнего презрения к человеческому роду вообще и к самому себе в частности. Неужели, говоришь себе, нужны были тысячи лет, чтобы раскрыть таким умным людям, как я, глаза на нелепости языческих сказок? Неужели евреи пребывают еще в своих заблуждениях? Неужели мусульмане верят еще в Магомета и, может быть, тысячи лет будут признавать истинность Корана? Человек, очевидно, очень неразумное и легковверное животное, а наша планета, как выразился один философ, — это бедлам, сумасшедший дом мира.

⁶³ Почему в Англии к духовенству, вообще говоря, относятся довольно хорошо? Потому, что оно проявляет веротерпимость; потому, что закон связывает ему руки, не позволяет ему вмешиваться в государственные дела; потому, что оно никому не причиняло, да и не может причинить вреда; потому, что содержание английского духовенства не ложится таким бременем на государство, как содержание католического духовенства; наконец, потому, что в этой стране религия есть, собственно говоря, лишь философское убеждение.

⁶⁴ То, что я говорил о ревности, я могу сказать и о смирении. Как бы глуп ни был какой-нибудь кардинал, он все же не на-

столько глуп, чтобы считать себя подлинно смиренным, когда в Риме он называет себя покровителем такого государства, как Франция. Истинное смирение отказалось бы принять столь пышный титул. Это не значит, что я отрицаю тупоумие некоторых прелатов. Но их честолюбивые притязания доказывают не столько хитрость духовенства, сколько глупость народов. Всякий раз, рассказывая мне один путешественник, когда во время моего пребывания в Японии произносили имя Dot-Sury-Sama, т. е. монсеньёр Дуралей, я невольно вспоминал имя какого-нибудь епископа.

⁶⁵ Иисус не имел никакой власти на земле. Если бы он желал, чтобы духовенство обладало властью над землей, он с самого начала завещал бы эту власть своим апостолам. Но их преемники и до сих пор не в состоянии доказать нам своих прав на такое наследство.

⁶⁶ Саддукеи считались самыми добродетельными из евреев. По-еврейски «суддук» означает праведный. Поэтому саддукеи были и должны были менее ненавистны богу, чем фарисеи. Эти последние требовали смерти и крови Иисуса Христа. Неверие менее противоречит и всегда будет менее противоречить духу Евангелия, чем бесчеловечность и богоубийство.

⁶⁷ К стыду для Франции, Руссо преследовали в Париже не меньше, чем в Невшателе. Ученые мужи Сорбонны не могли простить ему его диалога о философе и энтузиасте. Этот диалог, говорили они, слишком сильно написан. Что ответить на это? Рассуждения Руссо были либо истинными, либо ложными. Опровергать правильные рассуждения указанием на их силу несправедливо; опровергать ложные рассуждения насильем бессмысленно — это значит признаваться в собственном невежестве, что значит умалять свое собственное дело. Софизмы опровергаются сами собою. Истину не трудно защитить.

Помимо того, каковы сами возражения Руссо? Они те же, которые делает всякий бонза, дервиш, мандарин монаху, желающему обратить его в христианство. Если эти возражения неопровержимы, то что делать монахам в Китае? Почему требуют они от государей денег, пособий, подачек на содержание миссии, в которой им не удается никого обратить в христианство? Но монахи в своей деятельности на Востоке преследуют только одну цель: обогатиться торговлей; они употребляют суммы, расточаемые им народами, лишь для того, чтобы лишить эти народы дохода от законной торговли. В этом случае разве несправедливы обвинения народов по их адресу? А в чем они могут обвинить Руссо? Руссо, скажут они, проповедует естественную религию. Но она не противоречит религии откровения. Руссо был честен в своей критике. Руссо отнюдь не автор гнусных пасквилей под названием «*Gazette Ecclésiastique*» («Церковная газета»), а между тем он был изгнан, а «нувелиста» не тронули. Кто же были твои судьи, о славный Руссо? Фанатики, которые истребили бы, если бы они могли, память о Марке Аврелии, Антонине, Траяне и вменили бы в преступление величайшему европейскому государю его выдающиеся таланты. Как относиться к подобным суждениям? Не обращать на них никакого внимания, апеллировать к потопству и презирать все суждения, не подсказанные разумом и справедливостью. Потопство будет судить судей и отметит, что наибольшую нетерпимость проявляли те из них, которые если

и не были наибольшими плутами, то во всяком случае были наибольшими глупцами.

Жертва козней духовенства, Руссо подвергся в наше время таким же преследованиям, каким подвергался в XII в. Абельяр со стороны монахов аббатства Сен-Дени. Абельяр отрицал, что его основателем был тот Дионисий Ареопагит, о котором говорится в Новом завете. С этого момента его объявили врагом славы и короны Франции. В результате современные ему святые позорили, преследовали и изгоняли его.

Тот, кто противится притязаниям монахов, безбожник. Отсюда обвинения в кощунстве и в атеизме, которые приняли теперь столь нелепый и смехотворный характер. К чести человеческого ума, я надеюсь, что вельможи, государи, министры и должностные лица устыдятся когда-нибудь того, что они являются жалким орудием неистовства и мстительности монахов. Они побоятся, чтобы заслуги лиц, сосланных в изгнание и получивших наказание, не превратили этих наказаний в почет.

Афиняне, желая обеспечить свою свободу, изгоняли иногда какого-нибудь слишком знаменитого гражданина. Страх перед подчинением какому-нибудь господину заставлял их удалять из страны великого человека. Европейским народам не угрожает эта опасность, у них нет тех же оснований совершать те же несправедливости.

⁶⁸ Кассиодор ^{7*} был такого же мнения, как и апостол Иоанн. Религия, говорит он, не может быть навязываема. Сила поражает лицемеров, а не верующих. *Religio imperari non potest, quia nemo cogitur ut credat.* Вера, говорит святой Бернард, должна вызываться убеждением, а не повелением: *fides suadenda non imperanda.* Нет ничего более добровольного, говорит Лактанций, чем религия; ее совсем нет у тех, кому она противна. *Nihil est tam voluntariam quam religionem in qua, si animus aversus est, jam sublata, jam nulla est.* Нет ничего менее религиозного, говорит Тертуллиан, чем желать принудить силой к вере: верить можно не вследствие насилия, а только свободно. *Non est Religionis Religionem cogere Velle, cum sponte suscipi debeat, non vi.*

⁶⁹ Скажут, что язычники верили в обманщиков-жрецов. Верно, но разве эта вера давала право преследовать их? Тысячи людей верят в разных шарлатанов и знахарей, предпочитая их врачам. Вправе ли последние требовать смертной казни для людей, не верящих в медицину? В телесных болезнях, как и в болезнях духа, всякий имеет право избирать себе врача.

⁷⁰ Часто, говорит Ламберт из Пруссии в своем «*Novum organum*», людям кажется, что они думают и верят больше, чем они думают и верят в действительности. Это — источник множества заблуждений. Человек воздерживается, например, от чтения запрещенных книг. Такой человек верит, что он верит, и тихо-молку подозревает ложность своей веры. Это — недобросовестный защитник религии, не осмелившийся прочесть изложение доводов противной стороны.

⁷¹ Кормчие корабля суеверия — люди умыне. Что касается матросов его, то большинство их глупцы. Правящая верхушка духовенства не требует много ума от всей остальной массы духовенства, и в этом отношении последнее не в чем упрекать. «Чем

занимается ваш брат — священник?» — спросили однажды Фонте-
неля. «Утром, — ответил философ, — он читает обедню, а вечером
он не знает, что говорит».

⁷² Нет ничего более утонченно-нелепого, говорят англичане,
чем доводы, к которым прибегают католические теологи для того,
чтобы доказать невежественным католикам истинны папизма. При
помощи подобных аргументов можно таким же образом доказать
истину Корана, 1001-й ночи и разных детских сказок. Кто хочет
убедиться в этом, пусть применит к этим сказкам схоластические
софизмы и различия — в них не окажется ничего невероятного
и с теологической точки зрения.

⁷³ Под влиянием преследований Декарт покинул Францию,
унося с собою, подобно Энею, свои печаты, т. е. уважение и со-
жаление просвещенных людей. Парламент, находившийся тогда
под влиянием аристотеликов, вынес решение против картезиан-
цев. Их учение было осуждено этим решением, подобно тому как
впоследствии были осуждены учения, изложенные в «Энциклопе-
дии», в книге «Об уме» и в «Эмиле». Его различные решения отли-
чаются друг от друга лишь своей датой. Но теперешние парла-
менты насмеяются над тогдашними, а будущие парламенты будут
таким же образом насмеяться над нынешними.

⁷⁴ См. записку великих людей от обвинения в магии, написан-
ную Нодэ^{8*}. Автор считает здесь необходимым доказывать, что
Гомер, Вергилий, Зороастр, Орфей, Демокрит, Соломон, папа Силь-
вестр, Эмпедокл, Аполлоний, Агриппа, Альберт Великий, Пара-
цельс^{9*} и другие никогда не были колдунами.

⁷⁵ Теологи так злоупотребляли словом *материалист*, о кото-
ром они никогда не могли дать ясных понятий, что слово это
стало наконец синонимом просвещенного ума. Теперь так назы-
вают знаменитых писателей, сочинения которых читаются с жад-
ностью.

⁷⁶ В каких только гнусных преступлениях католики не обви-
няли протестантов! Сколько хитростей употребляли монахи, что-
бы натравливать государей на их верных подданных! Сколько
было потрачено искусства, чтобы изобразить их бунтовщиками,
которые полны ярости и с оружием в руках всегда готовы штур-
мовать троны! Таковы, монахи, ваша справедливость и ваше ми-
лосердие! На чем основываете вы свои клеветнические обвине-
ния? Какая из обеих церквей — римская или протестантская —
чаще присваивала себе право низвергать королей и отнимать
у них скипетр вместе с жизнью? Кто — кальвинисты или като-
лики — чаще пользовались этим правом на практике? Достаточно
заглянуть в историю, достаточно подсчитать число и способы по-
кушений, совершенных обеими этими религиями, чтобы факты
ответили на этот вопрос.

Скажут, что протестанты вступали в войны с государями.
Нет, наоборот, государь вступали в войны с протестантами. Если
на меня несправедливо нападают, то я имею естественное право
защищаться. И множество преследуемых всегда будут пользо-
ваться этим правом. Натравливая государей на их верных под-
данных, монахи сами вложили оружие в руки протестантов. В на-
стоящее время все различные христианские исповедания терпимы
в Голландии, Англии и Германии. Разве это вызвало в названных
странах какие-нибудь беспорядки? В результате веротерпимости

там воцарился мир, который сохранится, несомненно, до тех пор, пока правители сумеют обуздать честолюбие духовенства.

Пусть наконец, как я уже сказал, правительство перестанет принимать участие в религиозных раздорах. Тогда народы станут придавать им не больше значения, чем диспутам о древности и современности.

⁷⁷ Кого не рассмешило бы зрелище того, как пезуиты неоднократно обвиняют парламенты в мятеже и бунте и вызывают их на суд к государю, подобно тому как школьников вызывают к школьному наставнику. Франция, говорят тогда, — это страна рабов, где каждый оказывается бунтовщиком.

⁷⁸ Монахи не перестают искать в Священном писании таких текстов, истолкование которых было бы благоприятно для религиозной нетерпимости. Но разве неизвестно, что если священное писание от бога, то толкования его даются людьми?

⁷⁹ Смелый и решительный воин обычно гуманен. Благодаря своей решительности и смелости он ничего не боится. Наоборот, поц жесток. Почему? Потому, что он слаб, лжив и труслив. Но если, как говорит Монтень, женщина — самое жестокое из всех существ, то это потому, что, как правило, она слаба и лишена мужества. *Жестокость есть всегда результат страха, слабости и трусости.*

⁸⁰ Нет ничего столь неопределенного, как значение слова *безбожник*, с которым связывают так часто какую-то неопределенную и неясную идею о злодеянии. Понимать ли под безбожником атеиста? Пазывать ли так того, кто имеет лишь неясные идеи о божестве? В этом смысле все люди атеисты, потому что никто не постигает непостижимости божества. Применять ли это название к так называемым материалистам? Но так как мы не имеем еще ясных и полных идей о материи, то мы не имеем в этом смысле ясных и полных представлений о материалистическом безбожии. Станут ли называть атеистами тех, кто имеет ясную идею о боге, чем католики? Тогда придется так называть и язычников, еретиков и неверных. Но в этом последнем смысле слово *атеист* не есть уже синоним злодея. Оно означает человека, который в известных вопросах метафизики и теологии думает иначе, чем монахи и Сорбонна. Для того чтобы слово «атеист», или безбожник, вызвало в уме некоторое представление о злодеянии, его надо было бы применить — к кому? К преследователям.

⁸¹ Трудно представить себе, до какого идиотизма дошли во Франции за последнее время под влиянием религиозной нетерпимости. Во время последней войны, говорил мне один остроумный француз, сотни болтушек вслед за своими духовниками обвиняли энциклопедистов в расстройстве наших финансов, а, бог его знает, заведывал ли ими хотя бы один из энциклопедистов? Другие ставили в упрек философам слабую любовь полководцев к славе, а сами философы подвергались тогда преследованию, которое могла заставить вынести только любовь к славе и к общественному благу. Иные приписывали поражения Франции изданию «Энциклопедии», прогрессу философского духа. А между тем весьма склонный к философии прусский король и весьма склонный к философии английский народ били повсюду французские армии. Философия стала ослом из басни: она, оказывается, причинила все зло!

Однако, как сказал по этому поводу один великий государь, всякий народ, изгоняющий из своей страны философию и здравый смысл, не может надеяться ни на великие успехи на войне, ни на быстрое восстановление в мирное время.

В Португалии мало философов, и, может быть, слабость государства здесь соразмерна невежеству и суеверию народа.

⁸² Без помощи католических государей паписты, столь же невежественные и, возможно, отличающиеся еще большей религиозной нетерпимостью, чем евреи, впали бы в то же презренное состояние, что и последние.

⁸³ Во Франции некогда не было большей нетерпимости в религиозных вопросах, чем теперь. Быть может, теперь нельзя напечатать без разрешения «Церковной истории» Флери и здесь не разрешили бы напечатать даже басни Лафонтена. Сколько неверия можно было бы найти в следующих стихах о скульпторе и статуе Юпитера:

A la foiblesse du sculpteur,
Le Poëte autre fois n'en dut guère,
Des Dieux dont il fut l'inventeur
Craignant la haine et la colère.
Il étoit enfant en ceci;
Les enfants n'ont l'ame occupée
Que de continuel souci
Qu'on ne fache point leur poupée.

(Некогда поэт был снисходителен к слабостям ваятеля: он боялся злобы, гнева создаваемых им богов. В этом он похож был на ребенка. У детей ведь на уме только одно — не дать в обиду своей куклы).

⁸⁴ Все, вплоть до себялюбия, является у нас благоприобретенным. Мы учимся любить себя, быть гуманными или негуманными, добродетельными или порочными. Нравственный человек — целиком продукт воспитания и подражания.

⁸⁵ Наши характеры с их различиями являются продуктом наших вторичных страстей. Что они не являются результатом особенностей организации или темперамента, доказывает то обстоятельство, что есть характеры, связанные с известными профессиями. Таков, по словам Юма, характер военных, почти одинаковый во всех странах, и точно так же одинаков характер священнослужителей во все времена, во всех государствах и во всех религиях.

⁸⁶ Любовь к славе возвышает человека: она расширяет способности его души и его ума. Но тот, кто считал бы эту любовь результатом особенностей организации, ошибся бы. Желание славы есть страсть, настолько искусственная и зависящая от формы правления, что законодатель может всегда по своему усмотрению подавить ее или разжечь ее в народе.

⁸⁷ Нет такого искусства или науки, которые не имели бы своего особенного языка, и именно изучение этого языка делает нас в зрелом возрасте неспособными к изучению новой науки.

⁸⁸ В каждой стране есть известное число предметов, с которыми во время своего воспитания одинаково имеют дело все люди; одинаковое впечатление от этих предметов порождает в гражданах то сходство идей и чувств, которое называют национальным духом и характером.

Кроме того, имеется известное число различных предметов, представляемых случаем и воспитанием каждому из индивидов, и различные впечатления от этих предметов у названных индивидов порождают то разнообразие идей и чувств у них, которое называют индивидуальным духом и характером.

⁸⁹ Я предполагаю, что нельзя прославиться в науках, если не делить своего времени между жизнью в свете и уединением; в пустынях находят алмазы, а в городах их гранят, шлифуют и вставляют в оправы. Ясно, что случай и богатство, благодаря которым я имею возможность жить то в городе, то в деревне, предоставляют мне больше возможностей, чем другим людям.

РАЗДЕЛ V

Об ошибках и противоречиях тех, принципы которых, отличные от моих, сводятся к утверждению о неодинаковом совершенстве чувств, о неодинаковом умственном уровне

Руссо и я держимся на этот счет противоположных взглядов. Моей задачей при опровержении некоторых его идей отнюдь не является критика «Эмиля». Это сочинение и достойно своего автора, и в то же время заслуживает общественного уважения^а. Но слишком верно следуя Платону, Руссо, пожалуй, часто жертвовал точностью ради красноречия; он впал в противоречия, которых он, несомненно, избежал бы, если бы строго следил за собственными идеями и более внимательно сравнивал одну с другой.

При рассмотрении главных утверждений этого автора я ставлю себе целью показать, что почти все его ошибки являются неизбежным результатом нижеследующего слишком легко принятого положения, а именно:

«Умственное неравенство является результатом большего или меньшего совершенства органов чувств^б, и наши добродетели, так же как и наши таланты, одинаково зависят от различия наших темпераментов».

ГЛАВА I

ПРОТИВОРЕЧИЯ АВТОРА «ЭМИЛЯ» В ВОПРОСЕ О ПРИЧИНАХ УМСТВЕННОГО НЕРАВЕНСТВА

Достаточно простого сопоставления идей Руссо, чтобы доказать их противоречивость.

^а Ярость, с какой попы и монахи преследовали Руссо, является неопровержимым доказательством высокого качества его сочинения. Посредственных авторов не преследуют.

^б Дело идет при этом о небольших различиях в природной организации людей, одаренных всеми чувствами.

1-е положение

В письме 3, стр. 116, т. V «Элопзы»^{1*} он говорит а:

«Чтобы изменить характеры, надо было бы пмечь возможность изменить темпераменты; желать равным образом изменить умы и сделать из глупца даровитого человека — это все равно что желать из блондина сделать брюнета. Разве можно отливать сердца и умы по одному образцу? Разве наши таланты, наши пороки, наши добродетели и, следовательно, наши характеры не зависят всецело от нашей организации?»

2-е положение

На стр. 164, 165 и 166 т. V «Элопзы» он говорит:

«Если дети воспитываются в их изначальной простоте, откуда у них возьмутся пороки, примера которых они не видели, страсти, которых они не пмели никакой возможности испытать, предрассудки, которых ничто пм не внушает. Недостатки, в которых мы обвиняем природу, являются делом не ее рук, а наших. В устах ребенка непристойные речи — это чужеродное растение, семя которого занесено ветром».

В первой из этих цитат Руссо полагает, что мы обязаны своей организации своим порокам, страстями и, следовательно, характерам.

Во второй же цитате, наоборот, он считает (и здесь я согласен с пм), что мы рождаемся без пороков, так как мы рождаемся без идей. Но по той же причине мы рождаемся также и без добродетелей. Если порок чужд природе человека, то ей также должна быть чужда и добродетель. И то и другое является и может быть лишь чем-то приобретенным¹. Вот почему считается, что до семи лет нельзя грешить, так как до этого возраста у нас нет еще никакого точного представления о справедливом и несправедливом, никакого знания наших обязанностей по отношению к людям.

3-е положение

На стр. 63 т. III «Эмиля» Руссо говорит:

«Чувство справедливости врождено человеческому

^а Я заимствую большинство цитат из письма 3 т. V «Элопзы». Это — извлечение из «Эмиля», сделанное самим автором. В этом письме им собраны почти все принципы его большого сочинения.

сердцу» — и повторяет на стр. 107 того же тома, что «в глубине души есть врожденный принцип добродетели и справедливости».

4-е положение

На стр. 11 т. III «Эмпиля» он говорит:

«Внутренний голос добродетели не достигает слуха бедняка², который думает лишь о своем пропитании». На стр. 161 т. IV, *ibid.*, он прибавляет: «У простого народа имеется немного представлений о том, что прекрасно и добродетельно», — и умозаключает на стр. 112 т. III, что «до наступления возраста, когда возникает разум, человек делает добро и зло, не зная этого».

Мы видим, что если в третьем из этих положений Руссо считает идею добродетели врожденной, то в четвертом положении он считает ее благоприобретенной. И в этом последнем он весьма прав. Только совершенное законодательство могло бы внушить всем людям совершенную идею добродетели и заставить их вести себя добродетельно.

Все были бы справедливыми, если бы небо во всех сердцах с младенческих лет начертало истинные принципы законодательства; но оно этого не сделало.

Следовательно, небу угодно было, чтобы люди обязаны были совершенством своих законов размышлению; чтобы познание этих законов было чем-то приобретенным, плодом гения, усовершенствованного временем и опытом. Действительно, ответил бы я Руссо, если бы существовало врожденное чувство справедливости и добродетели, то это чувство, подобно чувству физического страдания и физического удовольствия, было бы присуще всем людям, бедняку и богачу, человеку из народа и сильному мира, и человек во всяком возрасте отличал бы добро от зла³.

Но на стр. 109 т. III «Эмпиля» Руссо говорит:

«Не будь врожденного принципа добродетели, разве справедливый человек и добродетельный гражданин способствовали бы в ущерб себе общественному благу?» Никто, отвечу я на это, никогда не способствовал общественному благу в ущерб себе. Тот гражданин-герой, который рискует своей жизнью, чтобы увенчать себя славой, чтобы заслужить общественное уважение и освободить свою родину от рабства, уступает чувству, которое для него является самым приятным. Почему он не может находить счастье в добродетельных поступках, в завоевании

общественного уважения и в удовольствиях, связанных с этим уважением? И наконец, почему бы ему не жертвовать жизнью для родины, если матросы и солдаты — одни на море, другие в траншеях — жертвуют ею повседневно за какой-нибудь получаемый ими эку? Следовательно, добродетельный человек, который как будто во вред себе способствует общественному благу, повинуетя чувству благородного интереса. Почему Руссо здесь отрицает, что интерес является для людей единственной и универсальной движущей силой? Ведь во множестве других мест своих сочинений он с этим согласен. Так на стр. 73 т. III «Эмиля» он говорит: «Человек может сколько угодно притворяться, что он предпочитает мой интерес своему собственному, но, какими бы доказательствами он ни разукрашивал эту ложь, я твердо убежден, что это — ложь». На стр. 137 т. I, *ibid.*, он говорит: «Когда мой ученик берет на себя обязательство по отношению ко мне, я хочу, чтобы у него постоянно был настоящий интерес выполнить свое обязательство и если он его никогда не выполнит, то чтобы эта ложь навлекла на него бедствия, простирающиеся, как он видел бы сам, из естественного порядка вещей».

В этой цитате Руссо считает себя тем более уверенным в обещании своего ученика, чем более этот ученик заинтересован в выполнении его. Почему же он говорит на стр. 130 т. I «Эмиля», что «тот, кто верен своему слову лишь ради своей выгоды и своего интереса, так же мало связан им, как если бы он ничего не обещал». Этот человек, несомненно, будет связан не своим словом, а своим интересом. Но эти узы стоят всяких других, и Руссо отнюдь не сомневается в этом, так как, по его мнению, *интерес связывает ученика с его обещанием*. Мы тем аккуратнее и вернее соблюдаем и будем всегда соблюдать свое слово, чем сильнее мы заинтересованы в том, чтобы сдерживать его. В этом случае тот, кто ему изменяет, не столько бесчестен, сколько глуп.

Признаюсь, что трудно найти более явные противоречия между принципами одного и того же сочинения. Объяснить это нравственное явление можно, только признав, что Руссо меньше занимала в «Эмиле» истинность его высказываний, чем форма их выражения. В результате этих противоречивых утверждений можно сделать вывод, что идеи справедливости и добродетели в действительности являются благоприобретенными.

Что такое в человеке ум? Совокупность его идей. Какого рода ум мы называем талантом? Ум, сосредоточенный на одной определенной области, т. е. большую совокупность идей одного и того же порядка.

Но если нет врожденных идей (а Руссо согласен с этим во многих местах своих сочинений), то, следовательно, ум и талант являются у нас чем-то благоприобретенным. Следовательно, и тот и другой — как я это уже говорил — имеют своим первоисточником:

1) физическую чувствительность, без которой мы не получали бы никаких ощущений;

2) память, т. е. способность вспомнить о ранее полученных ощущениях;

3) интерес, который мы имеем в том, чтобы сравнивать наши ощущения между собою⁴, т. е. внимательно наблюдать сходства и различия, соответствия и несоответствия, которые имеют между собою различные предметы.

Именно этот интерес фиксирует внимание и является у людей с обычной организацией производительным началом их ума.

Талант, рассматриваемый некоторыми мыслителями как результат особой способности, свойственной тому или иному виду ума, в действительности является лишь результатом внимания к определенного рода идеям. Я сравниваю совокупность человеческих знаний с клавиатурой органа. Различные таланты являются как бы клавишами его, а внимание, приводимое в действие интересом, — это рука, которая безразлично может опуститься на ту или иную из этих клавиш.

Словом, если мы приобретаем все вплоть до чувства себялюбия, если нельзя любить себя, не испытав до этого чувств физического страдания и физического удовольствия, то, следовательно, все в нас является благоприобретенным.

Значит, наш ум, наши таланты, наши пороки, наши добродетели, наши предрассудки и наши характеры не есть результат наших различных темпераментов, поскольку они образовались необходимым образом из смешений наших идей и наших чувств. Даже наши страсти зависят от них. В доказательство этой истины я сошлюсь на народы Севера. Говорят, что их вялый и флегматичный

темперамент является результатом их климата и их пищи. Между тем они так же способны обнаруживать гордость, зависть, честолюбие, скупость, суеверие, как и сангвинические^а и холерические народы Юга⁵. Если заглянуть в историю, то можно убедиться, что народы внезапно меняют характер, хотя и не произошло никаких изменений в их климате и в их пище.

Я прибавлю даже, что если бы все характеры, как это утверждает Руссо на стр. 109 т. V «Элоизы», были добрыми и здоровыми сами по себе, то и тогда эта всеобщая и независимая, следовательно, от различия темпераментов доброта доказывала бы, что он неправ. А если бы доброта была уделом человека? Мне очень жаль, что и в этом вопросе я придерживаюсь другого взгляда, чем Руссо. Какое это было бы удовольствие для меня находить всех людей добрыми! Но, убеждая их в том, что они таковы, я ослабил бы их усердие стать таковыми. Я называл бы их добрыми и делал бы их тем самым дурными.

Добродетелен ли, служит ли своему государю, достоин ли его доверия тот, кто скрывает от него бедствия его народов? Нет, добродетелен тот, кто сообщает ему о них и указывает ему способы облегчить эти бедствия. Тот, кто обманывает людей, отнюдь не является их другом. Где же в таком случае друзья королей? Какой придворный всегда правдив со своим государем? Какой человек всегда правдив с самим собою? Мнимый смельчак называет всех людей смелыми, чтобы его самого считали таковым, и нередко самые отъявленные плуты объявляют себя приверженцами Шефтсбери и самым страстным образом защищают учение о природной доброте людей.

Что касается меня, то я не стану поддерживать людей в этой пагубной уверенности. Я не буду без конца повторять им, что они добры. Законодатель, менее бдительный в отношении порока, пренебрег бы введенным законом, направленных к подавлению его. Я не буду вповнов в оскорблении человечества, я позволю себе говорить истину. Я займусь обсуждением вопроса, который я не могу излагать, не показывая — как этого требует моя задача, — что в этом вопросе Руссо так же противоречит самому себе, как и в других приведенных нами случаях.

^а Этот факт очевидным образом доказывает, что указанные выше страсти являются результатом не различия наших темпераментов, а — как я уже говорил — любви к власти.

О ДОБРОТЕ ЧЕЛОВЕКА В МЛАДЕНЧЕСТВЕ

Я вас люблю, мои сограждане, и первое мое желание — быть вам полезным. Разумеется, я желаю вашего одобрения, но я не хотел бы быть обязанным вашим уважением и вашими похвалами лишь. Тысячи других обманут вас — я не стану их сообщником. Одни будут называть вас добрыми, льстя вашему желанию считать себя таковыми, — не верьте им в этом. Другие будут называть вас злыми; они точно так же будут вам лгать. Вы — ни то, ни другое.

Ни один человек не рождается добрым. Ни один человек не рождается злым. Люди добры или злы в зависимости от того, объединяет ли их общий интерес, или их разделяют противоположные интересы⁶. Философы считают, что люди рождаются в состоянии войны друг с другом. По словам философа, общее желание обладать одним и теми же вещами с колыбели вооружает людей друг против друга.

Состояние войны, несомненно, следует сейчас же вслед за моментом их рождения. Мир между людьми очень недолговечен. Однако они отнюдь не рождаются врагами. Доброта или злость являются в них чем-то случайным — это результат их хороших или дурных законов.

То, что в человеке называют добротой или нравственным чувством, есть его благожелательность по отношению к другим людям, и эта благожелательность всегда соразмерна в нем тому, насколько они ему полезны. Я предпочитаю своих сограждан чужеземцам и своего друга своим согражданам. Счастье моего друга отражается на мне. Если он становится более богатым и более могущественным, то и я разделяю его богатство и его могущество. Значит, доброжелательность по отношению к другим людям есть результат нашего себялюбия. Но если себялюбие, как я доказал уже в разделе IV, является в нас необходимым результатом способности к ощущению, то, значит, и наша любовь к другим, что бы ни говорили сторонники Шефтсбери, точно так же есть следствие той же способности.

Действительно, что представляет собою это учение о природной доброте или это столь прославленное англичанами

нравственное чувство? ^a Какую ясную идею можно составить себе о подобном чувстве ^b и на каких фактах основывать его существование? На том, что существуют добрые

^a Вот пословица, основанная на длительном и всеобщем наблюдении: «Чужую беду руками разведу» (*mal d'autrui n'est que songe*). Следовательно, опыт не говорит за то, чтобы люди были столь добры.

^b Если допустить существование нравственного чувства, то почему не допустить алгебраического или химического чувства? Для чего создавать у человека шестое чувство? Для того ли, чтобы дать ему более отчетливые представления о нравственности? Но что такое нравственность? *Наука о способах, придуманных людьми для того, чтобы совместно жить возможно более счастливым образом.* Пусть сильные мира сего не противодействуют ее успехам, и эта наука будет совершенствоваться по мере просвещения народов. Утверждают, будто нравственность является делом рук бога; но она во всех странах является частью законодательства народов. А законодательство — дело людей. Бог считается создателем нравственности потому, что он рассматривается как творец человеческого разума, а нравственность есть дело этого разума. Отождествлять бога и нравственность — значит впадать в идолопоклонство, значит обожествлять творения людей. Люди создали соглашения. Нравственность есть собрание этих соглашений. Подлинная цель этой науки — счастье наибольшего числа людей. Благо народа — верховный закон (*salus populi suprema lex esto*). Нравственность народов так часто приводит к противоположным результатам потому, что власть имущие направляют все ее предписания к своей личной выгоде; потому, что они всегда повторяют себе: «Благо правителей должно быть верховным законом» (*salus gubernantium suprema lex esto*). Нравственность большинства народов является в настоящее время лишь собранием способов, которые употребляют власть имущие, и правил, которые они диктуют для того, чтобы укрепить свой авторитет и власть и иметь возможность безнаказанно быть несправедливыми.

Но будут ли уважать такие правила? Да, если они освящены указами, нелепыми законами и в особенности страхом перед властью имущими. В таком случае они приобретают законную силу, если власть имущие продолжают оставаться таковыми.

Тогда нет ничего труднее, чем заставить науку о нравственности заниматься ее подлинной задачей. Поэтому мудрое и истинно нравственное законодательство встречается лишь в странах, где, как в Англии, народ принимает участие в управлении, где нация является суверенной и где, наконец, законы, всегда устанавливаемые в интересах власти имущих, necessarily оказываются соответствующими интересам наибольшего числа людей.

Из этого суммарного представления о науке нравственности ясно, что она, как и другие науки, есть продукт опыта, размышления, а не какого-то нравственного чувства; что она может, как и другие науки, день от дня совершенствоваться. Ничто не дает права человеку предполагать в себе какое-то шестое чувство, о котором нельзя было бы составить себе ясное представление.

люди. Но имеются также завистники и лжецы: по латинскому изречению, всякий человек лгун (*omnis homo mendax*). Можно ли на этом основании утверждать, что этим людям присуще имморальное чувство зависти или чувство лживости? Нет ничего более нелепого, чем эта теологическая философия Шефтсбери, и, однако, большинство англичан являются такими же приверженцами ее, какими были в свое время французы в отношении своей музыки. Иначе обстоит дело с другими нациями: ни один иностранец не может понять эту философию и слушать эту музыку. Это — бельмо на глазу англичан. Его надо снять, чтобы прозреть.

Согласно этим философам, безразлично ко всем относящийся человек, сидящий в своем кресле, желает другим людям добра. Но, будучи столь равнодушным, человек не желает и даже не может ничего желать. Состояние желания и равнодушия противоречат друг другу. Может быть, это состояние совершенного безразличия даже невозможно. Опыт показывает мне, что человек не рождается ни добрым, ни злым; его счастье не связано необходимым образом с несчастьем другого; наоборот, при всякой правильной системе воспитания представление о моем собственном счастье всегда будет более или менее тесно связано в моей памяти со счастьем моих сограждан и желание одного породит во мне желание другого. Отсюда следует, что любовь к ближнему в каждом человеке есть результат его любви к самому себе. Поэтому самые шумливые проповедники учения о природной доброте^а отнюдь не всегда были самыми рьяными благодетелями человечества.

Если бы дело шло о благе Англич, то ленивый Шефтсбери, этот пламенный апостол нравственной красоты, как говорят, не решился бы для спасения ее даже дойти до парламента. Не чувство нравственной красоты, а любовь к славе и к родине создает Горация, Брута, Сцевола^б. Напрасно английские философы станут повторять мне,

^а Сочинители теории нравственной красоты не знают, какое презрение должен питать к их романам всякий человек, который в качестве министра, начальника полиции или общественного деятеля имел возможность ближе узнать человечество.

^б Эта столь прославленная теория нравственной красоты по существу представляет собою теорию врожденных идей, опровергнутую Локком и воскрешенную под новым названием и в новом виде.

что нравственная красота есть чувство, которое, развиваясь вместе с человеческим зародышем, делается в определенный момент^а заметным благодаря сочувствию к страданиям своих ближних. Я могу составить себе представление о моих пяти чувствах и соответствующих им органах; но признаюсь, что у меня не больше представления о нравственном чувстве, чем о нравственном слоне и нравственном зámке.

Долго ли еще будут пользоваться этими лишенными смысла словами? Поскольку они не дают никакой ясной и четкой идеи⁷, их следовало бы навсегда сдать в архив теологических школ^б. Может быть, под словами «нравственное чувство» понимают чувство сострадания, испытываемое при виде несчастного человека? Но чтобы сочувствовать страданиям какого-нибудь человека, надо сначала знать, что он страдает, и потому самому раньше испытать страдание. Сочувствие на словах также предполагает знакомство со страданием. Кроме того, каковы те бедствия, к которым мы обнаруживаем вообще наибольшую чувствительность? Это те страдания, которые мы сами переносили с наибольшим нетерпением и воспоминание о которых, следовательно, чаще всего имеется в нашей памяти. Значит, сочувствие не есть в нас некое врожденное чувство.

Что испытываю я в присутствии несчастного человека? Сильное волнение. Что породило его? Воспоминание о страданиях, которым подвержен человек и которым подвержен также и я сам⁸. Подобная идея смущает меня, мешает мне, и, поскольку этот несчастный находится у меня перед глазами, я печален. Но вот я помог ему, я больше его не вижу — спокойствие незаметно восстанавливается в моей душе, так как, по мере того как он удаляется от меня,

^а *Нравственное чувство*, подобно половой зрелости, утверждают сторонники Шефтсбери, развивается у нас к определенному возрасту. Это чувство, в их изображении, является своего рода нравственным наростом. Но, я спрашиваю, что это за чувство или нарост, которые были бы не физической природы? Надо слишком надеяться на доверие читателя, чтобы предлагать ему столь нелепую гипотезу, которая к тому же не объясняет ничего, чего нельзя было бы объяснить без нее.

^б *Нравственное чувство* представляется мне одним из тех метафизических или нравственных существ, о которых никогда не следовало бы упоминать в философском сочинении. Их иногда вводили в итальянскую комедию, да и там они действовали расхолаживающим образом. Их с трудом выносят в прологах.

незаметно стирается воспоминание о страданиях, о которых напоминало мне его присутствие. Следовательно, когда я растрогался по поводу него, я был растроган самим собою. Действительно, каковы те страдания, которым я больше всего сочувствую? Это, как я уже сказал, не только страдания, которые я испытывал уже раньше, но те, которые я могу еще раз испытать; эти страдания, наиболее живые в моей памяти, задевают меня сильнее всего. Моя растроганность страданиями несчастного всегда соразмерна боязни, что я могу подвергнуться подобным же страданиям. Если бы было возможно, я хотел бы уничтожить в нем даже зародыш их, тогда я освободился бы от страха испытать подобные страдания. Любовь к другим людям всегда будет в человеке результатом его любви к самому себе⁹ и, следовательно, его физической чувствительности. Напрасно Руссо без конца повторяет, что *все люди добры* и что *все первые естественные движения справедливы*. Необходимость законов доказывает обратное. Что предполагает эта необходимость? Она предполагает, что различные интересы людей делают их дурными или хорошими и что единственный способ создать добродетельных граждан — это связать частные интересы с общими интересами.

Впрочем, есть ли человек менее, чем Руссо, убежденный в учении о природной доброте характера? На стр. 179 т. I «Эмпиля» он утверждает: «Всякий человек, незнакомый со страданием, не знает ни растроганной гуманности, ни сладости сострадания: ничто не трогает его сердца; это не социальное существо, это чудовище по отношению к своим ближним». На стр. 220 т. II он прибавляет: «Помоему, нет ничего прекраснее и вернее следующего правила нравственности: *мы сочувствуем всегда другому в бедствиях, от которых мы не избавлены сами*; вот почему, — прибавляет он, — государь безжалостен к своим подданным, богач жесток к бедняку, а дворянин — к простолюдину».

Как же можно, исходя из этих положений, придерживаться учения о природной доброте человека и утверждать, что *все характеры добры*?

Гуманность в человеке есть лишь результат воспоминания о страданиях, которые ему знакомы либо по собственному опыту¹⁰, либо по опыту других людей, — это подтверждается тем, что из всех способов сделать человека гуманным и сострадательным самый верный состоит

в том, чтобы приучить его с самого нежного возраста отождествлять себя с несчастными и видеть себя в них. Некоторые авторы на этом основании считали сострадание слабостью. Но как бы его ни назвать, эта слабость всегда будет в моих глазах первойшей из добродетелей¹¹, так как она всегда будет больше всего содействовать счастью человечества.

Я доказал, что сострадание не есть ни *нравственное чувство*, ни *врожденное чувство*, но является простым результатом себялюбия. Что отсюда следует? Что та же самая любовь к себе, различным образом видоизмененная — в зависимости от различия нашего воспитания, от обстоятельств и от положения, в которое ставит нас случай, — делает нас гуманными или жестокими; что люди вовсе не рождаются сострадательными, но все могут стать ими и станут ими, если законы, форма правления и воспитание сделают их таковыми.

О вы, которым небо доверило законодательную власть, пусть ваше управление будет мягким, пусть ваши законы будут мудрыми и вы будете иметь своими подданными гуманных, мужественных и добродетельных людей! Если же вы измените либо эти законы, либо это мудрое управление, то эти добродетельные граждане вымрут, не оставив потомства, и тогда вы будете иметь вокруг себя только дурных людей, потому что ваши законы сделают их такими. Человек, безразличный по природе своей ко злу, не станет предаваться ему без причин. Счастливей человек гуманен — это накормленный лев.

Горе государю, доверяющему природной доброте характеров¹². Руссо предполагает ее, опыт опровергает ее. Если обратиться к опыту, можно узнать, что ребенок топит мух¹³, бьет собаку, душит воробья, что, не родившись гуманным, ребенок обладает всеми пороками взрослого человека.

Власть имущие часто несправедливы; таков же и сплывший ребенок. Если его не удерживает присутствие учителя, то по примеру власть имущих он силой присваивает себе конфету или игрушку своего товарища; он сделает за какую-нибудь куклу, за погремушку то, что взрослый человек делает из-за титула или скипетра. Одинаковый способ действий в оба эти возраста заставил де ла Мота сказать:

«Ребенок есть уже взрослый человек, и взрослый человек есть еще ребенок».

Учение о природной доброте характера защищают без всяких оснований. Я добавлю даже, что в человеке доброта и гуманность не могут быть делом природы, а являются исключительно делом воспитания.

ГЛАВА IV

ЧЕЛОВЕК В ЕСТЕСТВЕННОМ СОСТОЯНИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЖЕСТОКИМ

Какое зрелище представляет нам природа? Множество существ, предназначенных пожирать друг друга. В частности, человек, как утверждают анатомы, обладает зубами хищного животного. Следовательно, он должен быть прожорливым и потому жестоким и кровожадным. К тому же мясо является для него самой здоровой, самой подходящей для его организма пищей. Его существование, подобно существованию почти всех видов животных, зависит от уничтожения других существ. Люди, рассеянные природой в обширных лесах, вначале занимались охотой.

Когда они стали жить ближе друг к другу и были вынуждены искать для себя пропитание на меньшем пространстве, потребности сделали их пастухами. Еще более размножившись, они наконец стали земледельцами. Но во всех этих различных положениях человек — прирожденный истребитель животных: либо он питается их мясом, либо сохраняет от них необходимые для его существования скот, плоды, зерно и овощи.

Человек в естественном состоянии является собственным мясником, собственным поваром. Его руки всегда обгажены кровью. Привычный к убийству, он должен быть глухим к зову жалости. Загнанный олень волнует меня, его слезы заставляют меня плакать. Но это зрелище, столь трогательное для меня по своей новизне, приятно для дикаря, которого привычка сделала жестоким.

Для инквизитора самые приятные звуки — это вопли страдания. Он смеется, стоя возле костра, на котором еретик испускает свой дух. Этот инквизитор, убийца, поддерживаемый законом, даже в городах сохраняет свирепость человека в естественном состоянии — это кровожадный человек. Чем больше люди приближаются к этому состоянию, чем больше они привыкают к убийству, тем легче оно им дается. Почему последний мясник вынужден в случае отсутствия палача исполнять его обязанности? Потому, что его профессия делает его безжалостным. Тот, кого

хорошее воспитание не приучило видеть в страданиях другого человека страданий, которые могут выпасть на его собственную долю, всегда будет жестоким и часто кровожадным. Таков народ, он не способен быть гуманным. Говорят, что любопытство увлекает толпу на Тибурн или на Гревскую площадь ^{1*}; да, в первый раз. Но если люди идут туда опять, значит, они жестоки. Человек толпы плачет при казни, он взволнован; но светский человек плачет во время трагедии, хотя представление ее ему приятно.

Тот, кто защищает учение о природной доброте людей, хочет обмануть их. Неужели в вопросе о гуманности, как и в религиозных вопросах, должно быть столько лицемеров и так мало добродетельных людей? Неужели можно принимать за естественную доброту в человеке соображения, которые страх друг перед другом внушил двум существам почти одинаковой силы? Даже цивилизованный человек, если его не сдерживает этот страх, становится жестоким и варваром.

Вспомним картину поля битвы в момент, следующий за победой, когда равнина еще усеяна трупами и умирающими. Скупость и жадность людей побуждают их устремлять свои алчные взоры на окровавленные одежды еще трепещущих жертв общественного долга. Безжалостные к несчастным, они приближаются к ним и грабят их, удваивая их страдания.

Слезы и страшная предсмертная тоска на лице умирающих, отчаянные вопли страдания — ничто их не трогает: они слепы к слезам несчастных, они глухи к их стонам.

Таков человек на поле победы. А разве он проявляет больше человеколюбия на *престолах* Востока ¹⁴, с высоты которых он управляет законами? Какое применение дает он здесь своему могуществу? Занимается ли он счастьем народов? Облегчает ли он их нужды? Смягчает ли он бремя их оков? Разве Восток свободен, освобожден от невыносимого ига деспотизма? Наоборот, это иго с каждым днем становится более тяжелым. Деспот измеряет свою славу и свое величие страхом, который он внушает, и жестокостями, которые совершаются над трепещущими рабами. Каждый день отмечается введением новой, более жестокой казни. Тот, кто жалеет о народе в присутствии деспота, является его врагом, а кто дает по этому поводу советы своему господину, *омывает* — по словам поэта Саади — *руки в своей собственной крови*.

Безучастный к бедствиям римлян и занятый исключительно кормлением своих кур, Аркадий принужден был варварами покинуть Рим; он удалился в Равенну, преследуемый врагами. У него осталась только одна армия, которую он выставил против них. Она подверглась нападению и была разбита. Ему сообщили о поражении. Ему сказали также, что для удовлетворения алчности и жестокости победителя Рим подвергся разграблению, граждане бежали нагими, так как у них не было времени захватить что-нибудь с собою. Аркадий нетерпеливо прервал рассказ. «Спасли ли, — спросил он, — моих кур?»

Таков человек, увенчанный короной деспотизма пли лаврами побед¹⁵. Если он освобождается от страха перед законами пли наказаниями, то его несправедливость не знает никаких пределов, кроме пределов его могущества. Во что превращается, таким образом, та природная доброта, которую Руссо то предполагает в человеке, то отрицает!

Да не обвинят меня в отрицании существования добрых людей! Есть люди мягкие, сострадательные к бедствиям своих ближних; но их гуманность есть результат воспитания, а не дана им природой.

Родись эти люди среди ирокезов, они восприняли бы их варварские и жестокие обычаи. Если Руссо и в этом вопросе противоречит самому себе, то это потому, что его принципы противоречат его собственному опыту; он пишет, то исходя из первых, то исходя из второго. Неужели он постоянно будет забывать, что, рожденные без идей, без характеров и безразличные к нравственному добру и злу, мы обладаем лишь физической чувствительностью; неужели он не поймет, что человек в колыбели — ничто, что его пороки, его добродетели, его искусственные страсти, его таланты, его предрассудки и, наконец, даже чувство себялюбия — все в нем благоприобретенное?

ГЛАВА V

РУССО ТО СЧИТАЕТ, ЧТО ВОСПИТАНИЕ ПОЛЕЗНО, ТО — ЧТО ОНО БЕСПОЛЕЗНО

1-е положение

На стр. 109 т. V «Элоизы» Руссо говорит: «Воспитание всячески стесняет природу, уничтожает высокие качества души, заменяя их мелкими и мнимыми, которые ничего не стоят». Если согласиться с этим утверждением, то нет ничего более опасного, чем воспитание. Однако я возражу

Руссо: воспитание оказывает на нас, по его словам, такое большое влияние, что оно заменяет низкими качествами высокие качества, полученные нами от природы, и, таким образом, изменяет наши характеры к худшему. Почему же это воспитание не может заменять высокими качествами низкие качества, полученные нами от природы, и не может изменять наши характеры к лучшему? Геронизм республик в эпоху их возникновения подтверждает возможность такого превращения.

2-е положение

На стр. 121 т. V, *ibid.*, Руссо влагает в уста Вольмара ^{1*} следующие слова: «Чтобы сделать моих детей послушными, моя жена заменила его дисциплины более непреодолимым игом необходимости». Но если можно применять при воспитании необходимость и если власть ее непреодолима, то, следовательно, можно исправить недостатки детей, изменить их характеры, и при этом к лучшему.

Таким образом, в одном из этих двух положений Руссо не только противоречит самому себе, но противоречит и опыту.

Действительно, какие люди дали самые высокие образцы добродетели? Были ли это дикари севера или юга — лапландцы или папуасы, лишенные воспитания, эти, так сказать, люди природы, язык которых состоит лишь из пяти или шести звуков или восклицаний? Разумеется, нет. Добродетель состоит в том, чтобы жертвовать тем, что называют своим интересом, ради общественного интереса. Но подобные жертвы предполагают людей, объединенных уже в общества, и законы этих обществ, доведенные до известной степени совершенства. Где встречаются герои? У более или менее цивилизованных народов. Таковы китайцы, японцы, греки, римляне, англичане, немцы, французы и т. д.

Кто оказался бы самым ненавистным человеком в любом обществе? Человек в естественном состоянии, который, не заключив никаких соглашений со своими ближними, повиновался бы лишь своему капризу и непосредственно одушевляющему его чувству.

3-е положение

После того как Руссо повторил, что *воспитание уничтожает высокие качества души*, можно ли себе представить, что на стр. 192 т. IV «Эмilia» он делит людей на два

класса: один — людей *мыслящих*, другой — людей *немыслящих*. Причем разница, по его мнению, полностью зависит от различия в воспитании. Какое поразительное противоречие! Но лучше ли он сводит концы с концами, когда, после того как он признал ум простым следствием организации человека и обрушился на этом основании на всякого рода воспитание, он придает огромную важность воспитанию спартанцев, начинавшемуся с грудного возраста. Скажут, что, выступая вообще против всякого воспитания, Руссо ставил себе целью просто избавить молодежь от опасности дурного воспитания. Но в этом отношении все согласны с Руссо и признают, что *лучше лишить детей всякого воспитания, чем дать им дурное воспитание*. Руссо не мог настаивать на такой тривиальной истине. Недостаточную четкость его идей в этом вопросе доказывает и то, что в некоторых других местах своих сочинений он согласен с тем, чтобы давали некоторое воспитание детям, лишь бы, говорит он, оно не было преждевременным. Но и в этом вопросе он противоречит самому себе.

4-е положение

На стр 153 т. V «Элоизы» он говорит: «Естественный ход развития — наилучший; надо особенно стараться не насиловать его преждевременным воспитанием». Но если есть какое-нибудь преждевременное воспитание, то это, несомненно, то, которое дается нянями. Надо было бы, выходит, чтобы они не давали никакого воспитания своим питомцам. Посмотрим, всегда ли придерживается Руссо этого взгляда.

5-е положение

На стр. 135 и 136 т. V, *ibid.*, он говорит: «Няни должны были бы с самого нежного возраста подавлять в детях такой недостаток, как крикливость: та же самая причина, которая делает ребенка крикуном в 3 года, делает его строптивым в 12, сварливым в 20, властным в 30 лет и невыносимым всю жизнь». Следовательно, Руссо признает здесь, что няни могут подавлять в детях крикливость. Значит, дети в младенческом возрасте уже поддаются воспитанию. А если это так, то почему не начинать их воспитание с самого раннего возраста? Для чего рисковать успехом его и одновременно брать на себя задачу бороться и с недостатками детей, и с тем, что они будут привыкать

к этим недостаткам? Почему не поспешить и не подавить в еще слабых страстях ребенка зародыши самых больших пороков? Руссо не сомневается в том, что воспитание может оказать в этом отношении влияние.

6-е положение

На стр. 158 т. V, *ibid.*, он говорит: «Мать, обладающая хоть какой-то бдительностью, держит в своих руках страсти детей». Значит, она тем самым держит в своих руках также и их характеры. Действительно, что такое характер? Продукт активной и постоянной воли и, следовательно, сильной страсти. Но если мать может все сделать со страстями своих детей, значит, она может все сделать и с их характерами. Тот, кто может по своему усмотрению располагать причиной, является хозяином следствия.

Но почему Юлия, всегда противореча самой себе, без конца повторяет, что она придает очень мало значения воспитанию своих детей и предоставляет заботу о них природе, когда в действительности *нет воспитания*, — если можно так выразиться, — *которое было бы в большей мере воспитанием, чем ее*; она не оставляет, так сказать, в этом отношении ничего на долю природы.

Я с удовольствием пользуюсь этим случаем, чтобы похвалить Руссо, взгляды которого иногда отличаются исключительной тонкостью. Методы, применяемые Юлией при воспитании ее сыновей, часто самые лучшие из всех возможных. Все люди, например, подражательны, как обезьяны. Порок передается путем заражения. Юлия это знает и поэтому хочет, чтобы все, вплоть до ее слуг, своим примером и своими речами помогали бы ей внушить ее детям добродетели, которые она хотела бы в них видеть. Но осуществим ли подобный план воспитания в родительском доме? Я в этом сомневаюсь. И если, по признанию Юлии, достаточно одного-единственного грубого или лживого слуги, чтобы испортить все воспитание^а, то где

^а Если исходить из этого признания Юлии, можно ли поверить, что Руссо упрекает меня в том, будто я придаю слишком большое значение воспитанию? Автор «Эмили» не останавливается ни перед какими противоречиями:

«Разве, — говорит он, — два человека одинакового социального положения не получают почти одинакового воспитания, и тем не менее разве не заметно, как велика разница между их умами? Для объяснения этого различия, — прибавляет он на стр. 114 т. V «Элоизы», — можно предположить, что некоторые предметы влияли на одного и не влияли на другого; что незначительные

найти таких слуг, каких требует ее план воспитания? Впрочем, разве то, что представляется невозможным при индивидуальном воспитании, невозможно также и при общественном? Я сейчас займусь этим вопросом.

ГЛАВА VI

О ХОРОШЕМ ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ИДЕЙ РУССО, КОТОРОЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРИ ОБЩЕСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ

При индивидуальном воспитании трудно произвести выбор учителя. Прекрасный учитель встречается редко, он должен стоить дорого, и немногие частные лица достаточно богаты, чтобы иметь возможность хорошо его оплачивать. Иначе обстоит дело при общественном воспитании. Если правительство тратит большие деньги на воспитательные учреждения; если оно щедро платит воспитате-

обстоятельства по-разному действовали на них незаметным для них образом; но все эти рассуждения являются только ухищрениями». Однако, отвечу я Руссо, утверждать, что достаточно грубого или лживого характера одного слуги, чтобы испортить все воспитание, что один взрыв нескромного смеха (стр. 216 т. I «Эмиля») может задержать на целых полгода воспитание, значит, признавать, что эти незначительные обстоятельства, к которым вы так презрительно относитесь, иногда имеют очень важное значение и что поэтому воспитание не может быть в точности одинаковым у двух людей. Но как возможно, что Руссо, столь недвусмысленно признав влияние самых незначительных причин на воспитание, сравнивает затем (стр. 113 и 114 т. V «Элоизы») рассуждения, сделанные по этому поводу, с рассуждениями астрологов? «Чтобы иметь возможность, — говорит он, — объяснить, каким образом людей, которые родились как будто под одним и тем же небесным знаком, постигает совершенно различная судьба, эти астрологи начинают отрицать, будто люди родились в точности в один и тот же момент». Но, можно возразить Руссо, ошибка астрологов заключается вовсе не в этом отрицании.

Утверждение, что небесные светила проходят в единицу времени, как бы мала она ни была, большее или меньшее пространство в соответствии с большей или меньшей скоростью своего движения, есть математическая истина.

Что касается утверждения, что за отсутствием достаточно верных часов или достаточно точного наблюдения двое людей, которые как будто родились в один и тот же момент, на деле не появились, однако, на свет в тот момент, когда небесные светила находились в точности в том же самом положении по отношению друг к другу, — такое сомнение часто является вполне основательным.

Но считать без всяких доказательств, что небесные светила влияют на судьбу и характер людей, — это вздор, и вздор этот на совести астрологов.

лям; если оно оказывает им определенное уважение и, наконец, если оно делает их должности почетными^а, то эти должности становятся предметом всеобщего желания. В этом случае правительство может произвести выбор среди такого большого числа просвещенных людей, что оно всегда найдет лиц, пригодных для должностей, на которые оно их назначает. Во всех областях недостаточное вознаграждение порождает недостаток талантов.

Если следовать плану воспитания, предложенному Руссо, какова должна быть первая забота учителя? Воспитание слуг, предназначенных для обслуживания детей. Когда такие слуги воспитаны, тогда учителя на основании своего собственного опыта и опыта своих предшественников могут приступить к усовершенствованию методов воспитания.

Эти учителя ведь обязаны внушать своим ученикам наиболее соответствующие общественному интересу вкусы, идеи и страсти. Они должны поэтому в присутствии учеников обращать на свои поступки, свое поведение и свои разговоры такое усиленное внимание, какого невозможно выдерживать в течение продолжительного времени. Самое большее, они могут выдерживать такое напряжение в течение 4 или 5 часов в день. Поэтому применить некоторые взгляды и некоторые идеи, высказанные в «Эмиле» и «Элоизе», можно только в школах, где учителя сменяют друг друга по работе. То, что возможно в учреждении общественного образования, невозможно в родительском доме.

В каком возрасте начинать воспитание детей? Если верить Руссо (стр. 116 т. V «Элоизы»), то *дети до 10 или 12 лет лишены способности суждения*. Значит, до этого возраста всякое воспитание бесполезно. Правда, опыт противоречит в этом пункте нашему автору. Опыт учит нас, что ребенок различает — по крайней мере смутно — в тот же момент, когда он ощущает; что он судит до 12 лет

^а Что нужно для того, говорит Руссо, чтобы ребенок учился? Чтобы у него был интерес к учению. Что нужно для того, чтобы учитель совершенствовал свой метод преподавания? Чтобы у него точно так же был интерес совершенствовать его. Для того чтобы заниматься таким тяжелым трудом, надо, чтобы он надеялся на получение солидного вознаграждения. Но не многие отцы достаточно богаты, чтобы оправдать его надежду и щедро оплатить его услуги. Только государь, оказывая уважение званию учителя и назначая за воспитание приличное вознаграждение, может одновременно внушать почтенным людям желание заслужить их и получить.

о расстояниях, о величинах, о твердости и о мягкости тел, о том, что его занимает или что ему скучно, о том, что хорошо или плохо на вкус, и, наконец, что он знаком до 12 лет со значительной частью разговорного языка и знает уже слова, которые могут выразить его идеи. Отсюда я делаю вывод, что намерение природы заключается не в том, чтобы тело укреплялось до того, как начинается обучение ума, как это утверждает автор «Эмилия», а в том, чтобы шло воспитание ума по мере того, как укрепляется тело. Руссо в этом пункте как будто не очень убежден в истинности своих рассуждений. Поэтому на стр. 259 т. I «Эмилия» он признает, что «он часто противоречит самому себе, но, — прибавляет он, — это противоречие лишь на словах». Я уже показал, что это — противоречие на деле, и наш автор дает мне новое доказательство этого в том же месте своего сочинения. «Если я считаю, — говорит он, — детей неспособными рассуждать^а, то это потому, что их заставляют рассуждать о том, чего они не понимают». Но то же самое справедливо и относительно взрослого человека. И тот и другой плохо рассуждают о том, чего они не понимают. Можно даже утверждать, что если ребенок столь же способен к изучению языков, как и взрослый человек, то он столь же способен проявлять внимание: он может с успехом замечать сходство и различия, соответствия и несоответствия различных предметов между собою. И следовательно, может рассуждать одинаково верно.

Впрочем, на какой опыт опирается Руссо, когда на стр. 203 т. I «Эмилия» он утверждает: «...если бы можно было довести здорового ученика до 10 или 12-летнего возраста так, чтобы он не умел отличить своей правой руки от левой и не знал, что такое книга, то очи его разума вдруг раскрылись бы, чтобы видеть уроки разума»?

Я, признаюсь, не понимаю, почему ребенок увидел бы их лучше, если бы у него раскрылись лишь в 10 или 12 лет «очи его разума». Я знаю только, что очень трудно фиксировать внимание ребенка, который до 12 лет ничего не делал; и даже ученый человек, который отвлекается на слишком продолжительное время от своих занятий, не без труда берется за них опять. Ум в этом отношении

^а «Мнимая неспособность молодых людей к рассуждению, — говорит по этому поводу Сен Реаль, — является скорее оправданием для учителя, чем для ученика. Учителя, не умея научить их рассуждать, заинтересованы в том, чтобы называть их неспособными».

похож на тело: первый становится внимательным, а второе — гибким лишь в результате длительного упражнения. Сосредоточить внимание становится нетрудно лишь в результате привычки.

Встречаются люди, преодолевающие и в зрелом возрасте препятствия, поставленные приобретению талантов, вследствие длительного отсутствия упражнения.

Исключительное стремление к славе может, несомненно, произвести это чудо. Но какое редкое стечение обстоятельств необходимо, чтобы зажечь подобное желание. Надо ли рассчитывать на такое стечение обстоятельств и ждать чуда? Самое верное решение — это приучить детей с раннего возраста к усилению внимания. Эта привычка представляет собою самое реальное преимущество, получаемое нами в настоящее время от лучших занятий. Но что надо сделать, чтобы дети стали внимательными? Нужно, чтобы у них был интерес к этому. Для этой цели иногда прибегают к наказанию¹⁶. Страх порождает внимание, и если к тому же методы воспитания усовершенствованы, то это внимание не тягостно.

Но легко ли усовершенствовать эти методы воспитания? Нужно заставлять ребенка при изучении какой-нибудь абстрактной науки, как, например, этики, отправляться от частных идей к общим. Свяжите отчетливые и точные представления с различными словами, составляющими язык этой науки, — ее изучение станет нетрудным. Почему бы, наблюдая точно человеческий ум, не организовать занятия таким образом, чтобы опыт был единственным или по крайней мере первым его учителем и чтобы в каждой науке ученик всегда восходил от простых ощущений к самым сложным идеям? Если принять этот метод, то успехи ученика будут более быстрыми, его знания более прочными, занятия станут для него менее тягостными, менее ненавистными. Наконец, воспитание окажет на него большее влияние.

Твердить, что *детство и юность лишены способности суждения*, — значит повторять слова старцев из комедии. Юность размышляет меньше, чем старость, потому что она больше чувствует, потому что все предметы, новые для нее, производят на нее более сильное впечатление. Но если сила ощущений отвлекает ее от размышления, то зато живость ее восприятия запечатлевает глубже в ее памяти предметы, которые какой-нибудь интерес заставит ее когда-нибудь сравнивать между собою.

О МНИМЫХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
ПО СРАВНЕНИЮ С ЮНОСТЬЮ

Взрослый человек знает больше, чем юноша, он хранит в своей памяти больше фактов. Но обладает ли он большей способностью к учению, большей силой внимания, большей способностью к рассуждению? Нет, идем, если можно так сказать, даем наиболее пышные всходы при переходе из детского возраста в юношеский, в возрасте желаний и страстей. Весна жизни подобна весне, времени года. Соки тогда с силой поднимаются в деревьях, распространяются по ветвям и сучьям, доходят до конечностей, покрывают деревья листьями, украшают цветами и усеивают их завязями плодов. Таким же образом в юности у человека зарождаются возвышенные мысли, которые должны впоследствии сделать его знаменитым.

В течение лета жизни его идеи созревают. В это время человек сравнивает их, объединяет их, составляет из них одно большое целое. Во время этой работы он переходит из юности в зрелый возраст, и общество, пожинающее затем плоды его трудов, рассматривает дары его весны как приношение его осени^а. Молодой человек в целом более совершенен¹⁷, несет в себе больше ума, больше жизни, которую он щедро распространяет на все окружающее.

Возьмем государства, где душа государя, ставшая душой всей нации, сообщает ей движение и жизнь; здесь дух государя подобен фонтану Алкиноя^{1*}, воды которого били ключом во дворце и распределялись затем сотнями каналов по всей стране. Ум государя через каналы его вельмож равным образом передается его подданным. Что происходит в этом случае? В государствах, где все исходит от монархов, момент его молодости является обычно моментом наибольшего процветания нации. Если счастье, подобно кокеткам, как будто избегает его старости, то это потому, что тогда государь теряет активность своих страстей¹⁸, а активность есть мать успеха.

По мере приближения старости человек менее привязан к земле и менее приспособлен к тому, чтобы управлять

^а В ранней молодости люди обязаны своим живым стремлением к науке любви к славе, а иногда любви к женщинам; в более же зрелом возрасте мы обязаны этим стремлением лишь силе привычки.

ею. Он ежедневно ощущает, как в нем уменьшается чувство собственного существования. Самый источник его движения испаряется. Душа монарха цепенеет, и его цепенение, передаваясь подданным, приводит к тому, что они теряют смелость, энергию, — и напрасно было бы требовать от старого Людовика XIV лавров, венчавших его молодость.

Хотите знать, что может сделать воспитание в детстве? Откроем т. V «Элоизы» и обратимся к Юлии или к самому Руссо. Он говорит здесь ^а, что дети Юлии, старшему из коих 6 лет ^б, уже сносно читают; что они уже послушны ^в; что они приучены получать отказ ^г; что Юлия уничтожила в них причины, ведущие к крикливости ^д; что она устранила из их души ложь, тщеславие, гнев и зависть ^е.

Пусть Юлия или Руссо — если так угодно — считают эти воспитательные меры только подготовительными; название здесь ничего не меняет по существу. Все же верно, что в 6 лет вряд ли можно встретить более подвинувшееся вперед воспитание. Но еще более удивительного успеха заставляет Руссо добиваться своего воспитанника на стр. 132 т. II «Эмиля». «Какие великие идеи, — говорит он, — укладываются в голове Эмиля благодаря моему воспитанию! Какая чисто юридическая отчетливость мысли! Какая правильность мышления! Стоя выше окружающих, он, если не может поднять других людей до себя, умеет спуститься до них. Подлинные принципы справедливости, подлинные образцы красоты, все моральные отношения людей, все идеи порядка запечатлеваются в его уме».

Если таков Эмиль нашего Руссо, то никто не откажет ему в том, что он является человеком, стоящим выше окружающих. Между тем мы читаем, что этот воспитанник (т. II, стр. 302) «получил от природы лишь посредственные умственные способности».

Следовательно, превосходство над окружающими в отличие от того, что думает Руссо, является в нас результатом не большего или меньшего совершенства наших органов, а нашего воспитания.

^а Стр. 159.

^б Стр. 148.

^в Стр. 120.

^г Стр. 132.

^д Стр. 135 и 136.

^е Стр. 123.

Не следует удивляться противоречиям этого знаменитого писателя. Его наблюдения почти всегда правильны, принципы же его почти всегда ложны и банальны. Отсюда его ошибки. Он относится недостаточно критически к общепринятым мнениям, его привлекает то, что они признаны большим числом людей. А какой философ подходит к этим мнениям всегда строго исследовательским образом? Большинство людей повторяет друг друга: это — путешественники, дающие одно и то же описание стран, по которым они наспех проехали или которых они даже никогда не видели.

В старинных зрительных залах было, как говорят, устроено искусственное эхо, отражатели которого были в большом числе размещены на определенном расстоянии друг от друга, и было немного действующих лиц на сцене. Но на сцене мира число самостоятельно мыслящих людей точно так же очень незначительно, а эхо очень громкое. Это эхо повсюду нас оглушает своим шумом. Я не стану применять это сравнение к Руссо. Но замечу, что нет гения, в мышлении которого составной частью не входили бы постоянно и всякого рода ходячие мнения. Несомненно, одно из таких ходячих мнений заставило и Руссо утверждать, «что до 10 или 12 лет дети совершенно неспособны к рассуждению и к воспитанию».

ГЛАВА VIII

О ХВАЛАХ, ВОЗДАВАЕМЫХ РУССО НЕВЕЖЕСТВУ

Тот, кто иногда считает различие умов и характеров следствием различия темпераментов^а, тот, кто убежден, что воспитание *заменяет лишь мелкими качествами великие качества*, полученные от природы, и считает поэтому воспитание вредным¹⁹, должен иногда становиться защитником невежества. И действительно, Руссо на стр. 163 т. V «Элоизы» заявляет: «Дети должны заимствовать свои знания вовсе не из книг; знания, — прибавляет он, — заключены не в книгах». Но, спрашивается, достигли бы когда-нибудь науки и искусства определенной степени

^а Если бы характеры были результатом физической организации, то во всех странах было бы известное число людей с характером. Почему же мы встречаем их обычно лишь в свободных странах? Потому, утверждают, что характеры могут развиваться только в этих странах. Но могла ли бы мораль противиться развитию физической причины? Существует ли такая моральная максима, которая могла бы растопить лупу?

совершенства, если бы не было книг? Почему не изучать геометрию по Евклиду и Клеро; медицину — по Гиппократу и Бургаву; военное искусство — по Цезарю, Фекье и Монтекулли; гражданское право — по Дома и, наконец, политику и этику — по таким историкам, как Тацит, Юм, Полибий, Макиавелли^{1*}? Не довольствуясь презрительным отношением к науке, Руссо как будто пытается внушить мысль, что у человека, добродетельного по своей природе, его пороки объясняются его знаниями. «Мне не важно, — говорит Юлия на стр. 158 и 159 т. V, *ibid.*, — чтобы мой сын был ученым человеком: с меня достаточно, чтобы он был благоразумным и добрым». Но разве науки делают гражданина порочным? Разве невежда — лучший²⁰ и мудрейший из людей?

Тот род честности, который необходим для того, чтобы не быть повешенным, требует мало просвещения. Но можно ли сказать то же самое о высшей, утонченной добродетели? Каких только знаний о патриотических обязанностях не предполагает эта добродетель!

Среди невежд я встречал добрых людей, но в небольшом количестве. Я видел много раковин, из коих лишь немногие содержали жемчужины. Никогда не наблюдалось, чтобы самые невежественные народы были самыми счастливыми, добрыми и добродетельными²¹.

В Северной Америке бесчеловечная борьба постоянно вооружает одних невежественных дикарей против других. Эти дикари, жестокие в сражениях, еще более жестоки, когда они побеждают. Какая участь ждет их пленников? Смерть в ужасных мучениях. Но вот, выкурив трубку мира, два диких народа прекращают военные действия между собою. Каких только насилий не совершают они нередко среди собственных же племен! Сколько раз здесь поднимали голову убийство, жестокость, вероломство, поощряемые безнаказанностью!²²

Действительно, почему невежественный обитатель лесов должен быть более добродетелен, чем просвещенный житель городов? Люди повсюду рождаются с одинаковыми потребностями и с одинаковым желанием удовлетворить их! В колыбели они одинаковы, начинают отличаться друг от друга лишь по мере своего дальнейшего продвижения вперед по жизненному пути.

Скажут, что потребности дикого народа сводятся к одним его физическим потребностям. Они не многочисленны. Потребности же цивилизованной нации, наоборот, ог-

ромны. Немногие люди здесь испытывают муки голода, но зато сколько вкусов и желаний приходится здесь удовлетворять! И сколько, можно сказать, скрыто в этом разнообразии вкусов источников ссор, споров и пороков! Это так, но как много здесь законов и полицейских мер для их подавления!

К тому же большие преступления не всегда являются следствием разнообразия наших желаний. Не разнообразие страстей, а сила их чревата злодеяниями. Чем больше у меня желаний и вкусов, тем менее они пылки. Это — потоки, которые тем менее полноводны и опасны в своем течении, чем на большее число ручейков они делятся. Сильная страсть есть одинокая страсть, сосредоточивающая все наши желания на одном пункте. Таковы часто страсти, порождаемые в нас нашими физическими потребностями.

Два народа, незнакомые с земледелием и искусствами, иногда испытывают муки голода; зато какие стимулы активности дает этот голод! Нет ни одного изобилующего рыбой озера, ни одного леса, изобилующего дичью, которые не стали бы предметом споров и войны между ними. Рыбы и дичи стало меньше — каждый из этих народов охраняет тогда озеро или лес, которые он себе присвоил, подобно тому как земледелец охраняет доступ к полю, где зреет жатва.

Голод возобновляется несколько раз в день. И в силу этого он становится у дикаря более активным стимулом, чем разнообразные вкусы и желания цивилизованного народа. Но действия дикаря всегда жестоки, так как они не сдерживаются законом. Поэтому в Северной Америке совершается больше жестокостей и преступлений, соразмерно числу ее жителей, чем во всей Европе. На чем же в таком случае покоится мнение о добродетели и счастье дикарей?

Разве уменьшение населения в северных странах, так часто опустошаемых голодом, доказывает, что самоеды более счастливы, чем голландцы? А каково со времени изобретения огнестрельного оружия и успехов военного искусства²³ положение эскимоса? Чему он обязан своим существованием? Жалости европейских наций. Пусть только возникнут какие-нибудь осложнения между ним и европейскими нациями, и этот дикий народец будет уничтожен. Можно ли назвать счастливым народ, самое существование которого так шатко?

Положим, что гуроны плп проказы столь невежественны, как того хочет Руссо. Но я не считал бы их в силу этого более счастливыми. Народ обязан своими добродетелями, своим процветанием, своим населением и своим могуществом просвещению и мудрости своего законодательства. Когда русские стали угрозой для Европы? Когда царь принудил их к просвещению²⁴. Руссо на стр. 30 т. III «Эмиля» категорически утверждает, «что искусство, науки, философия и обычаи, которые она порождает, вскоре превратят Европу в пустыню²⁵, что знания портят нравы». Но на чем основано это мнение? Чтобы добросовестно защищать этот парадокс, следовало бы никогда не обращать своих взоров на государство с такими столицами, как Константинополь, Исфахань, Дели, Меккинез²⁶, ни на одну из тех стран, где невежеству одинаково воскуряют фимиам как в мечетях, так и во дворцах.

Кого мы видим на троне Оттоманской империи? Государя, обширная империя которого является огромной пустыней и все богатства и все подданные которого, сосредоточенные, так сказать, в одной огромной столице, представляют собою лишь пустую видимость могущества. Эта империя в настоящее время не в состоянии отразить нападение любого христианского государя. Она должна была потерпеть неудачу у Мальты и, вероятно, не будет больше играть никакой роли в Европе.

А какое зрелище являет миру Персия? Жители, рассеянные на огромных пространствах, разоряемых разбойниками, и двадцать тиранов, которые с оружием в руках оспаривают друг у друга превращенные в пепел города и опустошенные поля.

Что мы наблюдаем в Индии с ее самым благоприятным в мире климатом? Ленивые народы, униженные рабством, лишенные любви к общественному благу, душевного величия, дисциплины и смелости, прозябают под самым прекрасным небом в мире²⁶.

Небольшой кучки европейцев достаточно, чтобы сокрушить все их могущество. Таково в значительной части Востока положение народов, обреченных на это прославленное невежество.

Серьезно ли думает Руссо, что только что перечисленные мною государства являются более населенными, чем Франция, Германия, Италия, Голландия и т. д.? Считает ли он, что невежественные народы этих стран более добродетельны и более счастливы, чем просвещенный и сво-

бодный английский народ? Разумеется, нет. Он не может не знать этих фактов, известных самому поверхностному францу и самой легкомысленной болтушке. Что же в таком случае побудило Руссо так смело выступить в защиту невежества?

ГЛАВА IX

КАКИЕ ПРИЧИНЫ МОГЛИ ЗАСТАВИТЬ РУССО СТАТЬ ЗАЩИТНИКОМ НЕВЕЖЕСТВА?

Руссо должен сам объяснить нам, в чем тут дело. «Не существует философа, — говорит он на стр. 30 т. III «Эмilia», — который, взявшись узнать, что такое истина и что такое ложь, не предпочел бы открытую им ложь истине, найденной другим. Какой философ, — прибавляет он, — ради своей славы не обманет охотно весь человеческий род?»

Разве Руссо такого рода философ? ²⁷ Я не позволю себе этого допустить. Впрочем, если он думает, что искусная ложь может навсегда обессмертить имя ее автора, то он ошибается ^a. Только истина имеет длительный успех. Лавры, венчающие иногда заблуждение, очень быстро увядают.

Я допускаю, что какая-нибудь низкая душа или ум, слишком слабый для достижения истины, умышленно утверждают ложь; они повинуются своему инстинкту. Но я сомневаюсь, чтобы философ мог стать апостолом заблуждения, которого он сам не признавал бы истиной ^b. Неопровержимое ручательство в этом — желание всякого автора пользоваться общественным уважением и славой. Руссо, несомненно, ищет ее, но в качестве красноречивого литератора, а не философа. Поэтому из всех знаменитых людей он единственный поднял голос против науки ²⁸. Презирает ли он ее внутренне? Лишен ли он гордости? Нет, но эта гордость была на мгновение слепой. Несомненно, став апологетом невежества, он сказал самому себе:

^a Однако я делаю исключение для религиозных выдумок.

^b Я знаю, что человек вовсе не любит истину ради нее самой. Он оценивает все с точки зрения своего счастья. Но он видит счастье в приобретении общественного и длительного уважения. А так как этот род уважения связан с открытием истины, очевидно, что в силу самой природы его страсти он вынужден любить и искать только истину. Слава, которой человек обязан

«Люди вообще ленивы, и, следовательно, они враги всякого учения, заставляющего их напрягать внимание».

«Люди тщеславны, следовательно, они враги всякого стоящего выше их человека».

«Наконец, заурядные люди питают скрытую ненависть к ученым и к наукам. Если я стану доказывать их бесполезность, то я этим польщу тщеславию глупцов; я стану дорог невеждам, я буду их учителем, а они моими учениками, и мое имя, освященное их похвалами, прогремит по всему миру. Даже монахи выскажутся в мою пользу²⁹. Невежественный и доверчивый человек — подходящий человек для монахов. Своим величием последние обязаны общественному невежеству. А кроме того, найдется ли более благоприятный момент для моего плана? Все во Франции состязаются в обесценивании талантов. Если я захочу этим воспользоваться, то мои сочинения приобретут известность».

Но долговечна ли подобная известность? Мог ли ожидать ее автор «Эмилия»? Разве он не знал, что в уме и характере народов совершается скрытая и непрерывная революция и что с течением времени само невежество себя дискредитирует?

Но какое это должно быть мучение для нашего автора, если он предвидит уже презрение, на которое обречены в будущем его панегирики невежеству³⁰. Возможно ли в этом вопросе вводить Европу на долгое время в заблуждение? Опыт показывает европейским народам, что гений, просвещение и знания являются истинными источниками их могущества, их благосостояния, их добродетели. Опыт говорит им, что их слабость и несчастья, наоборот, являются всегда результатом несовершенства в управлении и, следовательно, невежества законодателя. Значит, люди никогда не поверят в то, что науки и просвещение действительно вредны.

Но, говорят, иногда в один и тот же век можно было наблюдать, как науки и искусства совершенствуются, а нравы портятся. Я согласен с этим; я знаю, как всегда завистливое невежество искусно пользуется этим, чтобы вменить в вину наукам порчу нравов, которая всецело зависит от других причин.

заблуждению, есть иллюзия славы, которая разрушается при первых же лучах разума и истины.

ГЛАВА X

О ПРИЧИНАХ УПАДКА ГОСУДАРСТВА

Распространение и усовершенствование наук и искусств в государстве не вызывают его упадка. Но те же причины, которые ускоряют в нем прогресс наук, иногда порождают и самые роковые последствия.

Существуют народы, среди которых в силу исключительного стечения обстоятельств творческое начало наук и искусств развивается в то самое время, когда у них портятся нравы.

Известное число людей собирается, чтобы образовать общество. Эти люди основывают новый город. Их соседи ревниво следят за его возвышением. Жители этого города вынуждены одновременно быть земледельцами и воинами, поочередно братья за мотыгу и за меч. Каковы в силу необходимости должны быть в этой стране наука и добродетель? Знание военного дела и мужество, только они одни здесь в почете. Всякая другая наука, всякая другая добродетель здесь неизвестны. Таково было положение Рима при его зарождении, когда, слабый и окруженный воинственными народами, он с трудом сдерживал их натиск.

Его слава, его могущество распространились по всей земле. Но Рим не сразу приобрел и то и другое. Ему потребовались века, чтобы победоносно покорить себе своих соседей. После покорения соседей гражданские войны, возникшие благодаря форме его правления, продолжают следовать за войнами с внешними врагами. Можно ли себе представить, чтобы граждане, входившие в различные партии в качестве вождей или рядовых бойцов, чтобы граждане, непрерывно волнуемые страхом или горячими надеждами, могли пользоваться досугом и спокойствием, необходимыми для занятия науками?

В стране, где эти события переплетаются и следуют друг за другом, единственный благоприятный для наук момент — это, к несчастью, тот, когда гражданские войны, волнения, крамолы стихают; когда гибнущая свобода падает, как это было во времена Августа^{1*} под ударами деспотизма^а. Но эта эпоха немногим предшествует эпохе упадка империи. Между тем науки и искусства

^а То же самое происходило во Франции, когда кардинал Ришелье обезоружил простой народ и дворянство и подчинил их себе. В это время здесь расцвели науки и искусства.

переживают здесь свой расцвет. Это объясняется двумя причинами.

Первая — это сила страстей. В первый период порабощения умы, в которых жива еще память о потерянной свободе, находятся в возбуждении, очень напоминающем волнение моря после бури. Гражданин горит еще желанием прославиться, но положение его уже изменилось. Ему уже не воздвигнуть себе статуи рядом со статуями таких людей, как Тимолеон, Пелопид и Брут. Его имя не может войти в историю, как имя тираноубийцы, как имя мстителя за свободу. Его статуя может найти себе место лишь в ряду таких людей, как Гомер, Эпикур, Архимед и т. д. Он чувствует это и, если ему остается лишь одна область славы, на которую он может претендовать, раз он может увенчать себя лишь лаврами муз, то, чтобы добиться их, он выходит на арену наук и искусств. И тогда появляются люди, знаменитые во всех этих областях.

Вторая из этих причин, появляющаяся тогда у государства, — заинтересованность в том, чтобы поощрять прогресс наук. Почему монарх желает с момента установления деспотизма внушить своим подданным любовь к наукам и искусствам? Чего он боится? Чтобы они не замечали своих оков, не стыдились своего рабства и не устремляли своих взоров к свободе. Он хочет поэтому скрыть от них унижение; он хочет занять их умы другим, предлагая им с этой целью новые пути к славе. Лицемерный ценитель наук, он выказывает тем больше уважения к гениальному человеку, чем больше он нуждается в его похвалах.

Нравы народов еще не изменились в момент установления деспотизма. Дух граждан остался свободным еще некоторое время после того, как их руки уже связаны. В эти первые минуты знаменитые люди пользуются еще некоторым влиянием на народ. Поэтому деспот осыпает их милостями для того, чтобы они осыпали его своими похвалами. И крупные таланты очень часто шли на эту сделку и очень часто создавали панегирики узурпаторам и тиранам.

Какие причины побуждали их к этому? Иногда раболепие, но чаще благодарность^а. Надо это признать: вся-

^а На писателях лежит вина в том, что они хвалили в кардинале Ришелье самого худшего из граждан, пособника деспотизма,

кий крупный переворот в государстве импонирует воображению. Он предполагает в том, кто его совершил, некоторые крупные достоинства или по крайней мере известный поражающий воображение порок, который удивление или благодарность могут превратить в добродетель³¹.

Такова причина появления больших талантов в науках и искусствах в период установления деспотизма. Но по прошествии этого времени та же страна становится бедной талантливыми людьми³². Это объясняется тем, что деспот, укрепившись на своем троне, не заинтересован больше в поощрении талантов. Господство наук и искусств в государствах продолжается не больше одного-двух веков. Растение алоэ может служить для всех народов символом созидания наук. Ему требуется сто лет для укрепления своих корней, затем сто лет для подготовки к тому, чтобы пустить ствол, а по истечении века оно поднимается, дает цвет и умирает.

Равным образом во всяком государстве науки, если можно так сказать, один раз только дают побеги, а затем исчезают. Это потому, что условия, способные породить талантливых людей, развиваются в них обычно только один раз. Только в апогее величия нации ее творчество обыкновенно приносит плоды в области наук и искусств. Сменились три или четыре поколения знаменитых людей. Нравы народа за это время успевают измениться: он приспособился к своему рабству, его душа утратила энергию; нет никакой сильной страсти, которая побуждала бы ее к действию. Деспот не поощряет больше граждан добиваться какой бы то ни было славы. Он оказывает теперь почет не таланту, а раболепию; гений же, если он сохранился еще в этой стране, живет и умирает неизвестным на своей собственной родине. Он как апельсиновое дерево, которое цветет, благоухает и умирает в пустыне.

Утверждающийся у власти деспотизм еще позволяет все говорить, лишь бы ему было позволено все делать. Укрепившийся у власти деспотизм уже запрещает свободно говорить, думать, писать. Ум впадает тогда в апатию; граждане, ставшие рабами, проклинаят вскормившую

человека, посеявшего семена теперешних зол Франции, и, наконец, человека, который должен быть одинаково отвратителен как для государя, так и для народа.

их грудь: в таком государстве рождение человека означает, что стало больше одним несчастным. Скованный гений с трудом влачит свои цепи, он не взлетает более ввысь, он пресмыкается.

Науки — в загоне; невежество — в почете³³; всякий здравомыслящий человек объявляется врагом государства. Кто из граждан был бы самым ненавистным в стране слепых? Зрячий. Если бы слепые поймали его, они растерзали бы его в клочья. Такая же участь ждет просвещенного гражданина в царстве невежества. Печать там испытывает тем более стеснений, чем ограниченнее кругозор министра. В правление таких государей, как Фридрих или Антонин, осмеливаются говорить и думать всё и обо всем писать, при другом же правлении все молчат.

Об уме государя можно всегда судить по тому почету и уважению, которые он оказывает талантам^a. Оказываемые им милости не только не вредны государству, а, наоборот, приносят ему пользу.

Науки и искусства — слава народа; они увеличивают его счастье. Следовательно, только деспотизму, заинтересованному вначале в поощрении наук, а вовсе не самим наукам надо вменить в вину упадок государств. Когда государь могущественной нации венчает себя короной самодержавия, нация начинает с каждым днем ослабевать.

Пышность восточного двора, разумеется, может импонировать черни: она может думать, что сила государства равнозначна великолепию его дворцов. Мудрец же судит об этом иначе. Именно это самое великолепие есть для него показатель слабости государства. В величественной роскоши, среди которой восседает деспот, он видит лишь великолепную, богатую и мрачную декорацию смерти, лишь пышный катафалк, внутри которого находится холодный, безжизненный труп, безжизненный прах, лишь призрак могущества, готовый исчезнуть перед презирающим его врагом. Великий народ, над которым воцаряется деспотическая власть, можно сравнить с многове-

^a Из трех вещей, говорил венгерский король Матяш, которые государь должен ставить себе целью, первая — быть справедливым, вторая — побеждать врагов, третья — вознаграждать людей науки и почитать знаменитых людей.

ковым дубом. Его величественный ствол, толщина его ветвей свидетельствуют еще о том, каковы были когда-то его сила и его величие; он все еще кажется царем лесов. Но в действительности он гибнет: его ветви, лишенные листьев, лишенные жизни и наполовину истлевшие, с каждым годом все более разрушаются бурями. Таково положение наций, находящихся под игом произвола.

ГЛАВА XI

РАЗВИТИЕ НАУК И ИСКУССТВ В ДЕСПОТИЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕ ЗАДЕРЖИВАЕТ ЕГО ГИБЕЛЬ

Когда вполне окрепший деспотизм довел, как я уже говорил, народ до рабства, когда он подавил в населении всякую любовь к славе, когда он распространил повсюду мрак невежества, тогда государство устремляется навстречу своей гибели³⁴. Однако, как замечает Сорен^{1*}, поскольку изучение наук и вызываемое ими смягчение нравов несколько умеряют насилия абсолютной власти, науки не только не ускоряют, а, наоборот, задерживают падение государств.

Правда, плотина наук не в состоянии долгое время сдерживать напор власти, перед которой все склоняется и которая разрушает самые прочные троны и самые могущественные государства, но во всяком случае наукам нельзя вменить в вину порчу нравов. Не науки порождают общественные бедствия, рост которых во всяком государстве соразмерен росту абсолютной власти. Действительно, почему бы науки и искусства стали портить нравы³⁵ и расслаблять мужество граждан? Что такое наука? Это — собрание наблюдений, сделанных, если это в механике, над способами применения движущих сил; если в математике — над отношениями величин между собою; если в хирургии — по поводу искусства перевязывать и лечить раны; наконец, если в законодательстве — над способами, могущими сделать людей счастливыми и добродетельными. Но почему эти различные собрания наблюдений должны расслаблять мужество? Благодаря науке о военной дисциплине римляне победили весь мир. Значит, они покорили себе народы, потому что были сведущи в этой науке. Тирания же, чтобы привлечь на свою сторону армию и обеспечить себе ее поддержку, вынуждена была смягчить строгость военной дисциплины, и, когда наконец наука о ней была почти

полностью уничтожена, бывшие победители мира, побежденные в свою очередь, испытали, будучи невеждами, иго северных народов.

В Спарте ковали прекрасно закаленные шлемы, латы и мечи.

Это искусство предполагает множество других знаний^а, и тем не менее спартанцы были мужественны. Цезарь, Кассий и Брут отличались своим красноречием, ученостью и смелостью. В Греции одновременно упражняли и ум, и тело. Изнеженность — порождение богатства, а не наук. Современниками Гомера, писавшего «Илиаду», были резчики щита Ахилла. Значит, искусства достигли в это время в Греции определенной степени совершенства, а между тем здесь занимались еще кулачными боями и единоборством.

Во Франции не науки делают большинство офицеров неспособными переносить тяготы войны, а изнеженность их воспитания. Пусть только перестанут принимать на военную службу тех, кто не в состоянии совершать переходы, поднимать тяжести и выдерживать усталость; желание получить военные посты заставит французов преодолеть свою изнеженность, они захотят быть мужчинами, их нравы и воспитание изменятся. Невежество порождает несовершенство законов, а несовершенство законов — пороки народов. Просвещение дает противопо-

^а Говорят, что искусство изготовления предметов роскоши способствует ослаблению мужества. Но что может преградить доступ в государство этих искусств? Невежество ли? Нет, это делают бедность или приблизительно равное распределение национального богатства. Какой гражданин в Спарте купил бы малевую шкатулку? Всей государственной казны не хватило бы, чтобы оплатить ее. Значит, ни один ювелир не обосновался бы в Лакедемон: он умер бы здесь от голода. Не рабочие, изготавливающие предметы роскоши, портят нравы народа; наоборот, испорченные нравы этого народа вызывают появление в стране рабочих, изготавливающих предметы роскоши. Во всякого рода торговле спрос предшествует предложению.

Кроме того, роскошь, как я уже говорил, есть результат слишком неравного распределения национального богатства; очевидно, что науки, не имея никакого отношения к этому неравному распределению, не могут считаться причиной роскоши. Ученые не очень-то богаты. Не они, а деловые люди блистают своим великолепием. Искусство изготовления предметов роскоши иногда процветало у некоторых наций в одно время с науками, но это потому, что эпоха, когда здесь культивировались науки, была иногда той эпохой, когда происходило накопление богатств в руках небольшого числа людей.

ложные результаты. Разве причисляли когда-нибудь к развратителям нравов Ликурга, мудреца, который объехал столько стран, чтобы почерпнуть в разговорах с философами знания, необходимые для проведения удачной реформы законов своей страны.

Скажут, что в самом приобретении этих знаний он черпал свое презрение к последним. Но кто поверит когда-нибудь, чтобы законодатель, положивший столько трудов на собирание сочинений Гомера и воздвигнувший статую Смеха на площади города, действительно презирал науки? Спартанцы, так же как и афиняне, были самыми просвещенными и самыми прославленными народами Греции. А какую роль в ней играли невежественные фиванцы до тех пор, пока Эпаминонд не извлек их из тьмы невежества?

Я показал в этом разделе ошибки и противоречия тех авторов, принципы которых расходятся с моими.

Я доказал, что всякий хвалитель невежества, по меньшей мере не сознавая этого, является врагом общественного блага.

Что науку о нравственности надо изучать в сердце человека.

Что всякий невежественный народ, если к тому же он богат и цивилизован, — всегда безнравственный народ.

Теперь надо подробно указать бедствия, в которые невежество повергает народы. Это даст возможность лучше понять значение хорошего воспитания, это поможет мне лучше внушить желание усовершенствовать его, и я заранее заинтересую моих сограждан идеями, которые я хочу предложить им по этому вопросу.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Руссо (стр. 4, т. II «Эмиля»), сказав несколько слов о происхождении страстей, прибавляет к этому: «На основании этого принципа легко понять, каким образом можно направлять к добру или ко злу все страсти детей и взрослых». Но если возможно направлять страсти детей к добру или ко злу, то, значит, возможно изменять их характер.

² «Внутренний голос добродетели, — говорит Руссо, — не слышен беднякам». Этот автор причисляет, очевидно, неверующих к беднякам, когда на стр. 207 т. III «Эмиля» он говорит: «Чтобы избавить себя от малейшей неприятности или доставить себе малейшее удовольствие, неверующий готов пожелать несчастья всему миру». Руссо — неверующий, но я не обвиняю его в подобном желании. Вольтер — не ханжа, однако пменно он взял на себя защиту несчастной семьи Каласа ^{1*}. поддержал их деньгами, тратил

в хлопотах о них столь для него всегда ценное время; он один защищал угнетенных вдову и сирот, когда церковь и власть покинули их. Руссо, вероятно, хотел сказать, что неверующие любят себя больше, чем других. Но чувство себялюбия равно свойственно как верующим, так и неверующим. Нет такого святого, который хотел бы быть осужденным на вечные муки ради своих ближних. Когда апостол Павел пожелал быть преданным анафеме за своих братьев, то разве этим не преувеличил он для себя благородства, на которое способно чувство себялюбия, и разве не потребовалось ему пробыть 15 дней в аду, чтобы убедиться в его истинности?

³ «До тех пор, пока чувствительность человека («Эмпль», т. II, стр. 4) остается ограниченной его собственной индивидуальностью, в его поступках нет ничего нравственного. Лишь тогда, когда она начинает выходить за пределы его, он приобретает сперва те чувства, а затем те понятия о добре и зле, которые делают его подлинно человеком». Отрывок этот показывает, с какой наивностью Руссо сам себя опровергает.

⁴ Судить, говорит Руссо, — это не то же самое, что ощущать. Доказательством этого взгляда, по его словам, является то, «что в нас есть некая способность или сила, заставляющая нас сравнивать предметы. Но, — говорит он, — эта сила не может быть результатом физической чувствительности». Если бы Руссо изучил глубже этот вопрос, то он убедился бы, что эта сила есть не что иное, как имеющийся у нас интерес сравнивать между собою предметы, и что этот интерес коренится в чувстве себялюбия, непосредственном результате *физической чувствительности*.

⁵ Воображение северных народов не менее ярко, чем воображение южных народов. Если сравнить поэмы Оссиана с гомеровскими, если прочесть поэмы Мильтона, Фингала, ирландские поэмы и т. д. ^{2*}, то в картинах северных поэтов можно заметить не меньше силы, чем в картинах южных поэтов. Поэтому замечательный переводчик поэзии Оссиана, доказав в отличном рассуждении, что большая и мужественная красота поэзии свойственна всем народам, замечает в связи с этим, что произведения этого рода предполагают у народа лишь некоторую степень цивилизации. Не климат, прибавляет он, а нравы эпохи придают поэзии мужественный и возвышенный характер. Доказательством этого является поэзия Оссиана.

⁶ Человек бывает иногда дурным, но лишь тогда, когда он заинтересован в этом; когда законы, которые должны были бы страхом наказания или надеждой на награду побуждать его к добродетели, ведут его, наоборот, к пороку. Таков человек в деспотических странах, т. е. в тех государствах, где царят лень, низкопоклонство, ханжество, шпионство, лень, лицемерие, ложь, измена и т. д.

⁷ Не чувство нравственной красоты заставляет трудиться рабочего, а обещание 24 су на чай. Как должен поступать больночеловек, обзаванный продлением своей жизни усиленным заботам своих слуг, чтобы обеспечить для себя непрерывность этих забот? Должен ли он проповедовать нравственную красоту? Нет, он должен заявить им, что хотя он и не вписал их в свое завещание, но он будет вознаграждать их рвение при жизни, выплачивая им ежегодно определенную приличную сумму. Пусть он сдержит свое слово, и за ним будут хорошо ухаживать, но ухаживали бы плохо,

если бы он апеллировал только к их чувству нравственной красоты.

Нет таких положений, при которых нельзя было бы дать таких же советов, основанных на принципе личного интереса, которые были бы гораздо действительнее, чем советы, заимствованные из теологической метафизики или из хитроумной метафизики шейтсберизма.

⁸ Люди без всякой жалости давят муху, паука, насекомое, но они не могут без тягостного чувства смотреть на то, как режут быка. Почему? Потому, что кровотечение и судороги крупного животного вызывают в их памяти чувство боли, какого не вызывает вид раздавленного насекомого.

⁹ Две нации находят интерес в заключении между собою союза, они составляют договор о взаимной доброжелательности и гуманности. Когда же какая-нибудь из этих двух наций не находит больше выгоды в этом договоре, она нарушает его. Таков человек. Интерес определяет его ненависть или его любовь. Гуманность не свойственна по существу его природе. Действительно, что понимают под словами «свойственный по существу»? То, без чего вещь не существует. Но в этом смысле физическая чувствительность есть единственное качество, свойственное по существу природе человека.

¹⁰ Мы содрогаемся при виде убийцы, которого подвергают четвертованию. Почему? Потому, что его муки вызывают в нашей памяти мысль о смерти и страданиях, на которые нас обрекает природа. Но почему безжалостны палачи и хирурги? Потому, что они привыкли один пытать преступников, другой оперировать больных, не испытывая сами от этого страдания: они становятся бесчувственными к их воплям. Если в страданиях другого человека мы не видим тех страданий, каким мы сами подвержены, то мы становимся безжалостными.

¹¹ Человек испытывает потребность, чтобы его жалели в его несчастиях и чтобы ему помогали в его начинаниях; это вместе с потребностью в богатстве, беседе, удовольствиях и т. д. порождает у всех людей чувство дружбы. Таким образом, дружба не всегда основывается на добродетели, и злые люди, подобно добрым, способны к дружбе, но не к гуманности. Но только добрые люди испытывают то чувство разумного сострадания и нежности, которое, объединяя человека с человеком, делает его другом всех его сограждан. Это чувство испытывает только добродетельный человек.

¹² Как много судебных решений и жестоких указов говорит не в пользу мнимой природной доброты человека!

¹³ Дети обмазывают горячим воском майских жуков, жуков-оленей, обжаривают их, играют ими в солдатики и ускоряют таким образом их смерть на два или три месяца. Напрасно станут говорить, что эти дети не задумываются над страданиями, испытываемыми насекомыми. Если бы чувство сострадания было им столь же свойственно от природы, как чувство страха, то оно предупредило бы их о страданиях насекомого, подобно тому как страх предупреждает об опасности при встрече с бешеным животным.

¹⁴ В Китае деспотизм, говорят, носит довольно умеренный характер. Об этом свидетельствуют богатые урожаи этой страны. В Китае, как и во всех других странах, знают, что для хорошей

обработки земли недостаточно сочинять хорошие книги о земледелии; нужно еще, чтобы законы не мешали правильно возделывать землю. Поэтому в Китае, говорит по этому вопросу г. Пуавр, налоги на земли среднего качества доходят лишь до тридцатой части их продукции. Таким образом, китайцы пользуются почти целиком собственностью на свое имущество. И в этом отношении их правительство поступает хорошо. Но пользуются ли в Китае равной собственностью на свою личность? Тот факт, что здесь так много и часто избивают бамбуками, говорит об обратном. Произвол в наказаниях, несомненно, развращает здесь людей и делает почти из всех китайцев недобросовестных купцов, трусливых солдат, бесчестных граждан.

¹⁵ Монтескьё сравнивает режим в восточных деспотиях с деревом, которое срубает дикарь, для того, чтобы собрать с него плоды. Один простой факт, сообщенный в журнале «Политическое состояние Англии», даст, быть может, еще более ужасное представление о деспотизме.

Англичане, рассказывает журналист, осажденные в порту Вильгельма войсками бенгальского субы, т. е. вице-короля, были взяты в плен. Запертые в мрачную калькуттскую тюрьму, они в числе 146 были стиснуты на площади 18 квадратных футов. Эти несчастные, находясь в одной из самых жарких стран мира и в самое жаркое время года, дышат воздухом лишь через окошко, полузакрытое решетками. Едва водворенные в тюрьму, они уже обливаются потом и испытывают муки жажды. Они задыхаются, издают ужасные вопли, просят, чтобы их перевели в более обширную тюрьму. Но к их жалобам остаются глухими. Они пробуют привести в движение окружающий воздух, пользуясь для этой цели своими шляпами, но это не приводит ни к чему. Они впадают в обморочное состояние и умирают. Оставшиеся в живых утоляют жажду своим потом, ищут воздуха, просят, чтобы их разместили в двух темницах. Для этого они обращаются к Джеман Даару, тюремному сторожу. Сердце сторожа поддается жалости и жадности: за большую сумму он соглашается сообщить субе об их положении. Когда он вернулся, оставшиеся в живых англичане умоляют посреди трупов, чтобы им дали воздуха, чтобы открыли темницу. «Несчастные, — сказал им сторож, — умирайте же наконец! Суба отдыхает. Какой раб осмелится нарушить его сон?» Таков деспотизм.

¹⁶ Руссо не допускает, чтобы детей наказывали. Но чтобы дети были внимательны, нужно, с его же точки зрения, чтобы они были в этом заинтересованы. Если они не достигли еще возраста, когда начинается соревнование, то есть лишь два средства возбудить в них этот интерес. Первое — надежда на конфету или игрушку. (Любовь к игре и лакомствам — единственные страсти ребенка.) Другое — страх наказания. Если первое средство достаточно, то оно заслуживает предпочтения. Если его недостаточно, то приходится обратиться к наказанию. Страх — всегда верно действующее средство. Ребенок еще больше боится страдания, чем тяготеет к конфете. Если наказание достаточно сурово, если оно справедливо применяется, то редко приходится его повторять. Но, скажут, это значит омрачать зарю жизни образами горя. Нет, ибо это горе столь же быстротечно, как и наказание. Через минуту после наказания ребенок прыгает, играет со своими товарищами, и если он вспоминает о плетке, то лишь в спокойные минуты

занятий, когда этим воспоминаниям поддерживается его прилежание.

К тому же пусть совершенствуют все еще слишком несовершенные методы преподавания, пусть их упростят: чем легче станет учиться, тем реже ребенок будет подвергаться наказаниям. Ребенок научится итальянскому или немецкому языку с той же легкостью, что и родному, если, находясь всегда среди итальянцев или немцев, он может только на этих языках спрашивать о вещах, которые ему приятны.

¹⁷ С возрастом люди приобретают знания и опыт, утрачивая, однако, активность и твердость. Но в гражданской и военной администрации особенно необходимы эти последние качества. Людей, говорит по этому поводу Макнавелли, всегда слишком поздно возвышают до важных постов. Почти все великие подвиги прошлого и настоящего были совершены людьми, не достигшими 30 лет. Об этом свидетельствуют такие люди, как Ганнибал, Александр и т. д. Человек, который должен прославиться, говорит Филипп де Коммин^{3*}, становится всегда знаменитым с ранних лет. Усилия, цель которых — добиться славы, люди делают не тогда, когда они ослабели с годами, когда они стали нечувствительными к сладостям похвал и равнодушными к уважению, этому спутнику славы.

¹⁸ В больших романах герои сражаются с чудовищами, гигантами и волшебниками всегда до своего вступления в брак. Какое-то смутное, но верное чувство говорит романисту, что после того, как желания его героя удовлетворены, в нем нет уже действенного начала. Поэтому все авторы романов уверяют нас, что после бракосочетания принца и принцессы оба они жили счастливо, но мирно.

¹⁹ Воспитание, будучи всегда полезным, делает нас тем, чем мы являемся. Ученые — это наши воспитатели, поэтому наше презрение к книгам всегда неискренне. Без книг мы оставались бы дикарями.

Почему женщина из гарема не обладает умом парижанки? Потому, что с идеями дело обстоит так же, как с языком. Мы говорим на языке окружающих нас людей. Восточный раб даже не догадывается о гордости характера римлян, он не читал Тита Ливия; у него нет представлений ни о свободе, ни о республиканском правлении. Все в нас является приобретенным и результатом воспитания.

²⁰ Знание людей и недоверие к ним, как говорят, неотделимы. Следовательно, человек вовсе не так добр, как уверяет Юлия.

²¹ Чем меньше просвещения, тем эгоистичнее становятся люди. Вот громко плачущая модница. В чем дело? Что заставляет ее плакать? Неудачный выбор военачальника или издание указа, обременительного для народа? Нет, смерть ее кошечки или птички. Чем люди невежественнее, тем меньше они замечают связь между национальным и личным благом.

²² У некоторых дикарей состояние опьянения вызывает уважение к себе. Пьяный считается пророком, и, подобно еврейским пророкам, он может безнаказанно убивать людей.

²³ Что нужно для того, чтобы наслаждающийся счастьем народ продолжал быть счастливым? Чтобы соседние народы не могли поработить его? Для этого данный народ должен быть опытным в военном деле; им должны хорошо управлять; он должен

иметь талантливых полководцев, отличных адмиралов, мудрых людей, управляющих его финансами, наконец, превосходное законодательство. Таким образом, нельзя быть добросовестным апологетом невежества. Руссо отлично понимает, что почти все бедствия деспотизма следует приписать невежеству, свойственному всем султанам.

²⁴ Во Франции некоторые военачальники придерживаются взглядов Руссо: они желают, чтобы солдаты были автоматами. Между тем ни Тюренн, ни Конде никогда не жаловались на избыток ума у своих солдат. Греческие и римские солдаты, становясь по возвращении из похода вновь гражданами, были, конечно, более образованными и просвещенными, чем современные солдаты, но греческие и римские армии несколько не уступали нашим. Не свидетельствуют ли старания современных генералов лишить своих подчиненных ясного знания об их опасениях, что у них будут критики, отлично понимающие ход их операций? Сципион и Цезарь не обнаруживали такого недоверия.

²⁵ Из всех азиатских стран наиболее образованная страна — Китай, он же — наилучше обрабатываемая и наиболее населенная страна. Некоторые историки уверяют, будто прежняя невежественная и варварская Европа была более населена, чем теперь. На все их многочисленные цитаты я отвечаю простым указанием, что десять арпанов земли, засеянных пшеницей, способны прокормить больше людей, чем сто арпанов вереска, пастбищ и т. д.; что Европа была некогда покрыта необъятными лесами и что германцы питались продуктами скотоводства. Цезарь и Тацит утверждают это, а их свидетельство имеет в этом вопросе решающее значение. Пастушеский же народ не может быть многочисленным. Цивилизованная Европа поэтому, бесспорно, более населена, чем была населена варварская и дикая Европа. Нелепо для решения этого вопроса обращаться к часто лживым или мало осведомленным историкам, когда под руками имеются очевидные доказательства их лжи. Страна неземледельческая не способна без вмешательства чуда прокормить большое число жителей. Но чудеса встречаются реже, чем ложь.

²⁶ Индусы лишены всякой силы характера. У них развит только торговый дух. Правда, с этой стороны природа сделала все для них. Она покрыла их почву теми драгоценными продуктами, которые Европа покупает здесь. Поэтому индусы богаты и ленивы. Они любят деньги, но не имеют мужества, необходимого для их защиты. Благодаря своему невежеству в военном деле и в науке управления они еще надолго обречены пребывать в унижении и презрении.

²⁷ Нет такого морального или политического положения, которого Руссо то не принимал бы, то не отвергал бы. Эти бесчисленные противоречия заставили кое-кого усомниться в его искренности. Так, например, он уверяет в одном примечании к «Эмилю» (т. III, стр. 132), «что современные правительства обязаны христианству большей прочностью своей власти и менее частыми переворотами у них; что христианство сделало государей менее кровавыми; что это истина, доказанная фактами».

Но в «Общественном договоре» (гл. VIII) он говорит, «что язычество во всяком случае не разжигало религиозных войн; что Иисус, установив духовное царство на земле, отделил религиозную систему от политической системы; что государство тогда

перестало быть единым; что в нем возникли внутренние раздоры, которые никогда не переставали вызывать волнения среди христианских народов; что мнимое небесное царство стало при земном главе самым насильственным деспотизмом мира сего; что из наличия двух властей — духовной и светской — возникает конфликт их юрисдикции, делающий невозможной всякую правильную политику в папистских государствах; что в них никогда не известно, кому следует подчиняться — священнику или светскому начальнику; что христианский закон пагубен для здорового государственного устройства; что христианство также явно дурно, что стараться доказать это — значит терять свое время».

Каким образом один и тот же человек может так противоречить самому себе в двух произведениях, изданных почти одновременно, и каким образом он может добросовестно защищать два столь противоположных утверждения?

²⁸ Я знал священников, которые ввиду ненависти Руссо к наукам надеялись на его близкое обращение. Почему, говорили они, отчаиваться в его спасении? Он защищает невежество, он ненавидит философов, он не выносит здравомыслящих людей. Si Jean Jacques étoit saint, que seroit-il de plus? (Будь Жан-Жак святым, чем бы он был еще?)

²⁹ Все религиозные ханжи — враги науки. При Людовике XIV они называли яansenистами тех ученых, которых они желали погубить. Ныне они стали пользоваться для этого названием энциклопедистов. Это выражение не имеет в настоящее время во Франции определенного смысла. Глупцы пользуются им как оскорбительным словом, чтобы оклеветать всякого человека, имеющего больше ума, чем они.

³⁰ Деспотизм, этот жестокий бич человечества, является чаще всего продуктом народного невежества. Всякий народ вначале свободен. Чем объяснить потерю им свободы? Его невежеством, его глупым доверием честолюбцам. Честолюбец и народ — это девушка и лев из басни: девушка убедила животное дать отрезать себе когти и отпилить зубы, а потом напустила на него псов.

³¹ Писатели — такие же люди, как и царедворцы, поэтому они часто льстили несправедливым властителям. Однако между первыми и вторыми есть большая разница. Так как писателям всегда покровительствовали более или менее способные государи, то писателям оставалось лишь преувеличить их добродетели. Они чрезмерно прославляли Августа. Но царедворцы прославляли Нерона и Каракаллу.

³² Если заслуги перестают приносить почести, то к ним начинают относиться с презрением. Сравнивая малое с большим, государство можно уподобить школе. Если награда и первые места даются любимцам начальника, то соревнование между учениками прекращается и занятия начинают идти плохо. Но то, что в малом масштабе делается в школах, то в большем масштабе происходит в государствах. Когда посты и места не раздаются по заслугам, а даются фаворитам, народ утрачивает энергию и среди него перестают появляться великие люди.

³³ На Востоке вернейшими средствами карьеры являются низкопоклонство и невежество. Когда освобождается какое-нибудь важное место, деспот выходит в свою переднюю: пет ли здесь, говорит он, какого-нибудь лакея, из которого я мог бы сделать себе визиря? На его вопрос отзываются все рабы, и самый подлый из

них получает место. Удивительно ли после этого, что действия визири соответствуют способу, каким он был избран?

³⁴ Ни римляне, ни французы несколько не потеряли еще своего мужества во времена Августа и Людовика XIV.

³⁵ Руссо, слишком часто прославляющий невежество, говорит, не помню в каком месте своих произведений: «Природа желала предохранить человека от науки, и трудности образования — не наименьшие из ее благодеяний». «Но, — ответил ему некий Готье, — разве нельзя было бы сказать таким же образом: народы, знайте, что природа не хочет, чтобы вы питались плодами земли? Трудности возделывания земли говорят о том, что ее нужно оставить нетронутой». Этот ответ пришелся не по вкусу Руссо, и в письме к Гримму ^{4*} он писал: «Этот Готье не подумал о том, что сомнительно, чтобы даже при усиленных занятиях можно было воспитать разумного человека». Я в свою очередь не очень доволен ответом Руссо. Во-первых, верно ли, что на каком-нибудь неизвестном острове можно так легко добыть хлеб? Прежде чем испечь зерно, надо засеять его; прежде чем засеять, надо высушить болото, срубить леса, распахать новь, а эта распашка — дело нелегкое.

Даже в тех странах, где земля особенно хорошо возделывается, сколько забот требует ее обработка от земледельца! На это у него уходит целый год труда. Но если даже для оплодотворения земли требовалось только разрыхлить ее, то разрыхление предполагает изобретение сошника, плуга, кузнечное дело, а значит, и бесчисленное множество познаний в горном деле, в искусстве строить горны, в механике, в гидравлике, наконец, почти во всех тех науках, от которых Руссо желает «*предохранить человека*». Таким образом, нельзя добыть хлеб без известных усилий и известных знаний.

РАЗДЕЛ VI

О бедствиях, порождаемых невежеством; о том, что невежество вовсе не уничтожает изнеженности; что оно вовсе не обеспечивает преданности подданных; что оно судит о самых важных вопросах, не зная их. О бедствиях, в которые эти суждения могут иногда ввергнуть нацию. О том, что следует презирать и ненавидеть покровителей невежества

ГЛАВА I

О НЕВЕЖЕСТВЕ И ИЗНЕЖЕННОСТИ НАРОДОВ

Невежество вовсе не спасает народы от изнеженности. Оно повергает их в нее, заставляет их опускаться и унижает их. Самые невежественные нации не являются самыми образцовыми по своему благородству, храбрости и строгости нравов. Португальцы и современные римляне невежественны, и тем не менее они трусливы, сластолюбивы и изнежены. Так же обстоит дело с большинством восточных народов. Вообще во всякой стране, где деспотизм и суеверие порождают невежество, невежество в свою очередь порождает изнеженность и праздность.

Если правительство запрещает мыслить, я предаюсь лени. Когда я отвыкаю размышлять, то прилежание делается для меня трудным и внимание — утомительным¹. Какую прелесть будет иметь для меня тогда учение? Так как я стал равнодушным ко всякого рода знаниям, то ни одно из них меня не интересует настолько, чтобы заняться им, и я могу искать счастья лишь в приятных ощущениях.

Тот, кто не мыслит, ищет ощущений, и притом приятных. Проявляется даже желание, если можно так сказать, увеличивать богатство ощущений по мере измельчания в умственном отношении. Но можно ли каждую минуту испытывать приятные ощущения? Нет, их испытывают лишь время от времени.

Промежутки, отделяющие такие ощущения друг от друга, заполнены у невежды и бездельника скукой. Чтобы

сократить продолжительность ее, он всячески ищет удовольствий, изнуряет себя и пресыщается. Какие народы больше всего обычно предаются разврату? Порабощенные и суеверные.

Нет более испорченного народа, чем венецианский^а, и испорченность его, как говорит Берк, является результатом невежества, поддерживаемого в Венеции деспотизмом аристократии. «Ни один гражданин не решается здесь думать. Пользоваться разумом — это преступление здесь и притом строже всего наказуемое. Но тот, кто не решается думать, желает по крайней мере иметь ощущения и должен скуки ради предаваться изнеженности. Кто, если не невежественный и сластолюбивый народ, согласится выносить иго деспотизма аристократии? Правительство знает это и поощряет своих подданных к разврату. Оно предлагает им одновременно оковы и удовольствия; ради удовольствия они принимают оковы, и в их униженных душах любовь к наслаждениям всегда одерживает верх над любовью к свободе. Венецианец — не больше чем свинья, вскармливаемая хозяином для своих нужд, которую держат в свинарнике, где ей предоставляют валяться в мерзости и грязи.

В Венеции великие и малые, мужчины и женщины, духовные и светские лица — все одинаково предаются изнеженности. Дворяне, всегда живущие в страхе перед простым народом и во взаимной вражде друг с другом, опускаются, тратят нервы на политические расчеты и развращаются теми же методами, какими они развращают своих подданных. Удовольствия и наслаждения должны притуплять в них чувство отвращения, которое в возвышенном и гордом человеке вызвал бы государственный трибунал инквизиции».

То, что Берк говорит здесь о венецианцах, одинаково применимо к современным римлянам и вообще ко всем невежественным цивилизованным народам. Если католицизм, как говорят протестанты, расслабляет душу и разрушает в конце концов государство, в котором он утверждается, то это потому, что он сеет в нем невежество и праздность; а праздность — мать всех политических и нравственных пороков.

^а См. «Трактат о возвышенном» Берка. Я цитирую его и отнюдь не берусь судить о народе, который я знаю только понаслышке.

Является ли любовь к удовольствиям пороком? Нет. Природа влечет человека к удовольствиям, и всякий человек повинуется этому естественному импульсу. Но удовольствие — отдых для образованного, деятельного и трудолюбивого гражданина и единственное занятие бездельника и невежды. Спартанцы, подобно персам, были доступны любви, но любовь была отличной у каждого из этих народов и делала спартанцев добродетельными, а персов — изнеженными. Небо сделало женщин источником самых больших наших удовольствий. Но неужели небу угодно было, чтобы мужчины, исключительно занятые женщинами, по примеру пошлых пастухов Астреи были только любовниками? Человек может находить лекарство от скуки отнюдь не в мелких заботах нежной страсти, а в деятельности своего ума, приобретении знаний, в работе, в мастерстве. Любовь — в теологии всегда грех, и она становится нравственным грехом, когда она делается главным занятием. Она расслабляет ум и заставляет деградировать душу.

По примеру греков и римлян народы могут сделать себе из любви бога^а, но пусть они не становятся рабами ее. Геркулес, вступающий в бой с Ахелаем и отнимающий у него Деяниру, — это сын Юпитера. Но Геркулес, прядущий у ног Омфалы, — простой сибарит. Всякий деятельный и просвещенный народ — первый из этих геркулесов: он любит удовольствия, добывается их и не предается излишествам; он часто мыслит и иногда наслаждается.

Что касается порабощенного и суеверного народа, то он мало мыслит, много скучает, он хотел бы всегда наслаждаться, он возбуждается и расслабляется. Единственным противоядием против его скуки были бы труд, промысел и просвещение. Но, говорит по этому поводу Сидней, просвещение народа всегда соразмерно его свободе, подобно тому как его счастье и его могущество всегда соразмерны его просвещению. Поэтому англичанин, который более свободен, обыкновенно является более просве-

^а Любовь у человека — мощный источник деятельности. Она часто коренным образом изменяла облик государств. Любовь и ревность раскрыли перед маврами ворота Испании и уничтожили здесь династию Омейядов. Ее влияние на духовный мир, несомненно, побудило поэтов приписать ей такое влияние на физический мир, какого она не имеет. Гесиод сделал из нее зодчего Вселенной.

щенным, чем француз^а, француз, чем испанец, испанец, чем португалец; португалец, чем мавр. Следовательно, Англия более могущественна, чем Франция^б, Франция, чем Испания, Испания, чем Португалия, а Португалия, чем Марокко. Чем просвещеннее народы, тем они добродетельнее, могущественнее и счастливее. Одному только невежеству следует приписать противоположные результаты. Есть только один случай, когда невежество может быть желательным, именно когда дела государства находятся в отчаянном положении и когда через пелену бедствий настоящего времени видны еще большие бедствия в будущем. Невежество тогда — благо^в, а знание и предвидение — зло. Тогда люди, отвернувшись от света знания, хотели бы скрыть от себя бедствия, против которых нет никакого средства. Положение гражданина в этом случае похоже на положение купца, потерпевшего кораблекрушение; самый жестокий для него момент — это не тот, когда он носится ночью по морю на обломках корабля, когда любовь к жизни и надежда заставляют его видеть во мраке неясные очертания близкой земли. Ужасный для него момент — это утрачения зря, когда, разогнав ночной мрак, она удаляет от его взора землю, и перед ним раскрывается одновременно и безграничность моря, и безграничность его несчастья. Тогда надежда, носившаяся вместе с ним на обломках корабля, исчезает, уступая место отчаянию.

^а Франция, утверждают, дала в это последнее время больше знаменитых людей, чем Англия. Допустим это. Но тем не менее верно, что французский народ в целом становится с каждым днем все невежественнее. Французы не имеют ни того интереса, ни тех средств для просвещения, какие имеют англичане. В настоящее время Франция никому не страшна. Не побуждаемый соревнованием гражданин коснеет здесь в лени. Заслуга, не пользующаяся уважением, находится в презрении у сильных мира. Знаменитые в настоящее время люди не будут жить для потомства.

^б Чтобы доказать превосходство духа над телом, небо, говорят англичане, захотело, чтобы Великобритания в узком смысле слова занимала лишь четверть протяжения Испании, треть Франции и чтобы с меньшим, может быть, населением, чем последняя, Великобритания превосходила ее формой правления.

^в В восточных государствах, говорит один знаменитый путешественник, самым пагубным и опасным даром неба была бы благородная душа, возвышенный ум. Добродетельные и разумные люди нетерпимы к игу деспотизма. Но эта нетерпимость — преступление, за которое их может наказать султан. Не многим людям Востока грозит эта опасность.

Но есть ли в Европе какое-нибудь государство, где не было бы никаких средств против бедствий граждан? Достаточно уничтожить здесь невежество, чтобы вместе с тем уничтожить и все зародыши нравственного зла.

Невежество не только доводит народы до изнеженности, но заглушает в них даже чувство гуманности. Самые невежественные народы в то же время самые жестокие. Какой народ оказался в последней войне самым бесчеловечным? Невежественные португальцы. Они отрезали носы и уши у взятых у испанцев пленников. Почему англичане и французы показали себя более благородными? Потому, что они были менее невежественными.

В Великобритании нет ни одного гражданина, который не получил бы большего или меньшего образования². Нет такого англичанина, которого форма правления его страны не побуждала бы к учению³. Нет правительства, которое не должно было быть и не было бы в действительности более мудрым в известных отношениях. Нет правительства, которое народное недовольство не предупреждало бы быстро о его ошибках. И если в науке об управлении, как и во всякой другой науке, истина получается из столкновения противоположных мнений, то нет другой страны, в которой правление могло бы быть более просвещенным, ибо нет другой страны, где печать была бы более свободной.

Иное дело — Лиссабон. Где здесь гражданин может изучать науку управления? В книгах? Но суеверие едва-едва допускает здесь чтение Библии. В беседах? Но здесь опасно говорить об общественных делах, и поэтому никто ими не интересуется. Не в тот ли, наконец, момент, когда вельможа занимает ответственный пост? Но тогда, как я уже сказал, не время составлять себе принципы; настала пора применять их, выполнять, а не размышлять. Откуда же подобная нация может получить своих полководцев и министров? От иностранцев. Таково состояние унижения, до которого невежество доводит народ.

ГЛАВА II

НЕВЕЖЕСТВО НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЕРНОСТИ ПОДДАННЫХ

Некоторые политики считали невежество полезным для поддержания власти государя, видели в нем опору его трона и охрану его личности. История совершенно не подтверждает этого. Невежество народов в действи-

тельности полезно лишь для духовенства. Не в Пруссии, не в Англии, где можно все говорить и все читать, совершаются покушения на жизнь государей, а в Португалии, Турции, Индостане и т. д. А в каком веке воздвигли эшафот для Карла I? Тогда, когда суеверие царило еще в Англии, когда народ, стная под игом невежества, не имел еще искусств и наук.

Жизнь Георга III в безопасности, и обеспечивают ее ему не порабощение и невежество, а просвещение и свобода. Можно ли сказать то же самое об Азии? Найдется ли здесь такой государь, которому не грозило бы покушение со стороны какого-нибудь убийцы? Всякая неограниченная власть ненадежна⁴. Фанатизм и честолюбие угрожают государям, особенно в эпоху невежества и деспотизма. Невежество и рабство упищывают государства, и всякий монарх, способствующий их распространению, углубляет пропасть, которая поглотит если не его самого, то его потомство.

Если государь довел человека до такого унижения, что угнетенные не смеют раскрыть рта, то он фактически навлек опасность на самого себя. Пусть только какой-нибудь поп, вооруженный кинжалом во имя религии, или какой-нибудь узурпатор во главе шайки разбойников появятся на общественной площади, как за ними пойдут те самые люди, которые, имея они отчетливые идеи о справедливости, сражались бы под знаменем законного государя и предали бы казни попа или узурпатора. Весь Восток свидетельствует в пользу моих слов. Все троны здесь забрызганы кровью их властелинов. Таким образом, невежество не обеспечивает верности подданных.

Его главным следствием является то, что оно подвергает государства всем бедствиям дурного правления, наводит на все умы ослепление, которое, перейдя вскоре от управляемых на правителя, собирает грозные тучи над головой государя.

Невежество слишком часто является спутником деспотизма, подвергает опасности жизнь государей, вносит беспорядок в финансы и несправедливость в распределение налогов. Кто же в цивилизованном государстве осмелится объявить себя врагом науки и защитником невежества? Кто, противясь всякой полезной реформе, решится увековечить злоупотребления и не только удлинит продолжительность общественных бедствий, но и

сделает граждан неспособными к упорному вниманию, необходимому для исследования большинства политических вопросов?

В качестве примера я возьму вопрос о роскоши. С каких только сторон ее можно рассматривать! Сколько противоречий по этому вопросу имеется в утверждениях моралистов! Сколько требуется проникательности и внимания, чтобы решить эту политическую проблему! Сколько вредно иногда заблуждение в подобных вопросах для государств и, следовательно, сколь пагубно невежество для народа!

ГЛАВА III

ВОПРОС О РОСКОШИ

Что такое роскошь? Тщетно пытались бы мы дать точное определение ее. Слово *роскошь*, как и слово *величина*, одно из тех сравнительных выражений, которое не представляет уму никакой ясной и определенной идеи. Это слово выражает лишь отношения между двумя или несколькими предметами. Оно имеет неизменный смысл лишь тогда, когда его вносят, если можно так выразиться, в уравнение: когда сравнивают роскошь определенной нации, определенного класса людей, определенного частного лица с роскошью другого народа, другого класса людей и другого частного лица.

Английский крестьянин, хорошо питающийся, хорошо одетый, живет в роскоши по сравнению с французским крестьянином. Человек, одетый в толстое сукно, находится в роскоши по сравнению с дикарем, прикрытым медвежьей шкурой. Все — вплоть до перьев, которыми украшает свой головной убор кариб, — может считаться роскошью.

ГЛАВА IV

НЕОБХОДИМА ЛИ И ПОЛЕЗНА РОСКОШЬ?

Всякий народ заинтересован в том, чтобы выдвинуть великих людей в военном, административном и др. искусствах и науках. Но великие таланты являются повсюду плодом учения и прилежания. Люди, ленивые по природе, могут быть выведены из состояния покоя лишь каким-нибудь могущественным мотивом. Какой же это может быть мотив? Большие награды. Но какого рода должны быть эти назначаемые народом награды? Должны ли это быть лишь предметы необходимости?

Разумеется, нет. Слово *награда* означает всегда дарение некоторых излишков⁵ в удовольствиях или в жизненных удобствах. Но все те лишние вещи, какими пользуется тот, кому их дают, ставят его в положение роскоши по сравнению с большинством его сограждан. А так как люди могут быть вырваны из пагубной для общества лени лишь надеждой на награды, т. е. на излишние вещи, то, очевидно, этим доказывается необходимость роскоши, и в указанном смысле роскошь полезна.

Но, могут сказать, моралисты восстают не против этого рода роскоши или излишков, служащих наградой великим талантам, а против пагубной роскоши, порождающей невоздержанность и в особенности жадность к богатствам, которые портят нравы нации и предвещают ее гибель.

Я часто прислушивался к рассуждениям моралистов; я часто вспоминал их неясные восхваления воздержанности и их еще более неясные, напыщенные выступления против богатства. Но до сих пор, по-моему, ни один из них не исследовал глубоко обвинения против роскоши и приписываемых ей бедствий и не довел вопроса до той степени простоты, которой следует достичь, чтобы решить его.

Пусть эти моралисты возьмут в качестве примера роскошь, наблюдаемую во Франции. Я готов исследовать вместе с ними ее выгоды и невыгоды. Но прежде чем пойти дальше, я спрошу, верно ли, как они это непрерывно повторяют:

1. Что роскошь порождает национальную невоздержанность.

2. Что эта невоздержанность порождает все те бедствия, которые ей приписывают.

ГЛАВА V О РОСКОШИ И О ВОЗДЕРЖАННОСТИ

Есть два вида роскоши. Первая — национальная роскошь, основывающаяся на известном равенстве в распределении общественного богатства. Она не бросается в глаза⁶ и распространяется почти на всех жителей страны. Это распределение богатства не позволяет гражданам жить так пышно и невоздержанно, как какой-нибудь Самуэль Бернар^{1*}, но лишь создает возможность пребывать в определенном состоянии зажиточности и

роскоши по сравнению с гражданами другого народа. Таково положение английского крестьянина^а по сравнению с французским крестьянином. Но английский крестьянин не всегда отличается большей воздержанностью, чем французский.

Роскошь второго вида, менее общераспространенная⁷, более заметна и ограничена более или менее многочисленным классом граждан; она является результатом весьма неравномерного распределения национального богатства. Эта роскошь наблюдается в деспотических странах, где мелкий люд постоянно подвергают поборам в пользу знатных; где некоторых тошнит от излишеств, в то время как у других нет самого необходимого⁸. Жители такой страны потребляют мало: кто ничего не имеет — ничего не покупает. Притом они тем воздержаннее, чем беднее.

Бедность всегда умеренна, и роскошь в этих государствах порождает не невоздержанность, а воздержанность нации, т. е. воздержанность большинства.

Посмотрим теперь, столь ли чудотворна эта воздержанность, как утверждают моралисты. Обратимся к истории; мы узнаем тогда, что обыкновенно наиболее испорченными народами являются отличающиеся умеренностью жители самодержавных государств; что, наоборот, наиболее добродетельными считаются те свободные и зажиточные народы, богатства которых распределены наиболее равномерным образом и жители которых поэтому не всегда проявляют наибольшую воздержанность. Вообще, чем больше у человека денег, тем больше он тратит их, тем лучше он питается. Умеренность, добродетель, несомненно, почтенная и достойная уважения у частного лица — у народа всегда является результатом какой-нибудь серьезной причины. Добродетель какого-нибудь народа почти всегда *добродетель по необходимости*, и поэтому умеренность редко вызывает в государствах те чудеса, которые пишут о ней.

Порабощенные Дарием и Тиграном азиаты, бедные и по необходимости воздержанные, никогда не обладали добродетелями своих победителей.

^а Спартанцы были крепки и сильны. И значит, они имели достаточное питание. Крестьяне в некоторых странах тощи и слабы, значит, они не питаются достаточно. Таким образом, спартанцы жили в состоянии роскоши по сравнению с жителями некоторых других стран.

Португальцы, подобно жителям Востока, превосходят англичан воздержанием, но не могут сравняться с ними по храбрости, трудолюбию, добродетели, наконец, по своему счастью⁹. Если в последнюю войну французы были разбиты, то их поражение не следует приписывать не-воздержанности их солдат. Большинство солдат берется из класса земледельцев, а французские земледельцы отличаются обыкновенно воздержанностью.

Если моралисты не перестают прославлять воздержанность и постоянно хулят роскошь, то это потому, что они гордятся своими напыщенными речами, чувствуя себя от этого более достойными уважения; потому, что они не имеют ясных идей о роскоши, смешивают роскошь с порождающими ее и часто пагубными причинами. Они считают себя добродетельными, ибо они суровы, и умными, ибо они скупны. Но скука вовсе не есть ум.

Таким образом, в данном отношении не следует доверять современным моралистам: по этому вопросу у них имеются лишь поверхностные идеи. Но, могут сказать, древние писатели тоже видели в роскоши причину испорченности Азии. Это доказывает только, что они ошибались, как и наши современники.

Чтобы узнать, сама ли роскошь или более глубокие причины роскоши уничтожают в человеке всякую любовь к добродетели, портят нравы нации и принижают ее, надо определить сперва, что следует понимать под словами *низкий народ*. Тот ли народ, все граждане которого испорчены? Такого народа не существует; нет такой страны, где простое буржуазное сословие (*ordre commun de bourgeois*), всегда являющееся угнетенным и редко угнетателем, не любит и не уважает добродетели. Его побуждают к этому собственные интересы. Иное приходится сказать о знатном сословии. Человек, который хочет быть безнаказанно несправедливым, заинтересован в том, чтобы заглушить в сердцах всякое чувство справедливости. Этот интерес повелительно правит власть имущими, но не остальной частью нации. Ураганы приводят в волнение поверхность моря, но глубины его всегда остаются тихими и спокойными. Таков почти во всех странах низший класс граждан. Испорченность медленно доходит до земледельцев, которые одни составляют большую часть всякого народа.

Поэтому под *низким народом* понимают и можно понимать лишь тот народ, где правящая часть, т. е. сильные мира сего, является врагом управляемой части или во всяком случае безучастна к ее благу^а. Но это безучастие есть результат не роскоши, а порождающей ее причины, а именно чрезмерного могущества знати и вытекающего отсюда презрения ее к согражданам.

Чтобы поддержать порядок и справедливость в том улье, какой представляет собою человеческое общество, чтобы устранить в нем пороки и испорченность, необходимо, чтобы все индивиды были одинаково заняты, вынуждены были одинаково содействовать общему благу и чтобы работы были равномерно распределены между ними.

Если есть такие индивиды, которых богатство и происхождение избавляют от всяких общественных услуг, то в улье воцаряются раздоры и бедствия. Праздные в нем умрут от скуки. Им завидуют, хотя они и не заслуживают этого, ибо они вовсе не счастливы. Между тем их праздность, утомительная для них самих, становится пагубной для общего блага. От скуки они пожирают мед, приносимый другими пчелами, и пчелы-работницы умирают от голода ради трутней, которые не становятся от этого более счастливыми.

Чтобы основательно утвердить счастье и добродетель нации, надо положить в основу взаимную зависимость

^а Слова *испорченность нравов* означают лишь различие между общественным интересом и частным интересом. Когда возникает это различие? Тогда, когда все богатство и вся власть в государстве сосредоточены в руках меньшинства. Тогда между различными классами граждан прерывается всякая связь. Знатные, занятые исключительно своими частными интересами, равнодушные к общественному интересу, готовы пожертвовать государством для своих личных страстей. Если нужно для того, чтобы погубить врага, провалить какие-нибудь переговоры, какую-нибудь финансовую операцию, объявить несправедливую войну, потерять сражение, то они пойдут на это: они все сделают ради каприза, из милости и ничего — ради заслуги. Мужество и разумная инициатива солдат и низшего офицерства остаются без награды. Что же получается в результате этого? То, что должностные лица перестают быть честными, а солдаты — мужественными; что равнодушие сменяет в их душе любовь к справедливости и к отечеству и что нация эта, ставшая предметом презрения других народов, впадает в унижение. Но приниженность нации является результатом не роскоши, а слишком неравномерного распределения власти и богатства, один из результатов которого — сама роскошь.

всех сословий граждан. Разве зная, сосредоточив в своих руках неограниченную власть, не должна по меньшей мере в известные моменты ничего не бояться или ни на что не надеяться от ненависти или любви низших сословий? Тогда устранена всякая взаимная зависимость между знатю и простым народом; оба эти сословия граждан составляют тогда две враждебные нации, хотя и носят название одной. Знать тогда себе позволяет все: ради своих капризов, своих прихотей она жертвует без всяких угрызений совести счастьем целого народа.

Если испорченность сплывов мира сего никогда не обнаруживается так ярко, как в эпохи наибольшей роскоши, то это потому, что в такие эпохи богатства оказываются сосредоточенными в руках совсем небольшого числа людей; потому, что знать тогда более могущественна и, следовательно, более испорчена.

Чтобы узнать источники ее испорченности, происхождения ее власти, ее богатств и несогласия между интересами граждан, которые образуют две враждебные нации, хотя и носят название одной, следует обратиться к вопросу об образовании первых обществ.

ГЛАВА VI

О ТОМ, КАК ОБРАЗУЮТСЯ НАРОДЫ

На какой-то остров попало несколько семейств. Предположим, что почва этого острова плодородна, но не возделана и девственна. Какая будет первая забота этих семейств в момент их высадки на остров? Построить хижины и распахать участок земли, необходимый для их существования.

Каковы богатства острова в это первое время? Это сбор урожая и труд, который необходим для его получения. Допустим, что на этом острове имеется больше земли, требующей обработки, чем самих земледельцев. Кто будет здесь подлинно богатым? Те, чьи руки наиболее сильны и деятельны.

Интересы этого зарождающегося общества будут вначале несложны, и поэтому для него достаточно будет немногих законов. Почти все они сведутся к запрещению воровства и убийств. Такие законы будут всегда справедливы, потому что они будут составлены с согласия всех: закон, принятый всеми в зарождающемся государ-

стве, всегда соответствует интересам большинства и, следовательно, всегда мудр и благотворен.

Предположим, что это общество выберет себе вождя; это будет военный вождь, под руководством которого оно будет сражаться с пиратами и новыми колонистами, которые захотят поселиться на их острове. Вождь этот, как и всякий другой колонист, будет владеть лишь тем куском земли, который он распахал. Единственная привилегия, которую можно будет ему оказать, — это предоставить ему возможность выбрать себе участок земли. Кроме этого, он не будет иметь никакой власти.

Но долго ли будут оставаться столь бессильными вожди, преемники этого первого военачальника? Каким путем они покончат со своим бессилием и достигнут наконец неограниченной власти?

Задача большинства из них будет заключаться в том, чтобы подчинить себе остров, на котором они живут. Но их усилия будут тщетными, пока население будет малочисленным. Деспотизм нелегко установить в стране, которая недавно заселена и имеет малочисленное население. Во всех государствах успехи монархической власти медленны. Об этом свидетельствует время, которое потребовалось государям Европы, чтобы подчинить себе своих крупных вассалов. Государь, который слишком рано стал бы посягать на собственность, жизнь и свободу могущественных собственников и захотел бы обременить народ налогами, погубил бы себя. Все — знатные и простолюдины — восстали бы против него. Этот государь не имел бы ни денег, чтобы собрать армию, ни армии, чтобы сражаться со своими подданными.

Власть государя или вождя возрастает тогда, когда народ становится богатым и многочисленным, когда каждый гражданин перестает быть солдатом^а, когда народ соглашается для защиты от врага содержать наемные войска и держать их всегда наготове. Если вождь сохранит за собою командование ими в мирное и военное время, то власть его незаметно увеличится. Этим он пользуется для того, чтобы увеличить свою армию. Положим, что она стала достаточно сильной. Тогда честолюбивый вождь сбрасывает маску, угнетает народ,

^а Есть, пожалуй, только одно средство избавить государство от деспотизма армии. Оно заключается в том, чтобы жители его были, как в Спарте, одновременно и гражданами, и солдатами.

уничтожает всякую собственность, грабит нацию, потому что вообще люди присваивают себе все, что они могут похитить, и воровство может быть сдержано лишь суровыми законами, а законы бессильны против вождя и его армии.

Первый налог часто доставляет узурпатору средства для взимания новых налогов, пока наконец, обладая непреодолимым могуществом, он может, как в Константинополе, поглощать для своего двора и своей армии все национальное богатство. Обедневший и ослабевший народ становится тогда жертвой неисцелимой болезни. Никакой закон не гарантирует тогда гражданам жизни, имущества и свободы.

При отсутствии этой гарантии все вступают в войну друг с другом, и общество распадается.

Если эти граждане продолжают жить в одних и тех же городах, то не в союзе между собою, но в общем рабстве. Тогда достаточно кучки свободных людей, чтобы ниспровергнуть грозные по внешнему виду государства.

Достаточно, чтобы армия, при помощи которой узурпатор держит нацию в порабощении, оказалась разбитой три или четыре раза, — и узурпатор не найдет себе помощи в любви и мужестве своих народов. Его и его армию боятся и ненавидят. Константинопольский буржуа видит в янычарах лишь сообщников султана и разбойников, при помощи которых султан грабит и опустошает государство. Пусть найдется победитель, который освободит народ от страха перед его армией: народ будет помогать его начинаниям и видеть в нем мстителя.

Римляне воевали сто лет с вольсками; им потребовалось пятьсот лет для завоевания Италии; но достаточно было им только показаться в Азии, как она покорилась им. Могущество Антиоха и Тиграна рухнуло при их появлении, подобно тому как рухнуло могущество Дария при появлении Александра.

Деспотизм — это старость и старческая болезнь государства. Эта болезнь не заразна для его молодости. Существование деспотизма предполагает обыкновенно наличие уже богатого и многочисленного народа.

Но возможно ли, чтобы величина государства, его богатство и чрезмерная населенность имели иногда столь пагубные результаты?

Чтобы уяснить себе это, рассмотрим влияние на государство чрезмерного богатства и большого увеличе-

ния численности граждан. Быть может, мы откроем в этом росте численности населения первые зародыши деспотизма.

ГЛАВА VII

О РОСТЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ

Предположим, что на пустынном первоначально острове, где я поселил несколько семейств, эти последние размножились, что незаметно на острове оказалось столько земледельцев, сколько необходимо для его обработки, и столько ремесленников, сколько необходимо для удовлетворения потребностей земледельческого народа. Совокупность этих семейств образует вскоре многочисленный народ. Предположим, что народ этот продолжает размножаться; что на острове рождается больше людей, чем того требуют обработка земель и связанные с последней ремесла.

Что делать с этим избытком населения? Чем многочисленнее оно будет становиться, тем обременительнее это будет для государства. А это неизбежно вызовет или войну, которая поглотит этот избыток населения, или издание закона, который разрешит, как в Китае, подкидывать детей¹⁰.

Всякий человек, не имеющий собственности и работы в каком-нибудь обществе, может выбрать одно из трех: либо покинуть родину и отправиться искать счастья в другом месте; либо начать красть для своего пропитания; либо, наконец, придумать какую-нибудь новую вещь или украшение, в обмен на которые его сограждане снабдят его необходимыми для его потребностей продуктами. Я не стану разбирать, что станет с добровольным изгнанником или с вором: они вне этого общества. Моя единственная задача рассмотреть, что будет с изобретателем какой-нибудь новой вещи или нового предмета роскоши. Предположим, что он открыл секрет окраски тканей. Если это изобретение придется по вкусу немногим жителям, то немногие из них станут обменивать свои продукты на его ткани¹¹. Но допустим, что эти ткани понравятся всем и он получит много заказов на них. Что он сделает, чтобы удовлетворить эти желания? Он соберет вокруг себя большее или меньшее количество тех людей, которых я называю лишними; он построит мануфактуру и расположит ее в удобном и приятном

месте, как обыкновенно на берегах какой-нибудь реки, притоки которой, простираясь далеко внутрь страны, облегчат перевозку его товаров. Теперь предположим, что дальнейшее увеличение числа жителей вызовет изобретение какого-нибудь другого товара, какого-нибудь другого предмета роскоши и что будет построена новая мануфактура. Предприниматель в интересах своей торговли должен будет построить ее на берегах той же реки и, следовательно, недалеко от первой мануфактуры. Несколько таких мануфактур образуют затем значительный город. В этом городе скоро окажутся самые богатые граждане, ибо торговля всегда дает большие барыши, когда еще мало купцов и мало конкурентов.

Богатства этого города сделают его местом развлечения. Чтобы пользоваться и наслаждаться ими, богатые собственники начнут покидать свои деревни, станут проводить по несколько месяцев в этом городе, построят себе там дворцы. Город будет расти с каждым днем; к нему устремятся со всех сторон, потому что для бедности там будет больше помощи, для порока — больше безнаказанности, а для сладострастия — больше средств удовлетворить его. Наконец, этот город назовут столицей.

Таковы будут на этом острове первые следствия чрезвычайного увеличения числа граждан.

Другим следствием, вытекающим из той же самой причины, будет нищета большинства жителей. Если число их возрастает, если рабочих больше, чем работы для них, то их конкуренция понижает заработную плату. Предпочтение отдают тому рабочему, который продает свой труд дешевле, т. е. тому, который урывает больше от своего пропитания. Нужда тогда распространяется; бедняки продают свой труд, богачи покупают; число собственников уменьшается, и законы становятся с каждым днем более суровыми.

При помощи мягких законов можно управлять народом, состоящим из собственников. Для пресечения преступлений здесь достаточно частичной или полной конфискации имущества. У германцев, галлов и скандинавов единственным наказанием за различные правонарушения были более или менее крупные штрафы.

Иное дело, если большинство народа составляют не собственники. Ими можно управлять лишь при помощи суровых законов. Если человек беден, если его нельзя наказать, наложив пеню на его имущество, то остается

наказать его как личность, — отсюда источник телесных наказаний. Эти наказания, налагавшиеся сперва на бедняков, с течением времени распространяются и на собственников. И тогда все граждане начинают подчиняться кровавым законам. Все способствует их установлению.

Допустим, что каждый гражданин государства обладает некоторой собственностью. *Желание сохранить ее есть, бесспорно, общее желание нации.* Кражи в этом государстве редки. Пусть, наоборот, большинство лишено здесь собственности. Тогда *кража становится общим желанием этой же нации.* Число разбойников увеличивается. Когда этот дух воровства широко распространяется, он часто приводит к насильственным действиям.

Предположим, что благодаря медленности судопроизводства и легкости, с какой человек, не имеющий собственности, может переходить с одного места на другое, виновные почти всегда ускользают от наказания и преступления учащаются. Тогда, чтобы предупредить их, надо будет иметь возможность арестовать гражданина по первому подозрению. Но арест есть уже продиктованное произволом наказание. Распространившись вскоре на самих собственников, оно заменяет свободу рабством. Какое есть средство против этой болезни государства? Возможно ли вернуть его к мягким законам? Единственное известное мне средство — это увеличить число собственников и, следовательно, произвести новый передел земли. Но произвести этот передел всегда трудно. Вот каким образом неравномерное распределение национального богатства и чрезмерное увеличение числа лишенных собственности лиц одновременно вносят в государство пороки и приводят его к жестоким законам. Наконец, они способствуют развитию зародышей деспотизма, что приходится считать новым результатом той же самой причины^а.

^а Бедствия, причиняемые чрезмерной многочисленностью населения, были известны древним. Вследствие этого не было такого средства, к какому они не прибегали бы, чтобы уменьшить ее. Одним из этих средств на острове Крит была сократическая любовь. Любовь эта, по словам парламентского советника Гока, была разрешена здесь законами Миноса. Если молодой человек, нанятый на известное время, убегал из дома своего любовника, то его привлекали к суду и на основании законов возвращали этому любовнику вплоть до конца условленного срока.

Причиной издания этого странного закона на Крите, как говорят Платон и Аристотель, была боязнь чрезмерного роста на-

Допустим, что какой-нибудь многочисленный народ не разделен, подобно грекам и швейцарцам, на известное число федеративных республик, а составляет, как это имеет место в Англии, один и тот же народ. Тогда граждане, слишком многочисленные и далекие друг от друга, чтобы совместно обсуждать общие дела, вынуждены назначить представителей для каждого местечка, города, провинции и т. д. Эти представители собираются в столице, и здесь они начинают отделять свои интересы от интересов представляемых ими лиц.

ГЛАВА VIII

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ИНТЕРЕСОВ МЕЖДУ ГРАЖДАНАМИ, ВЫЗЫВАЕМАЯ УВЕЛИЧЕНИЕМ ИХ ЧИСЛЕННОСТИ

Граждане какого-нибудь государства, сделавшись весьма многочисленными, чтобы собраться в одном и том же месте, назначили представителей. Эти представители, взятые из среды самого народа, избранные им, почтенные этим избранием, вначале предлагают лишь законы, согласные с общественным интересом. Право собственности — для них священное право. Они уважают его тем более, что находятся под контролем народа, и если бы они изменили его доверию, то были бы наказаны за это бесчестьем, а может быть, и более суровым наказанием.

Но вот, как я уже сказал, народы построили огромную столицу; сложные интересы различных сословий государства привели к увеличению числа законов; народы, желая избавиться от трудностей их изучения, доверили это дело своим представителям.

Наконец, жители, помышляя лишь об извлечении дохода из своих земель, становятся только земледельцами и перестают быть гражданами. Только тогда представители начинают отделять свои интересы от интересов представляемых ими лиц.

Тогда умственная лень, охватившая доверителей, и активное желание власти у их доверенных предвещают

селения. С той же целью Пифагор вменил своим ученикам в обязанность пост и воздержание. Люди постящиеся имеют мало детей. Преемниками пифагорейцев были весталки, наконец, монахи. Монахи, подчиняясь, быть может, на том же основании закону воздержания, являются, таким образом, лишь продолжателями дела древних педерастов.

крупные перемены в государстве. Все в этот момент благоприятствует честолюбию последних.

В результате увеличения числа жителей народ подразделяется на несколько народов и в одной и той же нации насчитывают нации богачей, бедняков, собственников, купцов и т. д.; интересы этих различных сословий граждан не могут быть всегда одинаковыми. В известных отношениях нет ничего более противоречащего национальному интересу, чем чрезмерное количество людей, не имеющих собственности. Все это тайные враги, которых тиран может по произволу вооружить против собственников. Вместе с тем нет ничего более соответствующего интересу купца. Чем больше бедняков, тем дешевле он оплачивает их труд. Таким образом, интересы торговца иногда противоречат общественным интересам. Между тем корпорация купцов часто пользуется большой властью в торговых странах. В ее распоряжении находится бесчисленное множество матросов, ремесленников, грузчиков — всякого рода рабочих, не имеющих никакого богатства, кроме своих рук, и всегда готовых предложить их всякому, кто их оплачивает.

Народ, хотя он и носит одно и то же имя, состоит из многих различных народов, интересы которых более или менее противоречивы. Очевидно, что вследствие отсутствия единства национальных интересов и действительного единодушия в постановлениях различных сословий их представители, благоприятствуя по очереди тому или иному классу граждан и сея между ними рознь, могут стать опасными для них всех; вооружая одну часть нации против другой, они, таким образом, избавляются от всякого контроля.

Безнаказанность заставляет относиться к ним с большим уважением и придает им больше смелости. Они под конец начинают понимать, что в условиях анархии национальных интересов они могут с каждым днем становиться все более независимыми и приобретать все больше власти и богатств; имея большие богатства, они могут подкупать тех, кто, не имея собственности, продается всякому желающему их купить, а каждая новая степень власти должна доставлять им новые средства для узурпации еще большей власти.

Когда представители, одушевляемые этими надеждами, добились путем такой нечестной, но ловкой политики

власти, равной власти всей нации, возникло различие интересов между правящей частью и частью управляемой. До тех пор пока последняя состоит из зажиточных, мужественных, просвещенных собственников, способных расшатать, а может быть, и совершенно уничтожить авторитет представителей, дело нации еще не затронуто, она может даже процветать. Но может ли сохраняться в течение продолжительного времени такое равновесие власти между этими двумя сословиями граждан? Не следует ли опасаться, что, поскольку богатства незаметно сосредоточиваются в руках все меньшего числа лиц, число собственников (единственной опоры общественной свободы) станет уменьшаться с каждым днем?^a Что всевозрастающая активность духа узурпаторов и дух осторожности и пассивной обороны у представляемого населения не склонят в конце концов чашу весов власти в пользу первых? Какая может быть иная причина деспотизма, к которому до сих пор приходили все различные формы правления?

Разве не ясно, что в обширной и населенной стране различие интересов между управляемыми всегда доставит правителям средства захватить власть, к которой человека всегда заставляет стремиться естественная любовь к власти?

Все империи пришли к разрушению, и падение их нужно датировать с того времени, когда народы, размножившись, стали управлять через своих представителей; когда эти представители, используя различия интересов между представляемыми ими лицами, могли стать от них независимыми.

Чрезмерно большая численность населения во всех странах — такова была неизвестная, необходимая и отда-

^a Если кто-нибудь обогащается в торговле, он присоединяет к своей собственности множество мелких владений. Тогда число собственников и, следовательно, лиц, интересы которых наиболее тесно связаны с национальным интересом, уменьшается, и, наоборот, число лиц, не имеющих собственности и потому лишенных интереса к общему делу, увеличивается. Подобные люди всегда готовы служить всякому, кто им платит. Как же можно думать, что власть имущие никогда не воспользуются ими, чтобы подчинить себе своих сограждан?

Таков неизбежный результат чрезмерного увеличения численности населения государств. Это — порочный круг, из которого не могли до сих пор выйти все различные известные нам правительства.

ленная причина порчи нравов^а. Если народы Азии, которые приводятся всегда как пример наиболее испорченных народов, первыми испытали иго деспотизма, то это потому, что из всех частей мира Азия первая стала заселенной и цивилизованной.

Ввиду чрезвычайной многочисленности ее населения она оказалась подчиненной власти государей. Государи эти сосредоточили народное богатство в руках немногочисленных вельмож, которых они облекли исключительной властью; вельможи эти предались роскоши и стали жертвами той испорченности, т. е. того равнодушия к общественному благу, в котором история всегда столь справедливо упрекала жителей Азии.

Мы бегло рассмотрели основные причины, развитие которых оживляет общество с момента их появления до момента их гибели; мы указали различные положения и состояния, через которые проходят эти общества, чтобы подпасть наконец под иго самодержавия. Мы должны теперь исследовать, почему после установления самодержавия в государствах происходит перераспределение богатств; будучи более неравномерным и быстрым в деспотических государствах, чем во всяких других, оно влечет их более быстро к гибели.

ГЛАВА IX

О ВЕСЬМА НЕРАВНОМЕРНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА

Нет такой формы правления, при которой в настоящее время национальное богатство было бы — и могло бы быть — равномерно распределено. Ожидать такого равномерного распределения от народа, находящегося под игом самодержавия, было бы безумием.

^а Но разве нет такого закона, который мог бы предупредить пагубные следствия чрезмерного увеличения числа людей и тесно связать интересы представителей с интересами представляемых ими лиц? В Англии оба эти вида интересов, разумеется, более однородны, чем в Турции, где султан считает себя единственным представителем нации. Но если существуют формы правления более благоприятные, чем другие, единству общественных и частных интересов, то все же нет такой формы правления, при которой эта великая нравственная и политическая проблема была бы полностью решена. А до окончательного разрешения ее одно только увеличение численности населения должно порождать во всяком государстве испорченность нравов.

В деспотических государствах все народное богатство сосредоточивается в руках немногих семейств, и причина этого проста.

Их народы признают над собою господина; он может произвольно облагать их налогами, передавать по своему капризу имущество одного класса граждан другому классу. Поэтому нужно немного времени, чтобы все богатство государства^а сосредоточилось в руках фаворитов. Но какие выгоды получает такой государь от этого государственного бедствия? А вот какие.

Как и все люди, деспот любит себя больше, чем других людей. Он желает быть счастливым и понимает, как и частное лицо, что он причастен к радости и горю всего, что окружает его. Он заинтересован в том, чтобы его люди, т. е. его царедворцы, были довольны. Но их жажда золота неутолима. Если они бесстыдны в этом отношении, то как им отказывать постоянно в том, чего они то и дело требуют от него? Неужели он захочет всегда доставлять неудовольствие своим близким и испытывать передающееся ему огорчение всех окружающих? Немногие люди обладают подобным мужеством. Поэтому деспот будет постоянно обирать свой народ ради своих царедворцев. Он разделит между своими фаворитами почти все государственное состояние. Какие границы можно поставить их роскоши после этого распределения? Чем больше эта роскошь, тем она полезнее при том положении, в котором находится тогда государство. Основное зло и причины, производящие роскошь, заключаются в весьма неравномерном распределении национального богатства и в чрезмерном могуществе государя. Плохо знакомый со своими обязанностями и расточительный по слабости, он считает себя щедрым, совершая несправедливости¹². Но разве вопли нужды не могут предупредить его о своем заблуждении? Да, но жалобы подданных никогда не доходят до трона какого-нибудь султана. Кроме того, что ему их благо,

^а Чем более возрастает могущество государя, тем недоступнее он становится. Под пустым предложением сделать особу государя внушающей больше уважения фавориты скрывают его от всех взоров. Подданным запрещается приближаться к нему. Монарх становится невидимым богом. Но какую цель преследуют фавориты при этом апофеозе? Довести государя до отупения, чтобы затем управлять им. Для этого они замыкают его в серале или в своем небольшом кругу, и тогда все национальное богатство поглощается весьма немногими семействами.

раз их недовольство не оказывает никакого непосредственного влияния на его нынешнее счастье?

Роскошь, доказываю я, есть в большинстве стран быстрый и необходимый результат деспотизма. Таким образом, враги роскоши должны выступать против деспотизма¹³. Чтобы устранить следствие, надо уничтожить его причину. Единственный способ произвести благоприятную перемену в этой области есть незаметное изменение законов и государственного управления¹⁴.

Для блага самого государя и его потомства нужно было бы, чтобы эти суровые моралисты установили в области налогов неизменные границы, которые монарх никогда не должен преступать. Если закон станет непреодолимым препятствием для щедрости государя, царедворцы должны будут умерить свои желания и требования; они не станут требовать того, чего не смогут получить.

Но, скажут, государь станет от этого менее счастлив. Несомненно, около него будет меньше царедворцев, при том именно низких царедворцев; но их низость, быть может, вовсе не так необходима для его счастья, как это думают! Если любимцы какого-нибудь короля свободны и добродетельны, он незаметно привыкает к их добродетели. Ему от этого не становится хуже, а его народу становится значительно лучше.

Таким образом, самодержавие лишь способствует неравномерному распределению национального богатства.

ГЛАВА X

ПРИЧИНЫ ЧРЕЗМЕРНОГО ИМУЩЕСТВЕННОГО НЕРАВЕНСТВА ГРАЖДАН

В свободных странах, управляемых мудрыми законами, ни один человек не обладает, разумеется, такой властью, чтобы довести до бедности свой народ и обогатить таким образом несколько человек. Однако и в этих самых странах не все граждане обладают одинаковым состоянием. Сосредоточение богатств в немногих руках происходит здесь медленнее, но оно все же происходит.

Более трудолюбивый человек зарабатывает больше. Более экономный больше сберегает, и с помощью уже приобретенных богатств он приобретает новые богатства, — все это неизбежно. Кроме того, имеются наследники, которые получают большие наследства. Имеются купцы, которые вкладывают в свои суда большие суммы

и получают крупные барыши: ведь при всякой торговле деньги привлекают к себе деньги. Таким образом, неравномерное распределение денег является неизбежным результатом появления их в государстве ¹⁵.

ГЛАВА XI

О СПОСОБАХ БОРЬБЫ С ВЕСЬМА БЫСТРЫМ СОСРЕДОТОЧЕНИЕМ БОГАТСТВ В НЕМНОГИХ РУКАХ

Есть тысячи способов добиться нужного результата. Кто мог бы помешать какому-нибудь народу объявить себя наследником всех своих граждан с тем, чтобы после смерти какого-нибудь очень богатого человека распределить между некоторыми лицами огромное состояние одного индивида?

Почему не может какой-нибудь народ по примеру жителей Лукки установить такую пропорцию между налогами и богатствами каждого гражданина, чтобы при превышении известных размеров участка налог на избыточную землю превышал арендную плату за нее? В такой стране, разумеется, не могли бы образоваться крупные состояния.

Можно придумать сотни подобных законов. Таким образом, есть тысяча способов бороться со слишком быстрым сосредоточением богатств в немногих руках и приостановить чрезмерно быстрый рост роскоши.

Но можно ли надеяться сохранять в стране с денежным обращением справедливое равновесие между состояниями граждан? Можно ли помешать тому, чтобы в конце концов богатства не оказались распределенными слишком неравномерно и чтобы в страну не проникла и не усилилась в ней роскошь? Это невозможно. Богач, обладающий всем тем, что необходимо для существования, будет всегда употреблять излишек своих денег на покупку излишних вещей ¹⁶. Могут сказать, что законы против роскоши пресекут в нем это желание. Я с этим согласен. Но раз богач не сможет после этого свободно пользоваться своими деньгами, последние станут казаться ему менее желательными, и он будет тратить меньше усилий для их приобретения. А я докажу ниже, что во всякой стране с денежным обращением началом жизни и деятельности является, быть может, стремление к деньгам, уничтожение которого влечет за собою гибель государства.

Вывод из этой главы: раз введены деньги, распределение которых между гражданами всегда неравномерно, то

это в конце концов должно необходимым образом повлечь за собою вкус к излишкам.

Таким образом, вопрос о роскоши сводится теперь к вопросу о том, полезно или вредно для государства введение денег.

При современном состоянии Европы всякое исследование подобного рода кажется излишним. Что бы ни говорили, никто не возьмется убедить французов, англичан и голландцев выбросить свои деньги в море. Однако вопрос этот настолько интересен сам по себе, что читатель рассмотрит, несомненно с известным удовольствием, различное состояние двух народов, из которых у одного имеется, а у другого отсутствует денежное обращение.

ГЛАВА XII

О СТРАНЕ, ГДЕ НЕТ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ

Предположим, что в какой-нибудь стране деньги не имеют ценности. Каким образом можно вести здесь торговлю? Путем обмена. Но обмен неудобен. Поэтому в данной стране мало продают, мало покупают и не производится предметов роскоши. Жители этой страны могут хорошо питаться, хорошо одеваться и не знать того, что во Франции называют роскошью.

Но разве народ, не знающий денег и роскоши, не будет иметь в некоторых отношениях известных преимуществ перед богатым народом? Разумеется, будет; и эти преимущества таковы, что в страну, где не знали бы цены денег, их, пожалуй, нельзя было бы ввести, не совершая преступления.

Народ, просвещенный, но не знающий денег, — обыкновенно это народ, свободный от тиранов^а. Самодержавная власть с трудом устанавливается в государстве, лишенном каналов, торговли и больших дорог. Государь, взимающий налоги натурой, т. е. продуктами, редко может нанять и собрать число людей, необходимое для порабощения народа.

Какой-нибудь восточный государь вряд ли мог бы захватить трон в Спарте или в Риме при их зарождении и удержаться на нем.

^а Можно было бы сказать также, что он свободен от врагов. Кто захочет напасть на страну, где ничего нельзя получить, кроме ударов? Известно, кроме того, что такой народ, как, например, лакедемоняне, непобедим, если он многочислен.

Но деспотизм — жесточайший бич народов и обильнейший источник их бедствий; следовательно, невведение денег, защищающее обычно народы от тирании, можно считать для них благом.

Спросят, а пользовались ли в Спарте известными жизненными удобствами? О вы, богачи и власть имущие, задающие этот вопрос! Неужели вы не знаете, что страны, где процветает роскошь, — это именно те страны, где народы более всего несчастны?

Неужели, занятые только удовлетворением своих фантазий, вы принимаете себя за весь народ в целом? Неужели вы одни только существуете в природе? Неужели в ней нет ваших братьев? О люди, лишенные стыда, человечности и добродетели, вы, которые сосредоточиваете на одних себе все свои привязанности и непрерывно создаете для себя новые потребности, знайте, что в Спарте не было роскоши, не было жизненных удобств и тем не менее Спарта была счастливой! Разве человеческое счастье заключается в пышной мебели и в изысканной изнеженности? В таком случае было бы слишком мало счастливых. Может быть, счастье еще станут искать в тонкостях стола? Но наличие различной кухни у разных народов доказывает, что хорошая пища — это просто привычная пища.

Хорошо приготовленные блюда возбуждают мой аппетит и вызывают во мне некоторые приятные ощущения. Но зато они вызывают во мне также отяжеление и болезнь, и в конечном счете человек, отличающийся воздержанностью, в конце года по меньшей мере столь же счастлив, как и чревоугодник. Всякий, кто голоден и может удовлетворить эту потребность, доволен^а. Положим, что человек хорошо питается и хорошо одевается. Избыток его счастья, как я это вскоре докажу, зависит тогда от *более или менее приятного способа, каким он заполняет промежуток, отделяющий удовлетворенную потребность от вновь возникающей потребности*. Но в этом отношении у лакедемонян имелось все для счастья, и, несмотря на кажущуюся суровость их нравов, из всех греков, говорит Ксенофонт^{1*}, — это были самые счастливые. Спартавец удовлетворял свои необходимые потребности, когда он

^а Если в горшке крестьянина имеется сало и капуста, то он не желает ни альпийских рябчиков, ни рейнских карпов, ни омаров из Женевского озера. Ни одно из этих блюд не нужно ему, да и мне тоже.

выходил на арену и там мог в присутствии старцев и красивейших женщин показывать ежедневно в публичных играх и упражнениях всю силу, ловкость, гибкость своего тела, а меткостью своих ответов выявлять всю правильность и точность своей мысли.

Но из всех занятий, способных заполнить *промежутки между удовлетворенной потребностью и вновь возникающей потребностью*, нет других более приятных. Таким образом, лакедемоняне, не имея торговли и денег, были почти столь же счастливы, как только может быть счастлив народ. Поэтому я утверждаю на основании опыта и следуя Ксенофону, что можно изгнать деньги из государства и сохранить в нем счастье. К тому же, какой причиной можно объяснить счастье общества, если не добродетелью отдельных лиц? Наиболее счастливыми странами являются вообще те, где граждане наиболее добродетельны. Но, спрашивается, добродетельны ли граждане в странах с денежным обращением?

ГЛАВА XIII

КАКОВЫ ИСТОЧНИКИ ДОБРОДЕТЕЛИ В СТРАНАХ, ЛИШЕННЫХ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ?

Во всякой стране принципом, наиболее способствующим добродетели, является точность в наказании и в вознаграждении действий, полезных или вредных для общества.

Но в каких странах действия эти вознаграждаются и наказываются наиболее точно? В тех, где единственными известными наградами является слава, всеобщее уважение и связанные с последним выгоды. В этих странах нация является единственной и справедливой распорядительницей наград. Общее уважение — этот дар общественной признательности — здесь может оказываться лишь идеям и поступкам, полезным для народа; поэтому гражданин здесь принуждается к добродетели.

Можно ли сказать то же самое о странах с денежным обращением? Нет, народ здесь не может быть единственным собственником богатства и, следовательно, единственным распорядителем наград. Всякий имеющий деньги может давать их и дает их обыкновенно лицам, доставляющим ему максимум удовольствия. Но этим лицом не всегда является наиболее добродетельный человек. Действительно, всякий человек желает получить с наибольшей

уверенностью и наименьшим трудом¹⁷ предмет своих желаний, а легче понравиться сильным мира, чем заслужить уважение со стороны общества. Естественно, что, как правило, всякий желает угодить власти имущим. Но интересы последних часто противоречат национальному интересу. Поэтому наибольшие награды будут в некоторых странах часто назначаться за поступки, которые, будучи полезными лично для власти имущих, вредны для общества и, следовательно, преступны. Вот почему здесь богатство так часто оказывается в руках людей, обвиняемых в низости, интригах, шпионстве и т. д.; вот почему денежные награды даются почти всегда пороку¹⁸ и порождают столько порочных людей; вот почему деньги всегда считались источником порчи нравов.

Словом, я утверждаю, что если бы мне пришлось во главе новой колонии основывать новое государство и если бы я мог по своему выбору пробудить в моих колонистах либо страсть к славе, либо страсть к деньгам, то я должен был бы выбрать первую. Положив общественное уважение и связанные с ним выгоды в основу деятельности этих новых граждан, я заставил бы их вступить на путь добродетели.

В стране, где нет денежного обращения, нет ничего легче, как поддерживать порядок и гармонию, поощрять таланты и добродетели и изгонять пороки. В такой стране можно даже представить себе неизменное законодательство, которое — будь оно удачным — сохранило бы всегда граждан в том же состоянии счастья. Этой возможности нет в странах с денежным обращением.

Проблема совершенного и устойчивого законодательства в этих странах становится слишком сложной, чтобы ее можно было здесь решить. Но я твердо знаю, что так как любовь к деньгам здесь заглушает всякий патристический дух и всякую патристическую добродетель, то с течением времени она должна породить все пороки, которые весьма часто вознаграждаются деньгами.

Но, скажут, признать, что при создании новой колонии нужно противиться введению денег, — это значит признать вместе с суровыми моралистами опасность роскоши? Нет, это значит просто признать, что злом является причина этой роскоши, т. е. весьма неравномерное распределение богатств¹⁹. Так в действительности и есть, и роскошь в известных отношениях может явиться лекарством против этого зла. В момент образования общества можно, не-

сомненно, поставить себе целью изгнать из него деньги. Но можно ли сравнить состояние подобного общества с тем состоянием, в каком находится в настоящее время большинство европейских народов?

Неужели здравомыслящий человек мог бы составить подобный план для стран, наполовину подчиненных деспотизму, для стран, где всегда были деньги и где богатство уже сосредоточено в немногих руках? Но предположим, что план этот проведен в жизнь; предположим, что в какой-нибудь стране запрещено введение и употребление денег. Что из этого получилось бы? Я сейчас займусь рассмотрением этого вопроса.

ГЛАВА XIV

О СТРАНАХ С ДЕНЕЖНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ

Среди богатых народов имеется много порочных людей, потому что у них порок хорошо вознаграждается. У них вообще развита крупная торговля, потому что деньги облегчают здесь обмен. Роскошь обнаруживается здесь во всей пышности, так как чрезвычайно неравномерное распределение богатств порождает особенно бьющую в глаза роскошь и для того, чтобы изгнать ее из государства, нужно было бы, как я это доказал, изгнать из него деньги. Но ни один государь не может задумать такой план, а если бы он его и задумал, то ни один народ при теперешнем состоянии Европы не пошел бы навстречу его желаниям. Я делаю, однако, предположение, что некий государь, послушный ученик сурового моралиста, составил такой план и приступил к его выполнению. Что получится из этого? Почти полное обезлюдение государства. Допустим, что, например, во Франции запретили, как в Спарте, употребление денег и пользование всякой мебелью, изготовленной не при помощи топора или кривого ножа. Тогда плотники, архитекторы, скульпторы, слесари, каретники, лакировщики, парикмахеры, столяры-краснодеревцы, прядильщицы, рабочие, ткущие полотно, тонкую шерсть, кружева, шелк и т. д.^а, покинули бы Францию и стали искать другую страну,

^а Но, скажут, при подобном предположении эти рабочие вернутся к сельским работам, станут возчиками, дровосеками и т. д. Ничего подобного. Помимо всего, как найти работу в стране, где и так уже имеется почти полностью число возчиков и дровосеков, необходимое для возделывания полей и для рубки дров?

которая могла бы их прокормить. Число этих добровольных изгнанников достигло бы в этом государстве, быть может, четвертой части его жителей. Но число земледельцев и сельских ремесленников, необходимое для возделывания земли, всегда соответствует числу потребителей; уход рабочих, занятых изготовлением предметов роскоши, повлечет за собою и уход многих землепашцев. Богатые люди начнут уезжать вместе со своими богатствами за границу, а за ними последует в изгнание известное число их сограждан и множество прислуги. Франция опустеет. Из кого будет состоять тогда ее население? Из известного количества земледельцев, число которых со времени изобретения плуга станет значительно меньше, чем оно было тогда, когда землю обрабатывали лопатой. Но что станется с этим государством при таком его обезлюдении и нищете? Сможет ли оно вести войну на территории своих соседей? Нет, поскольку у него не будет денег²⁰. Сможет ли оно выдержать войну на своей территории? Нет, поскольку для этого у него не будет людей. Кроме того, Франция в отличие от Швейцарии не защищена неприступными горами. Можно ли считать, что обезлюдевшее государство, открытое со всех сторон, доступное нападению со стороны Фландрии и Германии, сможет отразить натиск многочисленной нации? Чтобы оказать сопротивление, французы должны были бы храбростью и дисциплиной настолько превосходить своих соседей, насколько греки превосходили некогда персов или насколько французы еще и в настоящее время превосходят индейцев. Но ни один европейский народ не обладает таким превосходством над другими народами.

Таким образом, лишенная денег и опустошенная, Франция почти несомненно подверглась бы опасности нашествия. Найдется ли государь, который захотел бы такой ценой изгнать роскошь и богатство из своего государства?

ГЛАВА XV

О ТОМ, КАК БОГАТСТВА САМИ СОВОЮ ПОКИДАЮТ ГОСУДАРСТВО

Нет такой страны, где богатства закрепляются и могут закрепиться навсегда. Подобно морям, поочередно заливающим и обнажающим различные побережья, богатства, внося изобилие и роскошь в жизнь известных наций, удаляются оттуда, с тем чтобы получить распро-

странение в других странах²¹. Некогда они были сосредоточены в Тире и Сидоне, затем перешли в Карфаген, а потом в Рим. В настоящее время они находятся в Англии. Останутся ли они здесь? Я этого не знаю. Но я знаю, что народ, разбогатевший благодаря своей торговле и промышленности, разоряет своих соседей и с течением времени доводит их до такого состояния, при котором они лишены возможности покупать его товары.

Это значит, что у богатого народа мало-помалу увеличивается количество денег и бумажных знаков, представляющих деньги, а продукты и рабочая сила^а удорожаются.

При всех^б прочих равных условиях богатый народ не может продавать свои продукты и товары по той цене, по какой их продает бедный народ. Поэтому деньги первого должны незаметно перейти в руки второго, который, сделавшись в свою очередь богатым, разоряется аналогичным образом²².

Такова, по-видимому, главная причина прилива и отлива богатств в государствах. Но богатства, покидая какую-нибудь страну, где они находились, почти всегда оставляют в ней грязь низости и деспотизма. Богатая нация, беднея, быстро переходит от состояния упадка к полной гибели. У нее остается единственное средство спасения — вернуться к мужественным нравам, которые только и подобают ее бедности²³. Но нет ничего более редкого, чем такое нравственное явление: история не дает нам ни одного подобного примера. Если нация из богатой становится бедной, то ей остается ожидать лишь победителя и оков. Чтобы избавить ее от этого бедствия, любовь к славе должна заменить у нее любовь к деньгам. Но народы, истари цивилизованные и торговые, мало способны к любви первого рода, и всякий закон, который охладил бы в них стремление к богатствам, ускорил бы их гибель.

Для политического организма, как и для человеческого, нужна душа, ум, животворящий его и приводящий в действие. Что же это за душа?

^а Слишком большое вздорожание рабочей силы у богатого народа ведет к тому, что народ этот больше ввозит из-за границы, чем вывозит. Поэтому он должен через более или менее продолжительное время обеднеть.

^б Известно, какое внезапное повышение цен на продукты повело за собою появление американского золота в Европе.

О РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКАХ АКТИВНОСТИ НАРОДОВ

Существуют ли люди, лишенные желаний? Таких почти нет. Одинаковы ли их желания? Существуют два желания, свойственные всем.

Первое — желание счастья.

Второе — желание власти, необходимой, чтобы доставить себе счастье.

Если у меня есть желание чего-нибудь, то я должен быть в состоянии его удовлетворить. Поэтому желание власти, как я уже это доказал, необходимым образом свойственно всем. Каким образом можно приобрести власть над своими согражданами? Наводя на них страх и внушая им любовь, т. е. при помощи того добра или зла, какое им можно причинить. Этим объясняется уважение, которое испытывают к сильным людям, безразлично — добродетельным или порочным.

Но какие преимущества может доставить это уважение в свободной стране, где деньги отсутствуют, герою, который, например, более всего помог выиграть сражение? Оно дает ему привилегию выбрать желаемое из неприятельской добычи; он получает в награду самую прекрасную рабыню, лучшую лошадь, самый богатый ковер, самую красивую колесницу, самые прекрасные доспехи²⁴. У свободного народа общественное уважение и почет^a есть власть, и поэтому стремление к этому уважению становится здесь могущественным началом деятельности. Но играет ли это движущее начало такую же роль у народа, находящегося под игом деспотизма, у народа, у которого существует денежное обращение, общество лишено всякой власти, а общественное уважение не обозначает собою никаких удовольствий, никакой власти? Нет, в такой стране двумя единственными предметами желаний граждан являются, с одной стороны, благосклонность деспота, а с другой — большие богатства, к обладанию которыми каждый может стремиться.

Их источник, скажут, часто загрязнен. Любовь к деньгам губительна для любви к отечеству, талантам и добродетели²⁵. Я это знаю. Но можно ли вообразить себе, что можно презирать деньги, которые способны облегчить человеку удовлетворение его потребностей, изба-

^a Это уважение есть, действительно, власть, которую древние обозначали *autoritas*.

вить его от страданий и доставить ему удовольствие? Существуют страны, где любовь к деньгам становится движущим началом народной деятельности и где, следовательно, эта любовь благотворна. Самая пагубная форма правления — это правительство, не имеющее такого движущего начала²⁶. Народ, лишенный желаний, лишен активности: он служит предметом презрения для своих соседей. Но их уважение более важно для его благополучия, чем это думают²⁷.

Во всяком государстве, где имеются деньги, где заслуга не дает ни почестей, ни власти, правители должны быть осторожны, чтобы не ослабить или не уничтожить у граждан стремления к деньгам и к роскоши, ибо вместе с этим они уничтожили бы в них всякий источник деятельности.

ГЛАВА XVII

О ДЕНЬГАХ КАК ИСТОЧНИКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деньги и бумажные знаки, представляющие деньги, облегают заключение займов. Все правительства злоупотребляют этой возможностью. Повсюду число займов увеличилось и проценты за них возросли. Чтобы их оплачивать, пришлось нагромождать налоги на налоги. Бремя этих налогов стало невыносимым для самых могущественных европейских государств, а между тем это бедствие еще не самое большое из всех зол, какие породила любовь к деньгам и к бумажным знакам, представляющим эти деньги.

Любовь к богатствам, охватив все классы граждан, внушает правящей части желание красть и угнетать.

Она начинает жадно хвататься за всякий предлог ограбить народ — будь это постройка гавани, снабжение армии оружием, образование торговой компании или война, начатая, как говорят, ради чести народа. Тогда все пороки, эти исчадия жадности к деньгам, сразу вторгаются в государство, заражая последовательно все его члены и доводя его наконец до гибели²⁸.

Какое средство против этого зла? Такого средства нет.

Кровь, которая разносит пищу ко всем органам ребенка и способствует последовательности развития всех его частей, является в то же время разрушительным началом. Кровообращение вызывает с течением времени окостенение сосудов; оно уничтожает их упругость и становится

зародышем смерти. Однако тот, кто остановил бы циркуляцию крови, был бы немедленно наказан: застой крови хоть на один момент привел бы к смерти. То же самое можно сказать о деньгах. Если их сильно желают, то это желание оживляет народ, пробуждает его трудолюбие, оживляет его торговлю, увеличивает его богатство и могущество, и застой, если можно так выразиться, этого желания был бы пагубен для некоторых государств.

Но разве богатства, покидая те государства, где они первоначально сосредоточены, не вызывают этим их гибели? Разве, когда они сосредоточиваются рано или поздно в немногих руках, частный интерес не отделяется от общественных интересов? Разумеется, да. Но при современных формах правления это зло, пожалуй, неизбежно. Быть может, в эту эпоху государство, слабея с каждым днем, впадает в состояние маразма, предшествующее окончательной его гибели; и, может быть, таким образом и должно зародиться, расти, подниматься и умирать то нравственное растение, которое называют государством.

ГЛАВА XVIII

О ТОМ, ЧТО СЛЕДУЕТ ИЗМЕНИТЬ НАЧАЛО, ГИБЕЛЬНОЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ ГОСУДАРСТВ, ВОЗДЕЙСТВУЯ НЕ НА РОСКОШЬ, НО НА ПРОИЗВОДЯЩИЕ ЕЕ ПРИЧИНЫ

Что можно вывести из сделанного выше краткого анализа рассматриваемого мною вопроса? Что почти все обвинения против роскоши лишены основания. Из двух названных в главе V видов роскоши имеется один вид роскоши, который, будучи всегда результатом чрезмерного увеличения числа людей и деспотической формы их правления, предполагает крайне неравномерное распределение национального богатства. Подобное распределение, несомненно, большое зло, но, раз оно утвердилось, роскошь становится если не действенным средством против этого зла, то по крайней мере его паллиативом²⁹. Пышный образ жизни вельмож вливает ежедневно деньги и жизнь в низший класс граждан.

Горячность, с какой большинство моралистов восстает против роскоши, есть плод их невежества. Такая горячность уместна в проповедях: проповеди не требуют никакой точности в идеях. Эти произведения, находящие благосклонный прием у робких и снисходительных стар-

цев, слишком неопределенны, восторженны и смешны, чтобы снискать уважение просвещенной аудитории.

Там, где здравый смысл анализирует, невежество проповедника дает готовые ответы. Его легкомыслие и доверчивый ум никогда не знали сомнений. Горе государю, который стал бы прислушиваться к их напыщенным речам и попытался бы, не произведя предварительно изменения в форме правления, изгнать всякую роскошь из страны, где любовь к деньгам является движущим началом. Он вскоре обезлюдил бы свое государство, ослабил бы трудолюбие своих подданных и довел бы их до апатии, пагубной для его могущества.

Я буду очень доволен, если в этих первоначальных и, может быть, еще поверхностных идеях, возникающих в связи с вопросом о роскоши, увидят образец тех различных точек зрения, с которых следует рассматривать всякую важную и сложную нравственную проблему³⁰. Нужно осознать все значение для общественного блага более или менее точного решения подобных проблем и самого пристального внимания, какое следует по этой причине уделять их исследованию.

Кто объявляет себя защитником невежества, объявляет себя врагом государства и неумышленно совершает преступление оскорбления человечества.

У всех народов существует взаимозависимость между совершенством законодательства и успехами человеческого ума. Чем просвещеннее будут граждане, тем совершеннее будут их законы. Но только от высокого качества последних, как я это докажу, зависит общественное счастье.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ненависть невежественного народа ко всему требующему применения ума простирается даже на его развлечения. Если он любит игру, то он играет только в азартные игры. Если он любит оперу, то он требует, так сказать, поэм без слов. Ему не нужно, чтобы его ум был занят; достаточно, чтобы на его уши действовали приятные звуки. Из всех удовольствий он предпочитает те, которые не требуют ни ума, ни знаний.

² Почему в Англии вельможи вообще просвещеннее, чем во всех других странах? Потому, что у них есть к этому интерес. Наоборот, почему в Португалии они так часто невежественны и тупы? Потому, что нет никакого интереса учиться. Первые знакомы с наукой о человеке и о государственном управлении.

Вторые знакомы лишь с этикетом при вставании государя, его укладывании в постель и при его путешествиях.

Но внесли ли англичане в нравственность и политику весь тот дух просвещения, какого можно было ожидать от столь сво-

бодного народа? Я сомневаюсь в этом. Англичане, опьяненные своей славой, не догадываются о недостатках в их теперешнем государственном управлении. По-видимому, у французских писателей имеются более глубокие и более общие соображения по этому вопросу. Для этого есть две причины.

Первая — это состояние Франции. Если бедствия какой-нибудь страны не приняли еще чрезмерного характера, если они не окончательно принизили умы, то эти бедствия просвещают их и становятся для человека источником деятельности. Кто страдает, тот желает избавиться от страдания, и это желание изобретательно.

Вторая причина, по-видимому, состоит в том, что французские писатели лишены минимальной свободы. Если влиятельный человек совершает какую-нибудь несправедливость или промах, то надо не обращать на это внимания. Жалоба в этом королевстве — самое тяжкое преступление. Кто хочет во Франции писать по вопросам государственного управления, тот должен в нравственности и в политике восходить к наиболее простым и общим принципам, и, развивая их, он может отдаленным образом указать пути, которых должно держаться правительство, стремящееся к добру. Французские писатели дали в этой области самые великие и глубокие идеи. Благодаря этому они оказали человечеству большую пользу, чем английские писатели. У этих последних нет таких же оснований возвышаться до общих и первых принципов; они пишут произведения хорошие, но применимые почти исключительно к особенностям формы их правительства, к современным обстоятельствам и, наконец, к текущему моменту.

³ В Лондоне нет рабочего или носильщика, который не читал бы газет, который не догадывался бы о продажности своих представителей и не считал бы поэтому необходимым ознакомиться со своими правами гражданина. Поэтому ни один член парламента не осмелится предложить там закон, прямо противоречащий национальной свободе. Если бы он это сделал, то оппозиция и газеты обличили бы его перед народом и ему грозила бы месть последнего. Таким образом, парламент здесь сдерживается нацией. В настоящее время не найдется достаточно сильной руки, способной поработить подобный народ. Его порабощение отдалено. Является ли оно невозможным? Я не взялся бы утверждать этого. Возможно, его колоссальные богатства уже предвещают это грядущее событие.

⁴ Последний датский король, безусловно, сомневался в законности деспотической власти, когда он позволил знаменитым писателям обсудить в этом отношении вопрос о его правах, его притязаниях и исследовать, насколько следует ограничить его власть в интересах общества. Какое великодушие в государе! Но ослабел ли от этого его авторитет? Нисколько. И это благородное поведение, снискавшее ему любовь его народа, должно снискать ему навсегда уважение человечества.

⁵ В героические времена, во времена Геркулесов, Тезеев, Фингалов, воинам в награду за их доблести дарили богатый колчан, хорошо закаленный меч или прекрасную рабыню. Во времена Манлиа Капитолийского отечество вознаграждало героя, увеличивая на два акра его участок земли. Десятина с прихода, взимаемая в настоящее время в пользу ничтожнейшего монаха, была бы некогда наградой таких людей, как Сцевола или Гораций Коклес. Если в настоящее время все услуги, оказанные отечеству, оплачи-

вают деньгами, то это потому, что деньги представляют названные древние дары. Любовь к излишку была во все времена движущим стимулом человека. Но как распоряжаться дарами общественной признательности, каким излишкам отдавать предпочтение, чтобы вознаграждать ими таланты и добродетели? Это — нравственная проблема, достойная внимания как министра, так и философа.

⁶ Предположим, что большие богатства распределены между большим числом граждан. Каждый из них живет зажиточно и роскошно по сравнению с гражданами какой-нибудь другой нации, а между тем он может тратить лишь немного денег на то, что называют пышностью.

У такого народа роскошь носит, если можно так выразиться, общенациональный характер и не бросается в глаза.

Наоборот, в государстве, где все деньги сосредоточены в руках немногих людей, каждый богач может тратить много денег на пышность.

Роскошь подобного рода предполагает весьма неравномерное распределение пародных богатств, и такое распределение является, несомненно, общественным бедствием. Можно ли сказать то же самое об общенациональной роскоши, которая предполагает у всех граждан известное состояние зажиточности и, следовательно, приблизительно равномерное распределение богатств? Нет, такая роскошь не только не является бедствием, а, наоборот, есть общественное благо. Значит, роскошь сама по себе не есть зло.

⁷ По количеству и особенно по характеру мануфактур в стране можно судить о том, как распределены в ней богатства. Если все граждане в ней живут зажиточно, то все желают быть хорошо одетыми. В результате здесь основывают множество мануфактур, изготавлиющих ни слишком тонкие, ни слишком грубые ткани.

Ткани здесь плотны, прочны и добротачественны, так как у граждан достаточно денег для того, чтобы одеваться, но не для того, чтобы часто менять платья.

Наоборот, если деньги какого-нибудь государства сосредоточены в немногих руках, то большинство граждан прозябает в нужде. Но бедняки не одеваются, поэтому многие из тех мануфактур, о которых мы только что говорили, должны закрыться. Чем же заменяют их? Немногими мануфактурами, изготавливающими богатые, яркие и непрочные ткани, потому что богач стыдится донашивать платье и часто меняет его. Так одно связано с другим в государственных делах.

⁸ Когда я вижу, говорил один великий король, тонкие и обильные яства на столе богача, вельможи и государя, я подозреваю, что скуден стол простого народа. Но я предпочитаю, чтобы мои подданные хорошо питались и хорошо одевались. Я отношусь терпимо к бедности только тогда, когда терпящие нужду люди возглавляют мои полки. Бедность мужественна, деятельна, умна; она жадно стремится к богатствам, она гонится за золотом, пренебрегая опасностями. Человек бывает более смелым, завоевывая что-нибудь, чем оберегая, и вор бывает более мужественным, чем купец. Купец, будучи более богат, лучше знает истинную цену богатства; вор же всегда преувеличивает ее.

⁹ Англия не велика, а между тем вся Европа относится к ней с почтением. Можно ли найти лучшее доказательство мудрости ее государственного управления, зажиточности и мужества ее населения, наконец, наличия в ней того общенационального счастья,

которое законодатели и философы желают доставить людям: первые — посредством законов, вторые — посредством своих сочинений.

¹⁰ Расход и потребление человеческой жизни, вызываемые торговлей, мореплаванием и работами в некоторых профессиях, говорят, очень значительны. Тем лучше, для спокойствия очень населенной страны необходимо, либо чтобы подобного рода расход равнялся, если можно так выразиться, приходу, либо чтобы государство решило, подобно Швейцарии, истребить излишек населения в граничных войнах.

¹¹ О роскоши было сказано — и правильно сказано, — что она увеличивает трудолюбие земледельца. Если земледelec желает получить много в обмен на свои продукты, то он вынужден для этого улучшить обработку своего поля и увеличить свой урожай.

¹² Из налогов, которыми облагают народ, часть идет на содержание и развлечение государя; но другая часть должна целиком идти на государственные нужды. Если государь — собственник первой части, то он лишь управляющий второй. Он может быть щедрым за счет первой, но должен быть экономным во второй части.

Государственная казна — это вклад, отданный на хранение государю. Я знаю, что корыстолюбивый царедворец называет щедростью расточение этого вклада, но расточающий его государь совершает несправедливость и подлинное воровство. Обязанность монарха быть скупым по отношению к достоянию своих подданных. «Я считал бы себя недостойным занимать престол, — сказал один великий государь, — если, будучи хранителем сумм, получаемых от налогов, я взял бы из них хоть одну на пенсию для какого-нибудь любимца или доносчика».

Подати, взимаемые с населения для удовлетворения государственных нужд, могут законно употребляться только на оплату войск для отражения внешнего врага и на оплату должностных лиц для поддержания мира и порядка внутри страны.

Сам Тиберий часто повторял своим любимцам: «Я не решусь прикоснуться к государственной казне. Если бы я опустошил ее на безумные затеи, то нужно было бы заполнить ее, а для этого пришлось бы обратиться к незаконным средствам, которые могли бы потрясти мой трон».

¹³ По какому признаку можно узнать действительно вредную роскошь? По характеру товаров, выставленных в лавках. Чем богаче эти товары, тем более неравномерно распределено богатство среди граждан. Но эта большая неравномерность, будучи злом сама по себе, становится еще большим злом благодаря порождаемому ею разнообразию вкусов. Кто усвоил эти вкусы, тот желает их удовлетворять. Но для этого нужны огромные суммы. И тогда нет никаких границ для стремления к богатству. Нет ничего, чего бы не сделал человек для приобретения его. Добродетель, честь, отечество — все приносится в жертву любви к деньгам.

Наоборот, в тех государствах, где довольствуются необходимыми, люди счастливы и могут быть добродетельными.

Чрезмерная роскошь, сопровождающая почти всюду деспотизм, предполагает, что народ уже разделен на угнетателей и угнетаемых, на воров и обворовываемых. Но если воров ничтожное меньшинство, то почему не может справиться с ними большинство? Чему обязаны воров своим благополучием? Невозможности для об-

воровываемых условиться и собраться в один и тот же день. Кроме того, угнетатель всегда может на награбленные деньги нанять армию, вступить в борьбу с угнетаемыми и победить их по частям.

Таким образом, грабеж народа, находящегося под игом деспотизма, продолжается до тех пор, пока наконец обезлюдение и обнищание страны не приведут к подчинению могущественному соседу как воров, так и обворовываемых. Доведенный до этого состояния народ состоит лишь из нищих, потерявших всякое мужество, и из лишенных совести разбойников. Он окончательно пал и лишился доблести.

Иное дело государство, в котором богатства приблизительно равномерно распределены между гражданами, в котором все зажиточны по сравнению с гражданами других государств. В такой стране нет человека, настолько богатого, чтобы он мог подчинить себе своих соотечественников. Каждый, сдерживаемый здесь своим соседом, занят более тем, чтобы сохранить, чем тем, чтобы отнимать. Поэтому желание сохранности становится здесь всеобщей и господствующей потребностью наиболее многочисленной богатой части народа. Но именно это желание, зажиточность граждан и уважение к чужой собственности способствуют у всех народов росту зачатков добродетели, справедливости и счастья. Таким образом, почти все бедствия, приписываемые какому-нибудь виду роскоши, следует в действительности объяснить порождающей его причиной.

¹⁴ Говорят, что царедворцы берут пример с государя: он презирает роскошь и изнеженность? Та и другая исчезают. Да, но только на время. Для того чтобы произвести длительное изменение в характере какого-нибудь народа, недостаточно примера или приказания государя. Такое приказание не может превратить сибаритствующий народ в здоровый, трудолюбивый и мужественный. Это — дело законов. Пусть законы обяжут всех граждан заниматься ежедневно несколько часов тяжелым трудом, пусть они заставят их подвергаться ежедневно какой-нибудь небольшой опасности; они с течением времени сделают их здоровыми и мужественными, потому что сила и мужество, по словам прусского короля и Вегетия ¹⁴, приобретаются привычкой к труду и к опасности.

¹⁵ В свободной стране сосредоточение национального богатства в немногих руках происходит медленно. На это требуются века. Но по мере того как это происходит, государственная власть стремится принять характер самодержавия и, следовательно, идет к своей гибели.

Республиканская форма правления — это зрелый возраст государств; деспотизм — это их старость. Если государство состарилось, то оно редко может помолодеть. Богачи подкупают часть народа, с ее помощью они подчиняют другую часть аристократическому или монархическому деспотизму. Когда в этом государстве предлагают какие-нибудь новые законы, все они оказываются составленными в пользу богачей и вельмож, но ни один — в пользу народа. Дух законодательства портится, и порча его возвещает падение государства.

¹⁶ Нет ничего более противоречивого, чем взгляды моралистов по этому вопросу. Они согласны с необходимостью и пользой торговли в известных странах и в то же время желают ввести в них суровость нравов, несовместимую с коммерческим духом.

Во Франции тот же моралист, который утром требует от правительства заботы о богатых мануфактурах, вечером выступает с речами против роскоши, театральных зрелищ и нравов столицы.

Но какую же цель преследует правительство, когда оно совершенствует свои мануфактуры, когда оно расширяет свою торговлю? Привлечь к себе деньги своих соседей. И разве можно сомневаться в том, что нравы и развлечения столицы способствуют этой цели? Что театральные зрелища, актрисы, их собственные траты и затраты на них иностранцев являются одной из выгоднейших статей парижской торговли? Какова же, о моралисты, цель ваших противоречивых заявлений?

¹⁷ Не следует удивляться чрезмерной любви людей к деньгам. Явлением действительно поразительным было бы их равнодушие к богатству. Во всякой стране, где деньги в обращении, где богатство служит платой за все удовольствия, люди должны с той же жадностью гнаться за богатством, как за самыми удовольствиями, которые оно представляет. Чтобы заглушить у народа любовь к богатству, должен появиться новый Ликург и осуществить запрещение денег. Но какое особенное стечение обстоятельств требуется для того, чтобы мог появиться такой законодатель и чтобы народ оказался способным принять его законы!

¹⁸ С того момента, когда почести перестают быть наградой за добродетельные поступки, нравы начинают портиться. Со времени прибытия во Флоренцию герцога Миланского, говорят Макнавелли, презрение было уделом добродетели и талантов. Потерявшие свой ум и мужество, флорентийцы окончательно выродились. Они старались перещеголять друг друга только пышностью своих одежд и остроумными замечаниями и репликами. Чем остроумнее был человек, тем он считался умнее. Есть ли теперь в Европе какая-нибудь нация, умонастроение которой походило бы на умонастроение тогдашних флорентийцев?

¹⁹ Счастье или несчастье народов зависит не от больших или меньших размеров национального богатства, а от их более или менее неравномерного распределения. Если допустить, что уничтожили бы половину богатств какого-нибудь народа, а другую половину разделили бы приблизительно равномерно между всеми гражданами, то государство было бы почти так же счастливо и могущественно, как и раньше.

Из всех видов торговли самая выгодная для каждого народа есть торговля, прибыль от которой попадает в руки наибольшего числа людей. Чем больше насчитывают в государствах свободных, независимых и имеющих умеренное состояние людей, тем сильнее государство. Поэтому ни один мудрый государь никогда не обрекал своих подданных налогом, никогда не лишал их достатка и, наконец, никогда не стеснял их свободы ни чрезмерной сетью шпионства, ни слишком суровыми и неудобными полицейскими законами.

Если монарх не ценит ни зажиточности, ни свободы своих подданных, то они впадают в бездеятельность и апатию. Но это умственное заболевание тем опаснее, что оно оказывается обыкновенно уже неизлечимым, когда его обнаружили.

²⁰ Если бы в какой-нибудь стране запретили деньги, то либо в ней пришлось бы ввести спартанские законы, либо ей грозила бы опасность вторжения со стороны соседей. Каким образом на-

род может долго сопротивляться им, если, будучи всегда доступным нападению, он сам неспособен нападать!

Чтобы вести столь разорительные теперь войны, государство или должно быть очень богатым, или, если оно бедно, обладать мужеством и дисциплиной спартанцев.

Но что доставляет правительству большие богатства? Большие налоги, взимаемые с излишков, а не с предметов первой необходимости граждан. Что предполагает большие налоги? Большое потребление. Если бы англичане питались, подобно испанцам, хлебом, водой и луком, то Англия вскоре обеднела бы и, не будучи в состоянии содержать флот и армию, перестала бы пользоваться почетом. Ее могущество, основывающееся теперь на огромных доходах и больших налогах, было бы уничтожено, если бы эти налоги, как я уже сказал, взимались с предметов первой необходимости, а не с излишков потребления жителей.

Самое обычное преступление европейских правительств заключается в жадном стремлении присвоить себе всю народную казну. Их жадность в этом отношении ненасытна. Что же из этого получается? То, что подданные, потеряв охоту к зажиточной жизни из-за невозможности ее достигнуть, утрачивают дух соревнования и перестают стыдиться своей бедности. С этого момента потребление начинает уменьшаться, земля не возделывается, а народ пребывает в лености и нужде, потому что любовь к богатству основывается на:

- 1) возможности приобретения его,
- 2) уверенности в его сохранности,
- 3) праве пользоваться им.

²¹ Предположим, что Великобритания напала бы на Индию, отняла бы ее сокровища и перевезла их в Лондон. Англичане стали бы тогда обладателями несметных богатств. Что сделали бы они с ними? Они сперва опустошили бы в Англии все, что могло бы им доставить удовольствие; затем они привезли бы из-за границы лучшие вина, масло, кофе — словом, все, что им пришлось бы по вкусу, и, таким образом, все народы получили бы свою долю в богатствах Индии. Я сомневаюсь, чтобы законы против роскоши могли бы поставить преграды этому распылению богатств. Эти законы, которые всегда легко обойти, посягают, кроме того, на право собственности, первое и священнейшее из всех прав. Но каким же образом удержат богатства в государствах? Я не знаю этого. Приливы и отливы денег являются в мире духовном результатом столь же постоянных, необходимых и могущественных причин, какими являются в физическом мире морские приливы и отливы.

²² Нет ничего легче, чем указать различные этапы, через которые нация переходит от бедности к богатству, от богатства к неравномерному распределению этого богатства, от этого неравномерного распределения к деспотизму и от деспотизма к гибели. Положим, что бедный человек, начав заниматься торговлей или земледелием, наживает богатство, — у него находятся подражатели. Если эти подражатели разбогатели, число их увеличивается, и весь народ оказывается незаметно охваченным духом трудолюбия и наживы. В стране возникает промышленность, ее торговля расширяется, она с каждым днем становится богаче и могущественнее. Но если ее богатство и ее могущество незаметно

сосредоточиваются в немногих руках, то богачами овладевает дух роскоши и стремления к излишеству, потому что, исключая немногих скупцов, люди приобретают для того, чтобы тратить. Любовь к излишкам вызовет у богачей жажду денег и власти, они захотят деспотически властвовать над своими согражданами. Для этого они пойдут на все. И тогда произвол проникнет мало-помалу вслед за богатствами в государство, портя нравы его населения и развращая последнее.

Когда торговая нация достигает периода своего расцвета, то само желание наживы, которое вначале составляло источник ее силы и могущества, становится теперь причиной ее гибели.

Основа жизни, которая, развиваясь в величественном дубе, поднимает его стебель, вытягивает его ветви, утоляет его ствол и делает его царем лесов, является в то же время основой его гибели.

Нельзя ли было бы приостановить у народов слишком быстрое развитие жажды денег и продлить таким путем существование государств? Этого можно было бы добиться, отвечу я, лишь ослабив у граждан любовь к богатству. Но кто может сказать, не впадут ли тогда граждане, подобно испанцам, в лень, самую неисцелимую из политических болезней?

²³ Добродетелями бедной нации являются смелость, гордость, честность, постоянство, наконец, какая-то благородная свирепость. У новых народов они суть следствие своего рода равенства, царствующего вначале между всеми гражданами. Но долго ли сохраняются эти добродетели в государстве? Нет, они здесь редко являются старыми; часто достаточно одного только увеличения числа жителей, чтобы изгнать их из государства.

²⁴ Нет таких талантов и добродетелей, которых не порождала бы у народа надежда на почести, воздаваемые общественным уважением и признательностью. Нет ничего такого, чего не сделал бы человек под влиянием желания получить и заслужить их. Почести — это своего рода монета, цена которой поднимается и падает в зависимости от большей или меньшей справедливости их распределения. В интересах общества сохранить за ними ту же ценность, распределяя их столь же справедливо, как и бережливо. Всякий мудрый народ должен оплачивать почестями оказываемые ему услуги. Если он захочет расплачиваться деньгами, то он вскоре исчерпает свои ресурсы и не в состоянии будет вознаграждать таланты и добродетели. И те и другие зачахнут в зародыше.

²⁵ Когда деньги становятся единственным стимулом активности нации — это плохо, но против этого зла я не знаю лекарства. Вознаграждение натурой, несомненно, более благоприятствует созданию добродетельных людей. Но сколько нужно произвести изменений в государственном строе большинства европейских государств, чтобы решить его предложить?

²⁶ Чем можно объяснить исключительное могущество Англии? Движением, игрой всех противоположных страстей. Наличие оппозиционной партии, побуждаемой честолюбием, желанием мести или любовью к отечеству, служит здесь защитой народа от тирании. Придворная партия, охваченная желанием добиться мест, милостей или денег, поддерживает правительство против иногда несправедливых нападков оппозиции.

Всегда беспокойное корыстолюбие купцов непрестанно подстрекает здесь трудолюбие рабочих. Благодаря этому трудолюбиво богатство со всех концов мира стекается в Англию.

Но можно ли думать, что у столь богатой и могущественной нации различные партии останутся всегда в том состоянии равновесия сил, которое обеспечивает теперь ее покой и величие? Возможно, это равновесие очень трудно сохранить. До сих пор к англичанам можно было применить следующую эпитафию герцога Девонширского: *верный подданный хороших королей — грозный враг тиранов*. Но будет ли это всегда так и впредь? Счастлив тот народ, о котором г. де Гурвиль мог сказать: *его король, когда он сын своего народа, — величайший король в мире; если же он стремится к чему-то большему, он — ничто*. Когда г. Темпл повторил эту фразу Карлу II, гордость этого государя сперва возмутилась. Но, успокоившись, он пожал Темплю руку и сказал: *Гурвиль прав, я желаю быть человеком своего народа*.

²⁷ Корыстолюбивый дух метрополии часто разжигает пламя мятежа в колониях. Если она обращается с колонистами как с неграми, то это вызывает в них негодование, и если они многочисленны, то они сопротивляются ей и отделяются от нее, подобно тому, как зрелый плод отрывается от ветви.

Чтобы обеспечить себе любовь и покорность своих колоний, нация должна быть справедливой. Она должна постоянно помнить, что она отправляет в чужие края лишь излишек граждан, которые были бы для нее обременительными. Поэтому она вправе требовать от них лишь помощи во время войны и заключения союзного договора, которому всегда будут подчиняться колонии, если метрополия не захочет присваивать себе все плоды их трудов.

²⁸ Во всякой стране, где деньги имеют хождение, неравномерное распределение их должно в конце концов породить всеобщую бедность. Но эта бедность влечет за собою обезлюдение. Бедняки мало заботятся о своих детях, плохо кормят их и мало воспитывают. В доказательство этого я приведу североамериканских диких и рабов в колониях. Чрезмерный труд во время беременности неграitureнок, отсутствие заботы о них, наконец, деспотическое обращение хозяина — словом, все способствует их бесплодию.

В Америке только у иезуитов число рождавшихся негров приблизительно равнялось числу умиравших. Это потому, что как хозяева иезуиты были более разумны и не обращались слишком дурно со своими рабами.

Если государь плохо обращается со своими подданными и обременяет их налогами, то он доводит свою страну до обезлюдения, усыпляет активность жителей, потому что чрезмерная бедность неизбежно влечет за собою упадок духа, а за упадком духа следует лень.

²⁹ Весьма неравномерное распределение национального богатства подготавливает и порождает вкус к роскоши. Если кто-нибудь имеет больше денег, чем нужно для удовлетворения его потребностей, он загорается любовью к излишнему. Поэтому враг роскоши должен искать в самих причинах весьма неравномерного распределения богатств и в уничтожении деспотизма средства от бедствий, в которых он обвиняет роскошь и которым в действительности роскошь содействует. Всякого рода излишки имеют порождающую их причину.

Как предмет роскоши лошадей следует предпочитать драгоценностям. Этот вид роскоши, свойственный англичанам, является отчасти результатом того, что они проводят много времени в своих деревнях. Жить в них они, так сказать, вынуждены своим государственным устройством.

Форма правления управляет невидимым образом даже вкусами частных лиц. Народы всегда обязаны своими нравами и своими привычками своим законам.

³⁰ Всякий важный вопрос морали и политики нужно исследовать возможно более тщательно. На дне исследования, если можно так выразиться, находится знание и истина, подобно тому как золото осаждается на дне тигля.

РАЗДЕЛ VII

Добродетели и счастье народа — следствие не святости его религии, но мудрости его законов

ГЛАВА I

О НИЧТОЖНОМ ВЛИЯНИИ РЕЛИГИИ НА ДОБРОДЕТЕЛИ И СЧАСТЬЕ НАРОДОВ

Люди более благочестивые, чем просвещенные, выдумали, будто добродетели народов, их гуманность и мягкость их нравов зависят от чистоты их религии. Лицемеры, заинтересованные в распространении этого взгляда, опубликовали его, не веря в него. Большинство же людей поверило в него, не исследуя его.

Заблуждение это, будучи возведено, было почти повсюду принято как некая неизменная истина. Между тем опыт и история показывают нам, что благополучие народов зависит не от чистоты их религии, но от достоинств их законодательства.

Какое, действительно, значение имеют их верования? Религия евреев была чистой, а между тем евреи были отверженными среди народов. Их никогда не сравнивали ни с египтянами, ни с древними персами.

При Константине христианская религия стала господствующей, однако она не вернула римлянам их прежних добродетелей. В эту эпоху не появились ни Деции, способные пожертвовать собой для отечества, ни Фабриции^{1*}, готовые предпочесть 7 акров земли всем богатствам государства.

Когда Константинополь стал клоакой всех пороков? В самый момент установления христианской религии. Культ ее не изменил нравов государей. Их набожность не сделала их лучшими. Наиболее христианские из королей не были наиболее великими. Немногие из них обнаружили на троне добродетели таких государей, как Тит, Траян, Антонин. Какого набожного государя можно было бы сравнить с ними?

То, что я говорю о государях, я повторяю и о народах. Набожный португалец, невежественный и легковерный, не отличается большими добродетелями и гуманностью, чем англичанин с его меньшим легковерием и большей терпимостью.

Религиозная нетерпимость — дочь честолюбия духовенства и глупого легковерия. Она никогда не сделает людей лучшими. Обращаться к суеверию, легковерию и фанатизму, чтобы внушить людям дух добродетели, — все равно что подливать масла в огонь для того, чтобы его потушить.

Чтобы смягчить человеческую жестокость и сделать людей более общительными, следует сначала сделать их равнодушными к различиям культов. Если бы испанцы были менее суеверными, они были бы меньшими варварами по отношению к американцам.

Сопшемся в этом пункте на короля Якова. Государь этот был ханжой и знатоком вопросов этого рода. Он не верил в гуманность священников. «Очень трудно, — говорил он, — быть одновременно хорошим богословом и хорошим подданным».

Во всякой стране есть много верующих и мало добродетельных людей. Почему? Потому, что религия не есть добродетель. Вераования и спекулятивные принципы не оказывают обыкновенно никакого влияния на поведение¹ и добродетели людей². Учение о фатальности (предопределенности) наших действий является общим почти для всего Востока; его принимали и стоики. То, что называют свободой или способностью принимать решение, является у человека, говорили они, лишь последовательно испытываемыми чувствами страха или надежды, когда нужно принять решение, от которого зависит счастье или несчастье этого человека. Таким образом, принятие решения есть у нас всегда необходимое следствие нашей ненависти к страданию и нашей любви к удовольствию². Обратимся по этому вопросу к богословам. Подобное учение, скажут они, пагубно для всякой добродетели. Между тем стоики были не менее добродетельны, чем сторонники других философских школ. Между тем турецкие государи не менее верно соблюдают заключенные ими договоры, чем католические государи; между тем персидский

¹ Один знаменитый автор, показав бесполезность католических проповедей, очень хорошо доказал этим бесполезность католической религии.

фаталист не менее честно торгует, чем христианин — француз или португалец. Таким образом, чистота нравов не зависит от чистоты догматов.

Языческая религия в части нравственности, как и всякая другая, основывалась на том, что называют естественным законом. Что касается ее теологической или мифологической части, то она была не очень назидательна. Нельзя, читая историю Юпитера, его любовных походов и в особенности его обращения со своим отцом Сатурном, не сделать вывода, что боги не подавали примера добродетели. Однако в Греции и в Древнем Риме было немало героев и добродетельных граждан. А теперь современная Греция и новый Рим, подобно Бразилии и Мексике, порождают лишь низких, ленивых людей без дарований, лишенных добродетели и трудолюбия.

Со времени установления христианства в монархиях Европы государи не стали ни более мужественными, ни более просвещенными; народы не стали ни более образованными, ни более гуманными; число патриотов нигде не увеличилось. Спрашивается, какую же пользу приносит религия? Что за повод для властей мучить неверующих³, вырезать еретиков?⁴ Почему следует придавать такое значение вере в известные откровения, всегда возбуждавшие споры и часто столь спорные, если они имеют так мало значения для нравственности человеческих поступков?

Чему учит нас история религий? Что они повсюду раздували пламя нетерпимости, устилали равнины трупами, поили землю кровью, сжигали города, опустошали государства; но они никогда не делали людей лучшими. Добродетель людей есть дело закона⁵.

Плотины сдерживают потоки; плотина наказания и презрения сдерживает пороки. Дело правителей возвести эту плотину.

Если науки о нравственности, о политике и о законодательстве представляют собою одну и ту же науку, то кто должны быть истинными учителями нравственности? Священники? Нет, светские власти. Религия определяет нашу веру, а законы — наши нравы и добродетели.

Какой признак отделяет христианина от еврея, негра, мусульманина? Разве справедливость, мужество, гуманность, доброта свойственны одним из них и неизвестны другим? Их отличают различные вероисповедания.

Поэтому никогда не следует смешивать добродетельного человека с человеком правоверным⁶.

В любой стране правоверный человек есть человек, верующий в тот или иной религиозный догмат, а во всем мире добродетельный человек есть человек, совершающий гуманные и соответствующие общему интересу поступки.

Но наши поступки определяются законами⁷, следовательно, законы же делают граждан хорошими⁸.

Таким образом, добродетели и чистоту нравов народа следует объяснять не святостью религии. Продолжим дальше это исследование, и мы убедимся, что дух религии целиком разрушителен для духа законодательства.

ГЛАВА II

О ДУХЕ РЕЛИГИИ, РАЗРУШИТЕЛЬНОМ ДЛЯ ДУХА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Повиновение законам есть основа всякого законодательства. Повиновение попу есть основа почти всех религий.

Если бы интересы попов могли совпадать с национальными интересами, то религии санкционировали бы всякий мудрый и гуманный закон. Но это предположение недопустимо. Интерес духовного сословия был повсюду обособленным и отличным от общественного интереса. Теократические правительства, начиная с иудейской теократии и кончая властью папы, всегда доводили до унижения народы, у которых они установились. Повсюду духовенство желало быть независимым от светской власти, и поэтому почти у всех народов были два высших и разрушительных друг для друга авторитета.

Праздное духовное сословие честолюбиво; оно желает быть богатым и могущественным и может стать таким, только лишив правителей их авторитета^a, а народы их достоинства.

Чтобы присвоить его, духовенство положило в основу религии откровение и провозгласило себя его истолкова-

^a Когда проектировалось уничтожение парламентов^{1*} во Франции, какую непристойную радость обнаружили парижские попы. Пусть эта радость откроет глаза правителям всех народов на ненависть духовной власти к светской. Духовенство порой как будто бы уважает ее в лице королей. Но это лишь в том случае, если последние покорны ему или если при помощи их оно повелевает закону.

телем. А кто является толкователем закона, тот изменяет его по своему произволу и с течением времени становится его автором. С того момента, когда попы берут на себя миссию возвещать волю неба, они уже больше не люди: это — божества. Верят в них, а не в бога. От его имени они могут требовать нарушения всякого закона, противоречащего их интересам, и уничтожения всякой власти, противящейся их планам.

Поэтому дух религии всегда был несовместим с духом законодательства^а, и попы были всегда врагами светских правителей. Первые установили канонические законы, вторые — законы политические. При создании первых руководствовались духом господства и лжи; они были пагубны для мира. При создании вторых руководствовались в большей или меньшей мере духом справедливости и истины, поэтому они были более или менее выгодны для народов.

Если справедливость и истина — сестры, то действительно полезны лишь те законы, которые основываются на глубоком знании природы и истинных интересов человека. Всякий закон, в основе которого лежит ложь⁹ или какое-нибудь ложное откровение, всегда вреден. Не на такой основе станет просвещенный человек возводить здание принципов справедливости. Если турок позволяет выводить принципы справедливого и несправедливого из своего Корана и не допускает, чтобы их выводили из Вед, то это потому, что, будучи свободен от предрассудков по отношению к этой последней книге, он боялся бы дать шаткое основание для справедливости и добродетели. Он не хочет санкционировать их предписания ложными откровениями¹⁰.

Зло, причиняемое религиями, реально, а добро — иллюзорно. Какую, действительно, пользу могут они принести? Их предписания либо противоречат, либо соответствуют естественному закону, т. е. закону, который просвещенный разум предписывает обществам в целях их наибольшего блага.

^а Если меняются интересы попов, то меняются и их религиозные принципы. Сколько раз истолкователи откровения превращали добродетель в преступление и преступление в добродетель? Они причислили к лику блаженных убийцу одного короля. Какое же доверие может внушить к себе изменчивая нравственность богословов? Истинная нравственность черпает свои начала в разуме, в любви к общему благу, а подобные принципы остаются всегда одними и теми же.

В первом случае следует отвергнуть предписания этой религии, ибо они противоречат общественному благу.

Во втором — их следует допустить. Но тогда для чего нужна религия, если она учит лишь тому, чему учат и без нее разум и здравый смысл?

Но, могут сказать, предписания разума, освященные откровением, кажутся от этого во всяком случае более достойными уважения. Да, в первый момент религиозного рвения. Тогда правила, которые считают истинными, ибо их считают плодом откровения, действуют сильнее на воображение. Но энтузиазм этот скоро проходит.

Из всех правил на умы действуют постоянно лишь те, истинность которых доказана. Так как откровение недостоверно и спорно, то благодаря этому оно не только не усиливает доказательства какого-нибудь нравственного принципа, но должно с течением времени затемнить его очевидность¹¹.

Истина и заблуждение — две разнородные вещи; они никогда не сливаются между собою. Кроме того, не все люди находятся под влиянием религии, не у всех людей есть вера, но все люди одушевлены желанием счастья и будут искать его повсюду, где законы покажут его.

Принципы, которые почитают потому, что они являются плодом откровения¹², менее всего устойчивы. Подвергающиеся ежедневно истолкованию попов, они столь же переменчивы, как интересы последних, и почти всегда противоречат общему интересу. Например, всякий народ желает, чтобы его государь был просвещенным. Духовенство, наоборот, желает, чтобы государь был невежественным. К чему только оно не прибегает для этого!

Лучше всякого анекдота этот дух духовенства рисует следующий факт, столь часто указываемый протестантами.

В одном большом королевстве надо было решить, какие книги можно позволить читать молодому принцу. По этому поводу собрали совет, на котором председательствовал духовник молодого принца. Сначала предложили «Декады» Тита Ливия с комментариями Макнавелли, «Дух законов», Монтеня, Вольтера и т. д. После того как произведения эти были одно за другим отвергнуты, поднялся наконец духовник-иезуит и сказал: на днях я видел на столике принца катехизис и французскую поваренную книгу — это для него наиболее безопасное чтение.

Власть попов, как и власть царедворцев, всегда основывается на невежестве и глупости государя. Поэтому

они прибегают ко всем средствам, чтобы сделать его глупым, недоступным для своих подданных и отбить у него охоту заниматься государственными делами.

Во времена царя Петра персидский шах Севах Гусейн, которого его визирь, попы и собственная лень убедили в том, что достоинство не позволяет ему заниматься государственными делами, поручил заботу о них своим любимцам. Через несколько лет шах был свергнут с престола.

ГЛАВА III

КАКОГО РОДА РЕЛИГИЯ БЫЛА БЫ ПОЛЕЗНОЙ?

Источником, порождающим наибольшее число общественных бедствий¹³, является невежество. Добродетели граждан зависят от совершенства законов¹⁴; совершенство законов зависит от прогресса человеческого разума. Чтобы быть добродетельным¹⁵, надо быть просвещенным. Почему же древо познания продолжает оставаться древом, плоды которого деспотизм и духовенство запрещают вкушать? Всякая религия, почитающая в людях нищету духа, — опасная религия. Благочестивое невежество папистов не делает их лучшими. Какая армия меньше всего опустошает страны, через которые она проходит? Набожная ли армия, армия крестоносцев? Нет, наиболее дисциплинированная армия.

Но если дисциплина, если страх перед генералом обуздывает распушенность войск и сдерживает при выполнении своих обязанностей молодых и пылких солдат, привыкших ежедневно рисковать жизнью в сражениях, то чего не может сделать с робкими горожанами страх перед законами?

Не церковные проклятия, а меч правосудия обезоруживает в городах злодея; палач сдерживает руку убийцы. Страх перед наказанием всецелен в лагере¹⁶. Он может быть также всецелым в городах. В лагере он делает армию послушной и смелой, а в городах — граждан справедливыми и добродетельными. Иное приходится сказать о религиях. Папизм проповедует воздержанность. Однако в какие годы наблюдается меньше всего пьяниц? В те ли годы, когда произносят больше всего проповедей? Нет, в те, когда изготавливают меньше всего вина. Католицизм во все времена запрещал воровство, грабеж, насилие, человекоубийство и т. д., а между тем во все самые религиозные века — IX, X, XI — Европа была населена

исключительно разбойниками. Какова причина этого множества насилий и несправедливостей? Слишком слабая плотина, которую законы противопоставляли тогда злодеяниям. Единственным наказанием за крупное преступление был более или менее высокий штраф. За убийство рыцаря, барона, графа, легата платили столько-то или столько-то; наконец, даже убийство государя оценивалось по таксе^а.

Дуэли долгое время были в моде в Европе, особенно во Франции. Религия запрещала их, и тем не менее поединки происходили ежедневно^б. Роскошь впоследствии смягчила нравы французов. В качестве наказания против дуэлянтов была установлена смертная казнь. Во всяком случае они почти все вынуждены покидать родину. И теперь дуэлей более нет.

Что обеспечивает теперь безопасность Парпжа? Набожность ли его жителей? Нет, аккуратность и бдительность его полиции^в. В прошлом веке парижане были набожнее и были более склонны воровать.

Таким образом, добродетели являются плодом законодательства^г, а не религии. В качестве доказательства я сошлюсь на малое влияние, оказываемое нашими верованиями на наше поведение.

ГЛАВА IV О ПАПИСТСКОЙ РЕЛИГИИ

Если бы люди были более последовательны, то религия папизма была бы более пагубной для государства. В этой религии безбрачие считается наиболее совершенным и наиболее угодным небу состоянием^г. Поэтому вся-

^а См. Юм. История Англии, т. I.

^б Преступления, не наказуемые законами, совершаются ежедневно. Можно ли найти более убедительное доказательство бесполезности религии?

^в Устраивают публичное празднество; если оно плохо организовано, на нем совершается много краж; если оно организовано хорошо, никаких краж не происходит. В обоих случаях одни и те же люди ведут себя или честно, или как жулики в зависимости от того, хороша или дурна полиция.

^г Мир обязан тому, что он продолжает существовать, несовершенству, непоследовательности людей. Какое-то глухое недоверие противится часто пагубному применению религиозных принципов. Церковные законы похожи на торговый регламент. Если он неудачно составлен, то государство обязано своим богатством непослушанию купцов: их послушание разорило бы его.

кий верующий, если бы он был последовательным, должен был бы жить в безбрачии.

Так как, согласно этой религии, много званых и мало избранных, то всякая любящая мать должна была бы убить своих только что окрещенных детей, чтобы дать им возможность скорее и вернее наслаждаться вечным блаженством.

Какой смерти следует бояться, по уверениям проповедников этой религии? Непредвиденной смерти. Какая смерть желательна? Та, к которой мы подготовлены. А где найти эту смерть? Надо думать, на эшафоте. Но такая смерть предполагает преступление; значит, надо совершить его ^а.

Какое употребление следует сделать из своих денег, согласно этой религии? Отдать их монахам, с тем чтобы при помощи их молитв и обеден освободить душу из чистилища.

Предположим, что какого-нибудь несчастного в оковах собираются сжечь на костре. Какой гуманный человек не отдаст своих денег для его освобождения? Какой человек не почувствует себя вынужденным к этому чувством произвольного сострадания? Не меньшие обязанности должны у нас быть по отношению к душам, которым суждено гореть в течение ряда веков.

Всякий верный католик должен поэтому ограничивать себя во всякого рода расходах на предметы роскоши и на лишние вещи. Он должен питаться хлебом, плодами и овощами. Но сам-то епископ ^б любит хороший стол, пьет отличные вина, ездит в крытых лаком каретах. Большая часть папистов носит вышитые платья и тратит больше

^а Подобный случай произошел 4—5 лет тому назад в Пруссии. Какой-то солдат, прослушав проповедь об опасности непредвиденной смерти, убил девушку. «Несчастный, — сказали ему, — что заставило тебя совершить это преступление?» «Желание попасть в рай, — ответил он. — Это убийство должно меня привести в тюрьму, из тюрьмы на эшафот, с эшафота на небо». Король, узнав об этом случае, запретил священникам произносить впредь подобные проповеди и даже провожать преступников до места казни.

^б Теперешнее безучастное отношение епископов к томящимся в чистилище душам заставляет подозревать, что они сами не очень убеждены в существовании места, которого они никогда не видели. Странно, далее, то, что человек остается в чистилище больше или меньше времени в зависимости от того, имеет ли он больше или меньше денег, чтобы заставить служить обедни; странно, что деньги на том свете еще более полезны, чем на этом.

на собак, лошадей и экипажи, чем на обедни. Объясняется это тем, что в своем поведении они не следуют своим верованиям. Если признавать существование чистилища, то тот, кто подает милостыню нищему, дурно употребляет свое богатство. Милостыню надо подавать не живым, а мертвым: деньги особенно необходимы последним.

В прежние времена люди более чувствительные к страданиям покойников делали больше завещаний в пользу церкви. Умирая, всякий оставлял ей часть своего имущества. Правда, эту жертву приносили лишь в тот момент, когда уже не было ни здоровья, чтобы наслаждаться удовольствиями, ни здравого смысла, чтобы противостоять нашептываниям монахов. Кроме того, монахов боялись и, может быть, давали больше из страха перед монахами, чем из любви к душам. Не будь этого страха, вера в чистилище не принесла бы таких богатств церкви. Таким образом, поведение людей и народов редко соответствует их верованиям и даже их спекулятивным принципам. Эти принципы почти всегда бесплодны.

Если установить самое нелепое учение, учение, из которого можно сделать самые ужасные выводы, но не изменить ничего в законах, то не происходит никаких перемен в правах народа. Дурным делает меня не какое-нибудь ложное нравственное правило, но мой интерес быть дурным^а. Я стану порочным, если законы отделяют мои интересы от общественных интересов, если я смогу найти свое счастье лишь в несчастье другого человека^б; если при данной форме правления преступление вознаграждается, добродетель загнана, а порок занимает первое место.

Интерес есть семя, порождающее порок и добродетель. Ошибочные взгляды какого-нибудь писателя не могут увеличить числа воров в государстве. Учение иезуитов благоприятствовало воровству; это учение было осуждено светской властью; она должна была это сделать из соображений приличия, но она не заметила, чтобы само это

^а Какой бы нелепый взгляд ни выдвинуть в нравственности, говорит Макиавелли, этим нельзя повредить обществу, если не поддерживать этого взгляда силой. Во всех науках мы приходим к источникам истины после ряда заблуждений. Действительно полезная вещь в нравственности — это поиски истины; действительно вредная — отсутствие этих поисков. Тот, кто проповедует невежество, — мошенник, желающий одурачить окружающих.

^б Человек есть враг, убийца почти всех животных. Почему? Потому, что его существование связано с их уничтожением.

учение увеличило число мошенников. Почему? Потому, что это учение не изменило законов; потому, что полиция была по-прежнему бдительной; потому, что преступников приговаривали к тем же самым наказаниям. Если исключить такие случаи, как голод, реформа и т. п., — одни и те же законы во все времена должны создавать почти одно и то же число преступников.

Предположим, что пожелали бы увеличить число воров; что нужно было бы сделать для этого?

Увеличить налоги и потребности народов;

заставить всех купцов путешествовать, имея при себе деньги;

держат меньше полицейской стражи на дорогах; наконец, отменить наказания за воровство.

Безнаказанность вскоре увеличила бы число преступлений.

Таким образом, пороки или добродетели граждан зависят не от истины какого-нибудь откровения и не от чистоты религии, а только от мудрости или нелепости законов^а. Истинно полезна та религия, которая заставляет людей учиться. Какие правительства являются наиболее совершенными? Те, у которых наиболее просвещенные подданные. Из всех примеров, способных доказать эту истину, наиболее подходящим является пример с государством иезуитов^{1*}. Это в своем роде шедевр человеческого ума. Рассмотрим его устройство; из него мы сможем лучше узнать, какова власть законодательства над людьми.

^а Платон, несомненно, предвидел эту истину, когда он сказал: «Города и их граждане освободятся от своих бедствий тогда, когда философия и власть, соединенные в лице одного и того же человека, дадут добродетели победу над пороком». Руссо не придерживается этого взгляда. Впрочем, сколько бы он ни хвалил правдивость и чистосердечие диких и варварских народов, я не поверю ему на слово.

Остается фактом, говорит Юм («История Англии, т. I»), что англосаксы, как и все невежественные и разбойничьи народы, нарушали свои клятвы и лгали с бесстыдством, неизвестным цивилизованным народам.

Только разум, усовершенствованный опытом, может доказать народам их интерес быть справедливыми, гуманными и верными своим обещаниям. Суеверие в этом отношении не приводит к тем результатам, что разум. Наши набожные предки клялись на кресте и реликвиях соблюдать заключенные ими договоры и нарушали эти клятвы. Народы в настоящее время уже не гарантируют своих договоров подобными клятвами. Они пренебрегают этими ненадежными гарантиями.

ГОСУДАРСТВО ПЕЗУПТОВ

Я рассматриваю здесь устройство ордена пезуптов лишь под углом зрения осуществления их честолюбивых планов. Иезуиты стремились к влиянию, власти, уважению и добились этого при католических дворах.

К каким средствам прибегли они для этой цели? К устрашению и обольщению.

Что делало их грозными для государей? Единство их воли с волей их генералов. Сила подобного единства, может быть, еще недостаточно известна.

Древность не дает нам такого образца, который можно было бы сравнить с формой правления у пезуптов. Предположим, что у древних потребовали бы разрешения нижеследующей политической проблемы.

Спрашивается:

«Каким образом из глубины монастыря человек может управлять бесчисленным множеством других людей, живущих в различных странах и подчиняющихся различным законам и государям? Каким образом этот человек может сохранить — часто на колоссальных расстояниях — достаточно власти над своими подданными, чтобы заставить их по своему произволу передвигаться, действовать, мыслить и всегда соотнобразовывать свое поведение с честолюбивыми планами ордена?»

До возникновения монашеских орденов такая задача казалась бы безумием. Ее решение отнесли бы к числу платоновских химер. Между тем эта химера осуществилась.

Что касается средств, с помощью которых генерал ордена добивается послушания членов ордена, то средства эти известны, — я не стану подробно перечислять их.

Но каким образом, имея столь мало подчиненных, он часто внушает такой страх государям? В этом — шедевр политики.

Чтобы добиться этого чуда, организация иезуитов должна была соединить в себе все преимущества и монархического, и республиканского устройства: с одной стороны — быстроту и тайну выполнения, с другой — сильную и постоянную любовь к величию ордена. Для этого во главе иезуитов должен был стоять деспот, но деспот просвещенный и поэтому выборный¹⁸.

Выборы этого главы предполагали: отбор из известного числа подданных; время и средства, нужные для того, чтобы изучить дух, нравы, характеры и склонности этих подданных.

Для этого нужно было, чтобы наиболее честолюбивые и просвещенные наставники могли изучать учеников, воспитывающихся в их домах; чтобы новый генерал после избрания был тесно связан с интересами ордена и не мог иметь других интересов; чтобы поэтому он, подобно всем пезуитам, подчинялся главным правилам ордена; чтобы он принес те же обеты: не имел, подобно всем иезуитам, права жениться; отказался, подобно им, от всяких внешних почестей, от всяких родственных уз, от любви и от дружбы; чтобы, отдавшись целиком делу иезуитов, он обязан был всем уважением к себе лишь величию ордена; чтобы поэтому он не имел иного желания, кроме желания увеличить могущество ордена; чтобы послушание его подчиненных доставило ему нужные для этого средства. Наконец, для того, чтобы быть по возможности более полезным своей организации, генерал должен целиком руководствоваться своим гением, дабы его смелые планы не могли быть стеснены никакими опасениями.

С этой целью его местопребывание установили близ папского престола.

Решили, что генерал, связанный с этим владыкой в известных отношениях узами общих интересов и втайне разделяющий с ним его авторитет первосвященника, должен жить при его дворе и иметь возможность, будучи там, пренебрегать мщением королей.

Действительно, оттуда, из глубины своей кельи, как паук из центра своей паутины, он протягивает свои нити по всей Европе, получая по этим нитям сведения обо всем, что происходит.

Осведомленный при посредстве исповеди о пороках, талантах, добродетелях, слабостях государей, вельмож и разных должностных лиц, генерал ордена знает, путем каких интриг он может содействовать честолюбию одних и противиться честолюбию других, льстить одним, склонять на свою сторону или устрашать других.

Он размышляет над этими важными вопросами, а рядом монашеское честолюбие держит перед ним тайную и страшную книгу, где записаны хорошие или дурные качества государей, их благоприятные или неблагоприятные

ордену свойства, и отмечает кровавой чертой имена королей, которые обречены на мечь ордена и должны быть вычеркнуты из списка живых. Если напуганные и слабые государи решили, что распоряжения генерала оставляют им выбор лишь между смертью и рабским послушанием, то их страхи не были совершенно необоснованными. Организация иезуитов до известной степени оправдывала это опасение. Ведь какой человек распоряжается обществом, члены которого являются в его руках тем, чем является палка в руках старца. Он говорит их устами, поражает их руками; владея колоссальными богатствами, он может по произволу переправлять членов ордена повсюду, куда этого требуют интересы ордена. Будучи таким же абсолютным повелителем, как арабский старец Горы^{1*}, он имеет столь же послушных подданных. По его повелению они готовы идти на величайшие опасности и выполнять самые рискованные предприятия^a. Такой человек, несомненно, страшен.

Иезуиты поняли это, и, гордясь страхом, внушаемым их главой, они позаботились о том, чтобы обеспечить себе преданность этого грозного человека. Для этого они решили, что, если по лености или каким-нибудь иным мотивам генерал предал бы интересы общества, он должен был стать предметом его презрения и страшиться его мести. Пусть назовут какое-нибудь правительство, где интересы главы и подданных были бы столь взаимны и столь тесно связаны между собою. Не удивительно потому, что, владея столь скромными на внешний вид средствами, общество достигло в короткий срок такого могущества.

Его могущество было результатом формы его организации.

Как ни рискованны были принципы нравственности иезуитов, но, признанные папами, они почти совпадали с принципами католической церкви. В руках светских людей эта опасная нравственность не имела столь пагубных результатов, и этому не приходится удивляться. Не чтение произведений какого-нибудь Бузенбаума или ла Круа^{2*} создает цареубийц; эти чудовища рождаются в невежестве и уединении монастырей, и оттуда они по-

^a Иезуиты во множестве случаев обнаруживали такое же бесстрашие, как и абиссинцы, потому что иезуиты, подобно этим грозным африканцам, надеются на небесное воздаяние за послушание приказанию вождя.

сягают на государей. Тщетно монах, вооружая их кинжалом, хочет скрыть снабдившую их руку. Нет ничего легче, как распознать преступления, совершаемые под влиянием честолюбия духовенства.

Для предупреждения их пусть друг государей и враг фанатизма знает, по каким верным признакам можно узнать разные причины выдающихся покушений.

ГЛАВА VI

О РАЗНЫХ ПРИЧИНАХ ВЕЛИКИХ ПОКУШЕНИЙ

Этими причинами являются любовь к славе, честолюбию и фанатизм. Как бы могущественны ни были эти страсти, тем не менее их сила не может обычно идти в сравнение у человека с его любовью к самосохранению и к счастью; человек не рискует навлечь на себя опасность и страдание; он не берется за рискованное предприятие, если выгоды, связанные с успехом его, соответствуют до некоторой степени опасности, которой он себя подвергает. Это — факт, доказанный опытом всех времен.

ГЛАВА VII

О ПОКУШЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЛЮБВИ К СЛАВЕ ИЛИ К ОТЕЧЕСТВУ

Когда, желая избавить себя и свое отечество от ига рабства, Дион, Пелопид, Арат и Тимолеон задумывали убийство тирана, чего они боялись и на что надеялись? Им не приходилось бояться позора и казни, как какому-нибудь Равальяку^{1*}. Если счастье изменяло им в их начинаниях, то герои эти при поддержке сильной партии всегда могли надеяться умереть с оружием в руках. Если счастье улыбалось им, они становились предметом обожания и любви своих сограждан. Таким образом, награда во всяком случае соответствовала опасности, какой они себя подвергли.

Когда Брут последовал за Цезарем в сенат, он, несомненно, сказал самому себе следующее: имя Брута, это имя, освященное уже изгнанием Тарквиниев, требует от меня и вменяет мне в обязанность убийство диктатора. В случае успеха я уничтожу его тираническое правление, я разоружу деспотизм, готовый пролить чистейшую кровь Рима, я спасу Рим от гибели и стану новым основателем его. Если же меня постигнет неудача,

я погибну от собственной руки или от руки врага. Значит, награда равна опасности.

Но произнес ли бы подобный монолог добродетельный Брут во времена Лиги? ^{2*} Поднял ли бы он руку на своего государя? Нет. Что выиграла бы Франция, какая была бы слава для него самого, если бы, став жалким орудием папского честолюбия, он убил своего повелителя?

При монархической форме правления имеются только два мотива, которые могут толкнуть подданного на цареубийство: или земной венец, или венец небесный. Только честолюбие и фанатизм порождают подобные преступления.

ГЛАВА VIII

О ПОКУШЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЧЕСТОЛЮБИЯ

Покушения, продиктованные честолюбием, всегда совершаются каким-нибудь могущественным человеком. Задумывающий их честолюбец должен иметь возможность в случае совершения преступления немедленно пожать его плоды, а в случае неудачи и разоблачения его оставаться еще достаточно сильным, чтобы запугать государя и во всяком случае иметь время для бегства.

В таком положении находились в Византии ее полководцы, которые во главе своих войск выступали против императора, разбивали его в сражении или умерщвляли на троне.

В таком же положении находится в настоящее время в Константинополе какой-нибудь ага или оттоманский принц, когда во главе янычаров он проникает в сераль, арестовывает и убивает султана, а последний часто обеспечивает себе свой трон и свою жизнь лишь убийством своих родственников.

Из общественного положения цареубийцы можно почти всегда выяснить, какой страстью руководился он при совершении своего преступления — честолюбием или религиозным фанатизмом.

ГЛАВА IX

О ПОКУШЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ ПОД ВЛИЯНИЕМ ФАНАТИЗМА

Честолюбивые цареубийцы встречаются лишь среди знати; цареубийцы-фанатики встречаются во всех классах и чаще всего даже в низших классах, ибо все люди

могут одинаково претендовать на небесные награды и венец. Существуют еще другие признаки, по которым можно различать эти два вида царевбийц. Нет ничего более противоположного, чем их поведение при подобных покушениях.

Предположим, что царевбийца-честолюбец потерял надежду спастись — вот-вот его должны схватить; он отравляет себя или убивает себя на трупе своей жертвы. Фанатик не покушается на свою жизнь: его религия запрещает ему это; только она может удерживать руку человека, достаточно бесстрашного, если он способен совершить подобное злодеяние; только она может заставить его предпочесть ужасную смерть на эшафоте тихой смерти путем самоубийства.

Фанатик — орудие мести, подготовляемое монахами и применяемое ими, когда этого требуют их интересы.

ГЛАВА X

О МОМЕНТЕ, КОГДА ИНТЕРЕСЫ ИЕЗУИТОВ ТРЕБУЮТ ОТ НИХ ВЕЛИКОГО ПОКУШЕНИЯ

Предположим, что влияние иезуитов падает. Они ожидают от нового правительства большей милости, чем от существующего правительства; доброта же царствующего государя и могущество при дворе партии изуверов гарантируют им безнаказанность. Тогда они начинают замышлять свои гнусные планы. Они подготавливают граждан к большим событиям; они разжигают в них пагубные страсти; они пугают воображение либо предсказанием близкого конца мира, как это они делали прежде, либо заявлениями, что религия пришла в упадок. Когда под влиянием этих идей начинается брожение умов, когда иезуиты воспаляют умы и становятся предметом общих разговоров, тогда они начинают искать отчаянного человека, оружие которого направляется их честолюбием. Злодей этого рода редки. На такие преступления способны лишь люди, которыми владеют сильные и противоположные чувства, люди, способные на величайшие злодеяния и в то же время набожные, доверчивые и доступные угрызениям совести. Это должны быть люди одновременно смелые и благоразумные, горячие и осторожные; характер этого рода является продуктом самых мрачных и жестоких страстей. Но как распознать сердца, способные загораться фанатизмом? Каким путем

открыть эти семена сильных и противоположных страстей, способных сделать человека царевубийцей, но всегда невидимым до того, как они начали свое действие? Исповедь — вот тот микроскоп, с помощью которого открываются эти зародыши. На исповеди¹⁹, где душа человека обнажена, право расспрашивать позволяет монахам обшаривать все уголки ее.

Генерал ордена, зная через них о нравах, страстях и склонностях множества исповедующихся лиц, имеет слишком большой выбор для того, чтобы найти среди них орудия своей мести.

После того как выбор сделан и фанатик найден, надо разжечь его рвение. Энтузиазм — заразительная болезнь, передающаяся, по словам милорда Шефтсберя, жестами, взглядом, звуками голоса и т. д. Генерал это знает. Он отдает распоряжение, и фанатик, привлеченный в какой-нибудь дом иезуитов, оказывается среди энтузиастов. Там, возбуждая себя чувствами окружающих, он начинает верить, будто сам думает то, что ему внушают; освоившись с мыслью о преступлении, которое он должен совершить, он становится недоступным для угрызений совести.

Достаточно минуты угрызений совести, чтобы обезоружить убийцу. Нет такого злодея, такого смелого человека, который мог бы без ужаса думать о столь великом преступлении и о следующих за ним мучениях. Единственный способ скрыть от него весь ужас этого заключается в том, чтобы распалить в нем фанатизм до такой степени, при которой мысль о преступлении не только не ассоциируется в его памяти с мыслью о предстоящих ему мучениях, но вызывает в ней только мысль о небесных наслаждениях, которые должны быть наградой за его злодеяние.

Из всех религиозных орденов орден иезуитов является наиболее могущественным, наиболее просвещенным и наиболее проникнутым энтузиазмом. Поэтому никакой другой орден не мог бы так сильно действовать на воображение фанатика и с меньшей для себя опасностью покушаться на жизнь государей. Слепое повиновение иезуитов приказаниям генерала ордена создает их уверенность друг в друге.

Не чувствуя недоверия в этом отношении, они дают полный простор своим мыслям.

Так как им самим редко приходится совершать преступление, которое они поощряют вплоть до его окончания, то страх казни не может охладить их рвения. Всякий иезуит, опираясь на все влияние и могущество ордена, знает, что ему не грозит никакое расследование до совершения преступления, что никто до этого момента не осмелится выступить с обвинением против члена организации, страшной своими богатствами, массой шпионов, которых она содержит, вельмож, которыми она руководит, буржуа, которым она покровительствует и которых она связывает с собою крепкими узами страха и надежды.

Иезуит знает, кроме того, что когда преступление совершено, то нет ничего более трудного, чем уличить в этом его организацию; расточая средства и угрозы и выдавая себя за жертву клеветы, она всегда сможет набросить на самые тяжкие злодеяния мрак, благоприятный для иезуитов, которые желают, чтобы их подозревали в великом преступлении, ибо от этого они становятся еще более страшными, но не желают, чтобы их в нем уличили, ибо от этого они стали бы слишком гнусными.

Действительно, каким образом уличить их в этом? Генерал знает имена всех лиц, замешанных в каком-нибудь крупном заговоре; при первом подозрении он может разослать этих лиц по неизвестным монастырям или услатить их за границу. Живя под ложной фамилией, они будут там избавлены от обыкновенного судебного преследования. Если это преследование становится настоящим, генерал всегда может парализовать его, либо упрятав обвиняемого в стенах какого-нибудь монастыря, либо пожертвовав им в интересах ордена.

При таком обилии разных возможностей и при такой безнаказанности удивительно ли, что общество иезуитов отваживалось на столь рискованные дела и члены его, поощряемые одобрениями ордена, часто выполняли самые рискованные предприятия.

Таким образом, сама форма организации иезуитов объясняет причину внушаемого ими страха и уважения; она объясняет, почему со времени возникновения этого ордена нет такой религиозной войны, нет таких переворотов, убийств государей в Китае, Эфиопии, Голландии, Франции, Англии, Португалии, Женеве и т. д., где иезуиты не принимали бы большего или меньшего участия.

Честолюбие генерала и его помощников — душа этого ордена. Ни одно общество не стремилось так к власти, не употребило столько средств для ее достижения. Конечно, белое духовенство честолюбиво. Но если им и владеет та же страсть, то оно не имеет тех же средств для ее удовлетворения. Оно реже принимало участие в царевыйствах.

Всякий пезунт находится в непосредственной зависимости от своего старшего²⁰. Иное дело белое духовенство. Его представители вращаются в свете, их отвлекают дела и удовольствия, и они не могут целиком отдаться одной какой-нибудь идее. Их фанатизм не возбуждается непрерывно присутствием других фанатиков. Кроме того, менее могущественные, чем религиозная корпорация, они в случае совершения преступления понесли бы наказание. Поэтому они менее предприимчивы и менее опасны, чем черное духовенство.

Истинная основа преступлений пезунтов заключалась не в испорченности их нравственности^a, но в их уставе, их богатствах, их могуществе, их честолюбии и в несовместимости их интересов с интересами всей нации.

Но, скажут, как бы совершенна ни была организация этих монахов, какую бы власть она ни дала им над народами, однако эти столь грозные пезунты теперь изгнаны из Франции, Португалии, Испании^{1*}. Да, ибо вовремя получили отпор их обширные планы.

Всякая монашеская организация страдает одним коренным недостатком — отсутствием реальной власти. Власть монахов основывается на невежестве и безумии людей. Но со временем человеческая мысль становится просвещенной или во всяком случае должна изменить форму своего безумия. Поэтому пезунты, предвидя это, захотели соединить в своих руках светскую власть с духовной. Они хотели иметь возможность устрашить своими армиями государей, которых нельзя испугать кинжалом или ядом. С этой целью они заложили уже в Парагвае и Калифорнии основы новых государств.

Если бы правители продолжали пребывать в прежней спячке, то через сто лет, быть может, было бы невозможно бороться с планами пезунтов. Соединение духовной власти со светской сделало бы их слишком грозными: они всегда держали бы католиков в ослеплении, а их госу-

^a Ложные принципы морали опасны лишь тогда, когда они становятся законом.

дарей в унижении. Ничто не доказывает лучше силы влияния, которого уже добились иезуиты, как то, к какому способу пришлось прибегнуть во Франции, чтобы изгнать их оттуда^а.

Почему здесь светская власть выступила с таким сильным обвинением против их книг?²¹ Несомненно, она понимала всю легковесность подобного обвинения. Но она понимала также, что только это обвинение могло погубить их во мнении народа. Всякое другое обвинение оказалось бы не имеющим силы.

Предположим, действительно, что в постановлении об их изгнании власти сослались бы только на мотивы общественного блага.

«Всякое многочисленное общество, — могли бы сказать они, — честолюбиво и заботится лишь о своем частном интересе. Если последний не совпадает с общественным интересом, то такое общество опасно».

«Что касается общества иезуитов, — могли бы прибавить они, — то, поскольку, согласно своему уставу, оно подчинено иностранному деспотизму, оно, очевидно, не может иметь интересов, совпадающих с общественным интересом»^б.

«Колоссальные размеры торговли иезуитов могут стать пагубными для национальной торговли. Несметные богатства, приобретенные^в в торговле и переправляемые по произволу генерала в Китай, Испанию, Германию и т. д., могут довести народ до нищеты».

^а Когда короли, напуганные оппозицией своих парламентов, начинают доверяться иезуитам, то как не вспомнить басню о мышонке. «Какое шумливое животное я только что встретил, — сказал он своей матери, — это, как говорят, петух. Я похолодел от ужаса; я не мог бы вернуться к тебе, если бы меня не успокоил вид другого, очень кроткого животного. Оно кажется мне другом нашей породы; оно называется кошкой». «О, сын мой, именно кошки тебе и следует остерегаться».

^б Власти могут, несомненно, применить к иезуитам слова, с которыми Гоббс обращается к папистским священникам. «Вы представляете, — говорил он им, — сообщество честолюбивых мошенников. Стремясь господствовать над народами, вы пытаетесь при помощи различных тайн и бессмыслиц погасить в них свет разума и евангелия».

«Верить в правдивость попа, — говорит по этому поводу поэт Ли, — это все равно что доверять улыбке вельможи, слезам куртизанки, клятвам купца и скорби наследника».

^в Богатства иезуитов несметны. Они не сеют, не возделывают землю, и, однако, как говорит Шекспир, это они собирают весь урожай. Они даже умеют выжимать соки из бедности.

Наконец, это общество прославилось бесчисленными убийствами. Это общество состоит из трезвых людей и для увеличения числа своих сторонников предоставляет покровительство, кредит, богатство своим друзьям и угрожает преследованиями, бедствиями и смертью своим врагам. Планы такого общества должны были быть столь же обширными, как и пагубными для общего благополучия. Сколь бы разумны ни были эти мотивы, они произвели бы слабое впечатление, и могущественный и имеющий защитников орден иезуитов никогда не был бы принесен в жертву разуму и общественному благу.

ГЛАВА XI

ТОЛЬКО ЯНСЕНИЗМ МОГ УНИЧТОЖИТЬ ИЕЗУИТОВ

Что нужно было, чтобы успешно бороться с иезуитами? Противопоставить страсти страсти, религию религии, фанатизм фанатизму. Против них нужно было вооружить янсенистов. Но янсенисты, бесчувственные вследствие своего религиозного изуверства²² или невежества к несчастьям своих ближних, не выступили бы против иезуитов, если бы видели в них лишь врагов общественного блага. Власти поняли это и решили, что для того, чтобы поднять янсенистов против этих монахов, надо было поразить их воображение и оглушить их такой книгой, как книга «Утверждений», где постоянно повторяются слова о бесстыдстве, философском грехе, магии, астрологии, идолопоклонстве и т. д.

Были упреки по адресу властей относительно опубликования этой книги. Власть, говорят, умалила и унизила свое звание и достоинство, выступив перед публикой в виде ученого спорщика²³. Разумеется, ни государи, ни должностные лица не должны опускаться до низкого занятия вздорных спорщиков и богословов. Схоластические споры несовместимы с великими целями государственного управления. Такие споры сужают умственный горизонт людей²⁴.

Если придавать им слишком большое значение, то они становятся предвестником величайших несчастий. Они возвещают повторение Варфоломеевской ночи. Золотой век нации не есть век схоластических споров. Однако во время процесса иезуитов светская власть обладала во Франции лишь малым влиянием и авторитетом; положение парламентов по отношению к иезуитам было таково, что они могли оказать пользу обществу, лишь

прибегая к предложениям и мотивам, отличным от тех, которыми они руководились в действительности. Почему же они не должны были прибегать к ним и не воспользовались презрением, окружавшим книги и мораль пезуитов, с тем, чтобы освободить Францию от монахов, ставших столь грозными благодаря своему могуществу, своим интригам, своим богатствам, своему честолюбию²⁵ и особенно благодаря средствам, которые доставляла им их организация для порабощения умов?

Истинным преступлением пезуитов являлось превосходство их организации, пагубной для общественного блага.

Надо признать: пезуиты были одним из самых жестоких бичей наций. Но без них мы никогда не узнали бы так хорошо, что может сделать с людьми законодательство, направленное к неизменной цели.

Чего добивались пезуиты? Власти и богатств для своего ордена. Ни одно законодательство не осуществило лучше столь ничтожными средствами эту большую задачу. Ни у одного народа нельзя найти пример столь совершенного правительства; для установления его нужно было бы, подобно Ромулу, быть основателем нового государства. Люди редко бывают в таком положении, а во всяком другом, по-видимому, невозможно создать превосходное законодательство.

ГЛАВА XII

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТОЙ ИСТИНЫ

Человек, скажем, устанавливает некоторые новые законы в государстве; он делает это либо в качестве правителя, уполномоченного народом исправить старое законодательство, либо в качестве победителя, т. е. завоевателя. В таких различных положениях находились Солон, с одной стороны, Александр или Тамерлан — с другой.

В первом случае правитель, как жаловался Солон, вынужден сообразоваться с нравами и вкусами лиц, облекших его своим доверием. Они вовсе не требуют от него идеального законодательства, которое слишком противоречило бы их нравам. Они желают просто исправления некоторых злоупотреблений, проникших в существующее законодательство. Поэтому правитель не может дать простора своему гению. Он не строит больших планов и не ставит себе целью создание совершенного законодательства.

Во втором случае какую задачу ставит себе сначала завоеватель? Укрепить свою власть над доведенными до нищеты и разоренными войной народами, еще озлобленными своим поражением. С этой целью, навязывая им некоторые законы своей страны, он в то же время частично принимает их законодательство. Его мало трогают бедствия, вытекающие из смещения часто противоречащих друг другу законов.

Не в момент завоевания победитель может задумываться над обширными планами совершенного законодательства. При шаткости его еще новой власти он требует от своих новых подданных лишь одного — покорности. А когда настанет время заниматься их счастьем?

Нет такой музыки, которой не воздвигли бы храма; нет науки, которой не занимались бы в какой-нибудь академии; нет академии, которая не предложила бы какой-нибудь премии за решение некоторых проблем оптики, земледелия, астрономии, механики и т. д. В силу какой же роковой необходимости не создаются публичные школы для наук о нравственности и политике, несомненно, наиболее важных из всех наук, которые особенно необходимы для национального счастья?

Существует ли более разительное доказательство безучастного отношения людей к счастью своих ближних?²⁶

Почему власть имущие еще не создали моральных и политических академий? Неужели они боятся, что эти академии решат наконец задачу идеального законодательства и обеспечат навсегда счастье граждан? Они, несомненно, боялись бы этого, если бы предполагали, что общее счастье потребует от них принести в жертву хотя бы малейшую часть их власти. Перед национальным интересом умолкает интерес только одной группы населения, именно интерес слабых. Государь обыкновенно видит только себя одного во всей природе. Какое ему дело до счастья его подданных! Если бы он любил их, то разве он поработал бы их? Разве с колесницы победы и с трона деспотизма он может давать им полезные законы? Какое дело завоевателю, опьяненному своими успехами, до счастья своих рабов?

Что касается правителя, уполномоченного какой-нибудь республикой преобразовать ее законодательство, то обыкновенно ему приходится считаться с весьма различными интересами, приходится примирять весьма различные взгляды, чтобы быть в состоянии сделать в этой об-

ласть что-нибудь великое и простое. Только основатель колоний, распоряжающийся людьми, еще не имеющими предрассудков и установившихся привычек, способен решить проблему идеального законодательства. Ничто в этом случае не препятствует деятельности его гения, не противится созданию наиболее мудрых законов. Границами их совершенства являются лишь границы его собственного ума.

Но, спросят, почему же именно монашеские законы являются наименее несовершенными с точки зрения поставленной ими себе цели? Потому, что основатель религиозного ордена находится в положении основателя колонии. Потому, что какой-нибудь Игнатий Лойола^{1*}, намечая в молчании и уединении устав своего ордена, не должен еще считаться со вкусами и взглядами своих будущих подчиненных. Когда этот устав готов и орден признан, то его основатель оказывается окруженным послушниками, которые полностью подчиняются этому уставу, поскольку они его добровольно приняли и, следовательно, одобрили также средства, при помощи которых их принуждают соблюдать его. Что же удивительного, если подобное законодательство более совершенно в своем роде, чем законодательство любого народа!

Вопрос о различных монашеских организациях есть, может быть, один из наиболее интересных и поучительных предметов изучения для правителей, философов и вообще для всех государственных деятелей. Это — своего рода эксперименты в миниатюре, которые, вскрывая тайные причины преуспевания, величия и могущества различных религиозных орденов, вместе с тем доказывают, как я старался показать, что пороки, добродетели, могущество и счастье народов зависят не от религии и не от того, что называют нравственностью — приблизительно одинаковой у всех народов и у всех монахов, — а только от законодательства.

Законы — это душа государств, орудие общественного блага. Эти орудия, еще грубые, могут быть усовершенствованы с каждым днем. До какой степени можно их усовершенствовать? И до какой высоты идеальное законодательство может довести счастье граждан?^a Для ответа на этот вопрос надо выяснить сперва, в чем заключается счастье индивида.

^a Из различных религиозных орденов, организация которых ближе всего к республиканской форме правления и члены кото-

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Все французы хващают тем, что они нежные друзья. Когда вышла книга «Об уме», они много кричали против главы о дружбе. Можно было подумать, что Париж населен одними Орестами и Пиладами. Между тем именно у французов воинский устав обязывает солдата расстрелять в случае дезертирства своего товарища и друга. Издание подобного закона не доказывает особенно большого уважения к дружбе со стороны правительства, а повиновение этому закону — особенно большой нежности к своим друзьям.

² Стоики говорили, что тот, кто захотел бы причинить себе зло и без всяких оснований бросился бы в огонь, в воду или из окна, был бы сочен сумасшедшим; он был бы таковым в действительности, потому что в естественном состоянии человек ищет удовольствия и избегает страданий: ведь все его поступки необходимым образом определяются желанием кажущегося или действительного счастья. Значит, человек не свободен; значит, его воля является столь же необходимым результатом его идей и, следовательно, его ощущений, как, например, боль является результатом удара. Кроме того, прибавляли к этому стоики, нет ни одного момента, когда можно было бы отнести к различным операциям души представление о свободе человека.

Например, раз одна и та же вещь не может быть и не быть в одно и то же время, то, значит, невозможно:

чтобы в тот момент, когда душа действует, она действовала иначе; чтобы в тот момент, когда она выбирает, она выбирала иным образом; чтобы в тот момент, когда она обдумывает решение, она решала иным образом; чтобы в тот момент, когда она желает, она желала иным образом.

Моя воля — такая, как она есть, — заставляет меня решать; мое решение — такое, как оно есть, — заставляет меня выбирать; мой выбор — такой, как он есть, — заставляет меня действовать; в то время когда я обдумывал решение, было невозможно (ввиду моей любви к себе), чтобы я не желал решать. Очевидно, что свобода не имеет места ни в данной воле, ни в данном решении, ни в данном выборе, ни в данном действии — словом, свобода не относится ни к одной из операций души.

Для противоположного следствия необходимо было бы, чтобы одна и та же вещь, как я уже сказал, могла и быть, и не быть в одно и то же время. Но, прибавляли к этому стоики, вот какой вопрос мы задаем философу: «Свободна ли душа, если, когда она желает, когда она обдумывает решение, когда она выбирает, когда она действует, она не свободна?»

³ Нет почти ни одного святого, который не омыл бы хоть раз в жизни своих рук в человеческой крови и не предал бы кого-нибудь смертной казни. Святым был епископ, требовавший недавно столь энергично смертной казни для одного молодого человека из Абвиля. Он желал, чтобы этот юноша искупил ужасными муками свое преступление, состоявшее в том, что он спел несколько непристойных песенок ^{1*}.

рых наиболее свободны и счастливы, как правило, лучшими являются доктринарии и ораторы ^{2*}. Их нравы лучше других и мораль менее ошибочна.

⁴ Мы убиваем еретиков, говорят верующие люди, из сострадания. Мы желаем только дать им почувствовать шипы милосердия. Мы надеемся боязнью смерти и палачей спасти их от адских мук. Но с каких пор милосердие стало обладать шипами? С каких пор оно побуждает убивать людей? Кроме того, если пороки, подобно заблуждениям, влекут за собою вечные муки, то почему верующие не убивают порочных людей из своих единоверцев?

⁵ Голод и нужда делают граждан трудолюбивыми, а мудрые законы делают их добрыми. Древние римляне, говорит Макнавелли, подавали примеры добродетели во всех областях, добродетель была у них обычным явлением; на протяжении нескольких веков можно насчитать едва-едва шесть или семь граждан, приговоренных к штрафу, изгнанию, смертной казни. Чему же были они обязаны своими добродетелями и своими успехами? Мудрости своих законов, которые при первых раздорах между плебеями и патрициями установили равновесие сил, сохранившееся в течение долгого времени при все вновь возрождавшихся раздорах между обеими этими группами граждан.

Римляне, продолжает этот знаменитый писатель, отличались во всем от венецианцев: они не были ни унижены в несчастье, ни высокомерны в счастье. Различное поведение и различный характер обоих этих народов объясняются различием их воспитания.

⁶ Некоторые богословы называли Гельвеция *безбожником*, а отца Бертье — *святым*. Однако первый не сделал и не хотел сделать зла никому, а второй говорил публично, что если бы он был королем, то он утопил бы президента Монтескье в его крови.

Один из них — просто добродетельный человек, а другой — христианин.

⁷ Справедливые законы всемогущи над людьми. Они распоряжаются их волей, делают их добродетельными, гуманными и счастливыми. Своим счастьем и уверенностью в своей собственности и в своей свободе англичане обязаны четырем или пяти подобным законам.

Первый из этих законов дает палате общин полномочия устанавливать налоги.

Второй — *Habeas Corpus act* ^{2*}.

Третий — суд присяжных.

Четвертый — свобода печати.

Пятый — способ взимания налогов.

А разве эти налоги не обременительны в настоящее время для нации? Но хотя они и обременительны, они во всяком случае не дают государю возможности притеснять частных граждан.

⁸ Люди обязаны своими социальными добродетелями не религии, не тому естественному и врожденному закону, который, как говорят, запечатлен во всех душах. Этот столь хваленый естественный закон является, подобно прочим законам, продуктом опыта, размышления и ума. Если бы природа запечатлела в сердцах людей ясные идеи о добродетели; если бы эти идеи не были приобретенными, то разве люди приносили бы когда-нибудь человеческие жертвы богам, которых они называют добрыми? Разве карфагеняне, желая снискать себе милость Сатурна, приносили бы на алтарях в жертву своих детей? Разве испанцы думали бы тогда, что божество жаждет крови еретиков или евреев? Разве целые народы надеялись бы снискать милость неба, казня людей,

думающих иначе, чем их попы, или убивая девственников во искупление своих злодеяний?

Допустим, что принципы естественного закона врожденны; но тогда люди поняли бы, что наказания, подобно преступлениям, должны быть индивидуальны, что жестокость и несправедливость не могут быть жрицами богов. Но столь ясные и простые идеи о справедливости еще не признаны всеми нациями — значит, человек обязан своим знанием справедливости и добродетели не религии и не естественному закону, а воспитанию.

⁹ Добродетель так драгоценна, а добродетельное поведение так выгодно для нации, что если бы добродетель была даже заблуждением, то ради нее пужно было бы, несомненно, жертвовать всем, вплоть до истины. Но к чему эта жертва и почему нужно думать, что ложь является отцом добродетели? Всюду, где частные интересы совпадают с общественными, добродетель становится у каждого индивида необходимым результатом себялюбия и личного интереса.

Все пороки нации всегда связаны с какими-нибудь изъянами законодательства. Почему так мало добродетельных людей? Потому, что несчастья почти повсюду преследуют честность. Если бы, наоборот, спутникам ее были почести и уважение, то все люди были бы добродетельными. Но, скажут, есть такие тайные преступления, с которыми может бороться одна только религия. Пример — похищение доверенного вклада. Но разве опыт доказывает, что подобный вклад надежнее доверять попу, чем Нинон де Ланкло? Сколько краж совершено было под названием завещаний в пользу церкви? Сколько было отнято наследств у законных наследников? В этом нечистый источник несметных богатств церкви. Таковы совершенные ею кражи. Где возвращенные ею вещи? Говорят, что если монах ничего не возвращает, то он заставляет возвращать. Чему равняется ценность этих возвращенных вещей в каком-нибудь большом государстве? Ста тысячам экю. Допустим. Но достаточно сравнить эту сумму с той, какой требует содержание такого множества монастырей, чтобы составить себе представление об их пользе. Что сказали бы о финансисте, который, желая обеспечить получение одного миллиона, потратил бы 20 миллионов на аппарат для взимания его? Его считали бы глупцом. Таким же глупым оказывается общество, когда оно содержит столько попов. Их дорогостоящее обучение к тому же бесполезно для состоятельных, деятельных, трудолюбивых народов с возвышенным благодаря свободе характером. У подобных народов совершается мало тайных преступлений.

Неужели все еще неизвестно, что граждане обязаны своим патристическими добродетелями единству частного интереса с общественным? Неужели в основу этих добродетелей все еще будут класть заблуждения и откровения, служащие с самых давних времен поводом для величайших злодеяний?

¹⁰ Если все люди от рождения рабы суеверия, то спрашивается, почему не воспользоваться этой их слабостью, чтобы сделать их счастливыми и заставить их почитать законы? Но разве суеверные люди уважают их? Наоборот, они нарушают их. Суеверие — это отравленный источник, давший начало всем злосчастиям и бедствиям на земле. Но неужели нельзя осушить его? Разумеется, можно, и народы вовсе не так неизбежно суеверны, как это думают. Они являются тем, чем делают их правитель-

ства. Если государь освободился от этих заблуждений, они следуют его примеру. Монарх в конце концов сильнее, чем боги. Поэтому первая забота попов заключается в том, чтобы завладеть помыслами государей. Нет такой низкой лести, до которой они ни унизились бы с этой целью.

Нужно признать за государями божественное право? Попы его признают и самих себя назовут их рабами, но при молчаливом условии, что фактически государи будут их рабами. Если же государи перестают быть ими, то духовенство меняет тон и при благоприятных обстоятельствах заявляет им, что раз Самуил низложил помазанника божия, то то же самое может сделать в настоящее время папа.

¹¹ Добродетельный человек будет всегда повиноваться предпочтительно своему разуму, чем откровению. Более достоверно, скажет он, видеть в боге создателя человеческого разума, т. е. способности человека отличать ложь от истины, чем автора подобной книги откровения.

В глазах мудрого человека более преступно отрицать свой собственный разум, чем какое бы то ни было откровение.

¹² Религиозная система нарушает всякое соответствие между наградами за поступки и пользой последних для общества. Действительно, почему солдата меньше уважают, чем монаха? Почему назначают монаху, давшему обет бедности, 12 или 15 тысяч ливров ренты за то, что он раз в году выслушает исповедь о грехах или о глупостях какого-нибудь вельможи, и в то же время отказывают в 600 ливрах офицеру, раненному при штурме крепости?

¹³ Почти все религии запрещают людям пользоваться своим разумом, делая их невежественными, несчастными и жестокими. Эта истина довольно недурно изображена в одной английской пьесе, озаглавленной «Королева здравого смысла». Любимцами королевы в этой пьесе являются *Юриспруденция* под именем *Закона*, *Медицина* под именем *Физики* и жрец Солнца под именем *Поджигатель* ^{3*}.

Любимцы эти, которым надоело правительство, неблагоприятное для их интересов, вступают в заговор и призывают к себе на помощь *Невежество*. Оно высаживается на острове *Здравого смысла* во главе толпы фигляров, ярмарочных музыкантов, обезьян и т. д.; за ним следует толпа итальянцев и французов. Навстречу ему выступает королева Здравого смысла. Поджигатель останавливает ее. «О королева, — говорит он ей, — престол твой шатается; боги вооружились против тебя; их гнев — гибельный результат покровительства, оказываемого тобою неверующим. Мои устами с тобою говорит Солнце — трепещи; передай мне этих безбожников, чтобы я послал их на костер, а не то небо обрушит на тебя свою месть. Я — священник; я непогрешим; я повелеваю — повинуйся, если ты не боишься, что я прокляну день твоего рождения как роковой для религии день». Королева, не слушая его, приказывает трубить к атаке; ее армия покидает ее; она удаляется в лес. Поджигатель следует за ней и закалывает ее там кинжалом. «Мой интерес и моя религия, — говорит он, — требовали этой великой жертвы; но неужели я признаю себя убийцей? Нет, интерес, повелевавший мне совершить это царевубийство, требует, чтобы я не говорил о нем; я стану публично оплакивать моего врага, я буду прославлять ее добродетели».

Только он сказал это, как раздался военные клпки. Появляется Невежество, которое заставляет убрать тело *Здорового смысла* и положить его в гробницу. Оттуда раздается голос, произносящий следующие пророческие слова: «Пусть тень Здорового смысла бродит всегда по земле; пусть ее стоны будут вечным ужасом для армии Невежества; пусть эта тень будет видима только просвещенным людям и пусть поэтому их всегда считают духовидцами».

¹⁴ Законы — это светочи, освещающие народу путь к добродетели. Что нужно, чтобы внушить уважение к законам? Чтобы они стремились очевидным образом к общественному благу и подвергались долговому изучению до их опубликования.

У римлян Законы двенадцати таблиц^{4*} были целиком отданы на суд народа. Именно таким образом правители доказывают свое искреннее желание установить хорошие законы.

Всякий суд, который по требованию какого-нибудь сановника с легкостью приговаривал бы граждан к смертной казни, вызвал бы ненависть к законодательству и презрение к правителям.

¹⁵ Четыре вещи, говорят евреи, способны погубить мир, и одна из них — это религиозный и безумный человек.

¹⁶ Всякий человек боится страданий и смерти. Даже солдат доступен этому страху; страх его дисциплинирует.

Тот, кто не боялся бы ничего, не делал бы ничего идущего в разрез с его желаниями. Из трусливых войска становятся храбрыми. Но, говорит по этому поводу один великий государь, если палач может сделать все с солдатами, он может сделать все также и с горожанами.

¹⁷ Если полиция, необходимая для пресечения преступлений, стоит слишком дорого, то она оказывается обременительной для граждан, она становится настоящим общественным бедствием. Если полиция слишком пропитана духом инквизиции, то она развращает нравы, усиливает дух шпионства; она становится настоящим общественным бедствием. Недопустимо, чтобы полиция помогала мести сильного против слабого и заключала граждан в тюрьму без судебного процесса. Кроме того, она должна непрерывно следить за самой собою. При отсутствии чрезвычайной бдительности чиновники ее становятся злоумышленниками во всеоружии власти и тем более опасными, что их многочисленные и скрытые преступления остаются неизвестными и ненаказанными.

¹⁸ Деспотически правящий орденом иезуит не похож на восточного тирана, который, находясь во главе шайки бандитов, называемой им армией, грабит и разоряет свое государство. Деспот-иезуит, сам подчиненный уставу своего ордена, проникнутый одинаковым с последним духом, добивается уважения к себе, опираясь на силу своих подчиненных. Поэтому его деспотизм не может принести им вреда.

¹⁹ Если среди протестантов мало царевичей, то это потому, что они не падают ниц перед попами, потому, что они исповедуются перед богом, а не перед человеком. Иное дело — католики. Почти все они, перед тем как совершить покушение, исповедуются и причащаются.

²⁰ Послушание монаха по отношению к своему старшему всегда будет делать последнего грозным. Если он прикажет совершить убийство, то его приказание выполняется. Какой монах решится воспротивиться его распоряжениям? Сколько средств

имеется у старшего заставить себя слушаться! Чтобы познакомиться с этими средствами, посмотрим бегло устав капуцинов.

Папа Климент (4, ubi supra, сар. 6, § 24) говорит: «Инок должен исповедоваться лишь у другого инокa, за исключением случая абсолютной необходимости». Он говорит далее (ubi supra, сар. 6, § 8): «Если, находясь в тюрьме, инок, удрученный своими узами, захочет исповедаться монаху своего ордена, то просьба его будет удовлетворена лишь в том случае, когда надзиратель сочтет возможным доставить ему это утешение и эту милость. Монах может причащаться на пасхе лишь с разрешения старшего и всегда в лазарете или в каком-нибудь другом потайном месте». Он прибавляет к этому (ubi supra, сар. 6, § 10): «За тяжкие преступления иноков да сжигают живыми. За другие преступления их следует раздевать донага, привязывать и нещадно бить в три приема по желанию отца-настоятеля. Давать им лишь небольшое количество хлеба сокрушения и воды горести».

«За ужасное преступление отец-настоятель вправе придумать такой род пытки, какой он захочет». Он говорит (ubi supra, сар. 6, § 2): «Если железо, огонь, бичи, жажда, темница, отказ в тайнствах окажутся недостаточными, чтобы наказать инокa или заставить его признаться в преступлении, в котором его обвиняют, то отец-настоятель вправе придумать такой род пытки, какой он захочет, не называя ему доносчиков и свидетелей, если только это не очень важный монах. Действительно, было бы непристойно подвергать пытке (исключая неслыханное преступление) какого-нибудь отца, который оказал большие услуги ордену».

Наконец, он прибавляет (ubi supra, сар. 6, § 3): «Инок, который обратился к суду белого духовенства, как, например, епископский суд, да будет наказан по желанию генерала или провинциала, а инок, который сознается на исповеди в своем грехе или уличен в нем, да будет, несмотря на апелляцию, предварительно наказан, хотя окончательное судебное решение будет вынесено впоследствии, если его апелляция обоснованна».

При подобном уставе нет ни одного монаха, из которого папа, церковь и генерал не могли бы сделать цареубийцы. Нет таких начальников, которым государь мог бы дать подобную власть над их подчиненными. Какое ослепление со стороны государей подвергать таким образом невинных людей самым жестоким наказаниям, а себя самих такой опасности!

²¹ Среди сочинений иезуитов имеется, несомненно, много нелепых и рискованных. Так, например, отец Гарас выступает с обвинениями против Каина. Он говорит на стр. 130 кн. II своего курьезного произведения: «Каин — как замечают евреи — был безрассудным человеком и первым безбожником; этот Каин не мог понять того, что ему говорил его отец Адам, а именно что есть святой бог, судья наших поступков. Не будучи в состоянии понять его, Каин думал, что все это — бабы сказки и что его отец потерял рассудок, когда он ему рассказывал о своем уходе из земного рая и о том, что с ним случилось. Поэтому Каин дошел до того, что убил своего брата и, отвечая богу, разговаривал с ним так, как если бы говорил «с каким-нибудь олухом»».

Тот же отец (кн. I, стр. 97) рассказывает: когда по прибытии Кальвина в Пуату почти все тамошнее дворянство приняло его заблуждение, то один дворянин сумел удержать часть дворянства в католической вере такими словами: «Я обещаю создать

религию, лучшую, чем религия Кальвина, если я найду дюжину болванов, которые не побоятся пойти на костер ради защиты моих бредней». Фонтенеля стал преследовать за то, что в своих «Оракулах» он повторил слова, вложенные отцом Гарасом в уста дворянина из Пуату. Недаром говорят, что на этом свете все зависит от удачи.

²² Все, даже педанты янсенисты, признают, что теперешнее воспитание во Франции неспособно готовить граждан и патриотов. Почему же янсенисты, всегда занятые своей изменчивой или достаточной благодатью, не предложили пока никакого нового плана общественного воспитания? Что за равнодушие к общественному благу у этих святош?

²³ Эта книга «Утверждений», говорили сторонники иезуитов, достойна какого-нибудь прландского богослова, а не парламента. Иезуитов, прибавляли они к этому, судила здесь не правомочная власть, но янсенистские прокуроры. Но факт, что этой книге мы отчасти обязаны роспуском общества иезуитов. Словом, самые удачные реформы совершаются иногда при помощи самых нелепых средств.

²⁴ Почти во всех странах человек, желающий получить какой-нибудь пост, должен придерживаться религии народа данной страны. Говорят, что Китай почти единственное государство, где отказались от этого нелепого обычая. Чтобы быть, говорят китайцы, справедливым и правдивым историком, надо быть равнодушным ко всякой религии; точно так же, как чтобы справедливо управлять людьми, быть неподкупным судьей и безупречным мандарином, надо не придерживаться никакой религии.

²⁵ Пон де Тиар де Бииси, епископ Шалона на Соне (единственный член штатов Блуа от 1558 г., оставшийся верным Генриху III), обратился с письмом к дижонскому парламенту. В этом письме от 1590 г. названный прелат оплакивает сначала бедствия своего печального отечества: он описывает ужасы Лиги и ее гнусные преступления; он утверждает, наконец, что бог в своем гневе желает погубить это прекрасное королевство, которое *обманщики в железной маске расшатали со всех сторон*. Затем, обращаясь к парламенту, он в следующих словах увещевает его изгнать иезуитов.

«Эти апостолы Магомета, — говорит он, — нечестиво проповедуют, что война есть орудие господне. Пусть эти дьявольские соблазнители, эти высокомерные любители ложной мудрости, эти лицемерные ревнители, эти побеленные стены, эти школы и виновники гражданских бурь, эти возмутители умов, эти подстрекатели восстаний, эти эмиссары Испании, эти опасные шпионы, опытные в искусстве устраивать козни, будут навсегда изгнаны из Франции».

Обращаясь затем к иезуиту Шарлю и его собратьям, он говорит: «Вы видите эти ужасные злодеяния, заставляющие стонать добродетельных людей, и вы не высказываете им ни малейшего неодобрения. Мало того, вы аплодируете этому, вы обещаете небесные награды за величайшие преступления. Вы побуждаете совершать их и вы обещаете рай гнусным разбойникам, которых вы омываете в росе нашего милосердия.

Христианнейший король ^{5*} только что был убит в результате ужасного покушения одного из ваших, а вы продолжаете умерщвлять его после его смерти. Вы обрекаете его на вечное адское

пламя, и вы осмеливаетесь проповедовать, что следует отказать ему в помощи нашими молитвами».

²⁶ О смертные, называющие себя добрыми, а в действительности столь мало заслуживающие этого названия! Неужели вы никогда не устыдитесь своего равнодушия к реформе и к усовершенствованию ваших законов? Неужели ваши правители способны управлять вами и сдерживать вас только страхом ужаснейших наказаний? Неужели, оставаясь бесчувственными к воплям и стонам осужденных, они никогда не попытаются пресекать преступления более кроткими мерами? Пора уже, чтобы они показали свою гуманность поисками этих мер. Пусть же они оставят сочинения по этому вопросу. Пусть они страшатся, чтобы не приписали убийства стольких несчастных лености их мысли, и пусть, наконец, они предложат премии за решение задачи, столь достойной справедливости и милосердия государей.

О смертные, ваша мнимая доброта — просто лицемерие! Она у вас на устах, но не в ваших поступках.

РАЗДЕЛ VIII

О том, что составляет счастье индивидов; об основе, на которой следует воздвигнуть здание национального счастья, состоящего необходимым образом из счастья всех частных лиц

ГЛАВА I

**МОГУТ ЛИ ЛЮДИ, ЖИВЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОСТОЯНИИ,
БЫТЬ ВСЕ ОДИНАКОВО СЧАСТЛИВЫМИ?**

Нет такого общества, в котором все граждане могут быть одинаково богатыми и могущественными¹. Существует ли такое общество, в котором все граждане могут быть одинаково счастливыми? Рассмотрим этот вопрос я займусь.

Мудрые законы могли бы, несомненно, создать чудо всеобщего счастья. Если все граждане обладают некоторой собственностью, если все они живут в известной степени зажиточно и могут с избытком удовлетворять свои потребности и потребности своей семьи, работая семь или восемь часов, то они настолько счастливы, насколько могут быть.

Чтобы доказать это, постараемся выяснить, в чем заключается счастье отдельного индивида. Только на основе этого предварительного знания можно воздвигнуть здание национального счастья.

Нация есть совокупность всех своих сограждан, и общественное счастье складывается из счастья всех частных лиц. Но в чем заключается счастье отдельного индивида? Возможно, что это еще неизвестно, и, может быть, недостаточно занимались вопросом, способным, однако, пролить много света на различные отрасли государственного управления.

Расспросим по этому вопросу большинство людей. Чтобы быть одинаково счастливыми, скажут они, все должны быть одинаково богатыми и могущественными. Нет ничего более ложного, чем это утверждение. В самом деле, если жизнь есть лишь сумма бесчисленного множества различных мгновений, то все люди были бы одина-

ково счастливы, если бы все могли заполнить эти мгновения одинаково приятным образом. Но возможно ли это в различных условиях? Можно ли в этом случае окрасить в одинаковые оттенки счастья все моменты человеческой жизни? Чтобы ответить на этот вопрос, постараемся выяснить, какими различными занятиями заполняются необходимым образом различные части дня.

ГЛАВА II ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ВРЕМЕНИ

Люди испытывают голод и жажду; они испытывают потребность жить со своими женами, спать и т. д. Из 24 часов в сутки они тратят 10 или 12 часов на эти различные необходимые потребности. В момент удовлетворения их все люди — начиная с торговца кроличьими шкурками и кончая государем — одинаково счастливы.

Напрасно будут говорить, что стол богача пышнее стола состоятельного человека. Если ремесленник хорошо питается, то он доволен. Наличие различной кухни у разных народов доказывает, как я уже говорил, что хороший стол — это привычный стол^а.

Таким образом в течение 10 или 12 часов в сутки все люди, которые в состоянии обеспечить себе это необходимое, могут быть одинаково счастливы. Что же касается 10 или 12 других часов, т. е. тех часов^б, которые отделяют вновь возникающую необходимую потребность от удовлетворенной потребности, то можно ли сомневаться в том, что люди наслаждались бы в эти часы тоже одинаковым счастьем, если бы они обыкновенно их одинаково использовали: если бы почти все они посвящали их труду, т. е. приобретению денег, необходимых для удовлетворения своих потребностей? Разъезжающий почтарь, развозящий кладь возчик, ведущий записи приказчик — все в их различных состояниях ставят себе ту же задачу.

^а Это замечание напоминает мне замечание одного французского повара. Он поехал в Англию; он увидел, что здесь едят все под белым соусом. «Как, — сказал он, — в этой стране насчитывают сто различных религий и только один соус для всех блюд? Да здравствует Франция: у нас только одна религия, но зато нет такого мясного блюда, которого не ели бы под ста различными соусами».

^б Действительно, от более или менее удачного употребления этих десяти или двенадцати часов и зависит главным образом счастье или несчастье большинства людей.

Значит, в этом смысле они одинаково используют свое время.

Но, могут сказать, применимо ли это также к праздному богачу? При своих богатствах он может не трудясь удовлетворять все свои потребности, исполнять все свои прихоти. Я согласен с этим; но счастливее ли он от этого? Нет, природа не увеличивает ради него потребностей голода, любви и т. д. Но, скажут, этот богач заполняет более приятным образом промежутки времени между удовлетворенной и вновь возникающей потребностью. В этом я сомневаюсь.

Ремесленник, бесспорно, обречен на труд. Но праздный богач обречен на скуку. Какое из этих двух зол больше?

Если труд вообще считают злом, то это потому, что в большинстве государств можно удовлетворять необходимые потребности лишь путем чрезмерного труда. Поэтому идея труда всегда ассоциируется с идеей тяжелого усилия.

Между тем труд сам по себе не тягостен. Если привычка делает его для нас легким, если мы занимаемся им, не слишком себя утомляя, то труд, наоборот, благо.

Сколько разбогатевших ремесленников продолжают заниматься своим делом, покидая его с сожалением, когда их принуждают к этому старость. Нет ничего такого, чего привычка не сделала бы приятным.

Выполняя свои служебные обязанности, занимаясь своим ремеслом, своей профессией, отдаваясь своему таланту, все — и разбирающий дела судья, и изготавливающий инструменты слесарь, и вызывающий на суд судебный пристав, и сочиняющий поэт, и музыкант, — все они испытывают приблизительно одинаковое удовольствие и находят в своих различных работах одинаковое средство избавиться от физически неприятного ощущения скуки.

Занятый человек — это счастливый человек. Для доказательства этого я проведу различие между двумя видами удовольствий.

Первые — *чувственные наслаждения*. Они основываются на физических потребностях. Их испытывают во всех положениях, и в тот момент, когда люди наслаждаются ими, они бывают все одинаково счастливы. Но эти удовольствия скоротечны.

Вторые — *удовольствия от предвидения*.

К этим удовольствиям я отношу все способы удовлетворения физических потребностей. Благодаря предвидению способы эти всегда превращаются в реальные удо-

вольствия. Я беру рубанок. Что испытываю я при этом? Все удовольствия от предвидения, связанные с оплатой моих столярных работ. Но удовольствия этого рода не существуют для богача, который не трудясь находит в своей кассе деньги для оплаты всех предметов своих желаний. Ему ничего не нужно делать, чтобы доставить их себе, и от этого он только больше скучает.

Всегда беспокойный, всегда в движении, разъезжая всегда в карете, он похож на белку, которая от скуки вертится в своей клетке. Чтобы быть счастливым, праздный богач вынужден ожидать, чтобы естественно у него вновь возникла какая-либо потребность.

Таким образом, у богача скука от безделья заполняет промежуток, отделяющий вновь возникающую потребность от удовлетворенной потребности.

У ремесленника эти промежутки делают приятным труд, доставляющий ему средства для удовлетворения этих потребностей и для развлечений, которые он получает только ценой труда.

Праздный богач переживает многие минуты скуки, в течение которых ремесленник и рабочий наслаждаются все время возобновляющимися удовольствиями от предвидения.

Умеренный труд — вообще самое удачное употребление того времени, когда человек не удовлетворяет никакой потребности, не наслаждается ни одним из чувственных удовольствий, бесспорно более сильных, но зато и самых скоротечных.

Как много приятных ощущений остаются неизвестными тому, кого никакая потребность не заставляет думать. Допустим, что мои огромные богатства доставляют мне все те удовольствия, каких желает бедняк и какие он получает с такими усилиями. Тогда я предаюсь праздности. Я ожидаю, как уже сказано, с нетерпением, чтобы природа пробудила во мне какое-нибудь новое желание. Я ожидаю, я скучаю, я несчастен. Другое дело — занятой человек. Если представление о труде и деньгах, которые платят за него, ассоциировалось в его памяти с представлением о счастье, занятие становится для него источником счастья. Каждый удар топора вызывает в памяти плотника мысль об удовольствиях, которые должна доставить ему оплата его рабочего дня.

Вообще всякое необходимое занятие заполняет самым приятным образом промежуток, отделяющий удов-

летворенную потребность от вновь возникающей потребности, т. е. те именно 10 или 12 часов в сутки, когда особенно завидуют праздности богача и когда его считают столь недосыгаемо счастливым.

Это подтверждает радость, с какой ранним утром землепашец берется за свой плуг, а кассир открывает кассу и долговую книгу.

Труд во все моменты жизни есть удовольствие, неизвестное вельможе и праздному богачу. Следовательно, вопреки предрассудкам размеры нашего богатства вовсе не являются мерой нашего счастья. Поэтому во всех тех положениях, когда можно, как я уже сказал, путем умеренного труда удовлетворить все свои потребности, люди, избавленные от нужды и менее страдающие от скуки, чем праздные богачи, счастливы почти настолько, насколько это возможно для них.

Таким образом, люди, не будучи одинаково богатыми и не имея одинаковых званий, могут быть одинаково счастливыми. Спрашивается, почему же все государства населены только несчастными?

ГЛАВА III

ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ ПОЧТИ ВСЕ НАРОДЫ НЕСЧАСТНЫ?

Несчастье почти всех людей и целых народов зависит от несовершенства их законов и от слишком неравномерного распределения их богатств. В большинстве государств существует только два класса граждан: один — лишенный самого необходимого, другой — пресыщенный излишествами.

Первый класс может удовлетворить свои потребности лишь путем чрезмерного труда. Такой труд есть физическое зло для всех, а для некоторых — это мучение.

Второй класс живет в изобилии, но зато изнывает от скуки^а. Но скука есть такое же страшное зло, как и нужда.

^а От каких только бедствий, кроме скуки, не страдают богачи! Сколько беспокойств и тревог испытывают они, желая увеличить и сохранить большое состояние! Что такое богач? Это — управляющий большим домом, обязанный кормить и одевать лакеев, которые раздевают его.

Если у слуг есть обеспеченный хлеб в старости и если они не делят со своим хозяином скуку его безделья, то они в тысячу раз счастливее его. Счастье богача — сложная машина, постоянно нуждающаяся в починках. Постоянно то счастье, которое недорого стоит.

Поэтому большинство государств должно быть населено только несчастными людьми. Что нужно сделать для того, чтобы внести среди них счастье? Уменьшить богатство одних, увеличить состояние других, сделать бедняка настолько зажиточным, чтобы он мог путем 7 или 8 часов труда с избытком удовлетворять свои потребности и потребности своей семьи. Тогда он станет счастлив почти настолько, насколько это для него возможно.

В смысле физических удовольствий он наслаждается тогда всеми теми же удовольствиями, что и богач. Аппетит бедняка не отличается по своей природе от аппетита богача. Существует поговорка: *богач не обедает дважды*. Я знаю, что существуют дорогие удовольствия, недоступные просто зажиточным людям. Но их всегда можно заменить другими удовольствиями и заполнить столь же приятным образом промежуток, отделяющий удовлетворенную потребность от вновь возникающей потребности, т. е. один обед от другого обеда, одно удовольствие от другого удовольствия. При всяком мудром правительстве можно пользоваться одинаковым счастьем как в те минуты, когда человек удовлетворяет свои потребности, так и в те, которые отделяют удовлетворенную потребность от вновь возникающей потребности. Но жизнь есть лишь сумма моментов обоего рода; зажиточный человек, как я старался доказать, может поэтому сравняться по испытываемому им счастью с наиболее богатыми и могущественными людьми.

Однако возможно ли, чтобы хорошие законы создали для всех граждан то состояние зажиточности, которое требуется для счастья? К этому теперь сводится рассмотрение названной важной проблемы.

ГЛАВА IV

О ТОМ, ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ГРАЖДАН БОЛЕЕ ЗАЖИТОЧНЫМИ

Если бы при теперешнем состоянии большинства народов правительство, пораженное чрезмерной диспропорцией между состояниями, захотело бы ввести в этом отношении больше равенства, то ему пришлось бы, несомненно, преодолевать тысячи препятствий. Подобный план — при благоразумном подходе к нему — должен и может быть выполнен лишь путем непрерывных и незаметных изменений. Но такие изменения возможны.

Пусть законы установят некоторый минимум собственности для всех граждан; этим они избавят бедняков от ужасов нужды, а богача от бедствия скуки. Они сделают обоих более счастливыми.

Но допустим, что законы эти установлены. Можно ли думать, что люди, не будучи одинаково богатыми или могущественными^а, сочтут себя одинаково счастливыми? Нет ничего труднее, чем убедить их в этом при теперешней системе воспитания. Почему? Потому, что с детства в их памяти представление о счастье ассоциируется с представлением о богатстве. Почти во всех странах эта идея тем сильнее должна запечатлеться в их памяти, что обычно они лишь путем чрезмерного труда могут здесь удовлетворить свои важнейшие и повседневные потребности.

Имело ли бы место то же самое в стране, управляемой хорошими законами?

Дикарь питает полное презрение к деньгам и к званиям — это значит, что у него представление о большом богатстве не связано необходимым образом с представлением о большом счастье. Значит, об этих вещах можно составить себе различные и раздельные идеи; следовательно, можно доказать людям, что в чередовании мгновений, из которых состоит их жизнь, все были бы одинаково счастливы, если бы благодаря форме правления они

^а Если у меня создалось много потребностей, то напрасно старались бы убедить меня, что для моего счастья достаточно небольшого состояния. Если с молодости в моей памяти представление о богатстве соединялось с представлением о счастье, то каким образом отделить их друг от друга в зрелом возрасте? Неужели еще не известно, какое влияние оказывает на нас ассоциация определенных идей?

Если вследствие формы правления я должен всего бояться со стороны вельмож, то я буду уже машинально проявлять почтение ко всякой знати, даже к иностранному вельможе, который ничего для меня не может сделать. Если в моей памяти идея добродетели ассоциировалась с идеей счастья, то я буду почитать добродетель даже тогда, когда она станет предметом преследования. Я знаю, что в конце концов связь между обоими этими идеями распадется, но на это требуется время, и даже долгое время. Для этого необходимо, чтобы повторные опыты доказали мне сотни раз, что добродетель не доставляет в действительности ни одной из тех выгод, каких я ожидал от нее. Только глубоко продумав это, можно получить решение многих нравственных проблем, неразрешимых, если не знать об ассоциации наших идей.

могли бы соединить с известной степенью зажиточности обладание своей собственностью, своей жизнью и своей свободой. Только отсутствие хороших законов разжигает повсюду стремление к большим богатствам.

ГЛАВА V

О ЧРЕЗМЕРНОМ ЖЕЛАНИИ БОГАТСТВА

Я не стану разбирать в этой главе вопросы, является ли страсть к деньгам источником деятельности большего числа наций, и не является ли она в современных странах неизбежным злом. Я буду рассматривать ее лишь в связи с ее влиянием на счастье отдельных индивидов.

По этому поводу можно заметить, что существуют страны, где стремление к большим богатствам становится разумным. Это страны, где налогами облагают по произволу и поэтому собственность не гарантирована; где от богатств часто ничего не остается; где, как на Востоке, государь может безнаказанно завладеть собственностью своих подданных.

Если в подобной стране желают иметь сокровища Амбулесана, то это потому, что, постоянно рискуя потерять их, надеются по крайней мере извлечь из остатков большого состояния то, чем прокормить себя и свою семью. Повсюду, где бессильный закон неспособен защитить слабого от сильного, богатство рассматривается как средство избавиться от несправедливости, от издевательств могущественного человека, наконец, от презрения, этого спутника слабости.

Таким образом, к большому состоянию стремятся, видя в нем щит, защищающий от угнетателей.

Но при таком правительстве, при котором люди были бы уверены в обладании своей собственностью, своей жизнью и своей свободой, где народ жил бы в известном довольстве, единственным человеком, который имел бы разумное основание желать больших богатств, был бы праздный богач. Только он — будь такие люди в подобной стране — мог бы считать их необходимыми для своего счастья; его потребности — это прихоти фантазии^а, для

^а Существуют страны, где пышность и прихоти фантазии свойственны не только вельможам, но и финансистам. Нет ничего смешнее, чем то, что последние называют у себя роскошью из приличия (*Luxe de décence*). Впрочем, не эта роскошь его разоряет. Достаточно раскрыть его счетоводную книгу, чтобы убедиться, что наиболее велики не расходы на содержание дома, а

прихотей нет границ. Желать удовлетворить их — все равно что желать наполнить бочку Дананд.

Повсюду, где граждане не принимают участия в управлении, где угасло всякое соревнование, человек, не испытывающий нужды, не имеет никаких мотивов к тому, чтобы учиться и получить образование. Душа его лишена идей, он томится от скуки; он хотел бы избавиться от нее, но не может. Не имея собственных внутренних ресурсов, он ждет своего счастья извне. Слишком ленивый, чтобы идти навстречу удовольствию, он желал бы, чтобы удовольствие шло навстречу ему. Но удовольствие часто заставляет себя ждать, поэтому богач часто не может не быть несчастным.

Допустим, что мое счастье зависит от других. Я пассивен в своих развлечениях и не могу сам избавиться от скуки. Каким же образом освободиться от нее? В этом случае мне мало пышного стола, мне нужны еще лошади, собаки, экипажи, концерты, музыканты, живописцы, великолепные зрелища. Никаких сокровищ не хватит для моих расходов.

Для счастья занятого человека достаточно небольшого состояния². Для счастья ничего не делающего человека недостаточно и величайшего состояния. Чтобы развлечь праздного богача, надо разорить сотни деревень. У величайших государей не хватит богатств и должностей, чтобы удовлетворить жадность какой-нибудь женщины, какого-нибудь царедворца или прелата. Не бедняк, а праздный богач особенно остро чувствует потребность в больших богатствах. Поэтому сколько разорено и обременено налогами народов! Сколько граждан лишено самого необходимого только для того, чтобы покрыть расходы нескольких скукающих людей! Богатство усыпило в человеке способности мыслить, он предается лени. Двигаться ему больно, и в то же время ему скучно, если он не двигается. Он хотел бы, чтобы его расшевелили, не давая себе труда шевелиться самому. Сколько нужно богатств, чтобы добиться такой странной подвижности!

О бедняки, без сомнения, не вы одни несчастны. Чтобы облегчить свои бедствия, взгляните на этого праздного богача, который, оставаясь пассивным почти во всех своих развлечениях, способен избавиться от скуки лишь

расходы на прихоти фантазии, драгоценности и т. д. и что его потребности в этом роде безграничны, как и его страсть к богатствам.

при помощи ощущений, слишком сильных, чтобы быть частыми.

Меня могут заподозрить, что я преувеличиваю здесь несчастную участь праздного богача. Разберем же подробно, что делает большинство вельмож и богачей, чтобы избежать скуки. Тогда можно будет убедиться, что это болезнь во всяком случае столь же обычная, как и жестокая.

ГЛАВА VI

О СКУКЕ

Скука — болезнь души. Каков ее источник? Отсутствие ощущений достаточно сильных для того, чтобы занять нас ^а.

Скромное состояние заставило нас трудиться; мы усвоили привычку к труду, мы добиваемся славы в области искусств и наук, тогда нам не угрожает скука.

Ее жертвой является обыкновенно лишь праздный богач.

ГЛАВА VII

О СРЕДСТВАХ, ПРИДУМАННЫХ ПРАЗДНЫМИ ЛЮДЬМИ, ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СКУКИ

От скуки во Франции, например, изобрели множество общественных обязанностей, неизвестных другим нациям. Женщина вышла замуж и родила. Об этом узнает бездельник; он обязывает себя к стольким-то визитам: ежедневно он подъезжает к дому роженицы, разговаривает с швейцаром, затем садится обратно в свою карету и отправляется скучать дальше.

Кроме того, этот же праздный человек обязан рассылать ежедневно столько-то записок и столько-то поздравительных писем, которые читают затем с таким же отращением, с каким их писали.

Праздный человек желал бы каждую минуту испытывать сильные ощущения: они одни могут избавить его от скуки. В случае отсутствия их он обращается к тем ощущениям, какие ему доступны. Я один, я зажигаю свет: при свете веселее. Чтобы испытать непрерывно новые ощущения, турок и перс постоянно жуют: один — свой опиум, другой — свой бетель ^{1*}.

^а Слабые ощущения не избавляют нас от скуки. Сюда я причисляю и привычные ощущения. Я просыпаюсь на заре; на мои чувства действуют лучи света, отражающиеся от всех окружающих меня предметов; я слышу пение петуха, журчание ручья,

Когда дикарь скучает, он садится у ручья и устремляет взоры на его течение. Во Франции богатый по той же причине дорого платит за место на набережной Театинцев: он смотрит на проплывающие лодки, он испытывает время от времени некоторые ощущения. Праздный человек ежегодно платит скуке дань в 3 или 4 тысячи ливров — сумма, которую занятой трудом человек мог бы подарить бедняку. И если от скуки страдают так часто и так сильно вельможи и богачи, то нет сомнения, что она оказывает большое влияние на нравы народов.

ГЛАВА VIII

О ВЛИЯНИИ СКУКИ НА НРАВЫ НАРОДОВ

Чем может заниматься праздный богатый в государстве, где богатые и вельможи не принимают участия в управлении государственными делами, где, как в Португалии, суеверие запрещает им мыслить? Любовью. Только заботы о любовнице могут заполнить ярким образом промежутки, отделяющий удовлетворенную потребность от вновь возникающей. Но что требуется для того, чтобы заботы, связанные с любовницей, стали занятием? Для этого нужно, чтобы любовь была окружена опасностями, чтобы бдительная ревность постоянно противилась желанию любовника, чтобы поэтому последний постоянно был занят вопросом о том, каким способом ее обмануть^а.

Таким образом, любовь и ревность являются в Португалии^б единственным средством против скуки. Но какое

блеяние стада, но я скучаю. Почему? Потому, что слишком привычные ощущения не производят на меня сильного впечатления.

^а В Спарте законодательным путем хотели добиться в этом отношении тех же результатов, к каким приводит ревность в Португалии. Ликург постановил, чтобы мужья жили отдельно от жен и встречались с ними лишь тайком, в укромных местах и лесах. Он понимал, что трудность встречи усиливает их любовь, упрочивает узы брака и придает обоим супругам активность, избавляющую их от скуки.

^б Нет более яростной, более жестокой и в то же время более развратной ревности, чем ревность женщины Востока. Я приведу в этой связи в переводе отрывок из одного персидского поэта. Какая-то султанша приказывает раздеть перед собой молодого раба, которого она любит и считает ей неверным. Он простер у ее ног, она набрасывается на него.

«Против твоего желания, — говорит она ему, — я наслаждаюсь еще твоей красотой, но все же я наслаждаюсь ею. Глаза твои уже увлажнились слезами наслаждений, твои уста полуоткрыты, ты умираешь. Неужто в последний раз я прижимаю тебя

влияние подобные средства должны оказывать на нравы папши? Так, в Италии скука изобрела чичисбеев.

Несомненно, скука некогда была причастна возникновению рыцарства. Древние храбрые рыцари не занимались ни науками, ни искусствами. Мода не позволяла им учиться, а происхождение — заниматься торговлей. Чем же мог тогда заниматься рыцарь? Любовью. Но если бы в тот момент, когда он признался в своей страсти своей возлюбленной, она — как это водится теперь, — разделяя его чувства, приняла бы его предложение, то они поженились бы, народили бы детей, и этим бы все кончилось. Ведь иметь ребенка — дело нетрудное. Супруг и супруга скучали бы часть своей жизни.

Поэтому, чтобы сохранить свои желания во всей их силе, чтобы занять свою молодость и удалить от нее скуку, рыцарь и его дама должны были войти в молчаливое и ненарушимое соглашение — обязаться один нападать, а другая обороняться столько-то времени. Любовь благодаря этому становилась занятием. И она была действительно занятием для рыцарей.

Влюбленный рыцарь должен был постоянно проявлять свою деятельность около своей дамы; чтобы завоевать ее, он должен был быть страстным в своих объяснениях, мужественным в битвах, он должен был выступать на турнирах в хорошем снаряжении и вооружении и обнаруживать там умение ловко и сильно владеть копьем. Рыцарь проводил свою молодость в этих упражнениях, убивал время в этих занятиях; под конец он женился, и после церковного благословения романист о нем больше уже не говорил.

к своей груди? Избыток опьянения уже уничтожил в моей памяти твою неверность. Я вся — чувственность. Все способности моей души покидают меня и тонут в наслаждении, я — само наслаждение.

Но какая мысль следует за этой восхитительной мечтой? Что тебя будет ласкать моя соперница! Нет, это тело попадет в ее объятия только обезображенным. Кто может меня удержать? Ты наг и беззащитен. Обезоружит ли меня твоя красота? Я еще краснею от сладострастия, рассматривая округлости этого тела... Но моя ярость разгорается вновь. Я охвачена уже не любовью, не наслаждением. Мщенье и ревность растерзают тебя бичами. Страх удалит тебя от моей соперницы и вернет тебя ко мне. Обладать тобой такой ценой, разумеется, нелегко ни для тщеславия, ни для любви; неважно, это будет лестно для моей чувственности.

Моя соперница умрет вдали от тебя, а я умру в твоих объятиях».

По-видимому, в старости прежние храбрые рыцари начинали, подобно некоторым из наших теперешних старых воинов, скучать и становились сами скучными, болтливыми и суеверными.

Требуется ли для нашего счастья, чтобы наши желания исполнялись тотчас же, как мы их почувствуем? Нет, за наслаждением требуется некоторое время гоняться. Если с утра наслаждаться ласками красивой женщины, то что делать остальную часть дня? Все тогда будет окрашено в цвета скуки. Если же я могу увидеть ее лишь вечером, то луч надежды и удовольствий окрасит в розовый цвет все мгновения моего дня. Молодой человек требует для себя гарема. Но как только он получит его, вскоре, истощенный наслаждением, он станет томиться от безделья и скуки.

Пойми, сказал бы я ему, всю нелепость своего желания. Посмотри на этих вельмож, государей, этих чрезвычайно богатых людей. Они обладают всем тем, чему ты завидуешь. Но есть ли смертные более скучающие, чем они? Они наслаждаются всем равнодушно, потому что они наслаждаются, не испытывая потребности.

Насколько различно наслаждение, испытываемое в лесу двумя людьми, из которых один охотится для забавы, а другой — для пропитания себя и своей семьи. Последний возвращается в свою хижину с дичью, его жена и дети бегут ему навстречу. На их лицах радость, он наслаждается всей той радостью, которую он им доставляет.

Потребность есть источник деятельности и счастья людей. Чтобы быть счастливым, нужно иметь желания и удовлетворять их с некоторым усилием, но, когда это усилие сделано, можно быть уверенным в наслаждении.

ГЛАВА IX

О ТОМ, ЧТО УДОВОЛЬСТВИЕ ПРИОБРЕТАЕТСЯ С БОЛЬШИМ ИЛИ МЕНЬШИМ ТРУДОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ СТРАНЫ И ОТ ЗАНИМАЕМОГО ПОСТА

В виде примера я возьму опять-таки наслаждение, доставляемое женщиной. В Англии любовь вовсе не есть занятие, но только удовольствие. Вельможа или богач, занятые в верхней или нижней палате общественными делами либо у себя дома своими торговыми делами, от-

носятся к любви легко. Покончив со своей корреспонденцией и с делами, он отправляется к молодой девушке, чтобы наслаждаться ею, а не вздыхать. Какую роль в Лондоне могли бы играть чичисбеи? Почти столь же малую, как в Спарте или в Древнем Риме.

Даже во Франции, если министр имеет любовниц, то это находят вполне приличным. Но если он станет терять свое время около них, то над ним будут издеваться. Во Франции допустимо, чтобы он наслаждался женщинами, но не допустимо, чтобы он вздыхал. Поэтому дам просят относиться снисходительнее к печальному положению министра и быть по отношению к нему менее неуступчивыми.

Может быть, их вовсе не приходится упрекать в этом отношении. В них достаточно патриотизма, чтобы избавить его даже от скуки признания в любви; они понимают, что они должны всегда соразмерять свое сопротивление со степенью праздности любовника.

ГЛАВА X

КАКАЯ ЛЮБОВНИЦА ГОДИТСЯ ДЛЯ ПРАЗДНОГО ЧЕЛОВЕКА?

Теперь мало придают значения платонической любви; ей предпочитают любовь физическую, которая в действительности не менее сильна. Когда олень испытывает физическую любовь, то забывает свою робость и становится смелым. Верный пес покидает своего хозяина и бежит за разгоряченной сукой. Разлучите его с ней — он перестанет есть; все его тело дрожит, он издает протяжный вой. Можно ли достигнуть большего в платонической любви? Нет, поэтому я предпочитаю физическую любовь. В пользу последней высказался и Бюффон, и я думаю, подобно ему, что из всех видов любви это — наиболее приятная. Впрочем, исключение нужно сделать для праздных людей. Для этих последних кокетка — самая прелестная любовница. Она появляется в обществе, одетая самым легкомысленным образом, — это позволяет всем надеяться на то, что она разрешает лишь очень немногим. Тут праздный человек просыпается, его ревность пробуждается, он освобождается от скуки^а. Праздным людям

^а Самая сильная страсть кокетки — это быть предметом обожания. Как достигнуть этого? Всегда возбуждать желания муж-

нужны поэтому кокетки, для занятых же людей подходят просто красивые девушки.

Добиваться расположения женщины, как и охотиться за дичью, приходится различно в зависимости от того, сколько времени желают на это потратить. Когда для охоты можно уделить лишь час или два — отправляешься без собак. Не знаешь, что делать со своим временем, и желаешь затянуть прогулку — тогда берешь с собой гончих, чтобы затравить ими дичь. Ловкая женщина составляет праздного человека долго бегать за собою.

В Канаде роман дикаря короток. У него нет времени заниматься любовью: он должен ловить рыбу и охотиться. И вот он предлагает своей возлюбленной спичку: если она задула ее — он добился своего счастья. Попробуйте изобразить любовные похождения Мария и Цезаря, когда у них головы были заняты Суллой и Помпеем: либо такой роман был бы неправдоподобен, либо, как у дикаря, он был бы очень короток. Цезарю пришлось бы здесь повторять свое: пришел, увидел, победил.

Если наоборот, вы станете изображать сельскую любовь праздных пастушков, то для них придется подобрать разборчивых, жестоких и особенно очень стыдливых возлюбленных. Без подобных возлюбленных Селадон^{1*} умер бы от скуки.

ГЛАВА XI

О РАЗЛИЧИИ РОМАНОВ И ЛЮБВИ У ПРАЗДНОГО И ЗАНЯТОГО ЧЕЛОВЕКА

В различные эпохи приходилось добиваться успеха у женщин различными способами, этим объясняется такое множество различных описаний любви. Между тем сюжет их всегда один и тот же: соединение мужчины с женщиной.

Роман закончен, когда романист уложил их в одну постель.

Если этого рода произведения отличаются друг от друга, то лишь различными способами, которые применяет герой, чтобы уговорить свою возлюбленную благо-

чин и почти никогда не удовлетворять их. Женщина, говорит поговорка, — это *хорошо накрытый стол, на который смотришь по-разному до обеда и после него.*

склонно встретить эту фразу, выраженную несколько по-дикарски: я хочу спать с тобою^а.

Тон романов изменяется в зависимости от эпохи и формы правления, в условиях которой их пишут романисты, и от степени праздности их героев. У занятого народа любви придают мало значения. Любовь здесь непостоянна и столь же непродолжительна, как цветение роз. Пока любовник находится в стадии первого ухаживания и первых благосклонностей, это — розовый бутон. При первых наслаждениях бутон распускается и раскрывает родившуюся розу. При дальнейших наслаждениях последняя окончательно распускается. Когда роза достигла всей своей красоты, она начинает увядать. Ее лепестки опадают. Роза умирает, чтобы снова расцвести в следующем году, а любовь — чтобы возродиться с новой возлюбленной.

У праздного народа любовь становится делом, она более постоянна.

Какого только влияния не оказывает на нравы скука и праздность. По словам Ларошфуко, среди светских людей не встречается счастливых браков — это потому, что во Франции богатая женщина не знает, как проводить свое время. Скука преследует ее. Желая избавиться от нее, она берет любовника, входит в долги. Муж сердится, но его не слушают. Оба супруга озлобляются и начинают ненавидеть друг друга, потому что они праздны, скучают и несчастны³. Иное дело — жена земледельца. Здесь супруги любят друг друга, потому что оба они заняты и полезны друг другу: жена трудится на птичьем дворе, кормит грудью детей, в то время как муж обрабатывает землю.

Праздность часто мать пороков, но всегда она порождает скуку; а средства от скуки люди ищут повсюду, даже в религии.

ГЛАВА XII

О РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБРЯДАХ КАК СРЕДСТВАХ ОТ СКУКИ

Кто бы мог, говорит один ученый англичанин, в Индии, где земля даже без обработки с избытком удовлетворяет потребности ленивого народа, избавить последний

^а Герои комедии или трагедии влюблены, у того и у другого возлюбленная. Оба делают ей одно и то же предложение и отличаются друг от друга лишь способом его выражения.

от скуки, если бы не религия и ее бесчисленные обязанности? Сохранение чистоты души здесь связано с таким множеством суеверных обрядов и обычаев, что нет индуса — как бы внимательно ни относился он к своим обязанностям, — который не совершал бы каждую минуту различные прегрешения. Они неминуемо вызывают гнев богов, пока жрецы, получив приношения от грешника, не успокоятся и не удовлетворятся.

Поэтому жизнь индуса есть лишь непрерывное очищение, омовение и покаяние.

У нас в Европе женщины, достигая определенного возраста, расстаются с румянами, любовниками, театральными зрелищами. Они впадают тогда в невыносимую скуку. Как избавиться от нее? Они стараются прежние занятия заменить новым, становятся набожными, создают для себя благочестивые обязанности. Они посещают ежедневно обедню, вечерню, проповедь, навещают духовника, зажимаются умерщвлением плоти. Люди предпочитают даже умерщвлять плоть, чем скучать. Но в каком возрасте происходит это превращение? Обыкновенно в 45 или 50 лет. Для женщины это пора появления дьявола. Старые предрассудки оживают тогда в их памяти.

Предрассудки похожи на клеймо палача: отпечаток некоторое время невидим, но как духовник, так и палач умеют выявить его по своему желанию. Но если средства избавиться от скуки ищут даже в ребяческой набожности, то, очевидно, болезнь эта должна быть очень распространеной и жестокой. Как бороться с ней? Для этого нет никакого действенного средства, приходится довольствоваться здесь паллиативами. Самыми сильными средствами в этом отношении являются изящные искусства; несомненно, что их совершенствовали в связи с интересом томящихся от скуки людей.

Мы говорили, что общий отец всех открытий — это случай. Но после случая творцами полезных искусств можно считать физические потребности. Аналогичным образом творцом изящных искусств можно считать потребность в развлечениях.

Цель изящных искусств — вызывать в нас ощущения, избавляющие нас от скуки; но, чем эти ощущения сильнее и отчетливее, тем они действеннее.

Задача искусства волновать сердца: различные правила поэтики или литературы представляют собою различные способы добиться этого результата.

Волновать сердца — таков принцип, а правила словесной формы являются лишь развитием или следствиями его. Я позволю себе указать на плодотворность этих идей, ибо риторы не поняли всего ее значения.

Исследуемая мною проблема дает мне право заняться ее рассмотрением. Выяснить глубже природу скуки можно, лишь узнав средства, употребляемые против нее.

ГЛАВА XIII

ОБ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВАХ И О ТОМ, ЧТО В ЭТОЙ ОБЛАСТИ НАЗЫВАЮТ ПРЕКРАСНЫМ

Цель искусств, как я уже сказал, нравиться и, следовательно, вызывать в нас ощущения, которые, не будучи болезненными, были бы сильными и яркими. Если произведение искусства производит на нас такое впечатление, то мы ему рукоплещем^a.

Прекрасное есть то, что сильно действует на нас. А под выражением *познание прекрасного* понимают познание средств, способных вызвать в нас ощущения тем более приятные, чем они новее и отчетливее.

К способам добиться этого результата и сводятся все различные правила поэтики и литературы.

Мы требуем нового от произведений художника, потому что новое вызывает ощущение удивления, вызывает сильную эмоцию. Мы требуем, чтобы он мыслил самостоятельно; мы презираем автора, который делает книги по другим книгам. Подобные произведения вызывают в па-

^a Чем ярче приятное ощущение, тем прекраснее считается предмет, вызывающий его в нас. Наоборот, чем сильнее неприятное ощущение, тем более безобразным или уродливым считается вызвавший его в нас предмет. Если мы судим на основании своих ощущений, т. е. следуя самим себе, то эти суждения всегда правильны. Если мы судим на основании предрассудков, т. е. следуем другим мнениям, то наши суждения всегда ложны. Таковы наиболее обычные суждения.

Я раскрываю новую книгу. Она производит на меня более приятное впечатление, чем какое-нибудь старое произведение; последнее я читаю даже с отвращением. И все же я стану предпочтительнее хвалить старую книгу. Почему? Потому, что люди и людские поколения — это как бы эхо друг для друга, потому, что, веря на слово, мы относимся с почтением даже к наводящей на нас скуку книге.

Кроме того, восхищаться нашим современником нам мешает зависть, а зависть диктует почти все наши суждения. Для того чтобы унизить живых, сколько похвал расточается мертвым!

мнѣ лишь идеи, слишкомъ известные, чтобы произвести на насъ сильное впечатлѣніе^а.

Что заставляетъ насъ требовать отъ романистовъ и отъ авторовъ трагедій особенныхъ характеровъ и новыхъ ситуаций? Желаніе быть взволнованнымъ. Такие ситуации и такие характеры нужны для того, чтобы вызвать въ насъ яркіе ощущенія.

Привычка къ какому-нибудь впечатлѣнію притупляетъ его яркость. Я холодно смотрю на то, что я всегда виделъ, и одна и та же красота въ концѣ концовъ для меня перестаетъ быть красотой.

Я такъ часто виделъ солнце, это море, этотъ пейзажъ, эту красавицу, что для того, чтобы вызвать во мнѣ снова вниманіе и восхищеніе этими предметами, солнце должно окрасить небо въ краски, болѣе яркіе, чѣмъ обыкновенно, море должно быть изборозженнымъ ураганами, этотъ пейзажъ долженъ быть освѣщенъ особымъ светомъ и сама красота должна представиться мнѣ въ новомъ видѣ.

Если одно и то же ощущеніе долго длится, то мы подъ конецъ становимся нечувствительными къ нему. Этимъ объясняется непостоянство и страсть къ новизнѣ, которые общи всемъ людямъ, ибо все желаютъ испытывать яркіе и сильныя эмоціи.

Если все предметы дѣйствуютъ сильно на молодежь, то это потому, что все они новы для нее. У молодежи меньше вкуса по отношенію къ книгамъ, чѣмъ у людей зрелаго возраста, — это потому, что зрелый возрастъ менѣе чувствителенъ, а верность вкуса предполагаетъ, можетъ быть, что человекъ не такъ легко поддается волненію. Между тѣмъ люди желаютъ этого волненія. Недостаточно, чтобы новымъ было построеніе сочиненія; желательно, если возможно, чтобы новыми были и все его подробности. Читатель хотѣлъ бы, чтобы каждый стихъ, каждая строчка, каждое слово вызывали въ немъ какое-либо ощущеніе. Недаромъ Буало говоритъ въ одномъ изъ своихъ посланій: если мои стихи нравятся, то не потому, что все они одинаково правильны, изящны, гармоничны:

Но хорошо иль дурно, стихъ мой всегда о чемъ-то говоритъ.

Дѣйствительно, стихи этого поэта всегда содержатъ какую-нибудь мысль или какой-нибудь образъ и поэтому по-

^а Особенно презираютъ не то произведеніе, которое полно недостатковъ, но произведеніе, лишенное красоты: оно падаетъ изъ рукъ читателя, ибо не вызываетъ въ немъ яркихъ ощущеній.

чти всегда вызывают в нас какое-нибудь ощущение. Чем оно ярче, тем прекраснее стих ^а.

Он становится возвышенным, когда производит на нас предельно сильное впечатление.

Следовательно, прекрасное отличается от возвышенного большей или меньшей силой впечатления.

ГЛАВА XIV О ВОЗВЫШЕННОМ

Единственный способ составить себе представление о возвышенном — это вспомнить отрывки, приводимые в качестве примеров возвышенного такими авторами, как Лонгин, Деппео и большинство риторов.

То, что есть общего во впечатлении, производимом на нас этими различными отрывками, и составляет возвышенное.

Чтобы лучше узнать природу возвышенного, я буду различать два рода его — возвышенное в образах и возвышенное в чувстве.

О возвышенном в образах

Какого рода ощущения называют возвышенными?

Самые сильные, если только, как я уже сказал, они не доведены до предела страдания.

Какое чувство вызывает в нас эти возвышенные ощущения?

Чувство страха: страх — дитя страдания и вызывает в нас мысль о нем.

Почему эта мысль производит на нас наиболее сильное впечатление? Потому, что избыток страдания вызывает в нас более сильное чувство, чем избыток удовольствия; потому, что нет такого удовольствия, сила которого была бы сравнима с силой страданий, испытанных, скажем, во время пытки Равальяком или Дамьеном ^{1*}. Из всех страстей страх — самая сильная. Поэтому возвышенное всегда есть действие чувства начинающегося страха.

^а Чем сильнее мы взволнованы, тем мы счастливее, если только эмоция не болезненна. Но кто испытывает больше всего подобных ощущений? Может быть, писатели или художники? Может быть, в мастерских художников и следует искать счастливых?

Но согласуются ли факты с этой точкой зрения? Чтобы убедиться в этом, исследуем, какие из различных предметов природы кажутся нам возвышенными. Небесная высь, необъятный простор морей, извержение вулканов и т. д.

Что порождает сильное впечатление, вызываемое в нас этими грандиозными предметами? Грандиозные силы природы, о которых они свидетельствуют, и невольное сравнение нами этих сил с собственной слабостью. При виде их нас охватывает почтение, предполагающее в нас всегда чувство начинающейся боязни и страха.

Действительно, почему я называю возвышенной картину, в которой Жюль Ромэн изображает битву гигантов, и не называю возвышенной картину, в которой Альбани изображает игры амуров? Разве легче нарисовать грацию, чем гиганта, и покрыть красками картину туалета Венеры, чем картины поля битвы титанов? Нет, но, когда Альбани показывает мне туалет богини, ничто не вызывает здесь чувства почтения и страха. Я вижу здесь лишь изящные предметы и называю поэтому производимое ими на меня впечатление приятным.

Иное дело, когда Жюль Ромэн переносит меня в те места, где сыновья земли громоздят Оссу на Пелион. Пораженный величием этого зрелища, я невольно сравниваю свою силу с силой этих гигантов. Убедившись тогда в своей слабости, я испытываю какой-то тайный страх и называю возвышенным впечатление страха, вызванное во мне этой картиной.

Каким образом Эсхил и его декоратор произвели такое сильное впечатление на греков трагедией «Эвмениды»? Представив им грозное зрелище и наводящие страх декорации. Это впечатление было, видимо, ужасным для некоторых лиц, ибо оно было доведено до степени страдания. Но, будучи смягчено, это же впечатление было бы всеми признано возвышенным.

Таким образом, в области образов возвышенное предполагает всегда *чувство начинающегося страха*^а и не может быть следствием никакого другого чувства^б.

^а Какого рода сказки особенно охотно слушают и мужчины, и женщины, и дети? Сказки о ворах и привидениях. Эти сказки пугают их, они вызывают в них чувство начинающегося страха, а это чувство и производит на них самое сильное впечатление.

^б Если дикари, как правило, делают больше приношений

Когда бог сказал: *да будет свет, и был свет*, — это образ возвышенный. Что может сравниться с картиной Вселенной, вдруг извлеченной светом из небытия? Но разве такой образ должен был бы внушать страх? Да, ибо он неизбежно ассоциируется в нашей памяти с мыслью о существе, сотворившем такое чудо: невольно охваченные тогда боязливым почтением к создателю света, мы испытываем чувство начинающегося страха.

На всех ли людей действует одинаковым образом этот величественный образ? Нет, ибо не все представляют его себе одинаково ярко. Попробуем идти от известного к неизвестному, чтобы понять все величие этого образа: представим себе картину глубокой ночи, мрак, который усиливается громаздящимися тучами, когда зажженная бурей молния разрывает облака и при беглом свете вспышек молнии мы видим, как ежеминутно исчезают и снова появляются моря, суда, равнины, леса, горы, пейзаж и весь мир.

Нет человека, на которого не подействовало бы это зрелище. Какое же впечатление должен был бы испытывать тот, кто, не имея еще никакой идеи света, увидел бы в первый раз, как он придает форму и окраску Вселенной! ^a Какое он должен был бы испытывать восхищение светилom, пропозводящим эти чудеса, и какое боязливое почтение к существу, создавшему его!

Следовательно, только величественные образы, предполагающие грандиозные силы в природе, суть возвышенные образы. Только они одни внушают нам чувство почтения и, следовательно, чувство начинающегося страха.

злым богам, чем *добрым*, то это потому, что человек больше боится страданий, чем любит удовольствия.

^a Как ни красив этот образ сам по себе, я согласен с Депрео, что частью своей красоты он обязан сжатой форме своего выражения. Чем лаконичнее его выражение, тем больше удивления вызывает в нас образ. *И сказал бог: да будет свет, и был свет*. Весь смысл фразы раскрывается в этом слове *был*. Произнесение его, почти столь же быстрое, как действие света, дает в одно мгновение наиболее величавую картину, какую только может представить себе человек.

Попробуем, говорит по этому поводу Депрео, растворить этот образ в более длительной фразе, вроде, например: «Верховный властелин всех вещей повелевает свету образоваться, и в тот же момент это чудесное творение, называемое светом, образуется». Ясно, что этот величественный образ не произвел бы на нас того же самого впечатления. Почему? Потому, что краткость выражения, вызывая в нас внезапное и непредвиденное ощущение, усиливает впечатление от этой самой изумительной из картин.

Таковы образы Гомера, когда, желая дать величественную идею о могуществе богов, он говорит:

Сколько пространства воздушного муж обымает очами,
Сидя на холме подзорном и смóтря на мрачное море,
Столько прядают разом богов гордовыи кони.

Таков и другой образ того же самого поэта:

В ужас пришел под Землею Аид, пренсподних владыка;
В ужасе с трона он прынул и громко вскричал, да над ним бы
Лона земли не разверз Посидон, потрясающий землю,
И жилищ бы его не открыл и бессмертным и смертным,
Мрачных, ужасных, которых трепещут и самые боги.

Мы равным образом называем возвышенными гордые творения смелого Мильтона, потому что его всегда грандиозные образы вызывают в нас то же самое чувство.

В физическом мире величественное свидетельствует о великих силах, а великие силы вызывают в нас почтение. Вот что в этой области образует возвышенное.

О возвышенном в чувстве

«Я» Медеи; восклицание Аякса; «пусть он умрет» Корнеля; клятву семи вождей у Фив ^{2*} — все это риторы единодушно цитируют как образцы возвышенного. Отсюда я делаю вывод, что если по отношению к физической природе мы называем возвышенными грандиозность и силу образов, то в духовном мире мы аналогичным образом называем возвышенными величие и силу характеров. Не Тирсис ^{3*} у ног своей возлюбленной, но Сдевола, держащий руку на горящих углях, внушает мне почтение, всегда смешанное с некоторым страхом. Всякое величие характера всегда вызывает чувство страха.

Когда Нерина говорит Медее:

Ваш народ вас ненавидит, мужу верить нельзя.
Против стольких врагов защитит вас кто? — «Я».

Это «Я» поразительно. Оно предполагает со стороны Медеи такую уверенность в силе своего искусства и особенно своего характера, что пораженного ее смелостью зрителя охватывает известное чувство уважения и страха.

Такое же действие производит уверенность Аякса в своей силе и в своем мужестве, когда он восклицает:

Великий боже, верни нам свет и сражайся против нас
при свете неба.

Такая самоуверенность импонирует самым бесстрашным людям.

Такое же впечатление производит на нас «пусть он умрет» старого Горация. Человек, любовь которого к чести и к Риму так велика, что он ставит ни во что жизнь любимого сына, страшен.

Приведем клятву семи вождей против Фив ^{4*}.

Семь полководцев, семь отважных воинов,
Зарезали быка, в чернокаемный щит
Спустили кровь и, руки ею вымарав,
Аресом, Энио и богом Ужасом
Разрушить город поклялись и Кадмову
Опустошить столицу или пасть самим.

Такая клятва свидетельствует о безжалостной мести со стороны этих вождей. Но если эта месть не должна обрушиться на зрителя, то чем объясняется его страх?

Ассоциацией известных идей.

Представление о страхе всегда ассоциируется в памяти с представлением о силе и могуществе. Оно соединяется с последней, подобно тому как мысль о следствии соединяется с мыслью о причине.

Если я любимец какого-нибудь короля или феодала, то к моей нежной почтительной дружбе всегда примешивается некоторая боязнь и в добре, которое они мне делают, я предвижу всегда зло, которое они могут мне причинить. Таким образом, чувство страдания, как я уже сказал, — наиболее сильное чувство; а мы называем возвышенным самое сильное впечатление, когда оно не слишком тягостно. Поэтому ощущение возвышенного, как доказывает опыт, должно всегда заключать в себе ощущение начинающегося страха.

Это обстоятельство отличает самым ясным образом возвышенное от прекрасного.

· О возвышенном в отвлеченных идеях

Существуют ли какие-нибудь философские идеи, которые риторы называли бы *возвышенными*? Таких идей нет. Почему? Потому, что в этой области самые общие и самые плодотворные идеи доступны пониманию лишь ничтожного числа лиц, способных быстро сделать из них все выводы. Подобные мысли могут, несомненно, вызвать в нас множество ощущений: они приводят в движение длинный ряд идей, которые, будучи немедленно схватываемы, по мере возникновения вызывают в нас сильные

впечатления, — но не того рода, который мы называем *возвышенным*.

Не существует геометрических аксиом, которые риторы называли бы возвышенными, потому что нельзя называть так идеи, недоступные невежественным людям и, следовательно, большинству людей.

Таким образом, очевидно:

1. Что прекрасное — то, что производит на большинство людей сильное впечатление.

2. Что возвышенное — то, что производит на нас еще более сильное впечатление, но к этому впечатлению всегда примешивается известное чувство почтения или начинающегося страха.

3. Что мерилом красоты какого-нибудь произведения служит более или менее сильное впечатление, производимое им на нас.

4. Что все правила поэтики, предложенные риторами, представляют лишь различные способы вызывать у людей приятные или сильные ощущения.

ГЛАВА XV

О РАЗНООБРАЗИИ И ПРОСТОТЕ. ТРЕБУЕМЫХ ВО ВСЕХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ, И ОСОБЕННО В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ

Почему мы требуем такого разнообразия от произведений изящных искусств? Потому, что, говорит Ламот, *«l'ennui naquit un jour de l'uniformité»* (из единообразия родилась однажды скука).

Однообразные ощущения перестают вскоре производить на нас сильное и приятное впечатление. Нет таких красивых предметов, созерцание которых в конце концов не утомило бы нас. Солнце прекрасно, однако маленькая девочка в «Оракуле»^{1*} восклицает: *«Я столько раз видела солнце!»* Красивая женщина представляет для молодого любовника предмет еще более прекрасный, чем солнце. Но сколько любовников восклицает в конце концов аналогичным образом: *«Я столько раз видел свою любовницу!»*^а

Боязнь скуки, потребность в приятных ощущениях непрерывно заставляет нас желать новых ощущений. По-

^а Несомненно, приятно, говорил президент Гено, придя на свидание, застать свою любовницу; но если это не новая любовница, то еще приятнее отправиться на свидание и не застать ее.

этому если от произведения искусства требуется и разнообразие подробностей, и простота его построения, то это потому, что его идеи от этого яснее, отчетливее и более способны произвести на нас сильное впечатление.

Идеи, которые мы с трудом охватываем, никогда не вызывают у нас сильных ощущений. Картина, перегруженная фигурами, слишком сложное построение книги производят на нас, если можно так выразиться, притупленное и слабое впечатление^а. Таково ощущение, испытываемое при виде тех готических храмов, которые архитектор перегрузил скульптурными изображениями. Рассеянный взор, утомленный множеством орнаментов, не может ни на чем остановиться, и это оставляет тягостное впечатление.

Слишком много ощущений сразу воспринимается как хаос, их обилие уничтожает их действие. При равной величине меня особенно поражает то здание, которое мой глаз легко охватывает в его целом, каждая часть которого производит на меня наиболее ясное и отчетливое впечатление. Поэтому благородная, простая и величественная архитектура греков всегда будет пользоваться предпочтением перед легкой, хаотической и непропорциональной готической архитектурой.

Применим к литературному произведению то, что я говорю об архитектуре. Легко понять, что произвести сильное действие эти произведения равным образом могут только в том случае, если соблюдается ясность в их развитии и если они все время выражают ясные и отчетливые идеи. Поэтому риторы всегда определенно рекомендовали соблюдать закон связи (*continuité*) в идеях, образах и чувствах.

^а План «Ираклия»^{2*} показался сначала слишком сложным светским людям: он требовал слишком много внимания с их стороны. Буало намекает на эту трагедию в следующих стихах своего «Поэтического искусства»:

Как скучен тот актер, что тянет свой рассказ
И только путает и отвлекает нас!
Он словно ощупью вокруг темы главной бродит
И непробудный сон на зрителя наводит!
Уж лучше бы сказал он сразу, без затей:
— Меня зовут Орест иль, например, Атрей, —
Чем нескончаемым бессмысленным рассказом
Нам уши утомлять и возмущать наш разум.

Идеи, образы, чувства — все в книге должно подготавливать одно другое и вести от одного к другому.

Фальшивый сам по себе образ не будет мне нравиться. Если художник нарисует на морской глади цветник из роз, то это сочетание двух не связанных в природе образов будет мне неприятно. Мое воображение не представляет себе, на чем держатся корни этих роз; я не понимаю, какая сила поддерживает их стебель.

Но и правдивый сам по себе образ мне тоже не нравится, когда он не на месте, когда ничего не подводит к нему и не подготавливает его восприятие. Часто забывают, что в хороших произведениях почти всякая красота связана с условиями места. Возьмем для примера быстрое чередование различных правдивых картин. Вообще подобная смена приятна, ибо она вызывает в нас сильные ощущения. Однако, чтобы произвести этот эффект, она должна быть, кроме того, умело подготовленной.

Мне приятно перейти с Исидой или короной Ио из жаркого климата тропиков в ледяные пещеры и скалы, освещенные косыми лучами солнца. Но контраст этих образов не произвел бы на меня сильного впечатления, если бы поэт не поведал мне все о могуществе и ревности Юноны, не подготовил меня к этим внезапным переменам картины.

Сказанное мною об образах можно применить и к чувствам. Для того чтобы они производили на сцене сильное впечатление, нужно, чтобы к ним нас искусно подвели и подготовили; чувство, которым я надеюсь какой-нибудь персонаж, должно абсолютно подходить именно к тому положению, в какое я его ставлю, именно к той страсти, которой я одушевляю его ⁴.

Если нет точного соответствия между этим положением и чувствами моего героя, то чувства эти становятся ложными, и зритель, не находя в себе оснований для них, испытывает ощущение тем менее сильное, чем оно более хаотично.

Перейдем от чувств к идеям. Предположим, я могу поделиться с обществом какой-нибудь новой истиной. Так как эта истина почти всегда недоступна среднему человеку, ее видит сперва лишь ничтожное меньшинство людей. Если я желаю, чтобы она произвела впечатление на

всех, то я должен сначала подготовить умы к восприятию этой истины; я должен постепенно подвести их к ней и, наконец, показать ее им точно и отчетливо. Для этого недостаточно вывести названную истину из какого-нибудь простого факта или принципа. К ясности идеи следует присоединить ясность выражения.

Именно этого рода ясность имеют в виду почти все правила стиля.

ГЛАВА XVII О ЯСНОСТИ СТИЛЯ

Недостаточно иметь ясные и истинные идеи. Чтобы сообщить их другим, надо еще уметь выражать их ясно. Слова суть знаки, представляющие наши идеи. Последние неясны, когда неясны эти знаки, т. е. когда значение слов не определено самым точным образом.

Вообще все то, что называют удачными оборотами и выражениями, суть лишь обороты и выражения, наиболее пригодные для ясного выражения наших мыслей. Поэтому почти все правила стиля сводятся к ясности.

Почему во всякой книге двусмысленность выражения считается главным недостатком? Потому, что двусмысленность слова распространяется на идею, затемняет ее и мешает ей произвести сильное впечатление.

Почему от автора требуется разнообразие в стиле и в оборотах речи? Потому, что однообразные обороты речи притупляют внимание, а когда внимание притуплено, идеи и образы выступают перед нашим умом менее ясно и производят на нас слабое впечатление.

Почему требуется точность стиля? Потому, что наиболее краткое и в то же время подходящее выражение есть всегда самое ясное выражение; потому, что к стилю можно всегда применить следующие слова Депрео: «Все, что сказано лишнего, безвкусно и противно: взыскательный ум немедленно это отвергает».

Почему от всякого произведения требуется чистота и правильность? Потому, что и та и другая вносят в него ясность.

Наконец, почему с таким удовольствием читают писателей, излагающих свои идеи в блестящих образах? Потому, что их идеи становятся от этого более действенными, более отчетливыми, более ясными и, наконец, более способными произвести на нас сильное впечатление. Таким

образом, все правила стиля имеют в виду одну только ясность.

Но связывают ли люди со словом *стиль* одно и то же представление? Это слово можно понимать в двух различных значениях.

Либо стиль рассматривают просто как более или менее удачный способ выражать свои идеи — с этой точки зрения и я рассматриваю его.

Либо же этому слову придают более широкое значение — отождествляют идею и выражение идеи.

Именно в этом последнем смысле понимает стиль Беккариа^{1*}, указывая в своем полном ума и проникательности сочинении, что для того, чтобы хорошо писать, надо разместить в своей памяти множество идей, играющих дополнительную роль по отношению к теме книги. В этом смысле искусство писать есть искусство пробуждать в читателе множество ощущений; отсутствует стиль, потому что отсутствуют идеи.

Действительно, почему одному и тому же человеку дается один литературный жанр и не дается другой? Этому человеку известны и удачные обороты, и особенности слов языка. Чему же приписать слабость его стиля? Бедности его идей.

А что понимает обыкновенно публика под хорошо написанным сочинением? Богатое мыслями сочинение. Публика судит лишь по его совокупному эффекту, и суждение это правильно, если только не различать, как это я здесь делаю, идеи и способ их выражения. Истинными судьями в вопросе о способе изложения являются национальные писатели; они же создают славу поэта, главным достоинством которого является изящество выражений.

Слава философа, иногда более широкая, менее зависит от суждений одной нации. Главным достоинством философского произведения является правдивость и глубина идей, а об этом судить могут все народы.

Однако пусть вследствие этого философ не думает, что он может безнаказанно пренебрегать красками стиля. Не существует произведений, которых не украшала бы красота выражений.

Чтобы нравиться читателю, надо постоянно вызывать в нем сильные впечатления. Во все времена риторы и писатели указывали на необходимость волновать читателя силой либо выражения, либо идей. Различные правила поэтического искусства представляют, как я уже

сказал, лишь различные способы добиться этого результата.

Допустим, что у автора слабое содержание: он не может приковать внимание величию своих образов или мыслей. Пусть тогда его стиль будет быстрым, точным и отшлифованным: постоянное изящество служит иногда прикрытием для глупости^а. Бедный идеями писатель должен быть богат словами и заменять блеском выражения отсутствие интересных мыслей.

Этим рецептом пользовались иногда даже даровитые люди.

В качестве примера я мог бы привести некоторые отрывки из произведений Руссо, где можно найти груды противоречивых принципов и идей. У Руссо мало чему можно поучиться, но его всегда яркий стиль забавляет и нравится.

Искусство писать заключается в искусстве вызывать ощущения. Поэтому даже президент Монтескьё иногда вызывал восхищение и удивление своими идеями, скорее блестящими, чем истинными. После того как была признана ложность этих идей, они перестали производить прежние впечатление. Это потому, что в умственной области единственно прекрасным оказывается в конце концов истинное. Только истина получает длительное признание. Но при отсутствии идей курьезное сочетание слов может тоже обмануть читателя и произвести на него яркое впечатление.

Сильные^б, неясные и оригинальные выражения при первом чтении могут заменить отсутствие мыслей. Курьезное слово, старинное выражение вызывают чувство удивления, а всякое удивление ведет к более или менее сильному впечатлению. Это подтверждают послания поэта Руссо.

Во всякой области, в особенности в области изящных искусств, мерилom красоты какого-нибудь произведения

^а Пожалуй, хорошего писателя в недалеком человеке обнаружить можно так же редко, как плохого писателя в умном человеке.

^б Ложная идея нуждается в неясном выражении. Если ошибочный взгляд ясно изложен, то его скоро признают ошибочным. Чтобы осмелиться ясно выражать свои идеи, надо быть уверенным в их истине. Нет такой области, где шарлатаны писали бы ясно. Нет такого схоласта, который мог бы сказать, подобно Буало: «Моя мысль всегда предлагается и развертывается при ясном свете».

является вызываемое им ощущение. Чем яснее и отчетливее это ощущение, тем оно сильнее. Вся поэтика есть лишь комментарий к этому простому принципу и развитие этого основного правила.

Если риторы все еще повторяют друг за другом, что совершенство произведений искусства зависит от их точного сходства с произведениями природы, то они ошибаются. Опыт показывает, что красота данных произведений заключается не столько в точном, сколько в усовершенствованном подражании природе.

ГЛАВА XVIII ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОМ ПОДРАЖАНИИ ПРИРОДЕ

Кто занимается искусствами, тот знает, что существуют такие произведения искусства, у которых нет моделей и совершенство которых поэтому не зависит от их сходства с каким-нибудь из известных предметов. Дворец какого-нибудь монарха не строится по образцу дворца Вселенной. Точно так же аккорды нашей музыки не похожи на музыку небесных тел: во всяком случае звуков последней до сих пор не слышало еще ни одно человеческое ухо.

Единственными произведениями искусства, совершенство которых опирается на точное подражание природе, являются портреты людей, изображения животных, плодов, растений и т. д. Почти во всех других областях совершенство произведений искусства заключается в прикрашенном подражании природе.

Когда Расин, Корнель или Вольтер выводят героя на сцене, они заставляют его говорить самым кратким, изящным и гармоничным образом и сказать в точности то, что он должен был сказать. Между тем ни один герой никогда не произносил подобных речей. Невозможно, чтобы Магомет, Зопир, Помпей, Серторий и т. д., какие таланты им ни приписывать ^{1*}:

1. Говорили всегда стихами.
2. Всегда пользовались в своих разговорах наиболее краткими и точными выражениями.
3. Произносили экспромтом речи, над сочинением которых такие два других великих человека, как Корнель и Вольтер, работали иногда по полмесяца или даже по целому месяцу.

В чем же великие поэты подражают природе? В том, что они всегда заставляют своих героев говорить в соответствии с той страстью, которую они в них вложили^а. Во всех других отношениях они украшают природу и поступают правильно.

Но каким образом украсить ее? Ведь все идеи получаются нами от чувств, мы сочиняем лишь на основании того, что видим. Как вообразить что-нибудь, чего нет в природе? И если предположить, что можно было бы вообразить это, то каким образом сообщить представление об этом другим людям? Дело в том, отвечаю я, что в описаниях, например, под новым сочинением понимают просто новое соединение уже известных предметов. Этого нового их соединения достаточно, чтобы поразить воображение и вызвать впечатления тем более сильные, чем они новее.

Каким образом художники и скульпторы создают своих сфинксов? Они берут для этого крылья орла, тело льва и голову женщины. Какие черты были положены в основу Венеры Апеллеса^{2*}? Красота тела 10 красивейших девушек Греции. Таким образом, Апеллес подражал природе, украшая ее. По его примеру и по этому методу живописцы создали впоследствии пещеры Горгон, образы Тифонов, Антеев^{3*}, воздвигли дворцы фэй и богинь и, наконец, украсили всеми богатствами гения различные блаженные места их пребывания.

Предположим, что поэт хочет описать сады Амура. Здесь никогда не должен раздаваться ледяной и смертоносный свист Борея; по ним проносится на крыльях из роз зефир, раскрывая цветы и пропитываясь их ароматом. Небо в этом месте всегда чисто и ясно, оно не омрачается никогда бурями. В полях здесь никогда нет грязи, в воздухе нет насекомых, в лесах нет змей. Горы здесь покрыты апельсиновыми и гранатовыми деревьями в цвету, на полях волнуется море колосьев; долины пересекаются

^а На сцене герой должен всегда говорить в соответствии со своим характером и положением. В этом отношении поэт не может быть чрезмерно точным подражателем природы. Но он должен украсить ее, сосредоточив в каком-нибудь месте часто не более получаса диалоге все черты характера своего героя, разбросанные на протяжении всей его жизни.

Мольер, чтобы изобразить своего скупца, использовал, может быть, всех скупцов своего века, подобно тому как наши современные Фидии, желая создать своего Геркулеса, используют в качестве моделей всех наших силачей.

тысячами ручьев или величественной рекой, испарения которой, впитываемые солнцем и рассеянные по простору небес, никогда не сгущаются здесь настолько, чтобы пролиться на землю дождем.

Поэт создаст в этом саду брызжущие амброзией фонтаны, он взрастит здесь золотые яблоки. Здесь, в сени рощ, Амур и Психея будут изображены нагие, влюбленные, в объятиях наслаждения, ни одна докучная пчела не отвлечет их своим укусом от состояния опьянения. Так поэзия украшает природу: путем разложения уже известных предметов она наново слагает вещи и картины, новизна которых вызывает изумление и производит часто на нас самое яркое и сильное впечатление.

Но что это за фея, всеисилие которой позволяет нам превращать и наново слагать таким образом предметы, создавая, так сказать, во Вселенной и в человеке новые вещи и ощущения? Эта фея есть сила абстракции.

ГЛАВА XIX О СИЛЕ АБСТРАКЦИИ

В языках дикарей мало абстрактных слов, но их много в языках цивилизованных народов. Последние заинтересованы в исследовании бесчисленного множества вещей. Они испытывают каждую минуту потребность ясно и быстро сообщать друг другу свои мысли. Для этой цели они придумали такое количество абстрактных выражений, к этому их принуждают занятия науками.

Допустим, например, что два человека должны рассмотреть некоторое качество, общее двум телам. Оба эти тела можно сравнивать между собою по их массе, величине, плотности, форме, наконец, по их различным краскам. Что станут делать эти люди? Они захотят прежде всего определить предмет своего исследования. Оба эти тела белы, и если нужно сравнивать между собою только их цвет, то они придумают слово *белизна*. При помощи этого слова они сосредоточат все свое внимание на этом общем для обоих тел качестве и сумеют благодаря этому тем лучше судить о различных оттенках их белизны.

Под влиянием этого мотива искусство и философия должны были создать в каждом языке множество абстрактных слов. Нужно ли удивляться, что поэзия создала, следуя их примеру, свои абстракции; она олицетворила и обоготворила силу, справедливость, добродетель, лихо-

радку, победу в виде воображаемых существ, которые в действительности суть не что иное, как человек, рассматриваемый со стороны силы, справедливости, добродетели, болезни, победы и т. д. Наконец, она населила абстракциями Олимп во всех религиях.

Предположим, что какой-нибудь поэт должен изобразить обиталище небожителей или он берется построить дворец Плутоса^{1*}. Он наделяет тогда цветом и плотностью золота горы, в центре их помещает здание, которое оказывается окруженным золотыми горами. Тот же поэт придает строительным камням цвета рубинов или алмазов. Благодаря этой абстракции он получит все материалы, необходимые для постройки дворца Плутоса или хрустальных стен небес. Без силы абстракции Мильтон не мог собрать в садах Эдема или садах фей столько живописных видов, столько восхитительных гротов, столько деревьев, столько цветов, словом, столько красот, разбросанных в природе во множестве различных мест.

Сила абстракции творит в сказках и романах пигмеев, гениев, волшебников, кобольдов; она создает того Фортуната-невидимку^{2*}, свойства которого являются лишь абстракцией от видимых свойств тел.

Способности человека удалить, если можно так выразиться, из предмета все его отрицательные стороны^а, создать розу без шипов он обязан почти всеми своими вторичными (factices) удовольствиями и страданиями.

Действительно, почему мы всегда ожидаем от обладания каким-нибудь предметом больше удовольствия, чем доставляет нам само обладание? Почему такая разница между ожидаемым удовольствием и удовольствием переживаемым? Потому, что в предвидении мы наслаждаемся этим удовольствием без примеси почти всегда сопровождающих его страданий, а на деле приходится брать и время, и удовольствие такими, какие они есть. Совершенное счастье, счастье, какого желают, встречается лишь в дворцах надежды и воображения. Здесь поэзия рисует нам вечными те быстрые мгновения опьянения, которые любовь разбрасывает время от времени на нашем жизненном поприще. Здесь мы воображаем, что всегда наслаж-

^а Тот, кто изобразил бы на сцене трагическое действие так, как оно действительно происходило, сильно рисковал бы нагнать скуку на зрителей.

Что же должен сделать поэт? Устранить из этого действия все то, что не может произвести яркого и сильного впечатления.

даемся той силой, той теплотой чувства, какую мы испытываем раз или два в жизни, несомненно благодаря новизне ощущений, вызываемых в нас первыми предметами нашей нежности. Здесь, наконец, преувеличивая силу удовольствия, что мы редко испытываем и чего мы часто желаем, мы создаем себе преувеличенное представление о счастье богача.

Пусть случайно раскроются перед бедняком залы богача, освещенные сотнями свечей и полные звуков гремющей музыки. Пораженный блеском позолоты и гармонией музыкальных инструментов, бедняк воскликнет тогда: «Как счастлив богач! Его счастье настолько же превосходит мое, насколько эти великолепные залы превосходят мою убогую хижину». Между тем он ошибется: обманутый полученным им сильным впечатлением, он не будет знать, что это впечатление является отчасти результатом испытываемых им новых ощущений; привычка к этим ощущениям, притупив их яркость, сделала бы для него эти залы и этот концерт неинтересными; наконец, ему не будет известно, что эти удовольствия богачей покупаются ценой тысячи забот и беспокойств.

При помощи абстракции бедняк отбросит все связанное с богатством заботы и огорчения^а.

Без силы абстракции наше воображение не пошло бы дальше того, чем мы наслаждаемся. Но если посреди самих наслаждений мы испытываем новые желания и сожаления, то это является, как я уже сказал, результатом разницы между воображаемым удовольствием и удовольствием переживаемым.

Способность разлагать, заново слагать предметы и создавать из них новые предметы можно считать не только источником бесчисленного множества вторичных удовольствий и страданий, но и единственным средством украсить природу при подражании ей и усовершенствовать изящные искусства.

Я не стану больше распространяться о красоте произведений изящных искусств. Я показал, что их главная цель — избавить нас от скуки; что цель эта достигается

^а Способность абстрагироваться, поставив себя в положение, отличное от собственного положения, от бедствий, которых не испытывал, заставляет человека всегда завидовать положению других людей. Как подавить в нем эту зависть, столь препятствующую его счастью? Раскрыв ему глаза и объяснив ему, что человек, не испытывающий нужды, счастлив почти настолько, насколько он может быть счастливым.

тем лучше, чем отчетливее и сильнее вызываемые ими в нас ощущения; наконец, что степень совершенства и красоты этих произведений всегда измеряется большей или меньшей силой этих ощущений.

Пусть же чтят, пусть культивируют изящные искусства: они слава человеческого духа⁵ и источник множества восхитительных впечатлений. Но пусть не думают, что наслаждение их шедеврами делает богача столь недосягаемо счастливым.

Как мы видели в первых главах этого раздела, все люди, не будучи одинаково богатыми и могущественными, одинаково счастливы по крайней мере в течение 10 или 12 часов в сутки, которые уходят на удовлетворение их различных физических потребностей.

Что касается остальных 10 или 12 часов, т. е. тех часов, которые отделяют удовлетворенную необходимую потребность от вновь возникающей потребности, то я доказал, что мы их заполняем наиболее приятным образом, когда посвящаем их приобретению средств, необходимых для достаточного удовлетворения наших потребностей и для наших развлечений. Чтобы подтвердить истинность этого утверждения, мне остается остановиться еще немного на вопросе о том, кто более счастлив: праздные ли богачи, столь устающие от безделья, или люди, скромный достаток которых заставляет их заниматься повседневной работой, причем она не утомляет их.

ГЛАВА XX

О ВПЕЧАТЛЕНИИ, ПРОИЗВОДИМОМ ИЗЯЩНЫМИ ИСКУССТВАМИ НА ПРАЗДНЫХ БОГАЧЕЙ

Предположим, что богач вынужден по должности заниматься трудом, который привычка делает для него приятным, что он нашел себе какое-нибудь занятие, — он может, подобно человеку скромного достатка, легко избавиться от скуки.

Но где можно пайти таких богачей? Разве только в Англии, где деньги открывают возможность карьеры для честолюбцев. Повсюду в других местах праздные богачи пассивны почти во всех своих развлечениях. Они ожидают их от окружающих предметов, но лишь немногие из этих предметов вызывают в них сильные ощущения. Впрочем, подобные ощущения не могут ни быстро сменяться, ни возобновляться каждую минуту. Поэтому

жизнь праздного человека протекает в томительной скуке.

Напрасно богач собирает вокруг себя произведения изящных искусств: искусство не может доставлять ему непрерывно новые ощущения и избавить его надолго от скуки. Его любопытство вскоре притупляется; праздный человек так мало чувствителен, шедевры искусства производят на него столь кратковременное впечатление, что развлечь его можно, лишь непрерывно представляя ему новые шедевры. Но удовлетворить в этом отношении его потребности не могли бы все художники в государстве.

Для восхищения достаточно одной минуты. Но для создания вещей, вызывающих восхищение, требуются века. Сколько праздных богачей проходит ежедневно, не испытывая приятных ощущений, под великолепным порталом старого Лувра, который иностранец созерцает с изумлением.

Чтобы понять, в чем трудность развлечь праздного богача, надо заметить, что человеку свойственны лишь два состояния: одно — когда он пассивен, другое — когда он активен.

ГЛАВА XXI

ОБ АКТИВНОМ И ПАССИВНОМ СОСТОЯНИИ ЧЕЛОВЕКА

В активном состоянии человек может выносить без скуки довольно долго одно и то же ощущение. Но он не выносит этого в пассивном состоянии. Я могу в течение 6 часов заниматься музыкой, но не могу без скуки пробыть 3 часа на концерте.

Нет ничего труднее, как развлечь пассивного праздного человека. Ему все надоело. Это отвращение ко всему делает его таким суровым судьей произведений изящных искусств и заставляет его требовать большого совершенства от их красот. Будь он более чувствителен и скучай он меньше, он не был бы столь требовательным.

Какие сильные впечатления могут вызвать произведения изящных искусств в праздном человеке? Изящные искусства чаруют нас тем, что они вновь представляют, украшают в наших глазах образ уже испытанных удовольствий; тем, что они зажигают в нас желание снова испробовать их. Но какое желание могут пробудить они в человеке, если он достаточно богат, чтобы купить себе все удовольствия, и всегда пресыщен ими?

Напрасно будут пляски, живопись, наиболее сладострастные и специально посвященные любви произведения искусства напоминать об опьянении и восторгах любви: какое могут они произвести впечатление на человека, который, устав от наслаждений, пресыщен ими? Если богат посещает балы и театральные зрелища, то лишь для того, чтобы переменить род скуки и смягчить этой переменой ее тягость.

Такова, как правило, участь государей. Такова была участь знаменитого Боннье^{1*}. Едва он испытывал какое-нибудь желание, как фея богатства исполняла его. Боннье надоели женщины, концерты, театральные зрелища; несчастному не оставалось ничего более желать. Будь он менее богат, у него были бы желания.

Желание есть движущая сила души; душа, лишенная желаний, застаивается. Нужно желать, чтобы действовать, и действовать, чтобы быть счастливым. Боннье умер от скуки среди наслаждений.

Мы сильно наслаждаемся, лишь предвкушая. Счастье заключается не столько в обладании, сколько в процессе овладения предметом наших желаний.

Для того чтобы мы были счастливы, нашему счастью должно всегда чего-нибудь не хватать. Мы бываем по-настоящему счастливы не после того, как приобрели двадцать миллионов, но приобретая их. Мы бываем счастливы не после того, как преуспели, но идя к преуспению. Душа тогда постоянно в действии; постоянно приятно взволнованная, она не знает тогда скуки.

Чем объяснить безумное пристрастие вельмож к охоте? Тем, что, будучи пассивными почти во всех своих прочих развлечениях и поэтому всегда скучая, они только на охоте по необходимости проявляют активность. Активности требует и карточная игра. Поэтому игроки совсем не знают скуки^а.

Однако люди играют либо с большими, либо с малыми ставками. В первом случае игра вызывает волнение и бывает иногда пагубной; во втором — она почти всегда неинтересна.

^а К карточной игре не всегда прибегают только как к средству против скуки. Игра с малыми ставками — коммерческая игра — является иногда прикрытием глупости. Люди играют в карты часто в надежде на то, что благодаря этому не узнают настоящей цены им.

Таким образом, пассивные праздные богачи, которым все так завидуют и которые при идеальной форме правления, может быть, стыдились бы показываться, в действительности вовсе не так счастливы, как это думают. Они часто являются жертвами скуки.

ГЛАВА XXII

ПОТРЕБНОСТЬ В БОГАТСТВЕ СИЛЬНЕЕ ВСЕГО ИСПЫТЫВАЮТ БОГАЧИ

Праздный богач никогда не считает себя достаточно богатым — это потому, что его богатства ему еще недостаточно для его счастья. Он содержит наемных музыкантов, но их концерты не заполняют все же пустоты его души. Ему нужны, кроме того, архитекторы: огромный дворец — колоссальная клетка, в которой заключена печальная птица. Он желает, кроме того, охотничьих экипажей, балов, празднеств и т. д. Скука — это бездонная пропасть, которую не могут заполнить богатства целого государства, а может быть, даже всего мира. Только труд может заполнить ее. Для счастья трудолюбивого гражданина достаточно небольшого состояния. Его однообразная и простая жизнь протекает спокойно. Не на могиле Креза^а, а на могиле Бавкиды^{1*} была начертана следующая эпитафия: «Ее смерть была вечером прекрасного дня».

Большие богатства создают иллюзию счастья, а не реальность его. Подлинной радости больше в доме человека со средним достатком, чем в доме богача, а в кабачке ужинают веселее, чем у президента Гено.

Тот, кто трудится, избавлен от скуки. Поэтому рабочий в своей мастерской, купец за своим прилавком часто счастливее своего государя. Скромное состояние вынуждает нас ежедневно трудиться. Если этот труд не чрезмерен и мы привыкли к нему, он начинает нам нравиться^б.

^а Если бы счастье всегда сопровождало могущество, то кто был бы счастливее калифа Абдурахмана? Однако он приказал начертать на своей гробнице следующую надпись: «Я наслаждался всем — почетом, богатствами, высшей властью. Государи, мои современники, почитавшие меня и боявшиеся меня, завидовали моему счастью и моей славе; они искали моей дружбы. Я отмечал в течение всей своей жизни в точности все те дни, когда я испытывал чистое и неподдельное удовольствие, и за 50 лет царствования я насчитал их только 14».

^б Люди не знают еще всей силы привычки. В Бастилии, говорят, заключенных хорошо кормят, они имеют там хорошее по-

Всякий, кто путем такого труда может удовлетворить свои физические потребности и свою потребность в развлечении, счастлив почти настолько, насколько он только может быть счастлив^а.

Но разве развлечения нужно также считать потребностью? Дело в том, что человеку, как и ребенку, нужны минуты отдохновения или перемены занятия. С каким удовольствием рабочий и адвокат покидают — первый свою мастерскую, а второй свой кабинет, чтобы пойти в театр посмотреть комедию. Если это зрелище действует на них сильнее, чем на светского человека, то это потому, что испытываемые ими здесь ощущения, будучи менее притуплены привычкой, представляют собою для них нечто более новое.

Кроме того, если человек усвоил привычку к некоторому физическому и умственному труду, то по удовлетворении этой потребности он становится способным находить интерес даже в таких развлечениях, где он остается пассивным. Если эти развлечения не интересны для праздных богачей, то потому, что для них удовольствие — дело, а не отдых. Труд, на который, как говорят, человек был некогда осужден, был не наказанием небес, а благодеянием природы. Труд предполагает наличие желаний. Если у нас нет желаний, то мы прозябаем, лишенные источника деятельности. Тело и душа остаются, если можно так выразиться, в одном и том же положении^б. Занятие — счастье для человека^в. Но что нужно, чтобы быть заня-

мещение, и, однако, там умпрают от скуки. Почему? Потому, что заключенные лишены там свободы, т. е. не предаются своим обычным занятиям.

^а Положенье рабочего, которой, умеренно работая, удовлетворяет свои потребности и потребности своей семьи, пожалуй, самое счастливое из всех положений. Нужда, побуждающая его ум к прилежанию, а тело к физическому упражнению, — предохранительное средство от скуки и болезней. Но скука и болезни — зло, а радость и здоровье — благо.

^б Одна из главных причин невежества и лени жителей Африки — плодородие названной части света. Земля доставляет человеку почти без всякой обработки все необходимое для удовлетворения его нужд. В силу этого африканцы не заинтересованы в том, чтобы мыслить. Они мало думают. То же самое можно сказать о карабах. Если они менее трудолюбивы, чем североамериканские дикари, то это потому, что последние должны больше трудиться, чтобы прокормить себя.

^в Чтобы человек был счастлив, удовольствие должно быть наградой за труд, но за труд умеренный. Если бы природа сама позаботилась об удовлетворении всех нужд человека, то это был

тым и двигаться? Какое-нибудь побуждение. Какое побуждение является наиболее сильным и общим? Голод. Голод заставляет в деревнях земледельца обрабатывать землю, а в лесах дикаря охотиться и ловить рыбу.

Другого рода потребность воодушевляет художника и писателя — именно потребность славы, общественного уважения и удовольствий, которые они доставляют.

Всякая потребность, всякое желание заставляет людей трудиться. Если человек с ранних лет усвоил привычку к труду, труд ему приятен. Если же у него этой привычки нет, то лень делает труд ненавистным, и человек с неудовольствием засекает поля, возделывает землю и мыслит.

ГЛАВА XXIII О СИЛЕ ЛЕНИ

Если бы народам пришлось выбирать между тем, что бы грабить или обрабатывать землю, то они выбрали бы первое занятие. Люди вообще ленивы; они почти всегда предпочтут всяческие тягости, смерть и опасности земледельческому труду. Примеры этому — великий народ майлаицев, часть татар и арабов, все обитатели Тавриды, Кавказа и высоких гор Азии.

Но, могут сказать, как ни велика любовь людей к праздности, разве наряду с народами, занимающимися грабежом и грозными своей воинственностью и храбростью, нет земледельческих народов? Да, существование народов, занимающихся грабежом, предполагает существование богатых народов, которых можно грабить. Первых немного, потому что требуется большое количество баранов, чтобы прокормить небольшое количество волков; потому что народы, занимающиеся грабежом, живут в бесплодных и неприступных горах и могут лишь в подобных убежищах сопротивляться многочисленным земледельческим народам. Но верно, что вообще люди всегда занимаются грабежом и воровством, когда географическое положение их страны позволяет им безнаказанно предаваться этому. Если это так, то, значит, любовь к грабежу

бы гибельнейший удар с ее стороны. Люди коснели бы в безделье, а праздные богачи не имели бы никаких средств против скуки. Против этого зла нельзя было бы найти никакого средства. Если же граждане не будут нуждаться, то все они будут одинаково богаты. Но где же праздный богач нашел бы тогда людей, которые забавляли бы его?

свойственна людям от природы. На чем основывается эта любовь? На лени, т. е. на желании получить с минимумом усилий предмет своих желаний.

Праздность является у людей скрытой причиной величайших последствий. Из-за отсутствия побуждений, способных вырвать их из объятий лени, большинство сатрапов, столь же склонных к грабежу и еще более праздных, чем малайцы, еще более томятся от скуки и еще более несчастны.

ГЛАВА XXIV

УМЕРЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЧАСТЬЕ ГРАЖДАНИНА

Если привычка делает труд легким, если люди делают всегда без усилий то, что они делают ежедневно, если всякое средство приобрести удовольствие должно быть отнесено к удовольствиям, то умеренное состояние, заставляя человека трудиться, обеспечивает его счастье, тем более что труд всегда заполняет самым приятным образом промежуток между удовлетворенной и вновь возникающей потребностью, т. е. те единственные 12 часов в сутки, в которые — как полагают — существует больше всего неравенства между счастьем различных людей.

Если правительство позволяет своим подданным владеть своим состоянием, своей жизнью и своей свободой; если оно не допускает слишком неравномерного распределения национального богатства и все граждане при нем живут зажиточно, это, значит, оно доставило всем им средства быть почти настолько счастливыми, насколько они могут ими быть.

Таким образом, люди, не будучи одинаково богатыми и не занимая одинакового положения в обществе, могут быть одинаково счастливыми. Но как бы ни доказана была эта истина, возможно ли убедить в ней людей? И каким образом помешать им постоянно ассоциировать в своей памяти представление о счастье с представлением о богатстве?

ГЛАВА XXV

ОБ АССОЦИИ В НАШЕЙ ПАМЯТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЧАСТЬЕ И БОГАТСТВЕ

Во всякой стране, где граждане не уверены в обладании своей собственностью, жизнью, свободой, представления о счастье и о богатстве часто должны совпадать.

В такой страхе люди нуждаются в покровителях, а богатство дает такое покровительство.

Во всякой другой стране можно составить себе об этом иные представления. Если факиры способны при помощи религиозного катехизиса убедить людей в самых грубых нелепостях, то почему нельзя убедить их при помощи морального катехизиса в том, что они счастливы, если для этого им не хватает только того, чтобы они считали себя счастливыми?^а Такое верование составляет часть нашего счастья. Кто сам считает себя несчастным, тот становится несчастным. Но можно ли заблуждаться в столь важном вопросе? Каковы величайшие враги нашего счастья? Невежество и зависть.

Зависть, похвальная в юности, когда она называется соревнованием, становится губительной страстью, когда в зрелом возрасте она оказывается завистью.

Что порождает ее? Ложное и преувеличенное мнение о счастье людей, находящихся в известных положениях. Как разрушить это мнение? Просветить людей. Только знание истины может сделать их лучшими; только оно может положить конец той вечной и скрытой внутренней войне между гражданами различных профессий и талантов, которая восстанавливает друг против друга почти всех членов цивилизованных обществ.

Невежество и зависть, внушая людям несправедливую ненависть друг к другу, слишком долго скрывали от них знание той важной истины, что для их счастья достаточно, как я доказал, небольшого состояния^б. Не сле-

^а Двумя обычными причинами несчастья людей являются, с одной стороны, *незнание того, как мало им нужно, чтобы быть счастливыми*, а с другой — *мнимые потребности и безграничные желания*. Богатый купец хочет быть самым богатым человеком в своем городе. Король хочет быть самым могущественным из королей. Не следовало ли бы вспоминать иногда слова Монтеня: *«Сидим ли мы на троне, сидим ли мы на простой скамейке, но мы сидим всегда лишь на своем з...»*? Если могущество и богатство являются средствами стать счастливыми, то не следует все же смешивать средства с самой вещью; не следует покупать ценой излишних забот, тягот и опасностей того, что можно иметь дешевле. Словом, в поисках счастья не следует забывать, что мы ищем счастья, а не чего-либо другого.

^б Люди, потерявшие свое богатство и вынужденные жить скромно, несомненно, несчастны. Будучи богатыми, они приобрели вкусы, которых они не могут удовлетворить в своем новом положении. Поэтому я говорил здесь лишь о людях, которые родились не в богатых семьях и которым не приходится преодолевать некоторых привычек. Этим людям для счастья достаточно неболь-

дует считать эту аксиому каким-то общим школьным местом. Чем глубже поймут ее, тем скорее убедятся в ее истинности.

Если размышление над этой аксиомой сможет убедить в их счастье множество людей, которым для того, чтобы быть счастливыми, не хватает только считать себя счастливыми, то эта истина не будет одной из тех умозрительных аксиом, которые неприменимы на практике.

ГЛАВА XXVI

ОБ ОТДАЛЕННОЙ ПОЛЬЗЕ РАЗВИВАЕМЫХ МНОЮ ПРИНЦИПОВ

Если я первый показал возможность равномерного распределения счастья между гражданами и математически доказал эту важную истину, то я счастлив. В таком случае я могу считать себя благодетелем человеческого рода и сказать себе:

Все то, что моралисты писали о равенстве положения людей; все то, что романисты сочинили о талисмани Оросмана^{1*}, было лишь смутной догадкой о том, что я доказал.

Меня станут упрекать в том, что я слишком подробно остановился на этом вопросе. На это я отвечу, что так как счастье общества складывается из счастья всех индивидов, то, чтобы узнать, что составляет счастье всех людей, надо было узнать, что составляет счастье каждого отдельного человека. Надо было показать, что если нет такой формы правления, при которой все люди не могли бы быть одинаково могущественными и богатыми, то зато нет и такой формы правления, при которой они не могли бы быть все одинаково счастливыми, — словом, что мыслимо такое законодательство, при котором (если не говорить об отдельных бедствиях) не будет других несчастных, кроме сумасшедших.

Но равномерное распределение счастья между гражданами предполагает более равномерное распределение национального богатства. А в какой европейской стране можно было бы установить теперь такое распределение? В ближайшем будущем это, несомненно, невозможно. Однако перемены, происходящие ежедневно в устройстве

ного богатства, во всяком случае в тех странах, где богатство не является основанием для общественного уважения.

всех государств, доказывают во всяком случае, что возможность этого не есть какая-то платоновская химера.

Как утверждают мудрецы, все возможности должны в течение более или менее долгого времени осуществиться. Почему же отчаиваться в будущем счастье человечества?

Кто может доказать, что вышеустановленные истины окажутся всегда бесполезными для него?

Редко, но все же неизбежно в известный промежуток времени рождаются такие люди, как Пенн^{2*}, как Манко-Капак, дающие законы нарождающимся обществам. Но предположим нечто еще более редкое, а именно что такой человек, ревнивый к новой славе, захотел бы в качестве друга человеческого увековечить свое имя в потомстве и, заботясь поэтому более о составлении законов и о счастье народов, чем об увеличении своего могущества, пожелал бы сделать людей счастливыми, а не рабами. Тогда нет никакого сомнения, как я это докажу в разделе IX, что он нашел бы в установленных мною выше принципах зародыши нового законодательства, более соответствующего счастью человечества.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Нет такой клеветы, которой во Франции духовенство не черпало бы философов. Оно обвиняло их в том, что они не признают никакого превосходства людей по званию, по происхождению и по занимаемой должности. Оно надеялось, таким образом, подстрекнуть против них власть имущих. Но, к счастью, это обвинение было слишком туманно и нелепо. Действительно, в каком отношении философ мог бы считать себя равным вельможе? Либо как христианин, потому что в этом отношении все люди — братья, либо в качестве подданного деспота, потому что по отношению к нему всякий подданный лишь раб, а все рабы находятся по существу в одинаковом положении. Но философы не являются апостолами ни папизма, ни деспотизма, а кроме того, во Франции не должно быть деспота. Но что такое титул вельможи, как не игрушка для детского тщеславия? Дает ли он право на участие в управлении государственным делами? Дает ли он реальную власть? Нет, и в этом смысле вельможи отнюдь не велики, но они носят имена, которые пользуются уважением и должны им пользоваться.

² Занятой человек мало скучает и мало имеет желаний. Люди желают несметных богатств как средство либо избавиться от скуки, либо доставить себе наслаждение. Тот, кто не имеет потребностей, равнодушен к богатствам. О любви к деньгам можно сказать то же самое, что и о любви к роскоши. Если молодой человек, любящий женщин, считает роскошную обстановку, празднества и экипажи средством соблазнить их, то он загорается страстью к роскоши. Если же на старости лет он становится нечувствительным к любовным утехам, то он снимает позолоту со своей кареты, за-

прягает в нее старых кляч и снимает галуны со своей одежды. Этот человек любил роскошь как средство доставить себе известные удовольствия. Сделавшийся равнодушным к последним, он перестает любить и роскошь.

³ При известных условиях брак часто представляет собою картину двух злополучных существ, соединенных вместе, чтобы доставлять несчастье друг другу.

Брак преследует две цели: во-первых, сохранение вида, а во-вторых, счастье и наслаждение представителей обоих полов.

Это стремление к наслаждениям допустимо; почему бы, действительно, лишать себя этих наслаждений, если они не вредят обществу?

Но брак в том виде, в каком он существует в католических странах, не подходит одинаково для всех профессий. Чем объяснить единообразие его формы во всех странах? Соответствием, отвечу я, между формой брака и первоначальным занятием жителей Европы, именно их земледельческим трудом. При занятии земледелием мужчина и женщина имеют общую цель своих желаний, а именно улучшение обрабатываемой ими земли. Это улучшение является следствием сотрудничества супругов в их работе. Оба супруга всегда заняты на своей ферме, всегда помогают друг другу и переносят без тяготы и скуки перасторжимость своего союза. Иное дело — другие профессии. Духовные лица вовсе не вступают в брак. Почему? Потому, что церковь полагала, что при современной форме брака жена, хозяйство и связанные с этим заботы будут мешать священнику в исполнении им своих обязанностей. Но разве они меньше мешают в этом правительственным лицам, писателям, сановникам и разве обязанности этих последних не гораздо ли серьезнее и важнее, чем обязанности священника? Но европейские народы считают, что эта форма брака также не подходит и для военной профессии. Это подтверждается тем, что они почти всегда запрещают солдатам жениться. Что может означать это запрещение, как не то, что народы, наученные опытом, признали, что семейная жизнь портит нравы воина, заглушает в нем любовь к отечеству и с течением времени делает его изнеженным, ленивым и робким.

Как бороться с этим злом? В Пруссии, если солдату первого батальона нравится хорошенькая девушка, он спит с ней; союз обоих супругов длится столько времени, сколько существует любовь и согласие между ними. Если у них есть дети и они не могут прокормить их, то король берет на себя заботу об этом, воспитывая их в особо созданном для этого доме. Здесь у него питомник молодых солдат. Дайте этому государю возможность распоряжаться большим количеством церковных имуществ, и он осуществит в большом масштабе то, что теперь он может сделать только в небольшом размере: солдаты его — любовники и отцы — будут наслаждаться любовными утехами, причем их нравы не станут от этого изнеженными и они не утратят своего мужества.

Закон о перасторжимости брачного союза, говорил Фонтенель, — варварский и жестокий закон. Малое число живущих в согласии семейств во Франции доказывает необходимость реформы в этой области.

Есть такие народы, у которых любовник и любовница вступают в брак лишь после трех лет сожительства. В течение этого времени они проверяют сходство своих характеров. Если они не

подходят друг другу, то они расстанутся и девушка переходит в другие руки.

Эти африканские браки лучше всего обеспечивают счастье супругов. Но кто стал бы тогда заботиться о детях? Те же законы, которые заботятся о них в странах, где разрешен развод. Мальчики могут остаться у отцов, а девочки — у матерей; в брачных контрактах можно установить определенную сумму на воспитание детей, родившихся до развода; доход с десятины и с больниц может быть использован на содержание тех детей, родители которых не имеют ни состояния, ни работы. Тогда неудобства разводов сведутся к нулю и счастье супругов будет обеспечено. Скажут, а сколько будет расторгнуто браков благодаря закону, столь благоприятному для человеческого непостоянства? Но опыт показывает обратное.

Впрочем, я не имею ничего против того, чтобы непостоянные и изменчивые желания мужчины и женщины заставляли их иногда менять предмет своей нежности. Почему лишать их удовольствия от перемены, если благодаря мудрым законам это непостоянство не вредит обществу?

Во Франции женщины — любовницы по преимуществу; на Востоке они слишком рабыни: здесь женский пол принесен в жертву мужскому.

Зачем нужны эти жертвы? Если оба супруга перестают любить и начинают ненавидеть друг друга, то зачем заставлять их жить вместе?

Впрочем, если верно, что желание перемены свойственно, как говорят, человеческой природе, то можно было бы установить возможность такой перемены, как награду за заслуги. Можно было бы попытаться сделать таким путем воинов более мужественными, судей более справедливыми, рабочих более трудолюбивыми, а талантливых людей более усидчивыми.

В руках талантливого законодателя всякое удовольствие становится орудием общественного счастья.

⁴ Немногие трагические поэты знают человека, немногие из них достаточно хорошо изучили различные страсти, чтобы заставить эти страсти всегда говорить своим собственным языком. А между тем у каждой из них есть свой язык.

Нужно удерживать кого-нибудь от опасного и неблагоприятного поступка. Гуманный человек желает дать ему в связи с этим совет. Он будет стараться щадить его самолюбие, и если и укажет ему истину, то в наименее обидных выражениях. Наконец, своим тоном и жестами он смягчит всю горечь этой истины.

Жесткий человек скажет эту истину грубо.

Злой человек скажет ее самым оскорбительным образом.

Гордый человек властно прикажет; он глух ко всяким иным представлениям: он желает, чтобы ему слепо повиновались.

Разумный человек обсудит с ним вопрос о правильности его поступка, выслушает его ответы и представит его на суд заинтересованному лицу.

Друг, полный нежности к своему другу, с сожалением будет противоречить ему. Если он не в состоянии убедить его, то он обратится к слезам и мольбам, будет заклинять его священными узами, соединяющими счастье обоих, не подвергаться опасностям, связанным с этим поступком.

Любовь примет совсем иной тон. Для борьбы с решением своего любовника возлюбленная выдвинет только один мотив — свое желание и свою любовь. Если любовник продолжает сопротивляться, то она снизойдет наконец до рассуждения. Но обращение к разуму всегда последнее средство любви.

Таким образом, по различным способам давать один и тот же совет можно узнать, каким характером или какой страстью он продиктован. Но имеет ли свой особенный язык обман? Нет, поэтому обманщик пользуется языком дружбы. Но его можно узнать по разнице между чувством, которое он приписывает себе, и тем чувством, которое он должен испытывать в действительности. Изучая язык различных страстей и характеров, убеждаешься, что трагические поэты часто оказываются здесь неумелыми. Среди них мало таких, которые, заставляя говорить какую-нибудь определенную страсть, не пользовались бы иногда языком другой страсти. Говоря о трагических поэтах, я не могу не привести мнения лорда Шефтсбери по этому вопросу. Только он один, по-моему, имел правильное представление о трагедии. «Цель комедии, — говорит он, — исправление нравов частных лиц, целью же трагедии является исправление нравов министров и государей. Почему, — прибавляет он к этому, — не давать трагедиям таких названий: *«Король-тиран»*, *«Слабый монарх»*, или *«Суеверный монарх»*, или *«Высокомерный монарх»*, или *«Монарх — жертва лести»*. Это — единственное средство сделать трагедии еще более полезными.

⁵ Человек, просвещенный открытиями своих отцов, получил в наследие их мысли; это — сокровище, которое он обязан передать своим потомкам, прибавив к нему некоторые свои собственные идеи. Но сколько людей умирают в этом отношении банкротами!

РАЗДЕЛ IX

О возможности указать правильный план законодательства; о препятствиях, которые невежество ставит его опубликованию; о том, как невежество осмеивает всякую новую идею и всякое углубленное исследование морали и политики; о том, как оно приписывает человеческому духу непостоянство, несовместимое с длительным существованием хороших законов; о воображаемой опасности, которой (если верить невежеству) должны подвергнуться государства с открытием новой идеи и в особенности истинных принципов законодательства; о слишком губительном равнодушии людей к исследованию нравственных или политических истин; о том, что одни и те же взгляды называют истинными или ложными в зависимости от временного интереса

ГЛАВА I

О ТРУДНОСТИ НАЧЕРТАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

По вопросу о нравственности и законодательстве писало незначительное число знаменитых людей. Чем объяснить их молчание? Величием ли и важностью темы, необходимостью ли иметь множество идей и обширный ум для правильного рассмотрения этого вопроса? Нет, их молчание есть результат равнодушия публики к сочинениям такого рода.

Если в этой области появляется хорошее сочинение, то на него в лучшем случае смотрят как на фантазию добродетельного человека, и оно становится поводом для бесчисленных дискуссий, источником бесчисленных споров, которые благодаря невежеству одних и недобросовестности других затягиваются до бесконечности. Каким только презрением не осыпают сочинение, которое не приносит непосредственной пользы и которое поэтому всегда третируют как какую-то платоновскую химеру.

Во всяком цивилизованном государстве, имеющем уже известные законы, нравы, предрассудки, правильный план законодательства окажется почти всегда несовместимым с бесчисленным множеством частных интересов, укоренившихся злоупотреблений и уже принятых планов; он будет поэтому всегда казаться нелепым. Пусть докажут его превосходство — все равно оно долго будет оспариваться.

Предположим, однако, что человек возвышенного и твердого характера, желая просветить народы по важному для их счастья вопросу, захотел пренебречь этими насмешками. Тогда я позволил бы себе предупредить его, что публика неохотно занимается исследованием сложных вопросов: единственное средство привлечь ее внимание к проблеме идеального законодательства — это упростить проблему и свести ее к двум следующим положениям.

Первая задача заключается в том, чтобы открыть законы, способные делать людей максимально счастливыми и поэтому доставить им все удовольствия и развлечения, совместимые с общим благом.

Вторая задача — открыть средства, при помощи которых можно незаметно перевести народ из состояния несчастья, в котором он находится, в состояние счастья, которым он может наслаждаться.

Для решения первой из этих задач надо брать пример с математиков. Если им предлагают какую-нибудь сложную проблему по механике, то они упрощают ее. Они вычисляют скорость движущихся тел, отвлекаясь от их плотности, от сопротивления окружающей жидкости, от трения других тел и т. д.

Чтобы решить первую часть вопроса об идеальном законодательстве, надо было бы равным образом не считаться ни с сопротивлением предрассудков, ни с трением частных противоречащих интересов, ни с правами и с установившимися уже законами и обычаями. Надо было бы смотреть на себя, как на основателя религиозного ордена, который, устанавливая свой монашеский устав, не считается с привычками и предрассудками своих будущих подчиненных.

Иное приходится сказать о второй части той же проблемы. Средства изменить постепенно нравы, эти законы и путем незаметных переходов перевести народ от его теперешнего законодательства к возможно наилучшему

законодательству можно определить не на основании только своих личных взглядов, но лишь на основании знаний действующих законов и нравов народа.

Между этими двумя задачами имеется существенное и заметное различие: в случае решения первой задачи это решение (если не говорить о некоторых различиях, вызываемых особенным положением страны) носит общий характер и одинаково для всех народов.

Наоборот, решение второй задачи должно быть различным в зависимости от различной формы каждого государства. Ясно, что турецкая, швейцарская, испанская или португальская формы правления неизбежно находятся на неодинаковом расстоянии от совершенного законодательства.

Для решения первой из этих задач требуется только природное дарование. Для решения второй надо к природному дарованию присоединить знание нравов и главных законов того народа, законодательство которого желают незаметно изменить.

Вообще, чтобы правильно исследовать подобный вопрос, необходимо изучить по крайней мере в общих чертах обычаи и предрассудки народов всех времен и всех стран. Людей можно убедить только фактами и научить только примерами. Тот, на кого не действуют лучшие аргументы, сдастся перед лицом фактов, хотя последние часто весьма спорны.

Но допустим, что эти факты установлены. Каковы же те вопросы, исследование которых могло бы дать решение проблемы о наилучшем законодательстве? Я укажу то, что прежде всего мне приходит в голову.

ГЛАВА II

О ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПЕРВЫМИ. КОГДА ЖЕЛАЮТ СОЗДАТЬ ХОРОШИЕ ЗАКОНЫ

Можно задать себе следующие вопросы:

1. Что за побуждение заставило людей соединиться в общество? Страх ли перед дикими животными, необходимость отогнать их от жилищ, убивать их, чтобы обеспечить себе существование, или какое-нибудь другое побуждение того же рода привело к образованию первых племен?

2. Не были ли выпущены люди после своего объединения в общество и после перехода от охотничьего об-

раза жизни к пастушескому, а от пастушеского к земледельческому заключать соглашения между собою и издавать законы?

3. Могли ли эти законы иметь другую основу, кроме общего желания обеспечить людям обладание собственностью, жизнью и свободой, которое в необщественном состоянии, так же как и при деспотизме, не было защищено от насилия со стороны более сильного человека?

4. Можно ли считать особой формой правления власть, основанную на произволе, при которой гражданин не обеспечен от посягательств силы и насилия, при которой у него отнимают даже право естественной самозащиты?

5. Не уничтожает ли деспотизм, установившийся в каком-нибудь государстве, всех уз социальной связи? Не требуют ли тогда те же побуждения, те же потребности, которые объединили первоначально людей, роспуска общества, в котором, как в Турции, гражданам не обеспечено обладание своей собственностью, своей жизнью, своей свободой; в котором, наконец, граждане, находясь всегда в состоянии войны друг с другом, не признают других прав, кроме силы и хитрости?

6. Может ли сохраниться долго уважение к собственности, если не поддерживается, как в Англии, известное равновесие сил между различными классами граждан?

7. Существует ли средство сохранить длительным образом это равновесие, и не является ли его сохранение абсолютно необходимым для действенной борьбы с непрерывными усилиями сильных мира сего завладеть собственностью мелкого люда?

8. Достаточны ли для этого средства, предложенные Юмом в его небольшом, но великолепном трактате о совершенной республике?

9. Не произвело ли бы введение денег в его республике^а с течением времени неравномерного распределения богатств, снабжающих власть имущих цепями, которыми они сковывают своих сограждан?

10. Действительно ли имеет бедняк отечество? Обязан ли гражданин, не имеющий собственности, чем-нибудь той стране, в которой он ничем не обладает? Не

^а Деньги, губительные для народов, — своего рода фея, часто превращающая здесь добродетельных людей в мошенников. Ликург, отлично знавший это, прогнал эту фею из Лакедемона.

благоприятствует ли крайняя нужда бедняков, работающих по найму у богачей и у знатных лиц, честолюбивым планам последних? Наконец, не будет ли у бедняка слишком много нужд для того, чтобы он мог обладать добродетелями?

11. Не могли ли бы законы путем разделения собственности соединить интересы большинства граждан с интересами отечества?

12. Нельзя ли было бы по примеру лакедемонян, территория которых, разделенная на 39 тысяч участков, была распределена между 39 тысячами семей, образовавшими нацию, — нельзя ли было бы, предполагая чрезмерно большую численность граждан, назначить каждой семье более или менее обширный участок — всегда в соответствии с числом составляющих это семейство членов^а.

13. Не избавило ли бы менее неравномерное распределение земель и богатств^б множество людей от реальных бедствий, причиняемых им преувеличенным представлением о счастье богачей^в, представлением, порождающим такую вражду между людьми и такое равнодушие к общественному благу?

^а Но чтобы сохранить при этом предположении известное равенство в распределении собственности, нужно было бы, чтобы семья по мере ее угасания уступала часть своей собственности соседним или более многочисленным семьям. Почему же нет?

^б Если число собственников в каком-нибудь государстве очень мало по сравнению с числом его жителей, то даже унпчтожение налогов не избавит последних от нужды. Единственное средство улучшить их положение заключается в том, чтобы установить налог на государственные домены или на церковные владения, употребить получившиеся от этого суммы на покупку небольших участков и распределять их ежегодно между наиболее бедными семьями, увеличивая таким образом с каждым годом число собственников.

^в Зрелище роскоши, несомненно, усиливает страдания бедняка. Богачи это знают и все-таки не ограничивают своей роскоши. Что им до бедствий бедняка? Даже государи мало считаются с этим. В своих подданных они видят только жалкий скот, и если они кормят его, то это потому, что в их интересах увеличить его число. Все правительства говорят об увеличении населения. Но в каких государствах следует увеличить его? В тех, граждане которых счастливы. Увеличивать народонаселение в государстве с дурной формой правления — это значит создать жестокий план увеличения здесь числа несчастных; это значит доставить тирании новое орудие порабощения новых наций и превращения их тоже в несчастных; это значит увеличивать страдания человечества.

14. Следует ли управлять народами с помощью большого числа законов или с помощью немногих здравых и ясных законов? Были ли римляне более добродетельными и более счастливыми во времена императоров, когда большее число законов были вынуждены собрать в кодексах Юстиниана, Трибониана и т. д., чем во времена законов Двенадцати таблиц^{1*}?

15. Не вызывает ли многочисленность законов незнания и невыполнения их?

16. Не заставляет ли народы эта же многочисленность законов, часто противоречащих друг другу, поручить их толкование некоторым людям и корпорациям? Не могут ли люди и корпорации, которым поручено толкование законов, незаметно изменяя их, сделать из них орудия своего честолюбия? Не учит ли нас, наконец, опыт, что повсюду, где имеется много законов, мало справедливости?

17. Следует ли при мудром правительстве оставить рядом такие две не зависящие друг от друга верховные власти, как светская и духовная?

18. Следует ли ограничить размеры городов?

19. Позволяют ли их чрезвычайно большие размеры следить за чистотой нравов; можно ли в больших городах прибегать к столь полезному наказанию стыдом и бесчестием^а; не может ли гражданин в таких городах, как Париж или Константинополь, переменяя имя и место жительства, навсегда избавиться от этого наказания?

20. Не могло ли бы известное число маленьких республик при помощи федеративного союза более совершенного, чем федерация греческих государств, обезопасить себя как от неприятельского вторжения, так и от тирании какого-либо честолюбивого гражданина?

21. Допустим, что страну величиной с Францию разделили бы на 30 провинций или республик; что каждому из этих государств дали бы приблизительно одинаковую территорию, что эта территория была бы отмечена неизменными границами и что ее самостоятельное существование было бы гарантировано 29 другими республиками. Спрашивается, разве можно в этом случае предположить, что одна из этих республик могла бы поработить

^а При мудром правительстве одного наказания стыдом было бы достаточно, чтобы заставить граждан выполнять свой долг.

другие, т. е. чтобы один человек дрался бы с успехом против 29?

22. Предположим далее, что все эти республики управлялись бы одинаковыми законами; что каждое из этих небольших государств, обладая самоуправлением и выбирая своих должностных лиц, подчинялось бы некоторому верховному совету; что этот верховный совет, состоящий из четырех депутатов от каждой республики и занятый главным образом военными и политическими делами, должен был бы, однако, следить за тем, чтобы каждая из этих республик могла преобразовываться или изменять свое законодательство только с согласия всех остальных, что, кроме того, целью законов было бы облагородить души, внушить мужество и поддерживать строгую дисциплину в армии. Спрашивается, разве не была бы при таком предположении совокупность этих республик всегда достаточно сильной, чтобы действительно бороться с честолюбивыми планами своих соседей и своих сограждан?^a

23. Исходя из предположения, что законодательство этих республик делает их граждан максимально счастливыми и доставляет им все удовольствия, совместимые с общим благом, — не были бы эти республики тогда морально уверены в постоянном счастье?

24. Не должен ли план хорошего законодательства заключать в себе план идеального воспитания? Можно ли давать такое воспитание гражданам, не давая им ясных представлений о нравственности и не связывая нравственных предписаний с единственным принципом любви к общему благу? Нельзя ли было бы доказать людям, напомнив им для этого побуждения, под влиянием которых они объединились в общество, что почти всегда их правильно понятый интерес заставляет принести в жертву личную временную выгоду во имя национальной выгоды и заслужить этой жертвой почетное звание добродетельного человека?

25. Можно ли основать нравственность на иных принципах, кроме принципа общественной пользы? Не до-

^a Вообще несправедливость человека измеряется только его силой. Поэтому высшее искусство законодательства заключается в таком ограничении могущества каждого гражданина, чтобы он не мог никогда безнаказанно посягать на жизнь, собственность и свободу другого гражданина. Но до сих пор эта проблема нигде не была разрешена лучше, чем в Англии.

казывают ли даже несправедливости, совершаемые всегда деспотизмом во имя общего блага, что этот принцип есть действительно единственный принцип нравственности? ^а Можно ли заменить его принципом частной пользы семьи и родных? ^б

26. Допустим, что была бы принята следующая аксиома: *наши обязанности по отношению к родным стоят выше наших обязанностей по отношению к отечеству.*

Спрашивается: разве не мог бы в этом случае отец, желая сохранить себя для своей семьи, покинуть свой пост в момент сражения? Разве не мог бы этот отец, если бы он заведовал общественной кассой, ограбить ее, раздать деньги своим детям и обобрать таким образом то отечество, которое он любит меньше, для того, чтобы обогатить тех, кого он любит больше?

27. Существует ли с того момента, когда общественное благо перестает быть верховным законом и первой обязанностью гражданина ^в, еще наука о добре и зле, существует ли, наконец, нравственность, когда общественная польза перестает быть мерой наказания или награды, уважения или презрения к поступкам граждан?

28. Можно ли надеяться встретить добродетельных граждан в стране, где почести, уважение и богатство стали благодаря форме правления наградами за

^а Когда монах повелевает любить бога превыше всего, то, так как этот монах всегда отождествляет себя со своей церковью и со своим богом, он говорит просто, что следует любить и уважать его церковь превыше всего. Истинным другом своего народа является поэтому лишь тот, кто повторяет вслед за философами, что всякая любовь должна уступить место любви к справедливости и что следует жертвовать всем во имя общего блага.

^б Кто не считает любовь к отечеству первым принципом нравственности, тот может быть хорошим отцом, хорошим мужем, хорошим сыном, но он всегда будет плохим гражданином. Сколько преступлений заставила совершить любовь к родным!

^в Кто относится бесчувственно к общественным бедствиям, вызываемым дурным управлением; кого мало трогает позор его нации; кто не разделяет вместе с нею позора ее поражений или ее рабства, — тот низкий и подлый гражданин. Чтобы быть добродетельным человеком, надо страдать бедствиями своих сограждан. Если бы на Востоке был человек с истинно добродетельной и возвышенной душой, то он провел бы всю свою жизнь в слезах; он чувствовал бы к большинству визирей такое же омерзение, какое испытывали некогда во Франции к Бульону. Последний, услышав, как Людовик XIII однажды расчувствовался по поводу бедствий своих подданных, сделал следующее жестокосердное замечание: «Знайте, что ваши народы должны считать себя еще счастливыми, если они не вынуждены щипать траву».

преступления, где порок пользуется уважением и ведет к счастью?

29. Не вправе ли были бы люди, вспомнив, что желание счастья есть единственный мотив их объединения в общество, предаться пороку повсюду, где порок доставляет почет, богатство и счастье?

30. Исходя из предположения, что законы, как это доказывает организация иезуитов, могут сделать все с людьми, возможно ли, чтобы народ, предавшийся пороку благодаря форме своего правления, мог избавиться от него, не произведя никаких изменений в своем законодательстве?

31. Достаточно ли для хорошего законодательства, чтобы оно обеспечило гражданам обладание собственностью, жизнью и свободой, чтобы оно установило меньше неравенства в распределении национального богатства и облегчило гражданам возможность удовлетворить свои потребности и потребности своей семьи умеренным трудом? ^a Не требуется ли также, чтобы это законодательство возбуждало в людях чувство соревнования; чтобы государство ввело для этой цели большие награды за большие таланты и большие добродетели? Способны ли еще эти награды, которые заключаются всегда в даровании чего-нибудь излишнего и которые были некогда источником стольких мужественных, великодушных поступков ^b, привести и теперь к тем же результатам и могут

^a Нелепо считать необходимость труда следствием первородного греха и как бы наказанием со стороны бога. Наоборот, эта необходимость есть милость неба. Что человек добывает себе пропитание трудом — это факт. Но разве для объяснения столь простого факта необходимо прибегнуть к каким-нибудь сверхъестественным причинам и всегда представлять человека какой-то загадкой? Если он некогда и казался такой загадкой, то все же необходимо признать, что с тех пор принцип интереса был настолько обобщен, было так успешно доказано, что этот интерес есть начало всех наших мыслей и всех наших поступков, что загадка наконец разгадана; для объяснения человека нет необходимости, как этого требовал Паскаль, прибегать к первородному греху.

^b Первоисточниками наших поступков, как правило, являются страх близкого наказания и надежда на близкое удовольствие. Люди, относясь почти всегда равнодушно к отдаленным бедствиям, не делают ничего, чтобы избавиться от них. Тот, кто не несчастен, думает, что таково его естественное состояние. Он воображает, будто сумеет всегда оставаться в нем. Поэтому он редко понимает пользу законов, предохраняющих от будущих несчастий. Сколько раз народы соглашались на уничтожение извест-

ли награды, назначаемые обществом (какого бы рода они ни были), считаются излишеством в удовольствии, способным испортить нравы?

ГЛАВА III

О ЧРЕЗМЕРНОСТИ УДОВОЛЬСТВИЙ

Нет дня, когда бы не говорили о *порче национальных нравов*. Что следует понимать под этим выражением?

«Отделение частного интереса от интереса общего».

Почему деньги, этот источник деятельности богатого народа, становятся так часто источником порчи нравов? Потому, что, как я уже сказал, общество не является единственным их распределителем; вследствие этого деньги часто служат наградой порока. Иное дело — награды, единственным распределителем которых является общество. Награды эти, будучи всегда даром национальной признательности, предполагают всегда некоторое благодеяние, услугу, оказанную отечеству, и, следовательно, некоторый добродетельный поступок. Подобный дар, какого бы рода он ни был, всегда поэтому теснее свяжет личный интерес с общим интересом.

Предположим даже, что прекрасная рабыня или наложница стала у какого-нибудь народа наградой за таланты, за добродетель, за мужество, — нравы народа не станут от этого более испорченными. В героические времена критяне наложили на Афины дань в виде десяти прекрасных девушек, от которых их освободил Тезей; в эпоху своих побед и своей славы арабы и турки требовали подобной же дани от побежденных ими народов.

Почитайте кельтские саги и романы, эти всегда правдивые картины нравов еще дикого народа. Можно узнать из них, как кельты выступали, подобно грекам, на завоевание прекрасной женщины и любовь не только не изнеживала их, но, наоборот, побуждала их выполнять самые смелые предприятия.

Всякое удовольствие, каково бы оно ни было, сделавшись наградой за великие таланты или великие доб-

ных привилегий, которые одни только гарантировали их от рабства. Свобода, подобно здоровью, есть благо, цену которого обыкновенно узнают, лишь потеряв его. Народы, слишком мало интересующиеся вообще сохранением своей свободы, благодаря своей беззаботности слишком часто доставляли тиранам средства для своего порабощения.

родители, может вызвать соревнование между гражданами и даже стать источником национальной деятельности и счастья. Но для этого необходимо, чтобы все граждане могли одинаково претендовать на них и чтобы удовольствия эти, распределяемые справедливо, всегда являлись наградой для человека, обнаружившего либо больше талантов в тиши кабинета, либо больше мужества на поле брани, либо больше добродетели в гражданской жизни.

Предположим, что устроены великолепные празднества и что для возбуждения соревнования между гражданами на них допускали бы лишь людей, уже отличившихся своим умом, своими талантами или своими поступками. Нет ничего такого, чтобы не заставило выразить желание получить туда доступ. Желание это будет тем сильнее, что о красоте этих празднеств неизбежно создастся преувеличенное представление, чему будет способствовать как тщеславие допущенных на них, так и неведение недопущенных.

Но, скажут, сколько несчастных людей окажется благодаря этому исключению! Меньше, чем можно думать. Все завидуют награде, получаемой благодаря интригам и связям, — это потому, что все вправе на нее претендовать. Но лишь немногие люди стремятся к награде, которая приобретается ценой больших трудов и опасностей.

Трус и лентяй не только не завидуют лаврам Ахилла или Гомера, но даже пренебрегают ими^а. Их тщеславие в утешение самим себе заставляет их видеть в людях с большим талантом или мужеством лишь безумцев, которых приходится, подобно свинцовых дел мастерам и саперам, дорого оплачивать, ибо они подвергаются большим опасностям и делают трудную работу. Мудро и справедливо, скажут трус и лентяй, щедро оплачивать подобных людей, но нелепо было бы подражать им.

Зависть, свойственная всем людям, является подлинным мучением лишь для тех, кто избрал то же поприще, что и человек, которому они завидуют, и если зависть — зло для них, то зло необходимое.

Но ведь я хочу, скажут, чтобы после тщательного изучения человеческого ума и сердца удалось решить проблему идеального законодательства; чтобы удалось

^а Светские люди вообще ничему не завидуют так мало, как талантам таких людей, как Вольтер или Тюрени; как мало ценят эти вещи — доказывают ничтожные усилия, делаемые для приобретения их.

пробудить во всех гражданах трудолюбие и те источники деятельности, которые побуждают их к великим делам; наконец, чтобы удалось сделать их максимально счастливыми.

А ведь, скажут, подобное совершенное законодательство является дворцом, построенным на песке: свойственное человеку непостоянство должно было бы вскоре разрушить это здание, возведенное гением, гуманностью и добродетелью.

ГЛАВА IV

ОБ ИСТИННЫХ ПРИЧИНАХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ НАРОДОВ

Следует ли считать многочисленные изменения в различных формах правления результатом непостоянства людей? Я знаю одно: по отношению к обычаям, законам и предрассудкам приходится жаловаться не на непостоянство человеческого духа, а на упорный консерватизм его.

Сколько требуется иногда времени, чтобы раскрыть глаза народу на ложную религию, гибельную для национального счастья! Сколько требуется времени, чтобы отменить закон, часто нелепый и противоречащий общественному благу!

Чтобы произвести подобные перемены, недостаточно быть королем, — надо быть мужественным и просвещенным королем и, кроме того, находить поддержку в благоприятных обстоятельствах.

Свидетельством против мнимого непостоянства народов является извечность, так сказать, законов, обычаев, прав Китая.

Предположим, что человек в действительности так непостоянен, как это утверждают, — его непостоянство обнаружилось бы в течение его жизни. Действительно, почему законы, которые почитались дедом, сыном, внуком, законы, выдержавшие в течение шести поколений испытание так называемого легкомыслия людей, стали бы вдруг подверженными этому легкомыслию.

Пусть установят законы, соответствующие общему интересу; они смогут быть уничтожены силой, мятежом, особым стечением обстоятельств, но никогда — непостоянством человеческого духа ^а.

^а Действие законодательства, скажут, должно быть длительным. Почему же сарацины, горевшие некогда теми сильными

Я знаю, что законы, по внешней видимости полезные, но в действительности вредные, рано или поздно отменяются. Почему? Потому, что в известный промежуток времени должен появиться просвещенный человек, который, будучи поражен несоответствием этих законов общему счастью, передаст свое открытие добросовестным умам своего века.

Открытие это вследствие медленного распространения истины передается от человека к человеку и становится общепризнанным лишь в следующем поколении. Старые законы тогда отменяются. Но отмена их есть результат не непостоянства людей, а здравости их ума.

Наконец, некоторые законы признаны дурными и недостаточными, но их держатся по привычке. В этом случае достаточно малейшего предлога, чтобы уничтожить их, и ничтожнейшее событие доставляет этот предлог. Можно ли сказать то же самое о действительно полезных законах? Нет, ни в одном обширном и цивилизованном обществе не отменили законов, карающих за воровство, убийство и т. д.

Но, скажут, столь прославленное законодательство Ликурга, законодательство, частично заимствованное из законов Миноса^а, просуществовало только 500 или 600

страстями, которые часто возвышают человека над самим собою, не являются теперь тем, чем они были когда-то? Потому, что их мужество и их одаренность не были следствием их законодательства, следствием гармонии между частным и общим интересом и, следовательно, не были результатом мудрого распределения земных наград и наказаний. Их добродетели не имели прочной основы. Они были плодом кратковременного религиозного энтузиазма, который должен был исчезнуть вместе с исчезновением особенного стечения обстоятельств, породивших его.

^а Немногие люди считают вместе с Ксенофонтом спартанцев счастливыми. Что за скучное занятие, говорят они, воинские упражнения, вечная возня с оружием! Спарта, прибавляют они, была каким-то монастырем. Все в ней регулировалось колокольным звоном. Но, отвечу я на это, разве звонок колокольчика, возвещающий ученику перемену, не нравится ему? Разве колокол делает монаха несчастным? Когда люди хорошо питаются, хорошо одеваются и не скучают, то всякое занятие одинаково хорошо и самое опасное занятие отнюдь не всегда наименее приятное. Истории готов, гуннов и т. д. говорят в пользу этой истины.

Римский посол, прибыв в стан Аттилы, услышал, как бард воспевал подвиги победителя. Он наблюдал, как молодые люди, окружив поэта, восхищались его стихами, вздрагивали от радости, слушая его рассказы о своих подвигах, между тем как старцы, расцарапывая себе лица, восклицали в слезах: «Как горестна

лет?^a Верно: может быть, оно и не могло существовать дольше. Как бы превосходны ни были законы Ликурга, какой бы гений, какую патриотическую добродетель и какое мужество они ни внушали спартамцам^б, но при том положении, в котором находился Лакедемон, законодательство это не могло сохраняться дольше без изменений.

Спартамцы, слишком малочисленные, чтобы сопротивляться персам, были бы рано или поздно подавлены массой их войск, если бы Греция, изобиловавшая тогда

наша судьба! Не имея необходимых для сражения сил, мы лишены счастья».

Таким образом, счастье встречается на арене войны точно так же, как и в убежищах мира. Почему нужно считать лакедемонян несчастными? Есть ли такая потребность, какой они не удовлетворяли бы? Но, говорят, они плохо питались. Доказательством обратного является то, что они были крепкими и сильными. Если к тому же время спартамцев проходило в упражнениях, которые занимали их, не слишком утомляя, то они были счастливы почти настолько, насколько только можно быть: гораздо более счастливы, чем жалкие, слабые крестьяне и праздные, скужающие богачи.

^a Учреждения Ликурга, подвергавшиеся незаметным изменениям, были, однако, окончательно уничтожены только силой. Римляне полагали, что они подчинили спартамцев лишь тогда, когда они уничтожили у них остатки этих учреждений, делавших их еще опасными для властителей мира.

^б Лакедемонян во все времена и во всех историях прославляли за их добродетели, но тем не менее их часто упрекали в жестокости по отношению к их рабам. Действительно, эти республиканцы, столь гордые своей свободой и столь чванные своим мужеством, обращались со своими илотами так же жестоко, как европейские народы обращаются теперь со своими неграми. Поэтому спартамцы могли показаться добродетельными или порочными в зависимости от подхода к рабам.

Если добродетель заключается в любви к отечеству и к своим согражданам, то спартамцы были, быть может, самым добродетельным народом.

Если добродетель заключается во всеобщей любви к людям, то же спартамцы были порочными.

Что же сделать, чтобы получить справедливое суждение о них?

Исследовать, возможно ли, чтобы до того момента, когда все народы составят, согласно желанию аббата Сен-Пьера, один большой народ, — возможно ли, чтобы патриотическая любовь не отличалась от любви к человечеству; разве не связано до сих пор счастье какого-нибудь народа с несчастьем другого народа? Можно ли, например, усовершенствовать промышленность какой-нибудь нации, не вредя торговле соседних наций, не подвергая их фабрикантов опасности умереть с голода? Когда истребляют людей, то разве имеет значение, делают ли это при помощи железа или голода?

великими людьми, не объединила своих сил для отражения общего врага. Что же случилось тогда? То, что Афины и Спарта оказались во главе федеративного союза греков.

Благодаря одинаковой выдержке и одинаковому мужеству обе эти республики одержали победу над Персией; они вызвали этим одинаковое восхищение собою со стороны всего мира, восхищение, которое должно было стать и стало источником их раздоров и их соперничества. Это соперничество породило бы только благородное соревнование между этими двумя народами, если бы они управлялись одинаковыми законами; если бы пределы их территории были отмечены неизменными границами; если бы они не могли раздвинуть их, не вооружив против себя все другие республики, и если бы, наконец, они не знали других богатств, кроме железных денег, которые Ликург разрешил употреблять.

Конфедерация греков не покоилась на столь прочной основе. Каждая республика имела свою особенную конституцию. Афиняне занимались одновременно войной и торговлей. Богатства, добытые ими в торговле, давали им средства воевать за пределами их родины. В этом отношении они имели большое преимущество над лакедемонянами.

Эти последние — гордый и бедный народ — с неудовольствием смотрели на то, в каких тесных границах нужда сдерживала их честолюбие. Желание властвовать, столь сильное у обоих этих соперничающих и воинственных государств, сделало эту бедность нестерпимой для спартанцев. Поэтому они мало-помалу отвернулись от законов Ликурга и заключили союзы с азиатскими государствами.

Когда же вспыхнула Пелопоннесская война, они еще более остро почувствовали нужду в деньгах. Персия предложила им деньги, лакедемоняне их приняли. Бедность, эта опора всего здания законов Ликурга, оторвалась тогда от их свода, и падение ее повлекло за собою падение государства. Тогда законы и нравы претерпели изменения, и эти изменения, как и последовавшие за ними бедствия, были результатом не непостоянства человеческого духа^а, а различной формы правления у греческих народов, несовершенства принципов их конфедерации и

^а Не непостоянство народов, а их невежество так часто влечет за собою крушение здания наилучших законов. Оно застав-

сохраненной за ними свободы вести междоусобные войны.

Это дало начало той последовательности событий, которая под конец увлекла их в пучину общей гибели.

Федеративный союз должен покоиться на более прочных принципах. Пусть разделят на 30 республик страну величиной с Францию или Парагвай^а. Предположим, что эти республики, управляемые одинаковыми законами, соединились между собою против внешних врагов; что границы их территории неизменно установлены; что они гарантировали друг другу эти границы, обеспечили друг другу свободу; что, кроме того, они приняли спартанские законы и нравы. Я утверждаю, что их объединенные силы и взаимная гарантия их свободы обеспечат их как от нашествия чужеземцев, так и от тирании их соотечественников.

Но допустим, что это законодательство наиболее способно сделать граждан счастливыми. Спрашивается: как сделать его вечным? Самое верное средство — предложить учителям во время уроков, правительственным лицам в публичных речах доказывать его превосходство^б. Если

ляет народ внимать советам честолюбцев. Достаточно раскрыть перед этим народом истинные принципы нравственности, доказать ему превосходство его законов и вытекающее из соблюдения их счастье, и эти законы станут священными для него, он станет уважать их из любви к своему счастью и из упорной привязанности к старым обычаям, свойственной вообще людям.

Всякое новшество, предлагаемое честолюбцами, последние мотивируют пустым предлогом об общественном благе. Просвещенный народ, всегда остерегающийся подобных новшеств, всегда отвергнет их. У него интересы меньшинства сильных сдерживаются интересами большинства слабых. Таким образом, честолюбие первых оказывается скованным, и народ, будучи всегда более сильным, когда он просвещен, остается верным законодательству, делающему его счастливым.

^а Парагвай — большая страна. Во времена иезуитов эта страна, если положиться на достоверные сообщения, была разделена на 30 округов и управлялась одними и теми же монахами. Но эти 30 округов образовали одно государство, силы которого могли по приказанию иезуитов объединиться против общего врага. Существование какого-нибудь факта доказывает возможность его — значит, предположение создания подобного государства не является абсурдным.

^б Необходимо, говорит Макнавелли, чтобы время от времени правительствам напоминали об их конститутивных принципах. Эту роль играют бедствия. Честолюбие Аппия, битвы при Каннах и Тразименском озере заставили римлян вспомнить о любви к отечеству. Учителем народов в этом отношении является лишь

превосходство этого законодательства будет установлено, то для него не будет опасно легкомыслие человеческого духа. Для того чтобы люди (если они даже так непостоянны, как это утверждают) смогли отменить установленные законы, они должны быть едины в своей воле. Но это объединение предполагает всеобщую заинтересованность в уничтожении этих законов и, следовательно, их большую нелепость.

Во всех других случаях само непостоянство людей, разделяя их по взглядам, препятствует единодушию их решений и, следовательно, обеспечивает длительное существование этих законов.

О государи, сделайте ваших подданных счастливыми! Заботьтесь о том, чтобы внушать им с детства любовь к общему благу; убедите их в превосходстве ваших законов на примерах истории всех времен и бедствий всех народов; докажите им (ведь нравственность доступна логическим доказательствам), что ваше управление наилучшее из всех возможных, — и вы навсегда наложите узы на их мнимое непостоянство.

Если государство Китая при всех своих недостатках все еще существует, и притом в неизменном виде, то что могло бы уничтожить то правительство, при котором люди были бы максимально счастливыми? Только завоевания или бедствия народов изменяют форму правления.

Всякое мудрое законодательство, гармонически объединяющее частные интересы с общественными и основывающее добродетель на выгоде отдельного индивида, несокруσιμο. Но возможно ли такое законодательство? А почему нет? Горизонт наших идей расширяется с каждым днем, и раз наука о законодательстве, подобно дру-

несчастье. Они могли бы выбрать для этого менее сурового наставника.

Почему бы даже в наизидание правителям не читать публично каждый год историю каждого закона и мотивы его установления? Почему бы не указать гражданам на те из законов, которым они главным образом обязаны обладанием своей жизнью, собственностью и свободой?

Народы любят свое счастье. При помощи такого чтения они прониклись бы духом предков и познали бы те наименее важные по внешности законы, которые избавляют их от рабства, нужды и деспотизма.

Каково бы ни было мнимое легкомыслие человеческого духа, но если дать нациям ясно понять взаимную зависимость, существующую между счастьем и сохранением законов, то, наверное, удалось бы обуздать их непостоянство.

гим наукам, участвует в прогрессе человеческого ума, то почему следует отчаиваться в будущем счастье человечества? Почему народы, все более просвещаясь с каждым веком, не сумеют достигнуть когда-нибудь всей полноты счастья, на какое они способны? Мне трудно было бы отказаться от надежды на это.

Для чувствительной души счастье людей представляет самое приятное зрелище. Рассматриваемое в перспективе будущего, это дело совершенного законодательства. Но если бы какой-нибудь смелый ум решился дать план его, то со сколькими предрассудками пришлось бы ему бороться! Сколько, могут сказать, предрассудков пришлось бы ему уничтожить и сколько опасных истин разоблачить!

ГЛАВА V

РАСКРЫТИЕ ИСТИНЫ ПАГУБНО ЛИШЬ ДЛЯ ТОГО, КТО ВЫСКАЗЫВАЕТ ЕЕ

Что представляет собою новая истина в области нравственности? *Новое средство увеличить или обеспечить счастье народов.* Что вытекает из этого определения? Что истина не может быть вредной.

Допустим, что какой-нибудь автор сделает открытие в этой области. Каковы будут его враги?

1. Те, кому он противоречит¹.
2. Те, кто завидует его славе.
3. Те, чьи интересы противоположны общественным интересам.

Когда министр увеличивает численность жандармерии, врагами его будут разбойники с большой дороги. Если разбойники эти могущественны, то министра станут преследовать. То же самое можно сказать о философе. Его советы имеют целью обеспечить счастье большинства; следовательно, врагами его будут те, кто обкрадывает государство, и их придется бояться.

Пусть я проник в интриги корыстолюбивого духовенства, расстроил замыслы жадных и честолюбивых монахов — там, где монахи могущественны, меня станут преследовать.

Пусть я доказал растрату, произведенную человеком, занимающим видное положение, — если я привел ясные доказательства, меня накажут. Месть сильного слабым всегда соразмерна правильности выдвинутых против него обвинений. Именно о сильных мира сего² Менипп^{1*}

сказал: «Ты сердишься, Юпитер, ты хватаешься за свою молнию, значит, ты не прав». Сильные мира обыкновенно тем более жестоки, чем они невежественнее. Если какой-нибудь турок станет в турецком диване доказывать, что нетерпимость магометанства влечет за собою сокращение населения в государстве, отталкивает греков; что деспотизм султана унижает народ; что корыстолюбие и вымогательство пашей лишают народ бодрости; что отсутствие дисциплины превращает его армию в жалкий сброд, как назовут этого верного гражданина? Мятежником; его предадут палачам. В Константинополе приговаривают к смертной казни за раскрытие истины, которая спасла бы государство от угрожающей ему близкой гибели, если бы султан задумался над нею. Афишируемая здесь иногда любовь к добродетели всегда лжива. В деспотических странах все пропитано лицемерием; здесь встречаются только маски, но не видно лиц.

Повсюду, где нация не обладает властью (а где она обладает ею?), защитник общественного блага — мученик открываемых им истин. Какая этому причина? Чрезмерное могущество некоторых членов общества. Пусть я представил публичному мнению новый взгляд. Публичное мнение, пораженное новизной взгляда, некоторое время в нерешимости и вначале не высказывает никакого суждения. Если в первый момент против меня поднимутся крики зависти, невежества и своекорыстного интереса, если меня не защитит закон или какая-нибудь важная особа, то я погиб: я — отверженный.

Таким образом, знаменитый человек всегда покупает славу в будущем страданиями в настоящем. Но зато сами эти страдания и насилия, которым он подвергнется, способствуют более быстрому распространению его открытий. Истина, всегда поучительная для внимающих ей, вредит лишь тому, кто ее сказал^а.

В области нравственности общественное благо связано со знанием истины.

^а *Не всякую истину, гласит пословица, хорошо говорить.* Но что означает здесь слово *хорошо*? Оно синоним слова *безопасно*. Кто говорит истину, несомненно, обрекает себя на преследование. Я согласен с тем, что это — неблагоприятный человек. Следовательно, неблагоприятный человек есть наиболее полезная разновидность людей. Он сеет за свой счет истины, плоды которых пожнут его сограждане. Бедствия достаются ему, а выгоды — им. Зато его всегда почитали истинные друзья человечества. Это — Курций, бросающийся ради них в пропасть.

О истина, ты — божество благородных душ! Добродетельные люди никогда не приписывали тебе переворотов в государствах и человеческих бедствий. Не с твоего стебля срывают горькие плоды пороков. Если истина просветит государей, то счастье и добродетель процветают под их владычеством.

ГЛАВА VI

ПОЗНАНИЕ ИСТИНЫ ВСЕГДА ПОЛЕЗНО

Человек всегда повинуется своему хорошо или плохо понятому интересу. *Это факт, и, будут ли замалчивать эту истину или высказывать ее, поведение человека всегда будет именно таково.* Таким образом, раскрытие этой истины не вредно. Но какая польза от нее? Очень большая. Законодатель, убедившись, что человек всегда поступает в соответствии со своими интересами, станет назначать такие наказания за преступления и такие награды за добродетель, что всякий отдельный человек будет заинтересован в том, чтобы быть добродетельным.

Этот законодатель, зная, что человек, заботясь о самосохранении, со страхом встречает опасность, станет отмечать трусость таким позором и бесславием, а мужество такими почестями, что в день битвы воин будет более заинтересован в том, чтобы сражаться, чем в том, чтобы бежать.

Какой-нибудь человек, думая только о своих приходах, промотал свое состояние, он оставил своих детей в нужде. Как бороться с этим злом? Выразить ему свое презрение: пусть узнают о нем другие люди. Покажите им те преступления, которые он может совершить, — они создадут законы, способные их пресекать^а, они сумеют, коротко говоря, связать достаточно тесным образом частные интересы с общественным интересом, чтобы заставить самих себя быть добродетельными.

Утверждают, что во всякой науке писатель должен искать истину и высказывать ее. Следует ли исключить отсюда науку о морали? Какова ее цель? Счастье большинства. В этой области всякая новая истина представляет лишь, как я уже сказал, новое средство улучшить

^а Законодатель, издающий законы, предполагает всех людей дурными, так как он желает, чтобы все одинаково подчинялись им.

положение граждан. Неужели желание для них счастья является преступлением? Такую точку зрения может защищать лишь бесчеловечный невежда или негодяй, которому выгодны страдания общества.

В нравственности следует обучать только истине. Но разве никогда нельзя заменить истину заблуждениями, если они полезны? Подобных заблуждений, как я докажу ниже, не существует. Даже религия не делает народы добродетельными. Пример этому — современные римляне. Единственной силой, движущей нас, является интерес. Кажется лишь, будто мы жертвуем своим счастьем ради счастья других; в действительности же мы никогда не жертвуем им. Реки не текут вспять, а люди не идут против быстрого течения их интересов. Кто попытался бы сделать это, был бы безумцем. Впрочем, подобные безумцы слишком малочисленны, чтобы оказать какое-нибудь влияние на массу общества в целом. Если требуется только создать добродетельных граждан, зачем для этого прибегать к невозможным, сверхъестественным средствам?

Издайте хорошие законы; они естественным образом приведут граждан к общему благу, позволяя им следовать непреодолимой склонности, влекущей их к их частному благу. Не человеческие пороки, их злоба и нечестность ведут народы к бедствиям, а несовершенство их законов и, следовательно, их невежество. Неважно даже, если люди порочны: достаточно им быть просвещенными, чтобы взаимный благотворный страх удерживал их в границах долга. У воров свои законы, и немногие из них нарушают их, потому что они следят друг за другом и подозревают друг друга. Законы делают все. Если бы какой-нибудь бог, говорят по этому поводу сямские философы, действительно сошел с неба, чтобы просветить людей в знании нравственности, то он дал бы им хорошее законодательство и это законодательство привело бы их необходимым образом к добродетели.

В нравственности, как и в физике, божество действует всегда в большом масштабе и при помощи простых средств.

Итог этой главы: истина, часто ненавистная неправедным вельможам, всегда полезна обществу. Но разве нет случаев, когда провозглашение ее может вызвать беспорядки в государстве?

О ТОМ, ЧТО РАСКРЫТИЕ ИСТИНЫ НИКОГДА
НЕ ВЫЗЫВАЕТ БЕСПОРЯДКОВ В ГОСУДАРСТВЕ

Управление плохо, народ страдает от этого и не перестает жаловаться. В этот момент появляется сочинение, которое показывает ему всю глубину его бедствий; народом овладевает возмущение, и он восстает. Пусть так. Но разве причиной восстания является названное сочинение? Нет, оно лишь характерно для исторического момента; причина же восстания заключается в общественных бедствиях народа. Если бы это сочинение появилось раньше, то правительство заранее было бы предупреждено и могло бы, смягчив страдания народа, предотвратить мятеж. Беспорядки следуют за раскрытием истины лишь в деспотических странах, потому что в этих странах решаются сказать истину лишь в момент, когда невыносимые и доведенные до крайности страдания не позволяют больше народу сдерживать свои вопли.

Если какое-нибудь правительство становится чрезмерно жестоким, то беспорядки носят тогда благотворный характер. Они как острые желудочные боли, которые причиняет больному излечивающее его лекарство. Освобождение народа от рабства стоит иногда государству меньше людей, чем их погибает на каком-нибудь плохо организованном публичном празднестве. В восстании дурна порождающая его причина: страдание во время кризиса объясняется вызывающей его болезнью. Если народ подпадает под иго деспотизма, то требуются усилия, чтобы избавиться от него, и эти усилия в данный момент — единственное благо для несчастных.

Верх несчастья — это не иметь возможности избавиться от него и страдать, не смея жаловаться. Найдется ли столь жестокий и глупый человек, чтобы назвать мирным принужденное молчание и спокойство рабов? Это мир, но мир гробниц.

Следовательно, раскрытие истины, характеризуя иногда исторический момент возникновения беспорядков и восстания, никогда не бывает их причиной. Знание истины, всегда полезное для угнетенных, полезно и для угнетателей: как я уже сказал, оно предупреждает их о народном недовольстве. В Европе ропот народов задолго предшествует их восстанию.

Их жалобы — это слышимые вдали раскаты грома. Его пока нечего бояться. Государь пока еще имеет время исправить свою несправедливость и примириться со своим народом. Иное приходится сказать о стране рабов. Султану подают жалобу, затаив в руке кинжал. Молчание рабов страшно. Это — тишина в воздухе перед грозой. Ветер еще молчит, но из черных недр неподвижной тучи в момент, когда сверкает молния, раздается удар грома — знак бури.

Молчание, налагаемое силой, — главная причина и бедствий народов, и гибели их угнетателей. Если поиски истины пагубны, то лишь для того, кто открывает ее. Такие люди, как Бюффон, Кенэ^{1*}, Монтескьё, открывали ее. Долго спорили о том, кому и чему отдать предпочтение: древним ли народам перед современными, французской музыке ли перед итальянской. Эти споры просветили вкус публики, но они не вооружили ни одного гражданина. Скажут, что эти споры касались лишь пустых предметов. Пусть так, но если бы люди не боялись закона, то они убивали бы друг друга из-за пустяков. Это показывают теологические споры, которые всегда сводятся к спорам о словах. Между тем сколько крови было пролито из-за них! Если я только могу на основании закона назвать священным рвением порывы моего тщеславия, то нет такой крайности, на которую оно не решилось бы. Религиозная жестокость свирепа. Что порождает ее? Новизна ли какого-нибудь теологического взгляда?³ Нет, свобода и безнаказанность нетерпимости⁴.

Пусть можно будет свободно рассуждать о всяких вещах так, чтобы каждый мог высказывать все то, что он думает, мог выступать с противоположным мнением и должен был со своей стороны выслушивать возражения; чтобы всякий оскорбивший своего собеседника был наказан в соответствии с тяжестью оскорбления. Тогда гордость спорщиков, сдерживаемая страхом перед законом, перестанет быть бесчеловечной.

Но в силу какого противоречия власти, связывающие руки граждан и запрещающие им насилие, когда речь идет о споре, затрагивающем те или иные интересы и взгляды, развязывают им руки, когда речь идет о схоластическом споре? Чем объяснить это? Духом суеверия и фанатизма, который чаще, чем дух справедливости и гуманности, вдохновлял дело издания законов.

Я изучил историю различных культов, я сосчитал все нелепости их, и я устыдился за человеческий разум, я устыдился того, что я человек. Я был поражен как теми бедствиями, которые порождает суеверие, так и той легкостью, с которой можно уничтожить фанатизм, всегда делающий религию столь пагубными для мира⁵. И я пришел к тому выводу, что бедствия народов можно всегда объяснить несовершенством их законов и, следовательно, незнанием ими некоторых истин нравственности. Эти всегда полезные истины не могут нарушить спокойствия государств. Еще одним доказательством этого является медленность их распространения.

ГЛАВА VIII

О МЕДЛЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИСТИНЫ

Истина, как показывает опыт, медленно завоевывает признание. Когда парижский парламент решился отменить смертную казнь за преподавание иной философии, кроме Аристотелевой?

Через 50 лет после того, как эта философия была забыта.

Когда медицинский факультет признал теорию кровообращения?

Через 50 лет после открытия Гарвея.

Когда этот самый факультет признал пользу картофеля?

После 100 лет опытов и когда уже парламент отменил постановление, запрещавшее продажу этого овоща^a.

А когда врачи признают пользу прививки оспы? Лет через 20 или около того.

Сотни фактов этого рода доказывают медленность распространения истины; однако она распространяется так, как она должна распространяться.

^a Парламент точно так же издал постановление против применения рвотного, а также против Бриссо, врача XVI в. Этот врач предложил вразрез с принятым методом делать кровопускание в случае плеврита с той стороны, где больной испытывает более сильные страдания. Старые врачи обжаловали этот новый метод в парламент, который объявил его нечестивым и запретил впредь пускать кровь со стороны, где имел место плеврит. Дело затем дошло до Карла V. Этот государь вынес бы такое же суждение, если бы в этот момент Карл III, герцог Савойский, не умер от плеврита после кровопускания по старому методу. Неужели дело властей выносить, подобно теологам, суждения о книгах и науках, в которых они ничего не понимают? Что получают они от этого? Только попадают в смешное положение.

Новая истина в качестве новой всегда идет вразрез с какими-нибудь общепринятыми обычаями или взглядами: вначале у нее мало сторонников, ее называют парадоксальной^а, считают заблуждением и отвергают, не выслушав ее.

Вообще люди высказывают свое одобрение или суждение наобум, и большинство их под влиянием предрассудков встречает даже истину как заблуждение, не исследуя ее.

Каким же образом новый взгляд достигает всеобщего признания? Если выдающиеся умы убедились в истине его, то они опубликовывают его, и эта истина, провозглашенная ими, становится с каждым днем более известной, признается под конец всеми, но лишь долгое время спустя после своего открытия, особенно если это нравственная истина.

Если люди с таким трудом поддаются доводам в пользу этих последних истин, то это потому, что им приходится иногда жертвовать не только нашими предрассудками, но и нашими личными интересами. Немногие люди способны на такую двойную жертву. Кроме того, истина этого рода, если она открыта одним из наших соотечественников, может быстро распространиться и принести ему массу почестей. Поэтому наша зависть, раздраженная этим, должна стремиться ее задушить. Книжки по вопросам морали, написанные во Франции и запрещенные в ней, служат теперь для просвещения иностранцев. Судить об этих книжках могут лишь люди, обладающие как знаниями, так и бескорыстием, необходимым для того, чтобы отличить истину от лжи. Но просвещенные люди всюду редки, а бескорыстные — еще более редки, и их можно встретить только за границей. Нравственные истины распространяются лишь медленными волнообразными колебаниями. Истины эти ниспадают на землю, если можно так выразиться, как камень падает в середину озера: воды, разбитые в месте соприкосновения с ним, расходятся кругами все большего и большего размера, которые, непрерывно увеличиваясь, под конец разбиваются о берег.

^а Появляется превосходное сочинение по философии. Первое суждение о нем, вынесенное под влиянием зависти, гласит, что принципы его ложны и опасны; второе — что высказанные в нем идеи общеизвестны. Горе книге, о которой вначале говорят слишком много хорошего. Молчание завистников и глупцов свидетельствует о том, что она посредственна.

Нравственная истина, распространяясь кругами на различные классы граждан, становится наконец известной всем тем, кто не заинтересован в том, чтобы ее отвергнуть.

Для установления этой истины достаточно, чтобы сильные мира не противились провозглашению ее, и именно этим истина отличается от заблуждения.

Последнее распространяется при помощи насилия. Истину почти всех религий доказывали с оружием в руках, и именно это сделало религии бичом духовного мира.

Истина утверждается без насилия, несомненно, медленно, но зато и не порождая беспорядков. Истина проникает с трудом лишь к невежественным нациям, ибо невежество менее послушно, чем думают.

Предложите невежественному народу полезный⁶, но новый закон — закон этот будет отвергнут без всякого исследования. Он сможет даже вызвать восстание⁷ у этого народа, который, будучи невежественным благодаря рабоществу, тем более склонен к возмущению, чем чаще подавал к этому повод деспотизм.

Наоборот, предложите этот самый закон просвещенному народу, у которого печать свободна, у которого предчувствуют уже пользу этого закона и желают провозглашения его, — он будет принят с признательностью образованной частью народа, которая сумеет сдержать другую часть его.

Из этой главы следует, что сама медленность распространения открытой истины мешает ей вызвать беспорядки в государстве. Но нет ли таких форм правления, при которых познание истины может быть опасным?

ГЛАВА IX О ПРАВИТЕЛЬСТВАХ

Если всякая моральная истина есть лишь способ *увеличить или обеспечить счастье большинства и если цель всякого правительства есть общее счастье*, то нет такой моральной истины, опубликование которой не было бы желательным⁸. Все разногласия по этому поводу связаны с неопределенным значением слов *правительство, форма правления*. Что такое форма правления? *Совокупность законов или соглашений между гражданами одного и того же народа*. Но эти законы и соглашения либо противоречат общему интересу, либо соответствуют ему. По-

этому есть только две формы правления: одна — хорошая, другая — дурная, и к ним я свожу все формы правления. Но говорить, что в совокупности соглашений, составляющих их, нельзя изменить законов, вредных для народа, что такие законы священны, что они не могут быть преобразованы законным образом, — это все равно что утверждать, будто нельзя изменить режим, вредный для здоровья, будто преступление промывать рану и не следует мешать тому, чтобы в ней возникла гангрена⁹.

Кроме того, если решительно всякое правительство не может ставить себе иной цели, кроме счастья большинства граждан, то ничто способное сделать их счастливыми не может противоречить его конституции¹⁰. Противиться всякой полезной государству реформе может только тот, кто строит свое величие на унижении своих сограждан, на несчастье своих ближних и хочет добиться бесконтрольной власти над ними. Что касается добродетельного гражданина, этого друга истины и отечества, то он не может иметь интересов, противоречащих национальному интересу. Кто счастлив счастьем государства и гордится его славой, тот тайне желает исправления всех злоупотреблений. Известно, что, совершенствуя науку, ее вовсе не уничтожают и что, реформируя правительство, его не разрушают.

Предположим, что в Португалии начали бы больше уважать обладание собственностью, жизнью и свободой подданных; стало ли бы от этого правительство менее монархическим? Предположим, что в этой стране уничтожили бы инквизицию и королевские предписания об аресте (*Lettres de cachet*), что ограничили бы чрезмерную власть некоторых сановников. Означало ли бы это изменение формы правления? Нет, этим исправили бы только некоторые злоупотребления. Какой добродетельный монарх не согласился бы на подобную реформу! Неужели можно сравнивать европейских королей с невежественными азиатскими султанами, этими вампирами, которые сосут кровь своих подданных и которых раздражает всякое противоречие? Предположить, что твой государь усвоил принципы восточного деспотизма, — это значит нанести ему величайшее оскорбление. Просвещенный государь никогда не видел в самовластии — то ли одного человека, как в Турции, то ли группы людей, как в Польше, — нормальной конституции для государства. Присваивать это звание жестокому деспотизму — все рав-

но что называть правительством шайку воров¹¹, которая под руководством одного или нескольких вожakov грабит провинции, где они живут.

Всякий акт самодержавия несправедлив. Власть, добытая силой и сохраняющаяся при помощи силы¹², — это такая власть, которую сила вправе отвергнуть. Как бы ни назывался враг нации, последняя всегда вправе вступить с ним в борьбу и уничтожить его.

Словом, если задача наук о нравственности и политике сводится к изысканию средств сделать людей счастливыми, то в этой области нет истин, знание которых могло бы быть опасным.

Но есть ли благо народов благо государей?

ГЛАВА X

НИ ПРИ КАКОЙ ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ БЛАГО ГОСУДАРЯ НЕ ЗАВИСИТ ОТ БЕДСТВИЙ НАРОДОВ

Самодержавие, которым так дорожат, по-видимому, некоторые монархи, есть лишь излишество власти, которая, ничего не прибавляя к их счастью, делает несчастными их подданных. Благо государя не зависит от его деспотизма. Часто государь порабощает свои народы и навлекает на себя угрозу заговора снисходительностью к своим любимцам ради того, чтобы доставить удовольствие и удовлетворить прихоти каких-нибудь пяти или шести лиц.

Португалия показывает нам, каким опасностям подвергаются даже в наше время государи. Самодержавие, этот бич народа, не обеспечивает ни счастья, ни жизни монархов. Следовательно, их благо не связано по существу с бедствиями их подданных. Почему же не говорить государям этой истины и оставлять их в неведении относительно того, что умеренная монархия — наиболее желательная монархия¹³, что государь велик лишь величием своих народов, силен лишь их силой, богат лишь их богатствами; что его правильно понятый интерес связан по существу с их интересами и, наконец, что его обязанность — сделать их счастливыми?

«Силой оружия, — сказал один пидус Тамерлану, — мы подчинены тебе. Если ты купец, продай нас. Если ты мясник, убей нас. Если ты государь, то сделай нас счастливыми».

Найдется ли такой государь, который способен был бы без ужаса слышать, как постоянно повторяют вокруг него следующие замечательные слова одного араба.

Этот человек, измученный бременем налогов, не мог прокормить ни себя, ни своей семьи. Он подал жалобу калифу, который на это рассердился, и араб был приговорен к смертной казни. Следуя к месту казни, он встретил по дороге одного служителя из парской кухни. «Для кого это мясо?» — спросил осужденный. «Для собак калифа», — ответил служащий. *«Насколько лучше, — воскликнул араб, — положение собак деспота, чем положение его подданных!»*

Найдется ли такой просвещенный государь, который способен был бы выслушать подобный упрек и согласился бы, добившись бесконтрольной власти над своими народами, обречь себя на жизнь с рабами?

Человек в присутствии деспота теряет мужество и лишается собственных взглядов.

Тахмасп Кули-хан ужинал с одним из своих любимцев. Ему подали блюдо с какими-то новыми овощами. «Нет ничего лучше и здоровее этого блюда», — сказал государь. «Нет ничего лучше и здоровее», — сказал царедворец. После обеда Кули-хан почувствовал себя плохо и не мог уснуть. «Нет ничего, — сказал он, встав утром, — хуже и вреднее этих овощей». «Нет ничего хуже и вреднее», — сказал царедворец. «Но ведь вчера ты не думал этого, — заметил государь. — Что заставило тебя изменить свой взгляд?» «Испытываемое мною уважение и страх, — возразил любимец. — Я могу безнаказанно хулить это блюдо: я — раб твоего высочества, но не раб этих овощей».

Деспот подобен Горгоне: он превращает в камень даже мысль человека^а. Подобно Горгоне, он — ужас мира.

^а Найдется ли даже среди христиан такой государь, который по примеру калифа Хаккама позволил бы судьям указывать на совершенные ими несправедливости?

«Одна бедная женщина владела в Джере небольшим участком земли, примыкавшим к садам Хаккама. Этот государь пожелал расширить свой дворец. Он велел предложить этой женщине уступить ему свой участок. Но она, желая сохранить наследие своих отцов, отказалась от предложения. Тогда управляющий садами силой занял участок, который она не хотела продать.

Женщина в слезах отправилась в Кордову умолять о правосудии. Кадием города был тогда Ибн-Бехер. Закон был, безусловно, на стороне женщины, но что могут сделать законы с человеком, считающим себя выше их? Однако Ибн-Бехер не потерял надежду выиграть дело. Он сел на осла, взял с собою огромный мешок

Неужели же его судьба столь завидна? Деспотизм — это ярмо, одинаково тягостное как для того, кто носит его, так и для того, кто налагает его. Если войско покинет деспота, то самый жалкий из рабов станет равным ему, начнет бить его и скажет ему:

«Твоя сила была твоим правом; твоя слабость — твоё преступление».

Но спрашивается: положим, что государь находится в заблуждении по этому вопросу и связывает своё благо с самодержавием; появится сочинение, которое, излагая намерение государя, раскрывает народу глаза на грозящие ему несчастья, — разве этой книги достаточно, чтобы вызвать беспорядки и восстания? Нет, ведь пагубные следствия деспотизма описаны повсюду. Римская история, даже само Священное писание дают в сотнях мест самую ужасную его картину, и чтение всего этого никогда не приводило к перевороту. Только бесчисленные и длительные фактические бедствия, причиняемые деспотизмом, придают иногда народу мужество, необходимое для того, чтобы избавиться от этого ярма. Только жестокость султанов постоянно вызывает восстания. Все троны Востока обогреты кровью своих владык. Кто пролил эту кровь? Рука рабов.

Простое обнародование истины не вызывает сильных потрясений. Кроме того, мир выгоден в зависимости от цены, которой его покупают. Война, разумеется, зло, но неужели граждане должны ради того, чтобы избежать его, позволить без борьбы отнять у себя свою жизнь, своё состояние, свою свободу? Враждебный государь собирается с оружием в руках поработить народ; неужели этот

и явился в таком виде к Хаккаму, сидевшему тогда в павильоне, построенном на участке этой женщины.

Появление кади с мешком на плечах удивило государя. Ибн-Бехер, простершись перед Хаккамом, попросил у него разрешения наполнить свой мешок землей, на которой он стоял. Калиф согласился на это. Наполнив мешок, кади попросил государя помочь ему взвалить этот мешок на осла. Эта просьба удивила Хаккама. «Этот мешок слишком тяжел», — заметил он. «Государь, — возразил тогда Ибн-Бехер с благородной смелостью, — если вы находите столь тяжелым этот мешок, который содержит лишь ничтожную часть земли, несправедливо отнятой у одной из ваших подданных, то как снесете вы в день страшного суда всю эту землю, которую вы похитили?» Хаккам не только не наказал кади, но благородно признал свою вину и вернул женщине участок, которым он завладел, вместе со всеми постройками, которые он приказал возвести на нем».

народ покорно склонит голову под иго рабства? Тот, кто предложил бы это, был бы трусом. Как бы ни назывался похититель моей свободы, я должен защищать ее против него.

Нет такого государства, форма правления которого не могла бы подвергнуться реформе, часто столь же необходимой, как и неприятной некоторым людям. Неужели правительство откажется произвести ее? Неужели в надежде на ложное спокойствие оно принесет вельможам в жертву общее благо и под пустым предлогом сохранения мира отдаст государство на разграбление воров?

Существуют, как я уже сказал, необходимые бедствия. Нет такого исцеления, которое было бы безболезненно.

Если мы страдаем при лечении, то не столько от лекарства, сколько от болезни.

Нерешительность, жалкое соглашательство были часто более пагубными для общества, чем даже восстания. Можно, не оскорбляя добродетельного государя, установить границы его власти; можно показать ему, что закон, провозглашающий общее благо первым из законов, есть священный, нерушимый закон, который даже он должен уважать; что все прочие законы представляют лишь различные средства обеспечить исполнение этого первого закона; что, наконец, существует взаимная зависимость между счастьем народов и счастьем государей и бедствия подданных приносят несчастье государю. Отсюда я заключаю:

действительно вредная для государей вещь — это ложь, которая скрывает от них болезни государства;

действительно выгодная для него вещь — истина, показывающая ему надлежащее лечение и дающая лекарство от этих болезней.

Таким образом, раскрытие истины только полезно. Но, скажут, разве человек должен открывать ее другим людям, если это так опасно для него?

ГЛАВА XI

О ТОМ, ЧТО СЛЕДУЕТ ГОВОРИТЬ ИСТИНУ ЛЮДЯМ

Если бы я заглянул в связи с этим вопросом в творения блаженного Августина и св. Амвросия, то я сказал бы вместе с первым:

«Если истина вызывает соблазн, то пусть лучше она породит соблазн, чем отказаться от истины»^а.

Я повторил бы вместе со вторым:

«Защитник истины лишь тот, кто, узрев ее, высказывает ее без страха и без всякого стыда»^б.

Я прибавил бы наконец, что «истина может на время быть затемнена заблуждением, но ее свет рано или поздно пробивается сквозь тучи»^в.

Но я не собираюсь здесь апеллировать к авторитетам. Мы должны относиться с почтением, но не со слепой верой к взглядам знаменитых людей. Поэтому надо тщательно исследовать их взгляды, и, сделав это исследование, надо составить себе суждение не на основании их слов, а на основании указаний собственного разума. Я полагаю, что сумма трех углов треугольника равна двум прямым не потому, что это сказал Эвклид, но потому, что я могу доказать истинность этого.

Чтобы узнать, следует ли действительно говорить истину людям, достаточно даже спросить об этом людей, занимающих видное положение. Все они признают, что для них важно знать истину и что только знание ее дает им средство увеличить и обеспечить общее счастье. Но если каждый человек должен в качестве гражданина содействовать всеми силами счастью своих сограждан, то, зная истину, он должен высказывать ее.

Спрашивать, следует ли говорить истину людям, — все равно что спрашивать в скрытой форме, дозволено ли быть добродетельным и делать добро ближним.

Но обязанность говорить истину предполагает возможность ее открыть. Следовательно, правительства должны облегчать средства к этому, а самое надежное из всех средств — это свобода печати.

ГЛАВА XII О СВОБОДЕ ПЕЧАТИ

Физические науки обязаны своим совершенством наличию противоречивых мнений и, следовательно, свободе печати. Отнимите только эту свободу, и сколько освященных

^а Si de veritate scandalum, utilius permittitur nosci scandalum quam veritas relinquatur.

^б Ille veritatis defensor este debet qui cum recte sentit, loqui non metuit, nec erubescit.

^в Occultari potest ad tempus veritas, vinci non potest. S. Aug.

временем заблуждений начнут рассматриваться как бесспорные аксиомы! То, что я говорю о физике, применимо к нравственности и к политике.

Если мы желаем в этой области убедиться в истинности своих взглядов, то надо иметь возможность высказывать их. Их надо испытать на пробном камне противоречия. Поэтому печать должна быть свободна. Власти, стесняющие ее, противятся усовершенствованию нравственности и политики; они грешат против своего народа^а, они душат в самом их зародыше счастливые идеи, которые породила бы эта свобода. Кто может оценить, насколько велика эта потеря? Одно только можно сказать в связи с этим, а именно что свободный народ, мыслящий народ всегда повелевает народами, которые не мыслят^б. Следовательно, государь должен говорить народу истину, ибо она полезна, и дать ему свободу печати, ибо это — средство открыть истину. Повсюду, где нет этой свободы, невежество, подобно глубокой ночи, охватывает все умы. В этом случае поклонники истины, занимаясь поисками ее, боятся, однако, открыть ее. Они понимают, что, после того как она будет открыта, придется либо замалчивать ее, либо трусливо замаскировать, либо пойти на риск преследований. Но все люди боятся этого. Если для общества всегда выгодно знать истину, то для отдельного человека не всегда выгодно говорить ее.

Большинство правительств еще призывает граждан искать истину, но почти все правительства наказывают их за открытие ее. Мало найдется людей, готовых в течение продолжительного времени пренебрегать ненавистью власть имущих из чистой любви к человечеству и к истине. Вследствие этого мало учителей раскрывают истину своим ученикам. Образование, даваемое теперь в школах и семинариях, сводится к чтению каких-нибудь житий святых, к знанию некоторых софизмов, способных усилить суеверие, извратить умы и ожесточить сердца. Людям необходимо теперь иное воспитание. Пора заменить ничего не дающую систему образования более осно-

^а Тот, кто отдает свои идеи на суд своих сограждан, должен опубликовать все те идеи, которые он считает истинными и полезными. Умалчивание о них — признак преступного равнодушия.

^б О чем говорит за границей запрещение свободно говорить и писать? О том, что правительство, издавшее это запрещение, несправедливо и дурно. Англия, правительство которой считается вообще наилучшим, есть та страна, где граждане в этом отношении наиболее свободны.

вательной; пусть обучают граждан их обязанностям по отношению к себе самим, к их ближним, к их отечеству; пусть им объяснят всю нелепость религиозных споров^а, объяснят, как важно для них усовершенствовать нравственность и, следовательно, обеспечить себе свободу мысли и печатного слова.

Но разве эта свобода не приведет к массе странных взглядов? Это не страшно. Разуму нетрудно будет опровергнуть эти взгляды тотчас же после их появления, и они не смогут нарушить мир государства.

Нет таких вздорных предлогов, которыми лицемерие и тирания не прикрыли бы желание заставить молчать просвещенных людей; и в этих пустых предложениях ни один доброжелательный гражданин никогда не мог бы увидеть законный мотив к тому, чтобы замалчивать истину.

Оглашение истины может быть ненавистным лишь тем обманщикам, к которым слишком часто прислушиваются государи и которые изображают просвещенный народ мятежным, а невежественный народ послушным.

Что говорит по этому вопросу опыт? Что всякая образованная нация остается глухой к пустым призывам фанатизма и что несправедливость побуждает ее к восстанию.

Я возмущаюсь в том случае, когда меня лишают собственности, жизни и свободы; в этом случае раб восстает с оружием против своего господина. Врагами истины являются лишь враги общего блага. Только дурные люди противятся опубликованию ее.

Но недостаточно показать, что истина полезна, что человек должен говорить ее другим людям и что печать должна быть свободна. Надо, кроме того, указать на те бедствия, которые порождаются в государствах вследствие равнодушия к истине.

ГЛАВА XIII

О БЕДСТВИЯХ, ПОРОЖДАЕМЫХ РАВНОДУШИЕМ К ИСТИНЕ

В политическом организме, как и в организме человеческого, должно в известной степени иметь место брожение, чтобы поддержать в нем движение и жизнь.

^а Возьмем вопрос о религии. Почему надо запрещать рассмотрение ее? Если она истинна, то она способна выдержать испытание посредством дискуссии. Если она ложна, то бесполезно защищать религию, мораль которой труслива и жестока, а культ обременителен для государства из-за чрезмерных расходов, требующихся на содержание его служителей.

Равнодушие к славе и к истине порождает застой в душах и умах. У всякого народа, доведенного формой своего правления или глупостью своих правителей до такого состояния равнодушия, нет места ни для больших талантов, ни для больших добродетелей^а. Возьмем в качестве примера жителей Индии. Что значат эти люди по сравнению с энергичными и трудолюбивыми жителями берегов Сены, Рейна или Темзы!

Невежественные, равнодушные к истине, несчастные, бессильные по отношению к чужеземцам, индусы являются рабами деспота, одинаково неспособного дать им счастье во время мира и повести их против врага во время войны^б.

Какая разница между теперешней Индией и прежней столь прославленной Индией, этой колыбелью искусств и наук, которая была населена людьми, жадно стремившимися к славе и к истине. Презрение, испытываемое к этому народу, напоминает о том презрении, которое должен ожидать всякий народ, загнивающий, подобно индусам, в лени и равнодушии к славе.

Кто считает невежество выгодным для правительства, а заблуждение полезным для него, тот недооценивает их последствий. Он не обращался за советом к истории. Он не знает, что заблуждение, оказавшееся ему временно полезным, слишком часто становится зародышем величайших бедствий.

Над вершиной гор показывается белое облачко; только опытный путешественник узнаёт в нем вестник урагана — он торопится найти себе ночлег. Он знает, что об-

^а Добродетели покидают те места, откуда изгнана истина. Они не встречаются в тех государствах, где рабы называют *солнцем справедливости* самых несправедливых и жестоких тиранов, где страх диктует людям панегирики. Какие идеи о добродетели могут составить себе злополучные царедворцы в тех странах, где государей тем более хвалят, чем более бояться?

^б Когда в какой-нибудь восточной стране вспыхивает война, султан, укрывшись в своем серале, приказывает своим рабам идти погибать ради него на границу. Он не желает даже вести их туда. Возможно ли, говорит по этому поводу Макиавелли, чтобы монарх уступил своим фаворитам самую благородную из своих функций — функцию полководца? Неужели он не знает, что, заинтересованные в продлении своей власти, они заинтересованы также в продлении войны? Но какую потерю людей и денег влечет за собою затягивание ее! Кроме того, какому риску подвергается победоносная нация, упустившая момент для разгрома своего врага!

лако это, опустившись с вершины гор в долину, вскоре закроет ужасным грозовым мраком чистое, ясное небо, которое еще сияет над его головой.

Таким белым облачком является заблуждение, в котором лишь немногие люди подмечают предвещаемые им бедствия. Мудрец предвидит эти бедствия, скрытые от невежды. Он знает, что одно-единственное заблуждение может довести народ до отупения, может затмить весь горизонт его идей; несовершенная идея божества часто приводила к этим результатам.

Заблуждение, гибельное само по себе, особенно опасно по своим последствиям. Одно заблуждение чревато многими другими.

Всякий человек более или менее сравнивает между собою свои идеи. Если он остановился на какой-нибудь ложной идее, то из сочетания ее с другими идеями получаются новые и неизбежно ложные идеи; сочетаясь в свою очередь со всеми теми идеями, коими загружена его память, они придают им более или менее выраженный оттенок ложности.

Примером этого являются богословские заблуждения. Достаточно одного, чтобы извратить всю массу идей человека, чтобы породить бесчисленное множество странных и уродливых взглядов, всегда неожиданных, подобно тому как до родов нельзя предсказать рождение уродца.

Есть тысячи видов заблуждений. Истина, наоборот, едина и проста; ее продвижение всегда совершается единообразно и последовательно. Здравый ум заранее знает путь, которому она должна следовать^а. Иное дело — заблуждение, движущееся всегда столь непоследовательно и неправильно: его теряют каждую минуту из виду; его появление всегда неожиданно, и поэтому нельзя предупредить его результатов.

Чтобы заглушить семена заблуждения^б, сколько бы законодатель ни побуждал людей искать истину, это никогда не будет лишним.

^а Если принципы просвещенного министра известны, то можно почти во всех случаях предсказать его поведение. Поведение глупца невозможно угадать. Оно определяется каким-нибудь визитом, какой-нибудь остротой, какой-нибудь вспышкой нетерпения; этим и объясняется поговорка, что *только бог может угадать глупцов*.

^б Дабы уничтожить заблуждение, нужно ли заставить его молчать? Нет. А что же? Дать высказать его. Заблуждение, бу-

Всякий порок, говорят философы, есть заблуждение ума. Преступления и предрассудки — братья; истины и добродетели — сестры. Но в чем источник истины? В противоречии и в споре. Свобода мысли приносит плоды истины: эта свобода возвышает душу, порождает возвышенные мысли; наоборот, страх принижает ее и порождает только низменные идеалы.

Но как бы полезна ни была истина, предположим, однако, что некоторый народ, увлекаемый к гибели недостатками своего правительства, мог бы избежать ее лишь путем значительного изменения своих законов, нравов и привычек. Требуется ли, чтобы законодатель попытался произвести эти изменения? Должен ли он сделать несчастными своих сограждан для того, чтобы заслужить уважение потомства? Словом, следует ли прислушиваться к истине, которая советует обеспечить счастье будущих поколений ценой несчастья настоящего поколения?

ГЛАВА XIV

О ТОМ, ЧТО СЧАСТЬЕ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ НИКОГДА НЕ СВЯЗАНО С НЕСЧАСТЬЕМ НАСТОЯЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Чтобы показать нелепость этой гипотезы, рассмотрим, из чего состоит то, что называют настоящим поколением:

- 1) из множества детей, не усвоивших еще никаких привычек;
- 2) из юношей, способных легко изменить их;
- 3) из людей зрелого возраста, многие из которых уже предчувствовали и одобрили предлагаемые реформы;
- 4) из стариков, для которых всякая перемена взглядов и привычек действительно невыносима.

Что вытекает из этого перечисления? Что мудрая реформа в нравах, законах и форме правления может не понравиться старикам, людям слабым, с укоренившимися привычками. Но реформа эта, будучи полезна для будущих поколений, полезна также для большинства лиц,

дучи непонятным само по себе, отвергается всеми здравомыслящими людьми. Если время не придало ему веса, если правительство не покровительствует ему, то оно не способно выдержать критическое исследование. В конце концов разум задает тон повсюду, где люди свободно руководствуются им в своих высказываниях.

составляющих настоящее поколение. Следовательно, она никогда не противоречит теперешнему всеобщему интересу нации.

Кроме того, общеизвестно, что неистребимые заблуждения в государствах являются результатом не нашего сострадания к старикам, но плохо понятого интереса сильных мира сего. Эти последние, относясь с одинаковым равнодушием к благу и настоящего поколения и будущего^а, требуют, чтобы его приносили в жертву ради их малейших прихотей; они требуют этого, и им повинуются.

Однако какое бы высокое положение ни занимал отдельный человек, превыше всего следует почитать нацию, а не его. Бог, говорят, умер ради спасения всех. Поэтому не следует приносить в жертву прихоти одного благо всех; наоборот, надо жертвовать всеми личными интересами ради общего интереса. Но, скажут, эти жертвы иногда жестоки. Да, если делом занимаются бесчеловечные или невежественные люди. Если общее благо требует причинения зла отдельному индивиду, то следует относиться с величайшим состраданием к его несчастному положению. Для облегчения его надо сделать все, что только можно. В этом случае государь должен обнаружить всю свою справедливость и гуманность. Все несчастные имеют право на его благодеяния; он обязан смягчить их страдания. Горе суровому и жестокому человеку, который отказал бы гражданину даже в таком утешении, как обращение с жалобой. Стремление жаловаться, свойственное всем страдающим, всему живущему, всегда законно.

Я не хочу, чтобы страдания несчастных мешали государю заботиться об общественном благе. Но я хочу, чтобы он попутно осушал слезы страдальца и чтобы одна только любовь к отечеству брала у него при всей его сострадательности верх над любовью к отдельным лицам.

Подобный государь, оставаясь всегда другом несчастных, занятый всегда счастьем своих подданных, никогда не станет считать опасным раскрытие истины.

^а Мудрое правительство всегда готовится через благо настоящего поколения благо будущего поколения. О старости и о молодости сказано, что «первая предвидит слишком много, а вторая — слишком мало, что сегодняшний день — это возлюбленная юноши, а завтрашний день — возлюбленная старика». Поведение государства должно походить на поведение стариков.

Какой же вытекает вывод из всего сказанного мною по этому вопросу?

Что открытие истины всегда полезно обществу и никогда не бывало вредным для него, кроме того, кто открыл ее.

Что раскрытие истины не нарушает мира государств; ручательством этого является сама медленность распространения истины.

Что при всякой форме правления важно знать истину.

Что существуют, собственно говоря, лишь два рода правительств: одни — хорошие, другие — дурные.

Что ни при одном из них счастье государя не связано с несчастьем его подданных.

Что если истина полезна, то ее следует говорить людям.

Что, следовательно, всякое правительство должно облегчать способы открывать ее.

Что самый надежный из всех способов — это свобода печати.

Что этой свободе обязаны своим совершенством науки.

Что равнодушие к истине есть источник заблуждений, а заблуждение есть источник общественных бедствий.

Что ни один друг истины не станет предлагать принести в жертву счастье настоящего поколения ради счастья будущего поколения.

Что подобная гипотеза невозможна.

Наконец, что только от раскрытия истины можно ожидать будущего счастья человечества.

Из этих различных положений следует, что так как никто не имеет права причинять зло обществу, то никто не имеет права противиться оглашению истины, и особенно основных принципов нравственности.

Предположим, что кто-либо, пользуясь своей силой, добился власти над нацией. С этого момента нация коснеет в незнании своих истинных интересов. Из законов принимаются только законы, благоприятные для корыстолюбия и тирании вельмож. Общественное дело остается без защитников. Таково теперешнее состояние народов в большинстве государств. Это состояние тем более ужасно, что нужны века, чтобы вывести их из него.

Впрочем, пусть лица, которым выгодны общественные бедствия, еще не страшатся никакого близкого пере-

ворота. Заблуждение падает не под ударом истины, но под ударами самых сильных мира. Оно погибает в тот момент, когда государь сольет свои личные интересы с интересом общества. До тех пор напрасно будут показывать истину людям. Они никогда не узнают ее. Если люди руководствуются в своем поведении и в своих верованиях лишь минутным интересом, то как им при его неверном и колеблющемся свете отличить ложь от истины?

ГЛАВА XV

О ТОМ, ЧТО ОДНИ И ТЕ ЖЕ ВЗГЛЯДЫ КАЖУТСЯ ИСТИННЫМИ ИЛИ ЛОЖНЫМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ЛИ МЫ СЧИТАТЬ ИХ ТЕМИ ИЛИ ИНЫМИ

Все люди признают истину геометрических аксиом. Потому ли это, что они доказаны? Нет, но потому, что люди относятся равнодушно к их ложности или истинности и несколько не заинтересованы в том, чтобы считать ложное истинным. Предположим, что их интересы задеваются этими аксиомами. Тогда наиболее явно доказанные положения будут казаться им спорными. В случае необходимости станут доказывать, что содержащее больше содержащего. Примеры таких фактов дают нам некоторые религии.

Если какой-нибудь католический богослов поставит себе задачей доказать, что есть палка без двух концов, то это не составит для него никакого труда. Сначала он станет различать два сорта палок — палки духовные и палки материальные. Он будет туманно рассуждать о природе духовных палок, он придет к выводу, что существование таких палок есть тайна, не противоречащая разуму, не стоящая выше его. И тогда очевидное положение^а, что «не существует палки без двух концов», станет спорным.

^а Все говорят об очевидности, пользуясь случаем, я попытаюсь связать с этим словом отчетливое представление.

Очевидность (evidence) происходит от латинского слова *videre* — видеть. Туаз^{1*} больше фута — я вижу это. Вообще всякий факт, существование которого я могу констатировать таким образом, с помощью своих органов чувств, очевиден для меня. Но очевиден ли он также для тех, кто не в состоянии убедиться в этом путем свидетельства своих чувств? Нет. Отсюда я делаю вывод, что общепризнанное очевидное положение есть такой факт,

То же самое, говорит по этому поводу один англичанин, относится к наиболее очевидным истинам нравственности. Наиболее очевидная — это что «наказание за преступление должно носить личный характер и что меня не следует вешать за воровство, учиненное моим соседом».

Между тем сколько богословов продолжает утверждать, что бог наказывает в теперешних людях грех их прародителей ^а.

Чтобы скрыть нелепость этих рассуждений, они добавляют, что небесное правосудие отличается от земного. Но если небесное правосудие истинно ¹⁴ и если оно отличается от земного, то, значит, человек живет, не зная, что такое справедливость. Значит, он никогда не знает, является ли поступок, который он считает справедливым, несправедливым; не является ли воровство или убийство добродетелями ¹⁵. Как убедиться в их правильности и отличить добродетельного человека от злодея?

ГЛАВА XVI

ИНТЕРЕС ЗАСТАВЛЯЕТ УВАЖАТЬ В СЕБЕ ДАЖЕ ЖЕСТОКОСТЬ, КОТОРУЮ НЕНАВИДЯТ У ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

Все европейские народы относятся с отвращением к жестокому карфагенским жрецам, которые запирали живых людей в раскаленную статую Сатурна или Мо-

существование которого могут одинаково и в любой момент про- верить все люди.

Предположение, что два тела плюс два тела дают четыре тела, очевидно для всех людей, потому что все могут в любой момент констатировать его истинность. Но то, что на конюшню спамского короля имеется слон вышиной 24 фута, — этот факт, очевидный для всех тех, кто его видел, не очевиден ни для меня, ни для тех, кто не измерял этого слона. Значит, названное предположение не может считаться ни очевидным, ни даже вероятным. Действительно, разумнее думать, что десять свидетелей этого факта либо ошиблись, либо впали в преувеличение, либо, наконец, просто солгали, чем поверить в существование слона высотой вдвое больше других слонов.

^а Почему, спросил миссионер китайского ученого, вы признаете лишь слепой рок? Потому, ответил тот, что мы не думаем, чтобы разумное существо могло быть несправедливым и наказывать новорожденного за проступок, совершаемый 6 тысяч лет назад его праотцом Адамом. Ваше бессмысленное благочестие делает из бога разумное и несправедливое существо; наше более разумное благочестие превращает его в слепой рок.

лоха. Между тем все испанцы питают почтение к той же жестокости в себе и в своих инквизиторах. Какой причиной объяснить это противоречие? Уважением к монахам, которое испанцам внушали с детства. Чтобы отделаться от этого порожденного привычкой уважения, испанцам следовало бы начать рассуждать, следовало бы обратиться к своему разуму, подвергнуть себя одновременно трудностям внимания и ненависти тех же монахов. Таким образом, двойной интерес страха и лени заставляет испанца уважать в доминиканце ту жестокость, которая вызывает в нем отвращение к мексиканскому жрецу. Мне скажут, несомненно, что различие религиозных культов изменяет само существо вещей и что жестокость, отвратительная в одной религии, якобы заслуживает уважения в другой.

Я не стану отвечать на эту бессмыслицу. Я замечу только, что интерес, заставляющий меня, например, любить и уважать в одной стране жестокость, которую я ненавижу и презираю в других, должен и в других отношениях ослеплять мой разум, должен часто заставлять меня относиться с большим презрением, чем следует, к некоторым порокам.

Примером этого является скупость. Если скупец довольствуется тем, что ничего не дает и бережет свое достояние, если он в других отношениях не совершает никакой несправедливости, то из всех порочных людей этот, может быть, наименее вредный для общества. Причиняемое им зло, собственно говоря, есть неделание добра, которое он мог бы сделать.

Если из всех пороков особенно ненавидят скупость, то это происходит вследствие жадности, свойственной почти всем людям: мы ненавидим того, от кого не можем ничего ожидать. Жадные скупцы хулят скаредных скупцов.

ГЛАВА XVII

ИНТЕРЕС ЗАСТАВЛЯЕТ УВАЖАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Как ни несовершенно представление людей о добродетели, среди них найдется немного таких, которые питают уважение к воровству, убийству, отравлению, отцеубийству. Между тем вся церковь всегда уважала эти преступления, когда их совершали ее покровители. В качестве примера я приведу Константина и Хлодвиг^{1*}.

Первый вопреки всем клятвам приказал убить своего шурина Лициния, зарезать своего 12-летнего племянника, также Лициния, казнить своего сына Криспа, прославившегося своими победами, задушить в Марселе своего тестя Максимпана. Наконец, он приказал задушить в ванной свою жену Фаусту. Эти явные преступления заставили язычников исключить названного императора из своих празднеств и тайнств, а добродетельные христиане приняли его в свою церковь.

Что касается дикого Хлодвиг, то он убил своих родственников, братьев Регнакария и Ришмера. Но так как он был щедр по отношению к церкви, то Саварон^{2*} доказывал в особой книге святость Хлодвиг.

Правда, церковь не причислила к лику святых ни его, ни Константина, но все же она почитала этих двух людей, запятнавших себя величайшими преступлениями.

Тот, кто увеличивает владения церкви, всегда невинен в ее глазах. Доказательством этого служит Пипин^{3*}. По его просьбе папа прибыл из Италии во Францию, где он помазал Пипина и короновал этого узурпатора, запершего своего законного короля в монастыре св. Мартина, а сына своего повелителя — в монастыре Фонтенель, в Нормандии.

Но, скажут, это коронование было преступлением папы, а не церкви. Однако молчание духовных сановников явилось тайным одобрением поведения первосвященника. Без этого молчаливого согласия папа не осмелился бы в собрании из первых лиц нации узаконить узурпаторство Пипина. Он не запретил бы под страхом отлучения избрать короля из другого рода.

Но разве все духовные сановники искренне почитали всех этих Пипинов, Хлодвигов, Константинов? Несомненно, некоторые из них краснели внутренне от стыда за эти гнусные канонизации, но большинство не замечало преступления, обогащавшего их преступника.

Чего только мы не способны сделать под влиянием интереса!

ГЛАВА XVIII ИНТЕРЕС ДЕЛАЕТ СВЯТЫХ

В виде примера я возьму Карла Великого. Это был великий человек. Он обладал великими добродетелями, но под одной из тех, которые необходимы для святого. Его руки были обогреты кровью несправедливо истреблен-

ных саксов. Он отнял у своих племянников их достояние. Он был женат четыре раза и был обвиняем в кровосмешении. Его поведение не было поведением святого, но он увеличил владения церкви, и церковь сделала из него святого. Она поступила таким же образом с Германигильдом, сыном вестготского короля Эвригильда. Этот молодой принц вступил в союз с одним светским вождем против своего собственного отца. Проиграв сражение, он был взят в плен около Кордовы и убит одним из офицеров Эвригильда. Но он верил в догмат о единственности, и церковь причислила его к святым.

Так же повезло множеству других злодеев. Так, святой Гриль, епископ александрийский, убийца прекрасной Гипатии, был тоже канонизирован.

По этому поводу Филипп де Коммин рассказывает следующее. Когда, будучи в Павии, он зашел в монастырь кармелитов, ему показали тело графа д'Ивертю, который, убив своего дядю Бернабо и завладев благодаря этому миланским княжеством, первый стал носить звание герцога. «Как, — сказал Коммин сопровождавшему его монаху, — вы канонизировали такое чудовище?» «Нам нужны благодетели, — возразил кармелит, — и, чтобы увеличить их число, мы обыкновенно причисляем их к святым. Благодаря нам глупцы и негодяи становятся святыми, а благодаря им мы богатеем».

Сколько наследств было украдено монахами! Но они крали для церкви, и церковь сделала из них святых.

История папизма представляет колоссальное собрание подобных фактов. Раскрывая жития католических святых, мы прочтем здесь имена тысяч канонизированных злодеев, но зато напрасно стали бы мы искать здесь имя Альфреда Великого, надолго осчастливившего Англию, или имя Генриха IV^{1*}, стремившегося осчастливить Францию, или, наконец, имена тех гениальных людей, которые благодаря своим открытиям в области искусства и наук были славой своего времени и своей страны.

Церковь, всегда жадно стремящаяся к богатствам, всегда распоряжалась райскими чинами в пользу тех, кто был ее благодетелем на земле. В своих интересах она населила небо. Чем можно ограничить силу этих интересов? Если бог, как говорят, сделал все ради себя (*omnia propter semet ipsum operatus est Dominus*), то человек, созданный по его образу и подобию, поступал таким же образом. Человек всегда судит на основании

своего интереса^а. Он часто бывает несчастным, потому что он недостаточно просвещен. Лень, кратковременные выгоды, а особенно подчинение общепринятым взглядам — все это камни преткновения на нашем пути к счастью.

Чтобы избежать их, следует мыслить, но люди не любят этого, предпочитая верить, а не исследовать. Как часто наша доверчивость вводит нас в заблуждение относительно наших истинных интересов! Человека определили как разумное животное, я же определяю его как легковверное животное^б. Во что только не заставляют его верить!

Лицемер выдает себя за добродетельного человека. И его считают таким. И в результате к нему относятся с большим уважением, чем к подлинно добродетельному

^а Наши верования не зависят, по мнению некоторых философов, от наших интересов. Философы эти правы или не правы в зависимости от того, что они понимают под словом *верить*. Понимают ли они под ним ясную идею о той вещи, в которую верят, и возможность, подобно математикам, доказать себе истинность ее? Тогда несомненно, что не следует верить ни в одно заблуждение, что ни одно заблуждение не выдерживает критического исследования, что о нем не составляют себе ясной идеи и что в этом смысле имеется мало *верующих*. Но возьмем это слово в его обычном значении; под словом *верующий* понимают поклонника бога Аписа — человека, который, не имея ясных идей о том, во что он верит, верит из подражания; который, если угодно, *верит, что верит*, и который готов *защищать* истину своей веры с опасностью для своей жизни; в этом смысле имеется много *верующих*. Не знаю, почему католическая церковь постоянно так прославляет своих мучеников. У всякой религии есть свои мученики. «Кто утверждает, что он обладает откровением, тот должен умереть, защищая свои слова; это единственно возможное для него доказательство его утверждения». Иначе обстоит дело в философии. Ее положения должны опираться на факты и доказательства. Никому нет дела до того, умрет или нет философ, защищая их истинность. Его смерть доказала бы лишь то, что он упрямо придерживается своих взглядов, а не то, что эти взгляды истинны.

Впрочем, вера фанатиков, основывающаяся всегда на пустых, но захватывающих ожиданиях небесных наград, всегда импонирует толпе, и этих-то фанатиков следует считать основоположниками почти всех общепринятых взглядов.

^б Нравы и действия животных доказывают, что они производят сравнения, выносят суждения. В этом отношении они более или менее разумны, более или менее похожи на человека. Но есть ли какая-нибудь разница между их доверчивостью и его доверчивостью? Никакой. Они отличаются между собою только размерами своего легковверия, и это, может быть, больше всего отличает человека от животного.

человеку. Духовенство утверждает, что оно лишено честолюбия. И ему верят даже тогда, когда оно объявляет себя первым сословием государства ^а.

Епископы и кардиналы называют себя смиренными. Им верят на слово, хотя в то же время они сами дают себе званья монсеньоров, высокопреосвященств и преосвященств и хотя кардиналы претендуют на равенство с королями.

Монахи называют себя бедными. И их считают нуждающимися даже тогда, когда они захватывают большую часть владений в государстве. В результате эти монахи получают еще милостыню от бесчисленного множества одураченных ими людей.

Впрочем, не приходится удивляться человеческой глупости. Так как люди получают, как правило, плохое воспитание, то они должны быть такими, каковы они есть. Их чрезмерное легкоеверие редко дает им возможность пользоваться своим разумом; поэтому они выносят ложные суждения, и поэтому они несчастны. Как же быть? Ведь либо относишься равнодушно к вещи, о которой судишь ^б, и в таком случае нет ни внимания, ни ума, чтобы о ней правильно судить; либо относишься с живым интересом к этой вещи, и тогда наше суждение почти всегда продиктовано минутным интересом.

^а Апостолы никогда не выдавали себя за первое сословие государства; они никогда не заявляли притязаний идти рядом с цезарями и проконсулами. Поэтому духовенство должно быть очень низкого мнения о человеческом уме, чтобы называть себя смиренным при столь непомерных притязаниях.

^б Если я отношусь равнодушно к какому-нибудь взгляду, то я взвешиваю все его плюсы и минусы на весах своего разума. Но если этот взгляд возбуждает во мне ненависть, любовь или страх, то уже не разум, а страсти диктуют суждение о его истинности или ложности. Чем сильнее мои страсти, тем меньше роль разума в моих суждениях. Чтобы справиться даже с самым грубым предрассудком, недостаточно только понять его нелепость.

Утром я доказал себе, что привидений не существует. Но достаточно мне оказаться вечером одному в комнате или в лесу, чтобы меня снова окружили призраки и привидения и чтобы меня охватил страх. Самые убедительные рассуждения не могут ничего поделать со страхом. Чтобы избавиться от страха перед привидениями, недостаточно доказать себе, что их не существует; необходимо, кроме того, чтобы рассуждения, при помощи которых я избавился от этого предрассудка, возникали в моей памяти столь же привычно и быстро, как и сам предрассудок. А это требует времени, и иногда очень продолжительного времени. До тех пор я буду трястись ночью при одном только упоминании о привидениях и колдунах. Это — факт, подтверждаемый опытом.

Для правильного решения требуются равнодушное отношение к вещи, о которой судят^а, и сильное желание составить о ней правильное суждение. Но при теперешнем состоянии общества лишь немногие люди испытывают это двойное чувство желания и беспристрастия и находятся в благоприятном для этого положении.

Слишком рабски повинаясь минутному интересу, человек почти всегда жертвует ради него будущим интересом и судит вопреки самой очевидности. Г. де ла Ривьер^{2*} ожидал, может быть, слишком многого от этой очевидности. На ней он основывает будущее счастье народов, а между тем это основание не так прочно, как он думает.

ГЛАВА XIX

ИНТЕРЕС ЗАСТАВЛЯЕТ ЗНАТНЫХ ЛЮДЕЙ ВЕРИТЬ, ЧТО ОНИ ИНОЙ ПОРОДЫ, ЧЕМ ДРУГИЕ ЛЮДИ

Если допустить существование первого человека, то все люди происходят из одного рода, от одного одинакового древнего семейства и все, следовательно, знатны.

Кто мог бы отказать в звании дворянина человеку, который представил бы выписки из реестров обрезаний и крещений и доказал бы, что он происходит по прямой линии от Авраама!

Таким образом, знатный человек отличается от простолюдина лишь тем, сохранились или не сохранились такие выписки.

Но разве знатные лица действительно верят, что они высшей породы, чем буржуа, а государь — что он иной породы, чем герцоги, графы и т. д.? Почему бы нет. Я видел, как люди, не в большей мере колдуны, чем я сам, верили в то, что они колдуны и называли себя так даже на эшафоте. Факт этот можно подтвердить множеством судебных процессов. Есть люди, которые считают себя родившимися в сорочке и возмущаются, если сча-

^а Почему иностранцы являются лучшими судьями достоинств какого-нибудь нового произведения, чем соотечественники? Потому, что первые судят беспристрастно, а суждение вторых продиктовано — по крайней мере в первые минуты — предрассудками и завистью. Это не значит, что среди последних не найдется людей, которые считают делом чести уметь судить правильно. Но их слишком мало, для того чтобы их мнение могло на первых порах оказать какое-нибудь влияние на суждения публики.

стве покидает их на время. Это чувство, сказал бы им Юм, является у них результатом постоянных удач в их первых начинаниях; основываясь на этих удачах, они должны были принять свое счастье за следствие, а свою счастливую звезду за причину этого следствия^а. Если люди таковы, то нужно ли удивляться, что вельможи, испорченные поклонением, воздаваемым ежедневно их богатству и их чинам, верят в то, что они происходят от какой-то особой расы^б.

Но ведь они признают Адама общим отцом всех людей. Да, но не будучи в этом вполне убеждены.

Их жесты, их речи, их взгляды — решительно все противоречит в них этому признанию. Все они убеждены, что сами они и государь вправе обращаться с простым народом и с буржуа так, как фермер обращается со своим скотом.

Я не пишу здесь сатиры на вельмож^в, я имею в виду всех людей. Буржуа относится к своему лакею с тем же презрением, с каким вельможа относится к буржуа.

Впрочем, не следует удивляться тому, что люди подвержены такому самообману^г. Было бы, наоборот, удивительно, если бы они не поддавались заблуждениям, льстящим их тщеславию.

Люди верят и всегда поверят тому, во что верить будет в их интересах. Если они принимают иногда за

^а Если, говорит Юм, два факта происходят всегда одновременно, то люди предполагают необходимую зависимость между ними. Один из этих фактов и называют причиной, а другой — следствием.

^б Древность происхождения особенно дорога тем, кто не может сослаться на свои заслуги.

^в Если все люди — потомки Адама, то следует ли отсюда, что ко всем им должно относиться с одинаковым уважением? Нисколько: во всяком обществе имеются высшие люди, которых следует почитать. Но кого следует прежде всего почитать: людей, занимающих высокое положение, или людей высокого происхождения? Я высказался бы в пользу людей, занимающих высокое положение, — это предполагает во всяком случае наличие известных заслуг. Но в действительности общество заинтересовано в том, чтобы почитать заслуги.

^г Когда говорит голос предрассудка, разум умолкает. Под влиянием предрассудков в некоторых странах относятся с уважением к должностным лицам знатного происхождения и презирают должностных лиц, выбившихся в люди собственными силами, отдавая, таким образом, предпочтение происхождению перед заслугой. Нет сомнения, что государство, дошедшее до этой степени испорченности, близко к гибели.

поиски истины, если они занимаются открытием ее, то это потому, что они иногда представляют себе, что их интерес состоит в том, чтобы ее познать.

ГЛАВА XX

ИНТЕРЕС ЗАСТАВЛЯЕТ ОТНОСИТЬСЯ С УВАЖЕНИЕМ К ПОРОКАМ ПОКРОВИТЕЛЯ

Человек ждет, что какой-либо вельможа устроит его карьеру и обеспечит ему уважение без наличия заслуг.

Он произносит панегирики в его честь. Добродетельный до того человек перестает им быть; его нравы и, так сказать, положение изменяются. Из свободного гражданина он становится рабом. В этом случае его личные интересы начинают расходиться с общественным интересом. Так как он занят только своим господином и богатствами своего покровителя, то все средства увеличить их кажутся ему законными. Этот господин совершает несправедливости, угнетает своих сограждан, они жалуются на это. Они сами виноваты.

Разве жрецы Юпитера не заставляли людей поклоняться этому отцеубийству^{1*}, благодаря которому они могли существовать?

Чего ищут в покровителе прибегающие к покровительству? Не заслуг, а могущества. Чего в свою очередь требует покровитель от того, кому он покровительствует? Не добродетели, а раболепия и преданности.

В качестве преданного человека протеже назначается на важнейшие посты. Посты эти оказываются доступными людям с заслугами лишь в тревожные времена, когда необходимость заставляет обращаться к ним.

Во время гражданских войн все важные места поручаются талантливым людям. Но это потому, что вожди всех партий заинтересованы в уничтожении враждебных партий и вынуждены приносить в жертву своей безопасности зависть и другие свои страсти. Настоятельный интерес открывает им тогда глаза на достоинства лиц, услугами которых они пользуются. Но вот опасность миновала, мир и спокойствие восстановлены. И те же властители, относясь равнодушно к пороку или к добродетели, к талантам или к глупости, больше не различают их.

Заслугу топчут в грязь, истину обливают презрением. Что же может она сделать тогда на пользу человечества!

ИНТЕРЕСЫ ВЛАСТЬ ИМУЩИХ ОКАЗЫВАЮТ БОЛЬШЕЕ
ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ВЗГЛЯДЫ, ЧЕМ ИСТИНА

Сплу истины непрестанно славят, а между тем эта столь прославленная спла бесплодна, если она не оплодотворена интересами государя. Сколько истин погребено еще в трудах таких людей, как Гордон, Сидуций, Макнавелли, они смогут быть извлечены оттуда лишь энергичной волей просвещенного и добродетельного государя. Но, скажут, государь этот родится рано или поздно. Пусть так, но до того момента на эти истины следует смотреть, если угодно, как на строительный камень и материалы для будущей постройки. И по-прежнему верно, что материалы эти будут использованы власть имущими лишь при таких обстоятельствах, когда интересы славы заставят их воспользоваться ими.

Говорят, что мнение правит миром. Бывают обстоятельства, когда, несомненно, общее мнение правит даже государями. Но что общего имеет этот факт с вопросом о силе истины? Доказывает ли он, что общее мнение есть ее произведение? Нет, наоборот, опыт доказывает нам, что почти все вопросы нравственности и политики решаются силой, а не разумом и что если мнение правит миром, то в конечном счете сильные мира правят мнением. Тот, кто распределяет почести, богатства и наказания, всегда привязывает к себе множество людей. Это распределение покоряет ему умы, дает ему власть над душами. При помощи подобных средств султаны узаконяют свои нелепейшие притязания, приучают своих подданных гордиться званием рабов и презирать звание свободных людей.

Какие взгляды наиболее широко распространены? Бесспорно, религиозные взгляды. Но устанавливаются они не разумом и не истиной, а насилем¹⁶. Магомет желает навязать свой Коран — он вооружается, он льстит воображению людей, он пугает его. Страх и надежда пробуждают в народах интерес принять его закон, и вскоре видения пророка становятся взглядами половины мира.

Но разве прогресс истины не протекает быстрее, чем успехи заблуждения? Да, если и первая, как и другое, одинаково провозглашаются властью. Истина сама по себе ясна, она доступна всякому здравомыслящему чело-

веку. Наоборот, заблуждение, будучи всегда непонятым, всегда окутанным туманом непостижимости, становится предметом презрения со стороны здравого смысла. Но что может сделать здравый смысл без силы? При образовании общепринятых взглядов насилие, мошенничество, случай всегда играли большую роль, чем разум и истина.

ГЛАВА XXII

ТАЙНЫЙ ИНТЕРЕС ВСЕГДА СКРЫВАЛ ОТ ПАРЛАМЕНТОВ СОГЛАСИЕ МЕЖДУ НРАВСТВЕННОСТЬЮ ИЕЗУИТОВ И НРАВСТВЕННОСТЬЮ ПАПИЗМА

Парламенты, осудив нравственность иезуитов, отнеслись в то же время с уважением к нравственности папизма^а. Однако согласие между этими общими взглядами на нравственность очевидно. Покровительство, оказанное иезуитам папой и большинством католических епископов¹⁷, делает это согласие разительным. Известно, что папская церковь всегда одобряла в творениях членов иезуитского ордена положения, столь же благоприятные для притязаний Рима, сколь неблагоприятные для притязания всякого правительства; духовенство было в этом отношении соучастником иезуитов. Тем не менее осуждена была только нравственность иезуитов. О нравственности церкви парламенты молчат. Почему? Потому, что они боятся задеть слишком могущественного преступника.

Они смутно сознают, что их влияния недостаточно для этого начинания: его едва хватило, чтобы справиться с влиянием иезуитов. Их интерес учит их и не пытаться больше и побуждает их уважать преступление, когда они не могут наказать преступника.

ГЛАВА XXIII

ИНТЕРЕС ЗАСТАВЛЯЕТ ЕЖЕДНЕВНО ОТРИЦАТЬ ПРАВИЛО: НЕ ДЕЛАЙ ДРУГОМУ ТОГО, ЧЕГО ТЫ НЕ ХОТЕЛ БЫ, ЧТОБЫ ДЕЛАЛИ ТЕБЕ

Католические попы, подвергаясь преследованию со стороны кальвинистских или мусульманских, называют преследование нарушением естественного закона. Если же

^а Сифилис, сказал один великий политик, произвел страшные опустошения среди европейских народов. Но нравственный сифилис (папизм) произвел здесь еще большие опустошения.

преследователями оказываются сами эти попы, то преследование кажется им законным, в них оно есть плод священного рвения и любви к ближнему. Таким образом, одни и те же поступки становятся несправедливыми или законными в зависимости от того, является ли поп жертвой или палачом.

Почитайте историю различных религий, и в частности христианских. До тех пор пока они слабы, они желают, чтобы в теологических спорах пользовались только оружием рассуждения¹⁸ и убеждения.

Но стоит этим религиям окрепнуть, как из преследуемых они становятся, как я уже сказал, преследователями. Кальвин сжигает Сервета^{1*}; иезуиты преследуют янсенистов, а янсенисты хотели бы сжечь деистов. В какие только лабиринты заблуждения и противоречий не заводит нас интерес! Он скрывает от нас даже очевидную истину.

Действительно, что представляет нам зрелище этого мпра? Одну только непрерывную и разнообразную игру интересов¹⁹. Чем больше размышляешь над этим принципом, тем больше убеждаешься в обширности и плодотворности его. Это неисчерпаемый рудник великих и тонких мыслей.

ГЛАВА XXIV

ИНТЕРЕС МЕШАЕТ И ДОБРОДЕТЕЛЬНОМУ СВЯЩЕННИКУ ПОНЯТЬ БЕДСТВИЯ, ПОРОЖДЕННЫЕ ПАПИЗМОМ

Наиболее религиозные страны в то же время наименее культурны. Церковные области наиболее безлюдны. Следовательно, эти страны хуже всего управляются. В католических кантонах Швейцарии царят нужда и невежество, а в протестантских кантонах — изобилие и промышленность. Стало быть, папизм несет гибель государствам.

Он оказывается особенно роковым для наций, которые, сделавшись могущественными благодаря своей торговле, заинтересованы в том, чтобы улучшить судьбу своих колоний^а, покровительствовать промышленности и усовершенствовать искусство.

Но на чем покоится у различных народов преклонение перед папским идолом? На привычке.

^а Для привлечения населения во вновь возникающие колонии необходима и религиозная веротерпимость, а для этого надо вернуть религию к тем принципам, на которых основал ее Иисус.

Что у этих народов мешает им мыслить? Лень, она повелевает здесь людьми всех сословий.

Из лениости государь смотрит на все чужими глазами, из лениости же в известных случаях народы и их министры поручают папе подумать за них. Что же получается в результате? Первосвященник пользуется этим для того, чтобы усилить свой авторитет и укрепить свою власть. Могут ли государи ограничить ее? Да, если бы они этого сильно захотели. Но если этой воли нет, то нечего рассчитывать, чтобы церковь, отличающаяся нетерпимостью, сама разбила оковы, в которые она заковывает народы.

Нетерпимость — это всегда заряженная мина под трон, которую церковное недовольство может в любой момент взорвать. Кто способен обнаружить эту мину? Философия и добродетель. Поэтому церковь всегда чернила знания, доставляемые философией, и гуманность добродетельных людей; она всегда изображала философию и добродетель в уродливом виде ^а.

Духовенство стремилось дискредитировать их, и средством для этого ему служила клевета. Вообще люди больше предпочитают верить, чем исследовать, и поэтому духовенство всегда видело в умственной лени самую могущественную опору власти папы. Какая иная причина могла бы скрыть от правителей Франции опасности папизма?

В деле иезуитов они обнаружили самую трогательную заботливость о своем государе; они предвидели тогда, до какой крайности может дойти фанатизм ^{2*}. Но они все же не поняли, что из всех религий папистская особенно способна разжечь фанатизм.

Любовь властей к государю не вызывает никаких сомнений, но сомнительно, чтобы эта их любовь проявлялась ими достаточно разумно. Их глаза были слишком долгое время закрыты для света. Если они раскроются когда-нибудь, то они поймут, что одной только веротерпимостью можно обеспечить жизнь любимых ими мона-

^а Если ненависть, проступающая в неясных обвинениях, доказывает невиновность обвиняемого, то нет ничего более почетного для философов, чем ненависть духовенства. Духовенство никогда не могло привести никаких фактов против философов. Оно не могло их обвинить ни в убийстве Генриха IV, ни в Мадридском восстании, ни в заговоре на Сан-Доминго ^{1*}. Не философ, а монах подстрекал там в прошлом году черных к избиению белых.

хов. Они видели, как фанатизм наносит удары даже государю, доказывавшему ежедневно свою гуманность мелкими милостями, которыми он осыпает всех, приближающихся к нему.

Я — иностранец, я не знаю этого государя, который, как утверждают, любим своим народом. Но власть суверенная над набожными французами, видимо, так велика, что любовь к монахам все же берет верх над любовью к королю.

Неужели нельзя привлечь внимания властей к столь важному вопросу и объяснить им опасность, которая грозит всегда государям со стороны воинствующего папизма?

ГЛАВА XXV

ВСЯКАЯ РЕЛИГИЯ, ОТЛИЧАЮЩАЯСЯ НЕТЕРПИМОСТЬЮ, ПО СУЩЕСТВУ ТОЛКАЕТ К ЦАРЕУБИЙСТВУ

Почти все религии отличаются нетерпимостью, и во всякой такой религии нетерпимость служит предлогом для убийств и преследований. Даже трон не защищен от свирепости духовенства. Только допустите нетерпимость — и попы получают возможность преследовать врага божия как в дворцах^а, так и в хижинах.

Нетерпимость — мать царубийства. На нетерпимости церковь воздвигала здание своего величия. Все члены ее помогали его построению. Все думали, что их будут уважать и они будут тем более счастливы²⁰, чем могущественнее будет корпорация, к которой они принадлежат. Священники во все времена занимались лишь усилением церковной власти²¹. Повсюду духовенство было и должно было оставаться честолюбивым.

^а Если верить пезуиту Сантарелли^{1*}, то папа имеет право наказывать королей. В «Трактате о ереси, расколе, отступничестве и папской власти», напечатанном в 1626 г. в Риме с разрешения властей у наследников Бартелини Ланоти, этот пезуит пишет: «Власть папы над государями не только направляющая, но и исправляющая. Поэтому верховный первосвященник может налагать наказания светского характера на государей-еретиков: он может не только отлучать их, но и лишать королевской власти и освобождать их подданных от присяги на верность; он может назначать опекунов государям, неспособным править, и может делать это без церковного собора, потому что суд папы и суд Иисуса Христа — один и тот же суд. Папа, прибавляет он в другом месте этого труда, может низлагать королей либо потому, что они неспособны управлять, либо потому, что они слабо защищают церковь. Он может по вышеуказанным основаниям и ради исправления и в пример королям казнить смертью незначительных».

Но разве честолюбие какой-нибудь корпорации неизбежно является общественным злом? Да, если эта корпорация совершает действия, противоречащие общему благу. Мало значит, были ли в Греции Ликург, Леонид, Тимолеон, а в Риме Брут, Эмилий^{2*}, Регул честолюбивы. Эту страсть они могли проявить лишь в виде услуг, оказанных отечеству. Иное дело — духовенство; оно стремится к верховной власти и может облечься ею, лишь отняв власть у ее законных владельцев. Поэтому оно должно вести непрерывную тайную войну со светской властью, унижить для этого авторитет государей и правителей, разнуздать нетерпимость, колебля этим троны и доводя до оупения граждан^а, делая их одновременно бедными^б, ленивыми и невежественными. Таким образом, все ступени, по которым духовенство поднимается к верховной власти, знаменуют какие-нибудь общественные бедствия.

Когда-нибудь папизм добьется уничтожения во Франции законов и парламента, а такое уничтожение всегда является свидетельством порчи национальных нравов и гибели государства.

Напрасно станут отрицать честолюбие духовенства. Изучение человека убеждает в этом тех, кто им занимается, а изучение истории — того, кто знакомится с историей церкви. С того момента, как у нее появился глава, облеченный светской властью, он поставил себе целью унижение королей. Он захотел иметь возможность распоряжаться по своему усмотрению их жизнью и их короной. Таковы были его замыслы. Для выполнения их нужно было, чтобы сами государи способствовали своему унижению, чтобы попы вкрались в их доверие, стали их

^а Невежество народа часто пагубно для государей. У невежественного народа всякий государь, над которым духовенство произнесло проклятия, считается по справедливости проклятым. И таким образом, церковь недаром сделала из *нищеты душой* одну из основных христианских добродетелей. Какие отрывки из сочинения Руссо больше всего хвалят изуверы? Те, где он поет дифирамбы невежеству.

^б Почему церковь в своих учреждениях никогда не считается с общественным благом? Почему она празднует праздники и воскресенья в дождливую иногда пору жатвы? Неужели церкви неизвестно, что двух или трех дней труда было бы достаточно, чтобы убрать в амбары треть или четверть урожая и уменьшить настолько же угрозу голода. Церковь знает это, но какое дело ее честолюбию до общественного добра и зла! Между церковным интересом и национальным интересом нет ничего общего.

советниками, разделили с ними власть. Это было сделано с успехом. Но это было еще не все. Нужно было незаметно дать восторжествовать взгляду о превосходстве духовной власти над светской. Для этого папы стали осыпать церковными почестями всякого, кто по примеру Беллармина выдвигал учение, что государи должны подчиняться первосвященникам, и называл всякое сомнение в этом вопросе ересью.

После того как это учение распространилось и утвердилось, церковь смогла провозглашать свои анафемы и проповедовать крестовые походы против не повинующихся ее приказанием монархов^а, сеять повсюду раздор. Во имя бога мира она могла истреблять часть человечества^б. Все, что она могла сделать, она сделала. Вскоре ее власть оказалась равной власти древних кельтских жрецов-друидов, которые повелевали бретонцами, галлами, скандинавами, отлучали государей и приносили их в жертву своим капризам и интересам.

Но чтобы распоряжаться жизнью королей, надо было предварительно подчинить себе дух народа. Каким путем добилась этого церковь?

ГЛАВА XXVI

О СРЕДСТВАХ, КОТОРЫЕ УПОТРЕБЛЯЛА ЦЕРКОВЬ ДЛЯ ПОРАБОЩЕНИЯ НАРОДОВ

Эти средства просты. Чтобы быть независимым от государя, духовенство должно было получить свою власть от бога. Оно заявило об этом, и ему поверили.

Чтобы ему повиновались более, чем королям, его должны были считать боговдохновенным. Оно заявило об этом — ему поверили.

Чтобы оно могло подчинить себе человеческий разум, бог должен был говорить его устами. Оно заявило об этом — ему поверили.

Следовательно, начало добавлять духовенство, если я назову себя непогрешимым, то я и буду таким.

Следовательно, если я назову себя мстителем за божество, то я и стану им.

^а Булла *in coena domini* свидетельствует в этом отношении о всех притязаниях церкви, а принятие этой буллы некоторыми народами — о всей глупости их.

^б Г. де Мальво пишет в сочинении о терпимости, что папистская религия, подобно мусульманской, может держаться лишь убийствами и казнями. Какое отвращение к папизму должно вызывать подобное утверждение!

Но раз мне поручена эта священная обязанность, то мой враг — тот, кого непогрешимая церковь объявляет еретиком, — враг всевышнего.

Кем бы ни был еретик, государем или нет, каково бы ни было его звание, церковь имеет право заключать его в тюрьму, пытать его^а, сжечь его. Что такое какой-нибудь король перед лицом всевышнего? Все люди в глазах последнего равны, таковы же они в глазах церкви.

Основываясь на этих принципах и на догмате о своей непогрешимости, церковь присвоила себе право преследования и, воспользовавшись им, стала страшной для всех граждан; все должны были смиряться перед ней, все должны были пасть к ногам попов. Так как, наконец, все люди (независимо от своего положения) стали подсудными духовенству, то они должны были признать в нем власть, стоящую выше монархов и правителей.

Таковы были средства, при помощи которых попы подчинили себе народы и заставили дрожать королей. Поэтому повсюду, где церковь учредила инквизиционный трибунал, ее трон оказался выше трона государей.

Но путем каких хитростей церковь восторжествовала над государями в тех странах, где она не смогла опереться на инквизицию? Убедив государей, как это она сделала в Австрии и во Франции, что они царствуют благодаря религии, что служители церкви, столь часто игравшие роковую роль для королей, являются их защитой и, наконец, что алтарь есть опора трона.

Но известно, что в Китае, Индии и на всем Востоке троны опираются на собственные силы. Известно, с другой стороны, что на Западе именно попы низвергали троны; что религия порождала цареубийц чаще, чем честолюбие вельмож; что при теперешнем состоянии Европы монархам приходится защищаться только от фанатиков. Неужели эти монархии могут еще сомневаться в дерзости корпорации, которая так часто объявляла их себе подсудными?

Эти горделивые притязания в конце концов раскрыли бы, несомненно, глаза государям, если бы церковь в зависимости от обстоятельств и времени последовательно не создавала видимости, что она изменяет свой взгляд по этому вопросу.

^а Если попы, как правило, так жестоки, то это потому, что они некогда закалывали жертвы, т. е. были мясниками, и до сих пор сохранили еще дух своей первоначальной профессии.

О ТЕХ ПЕРИОДАХ. КОГДА КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ
МОЛЧИТ О СВОИХ ПРИТЯЗАНИЯХ

Бывают перподы, когда дух века мало благоприятен планам духовенства, свет философии проник во все сословия граждан, военные, став более образованными, более привязаны к государю, чем к духовенству, государь, тоже более просвещенный, сумел заставить церковь более уважать себя. Тогда она смягчает свою свирепость и умеряет свое рвение. Она провозглашает вслух независимость государя. Но искреннее ли это признание? Является ли оно следствием вынужденности, благоразумия или действительного убеждения духовенства? Однако, умолкнув, церковь не отказывается от своих притязаний; это доказывается тем фактом, что в Риме она продолжает учить тому же самому. Духовенство, несомненно, афиширует величайшее уважение к королевской власти. Оно требует, чтобы почитали даже обличенных ею тиранов²². Но выдвигаемые им по этому вопросу положения говорят не столько о его любви к государям, сколько о его равнодушии и презрении к благу людей и народов.

Какое дело церкви до тиранни дурных королей, лишь бы она разделяла с ними их власть!

Когда ангел тьмы поднял сына человеческого на гору, он сказал ему: ты видишь отсюда все земные царства; поклонись мне, и я сделаю тебя их господином. Церковь также говорит государю: будь моим рабом, будь исполнителем моих жестокостей, поклонись мне, внуши народам страх перед священниками, пусть они коснеют в невежестве и в тупости — этой ценой я даю тебе безграничную власть над твоими подданными, ты можешь быть тираном.

Как чудовищен этот договор между духовенством и деспотизмом!

Церковь, говорят, учит уважать государей и правителей. Но уважает ли она их, когда в Испании она делает их палачами своей инквизиции, во Франции — своими тюремщиками^a и когда она приказывает им заключать в темницу всякого иначе мыслящего?

^a В католических странах тщательно справляются о том, не является ли такой-то крестьянин кальвинистом, посещает ли он

Поручать государям подобные функции — это значит унижать их; приказывать народам подчиняться самым бесчеловечным тиранам — это значит ненавидеть их. Кроме того, показывает ли им сама церковь пример, смиряется ли она перед государями, которых она называет еретиками?

Скрытый враг светской власти, духовенство в зависимости от обстоятельств времени и характера королей то щадит их, то оскорбляет. С того момента, когда государь перестает быть его рабом, ему угрожает предание анафеме. Если государь проявляет слабость, анафема обрушивается на него, и он становится игрушкой духовенства. Если государь просвещен и тверд, духовенство уважает его.

Когда папа отказался удовлетворить требования датского короля Вольдемара, этот король написал ему следующее^a: «Бог дал мне жизнь, датчане — королевство, мои отцы — богатство, твои предшественники — веру, которую я возвращаю тебе с настоящим письмом, если ты не удовлетворишь моего требования».

Таков должен быть церемониал обращения всякого просвещенного государя с римским двором. Если ему бросить вызов, то он перестанет быть страшным.

Благодаря изнеженности своего воспитания священники малодушны. У них борода мужчины и характер женщины. Властные с теми, кто боится их, они трусливы с теми, кто сопротивляется им. Подтверждение этого — Генрих VIII.

При таком государе неудачное покушение было бы сигналом к полному истреблению попов. Они знают это, и страх удерживает в этих случаях их руку. На кого поднимают они ее? На боязливых или добродушных государей. Если бы Генрих IV был менее мягок с духовенством, он не стал бы его жертвой. Тот, кто страшится духовенства, сам делает его страшным. Но если власть его основывается на мнении, то почему же она не ослабевает, когда слабеет это мнение? Она остается полностью, отвечу я, пока она не уничтожена. Чтобы вернуть ему свое влияние, достаточно какому-нибудь попу снять доверие государя; после этого он сумеет удалить

по воскресеньям церковь, но несколько не интересуются тем, имеется ли у него кусок сала в его горшке.

^a *Vitam habebus a Deo, Regnum ab incolis, divitias a parentibus, fidem a tuis predecessorebus, quam, si nobis non saves, remittimus per presentes.*

от государя людей просвещенных. В противоположность духовенству эти последние являются невидимой опорой трона и властей. Раз они изгнаны из государства, народы, руководимые попами, впадают в свое прежнее невежество, а государь — в свое прежнее рабство.

Возможно, что дух народов теперь мало благоприятен для духовенства. Но такая бессмертная корпорация не должна никогда отчаиваться в возможности оказывать влияние. Пока она существует, она ничего не потеряла; она только подстерегает случай, чтобы вернуть себе прежнее могущество и, воспользовавшись им, неизменно двигаться к своей цели. Остальное — дело времени.

Тот, кто, подобно духовенству, обладает несметными богатствами, может терпеливо ждать. Оно не может больше проповедовать крестовых походов против государей и открыто бороться с ними. Но у него остается еще в резерве рука фанатика, которую оно может направить против всякого государя, если он слишком робок, чтобы решиться издать закон о веротерпимости ^а.

ГЛАВА XXVIII

О ПЕРИОДАХ, КОГДА ОЖИВАЮТ ПРИТЯЗАНИЯ ЦЕРКВИ

Предположим, что в каком-нибудь великом государстве на троне сидит суеверный и слабый государь. Церковь создала в этом государстве инквизиционный трибунал; разбогатев за счет ограбления еретиков и становясь с каждым днем все богаче и могущественнее, она устрасила умы при помощи бесчисленных и страшных казней, погасила свет знания и низвела мрак невежества. Церковь здесь станет властвовать, подобно царице, и вновь оживут ее притязания. Царствование этого монарха будет веком величия духовенства, а, поскольку одинаковые причины неизбежно производят одинаковые следствия, поработанные церковью народы увидят, что ее власть выше власти государя. Тогда государь, в своем унижении не могущий опереться на помощь своего народа, окажется по отношению к духовенству в том же положении, что и отдельный гражданин, и ему будет гро-

^а Повсюду, где допускают совместное существование нескольких религий и вероисповеданий, они незаметно привыкают друг к другу. Их рвение теряет с каждым днем свою силу. Там, где царит полная терпимость, мало фанатиков.

зпть то же презрение, те же оскорбления п то же самое наказание, что п последнему из его подданных. Преступно ли такое поведение церкви или нет, суеверие станет оправдывать его. Раз признана непогрешимость какой-нибудь корпорации, то она служит оправданнем всем ее злодеяниям.

ГЛАВА XXIX

ФАКТЫ. ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРИТЯЗАНИЯ ЦЕРКВИ

Германское и французское правительства избавили своих подданных от костров инквизиции. Но по какому праву, скажет церковь, эти правительства ограничили мою власть? Разве они изгнали моих инквизиторов с моего согласия? И не призывала ли я их без конца обратно в эти государства ^а? Испанское и португальское духовенство признают благотворность инквизиции. Французские и германские прелаты признали этот трибунал безбожным и пагубным. Но прекратили ли они общение с теми священниками, которых называют жестокими ^б за то, что они сжигают своих ближних? Есть ли, наконец, такая католическая страна, где епископы не одобрили бы, по крайней мере своим молчаньем, инквизиции? Но

^а В отобранных у иезуитов бумагах генеральный прокурор парламента Экс нашел проект установления инквизиции под названием «Суд совести». То, чего иезуиты не смогли сделать во Франции в конце царствования Людовика XIV, они надеялись, по видимому, выполнить при более благосклонном к ним государе.

^б Епископы должны были бы последовать примеру св. Мартина. Этот прелат узнал, что тиран Максим приказал казнить еретика Присциллиана; испанский епископ Итакий, распутный и жестокий человек, к тому же интриган, выманил хитростью этот смертный приговор. Св. Мартин отправился к Максиму, объяснил ему, что религия запрещает проливать человеческую кровь, и горько упрекал его в этом преступлении.

Во время пребывания св. Мартина в Трире еретиков не трогали. После его отъезда епископы стали при содействии Итакия приставать к Максиму, требуя от него отказа от данного св. Мартину слова. Они обвинили в ереси даже самого этого святого. Они добились изгнания еретиков. Когда св. Мартин узнал об этом, он отказался иметь общение с подобными преследователями. Через некоторое время он смягчился и в надежде спасти оставшихся сторонников Присциллиана п прекратить религиозные преследования согласился присутствовать вместе с этими епископами при рукоположении епископа трирского. Но вскоре он раскаялся в этом. Этой своей слабости он приписывал потерю им дара творить чудеса и назвал эту снисходительность преступлением, испуская его долгим покаянием.

что такое церковь? Совокупность церковников. Церковь провозглашает себя мстительницей за бога, а право мстить за него есть право преследовать людей. И та самая непогрешимость, которая дает ей это право, уполномочивает ее пользоваться им по отношению к королям точно так, как по отношению к последнему из их подданных²³.

Но, скажут, разве величие государей должно смиряться перед гордыней священников? Разве оно должно подчиняться наказаниям, налагаемым духовенством? А почему бы нет, ответит церковь. Их мнимое величие ничто перед всевышним и его служителями. Неужели пустой титул короля может уничтожить права духовенства? Оно не может их побороть. Государь ли, подданный ли повинны в преступной ереси — одинаковое преступление требует и одинакового наказания. Более того, поскольку поведение государя служит законом для народов и его пример может способствовать усилению безбожия, то в интересах бога и его попов требовать в особенности крови королей. Церковь пролила ее во времена Генриха III и Генриха IV, и церковь всегда одинакова в этом отношении. Учение Беллармина есть учение Рима и католических семинарий. «Первые христиане, — говорит этот богослов, — имели право убить Нерона и всех государей, их преследователей. Если они безропотно страдали, то не потому, что у них не было на это права, а потому, что у них не хватило смелости». У Самуила не было ни одного такого права, которого не имела бы теперь католическая церковь, эта супруга господа бога²⁴. Но Агаг был царем; Самуил приказал Саулу убить этого царя, Саул стал колебаться; тогда он был изгнан, и его скипетр перешел в другие руки. Пусть, скажет церковь, христиане, наученные этим примером, поймут наконец, что в тот момент, когда бог повелевает устами священника убить какого-нибудь короля, обязанность христианина — повиноваться. В этом случае колебание есть преступление.

ГЛАВА XXX

ФАКТЫ. ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРИТЯЗАНИЯ ЦЕРКВИ

Давность владения, говорит церковь, подтверждает мои права по отношению к королям, которые дает мне над ними моя непогрешимость. Государь всегда были моими

рабами, и я всегда проливала человеческую кровь. Напрасно нечестивцы приводили против меня известное изречение: «Воздайте кесарю кесарево». Если кесарь — еретик, то что должна дать ему церковь? Смерть^а.

Разве дело католиков читать Священное писание и цитировать его? Неужели они претендуют на то, чтобы по примеру протестантов и квакеров проникнуть в смысл его и толковать его таким образом, что буква убивает и только дух животворит?

Пусть по примеру святых католик, смиренный почитатель решений церкви, признает ее власть над светской властью государей. Даже Фома Кентерберийский^{1*}, этот, говорят, неблагодарный и дерзкий священник, этот интриган, был ярым защитником прав духовенства, и его рвение дало ему место среди святых. Пусть жалкие миряне, пусть эти пресмыкающиеся во мраке насекомые смиряют свой разум перед непостижимостью Священного писания; пусть они молча ожидают его истолкования; с них достаточно знать, что всякая власть — от бога, всякая власть подчинена его наместнику и что нет власти, независимой от папы. Тщетно католические государи пытались освободиться от этого священного ига; даже они не сумели до сих пор установить точные и ясные границы^б между обоими видами власти. В чем могут они упрекнуть церковь? Если они признают ее непогрешимость, то, значит, у нее нет честолюбия. Достовернейшие свидетельства ее собственной истории не могут дать никаких показаний против нее. Наконец, чтобы уличить ее в преступлениях, недостаточно и самых ясных доказательств.

В настоящее время Европа отрицает непогрешимость церкви. Но Европа не сомневалась в ней тогда, когда духовенство вручило испанцам корону Монтесумы, когда оно вооружило Запад против Востока, когда оно пору-

^а Во времена Генриха III и Генриха IV, во времена Клеманов и Равальяков именно так сорбонисты толковали это место.

^б Неужели невозможно установить эти границы? Нет, можно. Если папы претендуют лишь, как они это утверждают, на духовную власть и на соответствующие блага, то:

проявлять власть им следует разрешить лишь в стране душ и духов; что же касается благ, то им следует предоставить лишь наиболее высоко в воздухе находящиеся духовные блага. Поэтому им нужно уступить все, начиная с вершин Кордильер до самих Эмпиреев, но все остальное отныне должно принадлежать королям и республикам.

чало своим святым проповедовать крестовые походы, когда, наконец, оно распорядилось по своему усмотрению тронами Азии. То, что церковь могла сделать в Азии, она может сделать и в Европе.

Кроме того, каких прав требует духовенство? Тех самых прав, которыми пользовались попы всех религий.

Разве во времена язычества наиболее пышные дары не приносились в Швеции в знаменитый Упсальский храм? Разве наиболее богатые приношения, говорит г. Малле^{2*}, не приносились во времена всеобщих или частных бедствий друидам? И с того момента, когда католические попы унаследовали богатство и власть этих друидов, они, подобно им, стали принимать участие во всех переворотах Швеции.

Сколько мятежей вызвали упсальские архиепископы! Сколько изменений внесли они в форму управления государством! Трон не находился тогда в безопасности от всепача этих грозных прелатов. Когда они требовали крови государей, народ спешил пролить ее. Таковы были в Швеции права церкви.

В Германии церковь требовала, чтобы императоры отпачивались босыми и с обнаженной головой к папе признать эту власть.

Во Франции она приказывала, чтобы служители культа, сняв одежды с королей, привязывали их к алтарям и секли их розгами, заставляя их таким образом искупить преступления, в которых обвиняла их церковь.

В Португалии инквизичия вырыла из земли прах короля Дон Жуана IV^a, чтобы освободить его от отлучения, которое он ничем на себя не навлек.

Во время ссоры Павла V с Венецианской республикой церковь предала анафеме ученого, защищавшего своим пером республику. Мало того, она убила ффра Паоло^{3*}, и никто не оспаривал у нее права на это⁶; Европа, узнав об этом преступлении, хранила почтительное молчание.

^a Преступление этого Дон Жуана заключалось в запрещении инквизиторам присваивать себе имущество их жертв. Это запрещение не противоречило даже новой булле, которую доминиканцы получили без ведома этого государя от папы.

⁶ Ффра Паоло, сраженный ударом кинжала во время обедни, упал, произнося следующие знаменитые слова: *agnosco Nulum Romanum* ^{4*}.

Равным образом Рим предал анафеме миланского сеньора^а; он объявил его еретиком и провозгласил крестовые походы против Малатесты, Ордолафеев и Манфредов^{б*}. Европейские державы тогда молчали, и их молчание являлось молчаливым признанием права, которого требует теперь церковь, права, которым она пользовалась во все времена и которое поконится на непоколебимой основе ее непогрешимости.

Что можно ответить на эту массу примеров и рассуждений, на которых духовенство основывает свои претензии? Если признавать непогрешимость церкви, признавать, что она является единственным толкователем Священного писания²⁵, то всякое право, на какое она претендует, является тем самым ее приобретенным правом. Всякое решение ее правильно, и сомнение в этом нечестиво. Если она объявит какого-нибудь короля еретиком, то он становится им. Она осуждает его на смертную казнь; значит, его следует влечь на казнь.

Если признать непогрешимой какую-нибудь корпорацию, сколь бы жестокой нетерпимостью она ни отличалась, то этим теряется право судить о ней. Выражать в этом случае сомнение насчет ее справедливости — это значит отрицать непосредственный и ясный вывод из принятого ею принципа. Я не стану распространяться по этому вопросу. Я ограничусь одним замечанием. Признаем, что верно, как я сказал выше, что всякий человек или по крайней мере всякая корпорация честолюбивы; что честолюбие является в них добродетелью или пороком в зависимости от различия средств, при помощи которых они удовлетворяют его; что средства, употребляемые церковью, всегда пагубны для блага народов; что величие, основывающееся на нетерпимости, должно дове-

^а Единственное преступление, в котором папа обвинял Висконти, заключалось в том, что он в качестве вассала империи слишком рьяно встал на сторону императора Людовика Баварского. Его рвение было объявлено еретическим.

^б Преступление Малатесты заключалось в том, что он захватил Римини. Преступление Ордолафеев и Манфредов заключалось в том, что они завладели Фаэнцой, на которую заявлял права папа. Все папы были тогда узурпаторами, а все их враги были объявлены еретиками. Между тем эти папы исповедовались и не возвращали того, что они захватили.

Их преемники пользовались впоследствии без всяких угрозений совести этими захваченными имуществами. Это пользование может показаться тайнством несправедливости. Я предпочитаю думать, что это тайнство теологии.

сти народы до нищеты, унижить правителей, угрожать жизни государей и что, наконец, никогда интересы духовенства не могут совпасть с общественным интересом.

Если все это верно, то из этих различных фактов следует заключить, что религия (не та, что установлена Иисусом Христом, — религия кротости и терпимости, а религия попов), та религия, во имя которой они объявляют себя мстителями за божество и требуют для себя права сжигать и преследовать людей, есть религия кровавых раздоров^а, религия цареубийц. На основе подобной религии честолюбивое духовенство всегда сможет воздвигнуть здание тех чудовищных прав, которыми оно так часто пользовалось.

Но что могут сделать короли против честолюбия церкви? Они могут отказать ей, как это делают некоторые христианские вероисповедания:

- 1) в непогрешимости;
- 2) в исключительном праве толковать Священное писание;
- 3) в звании божественного мстителя.

ГЛАВА XXXI

О СРЕДСТВАХ ОБУЗДАТЬ ЧЕСТОЛЮБИЕ ДУХОВЕНСТВА

Пусть предоставят богу заботу мстить за себя и оставят ему наказание еретиков; пусть земля перестанет присваивать себе право судить за оскорбления, нанесенные небу²⁶; — принцип терпимости станет, наконец, принципом общественного воспитания. Тогда честолюбие попов, потерявших поводы преследовать людей, побуждая народы к мятежам и покушениям на светскую власть, должно будет исчезнуть. Утратив тогда свою свирепость, они перестанут предавать проклятиям государей, не будут больше вкладывать оружие в руки разных Равальяков и не станут открывать врата неба для цареубийц. Если вера есть дар небес, то человека, не имеющего веры, следует жалеть, а не наказывать. Преследовать несчастного — это верх бесчеловечности. Почему же, в силу какого рокового ослепления поступают так, когда дело идет о религии?

^а Если религия служит иногда предлогом для беспорядков и гражданских войн, то истинной причиной этого является, как утверждают, честолюбие и корыстолюбие главарей. Но без помощи нетерпимой религии их честолюбие не могло бы вооружить сотни тысяч рук.

Если признать веротерпимость, то рай перестанет быть наградой убийц и платой за покушения на государей.

Впрочем, в интересах всякого государя — жестокого или доброго, Бузириса ^{1*} или Траяна — установить веротерпимость. Церковь позволяет быть тираном только своему рабу, а Бузирис не хочет быть рабом.

Что же касается добродетельного, заботящегося о счастье своих подданных государя, то какова должна быть его первая забота? Ослабить власть церковников. Его духовенство будет упорно противиться выполнению его благотворительных планов. Духовная власть — всегда открытый или скрытый враг ^а светской власти. Церковь — это тигр: если он в цепях законов веротерпимости — он кроток; если же цепь его порвется, то его охватывает исконная ярость.

На основании того, как поступала некогда церковь, государи могут судить о том, как она станет поступать, если ей вернуть ее прежнюю власть. Прошлое должно просветить их насчет будущего.

Правитель, который надеялся бы заставить духовную и светскую власть стремиться к одной и той же цели, а именно к общественному благу, совершил бы ошибку: их интересы весьма различны. Только иногда эти две власти объединяются для того, чтобы пожирать плоть одного и того же народа, подобно тому как две соседние и соперничающие нации объединяются против третьей нации, нападают на нее, а потом дерутся между собой из-за дележа добычи.

Не может быть, чтобы две верховные и независимые власти мудро управляли государством. Всякий закон должен исходить от одной власти, либо разделенной между несколькими лицами, либо сосредоточенной в руках монарха.

Терпимость подчиняет попов государям, нетерпимость — государей попам. Она свидетельствует о наличии в государстве двух соперничающих властей.

^а Государь оказывает милость и уважение святошам, он этим дает оружие своим врагам. Его внешними врагами являются соседние государи, а внутренними — богословы. Неужели он должен увеличивать их власть? Наличие многих религий в каком-нибудь государстве укрепляет трон. Одна религиозная секта может быть сдержана только другой. В духовном мире, как и в физическом, покой создается равновесием противоположных сил.

Быть может, древние, разделившие Вселенную между Ормуздом и Ариманом^{2*} и рассказывавшие об их вечных битвах, имели в виду лишь вечную борьбу между духовенством и властями. Царство Ормузда было царством света и добродетели; таково и должно быть царство закона. Царство Аримана было царством мрака и преступления; таково и должно быть царство поповщины и суеверия.

Кто ученики Ормузда? Философы, ныне столь жестоко преследуемые во Франции из-за интриг монахов и слугителей Аримана. В каком преступлении упрекают их? Да ни в каком. Они занимались в меру своих сил просвещением народов, они старались освободить их от позорного ига суеверия, и, может быть, их сочинениям государи и правители обязаны отчасти сохранением своего авторитета.

Невежество народа — мать бессмысленного благочестия²⁷, это яд, который, будучи изготовлен химиками религии, распространяет вокруг трона смертоносные испарения суеверия. Наоборот, наука философов — это тот чистый и священный огонь, который удаляет от королей вредоносные пары фанатизма.

Государь, сам подчиняющийся и подчиняющий свой народ власти духовенства, отделяет от себя своих добродетельных подданных. Он царствует, но над суеверными людьми, над народами, душа которых опустошена, словом, над рабами попов. Эти рабы — люди мертвые для отечества. Они не служат ему ни своими талантами, ни своим мужеством. Страна, где действует инквизиция, не может быть родиной честного гражданина²⁸.

Горе народам, среди которых монахи безнаказанно преследуют всякого, кто презирает их сказки и не верит ни в колдунов, ни в желтых карликов, и у которых монахи влачат на казнь добродетельного человека, *творящего добро, не вредящего никому и говорящего правду*. При господстве фанатизма, говорит Юм в своей «Жизни Марии английской», особенно преследуют самых честных и умных людей. Изуверство, взяв в свои руки кормило правления государством, изгоняет из него добродетели и таланты; умы впадают тогда в состояние особой апатии, единственно, может быть, неисцелимой.

Сколь бы критическим ни было положение какого-нибудь народа, но иногда достаточно одного великого человека, чтобы изменить весь облик событий. Между

Францией и Англией разгорелась война. На стороне Франции на первых порах преимущество. Но вот правительство возглавляет Питт, и к английскому народу возвращается его бодрость, а к морским офицерам — их неустранимость. Эта перемена была произведена казнью одного адмирала. Новый министр сообщает активность своего гения исполнителям его начинаний. Корыстолюбие солдат и матросов, пробужденное надеждой на добычу и грабеж, укрепляет их мужество. И в результате нет ничего менее похожего на самих себя, чем англичане в начале войны и в конце ее.

Скажут, что Питт имел дело со свободными людьми. Несомненно, легко вдохнуть жизнь в свободный народ. Как использовать во всякой другой стране могучий стимул патриотической любви? На Востоке пусть гражданин станет отождествлять свой интерес с общественным интересом; пусть, будучи другом своей нации, он разделит ее славу, ее позор и ее несчастья. Но может ли он обещать в случае гибели его родины под бременем бедствий, что он никогда не назовет виновников их? Если он назовет их, он погиб. Поэтому при некоторых формах правления хороший гражданин должен быть либо наказан, как таковой, либо перестать им быть. Имеются ли хорошие граждане во Франции? Я этого не знаю. Но я знаю твердо одно: что единственным министром, который мог в этой войне сообщить некоторую энергию своей нации, был герцог де Шуазель^{3*}. Его происхождение, его мужество, его возвышенный характер, его блестящий ум, несомненно, воодушевили бы французов, если бы их можно было бы воодушевить. Но ханжество почти безраздельно владело тогда умами сильных мира²⁹. Его влияние на них было так велико, что в тот самый момент, когда разбитая на всех фронтах Франция должна была уступить свои колонии, в Париже интересовались только делом иезуитов^а.

^а Когда во время дела иезуитов в Париже узнали о проигранном сражении, им интересовались только какой-нибудь день. На следующий день говорили уже об изгнании блаженных отцов. А эти отцы, чтобы отвлечь внимание публики от изучения их организации, не переставали громить энциклопедистов. Военные неудачи они объясняли прогрессом философии. Философия, говорили они, губит дух солдат и генералов. Преданные им богомольные дамы были убеждены в этом. Тысячи дур повторяли эту фразу. А между тем очень философский народ, англичане, и еще боль-

Интриги плели только ради них.

Таково было настроение и в Константинополе, когда Магомет II вел его осаду^{4*}. При дворе происходил церковный собор в то самое время, когда султан брал предместья столицы.

Ханжество сужает умственный горизонт гражданина, веротерпимость расширяет его. Только последняя может избавить французов от изуверской жестокости.

Сколь бы суеверной и фанатичной ни была какая-нибудь нация, ее характер способен всегда принимать различные формы, которые придадут ей ее законы, ее правительство и особенно общественное воспитание. Воспитание всемогуще, и если в предыдущих разделах я так тщательно обрисовал бедствия, порождаемые невежеством, защитниками которого объявляют себя теперь столько людей, то для того, чтобы дать лучше понять все значение воспитания.

Какие есть способы его усовершенствовать?

Быть может, бывают такие времена, когда человек должен довольствоваться только наброском великого плана и не надеяться на выполнение его.

Выяснением этого вопроса я закончу настоящее произведение.

ший философ, прусский король, били французских генералов, которых никто не обвинял в философии.

С другой стороны, поклонники старой музыки утверждали, что неудачи Франции были результатом увлечения итальянскими комическими актерами и итальянской музыкой. Последняя, по их словам, окончательно испортила нравы французов. Я был тогда в Париже. Трудно представить себе, какими смешными делают французов в глазах иностранцев подобные рассуждения тех, кого во Франции называют хорошим обществом.

Почти все знатные дамы называли здравый смысл безбожием. Они говорили только о достойном отце Бертье и измеряли заслуги какого-нибудь человека толщиной его молитвенника.

Во всех надгробных речах говорили только о благочестии покойника, и исключительно к этому сводился ему панегирик. *В действительности же столь прославленный знатный покойник был дураком, которого монахи постоянно водили за нос.*

Всякое пастырское послание или проповедь заканчивались сатирическим выпадом против философов и энциклопедистов. К концу своих речей проповедники подходили к краю кафедры, как певцы-кастраты к рампе театральной сцены, и отпускали свою эпиграмму, подобно тому как последние пускали свои финальные фиоритуры. Если бы проповедники забыли это, то от них потребовали бы эпиграммы, как от арлекинов требуют кувырканья.

¹ Противоречие раздражает невежду. Если знающий человек выносит его, то это потому, что, добросовестно изучая самого себя, он часто ловит себя на ошибках. Невежда не испытывает потребности в знании. Он думает, что все знает. Тот, кто не изучает себя, считает себя непогрешимым, и такими считает себя большинство людей, а в особенности французские щеголи. Последние, по моим наблюдениям, всегда удивляются тому, что имеют мало успеха за границей. Неужели они не знают, что, подобно тому как, желая быть понятым в Левантинских портах, надо говорить на языке франков, точно так же надо, чтобы быть понятым за границей, говорить на языке здравого смысла; щеголь покажется там всегда смешным, пока вместо языка разума он будет пользоваться модным в своей стране жаргоном.

² Общие истины просвещают публику, не оскорбляя лично савонников. Почему же они не побуждают писателей к изысканиям этого рода истин? Потому, что последние иногда противоречат их планам.

³ У богословов возмущает не новизна какого-нибудь взгляда, но насилие, с помощью которого его навязывают. Это насилие вызывало иногда в государствах сильные волнения.

Возвышенная и благородная душа с нетерпением переносит унижительное иго попов, и преследуемый постоянно мстит преследователю. Человек, говорит Макиавелли, имеет право все думать, все говорить, все писать, но не вправе навязывать свои взгляды. Пусть богослов уговаривает или убеждает меня, но он не должен насильствовать мои убеждения.

⁴ Единственная нетерпимая религия — это религия, проявляющая нетерпимость. Подобная религия, сделавшись самой влиятельной в государстве, может зажечь здесь факел войны и породить бесчисленные беспорядки и бедствия.

⁵ Если государи станут относиться равнодушно к теологическим спорам, то горделивым докторам, осыпавшим друг друга оскорблениями, надоест писать, не имея читателей. Общественное презрение заставит их молчать.

⁶ Благоразумный законодатель всегда поручает какому-нибудь знаменитому писателю предложить новые законы, которые он желает издать. Если законы эти, появившиеся под именем названного автора, подвергались некоторое время общественной критике и если их сочли хорошими, то их затем безропотно принимают.

⁷ Министр издает закон; философ открывает какую-нибудь истину; оба они становятся мишенью для зависти и глупости до тех пор, пока не будет признана польза этого закона и этой истины. Однако их жребий весьма различен: министр, обладая властью, подвергается лишь насмешке; философ, лишенный власти, подвергается преследованию.

⁸ Ежедневно хвалят превосходство каких-нибудь заграничных установлений, прибавляя, однако, что эти установления несовместимы с любой иной формой правления. Если факт этот верен в некоторых частных случаях, то он не верен в большинстве их. Если английский уголовный процесс лучше всего способен защищать невинных людей, то почему французам, немцам и итальянцам не принять его?

⁹ Государь ежедневно меняют торговые законы, касающиеся взимания пошлин и налогов. В таком случае они могут изменять и всякий закон, противоречащий общественному благу. Когда Траян решил, что республиканская форма правления лучше монархической, то он предложил изменить форму правления; он предложил римлянам свободу и вернул бы ее им, если бы они захотели принять ее. Конечно, подобный поступок заслуживает большой похвалы, и он вызвал восхищение во всем мире. Но так ли он необычен, как думают? Разве не ясно, что Траян, если бы он разбил цепи римлян, сохранил бы величайший авторитет в народе, освобожденном благодаря его благородству, что любовь и признательность дали бы ему почти всю ту власть, которой он обязан был силе своих армий? Но найдется ли что-нибудь более лестное, чем такая власть? Немногие государи подражали Траяну. Я согласен с тем, что немногие люди приносили в жертву — мнимую жертву — общему интересу свой частный авторитет. Но их чрезмерная любовь к деспотизму является иногда результатом не столько отсутствия у них добродетели, сколько отсутствия ясного понимания.

¹⁰ Только одно действительно несовместимо ни с каким государственным устройством — это несчастье народов. Власть над ними не дает еще права вредить им. Государь, сознательно заключивший невыгодный для его нации договор, превысил свои права; он совершил преступление по отношению к ней.

Монарх всегда существует в силу права своих предков. Но всякая верховная власть имеет своим источником свободное избрание народов. Таким образом, ясно, что носитель верховной власти — как бы его ни называли — есть лишь первое доверенное лицо нации. Но ни одно доверенное лицо не вправе заключать невыгодный для его доверителей договор. Само общество всегда может отказаться от собственных обязательств, если они для него слишком обременительны.

Если два народа заключают между собою договор, то, подобно частным лицам, они имеют в виду лишь свое благо и взаимные выгоды. В тот момент, когда эта взаимность выгод перестает существовать, прекращается действие договора: каждая из сторон может нарушить его. Должна ли она сделать это? Нет, если от этого для нее получается лишь незначительный ущерб. В этом случае для нее выгоднее терпеть этот небольшой ущерб, чем считаться легкомысленным нарушителем своих обязательств. Но из самих соображений, заставляющих в этом случае соблюдать договор, ясно видно право всякой нации аннулировать его, если он становится пагубным для ее блага.

¹¹ В деспотических странах в глубине души ненавидят и презирают военных — это потому, что народ видит в беях и пашах лишь своих тюремщиков и палачей. Наоборот, в греческой и римской республиках воинов любили и уважали: вооруженные против общего врага, они не выступили бы против своих соотечественников.

¹² Делает ли власть султана законной то, что он правит на основании закона? Нет. Скажут, что узурпатор может, издав специальный закон, объявить себя государем через 20 лет после своей узурпации. Такой взгляд ошибочен. Ни одно общество во время своего основания не вручило и не могло вручить одному человеку власть распоряжаться по произволу имуществом, жизнью

и свободой граждан. Всякое самодержавие есть узурпация, против которой народ может всегда выступить.

Как поступали римляне, когда они желали лишить мужества какой-нибудь народ, сделать его невежественным, развратить его душу, удержать его в рабстве? Они давали ему деспота. Таким путем они поработили себе спартанцев и бриттов. Но никогда нельзя считать справедливой и законной конституцию, созданную для того, чтобы испортить нравы какого-нибудь народа, или форму правления, которую победитель навязывает с этой целью побежденному. Можно ли называть правительством ту форму правления, при которой все сводится к угождению и послушанию султану, при которой кое-где можно встретить несколько обывателей, но ни одного гражданина?

Всякий народ, стонущий под игом деспотизма, вправе сбросить его. Священные законы — это законы, соответствующие общественному интересу. Всякий противоречащий этому закон — не закон, а обложенное в форму закона злоупотребление.

¹³ Деспот не получает от природы сил, необходимых для того, чтобы он мог один подчинить себе целый народ. Он поработает его лишь с помощью своих янычар, своих солдат и своей армии. Если он становится неугодным этой армии, если она поднимает мятеж, то, лишенный ее поддержки, он теряет силу. Скинпер выпадает из его рук, он осужден своими соумышленниками. Его не судят — его убивают. Иное дело — государь, который царствует, опираясь на авторитет законов и суда. Предположим, что он совершит какое-нибудь преступление, заслуживающее наказания в силу этих законов. В этом случае все же выслушают его защиту, а медленность процедуры даст ему всегда время, исправив совершенную им несправедливость, предупредить приговор над ним.

Трон умеренной монархии всегда более прочен, чем трон деспотизма.

¹⁴ Небесное правосудие всегда было какой-то загадкой. Церковь некогда думала, что в случае дуэли или сражений бог всегда находится на стороне обиженного. Опыт опровергнул утверждения церкви. Известно, что в частных поединках небо всегда на стороне более сильного и ловкого, а в сражениях — на стороне лучших войск и более талантливого полководца.

¹⁵ Немногие философы отрицали существование бога как физической первопричины. «Есть некоторая причина всего существующего, и эта причина неизвестна». Несущественно, назовут ли ее богом или как-нибудь иначе; споры по этому поводу — чисто словесные споры. Иное дело — существование нравственного бога. Противоречие, которое постоянно обнаруживалось между земным правосудием и небесным, заставляло часто отрицать его существование. К тому же, говорят, что такое нравственность? Собрание соглашений, которые заставляли людей заключить между собою их взаимные потребности. Но как можно сделать бога из человеческого творения?

¹⁶ Доказательством слабости нашей веры является презрение, с которым относятся к человеку, меняющему религию. Нет ничего, разумеется, более похвального, чем отказ от заблуждения ради истины. Чем же объясняется наше презрение к новообращенным? Нашим смутным убеждением, что все религии одинаково ложны и что человек, меняющий религию, делает это под влиянием гнусных и, следовательно, заслуживающих презрения интересов.

¹⁷ Если бы нравственность иезуитов была создана каким-нибудь мирянином, то она была бы осуждена немедленно после опубликования ее. Нет таких преследований, которым не подвергся бы ее автор.

Тем не менее, не будь парламентов, только этой морали повсеместно учили бы во Франции. Епископы одобряли ее, Сорбонна боялась иезуитов. Этот страх внушал уважение к их принципам. В подобных случаях духовенство судит не вещь, а автора, подходя к нему с двоякого рода мерами и весами. Пример тому — Фома Аквинский. Макнавелли в своем «Государе» не высказывал никогда таких положений, которым учит этот святой в своем комментарии к пятой книге «Политики», текст 11. Вот его подлинные слова:

«Ad salvationem tyrannidis, excellentes impotentia, vel divitiis interficere; quia tales per potentiam quam habent, possunt insurgere contra tyrannum. Iterum expedit interficere sapientes. Tales enim per sapientiam eorum possunt invenire vias ad expellendam tyrannidem. Nec scholas, nec alias congregationes per quas contingit vacare circa sapientiam permitendum est. Sapientes enim ad magna inclinantur, et ideo magnanimi sunt et tales de facili insurgunt. Ad salvandam tyrannidem oportet quod tyrannus procuret ut subditi imponant, sibi invicem crimina, et turbent se ipsos, ut amicus amicum, et populus contra divites, et divites inter se dissentiant. Sin enim minus poterunt insurgere propter eorum divisionem. Oportet etiam subditos facere pauperes; sic enim poterunt insurgere contra tyrannum. Procureanda sunt vectigalia, hoc est exactiones multae magnae; sic enim cito poterunt depauperari subditi. Tyrannus debet procurare bella inter subditos vel etiam extraneos, ita ut non possint vacare ad aliquid tractandum contra tyrannum. Regnum salvatur per amicos. Tyrannus autem ad salvandam tyrannidem non debet confidere amicis».

«Expedit tyrannus ad salvandam tyrannidem quod non appareat subditis saevus, seu crudelis. Nam si appareat saevus, reddit se odiosum. Ex hoc autem facili insurgent in eum, sed debet se reddere reverendum propter excellentiam alicujus boni excellentis, Reverentia enim debetur bono excellenti; et si non habeat bonum illud excellens, debet simulare se habere illud. Tyrannus debet se reddere talem, ut videatur subditis ipsum excellere in aliquo bono excellenti in quo ipsi deficiunt, ex quo eum reveruntur. Si non habeat virtutes, secundum veritatem faciat ut opinentur habere eas».

Вот перевод этого места, сделанный Подэ:

«Чтобы сохранить тираннию, надо умертвить самых могущественных и богатых людей, потому что подобные люди могут встать против тирана благодаря своему авторитету. Необходимо также избавиться от знающих и ученых людей, потому что благодаря своим знаниям они могут найти средства погубить тираннию. Не следует даже терпеть школ, ни других сообществ, при помощи которых можно изучить науки, потому что ученые питают склонность к великому и благодаря этому мужественны и великодушны, а подобные люди легко встают против тиранов. Чтобы сохранить тираннию, тираны должны устроить так, чтобы их подданные обвиняли друг друга в преступлениях и устраивали внутренние смуты, чтобы друг преследовал друга и чтобы возникли раздоры между бедным людом и богачами, а также разногласия между богачами. Действительно, в этом случае у них благодаря их разногласиям

будет меньше возможностей восстать. Следует также сделать подданных бедными для того, чтобы им благодаря этому стало труднее восстать против тиранов. Надо установить подати, т. е. большие и многочисленные налоги, потому что таким образом можно вскоре сделать подданных бедными. Тиран должен также возбуждать войны между своими подданными и даже между иностранцами, для того чтобы они не могли задумать ничего против него. Царства сохраняются с помощью друзей, но тиран не должен доверять никому, чтобы сохранить свою тиранию».

«Для сохранения тирании тиран не должен казаться своим подданным жестоким; действительно, если он будет казаться им таким, то он станет ненавистным, а это может побудить их легче восстать против него. Он должен добиться уважения благодаря какой-нибудь выдающейся добродетели, потому что добродетели подобает всяческое уважение, и если он не обладает этим превосходным качеством, то он должен притвориться, будто он им обладает. Тиран должен вести себя так, чтобы его подданные думали, будто он обладает некоторой выдающейся добродетелью, которой у них нет и из-за которой они относятся к нему с уважением. Если он не обладает добродетелями, то пусть он поступает так, чтобы они думали, будто он ими обладает».

Таковы взгляды по этому вопросу Фомы Аквинского. Оставляя в стороне вопрос о том, считал ли он тиранию нечестивым делом или нет, я замечу вместе с Нодэ, что это очень странные поучения в устах святого. Я замечу, сверх того, что Макиавелли в своем «Государе» — лишь комментатор св. Фомы. Но если из двух писателей, высказывающих одни и те же взгляды, один причислен к лику святых, а сочинения его одобрены и доступны решительно всем, другой же отлучен, и книга его запрещена, то ясно, что церковь подходит с двумя различными мерами и двумя весами и что суждения ее продиктованы ее интересами.

¹⁸ Монахи продолжают еще спорить, но они уже больше не рассуждают. Если кто-нибудь выступает против их взглядов с возражениями, то они не могут ответить на эти возражения, они уверяют, что эти вопросы уже давно разрешены. В данном случае такой ответ действительно наиболее удачен. Правда, народы, теперь более просвещенные, знают, что запрещенная книга — это та книга, идеи которой, как правило, более всего соответствуют общественному интересу.

¹⁹ Только надежда на награду может побудить людей искать истину; поэтому равнодушие к ней предполагает наличие большого несоответствия между наградами, даваемыми за открытие ее, и усилиями, каких требуют ее поиски. Почему автор, открыв истину, является столь часто жертвой преследования? Потому, что завистливые и злые люди заинтересованы в том, чтобы преследовать его. Почему публика сперва нападает на философа? Потому, что публика невежественна, и потому, что, обманутая вначале критикой фанатиков, она заражается их неистовством. Но публика похожа на Филиппа Македонского: можно всегда апеллировать от пьяной публики к публике трезвой. Почему власть имущие так редко пользуются истинами, открытыми философами? Потому, что они редко интересуются общественным благом. Но что произошло бы, если бы они заинтересовались им и стали покровительствовать истине? То, что она распространилась бы с невероятной быстротой. Иное дело — заблуждение. Если власть имущий покровительствует ему,

то оно принимается очень многими людьми, но не всеми. У истины всегда остаются скрытые сторонники. Это, так сказать, своего рода заговорщики, всегда готовые при случае выступить за нее. Чтобы уничтожить какое-нибудь заблуждение, достаточно слова государя. Что касается истины, то семя ее неистребимо. Конечно, оно бесплодно, если власть имущие не помогут его оплодотворению, но оно продолжает существовать, и если оно этим зарождением обязано власти, то своим существованием оно обязано философии.

²⁰ Среди церковников есть, несомненно, и добрые, счастливые и нечестолюбивые люди, но они не стоят во главе этой могущественной корпорации.

Так как духовенство всегда управляется интригами, то оно всегда будет честолюбивым.

²¹ Церковь, всегда занятая заботами о своем величии, свела все христианские добродетели к воздержанию, смирению, слепой покорности. Она никогда не проповедовала любви к отечеству и человечеству.

²² Церковь иногда запрещала мирянам убийство государей, но себе она всегда позволяла это. Это доказывает ее история. Верно, говорят богословы, что папы низлагали государей, проповедовали против них крестовые походы, причисляли к лику святых таких людей, как Клеман, но в этих поступках виновны первосвященники, а не церковь. Что касается преступного молчания, которое хранят по этому вопросу епископы, то, прибавляют они, это было результатом их вежливости по отношению к святому престолу, а не одобрения его поведения. Но разве они вправе молчать по поводу подобных преступлений и выступать с таким неистовством против якобы странного толкования Лютером и Кальвином некоторых мест Священного писания? Дозволено ли преследовать заблуждение, когда относятся с терпимостью к величайшим злодеяниям? Всякий здравомыслящий человек заключит из постоянно двусмысленного поведения церкви, что она в действительности преследует только одну цель, а именно иметь возможность в зависимости от своих различных интересов одобрять или не одобрять одни и те же поступки.

Нет более очевидного доказательства ее честолюбия, чем план иезуитов включить в свой орден вельмож, князей и даже государей. Благодаря этому обществу, куда вступило уже множество вельмож, государей, ставшие подчиненными иезуитов и их генералов, оказались бы жалкими исполнителями их планов.

Кто знает, быть может, и удался бы этот столь смело задуманный план, если бы не было парламентов!

²³ Инквизиция не допущена во Францию. Однако, скажет церковь, во Франции по моему требованию заключают в тюрьму яansenистов, кальвинистов и деистов. Следовательно, здесь молчаливо признают мое право преследовать людей. Но если государь дает мне это право по отношению к своим подданным, то я ожидаю лишь случая, чтобы воспользоваться им по отношению к нему самому и к властям.

²⁴ Церковь, не знаю почему, называет себя супругой господ бога. Церковь есть совокупность верующих. Эти верующие — люди бородатые и безбородые, обутые или необутые, носящие капюшоны или не носящие их. Нелепа и смехотворна мысль, что подобная совокупность является супругой божества. Как мог бы стать

возможным этот брак, если бы слово «церковь» было мужского рода?

²⁵ В настоящее время французская церковь отказывает папе в праве распоряжаться тронами государей. Но пскренен ли отказ этой церкви? Является ли он результатом ее убеждения? Для ответа на этот вопрос надо обратиться к ее поведению в прошлом. Какое уважение может питать духовенство к человеческому закону, если оно считает себя вправе в качестве толкователя божественного закона изменять и модифицировать его по своему усмотрению? Всякий, кто приписывает себе право толковать закон, под конец всегда начинает творить его. В результате церковь стала богом. Поэтому нет ничего менее похожего друг на друга, чем религия Иисуса и современная религия папистов.

Как удивились бы апостолы, если бы, вернувшись к жизни, они прочитали катехизис, которого они не составляли; если бы они узнали, что еще недавно церковь запрещала мирянам читать Священное писание под тем пустым предлогом, что оно представляет соблазн для людей слабых!

В связи с этим я приведу один курьезный факт, именно заданный в 1414 году акт английского парламента. Согласно этому акту, под страхом смертной казни запрещалось читать Священное писание на народном, т. е. на понятном людям, языке. Как, скажут протестанты, бог собрал в книге те обязанности, каких он требует от человека, и оказывается, что этот столь мудрый и знающий бог так неясно изложил в ней свою волю, что ее нельзя читать без помощи толкователя? Неужели всемогущее существо, сотворившее человека, не знало силы его разума? О священники, какие у вас странные взгляды на мудрость и разум всевышнего!

Молодой человек из Авинья подвергся преследованию за мнимое богохульство, но разве он говорил когда-нибудь столь ужасные вещи? Однако его казнили, а вас продолжают уважать. Правильно говорят, что на земле все зависит от удачи и что в этом мире справедливым оказывается только власть имущий.

²⁶ Правительства являются судьями поступков, но не взглядов. Пусть я выскажу грубо ошибочный взгляд, я буду наказан за это насмешками и презрением. Но если в результате ошибочного взгляда я посягну на свободу ближних, то я стану преступником.

Если, будучи поклонником культа Венеры, я сожгу храм Сераписа^{1*}, то судья должен наказать меня не как еретика, но как нарушителя общественного спокойствия, как несправедливого человека, который, пользуясь свободой вероисповедания для себя лично, желает лишить своих сограждан этой свободы.

²⁷ Изгнание иезуитов предполагало наличие в Испании и Португалии министров с твердым и мужественным характером. Просвещенность народа во Франции облегчила это изгнание. Если бы папа стал слишком горько жаловаться на это, то его жалобы показались бы неуместными.

В письме, написанном по поводу осуждения конгрегацией святейшего престола пасторского послания Суассонского епископа, один добродетельный кардинал указывал святому отцу, что «есть некоторые притязания, на которые римский двор должен набросить покрывало вечного забвения, особенно, — прибавляет он, — в эти злосчастные времена, когда неверующие и безбожники сомневаются в честности служителей религии».

Что означают на церковном языке эти слова: *неверующие и безбожники*? Это люди, которые противятся власти духовенства. Но неверующим короли обязаны своей обеспеченностью, народу — своим спокойствием, парламенту — своим существованием, а честолюбивому духовенству — своей сдержанностью. Эти мнимые нечестивцы должны быть тем более дороги для французского народа, что ему нечего бояться с их стороны. Философы не образуют никакой корпорации. Они не имеют никакого влияния. Помимо того, так как они простые граждане, то их интерес не может не быть всегда связан с общественным интересом, а следовательно, и с интересом просвещенного правительства.

²⁸ Как воспитать добродетельных граждан в католических странах, где воспитание юношества поручено попам? Ведь интересы попов всегда противоречат интересам государства. Никогда попы не признают основного принципа всех добродетелей, а именно что «справедливость наших поступков зависит от их соответствия всеобщим интересам». Подобный принцип противоречит их честолюбивым планам.

Кроме того, нравственность, подобно всем прочим наукам, совершенствуется лишь с течением времени и благодаря опыту. Очевидно, что религия, считающая себя плодом откровения и полагающая поэтому, что она научила человека всем его обязанностям, будет тем энергичнее противиться усовершенствованию этой самой науки, что она не оставляет места ни для гения, ни для опыта.

²⁹ В то время как Франция вела войну с англичанами, парламенты вели войну с иезуитами, а набожно настроенный двор стоял на стороне последних. В результате все при дворе было полно церковных интриг. Можно было подумать, что находишься в конце царствования Людовика XIV. В Версале насчитывалось тогда мало добродетельных людей и множество ханжей.

Меня могут, разумеется, спросить, почему я считаю ханжество столь пагубным для государства; ведь Испания, скажут мне, продолжает существовать, а между тем Испания не сбросила с себя еще пра инквизиции?

Это верно, но Испания слаба, она не вызывает ни в ком зависти, она не занимается ни завоеваниями, ни торговлей. Испания изолирована в уголке Европы. При своем теперешнем положении она неспособна ни нападать, ни выдержать нападения. Этого нельзя сказать о других государствах. Так, Франция завидуют и ее боятся; она открыта со всех сторон; ее торговля является основой ее могущества, а ее гений — основой ее торговли. Есть только одно средство поддержать в ней промышленность — это ввести в ней умеренную форму правления, при которой дух сохраняет энергию, а гражданин — свободу мысли. Если мрак ханжества распространится далее по Франции, то ее промышленность уменьшится и ее могущество с каждым днем станет ослабевать.

Суеверная нация быстро утрачивает, подобно нации, находящейся под властью самодержавия, свою нравственность, свой ум и, следовательно, свою силу. Доказательством этого являются Рим, Константинополь и Лиссабон. Нет ничего удивительного в том, что все жители этих городов предаются изнеженности и сладострастию: люди прибегают только к источникам чувств и чувственности, когда им не позволено пользоваться источниками ума.

РАЗДЕЛ X

О могуществе воспитания; о способах усовершенствовать его; о препятствиях и путях прогресса этой науки. О легкости, с какой можно будет по устранении этих препятствий наметить план идеального воспитания

ГЛАВА I

ВОСПИТАНИЕ ВСЕМОГУЩЕ

Самое сильное доказательство могущества воспитания — это постоянно наблюдаемая зависимость между различными видами воспитания и их различными продуктами, или результатами. Дикарь неутомим на охоте, он бежит быстрее, чем цивилизованный человек^а, потому что дикарь больше упражнялся в этом.

Цивилизованный человек образованнее дикаря; у него больше идей, чем у последнего, потому что он получает больше различных ощущений и потому что он благодаря своему положению более заинтересован в том, чтобы сравнивать их между собою.

Таким образом, исключительное проворство дикаря, многообразные знания цивилизованного человека являются результатом их воспитания.

Люди, которые при свободном правительстве бывают обыкновенно искренними, честными, талантливыми и гуманными, при деспотическом правительстве становятся низкими, лживыми, подлыми, лишенными таланта и мужества; это различие в их характере является плодом различия воспитания, получаемого ими при том или другом из этих правительств.

Перейдем от различий в государственном строе к различиям в положении отдельных людей. Спросим о причине недостаточности здравого смысла у теологов. Легко

^а Невероятна проникательность, с какой дикари распознают в лесах следы человека. Они различают по следам, какой он национальности, а также особенности его телосложения. Чем объяснить превосходство в этом отношении дикарей над цивилизованными людьми? Обширностью их опыта. Во всех решительно областях ум есть продукт наблюдения.

убедиться в том, что, как правило, виной ложного направления их ума является их воспитание. В этом отношении их воспитывают совсем иначе, чем других людей. Так как они смолodu привыкают довольствоваться школьным жаргоном, принимать слова за вещи, то они перестают отличать ложь от истины, а софизмы от доказательств.

Почему служители алтарей самые страшные люди? Почему, говорит испанская пословица, «следует беречься женщины спереди, мула — сзади, быка — с головы, а монаха — со всех сторон»? Почти все пословицы основываются на опыте, и почти все верны. Чем же объяснить злобность монаха? Его воспитанием.

Сфинкс, говорили египтяне, — это символическое изображение жреца. Лицо жреца кротко, скромно, вкрадчиво; и у сфинкса лицо девушки. Крылья сфинкса говорят о том, что он небожитель. Его когти указывают на могущество, которое дает ему на земле суеверие. Его змеиный хвост — знак его гибкости. Подобно сфинксу, жрец предлагает загадки и бросает в темницы всякого, кто не разгадает их так, как ему угодно. И действительно, монах с ранней молодости привыкает к лицемерию в своем поведении и своих взглядах, и он тем опаснее, чем больше он привык к притворству.

Если церковники — самые надменные из людей, то это потому, что их гордость постоянно питается поклонением многочисленных суеверных людей.

Епископ — самый жестокий из людей; это потому, что в отличие от большинства он не испытывает нужды и не подвергается опасностям; потому, что изнеженное и женственное воспитание привело его характер к измельчанию; потому, что он вероломен и труслив, а, по словам Монтеня, нет ничего болсе жестокого, чем слабость и трусость.

Военные бывают обыкновенно в молодости невежественными и развратными. Почему? Потому, что ничто не понуждает их учиться. В старости они часто глупы и фанатичны. Когда прошла пора разврата, невежество неизбежно делает их суеверными.

Среди светских людей мало крупных талантов. Это — следствие их воспитания, на которое в детстве обращают слишком мало внимания. В их памяти запечатлевают лишь ложные и ребяческие идеи. Их надо было бы устранить из памяти, чтобы заменить их впоследствии пра-

вильными и великими идеями. Но это — дело долгого времени, и приходится состариться, не успев стать мужчиной. Почти во всех профессиях срок обучения очень непродолжителен. Единственное средство продлить его — это с ранних лет формировать суждения человека. Пусть его память не обременяют ничем, кроме ясных и отчетливых идей, и его юность будет более просвещенной, чем теперь его старость.

Воспитание делает нас тем, чем мы являемся. Если в возрасте шести или семи лет савояр уже бережлив, деятелен, трудолюбив и верен, то это потому, что он беден, голоден, потому, что он живет, как я уже сказал, с соотечественниками, наделенный теми качествами, какие требуются от него, — словом, потому, что его воспитателями являются пример и нужда — два властных наставника, которым все повинуются^а.

Сходство в поведении савояров зависит от сходства в их положении и, следовательно, от сходства их воспитания. То же самое можно сказать о воспитании государей. Почему их упрекают в почти одинаковом воспитании? Потому, что они не нуждаются в свете знания; им достаточно захотеть, чтобы достигнуть удовлетворения своих потребностей и своих прихотей. Но тот, кто, не имея талантов, без труда может удовлетворить и те и другие, лишен стимула к просвещению и деятельности.

Ум и таланты у людей всегда суть продукты их стремлений и их особого положения^б. Наука о воспитании сво-

^а При усвоении в детстве привычки к труду, бережливости, верности избавиться от этой привычки уже трудно. Ее можно преодолеть лишь путем продолжительного общения с мошенниками или под влиянием чрезвычайно сильных страстей. Но такого рода страсти редки.

^б Несчастьям и суровому воспитанию Европа обязана своим Генрихом, Брауншвейгским принцем, наконец, своим Фридрихом. Великие государи вскормлены в колыбели бедствий. Их просвещенность обыкновенно соразмерна опасностям их положения.

Узурпаторы почти всегда обладают большими талантами: к этому их принуждает их положение. Иное дело — их потомки. Родившись на престоле, они почти никогда не обнаруживают гения, они мало думают, потому что они слабо заинтересованы в том, чтобы думать. Любовь султана к произволу — следствие его лени. Он хочет избавиться от изучения законов, он желает освободиться от усилий внимания, и это желание действует на его визиря так же, как и на государя. Влияние человеческой лени на различные правительства не изучено. Возможно, я первый заметил постоянное соотношение, существующее между просвещением граждан, силой их страстей и формой их правительств, — следовательно, за-

дится, может быть, к тому, чтобы поставить людей в положение, которое заставило бы их приобрести желательные таланты и добродетели.

В этом отношении государи не всегда находятся в наилучшем положении. Великие монархи — это чрезвычайные явления в природе, которых долго ожидают, но которые появляются лишь редко. Уничтожения злоупотреблений всегда ожидают от наследника престола, он должен произвести чудеса. Но вот принц вззошел на престол, а ничего не изменилось, и государственное управление осталось тем же, что и раньше. В самом деле, почему монарх, часто хуже воспитанный, чем его предки, должен быть более просвещенным, чем они?

Во все времена одинаковые причины всегда производят одинаковые следствия.

ГЛАВА II

О ВОСПИТАНИИ ГОСУДАРЕЙ

«Родившийся на престоле государь редко бывает достойным», — говорит один французский поэт.

Вообще если государи проявляют дарования, то ими они обязаны суровости своего воспитания, опасностям, какими они были окружены в детстве, наконец, испытанным им бедствиям. Чем суровее воспитание, тем оно здоровее для тех, кому придется когда-нибудь повелевать другими людьми.

всимость последних от их заинтересованности в том, чтобы получить просвещение.

Человек в естественном состоянии или диакрь, занятый только заботой об удовлетворении своих физических потребностей, менее просвещен, чем цивилизованный человек. Но самые умные из диакрей — это те, кому труднее всего удовлетворить эти потребности.

Какие из африканских народов более невежественны? Жители пальмовых лесов, где ствол, листья и плоды пальм дают без всякого труда все необходимое для удовлетворения всех потребностей человека. Даже счастье может иногда притупить ум народа. В Англии появляется теперь лишь немного хороших книг по вопросам морали и политики. Возможно, что ее бедность в этом отношении — результат общественного счастья. Может быть, знаменитые писатели обязаны в некоторых странах печальной привилегией своего таланта лишь тем бедствиям и несчастьям, на какие обречены их соотечественники. Страдания, доведенные до известной ступени, просвещают человека, но, перейдя эту ступень, они доводят его до отупения. Долго ли останется Франция просвещенной?

Такого рода воспитание государи получают в периоды смут и междоусобиц. Во всякое другое время им дают лишь требуемое этикетом воспитание, столь же дурное и почти столь же не поддающееся исправлению, как и форма правления, следствием которого оно является^а.

Чего можно ожидать от подобного воспитания? К чему сводится воспитание наследника престола в Турции? Молодой принц, живя в уединении в какой-нибудь части сераля, имеет в качестве общества и развлечений жену и пяльцы. Выходит он из своего убежища, чтобы нанести еженедельно под хорошей охраной визит султану. По окончании визита он под той же охраной возвращается в свои апартаменты. Здесь он находит ту же жену и те же пяльцы. Что можно узнать в этом уединении о науке правления? Когда этот принц вступит на престол, то первое, что ему покажут, — это карту его обширной империи; ему посоветуют быть любовью своих подданных и ужасом своих врагов. Как же достигнуть того и другого? Он этого не знает. Отсутствие привычки к усидчивости делает его неспособным к занятиям, наука управления становится ему противной. Он проникается отвращением к ней, запирается в свой гарем; сидя там, меняет жен и визирей, приказывает посадить на кол одних, наказать палочными ударами других и воображает, что он управляет. Государи — те же люди и поэтому могут быть лишь такими, какими сделало их воспитание.

В Турции ни султан, ни подданные — словом, никто не думает. То же самое можно сказать о различных европейских дворах, поскольку воспитание государей здесь приближается к восточному воспитанию.

Вывод из этой главы: пороки и добродетели людей всегда являются следствием различия их положения и различия их воспитания.

Примем этот принцип и предположим, что захотели бы решить для всякого рода условий проблему идеального воспитания. Что нужно сделать для этого?

1. Определить, какие таланты или добродетели свойственны человеку той или иной профессии.

^а Во всяком деспотическом государстве, где права испорчены, т. е. где частный интерес расходится с общим интересом, дурное воспитание государя есть неизбежное следствие дурной формы этого правительства. Весь Восток доказывает это.

2. Указать способы, которые побудили бы его приобрести¹ эти таланты и эти добродетели.

Человек вообще лишь отражает идеи окружающих его лиц; единственные добродетели, которые можно наверняка привить ему, — это добродетели, вызываемые необходимостью. Убедившись в этой истине, предположим, что я захотел внушить моему сыну социальные качества. Я должен дать ему в товарищи детей примерно его сил и возраста и предоставить им в этом отношении заботу о взаимном воспитании; я должен буду поручить надзор за ними наставнику лишь для того, чтобы умерять строгость их наказаний. Руководствуясь этим планом воспитания, я смогу быть уверен, что если мой сын станет разыгрывать красавца, нахала, фата, гордеца, то это будет ненадолго.

Ребенок не способен долго сносить презрение, оскорбления и насмешки своих товарищей. Нет такого социального порока, которого не исправило бы подобное воспитание. Чтобы лучше обеспечить его успех, надо сделать так, чтобы ребенок, который почти никогда не бывает в родительском доме, не посещал бы его и в праздничные дни и на каникулы и не мог почерпнуть вновь таким образом из бесед и поведения светских людей пороки, которые истребили в нем его соученики.

Вообще наилучшим является такое воспитание, когда ребенок, находясь подальше от своих родителей, не приращивает к тем идеям, которые должны занимать его² во время его занятий, противоречащих им идей. Вот почему общественное воспитание будет всегда стоять выше домашнего.

Однако слишком много людей придерживается по этому вопросу иного мнения, и я считаю поэтому необходимым изложить мотивы своих взглядов.

ГЛАВА III

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПЕРЕД ДОМАШНИМ

Первое из этих преимуществ — *благоприятные для здоровья свойства того места, где молодежь может получить свое воспитание.*

При домашнем воспитании ребенок живет в родительском доме, а в больших городах эти дома часто малы и нездоровы.

Наоборот, при общественном воспитании дом этот строится за городом и может хорошо проветриваться. Занимаемая им обширная площадь позволяет молодежи делать все упражнения, способные укрепить тело и здоровье.

Второе преимущество заключается в *твердой дисциплине*.

Дисциплина никогда не соблюдается так строго в родительском доме, как в заведении, предназначенном для общественного воспитания. В школе все делается по часам: часовая стрелка распоряжается воспитателями и слугами; следуя ей, устанавливается здесь продолжительность еды, занятий и рекреаций; часы поддерживают здесь порядок. Где нет порядка, нет и регулярных занятий; порядок удлиняет дни, беспорядок укорачивает их.

Третье преимущество общественного воспитания — *вызываемое им соревнование*.

Главными стимулами в годы ранней юности являются страх и соревнование.

Соревнование же вызывается, когда сравнивают себя со множеством других людей.

Из всех способов возбудить любовь к талантам и добродетелям этот последний наиболее надежен. Но когда ребенок находится в родительском доме, он не может производить это сравнение, и от этого страдает его воспитание.

Четвертое преимущество заключается в *образованности воспитателей*.

Среди людей, а следовательно, и среди отцов имеются невежественные и просвещенные люди. Первые не знают, какое воспитание дать своим сыновьям. Вторым это известно, но они не знают, каким способом они должны представлять им свои идеи, чтобы облегчить их понимание. Для этого необходима особая практическая сноровка, которая быстро приобретает в школах путем собственного или традиционного опыта и которой часто недостает самым образованным отцам.

Пятое преимущество общественного воспитания — *его твердость*.

Домашнее воспитание редко бывает мужественным и развивающим смелость. Родители, думая только о физическом здоровье ребенка, боятся огорчать его, уступают всем его прихотям и дают этой жалкой снисходительности название родительской любви ^а.

^а Нет такой матери, которая не уверяла бы, что она безумно любит своего сына. Но если под словом *любить* понимать заботу

Таковы те различные мотивы, которые всегда будут побуждать людей предпочитать общественное воспитание частному. Только от первого можно ожидать патриотов. Только оно может связать крепко в памяти граждан идею личного блага с идеей блага национального. Я не стану более распространяться по этому вопросу.

Я показал все могущество воспитания.

Я доказал, что в этом отношении следствия всегда соразмерны причинам.

Я показал, насколько общественное воспитание выше домашнего.

Теперь следовало бы подробно обрисовать почти непреодолимые препятствия, мешающие в большинстве государств успехам науки о воспитании, и указать, с какой легкостью можно было бы по устранении этих препятствий усовершенствовать воспитание.

Но прежде чем заняться этим, следует, думаю я, познакомить читателя с различными сторонами воспитания, на которые законодатель должен обратить особенное внимание. Для этой цели я буду различать два вида воспитания — физическое и духовное.

ГЛАВА IV

ОБЩИЕ ИДЕИ ОТНОСИТЕЛЬНО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Задача этого рода воспитания заключается в том, чтобы сделать человека более сильным, более крепким, более здоровым, следовательно, более счастливым, более часто приносящим пользу своему отечеству, т. е. более пригодным к различным функциям, к выполнению которых может призвать его национальный интерес.

о счастье этого сына и, следовательно, о его воспитании, то не найдется почти ни одной матери, которую нельзя было бы не обвинить в равнодушии. Действительно, какая мать заботится о воспитании своих детей, читает относящиеся к этому вопросу хорошие книги или хотя бы старается понять их? Поступила ли бы она так, если бы дело шло о каком-нибудь важном судебном процессе? Нет. Не найдется такой женщины, которая в этом случае не стала бы навещать своего адвоката, советоваться с ним, читать составленные им бумаги. Ту, которая не сделала бы ни того ни другого, считали бы равнодушной к исходу процесса. Степень интереса к той или иной вещи должна всегда измеряться усилиями, затраченными на ознакомление с ней. Если приложить этот критерий к заботам, оказываемым обыкновенно воспитанию детей, то окажется, что нет ничего более редкого, чем материнская любовь.

Греки, убежденные в важности физического воспитания, высоко ценили гимнастику³, которая составляла часть воспитания их молодежи. Они пользовались ею в своей медицине не только в качестве профилактического средства, но и в качестве особого средства для укрепления того или иного члена тела, ослабленного в результате какой-нибудь болезни или несчастного случая.

Может быть, было бы желательным, чтобы я дал здесь картину игр и упражнений древних греков. Но что сказать по этому вопросу, если все можно найти в записках Академии надписей, где описывается даже то, как лакедемонские кормилицы выращивали спартанцев и начинали их воспитание.

Была ли доведена наука гимнастики у греков до высшей степени совершенства? Я этого не знаю. Только в том случае, если бы эти упражнения были восстановлены, талантливые хирурги и образованные врачи смогли бы на основании ежедневного опыта определить, насколько можно еще усовершенствовать эту науку.

По этому вопросу я замечу лишь, что физическое воспитание заброшено почти у всех европейских народов не потому, что правительства прямо противятся усовершенствованию этой стороны воспитания, но потому, что эти упражнения вышли из моды и их больше не поощряют.

Нет закона, запрещающего постройку при школах арены, на которой ученики, достигшие определенного возраста, могли бы упражняться в борьбе, в беге, в прыжках, могли бы учиться верховой езде, плаванию, кулачному бою, подниманию тяжестей и т. д. Пусть только построят такую арену в подражание греческим аренам и станут назначать призы победителям, и нет никакого сомнения, что эти призы вскоре пробудят в молодежи ее природную склонность к подобным играм. Но разве можно одновременно упражнять тело и дух молодых людей? Почему нет? Если отменить в школах отпуски, во время которых ребенок отправляется к своим родителям скучать и отвлекаться от своих занятий, и если удлинить время ежедневных рекреаций, то ребенок сможет каждый день посвящать семь или восемь часов серьезным занятиям и четыре или пять часов более или менее сильным физическим упражнениям. Он сможет одновременно укреплять и свое тело, и свой дух.

Составление плана подобного воспитания не требует особой изобретательности. Для выполнения его достаточно привлечь внимание родителей к этому вопросу. Хорошее законодательство достигло бы этой цели^а. Сказанного достаточно по вопросу о физической стороне воспитания. Теперь я перейду к духовной стороне его, которая, бесспорно, менее всего известна.

ГЛАВА V

В КАКОЕ ВРЕМЯ И В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ МОЖНО ДАВАТЬ ЧЕЛОВЕКУ ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Как животное, человек испытывает различные физические потребности. Эти различные нужды — своего рода гении-хранители, созданные природой для того, чтобы сохранить его тело и просветить его дух. Жара, холод, жажда, голод научают его сгибать лук, спускать стрелу, раскидывать сеть, одеваться в шкуры, строить хижины и т. д. До тех пор пока разбросанные в лесах индивиды продолжают в них обитать, для них не существует духовного воспитания. Добродетели цивилизованного человека — любовь к справедливости и к отечеству. Добродетели дикого человека — сила и ловкость. Его потребно-

^а Для молодежи необходимо мужественное воспитание. Можно ли предложить план его в век роскоши, в век, когда предаются безудержно наслаждениям и когда правящая часть общества отличается изнеженностью?

Под влиянием изнеженности нация опускается. Но какое дело большинству вельмож до унижения нации? Единственное, чего они боятся, — это подвергнуть любимого сына опасности удара или насморка. Есть нежные, просвещенные и добродетельные отцы, которые, по-видимому, желают, чтобы их дети стали здоровыми, сильными, крепкими благодаря физическим упражнениям. Но эти упражнения вышли из моды. Какой отец решится пренебречь насмешками ради подобного новшества, а если он и решится, то будет ли он способен сопротивляться плачу и докучным жалобам слабой и малодушной матери? Люди желают домашнего мира любой ценой. Чтобы изменить в этом отношении нравы народа, законодательство должно было бы карать родителей за слишком изнеженное воспитание детей, налагая на них позорящие, но благотворные наказания. Оно должно, как я уже сказал, давать военные должности лишь тем, чьи телесное здоровье и сила испытаны.

Тогда отцы будут заинтересованы в воспитании здоровых и сильных детей. И только от подобного законодательства можно ожидать некоторых благотворных перемен в деле физического воспитания.

сти — его единственные воспитатели, единственные хранители вида, и сохранение его является, по-видимому, единственной целью природы.

Когда, размножившись, люди объединяются в общества, когда недостаток средств пропитания заставляет их возделывать землю, они входят в соглашения между собою, и изучение этих соглашений дает начало науке о воспитании. Ее цель — внушить людям любовь к законам и к социальным добродетелям. Чем совершеннее воспитание, тем счастливее народы. В связи с этим я замечу, что прогресс этой науки, равно как и законодательства, всегда соразмерен прогрессу человеческого разума, усовершенствованного опытом, а этот опыт предполагает всегда объединение людей в общество. Людей в этом случае можно рассматривать под двумя углами зрения:

- 1) как граждан,
- 2) как граждан той или иной профессии.

В этих двух качествах они получают и образование двойного рода. Наиболее усовершенствовано из них последнее. Мне придется сказать о нем немного, и поэтому я с него и начну свое исследование.

ГЛАВА VI

О ВОСПИТАНИИ. ОТНОСЯЩЕМСЯ К РАЗЛИЧНЫМ ПРОФЕССИЯМ

Молодого человека желают обучить какому-нибудь искусству или какой-нибудь науке. Для этого всем умам предоставляются одни и те же способы воспитания. Я хочу, например, сделать из своего сына второго Тартини^а. В таком случае я учу его музыке, я стараюсь привить ему вкус к ней, с самой ранней юности я приучаю его держать руку на грифе скрипки. Вот как поступают, и примерно так только и можно поступать.

Более или менее быстрые успехи ребенка зависят затем от искусства наставника, от его метода преподавания, наконец, от того, как ученик пристрастится к своему инструменту.

Канатный плясун хочет подготовить своих сыновей к своей профессии; если с самых ранних лет он начнет упражнять гибкость их тела, этим он даст им самое лучшее воспитание.

^а Знаменитый итальянский скрипач.

Пусть дело идет о более трудном искусстве: из ребенка хотят сделать художника. С той минуты, как он может держать карандаш, ему дают его в руку. Его заставляют сперва срисовывать наиболее правильные гравюры, затем рисовать с рельефов, наконец, по наиболее прекрасным моделям. Кроме того, его память обогащают великими и возвышенными образами, встречающимися в поэмах таких поэтов, как Вергилий, Гомер, Мильтон и т. д. Ему показывают картины таких художников, как Рафаэль, Гвидо, Корреджо, подчеркивая их различные красоты. Он изучает по этим картинам последовательно чары рисунка, композиции, колориты и т. д. Наконец, его соревнование возбуждают рассказами о почестях, оказываемых знаменитым художникам.

Это все, что может дать молодому художнику хорошее воспитание. Своими успехами он обязан затем более или менее сильному желанию прославиться. Но на силу этого желания оказывает большое влияние случай. Иногда достаточно какой-нибудь похвалы в тот момент, когда ученик проводит смелую линию, чтобы пробудить в нем любовь к славе и сообщить ему то упорное внимание, которое порождает великий талант.

Но, скажут, нет такого человека, который не был бы чувствительным к физическому удовольствию, и, значит, все люди могут любить славу, по крайней мере в тех странах, где эта слава представляет какое-нибудь реальное удовольствие. Я с этим согласен, но большая или меньшая сила этой страсти всегда зависит от некоторых обстоятельств, некоторых положений, наконец, от тех случайностей, которым мы обязаны, как я это доказал в разделе II, всеми нашими открытиями. Таким образом, случай всегда играет роль в формировании знаменитых людей.

Хорошее воспитание может увеличить число одаренных людей у какого-нибудь народа и привить, если можно так выразиться, здравый смысл остальным гражданам. Вот что оно может сделать, и этого достаточно: эта прививка стоит всякой другой.

Из сказанного мною следует, что та часть воспитания, которая относится специально к различным сословиям и профессиям, вообще в довольно хорошем состоянии: для доведения ее до совершенства остается, с одной стороны, только упростить методы преподавания (это

задача наставника), а с другой — усилить стимул соревнования (в этом задача правительства).

Что касается духовной стороны воспитания, то это, бесспорно, наиболее важная и наиболее заброшенная часть его. Нет таких общественных школ, где преподавали бы науку нравственности^а.

Чему учат в коллеже начиная с 3-го класса до класса риторики? Сочинению латинских стихов. Сколько времени уделяют изучению того, что называют этикой, или нравственностью? Какой-нибудь месяц. Удивительно ли после этого, если встречается так мало добродетельных людей, так мало знающих свои обязанности по отношению к обществу?

Впрочем, предположим, что в какой-нибудь общественной школе решили бы преподавать ученикам курс нравственности. Что нужно сделать для этого? Нужно, чтобы всегда неизменные и определенные правила этой науки были связаны с некоторым простым принципом, из которого можно, как в геометрии, вывести бесчисленное множество вторичных принципов. Но этот принцип еще не известен. Следовательно, нравственность еще не наука; в действительности, нельзя давать это название гряде не связанных между собою и противоречивых предписаний^б. Но если нравственность еще не наука, то какими средствами преподавать ее?

Желаете, чтобы я наконец открыл основной ее принцип? Но нужно иметь в виду, что попы, исходя из своих интересов, всегда будут противиться его опубликованию и что во всякой стране всегда можно будет сказать:

^а Почему бы, изложив по-новому работу Локка «О гражданском правлении», не разъяснить юношам этой книги, в которой содержится часть здоровых принципов нравственности.

^б Сорбонна считает себя, подобно церкви, непогрешимой и неизменной в своих положениях. В чем выражается ее неизменность? В том постоянстве, с каким она противоречит всякой новой идее. Впрочем, эта самая Сорбонна, всегда противоречила себе во всех решениях, сперва защищала Аристотеля против Декарта и отлучила картезианцев; потом она стала проповедовать систему последних, придала тому же Декарту авторитет отца церкви, словом, приняла его ошибки, с тем чтобы бороться с лучше доказанными истинами. Чем объяснить такое непостоянство во мнениях Сорбонны? Ее невежеством в вопросе об истинных принципах всякой науки. Трудно было бы найти что-нибудь курьезнее, если бы собрать ее противоречия, когда она одну за другой осуждала работы аббата де Прада^{1*}, книги Руссо, Мармонтеля и т. д.

«Либо нет священников, либо нет истинной нравственности».

В Италии, в Португалии нет недостатка ни в религии, ни в суевериях.

ГЛАВА VII

О НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА

Почему так мало хороших патриотов, мало граждан, которые были бы всегда справедливыми? Потому, что людей не воспитывают для того, чтобы они были справедливыми; потому, что современная нравственность, как я только что сказал, представляет лишь сплетение грубых заблуждений и противоречий; потому, что справедливым можно быть, лишь будучи просвещенным, а в ребенке заглушают даже самые ясные понятия о естественном законе.

Но можно ли дать в ранней юности ясные представления о справедливости? Во всяком случае я знаю, что если можно с помощью религиозного катехизиса запечатлеть в памяти ребенка предписания часто нелепейшей веры, то, значит, можно с помощью нравственного катехизиса запечатлеть в ней предписания и принципы справедливости, пользу и истину которых доказывает ему ежедневный опыт.

С того момента, когда люди начинают отличать удовольствие от страдания, когда они испытывают зло и причиняют зло, имеется уже некоторое понятие о справедливости.

Как поступить, чтобы составить себе о ней наиболее ясные и точные идеи? Спросить себя:

Что такое человек?

О. Животное, как уверяют, разумное, но, несомненно, чувствующее, слабое и способное размножаться.

В. Что должен человек делать в качестве чувствующего существа?

О. Избегать страдания и искать удовольствия. Эти поиски удовольствия и это постоянное стремление избегать страданий называют себялюбием ^а.

^а Тот, кто хочет узнать истинные принципы нравственности, должен, подобно мне, подняться до начала физической чувствительности: он должен искать в потребностях голода, жажды и т. д. причины, которые заставляют уже размножившихся людей возделывать землю, объединяться в общество и устанавливать между собою соглашения, соблюдение или нарушение которых делает людей справедливыми или несправедливыми.

В. Что должен, далее, делать человек в качестве слабого животного?

О. Объединиться с другими людьми: либо чтобы защищаться против более сильных, чем он, животных; либо чтобы обеспечить себе пропитание, на которое посягают хищные звери; либо, наконец, чтобы поймать тех животных, которые служат ему пищей.

Отсюда все соглашения, касающиеся охоты и рыбной ловли.

В. Что происходит с человеком как с животным, способным размножаться?

О. Средства его пропитания уменьшаются по мере того, как число людей увеличивается.

В. Что должен он делать в результате этого?

О. Когда в озерах исчезла рыба, а в лесах — дичь, он должен искать новые средства добывать себе пищу.

В. Какие это средства?

О. Они сводятся к двум. Когда граждане еще малочисленны, они разводят скот, и народы бывают тогда пастушескими. Когда число граждан сильно увеличивается и они должны на меньшей площади искать себе пропитание, они начинают возделывать землю, и народы становятся земледельческими.

В. Что предполагает более совершенная обработка земли?

О. Что люди уже объединены в общества или поселки и между ними заключены соглашения.

В. Какова задача этих соглашений?

О. Обеспечить обладание быком тому, кто его кормит, и жатвой тому, кто распахивает землю.

В. Что побуждает человека к этим соглашениям?

О. Его интересы и его предвидение. Если бы были граждане, которые могли бы отнять жатву у того, кто обрабатывает и засеивает землю, то никто не обрабатывал и не засеивал бы ее, и в следующем году поселок стал бы жертвой нужды и голода.

В. Что следует из необходимости обработки земли?

О. Необходимость собственности.

В. Что включают соглашения о собственности?

О. Мою личность, мои мысли, мою жизнь, мою свободу, мое имущество.

В. Что вытекает из соглашений о собственности, после того как они установлены?

О. Наказания, направленные против тех, кто нарушает их, т. е. против воров, убийц, фанатиков и тиранов. Если отменить эти наказания, то всякое соглашение между людьми потеряет силу. Если кто-либо из них начнет посягать безнаказанно на собственность других людей, то с этого момента люди вступят в состояние войны между собою. Всякое общество тогда распадется. Люди тогда должны избегать друг друга, подобно тому как избегают друг друга львы и тигры.

В. Существуют ли в цивилизованных странах наказания против нарушителей права собственности?

О. Да, по крайней мере во всех тех странах, где имущество не находится в общем владении⁴, т. е. почти у всех народов.

В. Что делает это право собственности столь священным и почему почти повсюду из него сделали божество под названием, например, бога *Термина*^{1*}?

О. Потому, что сохранение собственности есть нравственный бог государства: она поддерживает здесь внутренний мир и заставляет царствовать справедливость; потому, что люди объединились для того, чтобы обеспечить себе свою собственность; потому, что справедливость, заключающая в себе одной почти все добродетели, состоит в том, чтобы воздавать всякому то, что ему принадлежит, и сводится, следовательно, к поддержанию этого права собственности. Наконец, потому, что различные законы были всегда лишь различными способами обеспечить гражданам это право.

В. Но разве мысль должна быть причислена к видам собственности? В таком случае что понимают под этим словом?

О. Например, право поклоняться богу так, как, по моему мнению, будет для него наиболее приятно. Тот, кто лишает меня этого права, производит насилие над тем, что является моей собственностью, и, какой бы ни был его сан, он подлежит наказанию.

В. Есть ли случаи, когда государь может противиться установлению новой религии?

О. Да, когда она отличается нетерпимостью.

В. Что дает ему право на это?

О. Общественная безопасность. Он знает, что эта религия, сделавшись господствующей, начнет преследовать граждан. Государь, на котором лежит обязанность забо-

тяться о благе своих подданных, должен противиться распространению такой религии.

В. Но почему нужно видеть в справедливости зародыш всех добродетелей?

О. С того момента, как люди, желая обеспечить свое благо, объединились в общество, справедливость состоит в том, чтобы каждый своей кротостью, своей гуманностью и своими добродетелями способствовал в меру своих сил счастью этого общества.

В. Предположим, что законы какого-нибудь народа продиктованы справедливостью. При помощи каких средств можно заставить соблюдать их и зажечь в душе любовь к отечеству?

О. Эти средства суть наказания за преступления и награды за добродетели.

В. Каковы должны быть награды за добродетель?

О. Звания, почести, общественное уважение и все те удовольствия, какие связаны с этим уважением.

В. Каковы наказания за преступления?

О. Иногда смерть; часто позор, этот спутник презрения.

В. Разве презрение есть наказание?

О. Да, во всяком случае в свободных и хорошо управляемых странах. В подобных странах наказание общественным презрением — жестокое наказание, и его страшатся. Его достаточно, чтобы заставить сильных мира выполнять свой долг. Страх презрения делает их справедливыми, деятельными, трудолюбивыми.

В. Несомненно, справедливость должна править государствами, она должна царствовать здесь посредством законов. Но все ли законы одинаковы по природе?

О. Нет, существуют, так сказать, неизменные законы, без которых общество не может существовать или во всяком случае существовать, наслаждаясь счастьем. Таковы основные законы собственности^{2*}.

В. Дозволено ли когда-нибудь нарушать их?

О. Нет, за исключением тех редких случаев, когда дело идет о спасении отечества.

В. Что дает тогда право нарушать их?

О. Общий интерес, признающий только один нерушимый закон: *Salus populi suprema Lex esto* (Спасение народа — высший закон).

В. Все ли законы должны умолкнуть перед этим законом?

О. Да. Если турецкие армии идут на Вену, то законодатель вправе, чтобы уморить их голодом, нарушить временно право собственности, снять жатву своих соотечественников и сжечь их хлебные амбары, если они недалеко от неприятеля.

В. Так ли священны законы, что их никогда нельзя изменять?

О. Их следует изменять, когда они противоречат благу большинства.

В. Но разве не смотрят часто на всякое предложение реформы как на безрассудство со стороны гражданина, заслуживающее наказания?

О. Да, это так. Однако человек обязан говорить правду человеку; познание истины всегда полезно; всякое заинтересованное лицо имеет право предложить то, что считает полезным для его сообщества. На таком же основании всякий гражданин имеет право предложить своему народу то, что, по его мнению, может способствовать всеобщему благу.

В. Однако есть страны, где нет свободы печати и даже право мыслить под запретом.

О. Да, потому что считают, что легче обокрасть слепого, чем зрячего, и обманывать невежественный народ, чем народ просвещенный. Среди всякой великой нации имеются всегда люди, заинтересованные в общественном несчастье. Только они отрицают за гражданами право предупреждать своих соотечественников о бедствиях, которым часто их подвергает дурной закон.

В. Почему нет такого рода дурных людей в еще небольших и нарождающихся обществах? Почему законы здесь почти всегда справедливы и мудры?

О. Потому, что законы здесь издаются с согласия всех и, следовательно, для пользы всех. Потому, что еще малочисленные граждане не могут составлять здесь ни частных ассоциаций против всеобщей ассоциации, ни отделять свой личный интерес от общего интереса.

В. Почему законы тогда так свято соблюдаются?

О. Потому, что там нет ни одного гражданина, который был бы сильнее законов; счастье гражданина связано тогда с их соблюдением, а несчастье — с их нарушением.

В. Нет ли среди различных законов таких, которые называют естественными законами?

О. Это, как я уже сказал, те законы, которые относятся к собственности и которые существуют почти у всех цивилизованных наций и обществ, потому что общества могут создаваться лишь на основе этих законов.

В. Имеются ли еще и другие законы?

О. Да, имеются изменяющиеся законы; они бывают двоякого рода. Одни изменчивы по своей природе; таковы законы, касающиеся торговли, военной дисциплины, налогов и т. д. Они могут и должны изменяться в зависимости от времени и обстоятельств. Другие законы, неизменные по своей природе, изменяются, однако, потому, что они не доведены еще до совершенства. К ним я причисляю гражданские и уголовные законы: законы, касающиеся финансового управления, раздела имущества, завещаний⁵, браков⁶ и т. д.

В. Является ли несовершенство этих законов результатом исключительно лени и равнодушия законодателей?

О. Этому способствуют и другие причины, как фанатизм, суеверие и завоевание.

В. Ведь законы, установленные благодаря одной из этих причин, благоприятствуют мошенникам. Что же отсюда вытекает?

О. Да то, что эти самые мошенники защищают их.

В. Но не должны ли добродетельные люди в силу противоположных соображений желать их отмены?

О. Да, но добродетельные люди малочисленны, и они не всегда являются самыми сильными. В результате дурные законы не отменяются и редко могут быть отменены.

В. Почему?

О. Потому, что требуется гений, чтобы заменить дурные законы хорошими, и, кроме того, требуется мужество, чтобы заставить принять их. Но почти во всех странах сильные мира сего не обладают ни гением, необходимым, чтобы создать хорошие законы, ни мужеством, достаточным, чтобы установить их, не обращая внимания на крики злонамеренных людей. Хотя люди любят управлять другими людьми, но всегда с наименьшими усилиями и заботами.

В. Что должен делать государь, если предположить, что он желает усовершенствовать науку о законах?

О. Поощрять талантливых людей к изучению этой науки и поручать им решать различные проблемы ее.

В. Что получилось бы тогда?

О. То, что изменяющиеся, еще несовершенные законы перестали бы быть такими и стали бы неизменными и священными.

В. Почему священными?

О. Потому, что полагают, что хорошие законы, являющиеся неизбежно результатом опыта и просвещенного разума, открыты нам самим небом; соблюдение подобных законов может считаться культом, самым приятным божеству, и единственной истинной религией — религией, которую не может отменить никакая власть и даже сам бог, так как зло претит его природе.

В. Не были ли в этом отношении короли иногда могущественнее богов?

О. Несомненно, имеются такие государи, которые, нарушая самые священные права собственности, посягали на имущество, жизнь, свободу своих подданных. Они получили от неба власть, но не право причинять вред. Это право не было дано никому. Можно ли думать, что государи обречены, подобно адским духам, мучить своих подданных? Что за чудовищное представление о верховной власти! Неужели следует приучать народы видеть в своих монархах врагов, а в скипетре — власть причинять вред?

Этот очерк показывает, до какой степени совершенства подобный нравственный катехизис мог бы довести воспитание граждан, насколько он уяснил бы подданным и монарху их взаимные обязанности и, наконец, какие здравые идеи он придал бы нравственности. Если свести основной первоисточник науки о нравах к простому факту физической чувствительности, то эта наука становится доступной людям всякого возраста и всяких умственных способностей. Все могут иметь одинаковые представления о ней.

Как только мы примем физическую чувствительность за первоисточник нравственности, правила последней перестают быть противоречивыми. Ее аксиомы, связанные друг с другом, выдерживают самое строгое доказательство; наконец, ее принципы, очищенные от мрака спекулятивной философии, становятся ясными и признаются тем большим количеством граждан, чем нагляднее они показывают последним их заинтересованность в том, чтобы быть добродетельными⁷.

Кто усвоил этот первый принцип, тот видит, если можно так выразиться, с первого же взгляда все недо-

статки законодательства. Он знает, достаточно ли крепка созданная законами плотина, чтобы выдержать напор страстей, противоречащих общему благу; каково соотношение между наказаниями и наградами в законе, которое должно побудить людей быть добродетельными. Наконец, он видит в столь прославленной аксиоме современной нравственности:

«Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе» — лишь вторичную максиму, для домашнего употребления которой всегда недостаточно, чтобы уяснить гражданам их обязанности по отношению к их отечеству. Вместо этой аксиомы он выдвигает немедленно другую, которая гласит:

«Общественное благо — верховный закон».

Эта аксиома, содержащая в себе в более общем и более ясном виде все полезные стороны первой аксиомы, применима ко всевозможным положениям, в которых может находиться гражданин, и одинаково подходит к буржуа, судье, министру и т. д. Спускаясь с высоты, если можно так выразиться, подобного принципа до местных соглашений, составляющих обычное право каждого народа, всякий узнал бы более тщательным образом свои собственные обязанности; он узнал бы, насколько мудры или нелепы обычаи и законы его страны; он смог бы вынести о них суждение тем более здоровое, чем чаще он мысленно обращался бы к великим принципам, на весах которых взвешивают мудрость и даже справедливость законов.

Таким образом, молодежи можно преподавать ясные и здравые идеи нравственности, и, стало быть, можно с помощью катехизиса добродетели довести эту часть воспитания до высочайшей степени совершенства. Но сколько препятствий приходится при этом преодолеть!

ГЛАВА VIII

ПЕРВЫМ ПРЕПЯТСТВИЕМ К УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ ИНТЕРЕСЫ ПОПОВ

Интересы духовенства, как и интересы всех корпораций, изменяются в зависимости от места, времени и других обстоятельств. Поэтому всякая нравственность, принципы которой неизменны, никогда не будет принята духовенством. Оно желает такой нравственности, темные, противоречивые и поэтому изменчивые правила которой

были бы пригодны для самых различных положений, в которых оно может оказаться.

Попу нужна нравственность^а произвола, которая позволила бы ему легализовать сегодня такой поступок, который завтра он назовет отвратительным.

Горе нациям, которые доверяют попам воспитание своих граждан. Они дадут им лишь ложные представления о справедливости, так что было бы лучше не давать им никаких представлений о ней.

Кто без предрассудков, тот ближе к истинному познанию и более доступен хорошему воспитанию. Но где найти такие указания в области воспитания? В истории человечества, в истории народов, их законов и мотивов, побудивших людей установить эти законы. Но духовенство не позволяет искать принципов справедливости в подобных источниках: его интересы запрещают ему это. Оно понимает, что народы, сделавшись благодаря этому исследованию просвещенными, начнут определять уважение или презрение, заслуживаемое различными поступками, мерилom общей пользы. Какое же уважение станут они питать тогда к бонзам, к браминам и их мнимой святости? Какое дело публике до умерщвления ими плоти, до их власяниц, до их слепого послушания? Все эти монашеские добродетели не имеют никакой цены для национального блага. Иное дело — гражданские добродетели, т. е. щедрость, правдивость, справедливость, верность дружбе, своему слову, верность обязательствам, принятым по отношению к обществу, в котором живешь. Подобные добродетели действительно полезны. Поэтому нет никакого сходства между добродетельным гражданином и каким-нибудь святым^б.

^а Нет таких очевидных положений, которых богословы не сделали бы спорными. В зависимости от времени и разных обстоятельств они утверждали, то что следует повиноваться государю, то что следует повиноваться закону. Между тем ни разум, ни даже интересы монарха не оставляют никаких сомнений по этому поводу. Следуйте закону, говорил Людовик XII, несмотря на противоположные распоряжения, которые благодаря назойливости удается иногда вырвать у государя.

Закон считается обдуманной волей государя, в его же распоряжениях видят только волю его министров и его фаворитов.

^б При господстве деспотизма можно быть благочестивым, но не добродетельным: деспотизм, противопоставляя частные интересы общественному интересу, заглушает в человеке любовь к обществу. Поэтому нет ничего общего между религией и добродетелью.

Желая, чтобы его считали полезным, духовенство начинает заявлять, что люди обязаны своей добродетелью его молитвам, действию благодати^а. Но опыт доказывает, что добродетель человека есть дело его воспитания; что народ является тем, чем его делает мудрость его законов; что современная Италия имеет больше веры и меньше добродетелей, чем древняя Италия, и, наконец, что пороки частных лиц следует всегда объяснять недостатками государственного управления.

Если правительство перестает быть бережливым; если оно входит в долги, ведет дурно дела; если оно, подобно моту, становится жертвой мошенников, то оно кончает тем, что само становится мошенническим. Если сильные мира, опираясь на свою силу, считают для себя все дозволенным; если они не обнаруживают справедливости и не верны своему слову, то при подобном правительстве народы должны будут утратить нравственность. Они вскоре привыкнут считать силу всем, а справедливость — ничем.

При помощи нравственного катехизиса людям можно было бы преподать ясные идеи о справедливости, вызывая в их памяти мотивы их объединения в общество и их простые первоначальные соглашения. Но чем яснее был бы этот катехизис, тем скорее было бы запрещено его опубликование. Этот катехизис предполагал бы в качестве воспитателей молодежи людей, знакомых с естественным правом, с международным правом и главными законами всех государств. Но такие люди вскоре перенесли бы на светскую власть уважение, питаемое к духовной власти. Поэтому попы всегда будут противиться изданию подобного сочинения и их преступное сопротивление найдет себе еще и защитников. В своем честолюбии духовенство позволяет себе все: оно клеветает, оно преследует, оно ослепляет людей, и оно кажется всегда справедливым своим сторонникам.

^а Предположим, что увеличили бы в четыре раза число попов в одной провинции и вчетверо же число конных стражников в другой, — какая из них была бы безопаснее от воров? Конечно, не та, которую снабдят попами. Следовательно, 10 миллионов, расходуемых ежегодно на кавалеристов, удержат от преступлений больше мошенников и злодеев, чем 150 миллионов, расходуемых ежегодно на попов. Какая это была бы большая экономия для нации! Какую многочисленную и обременительную для государства ораву разбойников представляет собой духовенство в целом!

Пусть упрекнул монаха в нетерпимости и жестокости; он ответит, что этого требует его положение, что он занимается своей профессией. Но разве существуют профессии, при помощи которых имеют право причинять зло обществу? Если они существуют, то их следует уничтожить. Разве всякий человек не является просто гражданином, прежде чем быть гражданином какой-то профессии? Если бы существовала такая профессия, которая могла бы оправдывать преступление, то на каком основании можно было бы казнить Картуша? Ведь он был вожаком шайки разбойников. Он крал, он занимался своей профессией.

Таким образом, не имея на то права, духовенство обладает властью сопротивляться совершенствованию духовной стороны воспитания.

Попы уже страшатся перемены в общественном образовании в будущем. Но это ложная паника. Как далеки мы еще от принятия правильного плана воспитания! Люди еще в течение долгого времени будут пребывать в невежестве. Пусть же католическая церковь успокоится и знает, что в столь суеверный век ее служители будут иметь еще достаточно силы, чтобы действительно противиться всякой полезной реформе.

Только необходимость восторжествовать над их интригами может прозвезсти перемену, желательную, но невыполнимую без мплости, помощи и содействия правительств.

ГЛАВА IX

ВТОРЫМ ПРЕПЯТСТВИЕМ К УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ НЕСОВЕРШЕНСТВО БОЛЬШИНСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВ

Дурная форма правления — это такая, при которой интересы граждан разделены и противоположны, при которой закон не заставляет их всех одинаково содействовать всеобщему благу. Следовательно, существует мало хороших правительств. Какие поступки называют при дурных правительствах добродетельными? Будут ли это поступки, соответствующие интересам большинства? Но указы власть пмущих и нравы века здесь часто объявляют такие действия преступными. Какие же добродетельные правила можно преподать гражданам в этих странах и каким образом глубоко запечатлеть их в их памяти?

Как я уже сказал, человек получает воспитание двойного рода: воспитание детства — оно дается наставниками; воспитание юности — оно дается существующей формой правления и нравами нации.

Если правила этих двух ступеней воспитания противоречат друг другу, то от первой ничего не остается.

Предположим, что я с детства внушал своему сыну любовь к отечеству; я заставлял его связывать свое благо с осуществлением добродетельных поступков, т. е. поступков, полезных большинству. Но вот при первом моем вступлении в свет мой сын видит, что патриоты томятся в презрении, нищете и угнетении. Он узнаёт, что добродетельные люди, являясь предметом ненависти вельмож и богатей и пользуясь дурной славой в городе, кроме того, не допускаются ко двору, т. е. к источнику милостей, почестей и богатств (являющихся, бесспорно, реальными благами). Можно поставить сто против одного, что мой сын станет видеть во мне лишь глупого болтуна, лишь строгого фанатика, что он станет презирать меня, что его презрение ко мне отразится на преподанных мною ему правилах и что он предастся всем тем порокам, которым благоприятствуют форма правления и нравы его соотечественников.

Пусть, наоборот, о правилах, преподанных ему в детстве, будут напоминать ему в юности, и при своем вступлении в свет молодой человек увидит, что положения его наставников пользуются публичным одобрением. Тогда, полный уважения к этим положениям, он примет их в качестве правил для своего поведения, он будет добродетельным.

Но пусть никто не льстит себя надеждой воспитать подобных людей в таком государстве, как Турция. Разве гражданин, вечно находящийся в страхе, вечно являющийся жертвой насилия, способен в таком тревожном состоянии любить добродетели и отечество? Он желал бы одного — иметь возможность отразить силу силой. Если он желает обеспечить свое счастье, ему вовсе не нужно быть справедливым: с него достаточно быть сильным. Но кто имеет силу при деспотическом правительстве? Те, кто нравится деспотам и разным субдеспотам. Их милость — это сила. Для того чтобы ее снискать, не останавливаются ни перед чем; если для этого требуются низость, ложь и несправедливость, люди делают низкими, лживыми и несправедливыми. Для прямодуш-

ного и честного человека нет места при таком правительстве, и в самый короткий срок он будет здесь посажен на кол. Поскольку нет человека, который не боялся бы страданий и смерти, всякий преступник может оправдать в этой стране самое гнусное свое поведение.

Взаимные потребности, скажет он, заставили людей объединиться в общества. Если они построили города, то это потому, что нашли более выгодным для себя собраться вместе, чем жить в одиночку. Единственным стимулом их объединения было желание счастья. Но этот же мотив, прибавит он, должен заставить людей предаваться пороку, когда благодаря форме правления богатство, почести и счастье являются наградами за него.

Как бы равнодушен ни был человек к богатствам и к почестям, но во всякой стране, где бессильный закон не может реально защитить слабого от сильного, где существуют лишь угнетатели и угнетаемые, палачи и их жертвы, люди должны стремиться к богатствам и к почтам, если не как к средству совершать несправедливости, то как к средству избавиться от угнетения.

Но, скажут, существуют деспотические государства, где еще расточают похвалы умеренности древних мудрецов и героев, где прославляют их бескорыстие, великодушные и возвышенность духа. Да, но эти добродетели здесь вышли из моды. Похвала великодушным людям здесь на устах у всех, но ни у кого на сердце. Никто в своем поведении не дает обмануть себя подобными похвалами.

Я наблюдал, как поклонники героических времен желали восстановить в своей стране учреждения древних. Тщетные усилия. Форма правления и религия противились этому. Бывают такие эпохи, когда всякой реформе в деле общественного образования должна предшествовать известная реформа в государственном управлении и в религии.

К чему сводятся в деспотическом государстве советы отца сыну? К следующей устрашающей фразе: «Мой сын, будь низкопоклонным, раболепным, не имей добродетелей, пороков, талантов, характера. Будь тем, чего хочет двор, и помни каждую минуту, что ты — раб».

В такой стране отец не доверит воспитание своих детей мужественным и добродетельным наставникам. Он вскоре раскаялся бы в этом. Предположим, что во времена Ксеркса какой-нибудь лакедемонянин был бы назна-

чен воспитателем персидского вельможи. Что произошло бы в результате этого? То, что молодой человек, воспитанный в принципах патриотизма и суровой воздержанности, стал бы невыносимым для своих соотечественников и повредил бы своей мужественной и смелой добродетелью своей карьере. «О чрезмерно добродетельный грек! — воскликнул бы тогда отец. — Что ты сделал с моим сыном? Ты погубил его. Я желал увидеть в нем ту умственную посредственность, те податливые и гибкие добродетели, которые в Персии называют мудростью, порядочностью, светским лоском и т. д. Это, скажешь ты, только красивые слова, которыми в Персии прикрывают принятые там пороки. Пусть так, я хотел счастья и удачной карьеры для своего сына. Ты знаешь, что его бедность или богатство, жизнь или смерть зависят от государя. Поэтому тебе следовало бы сделать из него ловкого царедворца, а ты из него сделал лишь героя и добродетельного человека».

Так сказал бы этот отец. Что можно было бы возразить ему? Что за безумие, прибавили бы к этому благо-разумные граждане страны, давать добродетельное и благородное воспитание человеку, которому суждено благодаря форме правления быть лишь низким царедворцем и мрачным злодеем! Зачем было внушать ему любовь к добродетели? Разве посреди всеобщей испорченности он сможет сохранить ее?

Словом, из сказанного следует, что во всяком деспотическом государстве и во всякой стране, где добродетель ненавистна сплывшим мира, бесполезно и нелепо думать о воспитании добродетельных граждан.

ГЛАВА X

ВСЯКАЯ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА В ДУХОВНОМ ВОСПИТАНИИ ПРЕДПОЛАГАЕТ РЕФОРМУ В ЗАКОНАХ И ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ

Кто при дурном правительстве предложил бы хороший план воспитания, тот напрасно надеялся бы, что он будет принят.

Автор подобного плана был бы слишком близоруким человеком, чтобы от него можно было ожидать чего-нибудь великого. Если правила этого нового воспитания противоречат нравам и форме правления, то они всегда признаются дурными. В какой момент их могли бы принять?

Когда народ испытывает великие бедствия и несчастья и когда особенно благоприятное стечение обстоятельств заставляет государя понять необходимость реформы. До тех пор пока она не осознана, можно лишь, если угодно, обдумывать принципы хорошего воспитания. Открытие их должно предшествовать проведению их в жизнь. Кроме того, чем более занимаешься какой-нибудь наукой, тем более открываешь в ней новые истины, тем более упрощаешь ее принципы. Но не следует надеяться, что удастся провести их в жизнь.

Некоторые знаменитые люди пролили много света на этот вопрос, а воспитание осталось все тем же. Почему так? Потому, что для составления хорошего плана воспитания достаточно быть просвещенным, а для проведения его в жизнь надо иметь власть. Нет ничего удивительного поэтому в том, что лучшие труды в этой области не произвели еще никаких заметных перемен. Но следует ли поэтому считать названные труды бесполезными? Нисколько, они действительно двинули вперед науку и воспитание. Когда механик изобретает новую машину, вычисляет ее действие и доказывает ее пользу, этим он вносит усовершенствование в науку. Правда, машина еще не изготовлена, она не приносит еще никакой выгоды обществу, но она уже открыта. Остается только найти богача, который взялся бы за ее построение, а такой богач рано или поздно находится.

Столь лестная идея должна поощрять философов к изучению науки о воспитании. Если существует исследование, достойное добродетельного гражданина, то это — исследование истин, знание которых может когда-нибудь стать полезным для человечества. Как утешительна во время работы надежда на благо потомства! Открытия философов в этой области — своего рода зародыши, которые откладываются в хороших умах и ждут лишь оплодотворяющего их события, а подобное событие рано или поздно наступает.

В глазах невежды духовный мир постоянно находится в состоянии покоя и неподвижности. Он думает, что все было, есть и будет так, как оно есть. В прошлом и в будущем он видит всегда лишь настоящее. Иначе смотрит на вещи просвещенный человек. Духовный мир представляет для него всегда разнообразное зрелище непрерывного преобразования. Вселенная, находясь всегда в движении, должна, как ему кажется, непрерывно

воспроизводиться в новых формах, пока полностью не будут исчерпаны все ее сочетания, пока не осуществится все то, что может быть и что можно вообразить.

Следовательно, философ предвидит в более или менее отдаленном будущем тот момент, когда власть усвоит план воспитания, начертанный мудростью. Пусть побуждаемый этой надеждой философ заранее подрывает предрассудки, противящиеся выполнению этого плана!

Когда собираются воздвигнуть великолепное сооружение, то, раньше чем заложить его фундамент, надо выбрать место, снести занимающие его лачуги и убрать мусор. В этом — дело философии. Пусть же ее не обвиняют в том, будто она ничего не создает^а.

Именно сейчас она выдвигает ясную, здравую нравственность, почерпнутую из самих потребностей человека, на место темной, монашеской, фанатической нравственности — этого бича нынешнего и прежнего мира. В действительности именно философам мы обязаны следующей первой и единственной аксиомой нравственности:

«Благо общества — верховный закон».

Конечно, немногие правительства руководствовались в своем поведении этим правилом; но обвинять в этом философов — это значит вменять им в вину их бессилие. Если архитектор дает план, чертеж и смету постройки дворца, то он этим выполнил свою задачу. Дело государства теперь купить участок земли и дать средства, необходимые для его постройки. Я знаю, что постройку эту будут откладывать, что в течение долгого времени будут ремонтировать старые дворцы, прежде чем построить новый. До тех пор планы бесполезны, они остаются в портфеле. Но в свое время там их можно будет найти.

^а С давних времен о философях говорят, что они все разрушают, но ничего не создают. Их больше не будут упрекать в этом. Впрочем, даже если бы эти современные Гераклы ограничились только тем, что задушили бы чудовище заблуждений, все же они оказали бы огромную пользу человечеству. Обвинения, которые выдвинуты против них по этому вопросу, — это результат *всеобщей потребности людей верить безразлично во что* — в истину или в ложь.

Эту потребность им привил с ранней юности, и впоследствии она становится у них способностью, требующей всегда пищи. Если философ разрушает какое-нибудь заблуждение, люди всегда готовы сказать ему: а каким другим замените вы его? Точно больной спрашивает у своего врача: когда вы меня излечите от лихорадки, то какой другой болезнью вы ее замените?

Философ — это архитектор здания нравственности. План готов.

Но большинство религий и правительств противится выполнению его. Пусть эти препятствия, которые религиозное или деспотическое невежество ставит прогрессу морали, будут устранены. И лишь тогда можно будет льстить себя надеждой довести науку о воспитании до такой степени совершенства, которой она доступна.

Не вдаваясь в подробности плана хорошего воспитания, я во всяком случае указал в этой области основные контуры требуемых реформ. Я показал взаимную зависимость между нравственной стороной воспитания и различными формами правления. Я доказал, что реформа одной не может произойти без реформы в другой области.

После того как эта истина ясно доказана, больше не будут пытаться добиваться невозможного. Будучи уверены в том, что совершенство воспитания зависит от совершенства законов, люди не будут больше стараться примирить между собою непримиримое.

Я указал то место рудной жилы, где следует копать. Будущие ученые, лучше осведомленные о предмете своих исследований, не станут блуждать в пустых спекуляциях. Я избавил их от бесполезного труда.

ГЛАВА XI

О ВОСПИТАНИИ, ПОСЛЕ ТОГО КАК УСТРАНИЛИ ПРЕПЯТСТВИЯ, МЕШАЮЩИЕ ЕГО ПРОГРЕССУ

Предположим, что в какой-нибудь стране почести и награды всегда назначаются за заслуги. Поскольку частный интерес в ней всегда связан с общественным интересом, нравственное воспитание здесь необходимо будет превосходным и граждане будут добродетельны.

Человек, как это доказывает опыт, по природе своей склонен к подражанию, как обезьяна. Находясь среди добродетельных граждан, он сам становится добродетельным, в случае если преподанные ему его воспитателями правила не идут в разрез с национальными обычаями. Нельзя быть ни глупым, ни злым, когда и правила и примеры одинаково способствуют пробуждению в человеке желания обладать талантами и добродетелями; когда наши сограждане питают отвращение к пороку и презрение к невежеству. Представление о заслуге ассоциируется

в нашей памяти с представлением о счастье, а любовь к счастью заставляет нас любить добродетель.

Я вижу, что почести достаются тем, кто оказал услуги отечеству; я повсюду встречаю лишь здравомыслящих граждан и слышу лишь добродетельные речи, и я научусь, если можно так выразиться, добродетели так же незаметно, как учатся родному языку.

Во всякой стране злые люди — если исключить спльных мира — это те, кого законы и воспитание сделали такими⁸.

Я показал, что совершенство духовного воспитания зависит от совершенства правительства. Я могу сказать то же самое о физическом воспитании. При всяком мудром государственном устройстве стремятся воспитать не только добродетельных граждан, но также спльных и крепких граждан. Такие люди и более счастливы, и более способны выполнять различные функции, к которым их призывает интерес государства. Поэтому всякие просвещенные правительства должны восстановить гимнастические упражнения.

Последняя часть воспитания состоит в требовании создать людей, способных прославиться в науках и искусствах; ее совершенство зависит, очевидно, от мудрости законодателя. Если он освободил воспитателей от суеверного уважения к старым обычаям, дал простор их гению, побудил их надеждой на награду совершенствовать методы воспитания⁹, стимулировал соревнование, — тогда, несомненно, ободряемые этой надеждой и образованные наставники, имеющие навыки в обращении со своими учениками, придадут этой и без того уже наиболее развитой стороне воспитания все совершенство, на какое она способна.

Хорошее или дурное воспитание — почти целиком дело законов. Но, могут сказать, сколько требуется знаний, чтобы сделать их хорошими? Меньше, чем это кажется. Для этого достаточно, чтобы правительство имело интерес и желание сделать их такими. Но если предположить даже, что ему недостает необходимых знаний, то все просвещенные и добродетельные граждане придут ему на помощь. Хорошие законы будут созданы, и препятствия, мешавшие прогрессу воспитания, будут устранены.

Но возможно ли в богатых, могущественных и многочисленных обществах осуществить то, что, несомненно, легко сделать в слабых и лишь нарождающихся обществах,

интересы которых еще не очень сложны? Как сдерживать в первых ненасытную алчность людей к власти? Как предупредить здесь замыслы честолюбцев, объединившихся для порабощения своих соотечественников? Наконец, как бороться всегда действенно с ростом колоссальной деспотической власти, которая, основываясь на презрении к талантам и добродетели, доводит народы до состояния апатии, страха и несчастья?

В слишком обширных государствах имеется, быть может, только одно средство надолго решить двойную проблему совершенного законодательства и совершенного воспитания. Для этого нужно, как я уже сказал, разделить эти государства на некоторое число федеративных республик: их небольшие размеры защищали бы их от честолюбия их сограждан, а союз этих республик оберегал бы их от честолюбия соседних народов.

Я не стану распространяться по этому вопросу. В настоящем разделе я поставил себе задачей лишь дать ясные и простые идеи о физическом и духовном воспитании; определить различные типы воспитания, которые следует давать человеку-гражданину и гражданину такой-то определенной профессии; указать реформы, которые надо произвести в форме правления; отметить препятствия, мешающие в настоящее время прогрессу науки о нравственности, и, наконец, показать, что по устранении этих препятствий удастся почти полностью решить проблему совершенного воспитания.

Эту главу я закончу следующим замечанием: чтобы пролить больше света на такой важный вопрос, надо было познать человека:

определить объем его умственных способностей,
указать движущие его стимулы,
показать, каким образом приводятся в действие эти стимулы,

и, наконец, указать законодателю новые способы усовершенствовать великое дело законодательства.

Если по этим различным вопросам я открыл людям некоторые новые и полезные истины, то я выполнил свою задачу и имею право на их уважение и признательность.

Из множества вопросов, рассматриваемых в предлагаемом произведении, одним из самых важных был следующий вопрос: являются ли гений, добродетель и таланты, которым народы обязаны своим величием и своим счастьем, результатом различий в пище, в темпераментах и,

наконец, в органах пяти чувств, на которые никакого влияния не имеют законы и форма правления? Или же они являются результатом воспитания, на которые законы и форма правления оказывают всецелое влияние?

Если я доказал верность этого последнего утверждения, то следует признать, что счастье народов находится в их руках; оно всецело зависит от того, с каким рвением они примутся за усовершенствование науки о воспитании.

Чтобы помочь памяти читателя, я закончу это произведение тем, что повторю различные принципы, на которых я построил свою теорию. Это поможет читателю лучше оценить, насколько она соответствует истине.

КРАТКОЕ ПОВТОРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ

Сказав во введении к предлагаемому произведению несколько слов о его важном значении, о невежестве, царящем в вопросе об истинных принципах воспитания, наконец, о сухости предмета и о трудностях при его рассмотрении, я исследовал:

РАЗДЕЛ I

«Не является ли воспитание различных людей, по необходимости различное, причиной того умственного неравенства, которое до сих пор приписывалось неодинаковому совершенству органов?»

Я задаю себе с этой целью вопрос, в каком возрасте начинается воспитание человека и кто его воспитатели.

Я нахожу, что человек является воспитанником всех окружающих его предметов, всех тех положений, в которые его ставит случай, наконец, всех происходящих с ним случайностей.

Эти предметы, эти положения и эти случайности никогда не бывают ни для кого в точности одинаковыми, и, таким образом, никто не получает одинакового воспитания.

Если даже сделать невозможное предположение, будто у людей находятся перед глазами одни и те же предметы, то и тогда, поскольку предметы не все действуют на них в момент одинакового состояния души, они не вызовут в них одинаковых идей; таким образом, мнимое единообразие воспитания, получаемого в школах или в родительском доме, представляет одну из тех гипотез, ошибочность которых доказывается и фактами, и тем влиянием, какое случай, не зависящий от наставни-

ков, имеет и будет всегда иметь на воспитание детей и юношей.

Исходя из этого, я рассматриваю огромную область власти случая. Я исследую:

Не обязаны ли ему знаменитые люди часто своей склонностью к тем или иным занятиям и, следовательно, своими талантами и успехами в этой области?

Можно ли усовершенствовать науку о воспитании, если не ограничить власти случая?

Не расширяют ли власть случая те противоречия, которые мы замечаем между всеми правилами теперешнего воспитания?

Не следует ли считать эти противоречия, отдельные примеры которых я привожу, результатом противоположности между религиозной системой и системой общественного блага?

Нельзя ли было бы сделать религии менее пагубными для счастья народов и основать их на принципах более соответствующих общему интересу?

Каковы эти принципы?

Возможно ли, чтобы какой-нибудь просвещенный государь установил их?

Имеются ли среди ложных религий такие, которые менее противоречат счастью обществ и, следовательно, усовершенствованию науки о воспитании?

Разобрав эти различные вопросы и исходя из гипотезы, что все люди обладают одинаковыми умственными способностями, я исследую, не может ли одна только разница их воспитания вызвать разницу в их идеях и талантах. Отсюда следует, что нынешнее умственное неравенство у людей с обычной, нормальной организацией нельзя считать неопровержимым доказательством их неравных умственных способностей.

Я исследовал:

РАЗДЕЛ II

«Не обладают ли все люди с обычной, нормальной организацией одинаковыми умственными способностями?»

Я признаю сначала:

что все свои идеи мы получаем через чувства;

что поэтому пришлось считать ум результатом либо большей или меньшей тонкости пяти чувств, либо скрытой или неопределенной причины, которой дали туманное название человеческой организации;

что для доказательства ложности этого взгляда надо обратиться к опыту, составить себе ясную идею о слове *ум*, отличить его от души и после установления этого различия рассмотреть:

на какие предметы действует наш ум;
как он действует;

нельзя ли свести всю его деятельность к наблюдению сходств и различий, соответствий и несоответствий, которые различные предметы имеют между собою и с нами, и не являются ли поэтому все суждения о физических предметах чистыми ощущениями?

Не являются ли такими же и суждения об идеях, которые называют отвлеченными, собирательными и т. д.?

Не означают ли во всех случаях понятия *судить* и *сравнивать* то же самое, что *видеть попеременно*, т. е. *ощущать*?

Нельзя ли испытывать ощущения от предметов, не сравнивая их, однако, между собою?

Не предполагает ли сравнение их наличие интереса сравнивать их?

Не является ли этот интерес единственной и неизвестной до сих пор причиной всех наших идей, наших поступков, наших страданий, наших удовольствий, наконец, нашей общительности?

В связи с этим я указываю:

Что источником этого интереса является в конечном счете физическая чувствительность и что поэтому эта чувствительность есть единственное начало человеческих идей и поступков.

Что нет разумного основания отвергнуть этот взгляд.

Что если этот взгляд будет доказан и признан истинным, то придется необходимым образом считать умственное неравенство результатом:

либо неодинакового объема памяти,

либо большего или меньшего совершенства пяти чувств.

Что в действительности ни обширная память, ни чрезмерная тонкость чувств не порождают и не способны породить большой ум.

Что в отношении тонкости чувств люди с обыкновенной, нормальной организацией отличаются лишь оттенком своих ощущений.

Что это небольшое различие не изменяет отношения их ощущений между собою; что, следовательно, это раз-

личие не оказывает никакого влияния на их ум, который есть и не может быть не чем иным, как знанием истинных отношений предметов между собою.

Какова причина различия во взглядах людей?

Что это различие есть результат неопределенного и туманного значения известных слов; таковы слова:

хороший,
интерес
и справедливость.

Что если слова будут точно определены и их определения занесены в некоторый словарь, то все предположения нравственности, политики и метафизики станут столь же доступными доказательствам, как геометрические истины.

Что с того момента, когда с одними и теми же словами начнут связывать одни и те же идеи, все люди признают одинаковые принципы и сделают из них одинаковые выводы.

Что так как предметы представляются всем людям в одних и тех же отношениях, то невозможно, чтобы люди, сравнивая эти предметы между собою (либо в физическом мире, как это доказывает геометрия, либо в мире интеллекта, как это доказывает метафизика), не пришли к одним и тем же результатам.

Что истина этого положения подтверждается как сходством сказок о феях, философских сказок, религиозных сказок всех стран, так и сходством обманов, употребляемых повсюду служителями ложных религий, чтобы сохранить и увеличить свою власть над народами.

Из всех этих фактов следует, что поскольку большая или меньшая тонкость чувств ни в чем не изменяет пропорции, в которой на нас действуют предметы, то все люди с обычной, нормальной организацией обладают одинаковыми умственными способностями.

Чтобы увеличить число доводов в пользу этой важной истины, я доказываю ее в том же разделе еще при помощи другого ряда положений. Я показываю, что если упростить самые сложные идеи, то их можно, по признанию всех философов, свести к ясным предложениям типа: *белое есть белое, черное есть черное*;

что всякая истина этого рода доступна всем людям; что любая истина — как бы возвышенна и обща она ни была, — если ее представить отчетливо и освободить от неясностей слов, может быть одинаково понята всеми

людьми с обыкновенной, нормальной организацией. Но быть в состоянии одинаково понять высочайшие истины — это все равно что иметь одинаковые умственные способности.

Таков итог II раздела.

РАЗДЕЛ III

Его задача — исследование причин, которыми можно объяснить умственное неравенство.

Эти причины сводятся к двум.

Одна из них — это неравное стремление людей к просвещению.

Другая — различие положений, в которые их ставит случай; различие, из которого вытекает различие в их воспитании и в их идеях. Чтобы показать, что только этими двумя причинами следует объяснить различие и неравенство умов, я доказываю:

Что большинство наших открытий являются дарами случая.

Что не всем даются одинаковые дары.

Что тем не менее это распределение не так неравномерно, как это думают.

Что в этом отношении не столько нам недостает благоприятного случая, сколько, если можно так выразиться, нас недостает при случае.

Я доказываю:

Что по существу все люди с обычной, нормальной организацией обладают одинаковым умом в потенции, но эта потенция мертва в них, когда она не приведена в действие такой страстью, как любовь к уважению, к славе и т. д.

Что только таким страстям люди обязаны вниманием, необходимым для того, чтобы оплодотворить идеи, которые доставляет им случай.

Что если люди лишены страстей, то на их ум можно, если угодно, смотреть как на совершенную машину, но машину, недвигающуюся до тех пор, пока страсти не приведут ее в движение.

Отсюда я заключаю, что умственное неравенство у людей является результатом и случая, и неодинаковой силы их страстей. Но не являются ли подобные страсти у них результатом силы их темперамента? Этот вопрос я разбираю в следующем разделе.

Я здесь доказываю:

Что люди с обычной, нормальной организацией доступны одинаковой степени страсти.

Что неодинаковая сила их страстей является всегда результатом различия положений, в которые ставит их случай.

Что самобытный характер каждого человека (как замечает Паскаль) есть результат его первых привычек; человек рождается без идей, без страстей и без иных потребностей, кроме потребностей голода и жажды, и, следовательно, рождается без характера; он часто меняет их, причем в его организации не происходит никаких перемен; эти изменения, не зависящие от большей или меньшей тонкости его чувств, совершаются в соответствии с изменениями, происшедшими в его положении и в его идеях.

Я доказываю далее:

Что различие характеров зависит только от различного способа, каким у людей видоизменяется чувство себялюбия.

Что это чувство — необходимый результат физической чувствительности — свойственно всем людям и вызывает у всех любовь к власти.

Что это желание порождает у них зависть, жажду богатств, славы, уважения, справедливости, добродетели, нетерпимости — словом, все вторичные страсти, различные названия которых означают лишь различные формы приложения любви к власти.

Доказав эту истину, я показываю в краткой генеалогии страстей, что, поскольку любовь к власти представляет результат физической чувствительности и поскольку все люди с обыкновенной, нормальной организацией обладают чувствительностью, следовательно, все они способны испытывать ту страсть, которая может привести в действие их одинаковые умственные способности.

Но могут ли эти страсти достигнуть одинаковой силы у всех людей? Во всяком случае можно утверждать, что любовь к славе может достигнуть у человека такой же силы, как и себялюбие. Силы этого чувства у всех людей более чем достаточно, чтобы наделять их той степенью внимания, какая требуется для открытия высочайших истин; следовательно, человеческий дух способен

к усовершенствованию. Наконец, у людей с обычной, нормальной организацией неравенство талантов может быть лишь результатом различия их воспитания, причем в это различие я включаю и различие в положениях, в которые ставит их случай.

РАЗДЕЛ V

В этом разделе я ставлю себе задачей показать заблуждения и противоречия тех, кто придерживается по этому вопросу принципов, отличных от моих, и кто объясняет неравенство умов неодинаковым совершенством органов чувств.

Никто в литературе не высказывался по этому вопросу лучше Руссо, поэтому я цитирую его в качестве примера; я показываю, что Руссо, постоянно противореча самому себе, то считает ум и характер следствием различия темпераментов, то защищает противоположную точку зрения.

Из рассмотрения его противоречий по этому вопросу следует:

что добродетель, гуманность, ум и таланты являются чем-то приобретенным;

что доброта не есть свойство человека с младенчества;

что физические потребности побуждают его к жестокости;

что, следовательно, гуманность является всегда продуктом либо страха, либо воспитания;

что Руссо благодаря своим первым противоречиям непременно впадает в новые противоречия: то он считает воспитание полезным, то считает его бесполезным.

Здесь рассматриваются вопросы:

Об удачном использовании некоторых идей Руссо для общественного воспитания.

О мнении этого автора, что не следует думать, будто детство и юность лишены способности суждения.

О мнимых преимуществах зрелого возраста по сравнению с юностью; о том, что они равны нулю.

О хвалах, воздаваемых Руссо невежеству; о причинах, заставивших его сделаться апологетом его.

О том, что просвещение никогда не способствовало порче нравов; что сам Руссо не думает этого.

О причинах упадка государств; о том, что к этим причинам нельзя причислить усовершенствование искусств и наук.

О том, что их развитие задерживает гибель деспотического государства.

РАЗДЕЛ VI

Я рассматриваю здесь различные бедствия, порождаемые невежеством.

Я доказываю здесь, что невежество не уничтожает изнеженности;

что оно не обеспечивает верности подданных;

что оно опрометчиво судит о самых важных вопросах.

В качестве примера я привожу вопрос о роскоши.

Я доказываю, что нельзя решить этот вопрос, не сравнивая между собою множества предметов,

не связав сначала ясных идей со словом *роскошь*;

не исследуя затем, не является ли роскошь полезной и необходимой; всегда ли она предполагает у народа неводержанность.

О причине роскоши; не является ли сама роскошь результатом общественных бедствий, виновницей которых ее считают.

Не нужно ли для выяснения истинной причины роскоши обратиться к вопросу об образовании обществ и проследить здесь результаты чрезмерного увеличения числа людей.

Изучить, не вызывает ли это их увеличение разделения их интересов и не вызывает ли это разделение интересов весьма неравномерного распределения национальных богатств.

О результатах весьма неравномерного распределения денег и результатах введения денег в государстве.

О причинахемых ими здесь благах и бедствиях.

О причинах чрезмерно большого неравенства состояний.

О способах борьбы с весьма быстрым сосредоточением богатств в одних и тех же руках.

О странах без денежного обращения.

Каковы в этих странах принципы, производящие добродетель.

О странах с денежным обращением.

О том, что деньги становятся здесь общим предметом

желания людей и началом, порождающим их поступки и их добродетели.

О том, когда богатство, подобно морям, покидает известные страны.

О том состоянии, в каком находится тогда нация.

О тупой апатии, которая следует там за потерей богатств.

О различных источниках деятельности народов.

О деньгах как об одном из этих источников.

О бедствиях, которые причиняет страсть к деньгам.

Должен ли просвещенный правитель при теперешнем состоянии Европы желать слишком быстрого ослабления подобного источника деятельности.

О том, что гибельное для государства начало следует искать не в роскоши, а в производящей ее причине.

О том, можно ли уделить слишком много внимания исследованию этого рода вопросов.

Не приводят ли часто нацию к величайшим бедствиям опрометчивые суждения по этим вопросам, подсказанные невежеством.

Не следует ли в результате только что сказанного мною ненавидеть и презирать защитников невежества и вообще всех тех, кто, мешая прогрессу человеческого ума, вредит совершенству законодательства, а следовательно, общественному благу, которое зависит только от совершенства законов.

РАЗДЕЛ VII

О том, что совершенство законов, а не чистота религиозного культа, как утверждают некоторые, может обеспечить счастье и спокойствие народа.

О малом влиянии религии на добродетели и счастье наций.

О том, что религиозный дух пагубен для духа законодательства.

О том, что поистине полезная религия заставила бы граждан заботиться о своем просвещении.

О том, что люди в своем поведении руководствуются не своими верованиями, а своими личными выгодами.

О том, что если бы люди были более последовательны, то папистская религия была бы более пагубной.

О том, что вообще спекулятивные принципы имеют ничтожное влияние на поведение людей; они повинуются только законам своей страны и своим интересам.

О том, что ничто не доказывает лучше колоссальной власти законодательства, чем организация иезуитов.

О том, что эта организация дала иезуитам средства, которые заставили трепетать королей и осуществить великие покушения.

О великих покушениях.

О том, что эти покушения могут быть внушены как жаждой славы, так и честолюбием и фанатизмом.

О способе распознать страсть, толкающую на покушения.

О том моменте, когда интересы иезуитов требуют от них великих покушений.

Какая религиозная секта во Франции могла бы бороться с их замыслами?

О том, что только яansenизм мог бы уничтожить иезуитов.

О том, что без иезуитов никогда не узнали бы всей власти законодательства.

О том, что для доведения законодательства до совершенства надо либо, подобно святому Бенедикту, основать религиозный орден, либо, подобно Ромулу и Рему, основать государство или колонию.

О том, что во всяком другом положении законодательный гений, сдерживаемый ранее установленными правами и предрассудками, не может ни получить необходимого размаха, ни продиктовать совершенных законов, установление которых доставило бы нациям самое большое счастье.

О том, что для решения проблемы общественного счастья надо было бы предварительно узнать, в чем состоит по существу счастье человека.

РАЗДЕЛ VIII

В чем заключается счастье индивида и, следовательно, национальное счастье, складывающееся необходимым образом из счастья всех отдельных лиц?

О том, что для решения этой политической проблемы надо исследовать, могут ли люди при всех условиях быть одинаково счастливыми, т. е. заполнять одинаково приятным образом все мгновения своего дня.

Об употреблении людьми времени.

О том, что это употребление времени приблизительно одинаково у всех профессий.

О том, что если государства населены только несчастными людьми, то это является результатом несовершенства законов и весьма неравномерного распределения богатств.

О том, что можно сделать граждан более зажиточными; что эта зажиточность ослабила бы в них чрезмерную жажду богатств.

О различных мотивах, которые в настоящее время оправдывают эти желания.

О том, что среди этих мотивов одним из самых сильных является боязнь скуки.

О том, что болезнь скуки более распространена и более жестока, чем это думают.

О влиянии скуки на нравы народов и форму их правления.

О религии и религиозных обрядах как средствах от скуки.

О том, что единственным средством от этой болезни являются сильные и яркие ощущения.

Этим объясняется наша любовь к красноречию, поэзии и всем изящным искусствам, задачей которых является возбуждение этого рода ощущений.

Подробное доказательство этой истины.

Об изящных искусствах; о впечатлении, производимом ими на праздного богача; о том, что они не могут избавить его от скуки.

О том, что самые богатые люди вообще самые скупающие, потому что они пассивны почти во всех своих удовольствиях.

О том, что пассивные удовольствия вообще самые скоротечные и самые дорогие.

О том, что, следовательно, сильнее всего испытывает потребность в богатствах сам богач.

О том, что он всегда хотел бы быть приводимым в движение, не давая себе труда двигаться.

О том, что он лишен мотива, чтобы избавиться от праздности, от которой скромное состояние избавляет необходимым образом других людей.

Об ассоциации в нашей памяти идей счастья и богатства; о том, что эта ассоциация — результат воспитания.

О том, что другое воспитание привело бы к противоположным результатам.

О том, что в этом случае граждане, не будучи одинаково богатыми и могущественными, были бы и могли бы даже считать себя одинаково счастливыми.

Об отдаленной пользе этих принципов.

О том, что, признав эту истину, не следует больше считать несчастье присущим самой природе обществ, а случайностью, вызываемой несовершенством их законодательства.

РАЗДЕЛ IX

О возможности наметить удачный план законодательства.

О препятствиях, которые невежество ставит опубликованию его.

О том, как невежество осмеивает всякую новую идею и всякое глубокое исследование нравственности и политики.

О ненависти невежды ко всякой реформе.

О трудности создания хороших законов.

О первых вопросах, которые следует задавать себе в связи с этим предметом.

Награды, какого бы рода они ни были, хотя бы излишествами в удовольствии, никогда не портят нравов.

Об излишке удовольствий. О том, что всякое удовольствие, доставляемое общественным признанием, заставляет любить добродетель, уважать законы, уничтожение которых никогда не является, как это уверяют некоторые, результатом непостоянства человеческого духа.

Об истинных причинах изменений в законах народов.

О том, что эти изменения объясняются несовершенством этих законов, небрежностью правителей, которые не умеют ни сдерживать честолюбия соседних народов силой оружия, ни обуздывать честолюбие своих сограждан мудрыми распоряжениями и которые, кроме того, будучи воспитаны во вредных предрассудках, поощряют неведение истин, раскрытие коих обеспечило бы общественное счастье.

О том, что раскрытие истины губительно всегда лишь для того, кто высказывает ее.

О том, что знание истины, полезное для народов, никогда не нарушало их мира.

О том, что одним из самых сильных доводов в пользу

этого утверждения является медленность, с какой распространяется истина.

О правительствах.

О том, что ни при какой форме правления счастье государя не зависит, как это думают, от несчастья народов.

О том, что должно говорить истину людям.

О том, что обязанность высказывать истину предполагает свободное пользование средствами, нужными, чтобы открыть ее.

О том, что нации, лишённые этой свободы, коснеют в невежестве.

О бедствиях, порождаемых равнодушием к истине.

О том, что законодатель никогда не бывает вынужден, как это некоторые утверждают, жертвовать благом настоящего поколения для блага будущего поколения.

О том, что подобное предположение нелепо.

О том, что следует тем более побуждать людей исследовать истину, что, будучи вообще равнодушными к ней, они считают мнение истинным или ложным в зависимости от их интереса считать его тем или иным.

О том, что в случае нужды этот интерес заставил бы их отрицать истину геометрических доказательств.

О том, что он заставляет их уважать в себе жестокость, которую они ненавидят в других.

О том, что он их заставляет уважать преступления.

О том, как он делает святых.

О том, что он убеждает знатных людей в превосходстве их породы над породой других людей.

О том, что он заставляет относиться с уважением к пороку покровителя.

О том, что интерес государя оказывает больше влияния на общепринятые взгляды, чем истина.

О том, что тайные интересы всегда скрывали от парламентов согласие между нравственностью иезуитов и нравственностью папизма.

О том, что интерес заставляет ежедневно отрицать правило: «Не делай другому того, чего ты не хотел бы, чтобы делали тебе».

О том, как он мешает добродетельному священнику узнать бедствия, порождаемые католицизмом, и планы религии, проявляющей нетерпимость, потому что она че-

столюбива, и проповедующей царевбийство, потому что она нетерпима.

О средствах, употребляемых церковью для порабощения народов.

О тех периодах, когда католическая церковь молчит о своих притязаниях.

О периодах, когда они вновь оживают.

О том, что право доказывает притязания церкви.

О том, что факты доказывают те же самые притязания.

О средствах обуздать честолюбие духовенства.

О том, что только терпимость может обуздать его, может, просвещая умы, обеспечить счастье и спокойствие народов; их характер способен принимать всякие формы, придаваемые ему законами, правительством и особенно общественным воспитанием.

РАЗДЕЛ X

О могуществе воспитания; о способах усовершенствовать его; о препятствиях к прогрессу этой науки.

О легкости, с какой можно будет по устранении этих препятствий начертать план идеального воспитания.

О воспитании.

О том, что оно всемогуще.

О том, что государи являются, подобно частным людям, продуктом своего воспитания.

О том, что появления великих государей можно ожидать только от больших перемен в их воспитании.

О главных преимуществах общественного воспитания перед домашним.

Общие идеи о физическом воспитании человека.

В какой момент и в каком положении можно давать человеку духовное воспитание.

О воспитании, относящемся к различным профессиям.

О нравственном воспитании человека.

О препятствиях, мешающих совершенствованию этой стороны воспитания.

Первое препятствие — интересы попов.

Второе препятствие — несовершенство большинства правительств.

О том, что всякая важная реформа в духовной стороне воспитания предполагает реформу законов и формы правления.

О том, что, когда эта реформа будет осуществлена и препятствия к прогрессу воспитания будут устранены, этим разрешится проблема наилучшего воспитания.

В следующих четырех главах я намереваюсь доказать сходство моих взглядов со взглядами Локка;

показать всю важность и широту принципа физической чувствительности;

ответить на обвинение в материализме и в безбожии;

показать, как нелепы подобные обвинения и как невозможно для всякого просвещенного моралиста избежать в этом отношении критики со стороны клерикалов.

ГЛАВА I

О СХОДСТВЕ МОИХ ВЗГЛЯДОВ СО ВЗГЛЯДАМИ ЛОККА

Ум есть совокупность наших идей. Наши идеи, говорит Локк, мы получаем посредством чувств. Из этого принципа можно, как и из моих принципов, сделать вывод, что наш ум есть нечто приобретенное.

Считать его чистым даром природы, результатом особенностей организации, не имея возможности назвать порождающий его орган, — это все равно что воскрешать в философии скрытые качества, все равно что верить без всяких доказательств, это необоснованное суждение.

Опыт и история учат нас тому, что ум не зависит от большей или меньшей тонкости чувств: люди различной организации способны испытывать одинаковые страсти и иметь одинаковые идеи.

Принципы Локка не только не противоречат этой точке зрения, но подтверждают ее. Они доказывают, что воспитание делает нас тем, чем мы являемся; люди тем более похожи друг на друга, чем более сходно их воспитание; немец, следовательно, больше похож на француза, чем на азната, а на другого немца — больше, чем на француза. Словом, если умы людей очень различны, то это потому, что воспитание у всех различно.

Таковы факты, на основании которых я создал настоящий труд. Я предлагаю его публике с тем большим доверием, что сходство моих принципов с принципами Локка убеждает меня в их правильности.

Пожелай я добиться покровительства богословов, я прибавил бы еще, что эти же принципы более всего соответствуют идеям, которые христианин должен составить себе о божественной справедливости.

Действительно, если бы ум, характер и страсти людей зависели от неодинакового совершенства их органов и если бы каждый индивид был какой-то отличающейся от других машиной, то каким образом небесное правосудие или даже земное правосудие могли бы предъявлять одинаковые требования к различным машинам? Неужели бог может давать всем людям один и тот же закон, не давая им одних и тех же средств для выполнения его?

Если людям предписывают утонченную и законную честность, а честность этого рода предполагает часто большую просвещенность, то все люди с обычной, нормальной организацией должны получить от божества одинаковые умственные способности.

Однако пусть не думают, что я собираюсь защищать правильность моих принципов теологическими аргументами. Я не стану изобличать перед фанатиками тех, чьи взгляды по этому вопросу отличаются от моих взглядов. Сражаться с ними другим оружием, кроме оружия разума, — это все равно что сзади нанести рану врагу, которому не осмеливаешься глядеть в лицо.

Опыт и разум — единственные судьи моих принципов. Но если бы истина их была доказана, я не заключил бы отсюда, что эти принципы должны быть приняты немедленно и всеми. Истина всегда распространяется медленно. Венгр верит в вампиров еще долго после того, как ему доказали, что они не существуют. Древность какого-нибудь заблуждения заставляет относиться к нему с почтением в течение долгого времени. Поэтому я не льщу себя надеждой, что обыкновенные люди ради моих взглядов откажутся от тех мнений, в которых они были воспитаны.

Сколько людей, внутренне убежденных в ложности какого-нибудь принципа, защищают его, потому что в него верят все, потому что они не желают бороться с общественным мнением. Мало есть искренних любителей истины, мало людей, которые энергично занимаются исследованием ее и держатся истины, когда она им представлена. Чтобы осмелиться объявить себя апостолом ее, надо видеть все свое счастье в обладании ею.

Кроме того, каким людям дано понять с самого начала истинность нового взгляда? Разве что небольшому числу молодых людей, которые, не имея еще при своем вступлении в свет никаких установленных взглядов,

выбирают наиболее разумные. Философы пишут для них и для потомства. Только философы предвидят в перспективе будущего время, когда истинное, но мало известное и необычное мнение должно будет стать общепринятым взглядом. Кто не способен заранее наслаждаться похвалами потомства и нетерпеливо жаждет минутной славы, тот должен воздержаться от поисков истины: она не откроется его взору.

ГЛАВА II

О ЗНАЧЕНИИ И ШИРОТЕ ПРИНЦИПА ФИЗИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Что такое наука? Система положений, связанных с некоторым основным и общим принципом. Является ли нравственность наукой? Да, поскольку в физической чувствительности я открыл то единственное начало, необходимыми следствиями которого являются все предписания нравственности. Очевидным доводом в пользу истины этого принципа является то, что он объясняет все особенности людей, что он раскрывает причины их ума, их глупости, их ненависти, их любви, их заблуждений и их противоречий. Этот принцип должен тем легче получить всеобщее признание, что существование физической чувствительности — это факт, признанный всеми, что идея ее является ясной, понятие отчетливым, выражение четким, словом, что к столь простой аксиоме не может примешаться никакое заблуждение.

Физическая чувствительность кажется данной людям, точно ангел-хранитель, постоянно бодрствующий и охраняющий их. Пусть они будут счастливы — вот, пожалуй, единственное желание природы и единственный истинный принцип нравственности. Раз законы хороши, частный интерес никогда не может противоречить общему интересу. Всякий будет заниматься своим счастьем; всякий будет счастлив и справедлив, потому что всякий будет понимать, что его благо зависит от блага его соседа.

В многочисленных обществах, где законы еще несовершенны, злодеи, фанатики и тираны забывают это; пусть же смерть поразит злодеев, фанатиков, тиранов и всякого врага общественного блага.

Удовольствие и страдание — это те узы, при помощи которых можно всегда связать личный интерес с национальным интересом. Оба они имеют своим источником

физическую чувствительность. Поэтому науки о нравственности и о законодательстве могут быть лишь следствиями из этого простого принципа. Я могу прибавить к этому, что развитие его простирается даже на различные правила изящных искусств, задача которых, как я уже сказал, возбуждать в нас ощущения. Чем они сильнее¹⁰, тем вызывающие их произведения кажутся прекраснее и возвышеннее.

Физическая чувствительность — это сам человек и источник всего того, чем он является. Поэтому знания человека никогда не достигают большего, чем дают его чувства. Все, что недоступно чувствам, недостижимо и для ума.

Однако схоласты уверяют, будто они могут без помощи чувств проникнуть в царство разума. Но эти горделивые Спины катят в гору камень, который непрерывно скатывается на них обратно. Каковы плоды их пустых словозвержений и вечных споров? Что можно найти в их огромных фоллиантах? Потоп слов в пустыне идей.

К чему сводится наука о человеке? К двум родам познания.

Одно охватывает отношения предметов к познающему. Другое — отношение предметов между собою.

Но что представляют собою эти два рода познания, как не различное развитие физической чувствительности?^а

Опираясь на этот труд, мои сограждане смогут видеть лучше и дальше, чем я. Я показал им принцип, из которого они смогут вывести законы, способные дать им счастье. Если новизна этого принципа удивляет их и если они сомневаются в правильности его, то пусть они попробуют заменить его другим, который был бы столь же общепринят, о котором они имели бы столь же ясную идею, из которого они могли бы вынести столь же много следствий. Если же нет такого принципа, то пусть они считают физическую чувствительность единственным пробным камнем, на котором можно будет отныне испытывать истинность или ложность всякого нового поло-

^а Ошибочно думать, что признание принципа физической чувствительности губительно для преподаваемого учения о душе. Если я обладаю чувствительностью, то это потому, что я обладаю душой, источником жизни и чувства, которому можно дать какое угодно название.

жения морали или политики. Придется считать ложным всякое положение, которое нельзя будет вынести из этой аксиомы. Только заблуждение есть нечто чужеродное истине. Впрочем, я не законодатель, и я занимаю маленькое место в мире. Для своих сограждан я мог бы сделать только одно — выявить в моем произведении единственный источник их познаний. Я, несомненно, не выдвигал ничего в этой книге, что противоречило бы истинной религии. Но я защищал необходимость терпимости. Я показывал опасности, которым подвергает равно и государей, и нации чрезмерное могущество попов. Я указал на преграду, которую нужно поставить их честолюбию. Поэтому я являюсь в их глазах безбожником. Буду ли я таким же в глазах общества?

ГЛАВА III

ОБ ОБВИНЕНИЯХ В МАТЕРИАЛИЗМЕ И В БЕЗБОЖИИ И ОБ АБСУРДНОСТИ ЭТИХ ОБВИНЕНИЙ

В Париже и в Лиссабоне приходится страшиться ненависти теологов. Но есть страны, где эта ненависть бессильна, где упреки в безбожии вышли из моды, где всякое обвинение этого рода считается смешным и рассматривается как смутное выражение ярости и невежества монахов.

Кроме того, в безбожии какого рода можно упрекнуть меня? Нигде в предлагаемой книге я не отрицал тропцы, божественности Иисуса, бессмертия души, воскресения мертвых, ни даже ни одного пункта папистского кредо: я совершенно не нападал на религию. Но иезуиты обвинили янсенистов в материализме, они смогут и меня в этом обвинить. Пусть так. Я ограничусь тем, что отвечу им, что они не имеют даже полного представления о материи; что они знают лишь тела; что слово «материалист» столь же неясно для них, как и для меня; что в этом отношении мы одинаково невежественны, но только они более фанатичны.

Всякая последовательная книга наводит ужас на богословов.

«В их глазах разум никогда не бывает католическим».

Будучи прирожденными врагами всякого разумного произведения, они, быть может, предадут проклятию и предлагаемый труд. Однако я в нем говорю о них лишь минимум того дурного, что можно было бы сказать.

Я мог бы воскликнуть вместе с блаженным Иеронимом, что церковь — это *вавилонская блудница*. Я этого не сделал. Выступив против попов, я имел в виду благо народов и государей. Защищая дело терпимости, я желал избавить их от новых преступлений.

Но, скажут они, если установить веротерпимость, если церковь начнет соотносить свое поведение с поведением Иисуса, то под каким предлогом сможет она заключать в тюрьмы граждан, сжигать их, убивать государей и т. д.? Церковь, сделавшаяся менее страшной, будут тогда меньше почитать. Что ей пример Иисуса? Она желает только быть могущественной. Доказательством этого является:

одобрение ею нравственности цезуитов;

звание наместника божия, данное ею своему главе;

наконец, признание ее непогрешимости, ставшее символом веры в Италии, несмотря на формальное заявление Священного писания: *всякий человек — обманщик*.

Если бы церковью не руководило честолюбие, то могли бы попы утверждать, что папа занимает среднее положение между человеком и богом: «*Nec Deus, nec homo, quia neuter est, sed inter utrumque*» (ни бог, ни человек, ибо он ни тот ни другой, но между обоими)? Не будь этого честолюбия, допустил бы папа, чтобы его рассматривали как *полубога*? Позволил ли бы он, чтобы Этьен Патрасен написал, что в нем, папе, пребывает вся власть над сплани неба и земли? (*In Papa est omnis potestas, supra omnes potestates tam coeli quam terre.*) Заявил бы Бонифаций VIII^{1*} на собрании, происходившем в Риме в связи с юбилейным годом: Я — император, я обладаю всей властью на небе и на земле? (*Ego sum Pontifex et Imperator, terrestre ac celeste imperium habeo.*) Одобрил бы этот папа ту фразу канонического права, где он назван *Dominus Deus noster* (господь бог наш)? Хвалился ли бы Николай тем, что Константин назвал его богом, *satis evidenter*? Заявляли бы богословы^a в других канонах, что «папа настолько же выше

^a Одни еще более смелый из канонических докторов заявил: *Papa est supra me, extra me; Papa est omnis et supra omnia, Papa est dominus dominantium; Papa potest mutare quadrata rotundis*, т. е. папа надо мною, вне меня; папа есть все и выше всего; он царь царей; из квадрата он может сделать круг. Что за безбожное заявление, если, по признанию самих богословов, божество не может сделать палку, которая бы не имела двух концов!

императора, насколько чистое золото выше низкого свинца; что императоры получают свою власть от папы, подобно тому как луна получает свой свет от солнца, и что, следовательно, императоры всегда будут лишь лунами?»?

Наконец, разве попы для оправдания своей нетерпимости не сделали из божества несправедливого, мстительного и гневливого тирана? Разве они не придали богу все людские пороки?^а

Всякое средство добиться власти кажется духовенству законным, и, наоборот, всякое препятствие росту его власти кажется ему нечестивостью. Поэтому и я нечестивец в его глазах. А в некоторых странах власть попов над государями так велика, что они могут по своему желанию настроить их даже против тех писателей, которые защищают права короны. Кроме того, сколько ханжей могут они натравить на автора!

Я прочел сказку Кребильона о розовых гусынях. В свете я постоянно встречал это милое и набожное стадо, руководимое невежественным, грязным и злобным монахом. Гусыни всегда думают так, как думает он. Они видят безбожие всюду, где он желает им его показать.

Впрочем, я жду не только обвинений в безбожии. Рабы и царедворцы станут обвинять меня в том, что я дурно отзываюсь о самодержавии. Несомненно, я изобразил его в его истинном свете, но только из любви к народам и к самим государям. Всякий государь, как доказывает история, либо зависит от армии, если он самодержец^б, либо от закона, если он правит в умеренной

^а Лишь немногие народы, утверждают путешественники, поклоняются дьяволу под его настоящим именем, но многие поклоняются ему под именем бога. Предположим, какой-нибудь народ поклоняется некоторому существу, законы которого непостижимы; это существо требует веры в невероятное; оно требует выполнения неосуществимого и наказывает за какую-нибудь слабость вечными мучениями; наконец, оно осуждает на такие же муки добродетельного человека за то, что он не сделал невозможного. Ясно, что такой народ под именем бога поклоняется дьяволу. См. книгу «On false Religion», из которой я привел этот отрывок.

^б Можно различать два вида деспотизма:

один — в потенции,

другой — в реальности.

Такое новое различение очень плодотворно.

Какой-нибудь государь является деспотом в потенции, когда благодаря многочисленности своих войск, путем унижения умов и душ он добился власти, необходимой для распоряжения по

монархии. Но какая из этих двух зависимостей более желательна для государя? При какой из них его особа менее подвержена опасностям?

При второй.

Свободным народом управляют законы.

Порабощенными народами правят доносы, насилия и жестокости. И здесь различные придворные интриги и изменчивое настроение армий часто решают судьбу монарха.

Я не стану более распространяться по этому вопросу.

В политических вопросах достаточно одного слова, чтобы раскрыть людям глаза. Иное дело — религиозные вопросы. Свет разума редко доходит до святош^а. Смогут ли они наконец стать более осведомленными и понять, что нет такого произведения, которое было бы в безопасности от обвинения в безбожии?

своему произволу имуществом, жизнью и свободой своих подданных.

До тех пор, пока государь не пользуется этой властью, пока народы не страдают от этого, они считают свое правительство хорошим и остаются спокойными.

Но, добившись власти, чтобы вредить, государь использует эту власть на практике и лишает граждан их собственности; тогда они начинают возмущаться. Они хотели бы сбросить с себя угнетающее их иго, но уже слишком поздно. Испытываемые ими бедствия надо было предотвратить, задушив в зародыше эту неограниченную власть.

^а Самый знаменитый из арабских поэтов, Абулалла^{2*}, был низкого мнения об уме верующих людей. Вот перевод некоторых из его стихов:

«Явился Исса; он отменил закон Муссы.

За ним пришел Магомет; он ввел пять молитв на день.

Его последователи уверяют, что больше не будет другого пророка.

Они бесполезно предаются молитвам с утра до вечера.

Скажите мне: теперь, когда вы живете под одним из этих законов, вы больше или меньше наслаждаетесь солнцем и луной?

Если вы мне ответите надменно, я возвышу свой голос против вас; но, если вы будете мне отвечать искренно, я буду продолжать говорить тихо.

Христиане блуждают по своим дорогам, а мусульмане окончательно сблудили с пути.

Еврей — просто какие-то мумии, а персидские маги — мечтатели.

Мир делится на два класса людей:

У одних есть ум и нет религии.

У других есть религия и нет ума».

О НЕВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЯКОГО ПРОСВЕЩЕННОГО МОРАЛИСТА ИЗБЕГНУТЬ КРИТИКИ СО СТОРОНЫ ДУХОВЕНСТВА

Если кто-нибудь защищает интересы народа, то тем самым он вредит интересам церкви. Она начинает искать предлог для обвинення его, и такой предлог всегда у нее находится.

Священное писание — это книга божья, и различные толкования его дают начало различным христианским вероисповеданиям. Таким образом, ереси основываются на Священном писании.

Слова Иисуса: «Мой отец больше меня» — благоприятствуют ереси ариан. Иисус изменяет все наши представления о божестве, когда он точно видит в нем виновника зла, говоря в «Отче наш»: *Et ne nos inducas in tentationum* (и не введи нас во искушение). Но если даже в «Отче наш» можно прочесть столь странное заявление, то может ли найтись такое человеческое пропозитивление, где монашеская ненависть и злоба не нашли бы ереси? Автор пишет в пользу гуманности. И это задевает интерес духовенства, и тогда остается воскликнуть вместе с пророком: «*Libera opus meum a labiis iniquis et a lingua dolorosa*» (освободи мой труд от неправедных уст и коварного языка)^a. Поэтому меня бы не удивило, если бы из предлагаемого труда не постарались вывести некоторые опасные следствия. Я, наверное, не сделал в настоящей книге ничего такого, чего бог не мог бы сделать в Священном писании. У меня нет этой бессмысленной и кощунственной гордыни. Даже в геометрии не найдется такого положения, из которого нельзя было бы при желании вывести каких-нибудь нелепых и даже безбожных следствий.

^a Сколько было написано теологами памфлетов против книги «Об уме»! В чем же заключалось преступление автора? В том, что он разоблачил тайну церкви, которая доводила народы до отупения, чтобы извлечь из них возможно больше денег и почестей. Несколько честных священников выступили с защитой этой книги, но их было слишком мало, и среди духовенства они не получили большинства. Особенно старался архиепископ парижский, требуя, чтобы Сорбонна выступила против «Ума», которого она не понимала. Подобно тому как пророк Валаам, сидя на своей ослице, заставлял ее идти вперед, не замечая, что дух или ангел ее останавливал.

Так, например, математическая точка, согласно мнению геометров, не имеет ни длины, ни ширины, ни глубины. Но линия состоит из некоторого числа точек, поверхность — из некоторого числа линий, объем — из некоторого числа поверхностей. Но если математическая точка не имеет протяжения, то, значит, не существует ни линий, ни поверхностей, ни кубов; значит, не существует ни тел, ни чувственных предметов; значит, не существует ни замков, ни библиотек в этих замках, ни книг в этих библиотеках, ни Священного писания, ни откровения в этих книгах.

Если таков непосредственный вывод из определения математической точки, то какая книга находится в безопасности от обвинения в безбожии? От него не свободно даже учение о благодати. Богословы поддерживают здесь мнение, что бог, будучи справедливым, дает всем людям достаточную благодать, и утверждают в то же время, что эта достаточная благодать недостаточна. Что за нелепое и нечестивое противоречие!

Если дело идет о религии, то принципы никогда не должны иметь для нее значение. Нельзя назвать неверующим того, кто не отрицает формально и положительно какого-нибудь положения символа веры.

Пусть только монахи и попы удостоят, как настоящие христане, в духе милосердия истолковать все неясное, что может закрасться в философское произведение, — они ничего не найдут в нем неправоверного.

В предлагаемой книге я защищал дело терпимости и, следовательно, дело гуманности; но можно ли назвать кого-нибудь атеистом на том основании, что он гуманен?

Если бы я меньше слушался своего разума, то, может быть, я по примеру янсенистов представил бы настоящее произведение на суд первого собора, а до тех пор попросил бы читателя смотреть на книгу своими глазами и судить на основании собственного разума. Во всяком случае я могу уверить его, что, создавая предлагаемую книгу, я ставил себе целью обеспечить благо народов и жизнь государей. Если я оскорбил гордость духовенства, то это потому, что, подобно Лукиану, я предпочел «не нравиться, говоря истину, чем нравиться, рассказывая басни».

Пусть в предлагаемой книге будут найдены какие-нибудь ошибки. Но во всяком случае я должен засвиде-

тельствовать, что намерения мои были чисты; я высказал то, что я считал истинным и полезным для отдельных лиц и для целых наций. Кто же может выступить против меня в качестве противника? Только тот, кто ненавидит истину и желает несчастья своему отечеству. Впрочем, если католики станут клеветать на меня, то я воскликну вместе с пророком: «*Maledicent illi, tu, Domine, benedices*» (Пусть проклинают они, лишь бы ты, господи, благословлял).

Но я предупреждаю, в частности французское духовенство: его неумеренная и смехотворная ярость против наук делает его подозрительным и ненавистным в Европе. Человек написал книгу; эта книга полна истины или заблуждений. В первом случае — почему под именем автора нужно преследовать самое истину? А во втором случае — почему нужно наказывать в лице писателя явно невольные заблуждения? Всякий, кто не подкуплен и не является пристрастным человеком, ищет в виде награды за свои труды лишь славы. Но слава всегда связана с истиной. Если в поисках ее я впадаю в заблуждение, то забвение, покрывающее мое имя и мой труд, есть мое наказание, единственное наказание, которого я заслуживаю.

Требуют, чтобы смерть служила наказанием за рискованное или ошибочное суждение, но какой писатель сможет быть уверенным в своей жизни и кто первый бросит в него камень? Чего хотят попы, требуя смертной казни для авторов? Когда они преследуют огнем и мечом какое-нибудь заблуждение, то они только увеличивают его авторитет. Когда они с таким же ожесточением преследуют истину, то они тем быстрее распространяют ее. Что доказало до сих пор поведение папистского духовенства? Только то, что оно преследует и будет всегда преследовать истину. Ему, несомненно, больше подобала бы умеренность. Умеренность хороша во все времена и необходима в такую эпоху, когда жестокость только раздражает умы, несколько не покаяя их.

Virtus non territa monstris
(Доблесть, не уstraшенная чудовищами).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ К чему сводится наука о воспитании? К науке о средствах понудить людей приобрести добродетели и таланты, желательные в них. Есть ли что-нибудь невозможное для воспитания? Нет.

Городской ребенок боится привидений; хотите уничтожить в нем этот страх? Надо оставить его в лесу, дорожки которого он знает, и, следуя за ним незаметно для него, дать ему одному вернуться домой. С третьей или четвертой прогулки он больше не будет видеть в лесу привидений; благодаря привычке и по необходимости он приобретает все то мужество, которое приобретают благодаря им крестьянские парни.

² Предположим, что родители заинтересовались бы так сильно, как они это уверяют, воспитанием своих детей. От этого у них стало бы больше хлопот. Кого бы они должны были пригласить в няни? Женщин, которые были бы уже отучены образованными людьми от своих нелепых сказок и поучений и которые умели бы, кроме того, исправлять недостатки, свойственные младенческому возрасту. Родители обращали бы внимание на то, чтобы мальчик, находясь до 6 лет на попечении женщин, переходили затем в общественные школы, где вдали от рассеянной жизни света они оставались бы до 17 или 18 лет. С этого момента, вступив в свет, они получали бы там воспитание взрослого человека — воспитание, бесспорно, самое важное, но целиком зависящее от общества, в котором вращаешься, от положения, в котором находишься, наконец, от формы правления, при которой живешь.

³ Если сильные упражнения укрепляют не только тело, но и темперамент, то, может быть, потому, что они задерживают слишком преждевременное пробуждение у человека потребности в известных удовольствиях.

Не упреки матери и не нравоучения священника, а одна только усталость успокаивает бурные желания молодости.

Чем более пота выступает у молодого человека, чем более он тратит жизненной энергии в телесных и умственных упражнениях, тем меньше распаляется его воображение, тем меньше он испытывает потребность в любви.

Возможно, что в Азии чрезмерная любовь к женщинам есть результат телесной и духовной праздности. Дело в том, что в Канаде дикари, тратя ежедневно очень много сил на охоту и рыбную ловлю, вообще мало чувствительны к любовным удовольствиям. Этим же, несомненно, объясняется столь поздний интерес к женщинам у древних германцев. Руссо (стр. 144, кн. III «Эмилия») очень хвалит воздержание этих народов, считая его причиной их мужества. Я вместе с Руссо очень ценю воздержание, но я не согласен с тем, что оно порождает храбрость.

Из мифологии и истории мы знаем, что Геркулес, Тезей, Ахилл, Александр, Магомет, Генрих IV, маршал Саксонский и т. д. были и храбрыми и маловоздержанными людьми. Среди монахов есть очень целомудренные люди, но мало людей храбрых. Когда мудрый Плутарх, разбирая вопрос о любви к женщинам и о сократической любви, исследует, какой из этих двух видов любви больше побуждает мужчин к великим деяниям, и когда он ссылается в связи с этим на древних героев, то он, несомненно, иного взгляда, чем Руссо. Таким образом, основываясь на Плутархе и истории, можно утверждать, что мужество не обязательно является результатом целомудрия.

Впрочем, я питаю не меньше уважения к этой добродетели, о которой, как и о стыдливости, у разных народов весьма различные идеи. В глазах окутанной покрывалом мусульманки нет ни-

чего более бесстыдного, чем открытое лицо благочестивой немки, итальянки или французенки.

⁴ Говорят, что у некоторых народов была общность имущества. Некоторые очень прославляют эту общность имущества. Счастливы, говорят они, только те народы, которые не имеют собственности. В виде примера они приводят скифов, татар, спартанцев.

Что касается скифов и татар, то у них всегда была собственность на скот: в этой собственности и заключалось все их богатство. Относительно же спартанцев известно, что они имели рабов, что каждая семья владела одним из тех 39 000 участков земли, которые и составляли территорию Лакедемона, или Лаконии. Таким образом, у спартанцев была собственность.

Как бы добродетельны ни были спартанцы, но история показывает нам, что, подобно другим людям, они любили пожинать там, где не сеяли, и что поэтому они обязывали илотов обрабатывать их участки. Эти илоты были неграми спартанской республики. Они приводили почву в хорошее состояние. Отсюда потребность в рабах, и это, может быть, понуждало вести войны.

Таким образом, из самой формы правления Лакедемона видно, что свободная часть его населения могла быть счастливой лишь за счет другой, не свободной, и что мнимая общность имущества у спартанцев не могла, как это утверждают некоторые, породить у них чудо всеобщего счастья.

Под владычеством иезуитов жители Парагвая обрабатывали собственными руками землю сообща. Были ли они от этого более счастливы? Я сомневаюсь в этом. И это сомнение оправдывается тем равнодушием, с каким они отнеслись к свержению власти иезуитов. Эти не имевшие собственности народы были лишены энергии и стимулов к соревнованию. Разве надежда на славу и на уважение не могла влить энергию в их души? Нет, слава и уважение — это деньги, средства к приобретению реальных удовольствий. Какие же удовольствия можно было дать в этой стране одному человеку предпочтительно перед другим?

Если обратить внимание на особый характер и малочисленность обществ, где существовала общность имущества, то нельзя не предположить, что какие-то тайные препятствия всегда мешали росту и счастью этих обществ. Чтобы составить себе по этому вопросу здравое суждение, надо было бы глубоко продумать его; надо было бы исследовать, одинаково ли возможно существование подобного общества при всех условиях, а для этого надо было бы изучить его:

- 1) на каком-нибудь острове;
- 2) в стране, изрезанной обширными пустынями и защищенной огромными лесами, так что завоевание ее не представляет интереса и связано с трудностями;
- 3) в странах, жители которых, кочуя, подобно татарам, со своими стадами, могут всегда спастись от преследования неприятеля;
- 4) в стране с многочисленными городами и окруженной могущественными соседями. Надо, наконец, рассмотреть, может ли в последнем случае (бесспорно, наиболее частом) это общество сохранить то соревнование, тот дух и мужество, которые необходимы, чтобы оказывать сопротивление народам-соседям, ученым и просвещенным.

Я не буду больше распространяться по этому вопросу. Истинность или ложность его решения тем менее важна для моей темы, что повсюду, где нет общности имущества, собственность должна быть священной.

⁵ Вредно или полезно обществу право завещания? Вопрос этот еще не разрешен. Право завещания, говорят одни, есть право собственности, которого нельзя законным образом отнять у гражданина.

Всякий человек, говорят другие, имеет, несомненно, при жизни право распоряжаться по своему усмотрению своей собственностью, но после смерти он перестает быть собственником. Мертвец — ничто. Право передавать свое имущество тому или иному человеку могло быть ему дано лишь законом. Но предположим, что это право породило бы бесчисленное множество судебных процессов и споров и что в конечном счете оно оказалось бы более вредным для общества, чем полезным. Кто возьмется оспаривать у этого общества право изменить закон, ставший для него вредным?

⁶ *Воля человека изменчива*, говорят законы, и в то же время эти законы требуют нерасторжимости брака. Что за противоречие! Что же получается в результате этого? Несчастье многих супружеских пар. Но несчастье влечет за собою взаимную ненависть, а ненависть — часто самые ужасные преступления.

Но что породило нерасторжимость брака? Занятие первоначально первых людей земледелием.

В этом состоянии повседневная и взаимная нужда супругов друг в друге облегчает ярмо брака. В то время как муж распахивает новь, обрабатывает свой участок земли, жена кормит птицу, поит скотину, стрижет овец, работает по хозяйству и на птичьем дворе, готовит обед для мужа, детей и домочадцев. Супруги, занятые одним и тем же делом, а именно улучшением своей земли, встречаются редко, избавлены от скуки и, следовательно, от опасности надоесть друг другу. Что же удивительного, если муж и жена, всегда занятые работой и всегда необходимые друг для друга, ценят даже иногда нерасторжимость своего союза?

Дело обстоит иначе в духовной, военной и судебной профессиях. Это происходит потому, что в этих разнообразных профессиях супруги менее необходимы друг другу. Действительно, чем может помочь жена своему мужу в его обязанностях муфтия, визиря, кади и т. д.? В этом случае жена является для него лишь предметом роскоши и удовольствия. Таковы причины, приводившие к изменению у различных народов на множество ладов формы союза обоих полов. Есть страны, где мужчины имеют по нескольку жен и по нескольку наложниц. Есть другие страны, где вступают в брак после двух или трех лет пробной совместной жизни. Есть, наконец, страны, где женщинами владеют сообща; где союз обоих супругов длится не более чем продолжительность их любовной близости. Предположим теперь, что свободный от тирании предрассудков и обычая законодатель, желая установить новую форму брака, поставит себе целью лишь общественное благо и максимальное счастье супругов; не довольствуясь разрешением развода, он стал бы искать и нашел бы средство сделать супружеский союз максимально счастливым. Если бы это средство было бы найдено, форма браков стала бы неизменной, потому что никто не имеет права заменять худшими законами лучшие, уменьшать сумму национального счастья и даже противиться удовольствиям

частных лиц, если эти удовольствия не противоречат счастью большинства.

Но почему же до сих пор еще не решена эта важная проблема? Потому, что народы, упорно привязанные к своим обычаям, изменяют их лишь тогда, когда они вынуждены к этому абсолютной необходимостью. Сколь ни дурна современная форма брака, общество при ней все же существует, хотя и наслаждаясь меньшим счастьем; лень законодателей этим и довольствуется.

⁷ Потребность в социальных добродетелях может ощущаться даже в детстве. Хотите глубоко запечатлеть в памяти детей принципы справедливости? Устройте при каждой школе суд, и пусть сами дети разбирают свои споры; пусть приговоры этого маленького суда, перенесенные в случае апелляции на суд учителей, находят здесь подтверждение или исправление в зависимости от того, окажутся ли они справедливыми или несправедливыми; пусть при школах будут специально подсланные люди, которые, причиняя ученикам обиды и оскорбления, несправедливости которых нелегко доказать, заставляли бы в силу этого жалобщика хорошенько обдумать свое дело, чтобы хорошо защищать его, а детский суд обдумывать это самое дело, чтобы правильно решить его.

Ученики, вынужденные благодаря этому обращать внимание на правила справедливости, вскоре усвоят ясные идеи о ней. Приблизительно подобным же образом Руссо дает своему Эмилю первое понятие о собственности. Нет ничего остроумнее этого метода, однако им пренебрегают. Если бы Руссо сделал только это одно открытие, то я причислил бы его к благодетелям человечества и охотно воздвигнул бы ему памятник, которого он требует.

Мало думают о том, чтобы вырабатывать у детей суждения; довольствуются тем, что начинают их головы всякими мелкими фактами. Что же получается в результате? Что человек обнаруживает большие таланты к болтовне в детстве и полное отсутствие здравого смысла в зрелом возрасте.

Что нужно для того, чтобы выработать у ученика суждение? Заставить его сперва рассуждать о том, что его интересует лично. Ум его расширится — тогда его следует заставить применить его к более важным вопросам. Для этого надо нарисовать ему картину законов и обычаев различных народов, заставить его судить о мудрости и безумии этих обычаев, этих законов и, наконец, помочь ему взвесить совершенство или несовершенство их на весах наибольшего счастья и наибольшего интереса республики. Размышляя над принципом национальной пользы, ребенок сможет приобрести здравые общие идеи о нравственности. Кроме того, его ум, занятый этими важными вопросами, станет более способным к занятиям всякого рода.

Чем легче становится для нас прилежание, тем более возрастают силы нашего ума. Никогда не рано приучать ребенка к усилиям внимания; чтобы его заставить усвоить эту привычку, иногда приходится, чтобы там ни говорил Руссо, прибегнуть к устрашению. Вообще лучших учеников всегда готовят справедливые и строгие учителя. На ребенка, как и на взрослого человека, действуют лишь надежда на удовольствие и страх страдания. Если ребенок еще способен испытывать удовольствия, если он не чувствует еще любви к славе и не подстрекаем духом соревнования, то только страх наказания может фиксировать его внимание. Страх является в общественном воспитании средством, к которому учителям при-

ходится непременно прибегать, но которым они должны пользоваться благоразумно.

⁸ При всяком правительстве, когда я могу быть счастлив лишь путем несчастья других, я становлюсь дурным. Против этого зла помочь может лишь реформа правительства. Но как добиться согласия народов на эту реформу и убедить их в недостатках их законов? Как вернуть зрение слепым? Я знаю, что людей можно научить при помощи книг, но большинство их не читает. Для этого можно прибегнуть еще к проповедям, но власть имущие за-прещают проповедовать против пороков, которые, по их мнению, для них выгодны. Таким образом, ввиду трудности объяснить народам их истинные интересы и из-за вытекающих отсюда помех всякой мудрой реформе в деле государственного управления увековечиваются его недостатки.

⁹ Допустим, что изучение латинского языка было бы столь полезно, сколь может быть, сейчас малополезно, и что захотели бы в кратчайший срок запечатлеть все слова его в памяти ребенка. Что сделать для этого? Окружить ребенка людьми, говорящими только по-латыни. Путешественник, выброшенный бурей на остров, языка которого он не знает, научается вскоре говорить на нем; это происходит потому, что его учителями являются нужда и необходимость. Поместите ребенка в условия, возможно близкие к указанным, и за два года он лучше изучит латинский язык, чем он научился бы ему в школе за десять лет.

¹⁰ Почему в поэзии красота чувств и образов действует на большее количество людей, чем красота идей? Потому, что люди чувствуют раньше, чем думают, потому, что они получают ощущения раньше, чем сравнивают их между собою.

К о н е ц

МЫСЛИ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

I

Люди всегда против разума, когда разум против них.

II

Умножать состояние — это не то же самое, что добиваться счастья, однако одно может увеличиваться вместе с другим.

III

Те, кто привык спорить в общественных местах, должны скорее обладать искусством выражать мысли, чем способом находить истину.

IV

Редко министры, обладающие умом, выбирают выдающихся людей для занятия должностей: они считают их слишком непокорными и недостаточно ревностными почитателями.

V

Только опрометчивый человек рискует проявлять ум перед людьми, которых он не знает.

VI

Часто жертвуют величайшими радостями жизни, что-бы гордиться тем, что они принесены в жертву.

VII

В обществе нельзя составить всестороннее представление об уме человека: можно судить о том, чем этот ум хорош для общества, но не о глубине мыслей.

VIII

Было бы легко написать книгу, доказывающую, что общество людей, которые поступают соответственно евангелию, не могло бы существовать.

IX

Глупость всегда хочет говорить, но никогда не имеет что сказать, вот почему она многословна.

X

Наше уважение или презрение к чему-либо определяется его необходимостью или бесполезностью для нас.

XI

Религия причинила огромный вред и принесла немного мелких благ.

XII

Некрасивые люди обычно имеют больше ума, потому что у них меньше возможностей для удовольствия и больше времени для учения.

XIII

Слово «человек» никогда не принимают за «лошадь», но «размышлять» принимают за «думать». Всякое собирательное слово вызывает споры. Совсем не спорят по поводу образных слов.

XIV

Когда наука не приносит пользы у своих истоков, ее считают бесполезной. Это ручей, который кажется потерявшимся в земле, и поэтому не видят, что он порождает другой источник.

XV

В государстве ежедневно происходят беды, которые не могут быть устранены, потому что не могут добраться до весьма отдаленного источника, который невежество министров заставило иссякнуть, между тем как пробиваются другие источники, воды которых текут в неведомом направлении и представляют опасность для общественного блага.

XVI

Есть собаки, годные для разных видов охоты. Почему не заводят себе друзей, одни из которых служили бы для веселья, другие — для рассуждений и, наконец, третьи — для того, чтобы плакать вместе с нами?

XVII

Нередко человек бывает слишком благоразумным, чтобы быть великим. Надо немного фанатизма, чтобы добиться славы и в литературе, и в государственных делах.

XVIII

Справедливость — это соответствие действий частных лиц общественному благу.

XIX

Можно было бы вывести полезные следствия из того, что память — это то же самое, что суждение и воображение. Можно было бы определить, какие размышления или суждения возникают у человека под влиянием фактов, содержащихся у него в памяти, и какого рода размышления появляются вследствие обширной и глубокой учености.

XX

История — это роман фактов, а роман — это история чувств. История учит, что добродетели нечем привлечь людей, что едва ли найдется один человек на сотню добродетельный по склонности, что все они лживы, вероломны и т. п. Роман дает нам образец верности, прямодушия.

XXI

Гений похож на те обширные земли, где встречаются места мало ухоженные и плохо обработанные: на столь большом пространстве нельзя все тщательно обработать. Только люди небольшого ума присматривают за всем: маленький садик легко держать в порядке.

XXII

Святоша не более надежен, чем придворный; один предаст друга, чтобы иметь успех у короля, другой — чтобы обеспечить успех у бога.

XXIII

Светские люди любят тех, кто обладает многими разновидностями ума, ибо они рассчитывают иметь больше сходства с ними.

XXIV

Ум подготавливает счастье, которое добродетель завершает.

XXV

Почему часто утверждают, что у людей с воображением безрассудные замыслы? Дело в том, что для осуществления их замыслов нужно обладать таким же умом, как у них, и те, кто не видит средств их осуществить, предпочитают утверждать, что замысел невыполним, вместо того чтобы признать, что у них нет ума для его выполнения. Это рассуждение подкрепляется опытом.

Великие люди — это те, кто изобретает и делает то, что кажется другим невозможным. Но для этого нужно, чтобы счастливый случай ставил людей на такое место, где они могли бы осуществлять то, что ими задумано; в противном случае их обычно считают мечтателями.

XXVI

В несчастье предпочитают добродетель, а не ум потому, что в ней больше нуждаются, а не потому, что она, как утверждают, лучше. Предпочитать одно другому нас вынуждают наши потребности.

XXVII

Счастье людей заключается в том, чтобы любить делать то, что они должны делать. Но общество не основывается на этом принципе.

XXVIII

Человека, который был бы намного выше других людей, вовсе не следовало бы почитать за это: то, что он видел бы, будучи выше них, совсем не было бы видно им.

XXIX

Мудрец пользуется удовольствиями или обходится без них, как обходятся без фруктов зимой.

XXX

Зависть часто утверждает, что такая-то книга произвела шум лишь благодаря своей дерзости, и заявляет высокомерно: «Я прослыл бы таким же умником, как вот этот человек, если бы я был столь же неосторожен». Дерзкая истина — это в большинстве случаев важная истина для многих и, может быть, вредная для могущественных людей и богатых сословий. Истины, которые не производят шума, не имеют, стало быть, значения; следовательно, авторы этих истин должны быть не столько довольны своим благоразумием, сколько стыдиться бесплодности своего ума.

XXXI

Когда в сердце западает искра любви, она его воодушевляет; но когда любовь подносит к сердцу свой факел, пламя пожирает сердце.

XXXII

Бывают люди, которых нужно ошеломить для того, чтобы убедить.

XXXIII

Истина для глупцов — это факел, который светит в тумане, не рассеивая его.

XXXIV

Спустя некоторое время после того, как заблуждение исчезло, люди не понимают, как они могли в него верить. В наше время насмеваются над египтянами, которые поклонялись своим богам в облике луковицы; смеются над глупостью тех монахов, которые спорят друг с другом о собственности на суп, который они едят, и о пользовании им; мы готовы смеяться над нашими предками из-за множества других нелепостей, по меньшей мере столь же смешных. Однако немногим здравомыслящим людям приходит в голову мысль спросить себя: верим ли мы во что-либо более разумное, чем египтяне или самые варварские народы?

XXXV

Человечность — это осмысленное чувство; только воспитание его развивает и укрепляет.

XXXVI

Я знаю, говорила одна больная дама, впрочем довольно счастливая, что я счастлива, но не чувствую этого. Разница между ощущением и размышлением.

XXXVII

Можно было бы вычислить доброту человека по его счастью. Я имею в виду не то счастье, которое приписывают удаче, а то, которое происходит от хорошего здоровья, удовлетворенности или по крайней мере от умеренности желаний.

XXXVIII

Только тем пристало писать о нравственности, у кого нет нужды приписывать свои поступки иным причинам, кроме причин, заставляющих их эти поступки совершать, и обманывать самих себя относительно мотивов, заставляющих их действовать, из страха оказаться весьма презренными в собственных глазах. Например, лишь тот, кого зависть не заставляет совершать какой-нибудь дурной поступок, сознается, что он завидовал.

XXXIX

Интерес всегда обостряет ум. Мои арендаторы обманывали меня всегда, когда хотели, по двум причинам: во-первых, потому, что они знали лучше меня то, о чем

шла речь, а знание является основой ума; во-вторых, потому, что они были более заинтересованы в том, чтобы обмануть меня, чем в том, чтобы не быть обманутыми, так как они были бедны, а я — богат.

XL

Эдикт, который учредил нотарпусов, больше оскорбляет людей, чем книга «Об уме». Первый говорит, что люди — мошенники, вторая — что люди действуют лишь под влиянием своего личного интереса.

XLI

Когда оспаривают принципы какого-нибудь человека, можно показать, какие следствия из них вытекают, но не утверждать, что он имел их в виду, и предугадать его ответ.

XLII

Ганипбал был одноглаз. Он высмеял того художника, который нарисовал его с двумя глазами, и наградил того, который изобразил его в профиль. Никто не хочет слишком пошлых славословий, но каждый испытывает приятное облегчение, когда скрывают его недостатки.

XLIII

Удел редких умов — сочетать точность с воображением.

XLIV

Нечего бояться, что секта академиков^{1*} когда-нибудь приобретет влияние. Человеческое тщеславие не любит отказываться от своего мнения; этому протпвится еще и леность, ибо для того, чтобы отказаться от своего мнения, нужно было бы поразмыслить, а обычно человек — враг размышления, которое всегда утомляет.

XLV

Основа нравов людей заключается отнюдь не в их умозрительных принципах, а в их вкусах и чувствах. Как много верующих, которые поступают дурно, и как много безбожников, поступающих хорошо!

XLVI

Набожные люди обычно бывают легковерны и мнительны; следовательно, они должны легко признавать все, что говорят люди, придерживающиеся другого мнения или принадлежащие к секте, отличной от их секты.

XLVII

Отнюдь не перестают верить в абсурд, оттого что разумные люди доказывают, что он таковым является; но в него верят, потому что горстка глупцов и мошенников называет его истиной.

XLVIII

Есть люди, которые считают себя большими умниками, потому что они тяжеловесны в беседе, точно так же как горбатые полагают, что они умны, поскольку они плохо сложены.

XLIX

Увеличить в государстве количество ростовщиков — значит связать интересы короля с интересами большого числа людей, являющихся естественными врагами собственников.

L

Тот, кто постоянно сдерживает себя, всегда несчастен из страха быть несчастным пногда.

LI

Физическое и духовное представляют собою как бы две изолированные, удаленные друг от друга колонны, которые в один прекрасный день будут соединены одной и той же капителью.

LII

Нужно быть более осторожным, когда осуждаешь мнение одного великого человека, чем когда осуждаешь мнение всего народа.

LIII

Умный человек часто слышит сумасшедшим у того, кто его слушает, ибо тот, кто слушает, имеет перед собою альтернативу считать или себя глупцом, или умного человека сумасшедшим, — гораздо проще решиться на последнее.

LIV

Мелкие недостатки в великом произведении — это крохи, которые бросают зависть.

LV

Король и священники любят противоречия в законах. Они поочередно используют их по своему усмотрению в собственных интересах. Общественная польза, которая должна была бы считаться правилом и мерой человеческих

поступков, явилась бы нравственной основой, весьма для них неприятной.

LVI

Нацпя, подчиненная деспотизму, редко понимает свободных людей. Весьма немногие из французов понимают англичан. Поэтому по-разному ведут переговоры с республиканцами или с деспотами. Первые следуют своей выгоде, вторые — своим прихотям.

LVII

Быть скучным — большой недостаток для писателя. Скучают при чтении сочинений о нравственности или философских рассуждений каждый раз, когда не пробуждают ума новыми идеями. В исторических произведениях и романах факты вытесняют мысли и ум.

LVIII

Для большинства людей рассуждать — значит грешить против природы.

LIX

Люди, страстно любящие женщин, уважение или почести, добиваются их путем преступлений или при помощи добродетелей, в зависимости от того, в каком веке или среди какого народа они живут.

LX

Бесчестье при дворе — это как бы дым, который становится белым, расстилаясь на просторе.

LXI

Если бы голос крови говорил, то не было бы дня, когда бы он не добивался на улице Парижа большего признания, чем за десять лет во французском театре.

LXII

Можно видеть, как сохраняется добродетель преследуемая, но уважаемая, однако редко так бывает с добродетелью преследуемой и презираемой.

LXIII

Если люди не верят в сказки о феях и духах, то их удерживает от этого и препятствует этому отнюдь не нелепость этих сказок, а то, что им не было приказано в них верить.

LXIV

То, что дает нам наиболее искаженное представление о счастье, — это преувеличения поэтов, изображающих,

например, мимолетные восторги любви как нечто прочное и этим вынуждающих нас представлять себе счастье, которое не может существовать. Вот призрак, который соблазняет большинство людей, и прежде всего молодых.

LXV

Духовенство — это сообщество, которое обладает исключительной привилегией обворовывать при помощи обольщения.

LXVI

Люди настолько глупы, что повторяющееся насилие в конце концов представляется им правом. В Турции думают, что султан имеет право на жизнь, имущество и свободу граждан.

LXVII

Нужно быть очень порядочным, чтобы пзучать других людей по себе: мошенники должны были бы сильно краснеть.

LXVIII

Богатые и бедные хотели бы, чтобы другая сторона была более совершенной. Претензия и тех и других смешна; но претензия бедных менее одпозна, ибо те, кто при деньгах, могут переносить несправедливость и находить себе утешение.

LXIX

Мало друзей, способных выдержать любое испытание. Тот, кто рискнул бы для нас своим состоянием, не рискнул бы показаться смешным.

LXX

Отец говорил своему сыну: ты глуп, будь по крайней мере решителен — это искупит твою глупость.

LXXI

Вера в предрассудки сходит у людей за здравый смысл.

LXXII

Больше всего вредит успеху искусств и наук обращение к здравомыслящим людям, которые присваивают себе право на то, чтобы видеть правильно тогда как они видят недалеко.

LXXIII

Люди очень непоследовательны. Королей, которые опасаются всяческих нападков на христианскую веру, очень

огорчило бы, если им пришлось бы управлять своими народами при помощи христианских законов.

LXXIV

У добродетели много проповедников и мало мучеников.

LXXV

Не нужно иметь ни большого скудоумия, ни большой широты ума, чтобы казаться здравомыслящим, ибо здравым смыслом почти все называют согласие с тем, что признается глупцами, а человек, который ищет лишь истину и поэтому обычно отклоняется от принятых истин, считается сумасшедшим.

LXXVI

Суровые советы совсем не производят действия — это вроде молота, который всегда отталкивается наковальней.

LXXVII

Бывают глупцы, которые говорят банальности с важной миной и слывут умными людьми; между тем как бывают умные люди, которые говорят тонко и обдуманно, не делая при этом важной мины, и слывут людьми глупыми или посредственными.

LXXVIII

Государства и армии часто бывают подобны кораблям, которым мешают плавать их размеры.

LXXIX

В истории бесполезно все, что не служит потомству.

LXXX

Возможно, существует искусство соблазнять женщин, так же как искусство писать хорошие стихи. Повидимому, это искусство менее сложно и поэтому заслуживает меньше уважения, чем другие, но оно все же искусство. Размышляющие люди слишком уж склонны считать глупцами тех, кто не умеет рассуждать. Им следовало бы подумать, что есть также искусство хранить молчание, возможно это — мало почтенное искусство, но в конце концов такое, к которому словоохотливые люди не способны. И светские люди слишком поспешно испытывают презрение к человеку молчаливому. Вот почему отказывают в уважении видному юрисконсульту или коммерсанту и не признают за ними ума. Это признание

всегда должно соответствовать степени редкости и полезности.

LXXXI

У предметов столько различных сторон, что следовало бы всегда исследовать и никогда не спорить.

LXXXII

Новая идея появляется в результате сравнения двух вещей, которые еще не сравнивали.

LXXXIII

Великие мира сего, в особенности министры, весьма заботятся о том, чтобы вызывать преклонение. Они предпочитают умным людям глупцов, которые пользуются покровительством, ибо умеют угождать.

LXXXIV

Бывают люди, которые блещут умом лишь среди глупцов, — таковы пустомели. Резонеры выказывают свой ум лишь среди людей им подобных.

LXXXV

Чтобы хорошо писать исторические труды, нужно придерживаться середины между Тацитом, который всегда заставлял людей действовать с умыслом, и Плутархом, который их заставлял поступать под влиянием страсти. Во всяком случае люди долго кружат вокруг цели, прежде чем ее достигнуть.

LXXXVI

Учатся долгое время, чтобы сделаться искусным в своей профессии; пренебрегают всем, чтобы осуществить самое важное — управлять людьми. Есть много академических премий за разрешение праздных вопросов, и ни одной — за тот, который был бы решающим для счастья рода человеческого.

LXXXVII

Все события связаны. Если вырубают лес на севере, то изменяются ветры, время жатвы, искусства этой страны, нравы и образ правления. Мы не видим целиком эти цепи, первое звено которых уходит в вечность.

LXXXVIII

Разговор становится тем более пошлым, чем выше положение тех, с кем он ведется.

Римляне могли отнять у своих детей жизнь, но не свободу.

XC

Только крепостям короли обычно обязаны своим могуществом и правом быть глупцами.

XCI

Бедняк говорит богачам: «Если вы делаете глупости, для вас это пустяк, но для меня они не позволительны», желая сказать этим, что он их не делает.

XCII

Есть люди, которых страх сам приводит туда, куда их следует привести.

XCIII

Кардинал Ришелье говорил, что управление королевскими апартаментами ему обходится дороже, чем управление государством.

XCIV

Если бы люди лучше знали мотивы, которые заставляют их действовать, то они бы молчали и тратили бы свое время на поиски средств сделать себя добродетельными, связывая с этим свое счастье.

XCV

Называют безумным не того, кто верит, что вкушает благого бога, а того, кто называется Иисусом Христом.

XCVI

Нужно иметь на своей стороне мнение и разум, потому что мнение и разум — сила. Люди, безразлично относящиеся к какому-либо вопросу, отдают предпочтение разуму; а так как есть много людей безразличных, то разум становится силой, потому что большое число людей всегда составляет силу и потому что партия сторонников разума, если только его проявления не подавлены в стране полностью, всегда растет и незаметно становится самой сильной.

XCVII

Было бы гораздо лучше, если бы хорошо понимали, что люди не вправе порицать действие, которое не причиняет вреда обществу, — это значительно уменьшило бы злословие и огорчения людей в обществе.

ХСVIII

Говорят: к чему правда в сочинениях? От этого обществу мало пользы. Это все равно, что сказать: к чему быть порядочным человеком? От этого обществу мало проку, ибо частное лицо в нем лишь незначительная величина.

ХСIX

Если те, кто утверждает, что нельзя быть честным человеком без религии, протестанты, то они косвенно утверждают, что тот, кто не глуп, нечестен, ибо они считают глупостью верить в пресуществление ^{2*}.

С

Священники учат детей в понятных выражениях невразумительному, а взрослых — в невразумительных выражениях понятному.

СИ

Во всех случаях, когда средоточием усилий правительства не является общественная польза, в государстве нет основы, ибо ни повиновение, ни деспотизм не представляют собою основы, они лишь осуществление постоянно изменяющегося произвола.

СИ

Постоянно ошибаются в своих рассуждениях те, кто рассуждает а priori, вот почему столько метафизиков впадали в заблуждение; нужно рассуждать только а posteriori, т. е. в соответствии с достоверными фактами. Это метод Локка, бесспорно, первого хорошего метафизика. Само слово «метафизика» показательное: оно означает «после физики». Физика дает нам факты, а из сравнения этих фактов мы выводим общие следствия, которые называют «метафизикой», и каждая наука имеет свою метафизику. Всякая метафизика, которая не опирается на солидный фундамент фактов, является ложной метафизикой слов.

СИИ

Когда народ, такой, как гунны, готы и др., не знал иной славы, кроме славы оружия, не было необходимости поощрять у него искусства, чтобы заставить его сохранить свою воинскую доблесть. Иначе обстоит дело у образованной нации. Здесь разрушить искусства — значит положить конец всякому соревнованию, а следовательно, и всякой воинской доблести. Это соревнование и

желание отличиться — дрожжи, вызывающие брожение различных талантов.

CIV

В нравственности, как и в астрономии, существуют времена более благоприятные для наблюдений. Пролетающие нравственные кометы делают более доступными для наблюдения те, которые наличны. Когда глупость оскорбляет достоинство и берет верх над ним, когда она могущественна и совершенно не соблюдает осторожности, ее гораздо легче наблюдать.

CV

Лживые люди меньше всего знают людей: они слишком заняты тем, чтобы скрывать свою суть. Искренние люди, у которых совсем нет пороков, открыты и могут использовать силы своего ума для постижения других людей.

CVI

Терпимость в государстве — признак равновесия сил. Когда юристы являются министрами, терпимость обусловлена тем, что недоброжелательные высказывания о вельможах нравятся министрам, восхитенным унижением дворянства. Недоброжелательные же высказывания о министрах вызывают смех в узком кругу вельмож, потому что они взбешены тем, что сами не управляют.

CVII

Правительство, которое становится нетерпимым, способно сделать еще много глупостей. Это вор, который хотел бы зажать рот тем, кто дает показания против него.

CVIII

Интерес способен заставить отрицать самые очевидные теоремы геометрии и верить самым абсурдным религиозным сказкам.

CIX

Всякое платье, которое могло бы подчеркнуть красоту телосложения, всегда будет считаться смешным. Есть много людей, плохо сложенных, которые заинтересованы в том, чтобы отзываться дурно об этом платье. Так же обстоит дело и с умом, и с хорошей книгой.

CX

Те, кто говорит нам, что только добродетель делает нас счастливыми, принимают взрослых за детей. Сначала нужно справиться с физическими потребностями, если

только не предполагать, что с нами дело обстоит так, как в рыцарских романах, в которых герои всегда действуют, всегда дерутся на дуэли, но не упоминается, что они обедают, ужинают и спят.

CXI

Когда в государстве властвует не только закон, к закону начинают питать меньшее уважение. Выполнение закона представляет собою справедливость. Однако если власть самая сильная не опирается на закон, тотчас же начинают пренебрегать справедливостью. Отсюда происходит бесконечное число преступлений.

CXII

Все зависит от законодательства. Вот почему презупты, у которых та же религия, что и у францисканцев, играют в мире несравненно большую роль.

CXIII

Редко бывает, чтобы новую форму государствам давал гений предвидения; обычно это обусловлено лишь бедствиями или честолюбием.

CXIV

Макнавелли говорил, что дворянство в республике — это червь, подтачивающий основы государства.

CXV

Нет пных простолюдинов, кроме тех, которые потеряли свой дворянский титул.

CXVI

Деспотизм делает женщин рабынями.

CXVII

Корсар желает войны, потому что он не заинтересован в общественном спокойствии. Каждый есть в большей или меньшей степени корсар.

CXVIII

Ты хочешь нравиться людям? Цени их ум.

CXIX

Истина, которую хотят доказать, должна получить всю свою силу и ясность из последних размышлений, цель которых — ее доказательство.

CXX

Смешное подобно почестям: ценным и полезным их делает справедливый способ наделения ими.

СХХI

Люди, которых называют слабыми, являются лишь равнодушными, ибо у каждого найдется сила, когда окажется затронутым предмет его страстей.

СХХII

Фонтепель говорит, что довольно странно потерять одно за другим зрение, слух, память и очутиться в классе растений, после того как был Фонтенелем.

СХХIII

Один человек сказал придворному: «Вы не созданы, чтобы понять меня, потому что я буржуа, а я не создан, чтобы понять вас, потому что вы глупец».

СХХIV

Чтобы соблюдать приличия в свете, нужно быть тихим, часто — лукавым, иногда и почти всегда — льстецом.

СХХV

Интриги и маневры, которым необходимо предаваться для того, чтобы добиться хорошей репутации, мешают нам ее заслужить.

СХХVI

Никто не бывает так обманут, как тот, кто предлагает столь много усилий, чтобы не быть обманутым никогда.

СХХVII

Государь и вельможи, которые ничего не отвечают людям, делают тайну из своей слабости.

СХХVIII

По словам Эврипида, ему стыдно, что он не знает, что такое справедливость, но знает, что такое природа бога, души и Вселенной.

СХХIX

Справедливость исчезает, когда она не обладает силой.

СХХХ

Как правило, нравятся те произведения, в которых видна справедливость и человечность: люди жадны до них.

СХХXI

Очень странно, что священники, которые выдвигали столь поразительные положения, направленные против государей, не бывали тотчас же уничтожены. Это очень сильное доказательство их влияния, их богатства и глупости людей.

СXXXII

Справедливость или несправедливость закона измеряется бóльшим или меньшим благополучием народа.

СXXXIII

Щедрость определяется причиной ее проявления.

СXXXIV

Уважать — значит ценить чье-либо могущество. Вот почему не очень-то уважают тех, которые ничего не могут.

СXXXV

Свобода — это разрешение делать все то, что можно сделать, сообразуясь с человеческими силами.

СXXXVI

Фракция — это новое сословие в прежнем.

СXXXVII

Монархическое государство — это не родина честолубивых и талантливых, это родина заурядных людей, которые здесь наиболее счастливы. Большим вельможам там ничего не остается делать, как быть глупыми и невежественными. С душой возвышенной и просвещенной они были бы честолубивы и весьма опасны.

СXXXVIII

Каждый изображает человека как ему нравится. То его делают маленьким, как насекомое, то высоким, как гиганта, и могущественным, как бога. Это предмет со многими гранями, который рассматривают с той стороны, с которой хотят. Красноречие его преувеличивают или ограничивают на свой манер. Только разум и философия видят его таким, каков он есть, а именно с характерным для него устройством органов, с характерной для него способностью получать впечатления и сохранять их.

СXXXIX

Когда молоды, пишут стихи — букеты Филиде. А когда делаются старше? Занимаются основательными умозаключениями. В этом отношении люди как деревья, которые приносят плоды, лишь сбросив цветы. Они обладают чувствами и желаниями до того, как начинают размышлять.

СXL

Для того чтобы внимательно проследить причины величия империи, недостаточно собрать факты, нужно их рассмотреть с истинной точки зрения. Нередко ее не

знают, нередко ищут систему там, где ее совсем нет, и почти всегда ищут единственную первопричину там, где их целая сотня. В своей книге «О причинах величия...» Монтескьё недостаточно показал роль счастливых случайностей, которые послужили на пользу Риму. Он попал в затруднение, весьма обычное для резонеров, вызванное желанием определить причину всего, а также совершил ошибку кабинетных ученых, которые, забывая о людях, очень легко приписывают неизменные цели, постоянные принципы всем сословиям, между тем как нередко лишь один-единственный человек по своей прихоти управляет этой преисполненной важности толпой, которую называют сенатом.

CXLI

Если Монтескьё меньше занимался тем, что требует от нас долг, чем средствами, при помощи которых можно заставить нас его выполнять, то он был неправ. Одно из значительнейших средств заставить людей выполнять свои обязанности состоит в том, чтобы не предписывать их людям по произволу, а показывать им неразрывную связь между их обязанностями и их счастьем.

CXLII

Закон призван охранять равенство. Обратитесь к истокам привилегий, и окажется, что все они основаны либо на предрассудках, либо на несправедливости. Те привилегии, которые в силу случайных обстоятельств были пожалованы как награды, обусловлены недалекновидностью и недостаточной чувствительностью к счастью других, ибо нет ни одной привилегии, которая не причиняла бы вред кому-либо. Несправедливо покровительствовать одной части нации за счет остальных, но всякое покровительство именно таково. Что касается владения с незапамятных времен, то это право почти всегда порочно по своему происхождению, и, по мнению философа, никто не может приобретать что-либо за давностью владения вопреки истинным интересам народа. Мудрость состоит в том, чтобы путем выкупа или возмещения за убытки частных лиц способствовать уничтожению всех привилегий. Следует сохранить лишь различия между должностями, но отнюдь не привилегии и освобождения от обязанностей.

CXLIII

Во времена просвещения люди, если бы они были в самом деле просвещены, не испытывали бы трепета перед

кем-либо; если бы они имели в голове план действий и обладали бы храбростью, которая побуждает следовать ему, то они не испытывали бы трепета; если бы они были твердо убеждены в том, что все законы сводятся к тому, чтобы воспрепятствовать причинению вреда и предоставить наибольшую свободу, какая только возможна, если бы они были уверены, что налогами следует облагать исходя из доходов нации и ограничивать ее действительными нуждами, то они не испытывали бы страха. Испытывает страх только невежество; только не вполне просвещенная эпоха боится исправления злоупотреблений. Когда все видят в надлежащем свете, когда хорошо понимают не устройство отдельного государства, а устройство людей и вещей, не говорят, что есть хорошее, лучшее и худшее, а говорят: такова природа вещей и людей — и идут прямо к цели без боязни.

CXLIV

Когда я вижу какое-либо животное, обитающее в отдаленных местах, строящее себе надежное убежище и скрывающее путь к нему от любопытных взоров, я говорю: несомненно, у него есть грозные враги, а его силы не очень велики. Если оно не находится в состоянии войны, то оно близко к этому; по крайней мере оно находится в состоянии страха. Таково состояние животных. Если бы встречалось такое животное, которому помимо врагов нужно было бы опасаться себе подобных и которое само могло бы внушить им страх, тогда эти взаимные страхи создали бы состояние войны. Кроме того, нужно еще исследовать, смогли ли бы они положиться друг на друга; можно ли было бы соединить со страхом, который их взаимно отдаляет, нужды и склонности, которые их сближают, в результате чего их состояние оказалось бы и войной и миром, но мир был бы их истинным состоянием. Если при этом они обладали бы разумом, который, указывая им средства примирения их истинных интересов, дал бы им средства избавиться от страха друг перед другом, то я полагаю, что налицо оказалась бы природа человека.

CXLV

Когда люди соединены и разделены на нации, что из этого должно вытекать? Чтобы лучше об этом судить, нужно рассмотреть, как возникла эта нация. Естественным образом вначале появилась простая семья, затем союз семей, объединенных или соседством, или необхо-

димостью защищаться. Соответственно были избраны вождь или вожди. Следовательно, политические институты порождены войной, но войной оборонительной. Нет ничего другого, что вначале объединяло бы людей, и объединялись они именно для того, чтобы избежать бесконечных набегов грабителей. Цель разбоя — грабеж, цель войны — защита. Международное право, политическое право, гражданское право появились лишь после того, как общество со временем стало устойчивым; до тех пор оно было просто основанным на доверии союзом, который еще не был подкреплён какими-либо законами. Он мог распасться, и, быть может, это и имело место не один раз, прежде чем он приобрел устойчивость.

Когда рассматривают полностью сложившуюся нацию, уместно обратить внимание, во-первых, на последовательность, в которой осуществляется переход к этому состоянию; во-вторых, на то, что различные склонности человеческого рода утрачиваются или приобретаются при этом изменении. Необходимо сначала рассмотреть отношения членов нации друг к другу, затем отношения их к правительству и, наконец, к другим нациям; это лучше, чем следовать обратному порядку, ибо нужно объединить волеизъявления, прежде чем объединять силы и проявлять их вовне; прежде всего нужно, чтобы обстоятельства объединили семьи. Именно неодолимая склонность к любви, потребность в детях, чувства родителей к своему потомству создают семью. Склонности, которые природа предназначила для объединения людей, такие, как удовольствие жить с себе подобными, сострадание и благотворительность, сближающие отцов семейств, а затем и семьи, когда обстоятельства этому не противодействуют, — вот чувства, которыми руководствуются первоначально возникшие союзы. Но так как человеческие сердца волнуют страсти, которые приводят союзы к расколу, гражданское состояние, или цивилизация, основывается на законах, обуздывающих эти пагубные страсти. Но когда первоначальные побуждения человечности, которыми руководствовались первые союзы, несколько ослаблены и их энергия частично потеряна, вступает в действие расчетливый интерес, занятый только собою; возникает состояние скрытой войны, которое господствует при всех формах правления, поскольку нет никого, кто помышлял бы укрепить социальные чувства, вложенные природой в нашу грудь, никого, кто сделал бы разум своим наставником.

Разум, как я об этом говорил, должен изучать истинные и добрые склонности человека, чтобы содействовать им и укреплять их, и противодействовать тем, которые смогли бы причинить ущерб общему счастью, — это его истинное применение. Этим ли занимаются правительства? Кажется, что они помышляют только о том, чтобы заставить повиноваться себе.

CXLVI

Имеются великолепные места в главе II книги II «Духа законов», в деталях Монтескьё почти всегда превосходит; но в то же время он показывает себя порою слишком ученым. Поэтому мне представляется, что он был несколько ослеплен, когда отдавал предпочтение римлянам и афинянам. Он смешивает то, что народ совершает в прекрасные дни своей славы, воодушевленный добродетелью, с тем, что он делает в эпоху разложения или в иступлении от свободы. Если Афины и Рим часто делали замечательный выбор, если иногда они доверчиво верялись достойным людям, то порою они их наказывали за неудачи, а часто, кроме того, предпочитали дерзость и пустое красноречие каких-нибудь демагогов простому и скромному достоинству: они изгнали Аристиди и Сципиона. Однако я убежден, что народ способен обладать всей той мудростью и справедливостью, которой его надеялся Монтескьё, но при условии, что он хорошо поймет свои истинные интересы, а такого понимания можно добиться только в двух случаях: 1) когда сами правительства пожелают как следует объяснить народу его истинные интересы; 2) когда будет разрешено их обсуждать в любое время, не дожидаясь того, чтобы сложились чрезвычайные обстоятельства. Предположим, например, что народам как следует объяснили, что их истинный интерес состоит в сохранении мира; что для них несущественно, чтобы их империя расширялась или ограничивалась, лишь бы они были счастливы; что им объяснили, вместо того чтобы учить их множеству бесполезных занятий, что счастье состоит в том, чтобы следовать природным склонностям; что зло всегда следует причинять только тем, кто причиняет его сам, — тогда не будет больше права на войну, потому что будут лишь оборонительные войны, а оборонительная война должна иметь своей целью не захват и не победу, а мир. Нужно объяснить народу, что право народов заключается не в том, чтобы нации доставляли друг другу в условиях мира наибольшее количество

благ (это излишне), но (и этого было бы достаточно для счастья всех) в том, чтобы они не искали выгод за счет других наций, не чинили препятствий их торговле, уважали их свободу, не раскалывали их изнутри, словом, жили спокойно и поистине в мире и воевали лишь вопреки своей воле. Когда народ как следует научат этому, то ни честолюбцы, ни интриганы не смогут его совратить, речи о славе и величии не вовлекут его в безумные предприятия и, когда нужно себя защитить, он будет неустанно сражаться за своих детей и матерей. Счастливый народ никогда не бывает трусливым; он страшится лишь того, как бы не утратить своего счастья.

Я должен подтвердить сказанное мною о том, что Монтескье преувеличивает, говоря, будто нации должны делать друг другу в условиях мира как можно больше добра. Представляется oddным порицать максимум благодеяний; но нет блага, кроме того, которое истинно. Я мало верю в добродетели, которых никогда никто не ощущал и которые вообще неощутимы. Когда я вижу страдающего человека, я чувствую сострадание к нему; когда я могу сделать ему добро, я чувствую, как мое сердце волнуется и хочет ему это сделать; но нация для меня — духовное существо, которое не воздействует на меня и ничего не говорит ни моему сердцу, ни моим чувствам. Я ограничиваюсь тем, что не делаю зла, потому что делать зло претит моей душе. Если мне встретится чужой человек, он больше не чужой для меня; это человек, и он имеет права на мою любовь. Но благодеяния совершаются только по отношению к существам, способным чувствовать и обладающим в свою очередь теми же чувственными впечатлениями, которыми я обладаю по отношению к ним. Великий источник заблуждений — это собирательные слова, которые как бы делают одно-единственное лицо из собрания людей и наделяют его теми чувствами, которые человек испытывает лишь потому, что он один. Как бы я ни был чувствителен к счастью или бедам нации, мне нужно ее, так сказать, расчленить, чтобы увидеть отдельных счастливых или несчастных людей, из которых она состоит.

CXLVII

Я не очень удивлен, что суды большого государства беспрестанно наносят удары по патримониальной и церковной юрисдикции^{3*}: само собою разумеется, что они стре-

мятся перетянуть все дела к себе; и, хотя я очень мало расположен приписывать людям постоянство в их намерениях, но среди последних имеются такие, которые, будучи обусловлены положением людей, действительно обладают стабильностью, даже и тогда, когда люди не знают об этом. Парламенты, заняв место духовенства и дворянства, которые некогда решали дела, должны были попытаться постепенно устранить дворянство и духовенство. А так как духовенство оказывало более сильное сопротивление, то с ним пришлось бороться с большей энергией, между тем как дворянство, занятое войной, мало заинтересованное в праве суда, позволяло отнимать свою юрисдикцию и иногда из соображений здравого смысла, иногда же из скупости легко его лишалось. И в сущности ни уголовный, ни гражданский суд не могут работать как следует, находясь в руках частных лиц; и если бы люди были воодушевлены желанием общественного блага, то они предпочли бы видеть правосудие в руках городов и сословий, заинтересованных в управлении общественными делами, а не в руках вельмож, которые не принимают в нем никакого участия, так как в нем ничего не понимают; к тому же государственное устройство не подверглось бы изменению в результате такой перемены, ибо промежуточные слои, быть может, единственно необходимые для монархии, все-таки поддержали бы его. Монтескье слишком привержен феодальному принципу, а феодальное правительство — это верх нелепости.

Что же касается церковной юрисдикции, то каким образом она связана с монархическим устройством? Она безрассудна, когда выходит за пределы церковных дел, а если она не делает этого, то она должна опираться лишь на убеждение, не прибегая к вмешательству государя. Духовенство по природе вещей должно просто находиться на содержании у государства, подобно тому как находятся на содержании у хозяев домашние учителя, и те, кто обладает догмами и правилами, почерпнутыми из иного мира, могут лишь проповедовать, а не управлять в этом мире.

CXLVIII

В известном смысле добродетель не является принципом ни одной формы правления, хотя она была бы для всех них более или менее полезна.

Что такое хорошая форма правления? Это такая форма правления, при которой законы имеют целью обеспечение

общего благоденствия и достаточно справедливы, чтобы каждый считал выгодным для себя их соблюдение. Для этого имеются только два средства: первое — просветить людей до такой степени, чтобы они ясно видели, что их интерес заключается в повиновении законам; второе — вызвать страх у тех, кто попытался бы их нарушить. Из этих двух средств первое годится только для хорошей формы правления, а второе — для всякой, как хорошей, так и плохой. Первое еще не было нигде применено, и я знаю причину этого. Что касается того вида патристического фанатизма, который был в ходу с давних пор, то он служит лишь для возбуждения национальной ненависти, неистовства завоеваний и тревожного честолюбия. Все эти искусственные страсти имеют один конец, и, когда этот конец наступает, сооружение рушится. Они служат для того, чтобы делать народы знаменитыми, покрывать их империю славой, не делая их ни счастливыми, ни долговечными.

В общем, формы правления созданы не для добродетельных людей: они в них не нуждаются; но в конце концов вот их-то и нужно просветить, и этого достаточно. Что касается большинства людей, было бы хорошо их просветить, но достаточно заставить их бояться.

Нет такой формы правления, которая не нуждалась бы в изменении своих законов, такой формы, при которой законы были бы в достаточной мере направлены на общественное благо: почти все законы благоприятствуют тому, кто владеет, и обращены против того, кто ничего не имеет. Среди этих законов есть бесчисленное множество таких, которые включают в себя детали, не входящие в их компетенцию; много таких, которые перенесены от одной нации к другой; есть там и такие, которые очень суровы, а другие поддерживают более не существующий порядок вещей; многие продиктованы властью, преследующей свои собственные интересы. Фанатизм, своеобразие, национальная ненависть, временные бедствия, народные страсти могли породить законы, многие из которых остались, после того как все это утихло.

Бросая взгляд на все древние и современные формы правления, нельзя не заметить, что среди них нет ни одной, где зло не составляло бы контраст добру. Люди, безразличные ко всему, и те, которые считают себя философами, сделали бы из этого вывод, что все равны и можно разрешить вопрос о предпочтительности форм правления

путем подбрасывания монеты. Люди желчные сделали бы из этого вывод, что зло вошло в мир вместе с формами правления, а ленивые философы из этого заключили бы, что надо оставить все как есть и что было бы безумием изменять то, что есть. Следует ли из этого сделать какие-то другие выводы? Можно ли сказать, что до сих пор недостаточно размышляли над истинными средствами, позволяющими сделать людей счастливыми; что первые законодатели, весьма мало просвещенные для того, чтобы установить хорошую систему правления, имели, к несчастью, желание обеспечить незыблемость пока еще не завершенного их произведения; что только благодаря времени и опыту, прогрессу просвещения и свободы, правда, все же еще очень медленно, может сформироваться наилучший план правления; что самое глупое из всех мнений — это то, цель которого — сохранить древнее законодательство? Иногда встречаются взгляды возвышенные, но не приведенные в систему; можно встретить идеи смелые, но очень часто — странные; встречаются великие добродетели и много невежества — словом, налицо все признаки возникающих народов, которые позволяют себя увлечь сильному, но не продуманному впечатлению, сбивающему их с толку соблазнительной внешностью славы и кратковременной пользы.

CXLIX

В монархическом государстве почти никто не бывает хорошим гражданином, ибо в нем добиваются обычно лишь своих выгод за счет других людей. Единственное, что нужно пожелать, — это чтобы люди хорошо поняли свои интересы и прежде всего знали, что их не следует добиваться за счет других; это и есть источник всех политических зол, именно о предотвращении этого должно заботиться правительство. В монархическом государстве, как и при деспотии, все ведет к исключительности, все способствует ей; покровительство — это бог, к которому взывают. Там самое главное — приблизиться к властелину, что с необходимостью создает плохих граждан. Откуда здесь возьмутся порядочные люди?

CL

Общественное воспитание весьма благоприятствует свободе. Если бы частное воспитание когда-нибудь было введено в республике, я испытывал бы страх за ее свобо-

ду. Отцы робки, так как имеют детей; дети учатся у них лишь дерзости, потому что они всегда окружены слугами, т. е. временными рабами и наемниками. Дерзкие с ними, они бывают трусливы с людьми, стоящими выше них, — это неперменное следствие.

СЛИ

Изучайте историю: вы увидите в ней все великие деяния, как хорошие, так и дурные, при переходе от одного государственного устройства к другому. Так, даже в глубине веков Голландия явила нам великое зрелище, когда сбросила ярмо Филиппа II, то же можно сказать о Риме, Афинах и т. д. Нужно обратить внимание и на то, что, чем меньше народ цивилизован, тем более его добродетели точно так же, как и его пороки, проявляются непосредственно, активно и даже варварски. Такой народ подобен юноше, пылкому и полному сил, который еще ничего не обдумал; вступая в зрелый возраст, он делается более умеренным и менее опрометчивым. Не ничтожность наших душ, а благоразумие и размышление, дух расчета и предусмотрительность делают нас более робкими, и великие преступления удивляют нас так же, как и великие добродетели.

СЛИІ

Чтобы дать равенству прочное основание, нужно сделать таким основанием свободу. Следует устанавливать не строгое равенство, а бороться с преходящим чрезмерным неравенством, ибо нужно, чтобы каждый человек имел право пользоваться всеми своими талантами. Что надо сделать, чтобы достичь почти полного равенства, не прибегая к насилию? Следовало бы наряду с прочим не регламентировать завещания, а предписать, чтобы их не было и чтобы все наследовали равную долю имущества, обладая правом на это от рождения. — Но это значит ограничить свободу граждан. — Это мнение не мое, а природы. Когда умирают, перестают быть свободными. — Но это значит, что дети станут необузданными. — Тем хуже, если они повинуются, лишь имея в виду наследство: у отцов так много других средств добиться повиновения.

Однако я хотел бы, чтобы было разрешено делать дарственные, ибо, пока я жив, я властен дарить; однако следовало бы хорошенько определить возраст, в котором можно их делать, потому что бывают крайности молодости и старости, состояния болезни и слабости, когда здорового

смысла уже нет или еще нет, когда человек больше не свободен.. В хорошо организованной республике нечего бояться крайностей этого рода. Люди вступают в брак, имеют детей. В подобных случаях дарственные редки или их делают в случае отсутствия детей.

CLIII

Большинство республик, как древних, так и нынешних, не родились в лоне мира и не являются плодом зрелого разума, живого и глубокого чувства равенства и еще меньше того — внутреннего убеждения, что демократия представляет собою наилучшую форму правления. Люди оказывались угнетенными, их душа неистово рвалась к свободе, они сбрасывали ярмо, даже не обдумав средства для того, чтобы придать прочную форму новому государственному строю, к которому они слепо устремлялись. Законодатели, которые ведь тоже люди, не обладали никакими иными познаниями, кроме познаний своего века, и часто их терзали собственные страсти. Те, кто хотел добра, прямолинейно следовали строгим добродетелям, источник которых не в человеческой природе, а в ложной идее совершенства, невозможного для толпы; и, так как они вовсе не были подготовлены к великому делу, которое они предприняли, они создавали законы на каждый день, для каждого случая и всегда, исходя из ограниченных идей патриархальной строгости.

CLIV

Я не знаю, был ли у Рихелье характер столь возвышенный, как об этом говорили: он ничего не понимал по крайней мере во внутреннем управлении. Пылкая душа и великие внешнеполитические замыслы, соединенные с большим могуществом, всегда приносят успех и известность. Сами замыслы, которые он преследовал, были замыслами Генриха IV. Всякий раз, когда во главе нации становится человек с пылкой душой, занятый осуществлением замыслов, всегда будут удивляться его успехам. Посмотрите, чего добился Фридрих II с меньшими средствами.

CLV

Вне всякого сомнения, нужны скрупулезные исследования фактов, которые служат основой приговоров; но к чему столько правил, ограничительных, расширительных толкований, составляющих искусство самого разума, или,

точнее сказать, ставящих крючкотворство на место здравого смысла? К чему это множество законов, которые ни один человек не может знать и которые оказываются решающими, когда речь идет о судьбе и покое граждан? В результате, сами того не зная и даже считая, что они следуют свету разума, люди подвергаются риску нарушить законы, которые невозможно изучить.

Невероятно, но факт. И это положение дел вызывает негодование людей и побуждает их вернуться к природной простоте. Скажите французам, что всякого рода различия, которые касаются характера имущества и о которых идет речь в судах их страны, смешны и что следует владеть только свободным от денежных сборов имуществом, что все законы должны быть направлены на сохранение собственности на это имущество, они с трудом будут вас слушать; их головы настолько забиты ленами, сеньориями, чиншами и рентами, доходами сеньора с наследства, пошлинами с феода, что они воображают, будто им предлагают уничтожить монархию, делая имения свободными от сборов. Они забывают, что подобные изменения производились и что от этого выиграло государство. Следовательно, когда отпускают на волю крепостных, что мешает тому, чтобы освободить от сборов имущество? Уничтожили бы по крайней мере половину судебных процессов; создали бы благоприятные условия для торговли имуществом; освободили бы от лишнего бремени земледельцев, разоренных сеньориальными правами; заглушили бы злобу дворянских семей; сделали бы государство более богатым, и каждый владеющий своим имуществом без тревог умножал бы его в условиях безопасности ^{4*}.

CLVI

Желательно, чтобы судьи восприняли образ действия арбитров, в том смысле чтобы обсуждение фактов и даже закона, когда он недостаточно точен, производилось публично; чтобы каждый высказывал свое мнение и доводы в пользу этого мнения. Но я считаю смешным, когда совершают сближение мнений при помощи простого примирения. Если убеждение не является основой этого, то можно отказаться от своих прав из простого желания мира; но нельзя уступать права другого — права на истину на бесплодном и глупом основании, что нужно соглашаться с мнением большинства. Это не ведет к добру ни в республике, ни при иных формах правления.

Я нахожу большое неудобство в формуле римского права, так как считаю, что редко факты бывают настолько простыми, чтобы вынести приговор, сформулированный в общем виде и вместе с тем решающий все сразу. Если есть другие мнения, то нужно их высказать. Это подобно тому, что бывает в диспутах, когда говорят противнику: «Ответьте определенно — да или нет», и чаще всего не следует отвечать ни то ни другое, чтобы ответить точно. И так же обстоит дело с вынесением приговора, даже если исходить из предположения, что законы столь просты, как они могут и должны быть, и что существует очень четко организованная демократия. Народ в массе не может и не должен быть судьей в частных делах, как гражданских, так и уголовных: у него нет ни времени, ни терпения, ни познаний, ни справедливости, необходимых для этого. Безусловно, можно просветить народ относительно его истинных интересов; но как просветить толпу относительно того, что ее несколько не интересует?

CLVII

Добродетель женщины, что бы об этом ни говорили некоторые философы, обладающие мелким умом, состоит в уважении к самой себе и в любви к целомудрию. Несомненно, публичная невоздержанность — это верх испорченности в женщине, но никогда это не бывает национальным пороком. Даже в самом развращенном государстве всегда есть лишь весьма и весьма небольшое число женщин, отличающихся публичной невоздержанностью, если брать эти слова в их прямом смысле. Утрата добродетели всегда предшествует публичной невоздержанности, но никогда не следует за ней. Девушка, имеющая любовника, да и женщина, у которой он есть, еще далеки от того, чтобы быть погибшими созданиями, если они руководствуются только любовью и неподдельной нежностью. Испорченность женщины, строго говоря, состоит в том, что у нее нет иной причины ее слабостей, кроме любви к наслаждениям и поисков их безотносительно к личной склонности. Та, которая была увлечена потоком чувств к предмету своей любви, та, которая долго любила, прежде чем помыслить о цели любви, та, которая уступила желаниям своего возлюбленного лишь потому, что любовь овладела ее душой, прежде чем воздействовала на ее чувства, может быть виноватой, но она отнюдь не является погибшей; она нарушила законы общества, но несколько

не нарушила законы стыдливости; конечно, она очень далека от публичной невоздержанности.

Хорошие законодатели вовсе не требуют чопорных нравов, они ограничиваются установлением чистоты нравов при помощи косвенных законов, а это более легко, чем полагают. При чопорности нравов патриархальное общество является суровым, властным и тираническим, но не это — цель хорошего законодательства, ибо не это — цель природы. Так что, если меня спросят, как обеспечить чистоту нравов при помощи косвенных законов, я отвечу, что это достигается посредством создания благоприятных условий для браков и разводов, установления равного наследования между братьями и сестрами, посредством установления ненаследственных должностей и особенно при посредстве высокопросвещенных национальных институтов.

CLVIII

Как много несообразностей вытекало у римлян из гражданского суда! Во-первых, половина рода человеческого пребывала некоторым образом в рабстве. Во-вторых, существовал произвол не только при наказании за преступления, но и при его оценке. В-третьих, дети постепенно приучались уважать только отца, так как он один обладал подлинной властью. В-четвертых, женщины больше не считались спутницами своих мужей, а поэтому у природы отнималось одно из самых могущественных средств для смятения нравов людей.

Мне совсем неприятно видеть, как, опираясь на законы, а тем более на семейный самоуправный суд, выносят решение о том, что должно делаться само собою. В этом у нас должен быть лишь один наставник — воспитание. Наказывать нужно лишь за поступки, направленные против других. Если же эти поступки вредны нам самим, то нас наказывают неизбежные следствия наших ошибок.

Обвинение в прелюбодеяниях, предъявленное публично, — это безумие законодательства. Муж или жена имеют право развестись в подобном случае, потому что развод вызван самим прелюбодеянием. Но к чему же в данном случае наказания? Преступление это так трудно доказать, когда оно получает всеобщее распространение, оно так легко избегает наказания, его так легко перестают рассматривать как преступление и в конце концов это

преступление настолько создано для мрака и молчания, что лучше уж его не расследовать. Достаточно предоставить свободу развода.

СЛИХ

Есть в сущности только один-единственный закон — это естественный закон, — который управляет всем на основе небольшого числа принципов, применимых ко всем предметам, интересующим человечество. Естественное право — это право каждого человека заботиться о своей безопасности, о сохранности своего имущества и прежде всего это — самая широкая свобода, которая сама по себе исключает свободу причинять вред.

Божественное право означает для каждого человека свободу повиноваться тому, что он считает законами бога; а другие люди, будь то короли, будь то сограждане, имеют в этом отношении лишь право не допускать, чтобы за законы бога принимались заблуждения, вредные для других. Все это не что иное, как естественное право каждого человека свободно мыслить и действовать, и государство здесь должно следить лишь за тем, чтобы не причинялся вред.

Церковное право — это право людей создавать такие объединения, которые им кажутся хорошими, при условии чтобы они не причиняли вред ни чьей-либо свободе, ни чему-либо имуществу.

Право народов, политическое, гражданское право и т. д. представляют собою лишь право, которое должно помешать причинять нам зло, при условии чтобы и мы его не причиняли другим.

Что касается права на завоевание, то мне оно не известно, разве что оно ограничивается отпором незаконному агрессору и лишением его возможности нам вредить, не переходя границ.

Семейное право мне также не знакомо, если отличать его от права, которое каждый человек имеет на то, чтобы преследовать собственную выгоду, не причиняя вреда другим. Я прибавлю, что я не знаю отцовской власти, отличной от обязательств, налагаемых природной склонностью служить наставником своим детям до тех пор, пока они не смогут быть собственными наставниками.

Утонченность человеческого разума заключается в том, чтобы надежно обеспечить естественное право каждого человека так, чтобы оно не было уничтожено мнимыми пра-

вами. Подчиняясь чисто искусственному порядку вещей, который считают истинным, находят лишь способ все запутать.

CLX

Изучая нынешнее положение всех империй, мы видим, что среди них нет ни одной, государственного имущества (domain) которой хватало бы на ее расходы; что когда расходы постоянно изменяются, требуется доход, который мог бы изменяться так же, как и расходы. Можно убедиться, что имуществом государей всегда плохо управляют как в отношении расходов, так и в отношении доходов; что единственный подходящий источник дохода — это налог, соразмерный имуществу каждого гражданина, и т. д., а отсюда могли бы сделать вывод, что в государственном имуществе нет необходимости. Оно необходимо, чтобы был доход для общественных расходов, но доход и государственное имущество не являются синонимами.

ПИСЬМА

ВОЛЬТЕРУ

Мой знаменитый учитель, с глубочайшей признательностью я получил Ваше послание и с величайшим удовольствием прочел его. Я собираюсь претворить Ваши уроки в жизнь. Я посылаю ко всем чертям парижских ханжей и отправляюсь в деревню, где буду пасти своих баранов^{1*}. В этом году я удаляюсь в Люминьи — мое имение близ Розе-ан-Бри.

Моя душа опечалена всеми теми преследованиями, которым подвергаются ученые. Вы знаете, что аббат Куайе, автор книги «Жизнь Собеского», находится в изгнании, что его цензор — в Венсенне и что, наконец, запрещено даже «Послание к людям» профессора Тома^{2*}.

Всегда говорили, что дурнушки хотят, чтобы около них находились лишь слепцы. Некоторые люди также желают иметь подле себя только глупцов. Вы знаете причину этого.

Я видел Ваши последние «Беседы»^{3*}. Ваш дикарь — это мой человек. Вы — Ахилл, сражающийся за разум. Но Вы сражаетесь против богов, отсюда следует, что разуму все же придется уступить. Что он может сделать в конце концов против силы? Здесь хотят задушить всякого рода ум и талант, и ущерб, который будет нанесен нации, заметят лишь тогда, когда помочь будет невозможно. Стоило бы только задуматься над тем исполненным низости и подлости состоянием, в котором находятся португальцы, народ, лишенный искусств и промышленности, который англичане одевают от шляпы до башмаков, и увидели бы, насколько пагубно невежество для нации. Завтра утром

я уезжаю в свое поместье. У меня есть время лишь для того, чтобы заверить Вас в моем уважении и молить бога, чтобы Вы всегда пребывали под его святой защитой.

Прощайте, мой знаменитый учитель. Vale, et me semper ama.

Г.

ЕМУ ЖЕ

Я устал от того, сударь и дорогой друг, что столько написал низкой прозой без какой-либо надежды увидеть что-нибудь из этого напечатанным при моей жизни. У меня нет мужества, чтобы предпринимать длительную работу, моя память слабеет с каждым днем. Мне нужны занятия, которые я мог бы, когда захочется, бросать и снова за них браться. Я вновь почувствовал вкус к стихам, к которым Вы пристрастили меня лет двадцать пять назад. Хотят, чтобы я окончил поэму «Счастье»^{4*}. У меня далеко не такое хорошее мнение о ней, как у моих друзей. Ваши стихи вызвали у меня отвращение к моим стихам. Но Вы не хотели бы, чтобы я, как Ньютон, комментировал «Апокалипсис». Чтобы найти развлечение на старости лет, я буду писать стихи. Но прежде чем за это взяться, я посылаю Вам этот образчик. Скажите мне чистосердечно, советуете ли Вы мне продолжать. Я больше не привязан к этому произведению. Во имя дружбы вспомните, прежде чем дать мне свой отзыв, что посредственность в поэзии невыносима.

Totus tuus G.

Из Воре, 15 октября 1771 г.

Г-НУ МАРКИЗУ ДЕ ***5*

Прибыв в свое поместье, сударь, я получил новые сочинения о земледелии, которые Вы мне послали. В них содержится, несомненно, очень хорошее собрание физических наблюдений, но было бы ошибкой считать их непосредственно полезными для Франции. Прежде чем извлечь из них пользу, крестьянину надо научиться читать, а чтобы научиться читать, ему нужно быть более богатым. Нужно даже, чтобы он был в состоянии делать опыты и покупать новые орудия. Может ли он это сделать? Если бы у кре-

стьянина и были необходимые для этого средства, то не помешали ли бы ему попытаться сделать это его косность и предрассудки?

Извлекут ли выгоду из этих наблюдений сами помещики? Но все богатые помещики, которые в состоянии проводить опыты в своих имениях, живут в Париже, занимаются другими делами и уделяют лишь немного времени занятиям земледелием. Если они и живут в деревне, то недолгое время и скорее для того, чтобы опустошать кошельки своих арендаторов, чем их подбадривать. Нужно жить в Париже. Есть дети, которых нужно пристроить, и покровители, с которыми нужно поддерживать отношения. Следовательно, сама форма правления противодействует тому, чтобы богатые помещики оставались в деревне. Что касается небогатых помещиков, которые вынуждены там поселяться, у них складываются такие же обстоятельства, как и у крестьянина.

Значит, все трактаты по земледелию следует начинать с трактата о финансах и форме правления, чтобы сделать обитателя деревни более богатым. Пусть он будет заинтересован в том, чтобы быть искусным, и пусть не лишают его этой заинтересованности, тогда вы можете быть уверены, что он будет хорошо обрабатывать землю. Именно в этом случае познания естествоиспытателей могли бы стать полезными для земледельцев. Если же не начинают с того, чтобы поставить обитателей деревни в лучшие условия и заинтересовать богатых помещиков в том, чтобы жить в своих имениях, то, как я полагаю, все, что будет сказано о земледелии, бесполезно. Это можно сравнить вот с чем: кто-то сделал прекрасную машину, но, когда она была сделана, она не смогла действовать из-за отсутствия воды, которая приводила бы ее в движение.

Однако всегда хорошо, когда умы направлены на достижение общественной пользы и на то, что необходимо в первую очередь. Если говорить об этом и заниматься этим, то какому-нибудь министру может прийти в голову фантазия также об этом подумать. И почему бы и не пришла ему в голову именно эта фантазия, как и любая другая? Итак, если обратиться к истинным принципам, которые являются основой земледелия, то наблюдения, собранные по этому вопросу, найдут свое место и будут полезны для проведения опытов.

Сударь! Не останавливаясь на том, что в Вашем письме было лестного для моего самолюбия, я поздравляю Вас и Ваших соотечественников с просвещенным рвением, которое Вы проявляете по отношению к прогрессу познания и разума. Оно исходит от людей, которые посланы самим небом, чтобы придать возвышенность духу и характеру нации и заложить основу ее грядущей славы. Царь начал дело, которое Вы сейчас завершаете. Чтобы привести в движение всю массу великой нации, нужно, чтобы много великих людей следовали таким образом друг за другом. Несомненно, государь имеет более могущественные средства для того, чтобы поощрять просвещение, чем вельможа, пусть даже самый уважаемый. Но возвышенный дух в таком человеке, как Вы, восполняет недостаток средств. Вы соединяете в себе все дары судьбы. Преимущества происхождения, высокий сан и богатство Вы делите со многими другими вельможами. Но только любовь к славе может отличить Вас от них. Слава — это единственное благо, которое остается предметом ваших устремлений, это самая заслуженная награда возвышенной души, ибо она всегда является даром публичной признательности. Слава множества могущественных наций погребена под развалинами их столиц. Благодаря Вам, быть может, русский Рим должен еще будет продолжать существовать, пока время не разрушит его могущество. Если бы греки только завоевали Азию, их имя было бы теперь забыто. Лишь памятникам, воздвигнутым ими наукам и искусствам, они обязаны той данью восхищения, которую им платит нация признательность.

Мы разделяем еще то уважение, с которым величайшие гении Рима относились к благотворительности Мecenата и Августа. Именно ей мы обязаны бессмертными произведениями Горация и Вергилия. Вы идете по их стопам, поощряя в Вашем отечестве свободу мысли. Нельзя допустить, чтобы пошнпцы суеверия и теологии подрезали крылья гения. Что опасного в свободе говорить все? Даже помрачение разума часто рождает свет из лона тьмы. Только заблуждения, которые фанатизм и суеверие хотели освятить, всегда сеяли смуту и раздоры.

Мне показалось, что в письме, которым удостоило меня Ваше сиятельство, Вы несколько сомневаетесь в ус-

пехе Ваших усилий, и это сомнение, быть может, основано на трудности предоставить известную свободу писателям Вашей нации. Однако эта свобода абсолютно необходима. С цепями на ногах не бегут, а ползут.

Чтобы создать людей, выдающихся в науках и искусствах, недостаточно осыпать их щедротами, более того, даже не надо им их расточать. Иногда изобилие притупляет гений. Богач гасит любовь к славе в наслаждениях. Литературные заслуги следует вознаграждать главным образом почестями и отличиями. Тщеславие, пущенное в ход, развивает силу ума; приманка наживы опошляет его и склоняет к низости. Разве заслужил бы Аполлон славу и хвалу поэтов, если бы он был только богом и не сошел бы к Адмету^{7*}, чтобы пасти его стада и петь в хоре муз?

Почести в руках государей напоминают те талисманы, которые феи дарят в наших сказках своим фаворитам. Эти талисманы теряют свою силу, как только их начинают неправильно применять.

Чтобы еще теснее связать русских ученых с людьми науки в Европе и побудить их соревноваться друг с другом, надо награждать по примеру Людовика XIV иностранцев почестями, которыми вы жалуете ваших соотечественников.

Русский единомышленник Вольтера, если речь идет о Франции, Юма, если речь идет об Англии, будет с интересом читать их произведения и вскоре сам пожелает создавать подобные им. Так распространится просвещение, разовьется соревнование.

Ваше сиятельство видит, что живой интерес, который Вы проявляете к наукам, искусствам и вообще к прогрессу человеческого ума, нашел отзвук в моей душе и заставил меня настаивать на истинах, которые Вам известны. Но в чем я искренно желаю, чтобы Вы были убеждены, так это в почтении и глубоком уважении, с которым я имею честь быть

Вашего сиятельства,

весьма п т. д.

ЮМУ

Сударь,

Когда я воздал должное превосходству Вашего гения и Вашей просвещенности, я присоединил свой голос к

голосам моих сограждан, и я весьма польщен, что Вы соизволили его выделить. Ваше имя делает честь моей книге, и я ссылался бы на него гораздо чаще, если бы мне это позволила строгость цензора.

Вот уже десять месяцев я служу предметом ненависти и преследования ханжей, и я, к сожалению, убедился на горьком опыте, насколько эти придворные царства небесного неумолимы в своей мести. Но сколько бы зла они мне ни причинили, я за это получил хорошее возмещение, раз Вы оказываете известное уважение моему произведению и проявляете чувство дружбы к его автору.

Когда была объявлена война между двумя нациями, я имел намерение поехать в Англию, чтобы провести там несколько месяцев с некоторыми из моих друзей-англичан; теперь, когда Вы соизволили оказать мне честь Вашей дружбой, не сомневайтесь, что желание повидать там человека, которым я восхищаюсь, приведет меня туда, как только мне это позволит заключение мира.

Возражение, которое Вы мне сделали в Вашем письме, представляется мне весьма основательным, и если позволено клясться *in verba magistri*^{8*}, то я, конечно, буду следовать Вам — поэтому я готов сознаться в ошибке. Однако я полагаю, что публичное уважение к таланту или знанию должно быть обусловлено как полезностью этого таланта для общества, так и трудностью проявить его, трудностью, которую, какого бы рода она ни была, мы можем измерить лишь большим числом успехов. В самом деле, если нет врожденных идей, которые могли бы в нас породить идею уважения к такому таланту, то разве это уважение не вызвано интересом? Слово «интерес» я беру в самом широком смысле, имея в виду наслаждение и страдание, начиная от еще неуловимой их степени и вплоть до степени высочайшей. Если все нации испытывают величайшее уважение к г-ну Юму, то это потому, что его сочинения — благодетель для человечества и каждая нация заинтересована в том, чтобы уважать того, кто ее просвещает. Наслаждение и страдание, а значит, и интерес должны быть приобретателями всех наших идей, и все должно быть туда отнесено, поскольку даже скуку и любопытство охватывают эти слова — *наслаждение и страдание*. Отправляясь от этого, рассмотрите вопрос и решите, прав я или ошибаюсь; в этом я полностью полагаюсь на Вас. Что касается дружбы, то мне кажется, что причина, в силу которой мы любим нашего друга, может

быть более или менее ясной нашему уму. Соответственно тому, имеем ли мы более или менее усвоенную привычку изучать самих себя, но причина эта всегда существует; и я даю ей название *интерес*, хотя, может быть, это слово не всегда применяют в том же смысле, в каком употребляю его я.

Я выполнил Ваше поручение. Я повидал г-на аббата Прево, он перевел Ваше сочинение, и, к сожалению, два первых тома уже напечатаны. Однако мы условились, что в *приложении*, помещенном после перевода, он сошлется на те изменения, которые Вы сделали в Вашем новом издании. Мне показалось, что г-н аббат весьма расположен к тому, чтобы перевести «Историю Шотландии» г. Робертсона^{9*}, и я принял меры, чтобы ему доставили эту книгу.

Позвольте поблагодарить Вас здесь за бесценный подарок — Ваши сочинения. Мне пришлось заняться исследованием некоторых вопросов, и это отвлекло меня от изучения английского языка; я снова возвращаюсь к нему, чтобы читать Вас и просвещаться.

Вы знаете, что г-н Стюарт уехал в Мадрид. Он обещал мне на обратном пути проехать через мои владения. Дай бог, чтобы наступил мир и я смог отправиться вместе с г-ном Стюартом и под его покровительством, дабы засвидетельствовать Вам свое почтение в Лондоне! Если Вы откроете имя того, кто изъявляет согласие перевести мое сочинение, сообщите его мне, чтобы я мог это сочинение ему послать. Получите, пожалуйста, экземпляр его, который мой книгопродавец пошлет для Вас г-ну Дегондту^{10*} в Голландию. По сравнению с подарком, сделанным мне Вами, это — драхма вдовы, которую я прошу Вас принять с благосклонностью.

Остаюсь п т. д.

1 апреля 1759 г.

ЕМУ ЖЕ

Я только что получил, сударь и знаменитый друг, Ваше письмо, врученное мне г-ном Жорденом. Друг, который должен был передать г-ну Стюарту рукопись для перевода на английский язык, передумал^{11*}. Мотив, вызвавший это, — боязнь преследования. С каждым днем опасность подвергнуться преследованию возрастает, равно как и влияние священников. И хотя они являются врагами

парламентов, но последние довольно охотно готовы доставить им удовольствие, пролив кровь нескольких философов, не дожидаясь даже каких-нибудь доказательств. Поэтому я посоветовал своему другу отложить до его смерти опубликование его сочинений. Он уже принял после этого необходимые меры предосторожности и придерживается их.

Книга моего друга составляет приблизительно 750 или 800 страниц, напечатанных ин-кварто, шрифтом «Духа законов».

Наша злополучная страна находится в состоянии кризиса, о котором Вам сообщали. Ей нанесен удар^{12*}, и этот удар значительно ускорит ее падение, если некоторые события за рубежом, которые в данный момент трудно предвидеть, не замедлят его. Если положение останется таким, как сейчас, то какую роль можем мы надеяться играть в Европе?

«Вениамин без силы, а Иуда без добродетели».

Вы должны пожалеть своих друзей, которые Вам преданы. Многие присоединились бы к Вам в Эдинбурге, если бы не затруднения с продажей имущества: ничего невозможно продать, все кошельки закрыты наглухо. Никаких оборотов, ибо никто не уверен, что он не умрет от голода.

Сохраните дружеские чувства ко мне: я их заслуживаю за то почтение и глубокое уважение, которое я испытываю к Вашему таланту и Вашему характеру.

Имею честь быть и т. д.

Г-НУ АББАТУ ШОВЛЕНУ,
советнику парламента

Благодарю Вас, господин аббат, за доброту, которую Вы ко мне проявили во время моего пребывания в Париже, и за участие, которое Вы сообразовали принять в моих делах. Вам, несомненно, известно, что на меня послан донос в Сорбонну первого октября. Я не знаю, какие последствия он может повлечь и можно ли избежать того, чтобы Сорбонна предприняла шаги. Во всем этом я полагаюсь на Вас. Между тем я обращаю Ваше внимание на то, что оба мы — Вы и я — считали это дело приостановленным, по мне теперь кажется, что это вовсе не так. Меня даже уверили, что г-н дофин^{13*} настроен в мою пользу до такой степени, что не хочет к этому делу когда-

либо возвращаться. Вы можете узнать, кто в этом замешан. Сообщите мне об этом, не обнадеживая меня, чтобы я смог принять соответствующее решение. Я боюсь, чтобы, заставляя меня подписать отречение, мне не устроили ловушку и не вознамерились поставить меня в такие обстоятельства, чтобы я не смог отказаться от своей книги на том основании, что мое дело хотят передать в парламент. Злоба теологов вошла в поговорку, и я знаю, что она так же хитра, как и неумолима. Вы видите, каково мое доверие к Вам. Я не опасаясь, что оно будет обмануто.

ЕМУ ЖЕ

Сударь,

Если парламент требовал непременно третьего отречения, то есть только одно, которое было мне подсказано уважаемым человеком, и оно находится в руках г-на графа де Сен-Флорентена. Оно честно, правдиво, сообразуется с моим предисловием, и это единственное, что я могу подписать. Но я очень хотел бы, чтобы Вы могли избавить меня от этого третьего отречения. После знаков расположения, оказанных Вами мне, я надеюсь, сударь, как Вы мне обещали, что Вы пустите его в ход лишь в крайнем случае, что Вы не дадите его напечатать и что Вы оставите его в канцелярии суда, раз это зависит от Вас. Я не думал, что после двух отречений парламент захочет потребовать третье. Я посылаю Вам копию письма, которое только что получил от кардинала Пассионеи. В нем Вы увидите, что этот прелат считает достаточными два отречения, сделанные мною. Будет ли парламент менее снисходителен, чем прелат, бывший великим инквизитором на Мальте и сейчас входящий в конгрегацию пропаганды веры? Вы сами увидите по тону письма этого кардинала, что он не считает мою книгу столь опасной, как хотят представить ее здесь, ибо в конце концов этот прелат знал о преследованиях, затеянных против меня, тем не менее когда он мне написал, он не утверждал, как Вы увидите из его письма, *что моя книга допускает дурные истолкования и что она могла бы дать повод к этому*. А ведь какая книга защищена от дурных истолкований? Разве не основаны все самые чудовищные и смехотворные ереси на некоторых дурно истолкованных местах Священного писания? Какие только истолкования не давала злоба самым мудрым демонстрациям парламента?

Впрочем, мои намерения не внушают сомнений, раз я подчинился цензуре и, следовательно, закону, которому магистраты подчинили всех граждан. Это закон, который парламент может изменить, но который считается законом до тех пор, пока не будет объявлено, что он утратил силу; в противном случае это были бы сети, расставленные гражданам; а эта уважаемая корпорация не способна их расставлять. Если я впал в ошибку, соблюдая закон, то это вина самого закона, и мои намерения по крайней мере оправданны.

Имею честь быть и т. д.

ЕМУ ЖЕ

То, что Вы сообщили мне, сударь, о нынешнем состоянии Ваших парламентских дел, заставило меня задуматься о причинах, которые помешали этой корпорации, являющейся посредником между королем и его подданными, пользоваться всем доверием и всей властью, которыми она должна быть облечена. Я искал, каковы Ваши естественные враги. Я увидел, с одной стороны, министров, желающих быть самовластными, крупных вельмож, возмущенных тем, что буржуа имеют право их судить; с другой стороны — духовенство, ревниво относящееся к тому, что не все виды власти находятся у него в руках, и стремящееся подчинить себе всякую власть в государстве. Не следует, чтобы парламент льстил себя надеждой когда-нибудь взять верх над этими двумя видами врагов. Ему следует надеяться на непоследовательность и сменяемость первых. Но никогда не надо заключать перемирие с последними. Это — существующее с незапамятных времен сословие, которое под давлением обстоятельств иногда бывает вынуждено изменять правила поведения, но которое никогда не отказывается от них, потому что его интерес очень тесно с ними связан и этот интерес никогда не совпадает с интересом парламентов или граждан, которых парламенты защищают. В самой нашей истории находятся все доказательства этого, которые я мог бы Вам представить. Почти так же невозможно для парламента привлечь на свою сторону эти два вида врагов, как для Франции считать себя другом Англии. Эти государства могут заключать кратковременные перемирия, но их обоюдное положение и различие их интересов всегда будут

делать их врагами. В отношениях между ними речь идет только о том, чтобы обманывать друг друга.

Каковы прирожденные друзья парламента? Народ, который не может ему вредить и которому он может оказывать большое доверие. Кто может поддержать его против тирании вельмож и тайных интриг духовенства? Народ, чье мнение в конце концов заставляет власть быть справедливой. Но это мнение основывается только на уверенности, что парламент является защитником законов, свободы и имущества граждан. Это — титул, который, надо это признать, парламенты не всегда уважали, то отказываясь ради своих собственных интересов от интересов народа, когда министры хотели их поправить, то поддаваясь внушениям духовенства, когда оно хотело преследовать ученых. Духовенство всегда искусно превращало свой интерес в государственный, и парламент никогда не хотел сознать, что он отказывается от своих интересов ради интересов священников.

Мало есть писателей, преследуемых в последнее время, которые не преследовались бы именно за утверждение в своих сочинениях принципов, благоприятных для магистратов. Духовенство это ясно увидело. Поэтому оно не упускало случая забить тревогу, испуская обычные крики о безбожии и неверии, и вовлекать Вас в преследования лучших друзей, которых вы имеете в народе. Не обманывайте себя: знаменитый писатель имеет множество сторонников, он даже обладает известностью лишь благодаря тому, что указал людям истины, которые их задевают или им льстят. О нем судят именно по этим истинам, а не по Вашим приговорам. Что выигрываете Вы, осуждая его? Вы предоставляете оружие священникам, влияние которых Вы увеличиваете. Не превращая их в своих друзей, Вы умножаете число Ваших врагов, которыми становятся все сторонники писателя, которого Вы стремитесь преследовать.

Давным-давно доказано, что духовенство добивается земных благ, проповедуя блага небесные. Всякий талантливый человек, восстающий против таких притязаний духовенства, обязательно должен подвергнуться за это преследованиям. Будьте его защитником; установите естественное, соответствующее Вашим склонностям право на веротерпимость; это — средство для разрушения мощи Ваших соперников, духовенства: Вы увеличите число Ваших приверженцев, потому что все люди, преданные

определенным мнениям, узнают, что Вы одни помешали их преследованию. В Вас они увидят только защитников, и притом таких защитников, которых обожают ревностно отстаивающие свои мнения члены любой секты.

Пусть парламент всегда помнит, что он ничто без народа, что лишь благодаря защите народа он может уравнивать силу своих врагов. Прогресс просвещения ослабляет ее с каждым днем, и, если Вы умеете пользоваться обстоятельствами, Вы заставите ваших соперников быть лишь полезными Вам и отказаться от интриг. Сами иезуиты перестанут внушать Вам опасения. Вы обезвредите все капканы, которые эти опасные монахи расставляют почтенным и талантливым людям.

Свобода печати всегда будет полезна парламенту, если он проявит себя как прирожденный защитник ученых и граждан. Если вы отнесетесь пренебрежительно к этим положениям, то можно предсказать, что вскоре парламент станет предметом презрения вельмож — за его слабость и простых людей — за его смешные претензии, которые он не сможет отстаивать.

Ваша дружба, сударь, позволила мне высказать эти соображения; мне подсказало их ревностное отношение к учреждению, которое я считаю полезным для государства. Преследования, которым оно хотело подвергнуть меня, не мешают мне видеть его истинные интересы. Я считаю, что они тесно связаны со славой государя и благом его народа.

МОНТЕСКЬЕ.

ПО ПОВОДУ ЕГО РУКОПИСИ
«ДУХ ЗАКОНОВ»
без даты

Я перечитал три раза, мой дорогой президент, рукопись, которую Вы велели мне передать. Вы меня очень заинтересовали этим сочинением в Ла Бреде^{14*}. Я не знал его целиком. Не знаю, достаточно ли подготовлены головы французов, чтобы оценить по достоинству содержащиеся в нем красоты, во всяком случае меня эти красоты приводят в восторг. Я восхищаюсь обширностью таланта, создавшего их, и глубиной исследований, которыми Вам нужно было заняться, чтобы разобраться в ворохе варварских законов, от которых, как я всегда думал, слишком мало проку для просвещения и счастья людей. Я пред-

ставляю Вас как героя Мильтона, блуждающего посреди хаоса и победоносно возникающего из мрака. Благодаря Вам мы будем хорошо осведомлены о духе законодательства греков, римлян, вандалов и вестготов, мы познаём извилистый лабиринт, по которому человеческий ум пробирался ползком, чтобы цивилизовать некоторые несчастные народы, угнетаемые тиранами или религиозными обманщиками. Вы говорите нам: таков мир, как им управляли и как им до сих пор управляют. Вы часто наделяете его разумом и мудростью, которые в сущности принадлежат лишь Вам, и он будет весьма удивлен тем, что Вы оказываете ему знаки уважения. Вы снисходительны к предрассудкам, обращаясь с ними так, как юноша, вступающий в свет, обращается со старыми, но еще не лишенными претензий женщинами, подле которых он хочет быть лишь вежливым и казаться хорошо воспитанным. Но не слишком ли Вы им льстите? Если бы еще речь шла только о священниках... Деля барыши с этими церберами церкви, Вы заставляете их молчать относительно Вашей религии; впрочем, они Вас не поймут. Наши судейские крючки не в состоянии ни читать Вас, ни судить о Вас. Что касается аристократов и различных деспотов, то, если они с Вами и уживаются, они не должны бы особенно желать этого от Вас — вот единственный упрек, который я всегда делал Вашим принципам. Вспомните, как, оспаривая их в замке Ла Бред, я соглашался, что они применимы к современному положению, но писатель, желающий быть полезным людям, должен больше заниматься истинными принципами лучшего устройства в будущем, чем освящать порядки, которые становятся опасными, как только предрассудок подчиняет их себе, чтобы пользоваться ими, увековечив их. Использовать философию, чтобы придать вес этим порядкам, — значит заставить человеческий ум отступить и увековечить заблуждения, которым интерес и злонамеренность искусно набивают цену. Идея совершенства смешит наших современников, но она наставляет молодежь и служит потомству. Если наши потомки будут обладать здравым смыслом, я сомневаюсь, что они приспособятся к нашим принципам правления и применят к государственному строю, несомненно, лучшему, чем наш, Ваше сложное равновесие властей. Сами короли, если бы они были осведомлены относительно своих истинных интересов (и почему они об этом не догадываются?), попытались бы избавиться от этих властей и

сделать более прочным свое счастье и счастье своих подданных^{15*}.

Что представляет собою монарх в Европе, которая сейчас подвергается меньшему угнетению, чем остальные части света, в которой все источники государственных доходов растеклись по сотням тысяч каналов феодальной системы, которая беспрестанно поглощает их? Половина нации обогащается за счет нищеты другой половины; наглая дворянская клика интригует против монарха, которому она льстит, причем сам монарх не догадывается об этом. Если хорошенько поразмыслить над историей, то она постоянно учит этому. Король создает в своих целях промежуточные сословия, они вскоре становятся его господами и тиранами его народа. Как сдерживают они деспотизм? Для себя они предпочитают анархию и дорожат только своими привилегиями, будучи всегда противниками естественных прав тех, кого они угнетают.

Я Вам говорил это и повторяю, мой дорогой друг: Ваши комбинации властей лишь разъединят и усложнят индивидуальные интересы, вместо того чтобы их объединить. Вас соблазнил пример английской формы правления. Я весьма далек от того, чтобы считать, будто этот государственный строй совершенен. Я многое мог бы рассказать Вам по этому вопросу. Подождем, как говорил Локк королю Вильгельму, пока явные недостатки, причина которых коренится в порочности этого государственного строя, не заставят нас почувствовать их опасность, пока коррупция, ставшая необходимой для победы над силами инерции в палате лордов, не проникнет при поддержке министров в палату общин, не заставляя уже больше никого краснеть: тогда станет видна опасность равновесия, которое должно постоянно нарушаться, чтобы ускорять или замедлять ход столь сложной машины. В самом деле, разве не происходит в наши дни, когда возникает необходимость в повышении налогов, подкуп парламентов^{16*}, дающих королю право повышать налогообложение?

Да и состоит ли сама свобода, которой пользуется английская нация, в принципах этого государственного устройства или в двух-трех хороших законах, от нее не зависящих, которые могут перенять французы и которых, быть может, достаточно, чтобы сделать их форму правления более сносной? Мы еще далеки от того, чтобы на это претендовать. Наши священники слишком фанатичны, а наше дворянство слишком невежественно, чтобы стать

гражданами и ощутить преимущества, которые они получили бы, сделавшись ими, а потому они и не способны образовать нацию. Каждый знает, что он раб, но живет в надежде быть в свою очередь маленьким деспотом.

Король также является рабом своих любовниц, фаворитов и министров. Если он рассержен, то пинок, который получают его придворные, передается ими дальше, вплоть до последнего слуги. Вот, как мне представляется, единственное применение посредников в правлении. В стране, управляемой по прихоти главы государства, именно посредники осаждают его, пытаются еще раз его обмануть, помешать ему услышать мнение и жалобы народа по поводу злоупотреблений, которые приносят пользу одним посредникам. Можно ли считать опасным народ, который жалуется? Нет, ведь его не слушают. В этом случае единственно внушающие опасения лица во всей нации — это те, кто не позволяет народу быть услышанным. Зло достигает уже апогея, когда государь, несмотря на лесть посредников, вынужден выслушать дошедшие до него крики своего народа. Если он быстро не примет мер, падение империи близко. Он слишком поздно узнает о том, что придворные его обманули.

Вы видите, что под посредниками я подразумеваю членов той многочисленной аристократии, состоящей из дворян и священников, верхушка которой находится в Версале, аристократии, которая захватывает почти все влиятельные должности и по своей прихоти умножает их число единственно в силу привилегии происхождения, не обладая ни правом, ни талантами, ни заслугами, и которая удерживает в своей зависимости всех, вплоть до государя, причем последнего она умеет заставить назначать и сменять министров в зависимости от того, насколько они соответствуют ее интересам.

Заканчивая, мой дорогой президент, признаюсь Вам, что я никогда хорошо не понимал топких, без конца повторяющихся различий, проводимых при сопоставлении различных форм правления. Я знаю только два их вида — хорошие и плохие: хорошие — это те, которые еще предстоит создать, плохие — это те, все искусство которых заключается в том, чтобы при помощи самых разнообразных средств перемещать деньги от управляемых в кошельки управляющих. То, что древние правители захватывали при помощи войны, современные получают более надежно при помощи налоговой системы. К этому различию в

средствах и сводится различие в формах правления. Тем не менее я верю в возможность хорошей формы правления, когда при уважении свободы и имущества народа станет очевидным, что общий интерес без всяких Ваших равновесий проистекает из частного интереса. Это была бы простая машина, пружины которой, удобные для управления, не требовали бы этого огромного аппарата зубчатых колес и противовесов, которые так трудно приводить в движение неумелым людям, чаще всего берущимся за управление. Они хотят делать все и поступать с нами как с с неживой и неодушевленной материей, которую они формируют по своей прихоти, не спрашивая ни о наших желаниях, ни о наших подлинных интересах, — именно это и обнаруживает их глупость и невежество. И после этого они удивляются, что чрезмерные злоупотребления вызывают изменения формы правления; во всем они упрекают не свою оплошность, а чрезмерную быстроту, которую просвещение и общественное мнение сообщают ходу дел. Я осмеливаюсь предсказать, что мы близки к этой эпохе.

Г-НУ СОРЕНУ

Я написал, мой дорогой Сорен, как мы с Вами условились, президенту о том впечатлении, которое произвела на Вас, как и на меня, его рукопись. Я сопровождал мое суждение всеми знаками уважения, вызванными интересом и дружбой. Будьте спокойны, наши отзывы нисколько его не задели. Он любит, чтобы его друзья были с ним также откровенны, как и он в обращении с ними. Он охотно участвует в дискуссии, остроумно отвечает на возражения и редко меняет мнение. Я не думал, излагая ему наши мнения, что они изменят его собственные, но мы не могли сказать:

...Cur ego amicum
Offendam in nugis? Hae nugae seria ducent
In mala derisum semel, exceptumque sinistre ^{17*}.

Чего бы это ни стоило, нужно быть искренним с друзьями. Нельзя допустить, чтобы в тот день, когда сверкающие лучи истины рассеют заблуждения самолюбия, они смогли упрекнуть нас в том, что мы были менее строги, чем общество.

Я посылаю Вам его ответ, так как Вы не приедете ко мне в деревню. Вы убедитесь, что он таков, как я и пред-

видел. Вы увидите, что ему была нужна система, чтобы воссоединить все его идеи, и, не желая ничего потерять из всего, о чем он думал, писал или мечтал с юности в соответствии с различными склонностями, которые у него были, он должен был остановиться на том, что меньше всего противоречило бы принятым мнениям. Будучи по складу своего ума близок Монтеню, он сохранил в то же время свои предрассудки члена судейского сословия и дворянина; в этом — источник всех его заблуждений. Его прекрасный талант в юности возвысился до «Персидских писем»^{18*}. В более пожилом возрасте он, по-видимому, раскаялся в том, что дал этот предлог для зависти, нанесшей вред его честолюбивым замыслам. Он больше занимался обоснованием принятых идей, чем утверждением новых и более полезных. Его манера ослепительна. С величайшим искусством гения он создал смесь из истин и предрассудков. Многие из наших философов смогут восхищаться ею, как шедевром. Эти вопросы новы для всех умов. И чем меньше я вижу у него противников и достойных судей, тем больше я боюсь, как бы он не сбил нас с толку на долгое время.

Но чему, черт побери, он хочет нас обучать в своем «Трактате о феодах»? Разве это тот вопрос, который поможет прояснить мудрый и рассудительный ум? Какое законодательство может проистекать из этого варварского хаоса законов, которые установила сила, а уважало невежество и которые всегда будут противодействовать созданию надлежащего порядка вещей? В отсутствие разрушающих все завоевателей какое законодательство было бы у нас при всей этой пестроте институтов? Мы имели бы наследство из всех заблуждений, накопившихся с начала существования рода человеческого; они нами все еще управляли бы; сделавшись достоянием более сильного или более хитрого, это наследство было бы ужасным, и только завоевание могло бы избавить нас от него. Правда, когда голоса мудрых примешиваются к интересу властей, это — единственное средство, чтобы узаконить их собственность. Но что это за собственность, если это собственность немногих, вредная для всех, даже для тех, кто ею владеет и кого она губит при помощи гордости и тщеславия! В самом деле, если человек счастлив лишь благодаря добродетелям и просвещению, которые суть самое главное в нем, то каких добродетелей и каких талантов можно ожидать от сословия людей, которые пользуются

всем и могут претендовать на все в обществе в силу одной лишь привилегии знатного происхождения? Общество работает только на них, все доходные и почетные места достаются им, государь управляет только посредством них и взимает со своих подданных налоги только для них. Не означает ли это ниспровержение всех идей здравого смысла и справедливости? Это отвратительное сословие губит столько хороших умов и извращает среди нас все принципы общественной и частной морали.

Корпоративный дух распространяется повсюду. Под словом «корпорация» я подразумеваю власть, которую выкупают за счет большей части общества. Нами управляют только при помощи наследственных узурпаций. Под именем французов существуют лишь корпорации пидвидов, а не граждан, которые заслуживают этого названия. Сами философы хотели бы образовать корпорации. Но если они потворствуют частному интересу за счет общего интереса, я предсказываю, что их царствование не будет долгим. Свет, который они распространяют, осветит поздно или рано мрак, которым они окутали предрассудки...

Г-НУ ЛЕФЕВРУ-ЛАРОШУ ^{19*}
О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОЕ АНГЛИИ

Воре, 8 сентября 1768 г.

Вы очень восхищаетесь, мой друг, английской формой правления; я разделяю это восхищение с Вами. Я говорил о ней много хорошего и не перестану о ней говорить, пока она не преобразуется в лучшую. Но не судите о ней по тому, что говорит Монтескьё. Она была бы все еще далека от совершенства, если бы соответствовала тому образцу, который приукрашивает его воображение. Пожелав поближе познакомиться с действием этой машины, я нашел ее сложной, обладающей весьма запутанным устройством. Могла ли она быть лучшей в эпоху ее создания? Сомневаюсь в этом. Если бы обстоятельства и не вынуждали составлять ее из элементов, которые оказывались под рукой, разве имелись все необходимые знания для того, чтобы использовать другие? Боялись полностью разрушить древнее сооружение, строили из обломков и подпирали их другими обломками. Из этих-то разрозненных и плохо подогнанных обломков сложился английский государственный строй. Если невозможность создать что-либо лучшее и сила сопротивления, противостоявшие великим

интересам, заставили его признать, то это был все-таки великий пример совершенствования формы правления, данный миру. Исключительно благодаря своему положению, придающему особый характер ее жителям, Великобритания извлекла из своего устройства большие преимущества. Они были бы громадны, если бы ее государственное устройство, покоящееся частично на порочных основаниях, тем не менее совершенствовалось благодаря достойному представительству, а также более соразмерному разделению власти и тем самым помешало бы развиваться тлетворным принципам, которые в нем господствуют сейчас. Суметь принудить короля признавать некоторые права своего народа, уважать его свободу и не увеличивать по своему произволу налоги — это был в свое время значительный шаг к счастью нации. Но не все было сделано. Связав руки своему деспоту и посвятив себя великому принципу деятельности, англичане остановились на полпути. Хотя они и вообразили, что имеют лучшую форму правления, чем их соседи, что было не трудно, они полагали, будто они должны лишь не вмешиваться в то, как она функционирует.

Много раз предпринимались попытки восстановить королевскую прерогативу, ставившую под угрозу их государственный строй. Вместо того чтобы подумать о средствах улучшения этого строя, они лишь меняли королей и министров; это не происходило без резких конвульсий и без того, чтобы судьба общества не подвергалась опасности. Их промышленность и торговля, источники огромных богатств в стране, поддерживали их влияние за ее пределами, но они лишь увеличили то чрезмерное неравенство имуществ, которое развращает все власти и превращается для всей нации в банк, в котором вычисляются все пороки и все добродетели. Министр там уверен, что он реализует свои проекты, как только он узнает расценки всяких видов честности. Английский государственный строй преуспел в том, чтобы максимально развить активность этого народа. Он не предусмотрел, однако, средств, которые поставили бы под контроль последствия этого и помешали бы им причинять вред. Преувеличивая свои силы, эта форма правления простирает все шире свое могущество, но рано или поздно это могущество ослабнет. Возможно, это время не за горами.

Если бы Англия имела хороший государственный строй, такой, который был бы ей дан усовершенствованным

человеческим разумом, эта была бы система, лишенная какой бы то ни было несогласованности, основанная на природе человека, учитывающая все общественные отношения, а не построенная на призраках общественного могущества и процветания, делающих огромное количество лиц непричастными к счастью, которому они завидуют, видя его вокруг себя.

Однако до сих пор английская нация тщеславно считала себя исключительно счастливой. В самом деле, она счастливее, чем все ее соседи, несмотря на беспокойство или моду, вынуждающую англичан путешествовать и влачить за собою свою скуку во все страны Европы. Большое неравенство богатств порождает там множество бездельников, которые, устав от наслаждений или увлекаемые примером, отправляются в другие места на поиски новых желаний и новых ощущений. Но те, кто остается у своих очагов, занятые промышленностью и торговлей, пожинают плоды свободы, обладают простыми нравами и вкусами, приближающими их к природе и частично предохраняющими их от испорченности тех, кто управляет.

Быть более счастливой Англии мешает то, что ее писатели слишком расхваливают ее государственное устройство, которое наши философы со своей стороны упорно считают совершенным; презрительный взгляд, брошенный на рабство и суеверие других народов, заставляет Англию ценить этот государственный строй еще больше. Она думает, что обязана ему всем своим процветанием, которое, однако, представляет собою не что иное, как искусство ловкого негоцианта заставить служить своей удаче глупость и беспечность своих соседей. Но подождем, когда они проснутся, когда их тираны опустятся до такой степени, что ими станут пренебрегать. Тогда государства заживут новой жизнью. Настало время, чтобы у них пробудились мечты о свободе.

Формы правления крупных государств всегда скрытно тяготеют к деспотизму, подобно тому как человек всегда естественно стремится к тому, чтобы обеспечить свои личные интересы. Просвещение нередко появляется там слишком поздно, чтобы выяснить причины, ускоряющие этот процесс. Почти всегда пороками, которые разрушают государственный строй, занимаются лишь тогда, когда он находится в состоянии недуга, и часто случается, что незнание лекарств или недостаток опыта ускоряют его гибель.

Однако у наций Европы есть еще энергия; среди некоторых из них распространено просвещение, и их правители не столь искусны, чтобы нельзя было извлечь пользу из их ошибок для того, чтобы уничтожить их власть и передать ее народу. Вельможи хотят управлять, но они невежественны. Духовенство дискредитирует себя своими богатствами и дурными нравами. У судейского сословия имеются лишь смехотворные претензии. Как только народ почувствует свою силу и свои возможности, он развеет все эти призраки тирании. Тогда английский государственный строй будет полезен миру; даже характерные для него злоупотребления, которые выявились в ходе долгого опыта, будут содействовать тому, чтобы их избегали. Естественный прогресс познания приведет к большей согласованности, к большей простоте в планах свободной ассоциации. Органы власти будут действовать более четко, станут менее громоздкими и более приспособленными к функционированию политической машины.

Очень плохо, когда одна из властей слишком много энергии тратит на то, чтобы приостанавливать дело, которое было бы полезно, и применяет опасные средства для того, чтобы его провалить или завести в тупик. Очень плохо, когда нация, имеющая право решать голосованием вопрос о налогах, бывает вынуждена крайними обстоятельствами или развращенными представителями вопреки своей воле и своим собственным интересам давать согласие на введение налогов. Очень плохо, когда палата наследственных пэров, поставленная между монархом и его подданными, стремясь увековечить свои привилегии, находит поддержку в прерогативах королевской власти, злоупотребления которой она умножает, принимая в них участие всегда в ущерб народу. Очень плохо, когда духовенство, верховным главой которого является король, оказывается частью законодательной власти и не имеет обязательств перед нацией, которую оно еще имеет право учить. Наконец, очень плохо, когда в политической организации только у оппозиции хватает энергии отстаивать общественный интерес, причем она часто страшится опасности тогда, когда уже нет больше времени ее предотвратить.

Вот каков этот шедевр, который возник в ходе веков и за который англичане пролили так много крови. Разве усовершенствованный разум не сослужил бы нам лучшую службу, чем случайные обстоятельства — нашим со-

седам? Что за великие преимущества находят в этой постоянной борьбе властей, которая утомляет народ и обеспечивает лишь ненадежное перемирие, гарантируемое соперничеством партий, часто опасным, если не прибегать к развращающим средствам, применяемым министрами, чтобы сделать эти партии беспильными?

Что за странная форма правления, при которой, даже когда хотят сделать добро, коррупция оказывается законным и необходимым средством!

Пока обломки феодализма будут сжимать пружины этой огромной машины, свобода всегда будет в Англии сопряженной с беспокойствами и непрочной. Посмотрите на духовенство: его представители в законодательных учреждениях действуют заодно лишь благодаря своим интересам и желанию занять места, распределяемые королем. А вельможи, у которых все надежды на исполнительную власть и которым нечего ждать от народа, будут ли они соразмерять свои интересы с интересами народа? Факты этого не подтверждают.

Также и народ, часто ли он жалуется на ущерб, наносимый его свободе, являющейся лишь пожалованием, основанным на хартиях, а не общепризнанным правом, которым обладает человек по своей природе? Законы обеспечивают его собственность. Но не нарушается ли постоянно его право собственности огромными налогами, устанавливаемыми с такой легкостью весьма долгими парламентами?

Территория всей Британской империи составляет только половину владений Франции, и беспокойство, терзающее англичан, заставляет их добиваться владений на всем земном шаре. Эти владения необъятны в Азии и Америке; напрашивается сравнение этой империи с воробьем, который хочет подняться в воздух на крыльях орла.

Пусть соседи Англии создадут лучшие формы правления, чем у нее, и она окажется вынужденной улучшить свой государственный строй; это может быть труднее, чем заново создать его, так как построить простое и удобное здание дешевле, чем восстановить пышное готическое сооружение.

В той форме правления, которая лишена принципов, можно всего ожидать от прогресса просвещения и избытка зла. Добро лучше видно, производит большее впечатление и быстрее делается. Остывшие деспоты там совсем не подготовлены к сопротивлению.

Мы близки к этой эпохе. Если она наступит, Англия будет тем, чем она должна быть,— государством, вынужденным решать свои дела, не вмешиваясь чрезмерно в дела других и не нарушая их покой. Она будет более прочно основывать свою торговлю на своей промышленности, чем на своих договорах и тщеславных претензиях на владычество над морями.

Ее государственное устройство, такое, каково оно есть, действительно благоприятно для ее промышленности и, конечно, выступает как великий принцип ее деятельности. Но может ли торговля Англии оживлять этот остров и не быть в то же время источником несправедливостей, долгих распрей с державами континента, захватов владений в четырех частях света, мошеннических договоров, подкрепляемых угрозой и нередко нарушаемых при помощи силы? Не разжигает ли чрезмерная жадность к золоту, которую порождает эта большая торговля, очаг коррупции, поддерживаемый теми, кто правит, чтобы погубить нравы, извратить патриотизм и, быть может, задушить со временем свободу под тяжестью государственного долга? Если бы соседние нации, лучше знающие свои интересы, вздумали привести в действие свою реальную мощь, то чем стала бы напускная мощь Англии, которую ее политическая система заставляет так преувеличивать? Тогда стало бы видно, какие преимущества она может извлечь из того, что ее империя столь плохо соразмерна средствам, необходимым, чтобы ее поддерживать и в особенности чтобы обеспечивать в ней внутренний мир, без которого государственный строй плох и становится чуждым счастьем граждан. Духовная жизнь империй подобна физической жизни индивидов. Не по тонизирующей силе лекарств, которые ее поддерживают, следует судить о ее прочности, а по здоровому духу, способствующему естественному функционированию ее органов, но не изменяющему ее организации.

Что это за система законодательства, которую торговые интересы без конца заставляют испытывать колебания и которая для того, чтобы ее поддерживали, нуждается в оппозиционной партии, каждый день заставляющей правительство изменять мероприятия и модифицировать свои принципы? Чего ждут от этой постоянной борьбы с отдаленными колониями, всегда готовыми отделить свои интересы от интересов метрополии, с которыми считаются лишь благодаря возвышению сил, обременен-

тельных для нации и опасных для ее свободы? Это состояние насилия могло бы продолжаться лишь постольку, поскольку глупость и невежество окружающих наций не стали бы его нарушать. К тому же эта система развратила бы общественный ум, она связала бы уважение только с богатством и, чтобы сделать продажной честность, сделала бы правительственные места наградой за интриги, низость и за все пороки. Нация была бы продана своим представителям, которые в свою очередь содрали бы с нее шкуру, чтобы оплачивать свои избирательные голоса и управлять ею по своему произволу.

Об этом я Вам уже говорил; когда Англия избрала себе государственный строй, это было лучшее, что она могла сделать, учитывая ее просвещение и обстоятельства, в которых она находилась. Вместо слаженной системы этот строй является не чем иным, как результатом волнующих Англию страстей и раскалывающих ее интересов, которые заставляет господствовать сила партий. Следовательно, не в этом строе нужно искать великий принцип действия, обеспечивающий Англии некоторые внутренние преимущества и заставляющий восхищаться ее чрезмерным влиянием во всех частях света. Англия была чаще обязана этим летаргическому сну своих соседей, чем разумной политике и последовательному плану расширения.

Заглянем в историю Англии: с тех пор как она получила государственный строй, можно видеть народ,двигающийся вперед наудачу, вверившийся законам, которые он не осмеливается усовершенствовать; нацию, постоянно занятую трудом, которая мало что предвидит, движется без остановки, в своих проектах предусматривает лишь торговые барыши и воюет только для того, чтобы притеснять свои колонии или нарушать покой своих соседей. Если это и есть наибольшее достоинство формы правления, которое законодатель должен искать в государственном устройстве, то нельзя отрицать, что англичане нашли его в своем. Философу, другу рода человеческого, было бы труднее им удовлетвориться. Он пожелал бы такого государственного устройства, при котором, пользуясь всей полнотой своей свободы, личной безопасности и безопасности своего имущества, граждане были бы обязаны уважать свободу и безопасность не только своих сограждан, но и всех других народов благодаря тому, что они, к счастью, не могли бы на них

напасть, ибо наносить ущерб естественным правам других людей — это значит без основания подвергать опасности свои права. Умы находятся на пути к этой истине — подождем, когда глупость или непоследовательность тех, кто правит, поставит народы перед необходимостью воспользоваться ею. Как бы ни была велика власть, час ее падения близок, если она продолжает действовать беспорядочно и без чувства меры среди народа, разум которого просвещается и становится все более обширным с каждым днем.

Я много хвалил англичан в своих сочинениях, я не перестану хвалить их до тех пор, пока наши формы правления суть хуже, чем их. Мы обязаны англичанам несколькими хорошими сочинениями, являющимися плодом их свободы печати. Компенсировали ли они этим человечеству часть того зла, которое они ему причинили? Воспользуемся их идеями, чтобы оценить их лучше, чем они сами; но не станем переносить с их острова на наш континент государственный строй, элементы которого имели бы для нас гораздо более неприятные последствия, чем для них, учитывая изменения, происшедшие с тех пор во всех государствах Европы; эти изменения, приводя к новым отношениям, заставляют исчезнуть старые. Чего стоили бы познания, приобретенные в течение столетия, если бы опыт и наблюдение не научили нас ничему, кроме усовершенствования в наших нынешних формах правления того, на что случайные обстоятельства заставили наткнуться англичан?

Я начинаю замечать, что мое письмо очень длинно. Не буду его перечитывать. Вы меня любите при всех моих недостатках: хотя Вы и теолог, Вы терпимы... Обнимаю Вас.

ЕМУ ЖЕ О ВОСПИТАНИИ НАРОДА

Воре, 15 августа 1769 г.

Я жду Вас в Воре; Ваши советы по поводу издания «О человеке» мне будут полезны. Я хочу закончить эту работу и оставить первую половину ее такой, какой я ее создал, чтобы ответить критикам «Об уме». Я знаю, что публика воздала мне должное и что она вообще довольно одобрительно относится к моим принципам. Но хо-

рошо бы вернуться к написанному и добавить приложение о религиозных суевериях более ясное, чем я сделал в моем первом сочинении. Аллегории бесполезны. Просвещение распространяется с каждым днем. Нужно ясно говорить людям истину, их и так уж обманывают довольно долго. Я не предпринимаю никаких мер предосторожности, кроме того, что изменяю свой стиль и скрываю свое имя.

Зачем, если борешься с заблуждениями, подвергаться риску быть избитым мошенниками, которые их распространяют? Жан-Жак не знал, что говорил, когда утверждал, что порядочный человек должен отвечать за свое произведение. Порядочный человек не должен писать ничего такого, что заставляло бы его краснеть. Но что за необходимость подвергать опасности свой покой и свое счастье ради глупой славы слыть автором книги, в которой рассматривается лишь общественное благо? Не заключается ли общественное благо, которое может делать частное лицо при наших нынешних формах правления, в том, чтобы разрушать пагубные предрассудки и раскрывать борющиеся с ними истины? Какое значение имеет имя смелого писателя, который берется за столь трудную задачу? Разве благодетель себе подобных не может выступать инкогнито? И следует ли подвергать себя бесполезному риску стать жертвой зависти современников?

Вы меня спрашиваете, хорошо ли давать образование народу. А почему образование могло бы принести вред? Если некоторые люди заинтересованы в том, чтобы обманывать, никто не заинтересован в том, чтобы быть обманутым. Значит, нужно предоставить всем наибольшую свободу обсуждать «за» и «против». Это единственно верное средство помешать обману и попыткам обманывать. Эти общие положения ясны. Опасны ли они на практике?

Прежде всего обратите внимание на то, что довольно бесполезно противиться прогрессу просвещения: он неизбежен. Чтобы ограничить его определенными рамками, деспотический гений Ришелье мог себе представить только академии, где умы, так сказать связанные, обладали бы лишь свободой воспарять тогда, когда это удобно покровителю, который их содержит. К счастью, наши лучшие философы не дали поймать себя в эту ловушку. Некоторые из них проникли в состав академий, но благодаря осмотрительному поведению они добились того,

чтобы терпели смелость их идей. Если академии не распространяли человеческие знания, то они по крайней мере не повредили им, как университеты.

Заметьте, что древние народы, хотя и не имели сословия учителей, никогда не считали, что невежество является благом; пусть Цезарь и Цицерон осмеливались в римском сенате говорить о щекотливых истинах, но в нашем столь своеобразном обществе их сочли бы дерзкими и в самой Англии подвергли бы публичному порицанию.

Заметьте еще, что у тех народов, у которых поддерживалось невежество, было больше всего фанатизма, всевозможных преступлений и сопротивления хорошим законам, когда деспотам или их министрам приходила в голову фантазия их вводить. Невежество — это самый незаконный из тиранов; нужны столетия, чтобы от него избавиться, в то время как для просвещенного народа достаточно небольшого периода революции, чтобы вернуть себе все свои права на свободу. Не этого добиваются правительства. Они благоприятствуют просвещению до определенного предела, после чего они хотели бы его задержать. Но это совсем не в их власти. Его можно задержать лишь при помощи множества притеснений, озлобляющих умы, вызывающих ропот, придающих язвительность тайным сочинениям и делающих их благодаря этому более опасными.

Как действовала наша нынешняя полиция? Мелочными предписаниями, бесполезными преследованиями, которые способствовали распространению и росту известности запрещенных книг. Своими запретами и порицаниями она создала лишь исключительные привилегии для глупости.

Таким образом, оказывается, что только должностные лица, прелаты, кюре и священники считают себя заинтересованными в невежестве народа, для того чтобы лучше его обманывать и при помощи этого спокойнее им управлять. Я прекрасно понимаю, что они надеются выиграть, ступляя народ, чтобы его подчинить; но я не вижу, почему невежественный раб будет полезнее для счастья своего господина или униженный народ будет больше способствовать росту величия своего государя.

Говорят: образованный народ сутяжлив. Действительно, крестьянин, умеющий читать, — сутяга. Но если бы все умели читать так же хорошо, как он, то разве од-

ни посягали на права других посредством дорогостоящих тяжб, исход которых всегда сомнителен?

Он — непокорный. Что за необходимость в том, чтобы он позволял себя столь легко угнетать мошенникам всякого рода? Припомним ответ моего егеря, когда я упрекнул его в том, что он заставляет мучиться кроликов, которых он принес в своей сумке. «Сударь, — сказал он, — они скверные, они не дают себя убить».

Он — маловер. Охотно верю. Почему священник, который дает ему в проповедях столько наставлений, так мало убеждает его своим примером? Должен ли народ обладать большими достоинствами, чем его наставники? Можно ли вменять ему в вину, что он рассуждает так же плохо, как и те, кто своим поведением опровергает истину религии, провозглашаемую ими в своих речах? Здравый смысл народа говорит ему достаточно внятно, что убеждает хорошо тот, кто убежден сам. И без излишних обсуждений он полагает, что истинное убеждение заключается не столько в красноречии слов, сколько в красноречии дел. Разве нет основания остерегаться трусов, расхваливающих отвагу?

Он — дерзок. Почему стараются унижать, презирать и угнетать его? Почему хотят присвоить себе власть быть безнаказанно несправедливыми с ним? Мне нравится благородный ответ одного знатного англичанина, которому с запальчивостью возражал крестьянин. «Как! — сказал ему один француз. — Вы сносите дерзость ваших крестьян!» — «Я не только ее сношу, — ответил он, — но я ее ценю: это признак того, что они не нуждаются во мне и сознают свое равенство со всеми другими людьми».

Ничего нельзя ждать от невежественного народа, который не сознает своего достоинства и не умеет пользоваться своим разумом. Кто более счастлив — султан, повелевающий отупевшими рабами, или король Англии, заставляющий подчиняться себе свободных людей?

С большим ли удовольствием отдыхает глаз путешественника на пустынных равнинах Азии, чем на гористых местностях Швейцарии? Горстка обученных и свободных греков заставляла трепетать огромные армии великого царя. Лишь благодаря уничтожению рабства народы восстановили свою силу и ощутили новую жизнь. Более просвещенная храбрость удвоила их энергию и умножила источники их счастья.

Невежественный человек — это раб, он чахнет и тер-

зается угрызениями совести, связанный по рукам и ногам всеми оковами суеверия. Не все ли равно для человека, у которого есть родина, пожертвовать долгой или короткой жизнью, если она прошла среди наслаждений, которые должно было ему доставить свободное развитие его способностей?

Значит, совершенство политики, равно как и разума, состоит в том, чтобы сообщить людям, что они свободны. Быть может, со злом соседствует добро. Нужно их взвесить. Я сказал *быть может*, так как убежден, что это — общее место, а общие места почти всегда ошибочны. Ничто так хорошо не устраняет зло, как добро, и хороший закон не может породить затруднений, если только он не единственный, иначе говоря, если только он не сопровождается всеми законами, в основе которых лежит истинный принцип или его естественные следствия. Видели ли когда-нибудь народ, восставший против разумных законов?

Разве плохо, что те, кто хочет его угнетать, знают, что народ осведомлен о средствах, которые дают законы против угнетения? Служители религии, которые не считывали бы на глупое легкоеверие, сделали бы свои поучения не такими нелепыми и более осторожными. Всякий человек, который желает быть только справедливым, не будет опасаться иметь в качестве подчиненных образованных людей. Словом, когда некого дурачить, когда нет страстей и интересов, которые нужно скрывать, и когда не ставится цель навязать их из высокомерия или по капризу, тогда не боятся просвещения и здравого смысла народа.

Вы видите, насколько важно для счастья людей основывать его на природе и распространять просвещение, которое заставляет его лучше познать это счастье. Его проникновение в мир не может быть опасно ввиду медлительности, с которой оно распространяется. Вы видели в чем причины этого, читая последнюю часть моего сочинения, которая, как я полагаю, лучшая и наиболее интересная. Я не боялся говорить обо всем; мне нужно было меньше соблюдать предосторожности, чем в книге «Об уме». Моя мысль более свободна. Вы это заметили по стилю, я меньше отделял детали и переходы. Хотя правительство мало просвещено, французы учатся, и они больше не дети. Им начинает нравиться истина без прикрас.

Можете не сомневаться, что я послал бы Вам экземпляр моего сочинения в тот же день, как оно вышло, если бы знал, где Вас застать; но одни говорили, что Вы в Мангейме, другие — что в Берне, а я Вас ждал в Делисе, чтобы послать Вам эту проклятую книгу, навлекшую на меня жестокие преследования^{20*}. Я нахожусь в одном из своих имений в тридцати лье от Парижа. Вы знаете, что книга изъята, что в настоящее время я не могу послать Вам экземпляр ее, так как против меня настроены очень резко и следят за каждым моим действием. Я произвел отречения, которых добивались мои противники, но это нисколько не отвратило грозу, грохочущую сейчас сильнее, чем когда-либо. Я осужден в Сорбонне, может быть, я буду осужден на собрании духовенства. Я не очень-то уверен в своей личной безопасности и в том, что мне не придется покинуть Францию. Итак, читайте меня. Вспомните, читая меня, слова Горация: *Res est sacra, miser*^{21*}. Я буду надеяться, что моя книга покажется Вам заслуживающей уважения. Но какое сочинение может удостоиться того, чтобы снискать Ваше расположение? Высота, которая отделяет Вас от всех других писателей, не должна позволить Вам заметить какую-либо разницу между ними. Как только я смогу, я пошлю Вам свое сочинение как дань уважения, которую каждый автор должен отдавать своему учителю, советуя Вам, однако, перечитать лучше наименьшую из Ваших брошюр, чем мою *in-quarto*.

ПИСЬМО ПО ПОВОДУ КНИГИ «ОБ УМЕ»^{22*}

Вы мне скажете, сударь и дорогой друг, что я очень долго не возвращаю «Об уме». Я долго берег прекрасную книгу, которую Вы были добры дать мне, не указывая срока возвращения ее Вам. Поэтому я ее прочитал и перечитал очень внимательно; и поймите же, что если это доставило огромное удовольствие моему уму, то не преминуло ужасно утомить такие плохие глаза, как мои. Я благодарю Вас за эту любезность, как за настоящее благодеяние. Книга на меня произвела самое приятное впечатление. Рассудительность, талант, логика, эрудиция, красноречие — серьезное и веселое — сверкают там, изобилуют, торжествуют. Но двух или трех неопределенных

слов вроде этих недостаточно, чтобы воздать хвалу произведению, столь возвышенному, обширному и глубокому. Похвала должна быть такого же объема, как и книга, а я располагаю лишь пространством письма. Словом, я прочитал эту книгу дважды и тотчас перечитал бы ее трижды или четырежды, если бы мой окулист не запретил мне этого. Я слышал, что некоторые люди упрекают ее за частое повторение уподоблений и сравнений. Пусть уберут из нее одно-единственное, но я попросил бы убрать такое, которое не было бы не только правильным, но и удачным и которое не свидетельствовало бы о прекрасном и живом воображении, выдающемся, насколько мне известно, и столь же близком мне, как и Гомер и Бержерак, мои два героя. Чтобы описать произведение полностью, его текст и примечания, одним росчерком пера, можно изобразить текст как большое блюдо изысканных кушаний, а примечания — как гирлянды увенчивающих его цветов. Автор подвергся преследованиям, и это не следует оставлять без внимания. Лучше ли это, чем оставаться безнаказанным на поприще остроумия? Впрочем, исследовать истины и открывать их, не значило ли это во все времена искать и находить врагов? Слишком много почтенных людей, заинтересованных в обмане, чтобы от них ускользнуть. Ложные граждане, ложные друзья, ложные мудрецы и, хуже их всех, ложные богомольцы-святоши — четыре вида сущих лгунов, которые, как только дело касается их, стали бы отрицать существование четырех стихий, которыми они пользуются. Таким образом, когда хотят приблизиться к цели или исходить из нее — я хочу сказать, из истины, — нужно пройти через эти передраги. Мне говорили об отречении; я испытываю только уважение к тому, кто сделал его: честь и слава преследуемому тиранией такого рода, плевать на преследователей! Самый честный, самый учтивый, самый храбрый и самый искренний из последних галльских рыцарей, Франциск I, в Мадриде под сильнейшим нажимом подписал все, что от него добивались. Если те, кто его заставил это сделать, подумали в глубине души: *vae victis*, то тот, кто подписал отречение, имеет право подумать: *vae victori*^{23*} — я был самым мужественным; выпутаемся из неприятного положения, а время покажет, кто прав и кто виноват. Ответьте мне, разве после того, как бедный Галилей сказал преподобным отцам доминиканцам: «Я солгал», святая инквизиция стала более

славной, а он — менее выдающимся? Не остался ли свидетель, дающий ежедневно щелчок по носу этим прекрасным судьям, — солнце? Я хочу сказать только одно слово, чтобы побудить нашего любимого философа считать себя в полной безопасности, как, я думаю, он уже себя считает. Отречение, гораздо более резкое и гораздо более формальное, чем это, так как оно было произведено устно и в присутствии всех тех, кому оно было адресовано, — вот один из интересных случаев из жизни умнейшего, любимейшего, пользовавшегося большой известностью гения прошлого века, архиепископа Камбрейского. Я знал людей, которые, будучи возмущены этой жестокостью, не дали бы и трех су за гравюру Боссюэ, за которую любители редкостей платят четыре лудора. Результат: гроза пронеслась, произведение остается и останется навсегда, прославляя и оправдывая своего знаменитого автора, к которому с участием относятся все приличные люди, совсем по-иному относящиеся к тому унылому моралисту из Женевы ^{24*}, который только что написал нашему Д'Аламберу и высказал столько оскорбительного в адрес правительства, королевства и поименно в адрес наших бедных комедиантов, которые, по его мнению, помимо того что они отлучены от нашей святой церкви, должны быть отлучены и от женеvской церкви...

ВОЛЬТЕР — ГЕЛЬВЕЦИЮ

Vos vers semblent écrits par la main d'Apollon;
Vous n'en aurez pour fruit que ma reconnaissance.
Votre livre est dicté par la saine raison;
Partez vite, et quittez la France ^{25*}.

Тем не менее, сударь, я хотел бы сделать Вам несколько упреков, но самый чувствительный упрек, который Вам, несомненно, уже сделали, — это упрек в том, что Вы поместили дружбу среди дурных страстей. Она не создана для столь дурной компании. Я огорчен этим больше, чем какой-нибудь другой Вашей ошибкой: дружба, которая сопровождала меня до подножия Альп, составляет все мое счастье, и я страстно желаю, чтобы она составляла и Ваше счастье. Признаюсь Вам, что такая книга, как Ваша, вызывает к ней отвращение. Я остановил сейчас свой выбор на том, чтобы быть сеньором общины,

земледельцем, каменщиком и садовником; это не создает врагов. Эпические поэмы, трагедии и философские книги делают очень несчастным. Обнимаю Вас, люблю Вас по-прежнему и прошу засвидетельствовать мое почтение достойной супруге любезного философа.

Ферней, 17 декабря.

ВОЛЬТЕР — ГЕЛЬВЕЦИЮ

Я дважды прочитал Ваше письмо, мой дорогой философ, с большим волнением; такова уж моя участь — перечитывать то, что Вы пишете. Пожалуйста, сообщите мне имя книгоиздателя, напечатавшего Ваше сочинение по-английски, и как оно озаглавлено, ибо слово *esprit*, которое у нас двусмысленно и может означать «душа», «мыслительная способность» (*l'ame, l'entendement*), не имеет этого неопределенного значения в английском языке. *Wit* означает *esprit* в том смысле, в каком мы употребляем слова «быть остроумным», а *understanding* — *esprit* в том смысле, как Вы его понимаете.

Конечно, Ваша книга не создала Вам врагов в Англии: в этой стране нет ни фанатиков, ни лицемеров; у англичан есть только философы, просвещающие нас, и моряки, избивающие нас. Если мы не имеем во Франции моряков, то мы начинаем обзаводиться философами. Число их возрастает по мере возрастания преследований. Они должны быть мудрыми и прежде всего объединять свои усилия, тогда они одержат победу; глупцы будут бояться их презрения, умные люди станут их учениками, просвещение распространится во Франции так же, как и в Англии, Пруссии, Голландии, Швейцарии и самой Италии; да, в Италии — Вас наставляло бы там множество философов, скрытно подвизающихся в стране суеверия. Мы не заботимся о том, чтобы наши земледельцы и рабочие были просвещены, но мы хотим, чтобы были просвещенными светские люди, и они будут такими; это величайшее благо, которое мы смогли бы сделать для общества, это единственное средство смягчить нравы, которые предрассудок всегда делает жестокими.

Меня отнюдь не утешает, что Вы издали свою книгу под Вашим именем, но нужно исходить из того, что есть.

Учтите, что знаменитая дама^{26*} прочитала все так, как это было напечатано, что она не читала «Раскаяние

великого Фенелона». Кроме того, будьте уверены, что это произвело очень хороший эффект; не сомневайтесь, что я весьма хорошо осведомлен о том, что произошло.

Я не встречал у Палиссо какой-либо критики предложений, о которых Вы мне говорите. Должно быть, эта недобросовестная критика была в каких-то газетах или в приложениях к газетам, которые до меня еще не дошли.

Вы можете мне писать, мой дорогой философ, очень смело. Король должен знать, что философы любят его особу и его державу, что они никогда не будут замысливать крамолу против него, что им дорог внук Генриха IV и что дамы^{27*} никогда не слышали отвратительных речей в наших прихожих. Все мы отдали бы половину своего состояния, чтобы снабдить короля флотом против Англии; я не знаю, сделали ли бы столько же его опекуны. Что касается меня, то я распахиваю заброшенные земли, осушаю болота, строю церковь, помогаю, как и Вы, бедным, и я смело утверждаю в письмах, что речь метра Жоли де Флери — очень скверная речь. Я отношусь ко всему остальному очень весело, и мне удалось поставить своего противника в смешное положение.

Я нашел очень красивые стихи в поэме, которую Вы мне прислали, страстно надеюсь получить все произведение; адресуйте его г-ну Ле Норману или какому-нибудь другому доверенному лицу. Живите, размышляйте, пишите свободно, так как свобода — это дар божий, а не распущенность.

Прощайте, мой дорогой философ, я приветствую Вас как Платона, как Конфуция, Вас, Вашу супругу, Ваших детей; воспитывайте их в страхе божьем, в любви к королю и в отвращении к фанатикам, которые не любят ни бога, ни короля, ни философов.

13 августа

ВОЛЬТЕР — ГЕЛЬВЕЦИЮ

Мое дражайшее дитя, простите мне это выражение, язык сердца не внимает требованиям церемониала: Вы никогда не столкнетесь с таким обилием дружественных чувств и строгости. Я возвращаю Вам Ваше послание с замечаниями, как Вы распорядились. Вы и Ваше сочинение заслуживаете того, чтобы быть совершенными; кто может не заинтересоваться тем и другим? Г-жа маркиза

дю Шатле думает так же, как и я; она любит правдивость и чистосердечие Вашего характера, она бесконечно дорожит Вашим умом, она считает, что Вы наделены плодотворным воображением; Ваше сочинение кажется ей полным сверкающих алмазов. Но как далеко от обладания таким талантом и таким изяществом до создания правильного сочинения! Природа все для Вас сделала. Ничего больше от нее не требуйте, все требуйте от искусства. Вам следует только потрудиться над неясными местами. Трудно написать двадцать хороших стихов за пятнадцать дней, и скажите мне, кто после наших великих учителей сочинял двадцать хороших александрийских стихов сразу. Я не знаю никого, у кого можно было бы найти подобное число их, вот почему все ударились в этот жалкий маротический стиль ^{28*}, стиль пестрый и кривляющийся, в котором ужасным образом соединяется пошлое и выпененное, серьезное и комическое, язык Рабле, язык Вийона и язык наших дней. Хорошо, что безобразное лицо прикрывается этой маской. Ничто так не редко, как естественная красота; вы обладаете этим даром, увлекайте же из него, мой дорогой друг, всю пользу, какую только Вы можете извлечь. Только от Вас зависит, ручаюсь Вам, чтобы Вы были выдающимся во всем, за что Вы возьметесь, но не пренебрегайте ничем. Я даю Вам хороший совет после того, как Вам показал очень дурной пример. Я очень поздно начал исправлять свои сочинения. Сейчас я провожу дни и ночи, переделывая «Генриаду», «Эдипа», «Брута» и все, что я когда-либо написал. Не ждите, как я, «si non vis sanus, curtas hydropicus». Я мечтаю излечиться от моих болезней, а Вы предотвратите те, которые могут на Вас обрушиться. Если уж Вы с таким умом и смелостью воспеваете учение, имейте столько же смелости, чтобы выправить это произведение двадцать раз, отошлите его ко мне, чтобы я еще раз направил его Вам. Слава в этом деле подобна царству небесному. «Et violenti rapiunt illud» ^{29*}. Так пусть я буду Вашим наставником в этом царстве изящной словесности. Ваша душа — благодарный материал для наставника. Продолжайте идти благим путем, работайте. Я хочу, чтобы Вы оказали бессмертную честь изящной словесности и Франции. Плутон должен быть лишь камердинером Аполлона. Ставка узнается скоро, но послание в стихах — ужасный труд. Я бросаю вызов сорока Вашим генеральным откупщикам — пусть напишут его,

Прощайте, нежно Вас обнимаю; я люблю Вас, как любят своего сына. Г-жа Шатле шлет Вам самые искренние поздравления, она Вам будет писать, она Вас благодарит. Пусть сочинение, посланное ей, будет достойно Вас и ее. Мне Вы оказали слишком много чести в этом сочинении, а между тем я достаточно осложняю Вам жизнь. Прощайте, поздравляю Вас с Новым годом. Любите всегда искусства и Сире.

Сире, 4 сентября 1738 г.

ВОЛЬТЕР — ГЕЛЬВЕЦИЮ

Я не знаю, где Вас застать, мой дорогой философ; Ваше письмо не было ни датировано, ни подписано буквой «Г», между тем как надо было бы иметь хоть какой-то небольшой знак, чтобы ориентироваться во множестве писем, которые получаешь. Я узнал Вас по Вашему уму, по Вашему вкусу, по чувству дружбы, которое Вы ко мне питаете. Меня очень взволновала опасность, в которой, как Вы мне сообщили, находилась Вапа милая и уважаемая супруга, и я умоляю Вас сказать ей, какое живое участие я в ней принимаю.

Ну вот! Я не таков, как Фонтенель, ибо у меня чувствительное сердце и я не завистлив; кроме того, я тверд и непреклонен, и, если бы наглый брат Ле Телье меня преследовал, как он преследовал этого робкого философа, я поступил бы с Ле Телье, как с Бертье. Поверите ли Вы, что сын Омера Флери приехал переночевать у меня и я устроил ему комедию? Действительно, праздник был не для него; но он извлек из него пользу, так же как и его дядя — интендант Бургонь, который лучше, чем Омер. Я принял сына нашего врага с большим достоинством и увещевал его никогда не быть генеральным адвокатом у Шомэ.

Мой любезный философ, что бы ни делали, но, как только нация начинает думать, этому невозможно помешать. Этот век кладет начало торжеству разума. Сколько бы ни вопили иезуиты, янсенисты, ханжи в судейской мантии и придворные лицемеры, они вызовут в честных людях лишь ужас и презрение. В интересах короля, чтобы число философов увеличивалось, а число фанатиков уменьшалось. Мы спокойны, а все эти люди — смутьяны, мы — граждане, а они — бунтовщики, мы просвещаем разум в

мире и спокойствии, а они его преследуют. Они могут заставить сжечь несколько хороших книг, но они покрыты позором в обществе; они не пользуются уважением в избранном кругу, а если кто и управляет мнением людей, так это избранный круг. Брат Елисей будет руководить несколькими ротозеями, брат Мену — несколькими дураками из Нанси, будет еще несколько конвульсионеров, но добрые служители разума и короля восторжествуют в Париже, в Воре и даже в Делисе^{30*}.

Вот уже два раза посылали в Париж кипы «Истории Петра Великого». Робен должен был иметь честь поднести одну из них Вам, а другую — г-ну Сорену. Я узнал, что кипы тщательно охраняют в палате, называемой синдикальной, до тех пор пока не скопируют книгу в Париже. Ну и на здоровье. Я обнимаю Вас, люблю, уважаю, призываю Вас объединить честных людей и заставить дрожать дураков.

В., который ждет Г.

27 октября

ВОЛЬТЕР — ГЕЛЬВЕЦИЮ

Мой дорогой философ, тень Корнеля благодарит Вас за Ваше благородное рвение. Король соблаговолил разрешить, чтобы его имя стояло во главе подписчиков на две сотни экземпляров. Ни метр***, ни метр*** не последуют ни примеру короля, ни Вашему примеру. Существует пропасть между спесивыми педантами и благородными сердцами, между конвульсионерами и здоровыми умами. Есть люди, созданные, чтобы оказать честь нации, другие же — чтобы ее унижить. Что подумает потомство, когда оно увидит, с одной стороны, прекрасные сцены «Цинны», а с другой — речи метра Ле Дена, произносимые в канцелярии суда?^{31*} Я думаю, что французы происходят от кентавров, которые были наполовину людьми, а наполовину вьючными лошадьми; эти две половины разделились: остались люди, как, например, Вы и кое-кто еще, и лошади, которые купили должности советников или стали докторами Сорбонны.

Подписка на Корнеля не к спеху; следует сообщить свое имя, и ничего более; и тот, кто скажет: «Я хочу получить книгу», будет ее иметь. Не получают ее по подписке

только ханжи. Пусть они подписываются на «Размышления» преподобного отца Круазе^{32*}.

Быть может, ремарки, поставленные внизу каждой страницы, будут немного поэтичны, но они не таковы, какими их делал бы Ламот по поводу «Ромула», по поводу «Маккавеев». Ах, мой друг! Остерегайтесь шарлатанов, которые в свое время мимоходом приобрели незаслуженную славу!

Я обнимаю Вас, брат мой, как Эпикура, Лукреция, Цицерона, Платона и tutti quanti.

В.

22 июля

ВОЛЬТЕР — ГЕЛЬВЕЦИИ

Вы мне даете, мой прославленный философ, самую утешительную и дорогую надежду. Как! Вы будете столь добры, что посетите меня в моем уединении? Мой конец приближается, я слабею с каждым днем, смерть моя будет тихой, спокойной, если я до этого увижу Вас.

Да, конечно, я получил Ваш ответ на письмо, которое я Вам послал через аббата. Сейчас я не единственный «Невежественный философ». Все издание, которое подготовили Крамеры и которое они послали во Францию, было им прислано обратно соответственным образом синдикальной палатой. Оно находится в пути, и я получу его через три недели. Эта книжица, как Вы знаете, написана аббатом Тийяде; но мне приписывают все, что печатают Крамеры, и все, что выходит в Женеве, Швейцарии и Голландии; это несчастье, связанное с той роковой известностью, которой Вы пользовались, к Вашему сожалению, так же, как и я. Несомненно, было бы лучше быть неизвестным и находиться в покое, чем быть известным и преследуемым. То, что Вы испытали из-за книги, которой дорожил бы Ларошфуко, должно долгое время заставить содрогаться всех ученых. Это варварство забыть нельзя, и я люблю Вас все больше.

Посылаю Вам маленькую брошюрку одного адвоката из Безансона, в которой Вы увидите то, что относится к гораздо более ужасному варварству. Я все еще опасаясь, как бы мне не приписали эту брошюрку. Ученые, и притом даже наши лучшие друзья, оказывают друг другу весьма скверную услугу благодаря страстному желанию раскрыть авторов некоторых книг. Кто написал сочине-

ние, приписываемое Болингброку, Буланже, Фрере^{33*}? Ах, мои друзья, какое значение имеет автор сочинения? Разве вы не видите, что тщеславное удовольствие открыть автора становится официальным обвинением, которым пользуются злодеи? Вы предаете гласности имя автора, которого вы предполагаете; вы предаете его неистовой злобе фанатиков; вы губите того, кого вы хотели бы спасти. Вместо того чтобы столь жестоко подстрекать к раскрытию автора, предпримите, напротив, все возможные усилия, чтобы отвести подозрения. Как же так! Жалкие монахи, сплоченные воедино, будут защищать интересы монастыря до самой смерти, а те, кто просвещает людей, будут представлять собою лишь разбросанное стадо, то пожираемое волками, то раздираемое внутренними ссорами.

Кто может оказать большую услугу, чем Вы, разуму и добродетели? Кто может быть более полезным миру, не идя на компромисс с пороком? Что за вещи мне нужно было бы сказать Вам и какое удовольствие было бы для меня открыть Вам свое сердце и читать в Вашем! Пусть я не умру, не обняв Вас! По крайней мере я обнимаю Вас издали с дружеским чувством, равным моему уважению.

В.

27 октября 1766 г.

ВОСПОМИНАНИЯ И ОТЗЫВЫ СОВРЕМЕННИКОВ О ГЕЛЬВЕЦИИ

Кристоф де Бомон, архиепископ Парижа

(Послание, содержащее осуждение книги, озаглавленной «Об уме»)

...Сего ради, посоветовавшись со многими лицами, отличающимися благочестием и ученостью, о книге, озаглавленной «Об уме», мы осуждаем, взывая к святому имени господу, вышеупомянутую книгу как содержащую мерзкую доктрину, способную ниспровергнуть естественный закон и разрушить основы христианской религии; как принимающую за свое основное начало гнусную доктрину материализма, ниспровергающую свободу человека, уничтожающую первоначальные понятия добродетели и справедливости, устанавливающую правила, совершенно противоположные евангелической нравственности, подменяющую здоровое учение о нравах интересом, страстями, наслаждением, направленную на нарушение мира в го-

сударстве, на возмущение подданных против власти и самой особы их государя; как благоприятствующую безбожникам, деидам, всякого рода неверующим и возрождающую почти все их чудовищные системы; как содержащую великое множество положений ложных и постыдных, полных ненависти против церкви и ее служителей, нарушающих должное благоговение перед Священным писанием и отцами церкви, кощунственную, богохульную, ложную и еретическую.

Жоли де Флери, королевский генеральный адвокат в парламенте.

Человечество содрогается, граждане встревожены; со всех сторон слышатся стоны служителей церкви при виде такого сочинения, которое можно жаждать распространять и размножать только для того, чтобы поколебать, если возможно, основы нашей религии.

Книга «Об уме» — «это свод самых постыдных и низких страстей, апология материализма и всего того, что может изречь безверие, чтобы возбудить ненависть к христианству и католицизму...».

ИЗ «РЕШЕНИЯ ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В ПАРИЖЕ ПРОТИВ КНИГИ, НОСЯЩЕЙ НАЗВАНИЕ «ОБ УМЕ»»

Теологи восстают против писаний, которые, «подобно черным испарениям и зловонным запахам, образуют тяжелые тучи, несущие с собою заразу и опустошение во все, где они изливаются». Организован заговор против христианской веры и нравственности и против повиновения власти суверена.

Среди заговорщиков есть один — автор сочинения «Об уме», «который, по-видимому, смешал в одной чаше все самое отвратительное, что имеется в современных взглядах, чтобы сразу проглотить яд, который другие выпивают по частям».

«Дай бог, чтобы автор, которого уже заставили дать несколько отречений, осознал, до какой степени он должен был бы опасаться этого чтения и этих обществ, которые испортили его ум и развратили сердце. Дай бог, чтобы он отказался от этой невыносимой гордыни... Чтобы все, что истинно, все, что честно, все, что поучительно и пользуется хорошей репутацией... было бы предметом его мыслей и действий... чтобы покаянной и примерной жиз-

нью он искупил, насколько это возможно, ущерб, который он причинил своей книгой, и да будет с ним мир».

ГРИММ, ФРЕДЕРИК МЕЛЬХИОР

Январь, 1772 г.

Мы понесли неожиданную и преждевременную потерю со смертью г-на Гельвеция, последовавшей 26 декабря прошлого года вследствие тяжелой формы подагры. Ему было всего лишь пятьдесят шесть лет. Если бы понятие благородный человек не существовало во французском языке, его нужно было бы изобрести для него. Он был его прототипом. Справедливый, снисходительный, несвоеправный, беззлобный, очень ровный в обращении, он обладал всеми общественными добродетелями и придерживался их отчасти из идеи, которой он был проникнут относительно человеческой природы; по-видимому, ему казалось, что сердиться на дурного человека, встречавшегося на его пути, не более разумно, чем сердиться на камень, не убранный с дороги. Усвоенная им привычка обобщать свои идеи и видеть лишь значительные следствия, происходящие из них, делая его иногда безразличным к собственным благам, сделала его также самым снисходительным из людей...

...Г-н Гельвеций надеялся воздвигнуть себе колонну рядом с колонной Монтескьё. Но он упустил свой случай. Книга «Об уме» появилась десять лет спустя после «Духа законов». Она не принесла автору того уважения, надеждой на которое он себя льстил, и он обязан своей огромной известностью лишь преследованию, которое она на него навлекла. При дворе королевы и покойного г-на дофина на г-на Гельвеция смотрели как на предателя, и королева жалела его несчастную мать, будто она родила антихриста.

...Он был очень гостеприимным на своей родине, и зимой, которую он всегда проводил в Париже, весьма охотно принимал у себя иностранцев. Никто не был столь доступен и столь обходителен в обращении. Его пребывание в Париже продолжалось всего четыре месяца. Остальное время в его имении распределялось между занятиями и охотой...

...Эта книга («О человеке»), которая по меньшей мере такого же объема, как и книга «Об уме», не замедлит, я думаю, выйти за границы. Ее смелость поставила бы автора в самое неприятное положение, если бы она вышла при его жизни. Конечно, во Франции не было бы дано разрешение на ее продажу. Если судить по тому, что я в ней видел, я сомневаюсь, чтобы это сочинение снискало то же уважение, какое было оказано книге «Об уме». Г-н Гельвеций оставил глубоко скорбящую вдову и двух весьма богатых дочерей, каждая из которых будет иметь по крайней мере пятьдесят тысяч ливров ренты...

*МАРМОНТЕЛЬ, ЖАН ФРАНСУА ¹**

Гельвеций, поглощенный своим стремлением к литературной славе, приходил к нам, с головой, еще пылающей от своей утренней работы. Чтобы написать книгу, выдающуюся в его веке, его главной заботой было или добиться рождения какой-нибудь новой истины, или высказать и защитить какую-нибудь новую и смелую мысль. Однако, поскольку вот уже две тысячи лет как новые и плодотворные мысли чрезвычайно редки, он взял в качестве тезиса парадокс, который он развил в своей книге «Об уме»...

...У Гельвеция была душа совершенно противоположная тому, что он говорил. Не было лучшего человека; щедрый, благородный без чванливости, благотворительный, потому что он был добр, он задумал оклеветать всех порядочных людей и самого себя, не приписывая моральным действиям никакого другого побуждения, кроме интереса...

ДИДРО, ДЕНИ

(ИЗ «РАЗМЫШЛЕНИЯ О КНИГЕ «ОБ УМЕ»»)

Стиль этого произведения переливается всеми красками, наподобие радуги: игривый, поэтический, суровый, возвышенный, легкий, замысловатый, благородный, сверкающий — все то, что нужно автору и подходит к теме. Книга «Об уме» — это сочинение человека с достоинствами. В ней содержится много общих ложных положений, но зато там множество частных истин. Автор рассуждает о метафизике и нравственности в высоком стиле, и вся-

кий, уважающий себя писатель, который захочет затронуть те же самые вопросы, вынужден будет считаться с этим трудом.

(ИЗ «ОПРОВЕРЖЕНИЯ СОЧИНЕНИЯ ГЕЛЬВЕЦИЯ,
ОЗАГЛАВЛЕННОГО «О ЧЕЛОВЕКЕ»)

Какова была бы книга Гельвеция, если бы она была написана во времена и языком Монтеня?! Она была бы настолько выше «Опытов», насколько «Опыты» выше сочинений всех позднейших моралистов. Я не знаю, какое значение придавал Гельвеций Монтеню и любил ли он его читать, но имеется много сходства между их взглядами и стилем. Монтень — циник, Гельвеций — тоже; оба они ненавидят педантов, наука о нравах для обоих по преимуществу наука. Они многое приписывают обстоятельствам и случайностям, у них есть воображение, большая непринужденность стиля, смелость и оригинальность выражения, им свойственны метафоры. Гельвеций во времена Монтеня обладал бы приблизительно его стилем, а Монтень во времена Гельвеция писал бы примерно так же, как он, т. е. писал бы менее выразительным и более правильным языком, менее оригинально, но с большей методичностью.

...Нужно было быть очень упрямым или очень неловким, чтобы не устранить небольших недостатков, на которые усиленно будет ссылаться зависть одних и ненависть других и благодаря которым сочинение («О человеке»), полное опыта, наблюдений и фактов, будет зачислено в класс педантических сочинений, столь справедливо раскритикованных нашим автором...

[Обращаясь мысленно к Гельвецию, Дидро пишет:]

Вы брались за перо с добрыми намерениями; у Руссо были добрые намерения, лишь когда он его бросил; он — первая жертва своих софизмов.

Руссо считает человека добрым от природы, а Вы считаете его дурным.

Руссо считает, что общество годится только для того, чтобы портить естественного человека, а Вы считаете, что имеются хорошие общественные законы, которые могут исправить первоначальные недостатки природы.

Руссо полагает, что все самое лучшее находится в лесах, самое худшее — в городах. Вы же думаете, что в городах довольно плохо, но хуже всего — в лесах.

Руссо выступает против театра и сочиняет комедию, превозносит дикаря или того, кто совсем не воспитан, и сочиняет трактат о воспитании. Его философия, если она у него есть, состоит из кусков, Ваша — единая. Пожалуй, я предпочел бы быть им, а не Вами, но я предпочел бы написать Ваши сочинения, а не его. Если бы я обладал его красноречием и Вашей проникательностью, я был бы лучше, чем вы вдвоем...

Ваша логика не столь неоспорима, какой она могла бы быть. Вы слишком обобщаете Ваши выводы, но это не мешает Вам быть великим моралистом, весьма тонким наблюдателем человеческой природы, крупным мыслителем, блестящим писателем и даже прославленным гением.

ПРИМЕЧАНИЯ

УКАЗАТЕЛИ

ПРИМЕЧАНИЯ*

О ЧЕЛОВЕКЕ

Книга Гельвеция «О человеке» была завершена в середине 1769 г. и вышла в свет после его смерти в 1773 г. в Гааге. Она была издана либерально настроенным князем Голицыным — послом России в Нидерландах — и многократно с тех пор переиздавалась. Первым переводом является английский в 1777 г. (*A treatise on man... transl. by W. Hooper, vol. 1—2. London, 1777*).

Немецкий перевод Г. А. Линднера с его примечаниями вышел в Вене в 1877 г. В 1938 г. труд «О человеке» был переведен на русский язык П. С. Юшкевичем (*К. А. Гельвеций. О человеке, его умственных способностях и его воспитании. М. 1938*). Публикуемый сейчас перевод П. С. Юшкевича был сверен М. Н. Делограмматиком с лондонским изданием 1773 г. и другими (*C. A. Helvétius. De l'Homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation. Londres, 1773*).

ПРЕДИСЛОВИЕ

^{1*} Идеализируя Екатерину II и Фридриха II Прусского, которые одно время изображали себя покровителями либеральных идей, Гельвеций не понял сущности их реакционной политики. — 9.

РАЗДЕЛ I

Глава III

^{1*} *Навуходоносор* (604—560 до н. э.) — вавилонский царь. В соответствии с библейской легендой был превращен в животное. — 16.

Глава IV

^{1*} Речь идет о работе Дидро «Письмо о слепых в наизидание зрячим». — 23.

* Составлены М. Н. Делограмматиком. Многие имена, не вошедшие в примечания к этому тому, следует искать в примечаниях к I-му тому,

Глава VII

1* Здесь, как и в других местах труда «О человеке», Гельвеций, руководствуясь идеалистическим пониманием истории, абсолютизирует роль случайности, приписывая ей порой всемирно-исторические последствия. — 27.

Глава VIII

1* *Вокансон, Жак де* (1709—1782) — французский механик, прославившийся своими механическими автоматами. — 28.

2* *Боннэ, Шарль* (1720—1793) — известный швейцарский философ и естествоиспытатель. — 30.

3* *Орфей* — в древнегреческой мифологии знаменитый музыкант, дивная музыка которого укрощала диких зверей. — 31.

4* *Перчатка герцогини Мальборо*. Мальборо, Сара Феннингс (1660—1744) оказывала большое влияние на политику Англии при королеве Анне. Славилась своими интригами. — 33.

5* Гельвеций имеет в виду вызвавшую разрыв с папой Римским женитьбу английского короля Генриха VIII (1491—1547) на Анне Болейн. Реформация в Англии не была обусловлена личными особенностями короля, как утверждает Гельвеций. В действительности любовь короля к Анне Болейн была лишь поводом для разрыва с Римом; истинной причиной английской реформации было стремление Генриха VIII укрепить политическое могущество господствующего класса и его главы, сосредоточив в руках короля высшую церковную власть в стране. — 33.

Глава IX

1* Речь идет о войнах в начале XVIII в. между Францией, которой правила Бурбон, и Португалией, в которой правил Браганский дом. — 34.

2* *Момус* — бог насмешки в древнегреческой мифологии. — 37.

Глава X

1* *Папистский, паписты и папизм* — презрительное, проницательное название католиков и католичества у сторонников реформации. Это название применялось по отношению к католической церкви, ее деятелям и французскими материалистами. — 41.

Глава XII

1* После открытия Америки папа Александр VI, желая устранить конфликт между Испанией и Португалией из-за раздела открытых земель, в 1493 г. провел на карте мира «от полюса до полюса» демаркационную линию примерно в 600 км к западу от островов Зеленого Мыса. — 44.

Глава XIII

1* *Сидней, Олджернон* (1622—1683) — английский философ. Опираясь на теорию общественного договора, обосновывал необходимость казни короля. — 46.

Глава XIV

1* *Мино* — мера для жидких и сыпучих тел — около 40 литров. *Сетье* — в четыре раза более *мино* — 156 литров. Кроме того, *мино* означал и меру посевной площади. — 48.

Глава XV

^{1*} *Ореады* — в античной мифологии обитательницы гор и гор тов. *Гамадриады* и *фавны* — обитатели лесов. *Тритоны* и *нереиды* — обитатели вод. — 52.

^{2*} *Латона* — мать Аполлона и Дианы, соперница Юноны. — 52.

Примечания

^{1*} *Вера угольщика* (foi du charbonnier) — означает слепую, фанатическую веру. — 56.

^{2*} *Савиль, Георг*, маркиз Галифакс (1630—1695) — английский государственный деятель и писатель. — 57.

^{3*} *Монтень, Мишель де* (1533—1592) — французский философ-моралист эпохи Возрождения, автор знаменитых «Опытов». Скептицизм Монтеня был направлен против схоластики, догматов католической религии. — 57.

^{4*} *Савояры* — жители французской области Савойи. — 58.

^{5*} *Петиметр* — молодой легкомысленный щеголь с претенциозными манерами. — 61.

^{6*} *Балюз, Этьен* (1630—1718) — французский историкограф. *Капитулярии* — сборники гражданских и церковных постановлений, которые ведут свое начало от каролингских королей в древней Франции. — 63.

^{7*} *Калло, Жак* (1592—1635) — французский художник и гравер, отличавшийся резким и причудливым стилем. — 65.

РАЗДЕЛ II

Глава I

^{1*} *Квинтилиан, Марк Фабий* (35—95) — знаменитый римский педагог и оратор. — 68.

Глава II

^{1*} *Бертье, Франсуа* (1704—1782) — французский иезуит, редактор «Journal du Trévoux», органа иезуитов. Журнал начал ожесточенную кампанию против книги Гельвеция «Об уме», расценивая ее как «вредоносный труд», причиняющий ущерб религии и нравственности. *Линьяк, Жозеф Адриен Леларж* (1710—1762) — аббат, философ. Автор критического и сатирического сочинения «Исследование серьезное и исследование комическое» (1760), направленного против книги Гельвеция «Об уме». *Сези, Жозеф* (1689—1761) — французский церковный проповедник и писатель. — 75.

^{2*} *Помпийян, Жан Жак Лефранк* (1709—1784) — французский поэт, писавший на религиозные темы. Высмеян Вольтером в одной из его сатир, а также в письмах к Гельвецию. *Шомэ, Абрахам Жозеф* (1730—1790) — французский реакционный писатель, враг энциклопедистов. Автор 12-томного сочинения «Законные основания против «Энциклопедии» и опыт опровержения этого словаря вместе с критическим исследованием книги «Об уме». Высмеян Вольтером в одной из сатир. *Кавейрак, Жан Нови* (1713—1782) — французский аббат и теолог, противник просветителей. — 75.

^{3*} *Флогистон* по ошибочной химической гипотезе XVII—XVIII вв. — особое легучее, невидимое и невесомое вещество, выделением которого объясняли процесс горения. — 76.

Глава III

^{1*} «Трактат о началах химии» (англ.) — 77.

Глава VII

^{1*} *Бризеида* — персонаж из «Илиады», жрица города Лирнесса, взятая в плен греками. — 91.

Глава VIII

^{1*} Слово *роман* в XVII—XVIII вв. означало «повествование с выдумкой», фантастическое произведение. — 94.

^{2*} Описывая нравы и обычаи некоторых африканских и других народов, Гельвеций часто некритически относится к различным вымыслам европейских географов и миссионеров о жизни народов Африки и Азии. — 95.

Глава IX

^{1*} *Эдда* — сборники древнескандинавских мифов и сказаний. — 99.

Глава X

^{1*} Здесь Гельвеций высказывает механистические воззрения на человека, свойственные материалистам XVII—XVIII вв., рассматривавших человека как сложную машину, действующую по законам механики. — 103.

Глава XI

^{1*} *Ардуэн, Жан* (1646—1729) — пезупт, известный своими трудами по нумизматике. — 103.

Глава XII

^{1*} *Сен-Ламбер, Жан Франсуа* (1716—1803) — французский поэт, примыкавший к энциклопедистам, автор воспоминаний о Гельвеции. *Сорен* — видимо, здесь имеется в виду участник издания «Энциклопедии». *Нивернэ, Луи Жюль* (1716—1798) — французский государственный деятель и писатель. — 107.

^{2*} *Гипатия из Александрии* (370—415) — женщина-математик, астроном и философ; была убита религиозными фанатиками. — 107.

^{3*} *Робертсон, Уильям* (1721—1793) — шотландский историк. Как и Юм, положительно отнесся к трактату Гельвеция «Об уме». — 108.

Глава XIII

^{1*} *Пуавр, Пьер* (1719—1786) — французский путешественник. — 114.

Глава XV

^{1*} Гельвецию, как и другим материалистам XVIII в., был свойствен неисторический подход к обществу. Средние века рассматривались ими как века всеобщего варварства и невежества, как разрыв в истории общества. — 120.

Глава XVI

^{1*} Речь идет о том, что пезупты выступили с ожесточенными нападениями на вышедшую в 1758 г. во Франции книгу Гельвеция «Об уме». — 124.

2* *Клеман, Жак* (1564—1589) — католический монах, убийца французского короля Генриха III, покровительствовавшего гугенотам. — 128.

3* *Монтесума II* (1466—1520) — король ацтеков. В 1519 г. королевство ацтеков (Мексика) было завоевано испанцами. — 128.

Глава XVII

1* *Сорбонна* — богословский факультет при Парижском университете, известный своей реакционностью. Богословы Сорбонны осудили Гельвеция и других энциклопедистов. С 1790 г. Сорбонна перестала существовать как богословская школа. — 131.

2* *Гоша, Габриэль* (1709—1774) — французский теолог, враг просветителей. В 1759 г. издал «Критические письма», в которых ожесточенно нападал на работу Гельвеция «Об уме», квалифицируя ее как «произведение, самое губительное для религии и общества». Был высмеян Вольтером. — 132.

Глава XVIII

1* *Ария* — персонаж из «Федры» Расина, афинская принцесса, верная жена Ипполита. *Порция* (42 г. до н. э.) — преданная жена Брута — убийцы Цезаря. Узнав о смерти мужа, покончила с собой. — 134.

2* *Мирон* (Робер) (1569—1641) — купеческий старшина в Париже, глава третьего сословия в Генеральных штатах. *Гарле, Ахилл* (1537—1619) — президент парижского парламента. *Барильон, Поль* (1630—1691) — французский дипломат. — 135.

3* «*Золотая легенда*» — сборник легенд о святых (XV в.). — 135.

Глава XX

1* *Чудесная лампа* — лампа, при помощи которой персонаж одной из сказок «Тысячи и одной ночи», Аладдин, стал счастливым. — 139.

2* *Геннепэн, Луис* (1640—1705) — французский миссионер в Америке, автор «Описания Луизианы». — 141.

3* *Бросс, Шарль де* (1709—1777) — видный французский ученый и литератор, автор книги «О культе богов-фетишей...», обративший внимание Вольтера на книгу Гельвеция «Об уме». — 142.

Глава XXII

1* *Камилл, Марк Фурий* (ум. в 365 г. до н. э.) — римский полководец. Был изгнан из Рима по обвинению в неправильном дележе военной добычи; после этого, по преданию, спас римлян от галлов. *Папирий, Люций Курсор* — римский полководец, одержал победу над самнитами в 293 г. до н. э. и захватил огромное количество серебра. — 147.

2* *Пандора* — по древнегреческой мифологии первая женщина, созданная Вулканом. Юпитер подарил ей ящик, в котором были заключены все бедствия. Движимая любопытством, Пандора открыла ящик, и бедствия распространились по земле, на две ящика осталась лишь надежда. — 148.

Примечания

1* *Баньяны* — купцы Индии, торговавшие за границей. — 154.

2* *Гуситы* — последователи учения чешского реформатора

Яна Гуса (1369—1415), выступившего против католицизма и сожженного по приговору церковного собора. — 156.

^{3*} *Шовлен, Анри Филипп* (1714—1770) — французский каноник, советник парламента, резко выступавший против иезуитов. — 158.

^{4*} Замечание Гельвеция о различии между системами Демокрита и Платона отличается глубиной, ибо оно улавливает противоположность между материализмом и идеализмом. — 161.

^{5*} *Барониус* (1538—1607) — кардинал, генерал ордена ораториан. — 167.

^{6*} Юм, раздел 8, Свобода и необходимость. — 171.

РАЗДЕЛ III

Глава II

^{1*} *Комус* (ум. в 1820 г.) — псевдоним фокусника-изобретателя, который пользовался большой известностью во Франции. Его имя осталось неизвестным. — 173.

РАЗДЕЛ IV

Глава II

^{1*} *Симонид из Кеоса* (ок. 556—467 гг. до н. э.) — древнегреческий поэт, последние годы жизни прожил при дворах сицилийских тиранов. — 183.

Глава VI

^{1*} *Катина, Никола де* (1637—1712) — французский полководец, одержавший ряд блестящих побед. — 191.

^{2*} *Дюмулен, Шарль* (1500—1566) — французский правовед. — 193.

Глава VIII

^{1*} Гельвеций здесь ошибочно представляет себе язык отсталых народов, сводя его к нескольким звукам. — 197.

Глава IX

^{1*} Речь идет об италийских племенах, соседях древнего Рима. — 200.

Глава XII

^{1*} *Фока* — византийский император, отличался исключительной жестокостью, в 610 г. был свергнут. — 209.

Глава XIII

^{1*} *Энселод* — в древнегреческой мифологии титан, восставший против Зевса; был убит Зевсом и похоронен под Этной. — 210.

^{2*} *Эней* — герой «Энеиды» Вергилия, изображен как образец добродетели. *Ахилл* — один из героев «Илиады» Гомера. — 211.

Глава XVI

^{1*} *Веллей, Патеркул* — римский историк (I в.). — 217.

Глава XVIII

^{1*} Речь идет о Варфоломеевской ночи; в ночь на 24 августа 1572 г. в Париже католические руководители организовали резню протестантов. — 223.

Глава XIX

^{1*} *Эссены*, или *есеп*, — древнееврейская секта, связанная с народными низами и проповедовавшая общность имущества. *Саддукеи* — древнееврейская секта, состоявшая из представителей высшего духовенства и знати; отрицала загробную жизнь и бессмертие души. — 223.

Глава XX

^{1*} *Янсенисты* — последователи реформаторского движения, близкого к кальвинизму в католической церкви, основателем которого был голландский теолог Янсений (1585—1638), выступивший против иезуитов. *Молинисты* — последователи испанского иезуита Луи Молины (1535—1600). — 228.

^{2*} *Фенелон*, *Франсуа де Салиньяк де ла Мот* (1651—1715) — французский религиозный писатель, автор романа «Похождения Телемака». *Фитц-Джеймс* (1709—1764) — аббат, духовник Людовика XV, суровый янсенист. — 229.

Глава XXIV

^{1*} *Агнесса и Арнольф* — персонажи из комедии Мольера «Урок женам». — 237.

Примечания

^{1*} *Итуриэль* — ангел в христианской религии. — 239.

^{2*} *Тассо*, *Торквато* (1544—1595) — итальянский поэт эпохи Возрождения, автор поэмы «Освобожденный Иерусалим». — 242.

^{3*} «*Критика Велизария*» — видимо, имеется в виду какая-то критика романа-эпопеи Мармонтеля «Велизарий», вышедшего в 1767 г. — 242.

^{4*} *Гелон* — сиракузский тиран (с 490 по 478 г. до н. э.), одержавший победу над карфагенянами.

Гельвеций здесь идеализирует реакционную политику Екатерины II. — 245.

^{5*} *Клит* (ум. в 328 г. до н. э.) — военачальник Александра Македонского, убитый им во время пира. — 247.

^{6*} *Данииды* — в древнегреческой мифологии 50 дочерей Дана, осужденных за убийство своих мужей наполнять водой в аду бездонную бочку. — 247.

^{7*} *Кассиодор*, *Магнус Ангелиус* (ок. 480—575) — философ и ученый Остготского королевства. — 252.

^{8*} *Нодэ*, *Габриэль* (1600—1653) — французский ученый. — 253.

^{9*} *Зороастр*, или *Заратустра*, — пророк и реформатор древнеперсидской религии — зороастризма. Годы его жизни и место деятельности не установлены. *Аполлоний Тианский* (I в.) — древнегреческий философ-идеалист, который изображался как маг и чудотворец. *Агриппа Неттесгеймский* (Генрих Корнелий Агриппа из Неттесхайма) (1468—1535) — немецкий гуманист, подвергавшийся преследованиям за свое свободомыслие; пытался изложить

учение о магии, основанное на представлении о всеобщей связи вещей. *Альберт Великий* (Альберт фон Больштедт) (1193, по другим данным, 1206 или 1208—1280) — немецкий философ, естествоиспытатель и богослов. *Парацельс* (настоящее имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхейм) (1493—1541) — швейцарский медик и алхимик. — 253.

РАЗДЕЛ V

Глава I

1* Речь идет о романе Руссо «Новая Элоиза», в котором показана трагическая судьба двух влюбленных — простолюдина Сен Пре и аристократки Юлии.

«Эмиль» — философский роман Руссо, посвященный проблемам воспитания. — 258.

Глава IV

1* *Тибури* — площадь в Лондоне, где в старину проповодились казни осужденных. — 270.

Глава V

1* *Вольмар* — персонаж из романа Руссо «Новая Элоиза», муж Юлии, за которого она вышла замуж по настоянию своих родителей, несмотря на свою любовь к Сен Пре. — 272.

Глава VII

1* *Алкиной* — один из легендарных древнегреческих царей, персонаж «Одиссея». — 279.

Глава VIII

1* *Бургау, Герман* (1668—1738) — известный голландский врач, создатель первой клиники. *Фекье, Антуан* (1648—1711) — французский генерал. — 282.

2* *Мекинез* — город в Марокко. — 284.

Глава X

1* Имеется в виду эпоха Августа Гая Юлия Цезаря Октавиана (30 г. до н. э. — 14 г. н. э.), когда рабовладельческая демократия сменилась императорской властью, принципатом. — 287.

Глава XI

1* Видимо, речь идет о *Сорэне, Эли* (1639—1703) — протестантском богослове. — 291.

Примечания

1* *Калас, Жан* — протестант, который пал жертвой религиозного фанатизма церкви. В 1762 г. он был публично казнен по ложному обвинению в убийстве своего сына. Вольтер разоблачил судей и привлек на свою сторону общественность Европы. Правительство, напуганное возмущением, вынуждено было посмертно реабилитировать Каласа. — 293.

2* *Оссиан и Фингал* — легендарные кельтские барды. Их стихи в действительности написаны шотландским поэтом Джемсом Макферсоном (1736—1796). — 294.

3* *Коммин, Филипп де (1445—1509)* — французский историк-хроникер. — 297.

4* *Гримм, Фредерик Мельхиор (1723—1807)* — французский просветитель-материалист, литератор и критик — один из главных редакторов «Энциклопедии». — 300.

РАЗДЕЛ VI

Глава V

1* *Бернар, Самуэль (1651—1739)* — богатый финансист, к помощи которого прибегал Людовик XIV. — 308.

Глава XII

1* *Ксенофонт (ок. 430—355 до н. э.)* — известный древнегреческий историк. — 326.

Примечания

1* *Вегетий (IV в.)* — римский военный теоретик. — 339.

РАЗДЕЛ VII

Глава I

1* *Деции* — три римлянина, которые, согласно легенде, приносили себя в жертву богам ада, чтобы обеспечить победу римским войскам. — 345.

Глава II

1* *Парламенты* — судебно-административные учреждения в эпоху феодализма во Франции. Парижский парламент получил наибольшее значение. В провинциях существовали свои парламенты (Тулуза, Гренобль и др.). Парламенты возглавлялись президентами. Они были органами абсолютизма в борьбе против народных движений и сепаратизма крупных феодалов, однако нередко были и органами оппозиции абсолютизму. Во время французской революции конца XVIII в. были упразднены. — 348.

Глава IV

1* Речь идет о теократическом государстве иезуитов, которое было ими основано в 1609 г. в Парагвае путем подчинения и эксплуатации индейцев. Оно было ликвидировано во второй половине XVIII в. — 355.

Глава V

1* *Арабский старец Горы* — прозвище восточного принца Аладина (XIII в.), который стоял во главе одной из мусульманских сект. — 358.

2* *Бузенбаум, Герман (1600—1668)* — немецкий иезуит-богослов. — 358.

Глава VII

1* *Дион (ок. 409—354 до н. э.)* — политический деятель, который пытался уничтожить тиранию в Сиракузах. *Арат (ок. 271—213 до н. э.)* — государственный деятель древней Греции, освобо-

дивший Сикион от тирана Никокла. *Равальяк* (1578—1610) — монах, убийца французского короля Генриха IV. — 359.

^{2*} *Лига* — реакционная организация католиков во Франции, возглавлявшаяся в конце XVI в. герцогом Гизом и боровшаяся против протестантов. — 360.

Глава X

^{1*} Иезуиты были изгнаны из Испании в 1767 г., из Португалии — в 1759 г. и из Франции — в 1764 г. — 364.

Глава XII

^{1*} *Лойола, Игнатий* (1491—1556) — основатель ордена иезуитов. — 369.

^{2*} *Доктринари* — представители религиозной конгрегации, основанной во Франции в 1592 г. *Ораториане* — представители религиозной конгрегации, действовавшей во Франции с 1611 г. — 370.

Примечания

^{1*} Речь идет о юноше де ля Бар, которого клерикалы подвергли мучительной казни во Франции в конце XVIII в. за якобы осквернение деревянного распятия на мосту в Абвиле. — 370.

^{2*} *Хабеас корпус* — акт о неприкосновенности личности, изданный английским парламентом в 1679 г. — 371.

^{3*} В английском языке слово «медицина» обозначается словом *physic*. — 373.

^{4*} *Законы Двенадцати таблиц* — запись обычного права в Древнем Риме (V в. до н. э.). Они устанавливали отцовскую власть над детьми, власть мужа над женой, охраняли собственность при помощи жестоких наказаний. — 374.

^{5*} В эпоху феодализма французский монарх носил название «христианнейший король» (*rois très chretienne*). — 376.

РАЗДЕЛ VIII

Глава VII

^{1*} *Бетель* — растение, листья которого употреблялись для жевания. — 387.

Глава X

^{1*} *Селадон* — персонаж из романа Дюрфе «Астрейя» (1619), верный, скромный и робкий любовник. — 392.

Глава XIV

^{1*} *Дамьен, Робер* (1714—1757) нанес удар перочинным ножом Людовику XV, после чего был казнен. — 397.

^{2*} «Я» *Медеи*. «Медея» — одна из ранних трагедий Корнелия. «Я» — это ответ Медеи на вопрос ее подруги Нерины, который Гельвеций дальше цитирует. «Я» (*Moi*) Медеи вошло во французский язык как выражение уверенности в своих силах в минуту опасности.

Восклицание Аякса — имеется в виду следующее его восклицание: «Великий боже, верни нам свет и сражайся против нас при

свете неба». Дидро в «Опровержении книги Гельвеция «О человеке» доказывает, что этого места нет в «Илиаде», что оно имеется у Буало.

«*Пусть он умрет*» — знаменитый ответ в трагедии Корнеля «Гораций» старика Горация на вопрос его жены, чего бы он хотел для своего сына, который смог победить врагов с помощью притворного бегства. — 400.

3* *Тирсис* — пастух, один из персонажей римского поэта Вергилия. — 400.

4* Клятва семп вождей из трагедии Эсхила «Семеро против фив». На этот же сюжет Расином создана трагедия «Братья-враги». — 401.

Глава XV

1* «*Оракул*». Видимо, речь идет об одном из анонимных произведений. — 402.

2* «*Ираклий*» — трагедия П. Корнеля (1647 г.). — 403.

Глава XVII

1* *Беккариа, Чезаре* (1738—1794) — итальянский юрист и писатель. Кроме известного трактата о «Преступлениях и наказаниях» написал исследование о стиле. — 406.

Глава XVIII

1* *Зопир* — по преданию, один из верных сатрапов персидского царя Дария; отрезав себе нос и уши, он вошел в доверие к врагам Дария, чтобы выдать их персидскому царю. — 408.

2* *Апеллес* (IV в. до н. э.) — великий живописец древней Греции, автор прославленной картины «Афродита Анадиомена». — 409.

3* *Тифон* — в древнегреческой мифологии гигант, сын Тартара и Геи, олицетворение всех злых сил земли. *Ангей* — в древнегреческой мифологии гигант, сын Нептуна и Геи, черпавший силы от прикосновения к матери-земле. Был задушен Геркулесом, поднявшим его на воздух. — 409.

Глава XIX

1* *Плутос* — в древнегреческой мифологии бог богатства. — 411.

2* *Фортунат* — герой популярной немецкой фантастической повести XVI в., обладатель неиссякаемого кошелька и чудесной шапочки, переносящей его в любое место. *Кобольды* — духи домашнего очага в мифологии древних германцев. — 411.

Глава XXI

1* *Боннье* (Bonnier) — французский богач. — 415.

Глава XXII

1* *Бавкида* — персонаж из древнегреческой сказки «Филимон и Бавкида», верная жена Флимона. — 416.

Глава XXVI

1* *Оросман* — персонаж из трагедии Вольтера «Заир». — 421.

2* *Пенн, Уильям* (1644—1718) — английский квакер, основатель в 1681 г. в Северной Америке поселения квакеров — Пенсильванцы. — 422.

РАЗДЕЛ IX

Глава II

1* *Трибониан* (ум. в 545 г.) — византийский государственный деятель и юрист при Юстиниане. Руководил составлением кодекса Юстиниана. — 431.

Глава V

1* *Менипп* (III в.) — древнегреческий философ, из школы кппиков. — 443.

Глава VII

1* *Кенэ, Франсуа* (1694—1774) — крупнейший французский экономист, основатель школы физиократов. Его взгляды оказали определенное воздействие на философию Гельвеция. — 448.

Глава XV

1* *Туз* — старинная французская мера длины, равная 1 м 949 мм. — 465.

Глава XVII

1* *Константин I Великий* (274—337) — римский император. В борьбе за власть опирался на христиан. Казнил своего сына Криспа, подозревая его в заговоре. Расчетливый и коварный политик. Получил от церкви наименование «Великий». *Хлодвиг* (465—511) — основатель государства франков, принял христианство. — 467.

2* *Саварон, Жан* (1550—1622) — французский историк. — 468.

3* *Пипин Короткий* (714—768) — король франков. Свергнул короля Хильдерика III, захватил власть и провозгласил себя королем при помощи папы Римского, которому он в благодарность за коронование подарил завоеванные провинции у лангобардов. — 468.

Глава XVIII

1* *Альфред Великий* (849—901) — англосаксонский король; вел успешные войны против датчан, содействовал развитию хозяйства, образованию законодательства и культуры. *Генрих IV* (1553—1610) — французский король, при котором был принят Нантский эдикт, положивший конец гугенотским войнам. — 469.

2* По-видимому, речь идет о крупном французском экономисте, современнике Гельвеция — Мерсье де ля Ривьере. — 472.

Глава XX

1* *Юпитер* — в древнегреческой и римской мифологии отец и властелин богов, победил титанов и сверг своего отца Сатурна. — 474.

Глава XXIII

1* *Сервет, Мигель* (ок. 1511—1553) — испанский врач и богослов, сожженный на костре кальвинистами. — 477.

Глава XXIV

1* *Мадридское восстание* — восстание против регентши Марии-Анны Австрийской, которая правила Испанией с 1665 по 1675 г.

Фактическим правителем был иезуит Нитард, политика которого вызвала возмущение. — 478.

2* *Дело иезуитов* — имеется в виду крушение ордена иезуитов в Португалии, Франции и других странах. Иезуиты в Португалии были изобличены в мошенничестве и спекуляции и замешаны в покушении на убийство короля. В 1759 г. они были арестованы и высланы в Италию. Во Франции иезуиты, уличенные в торговых махинациях, вызвали всеобщее негодование и в 1764 году были изгнаны из страны, а деятельность их была запрещена. — 478.

Глава XXV

1* *Сантарелли, Антонио* (1569—1649) — иезуит, автор трактата, в котором обосновывал право папы свергать и наказывать королей. Трактат был осужден к сожжению парижским парламентом в 1627 г. — 472.

2* *Луций Эмилий Павел* (III в. до н. э.) — римский консул, одержавший победу над войсками Македонии при Пидне в 168 г. до н. э. — 480.

Глава XXX

1* *Фома Кентерберийский* — католический святой. — 488.

2* *Малле, Эдм* (1713—1755) — французский литератор, сотрудник «Энциклопедии», издававшейся Дидро и Д'Аламбером. — 489.

3* *Фра Паоло*, настоящее имя Сарпи, Пьетро (1552—1626) — венецианский богослов, выступавший против папы Римского и отлученный от церкви. В 1607 г. на него было совершено покушение и он был ранен, а не убит, как указывается у Гельвеция. — 489.

4* *Узнаю римского наемника* (лат.). — 489.

5* *Малатеста* (ум. 1482 г.) — итальянский кондотьер, захвативший Римини и вступивший в конфликт с папой Павлом II. — 490.

Глава XXXI

1* *Бузирис* — легендарный царь Египта, который приносил в жертву богам всех иностранцев, приезжавших в Египет. — 492.

2* *Ормузд* — древнеперсидский бог света, воплощение добра. Он находится в борьбе с Ариманом — богом мрака, воплощением зла. — 493.

3* *Шуазель, Этьен Франсуа* (1719—1785) — министр иностранных дел при Людовике XV. — 494.

4* Речь идет о Мехмеде II Завоевателе, турецком султane, войска которого после осады в 1453 г. взяли столицу Византии Константинополь. — 495.

Примечания

1* *Серапис* — главное египетское божество птолемеевской и римской эпох. В дальнейшем отождествлялся с Плутоном или Юпитером. — 502.

РАЗДЕЛ X

Глава VI

1* *Прад* (1720—1782) — аббат, французский литератор, сторонник философии просветителей, выступал против папы Римского и французского парламента. — 516.

Глава VII

¹* *Термин* — в древнеримской мифологии бог, охраняющий границы земельных участков. — 519.

²* Здесь Гельвеций, как и другие материалисты XVIII в., выражая идеологию буржуазии, отстаивает неприкосновенность и незаблемость буржуазной частной собственности. — 520.

Краткое повторение содержания

Глава III

¹* *Бонифаций VIII* (1294—1303) — папа Римский. — 557.

²* *Абулолла* — речь идет об Абу-Аль-Маарри (973—1057), арабском поэте и философе-пантеисте, мыслителе с стихийно-материалистическими и атеистическими воззрениями. — 559.

МЫСЛИ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

«Мысли и размышления» относятся к периоду творческой зрелости Гельвеция и предваряют идеи, высказанные в труде «О человеке». В 160 мыслях и высказываниях он обосновывает необходимость опытного знания, противопоставляя его оторванным от фактов философским спекуляциям, отстаивает детерминизм, хотя и метафизического толка, развивает утилитаристскую этику, основанную на принципе интереса, подвергает острой критике религию и духовенство, фанатизм и нетерпимость, высказывает идеи естественного права и буржуазной законности.

Впервые «Мысли и размышления» были опубликованы Лефевр-Ларошем в 1795 г. (*Oeuvres complètes. Publiées par Lefevre-Laroche d'après les manuscrits legués par Helvetius, 14 vol. in 18°. Didot, 1795.*).

На русском языке публикуются впервые. Перевод, выполненный И. С. Шерн-Борисовой, сверил с оригиналом М. Н. Делограмматик.

¹* *Секта академиков* — по-видимому, намек на приверженцев основателя Академии, древнегреческого философа Платона. — 576.

²* *Пресуществление* (transsubstantiation) — религиозное таинство евхаристии, причащения. Гельвеций высмеивает его также в изречении ХСV. — 583.

³* *Патримониальная и церковная юрисдикция* — пмечются в виду суды, которые принадлежали феодалам, и церковные суды, распространенные в эпоху феодализма. — 592.

⁴* Здесь и в других местах Гельвеций с позиций идеолога буржуазии подвергает критике феодальную правовую систему, содержащую множество ограничений права частной собственности. — 598.

ПИСЬМА

Здесь приведены в переводе некоторые письма Гельвеция, изданные французским исследователем его творчества А. Кеймом.

Перевод, выполненный И. С. Шерн-Борисовой, сверен с оригиналом М. Н. Делограмматиком.

¹* Здесь непереводаемая игра слов: *envoyer paître* — выгнать вон, послать ко всем чертям, и *mener paître* — пасти (примечание переводчика). — 605.

2* *Аббат Куайе* — прогрессивный французский деятель, выступивший в защиту книги Гельвеция «Об уме». Ему приписывается полемическое «Письмо преподобному отцу Бертье о материализме», в котором содержится сильнейшая критика доводов иезуитов против труда «Об уме».

Венсенн — укрепленный замок, служивший местом заключения французских политических преступников. *Тома, Антуан Леонард* (1732—1785) — французский литератор, примыкавший к энциклопедистам, автор панегириков выдающимся людям. — 605.

3* «*Беседы*» — имеется в виду произведение Вольтера «Беседы дикаря и бакалавра» (1761 г.). — 605.

4* «*Счастье*» — поэма Гельвеция, над которой он работал десять лет. Была опубликована в Лондоне после его смерти (см. Предисловие проф. Момджяна Х. Н. к 1-му тому «Сочинений» Гельвеция). — 606.

5* Адресат этого письма не установлен. — 606.

6* Письмо адресовано И. И. Шувалову. Оно представляет ответ на письмо, в котором И. И. Шувалов дал высокую оценку Гельвецию. — 608.

7* *Адемт* — в древнегреческой мифологии основатель и король Фер в Фессалии и один из аргонавтов. Аполлон охранял его стада. — 609.

8* *in verba magistri* — словами своего учителя (лат.). — 610.

9* *Робертсон, Уильям* — см. примеч. 3* к гл. XII разд. II. — 611.

10* *Стюарт* — англичанин, которому Гельвеций собирался передать свою книгу «Об уме» для опубликования в Лондоне, однако передумал. *Дегондт* — посредник, при помощи которого Гельвеций отправил книгу «Об уме» в Голландию для издания. — 611.

11* *Друг...* *передумал* — речь идет о самом Гельвеции. «Этот друг», о котором пишет Гельвеций, он сам. Незадолго до смерти у Гельвеция был замысел издать свою книгу «О человеке» в Англии. Это письмо, дата которого не указана, по-видимому, было написано в 1770 г. (Примечание А. Кейма — французского исследователя творчества Гельвеция). — 611.

12* *Ей нанесен удар* — по-видимому, имеется в виду одно из поражений, нанесенных Франции в Семилетней войне (1756—1763), которая в целом закончилась для нее неудачно. — 612.

13* Письмо относится, очевидно, к 1758 г., когда книга Гельвеция «Об уме» вызвала возмущение клерикальной реакции и дофина — наследника королевского престола. Шовелен враждебно относился к иезуитам, поэтому Гельвеций обратился к нему за помощью. — 612.

14* *Ла Бред* — имение Монтескьё, где бывал Гельвеций. — 616.

15* Речь идет о теории разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, которой придерживался Ш. Монтескьё. Она была основана на классовом компромиссе буржуазии и феодально-аристократической власти. — 618.

16* Речь идет о судах, называвшихся во Франции парламентами. — 618.

17* *Сорен, Жозеф* (1706—1781) — французский поэт, единомышленник и друг Гельвеция.

«Зачем мне оскорблять друга мелочами? Эти мелочи завершаются злым осмеянием и воспринимаются дурно» (лат.). — 620.

18* «*Персидские письма*» — труд Ш. Монтескьё. — 621.

^{19*} *Лефевр-Ларош, Мартин* — аббат, друг Гельвеция. После смерти Гельвеция издал полное собрание его сочинений в 1795 г. — 622.

^{20*} Речь идет о книге Гельвеция «Об уме». — 634.

^{21*} Несчастный, это священно (лат.). — 634.

^{22*} Это письмо, без даты и адреса, написано в тот год, когда вышла книга «Об уме». Хотя оно найдено в бумагах Гельвеция, письмо, по-видимому, было адресовано не ему самому, а какому-то общему другу, который дал Вольтеру книгу «Об уме» (примечание А. Кейма). — 634.

^{23*} *Vae victis* — горе побежденным; *vae victori* — горе победителю (лат.). — 635.

^{24*} Речь идет о Ж.-Ж. Руссо. — 636.

^{25*} «Кажется, что ваши стихи написаны рукой Аполлона, плодом чего будет лишь моя признательность. Ваша книга продиктована здравым разумом. Быстро отправляйтесь в путь и покидайте Францию». — 636.

^{26*} *Знаменитая дама* — речь идет о маркизе Эмили д'ю Шатле. — 637.

^{27*} *Палиссо* (1730—1814) — автор пьесы под названием «Философы» — пасквиля на французских энциклопедистов. *Наши Дамьены* (*les Damiens*) — по-видимому, имеются в виду религиозные фанатики. Дамьен Робер совершил покушение на Людовика XV. Просветители обосновывали в своих трудах, что царевубийцы рекрутируются из религиозных фанатиков и инспирируются католической церковью. — 638.

^{28*} *Шатле, Эмилия д'ю* (ум. в 1749 г.) — приятельница Вольтера, одна из образованнейших женщин Франции.

Маротический стиль — стиль, свойственный французскому писателю XVI в. Маро. — 639.

^{29*} Разве не хочешь быть здоровым? Остерегайся водянки (лат.). И неистовые уносят знаменитого (лат.). — 639.

^{30*} *Конвульсионеры* — так назывались фанатические янсенисты XVIII в., у которых религиозная экзальтация вызывала конвульсии. *Воре* — поместье, где жил Гельвеций. В *Делисе* жил Вольтер. — 641.

^{31*} «*Цинна*» — трагедия П. Корнеля. *Леден* (*Le Daim*, или Неккер, Оливье) — цирюльник, доверенное лицо Людовика XI; повешен в 1484 г. — 641.

^{32*} *Круазе, Жан* (1656—1738) — французский иезуит, автор многотомного сочинения «Размышления преподобного отца» (1694 г.). — 642.

^{33*} *Буланже, Никола Ангуан* (1722—1759) — французский литературовед. — 643.

Воспоминания и отзывы современников о Гельвеции

Воспоминания и отзывы о Гельвеции взяты из книги под ред. А. Кейма (*Helvetius C. A. De l'esprit. De l'homme. Notes, maximes.* Paris, 1909).

Перевод И. С. Шерн-Борисовой сверен М. Н. Делограмматиком.

^{1*} *Мармонтель, Жан Франсуа* (1723—1799) — французский литератор, один из главных редакторов «Энциклопедии». — 646.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

- Абдурахман 416
 Абеляр, Пьер 252
 Абулолла 559
 Август Гай Юлий Цезарь Октавиан 110, 287, 299, 300, 608
 Августин, Аврелий 456
 Агриппа Негтесхеймский 253
 Аларих (Аларих I) 168
 Александр Македонский 15, 201, 245, 247, 297, 314, 367, 563
 Альбани 65, 398
 Альберт Великий 253
 Альфред Великий 469
 Анаксимен 140
 Анахарсис 217
 Анна (Анна Стюарт) 164
 Антиох IV Эпифан 240, 249, 314
 Антонин Пий 184, 251, 290, 345
 Апеллес 409
 Аполлоний Тианский 253
 Аппий 441
 Арат 359
 Ардуэн, Жан 103
 Аристид 35, 135
 Аристотель 76, 243, 318, 516
 Архимед 288
 Аттила 246, 438

 Балюз, Этьен 63
 Барильон, Поль 135, 159
 Бароннус, Цезарь 167
 Бейль, Пьер 179, 225, 227, 241
 Беккарна, Чезаре 406
 Беллармин, Робер 160, 481, 487
 Белловез 93

 Бержерак, Спрано де, Савиньен 635
 Берк, Эдмунд 302
 Бернабо 469
 Бернар, Самуэль 308
 Бертье, Франсуа 75, 371, 495, 640
 Болингброк, Генри Сент-Джон 643
 Бомон, Кристоф де 643
 Бонифаций VIII 557
 Боннье 415
 Боннэ, Шарль 30
 Боссюэ, Жак Бенинь 125, 158, 636
 Брауншвейгский, принц 247, 506
 Бренн 93, 200
 Бриссо 449
 Бросс, Шарль де 142
 Брут, Луций Юний 36, 359
 Брут, Марк Юний 157, 208, 265, 288, 292, 359, 480
 Буало-Депрео, Никола 68, 108, 193, 396, 397, 399, 403, 405, 407
 Бузенбаум, Герман 358
 Буланже, Никола Антуан 643
 Бульон 433
 Бургав, Герман 282
 Бургонь 640
 Бэкон, Фрэнсис 57, 161, 171
 Бюффон, Жорж Луи Леклерк 20, 61, 107, 119, 391, 448

 Варбуртон 141
 Вегетий 339
 Веллей Патеркул 217

* Указатели составлены Е. А. Сафроновой.

Вергилий, Публий Марон 193,
227, 242, 253, 608
Вестрис 84
Вийон, Франсуа 639
Вильгельм III Оранский 618
Висконти 489
Виссарион (кардинал) 196
Вокансон, Жак де 28, 29
Вольдемар 484
Вольтер, Франсуа Мари
(Аруэ) 11, 56, 57, 75, 107,
110, 111, 132, 151, 162, 191,
293, 350, 408, 436, 605, 609,
634, 636—638, 640—642
Галилей, Галилео 128, 159,
227, 635
Ганнибал 15, 297, 576
Гарас 375, 376
Гарвей, Уильям 449
Гарле, Ахилл 135
Гастальд 250
Гелон 245
Геннепэн, Луис 129, 141
Гено 402, 416
Генрих III 62, 164, 376, 487,
488
Генрих IV 60, 125, 164, 469,
478, 484, 487, 488, 506, 563,
597, 638
Генрих VIII 33, 164, 184, 484
Генрих Прусский, принц 75,
247
Георг III 306
Гераклит 140
Герменигильд 469
Герсон, Жан 225
Гесиод 303
Гипатия 107, 469.
Гиппократ 282
Гоббс, Томас 43, 68, 94, 105,
365
Гок 317
Гокинкур 125
Гомер 107, 242, 253, 288, 292,
293, 436, 635
Гораций Флакк, Квинт 608,
634
Гораций, Публий Коклес 265,
336
Гордон 475
Готье 300
Гоша, Габриэль 75, 132
Гримм, Фредерик Мельхиор
300, 645

Гроций, Гуго 64
Гурвиль, де 343
Гюг 65
Гюйгенс, Христиан 57
Д'Аламбер, Жан Лерон 117,
119, 636
Дамьен, Робер 397, 638
Дашпер, Ольферт 95
Дарий (III, Кодоман) 240, 309,
314
Девонширский, герцог 341
Дегондт 611
Декарт, Рене 74, 104, 110, 131,
140, 227, 241, 253, 516
Дементрий 201
Демокрит 161, 253
Демосфен 59
Депрео см. Буало
Деций 60
Джафир Алихан 183
Дидро, Дени 23, 107, 192, 241,
646
Диоген из Синопа 156
Дион 359
Дионисий Ареопagit 252
Дома, Жан 282
Доминик 222
Дон Жуан IV 489
Дюкло, Шарль Пино 107
Дюмулен, Шарль 193
Евклид 282, 457
Екатерина II 9, 60, 107, 245,
247
Елизавета (Тюдор) 107, 164,
184
Елисей 641
Жорден 611
Зопир 408
Зороастр 43, 253
Ибн-Бехер 454, 455
д'Ивертю 469
Иероним 557
Итакий 486
Кавейрак, Жан Нови 75
Казан, де (кардинал) 157
Калас, Жан 293
Калло, Жак 65

Кальвин, Жан 16, 375, 376,
 477, 501
 Камбрейский (архиепископ)
 636
 Камилл, Марк Фурий 147
 Каней 125
 Каракалла, Марк Аврелий Ан-
 тонин 299
 Карл I 306
 Карл II 343
 Карл III, герцог Савойский 449
 Карл V 219, 220, 449
 Карл IX 223
 Карл Великий 64, 164, 468
 Кассий, Лонгин Гай 292
 Кассиодор, Магнус Ангелиус
 252
 Катина, Никола де 191
 Катон Цензор (Катон Стар-
 ший) 134, 245
 Квинтилиан, Марк Фабий 68,
 69
 Кенз, Франсуа 448
 Кимон 242
 Клеман, Жак 128, 488, 501
 Клеро, Алексис Клод 117, 282
 Климент (Климент V) 375
 Клит 247
 Кодр 35, 157
 Колумб, Христофор 152
 Кольбер, Жан Батист 110
 Коммин, Филипп де 297, 469
 Комус 173
 Конде, Луи де Бурбон 298
 Константин I 467, 468, 557
 Конфуций 217
 Корнель, Пьер 11, 30, 58, 94,
 104, 110, 400, 408, 641
 Кортес 201
 Косьма 219
 Крузе, Жан 642
 Кребильон, Проспер Жюлио
 558
 Крез 416
 Крисп 468
 Кромвель, Оливер 29, 30, 189,
 206
 Круа, ла 358
 Ксенофонт 326, 327, 438
 Ксеркс 529
 Куайе 605
 Курций 444
 Лаба, Жан Батист 95
 Лактанций 252

Ламберт, Иоганн Генрих 252
 Ламот, Франсуа де 402, 642
 Ланкло, Нивон де 372
 Ланоти, Бартелини 479
 Ларошфуко, Франсуа 393, 642
 Лафонтен, Жан де 11, 57, 94,
 155, 194, 255
 Ле Ден 641
 Ле Норман 638
 Лесонид 157, 204, 480
 Ле Телье 640
 Лефевр-Ларош, Мартин 622
 Ли 365
 Ликург 35, 46, 134, 293, 340,
 388, 429, 438—440, 480
 Линьяк, Жозеф 75
 Лициний (шурион Константи-
 на) 468
 Лициний (племянник Кон-
 стантина) 468
 Лойола, Игнатий 369
 Локк, Джон 57, 67—69, 74, 104,
 109, 153, 179, 193, 197, 225,
 240, 265, 516, 551, 552, 583,
 618
 Лонгин 193, 397
 Лонгрю, де 103
 Лукиан 561
 Лукреций, Тит Кар 642
 Людовик Баварский (Благо-
 чествивый) 490
 Людовик XII 525
 Людовик XIII 433
 Людовик XIV 39, 110, 164, 168,
 280, 299, 300, 486, 503, 609
 Людовик XV 110
 Люксембург, де 59
 Лютер, Мартин 16, 501
 Магомет 43, 129, 143, 215, 222,
 376, 408, 475, 559, 563
 Магомет II 168, 495
 Макиавелли, Никколо ди Бер-
 нардо 63, 103, 135, 282,
 297, 340, 350, 354, 371, 441,
 460, 475, 496, 499, 500, 585
 Маколей 159
 Максим 486
 Максимин 468
 Малатеста 490
 Малле, Эдм 489
 Мальборо, Сара Феннигс 33
 Мальбранш, Никола 56, 75
 Мальво, де 481

Манлий Капитолийский 336
 Манко-Капак 422
 Маньи, Лозель де 68
 Марий, Гай 392
 Марков 74
 Мария, английская королева 184, 493
 Марк Аврелий 251
 Мармонтель, Жан Франсуа 56, 107, 159, 195, 516, 646
 Мартин 486
 Матьяш 290
 Менипп 443
 Мену 641
 Меценат, Гай Цильний 608
 Миланский, герцог 340
 Мильтон, Джон 29, 107, 139, 294, 400, 411, 617
 Минто 169
 Мирон (Робер) 135
 Мольтер (Жан Батист Поклен) 11, 29, 30, 409
 Монроз 30
 Монтесума II 128, 244, 488
 Монтекули, Реймондо 282
 Монтень, Мишель де 57, 254, 350, 420, 505, 621, 647
 Монтескье, Шарль Луи 56, 110, 162, 202, 203, 205, 241, 296, 371, 407, 448, 588, 591—593, 616, 622, 645
 Мопертюп, Пьер Луи Моро 241
 Морери 58
 Морланд, Самуил 249
 Мот, де ла 268
 Муций Сцевола 265, 400

 Нерон 224, 299, 487
 Ниверне, Луи Жюль 107
 Нодэ, Габриэль 253, 499, 500
 Ньютон, Исаак 57, 58, 68, 103, 104, 109, 119, 152, 153, 179

 Омейяды, династия 303
 Оранский, принц 125
 Орлеанский, герцог 110

 Павел V 489
 Палиссо де Монтенуа, Шарль 638
 Паоло 489
 Папирий, Люций Курсор 147
 Парацельс, Филипп Ауреол

Теофраст Бомбаст фон Гогенхейм 253
 Паскаль, Блез 68, 108, 181, 187, 434, 542
 Пассионен 613
 Патрасен, Этьен 557
 Пепп 144
 Пелопид 60, 208, 288, 359
 Пенн, Уильям 422
 Перрон, дю 62
 Петр, царь (Петр I) 351
 Пилат (Понтий Пилат) 126
 Пиппин (Пиппин Короткий) 468
 Пиррон 126
 Питт 494
 Пифагор 152, 156, 161, 318
 Платон 89, 97, 156, 161, 318, 355, 642
 Плутарх из Херонеи 25, 97, 133, 135, 242, 563, 581
 Полибий 282
 Помпей, Гней 15, 392, 408
 Помпийн, Жан Жак 75
 Поп, Александр 108, 190
 Порция 134
 Пот 57
 Прад, де 516
 Прадон 194
 Пратт 248
 Прево д'Экзиль, Антуан Франсуа 611
 Присциллиан 486
 Птолемей Филадельф 163
 Пуавр, Пьер 114, 296

 Рабле, Франсуа 14, 155, 639
 Равальяк 359, 397, 488
 Расин, Жан 11, 57, 68, 111, 194, 243, 408
 Рафаэль Санти 15
 Регнакарый 468
 Регул 157, 204, 480
 Рец, Поль де Гонди 135, 159
 Ривьер, Мерсье де ла 472
 Ришелье, Арман Жан дю Плесси 110, 159, 287, 288, 582, 597, 630
 Рипмер 468
 Робен 641
 Робертсон, Уильям 108, 611
 Робине, Жан Батист Рене 71, 162
 Ромэн, Жюль 398
 Руссо, Жан-Жак 31, 32, 41, 56, 59, 86, 107, 108, 156, 159,

220, 224, 238, 251, 252,
257—262, 267, 268, 271—
277, 280—282, 284, 285, 293,
294, 296, 298—300, 355, 407,
480, 516, 543, 563, 630, 647,
648

Саади, Муслихиддин 270
Саварон, Жан 468
Савиль, Георг де 57
Саксонский, маршал 563
Сантарелли, Антонио 479
Сафо 107
Севах Гуссейн 351
Сегн, Жозеф 75
Сенека, Луций Анней 193
Сен-Ламбер, Жан Франсуа 107
Сен-Пьер, Шарль де 54, 439
Сен-Реаль, Цезарь 277
Сен-Флорентен, де 613
Сервет, Мигель 477
Серторий, Квинт 408
Сидней, Олджернон 46, 303
Сидуций 475
Сильвестр (Сильвестр I) 253
Симонид 183
Синезий 155, 156
Скалигер, Жюль Сезар 103
Скаррон, Поль 108, 155
Сократ 135, 147, 159, 224, 245
Соломон 253
Солон 46, 89, 133, 243, 245, 367
Сорен, Жозеф 107, 291, 620,
641
Стюарт 611
Сулла, Луций Корнелий 392
Сципион 15, 135, 298

Тамерлан 367, 453
Тарквинии 359
Тассо, Торквато 242
Тахмасп Кули-хан 208, 209,
246, 454
Тацит, Публий Корнелий 103,
282, 298, 581
Темплъ, Уильям 341
Теофил 155, 156
Тертуллиан, Квинт Септимий
Флоренс 252
Твар де Бисси, Пон де 376
Тиберий, Клавдий Нерон 64,
183, 338
Тигран (Тигран II) 240, 249,
309, 314

Тийяде 642
Тимолеон 35, 135, 204, 288,
359, 480
Тит Ливий 63, 297, 350
Тит Флавий Веспасиан 184,
345
Толанд, Джон 68
Тома, Антуан Леонард 605
Траян, Марк Ульпий 183, 184,
219, 251, 345, 492, 497
Трибониан 431
Туллий 240
Тюрени, Анри де ла Тур
д'Овернь 298, 436

Фалес 140
Фауста 468
Фекье, Антуан 282
Фемистокл 242
Фенелон, Франсуа де Салинь-
як 125, 158, 229
Филипп II, испанский король
245, 596
Филипп Македонский 59, 500
Фитц Джеймс 229
Флери, Клод 255
Флери, Жюли де 638, 644
Фока 209
Фома Аквинский 499, 500
Фонтенель, Бернар Ле Бовье
де 58, 63, 68, 94, 110, 155,
225, 253, 376, 423, 586, 640
Франциск I 164, 635
Франциск (Франциск Ассиз-
ский) 36, 60
Фрере, Никола 643
Фридрих II, прусский король
9, 60, 191, 219, 241, 290,
506, 597

Хаккам 454, 455
Хлодвиг 467, 468
Хогарт, Уильям 58

Цезарь, Гай Юлий 189, 241,
243, 282, 292, 298, 359, 392,
631
Цибрак 135
Цицерон, Марк Тулий 189,
206, 241, 631, 642

Шалотэ де ла 161, 247
Шарден, Жан 111, 215
Шатле, Эмплия дю 639, 640

Шейнер 227
Шекспир, Уильям 29, 58, 365
Шефтсбери (Антони Эшли
Купер) 59, 65, 262, 263,
265, 266, 362, 425
Шовлен, Анри Филипп 158, 512
Шомэ, Абрахам Жозеф 75
Шоу 110
Шуазель, Этьен Франсуа де
494

Эвмен 134
Эвригильд 469
Эврипид 586
Эдуард VI 184
Эйлер, Леонард 119

Эмилий (Луций Эмилий Па-
вел) 480
Эмпедокл 253
Эпаминонд 293
Эпикур 288, 642
Эрно 73
Эсхил 398

Ювенал, Децим Юний 184
Юлиан (император) 183
Юм, Давид 75, 135, 162, 170,
171, 255, 282, 352, 355, 429,
473, 493, 609, 610
Юстиниан 431

Яков I 217

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абстракция
 — в искусстве, поэзии 410, 411
 — и воображение 412
 Аналогия 67
 Атеист (атеисты) 162, 254
 Благо
 — общественное 433, 545 (см. религия)
 Бог 71, 166
 — нравственный 498
 — как физическая первопринципа 498
 Богатство (богатства) 93, 324, 330, 331, 334, 386
 — как власть 91
 — любовь к 341, 529
 — неравномерное распределение 317, 321, 340, 430
 — и бедность 337, 341
 — и законы 385
 — и форма правления 339 (см. роскошь, счастье)
 Богослов (богословы) 61, 132, 133 (см. невежество, а также папизм, теология)
 Брак 423
 — и законы 424, 565
 Вера 226
 — и интерес 473
 — и сила 252
 Веротерпимость 231, 250, 478, 587 (см. также терпимость)
 Вкусы 112
 — и ощущения 115
 Власть (светская) 34, 35, 240
 — как добродетель 189
 — любовь к 90, 188, 195, 201, 203, 211, 233, 241, 246, 542
 — и духовная 36, 51, 66, 130, 131, 348, 364, 431, 481, 488, 492
 — и форма правления 204, 205 (см. богатство, справедливость)
 Внимание 176, 236, 278
 Возвышенное
 — определение 397, 402
 — в идеях отвлеченных 401
 — в мире физическом 400
 — в образах 397, 399
 — в чувстве 397
 — и прекрасное 397, 401
 — и страдание 397, 398
 — и страх 397—399, 401
 Воспитание 12, 19, 23, 40, 41, 55, 58, 176, 238, 271—274, 278, 281, 504—508, 525, 552
 — правила 34, 38
 — домашнее 24, 510
 — идеальное 508
 — индивидуальное 275, 595
 — нравственное, духовное 33, 516, 527, 533, 534
 — общественное 275, 509, 510, 595
 — физическое 511—513, 534
 — школьное 24, 458
 — детства 21, 24, 280, 528
 — юношеского возраста 26, 27, 528
 — и случайности (случай) 24, 27, 28
 — и форма правления 27, 530 (см. государь, добродетель, закон, наука, страх, ум, философия)

Восстания (беспорядки) 451, 455

— причины 447

Впечатление (впечатления) 22, 23, 114, 115

Гений 151, 173, 179, 249, 281, 286, 573

— и случай 30, 33, 58, 173, 174

Глупость 14, 15, 572

Гордость

— благородная 50

Государство (государства) 279, 497, 572, 577, 580, 584, 585, 601

— классы в 205

— деспотическое 202—204, 249, 322

— монархическое 202, 203, 587, 595

— республиканское 202, 203, 597

(см. также общество, форма правления)

Государь 492, 507

— воспитание 508

— просвещенный 60, 475, 484

— суеверный 485

Гуманность (человечность) 50, 87, 229, 267, 271, 295, 575

— просвещенная 121

Движение 162, 531

Деньги (денежное обращение) 325, 327, 328, 342, 435

— стремление (любовь) к 324, 332, 333

(см. роскошь)

Добро 626

Добродетель (добродетели) 64, 126—129, 133, 135, 146, 157, 159, 258, 259, 272, 282, 309, 372, 384, 439, 513, 526, 574, 578, 580

— любовь к 207

— гражданские, социальные 525, 566

— истинная 132

— монашеская 525

— женщины 599

— и воспитание 209

— и законы (законодательство) 211, 246, 259, 347, 351, 352, 355, 374

— и форма правления 209 (см. истина, религия)

Доброта 123, 263, 270, 271, 575

Душа 70, 75, 141

— как способность ощущать 74

— и мышление 74, 76

— и свобода 370

— и ум 72, 74, 76

Ересь 131, 224

Желания 60, 415

Животное (животные) 72, 77, 470, 589

Жизнь 378, 383

Зависть 190—193, 420, 436

Законы (закон, законодательство) 64, 196, 197, 339, 429, 432, 434, 437, 446, 456, 498, 521, 523, 545, 548, 587, 588, 616, 617, 621

— естественные 160, 166, 226, 371, 372, 521, 601

— изменяющиеся 522

— монашеские 369

— справедливые, разумные, идеальные 368, 369, 371, 427, 436, 437

— и воспитание 432

— и интересы 430, 438, 442

— и нравы 428, 600

— и религия 135, 347, 349, 545

— и форма правления 440, 594

(см. богатство, брак, добродетель, искусства изящные, просвещение, религия, роскошь, собственность, справедливость)

Знание 119

Идеи (идеи) 80, 136, 137, 405, 406

— ложная 407

— новая 173, 581

— реальные 81

— и ощущения 83, 403

— и чувства 70, 538

(см. возвышенное, чувствительность физическая)

Иезуиты 57, 59, 124, 125, 361—366, 374, 585
 — организация 356, 358, 363, 367
 — учение 354
 Интерес 124, 261, 263, 354, 467, 560, 575, 584, 610, 611
 — как универсальная движущая сила 260
 — народа (национальный) 368, 463, 591
 — и чувствительность физическая 83, 86 (см. вера, законы, интерес)
 Искусства изящные 394, 395, 412—414
 — и закон связи в идеях, образах и чувствах 403
 — и мерило красоты 402, 407 и подражание природе 408, 409
 — и украшение природы 409, 410, 412 (см. абстракция)
 Истина (истинное) 126, 150—154, 171, 285, 443, 445, 447, 457, 496, 540, 541, 574, 585
 — источник 462
 — полезность 456, 459, 464, 521, 548
 — новая 450
 — нравственная (нравственность) 444, 446, 449, 451, 465
 — и вероятное 170
 — и добродетель 460
 — и заблуждение 41, 350, 461, 475
 — и интерес 474, 475, 477
 История 62, 573, 580, 596
 Любовь 102, 133, 303, 388, 392, 393
 — платоническая 391
 — физическая 391
 — к ближним 97, 265
 — к отечеству 95
 — к родителям 96
 — к себе 182, 241, 265
 — к человечеству 439 (см. богатство, власть, деньги, добродетель, слава, а также себялюбие)

Материалисты 253, 254, 256
 Материя 254
 Метафизика 171, 583
 — схоластическая 161 (см. также схоластика)
 Мнение 475 (см. разум)
 Мысль
 — как вид собственности 518, 519 (см. свобода)
 Наблюдение 71 и суждение 78
 Наслаждения (наслаждение) 390, 610
 — чувственные 380 (см. удовольствия)
 Наука (науки) 281, 282, 290, 291, 554, 572
 — и нравы 286, 287 о человеке 11, 13, 55, 555 (см. нравственность)
 Наука о воспитании 26, 56, 176, 506, 531, 533, 536, 562
 — цель 514
 Нация (народ) 245, 335, 443, 583, 589, 590, 592, 599, 633
 — определение 378
 — дух (характер) 182, 183, 185, 239, 255, 262, 485
 — право 591
 — бедная 342
 — богатая 331
 — невежественный 282, 284, 451, 459
 — порабощенный, суеверный 303, 503
 — просвещенный 180, 303, 304, 441, 451, 459, 631, 632 свободный 332 (см. интерес)
 Невежество 14, 28, 286, 292, 304, 305, 351, 420, 544
 — богослова 40
 — народа 493
 — и деспотизм 298, 299, 301, 306
 — и изнеженность, праздность 301, 302
 Несчастье 236, 382, 420
 Неприязнь 220, 223, 226, 230—233, 448, 478, 492
 — гражданская 212, 214

- религиозная 221, 229, 254, 346, 479
- Нравственность (мораль) 42, 158, 267, 354, 426, 432, 433, 458, 523, 584
- аксиома 433, 524, 532, 554
- определение 264
- как наука 64, 347, 453, 516, 531, 533, 554, 555
- принципы истинные 517
- цель 171
- истинная 349
- современная 517
- духовенства (церкви) 42, 244, 476, 524
(см. истина; религия, чувствительность физическая, а также теория)
- Нравы 576
- испорченность 99, 311, 435
(см. законы)
- Общество 156, 311, 378, 428
- зарождающееся 312, 313
- и сословия (классы) 312, 319, 382, 429
(см. счастье, а также государство)
- Общительность 94, 96
- Очевидность 169, 170
- Ощущение (ощущения) 20, 109, 117, 396, 402
- физическое 69
- и суждение 79, 80, 82
(см. вкусы, идеи, память, а также чувство)
- Память 104, 105, 261, 573
- и ощущение 76, 78, 103
- и предвидение 88
- и ум 72, 73
- Папизм (паписты, духовенство) 43, 45, 62, 63, 66, 114, 130, 131, 144, 145, 156, 227, 229, 349, 364, 477, 501, 505, 557, 579, 583, 586, 593, 625
(см. нравственность, а также церковь)
- Польза
- общественная 577
(см. религия)
- Потребности (потребность) 282, 283, 390, 394
- удовлетворенные и возникающие 326, 327, 381, 383
(см. счастье)
- Почести 99, 342, 609
- Право 601
(см. нация, собственность)
- Праздность 393, 419
- Предрассудки 579
- Презрение
- общественное 520
- Прекрасное 395, 402
- познание 395
- и истинное 407
(см. возвышенное)
- Природа 77, 269
(см. искусства изящные, человек)
- Просвещение 284, 286, 292, 297, 543, 588, 624, 625, 630
- и законы 335
- и счастье людей 633
- и форма правления 506, 507, 595, 626
(см. философия)
- Равенство 596
(см. ум)
- Размышление 119
- Разум 355, 559, 571, 589, 591, 601
- естественный 146
- и мнение 582
- и опыт 553
- и страсти 471
- Религия (религии) 43, 50, 51, 147, 250, 252, 347—351, 355, 459, 477, 491, 496, 545, 572
- вредная 47
- естественная 251
- истинная 47
- католическая (папистская) 51, 64, 142, 352, 478, 502
- ложная 129, 141—143
- протестантская 253
- реформистская 64
- универсальная 45
- христианская 43
- языческая 51—53, 142
- скандинавов 53
- и добродетель 50, 228, 345, 346, 525
- и закон естественный 349
- и нравственность 49, 62

- и польза (благо) общественная 42, 54
- и философия 470, 561 (см. законы)
- Роскошь 307, 339, 430, 544
- как неравномерное распределение национального богатства 292, 309, 311
- национальная 308, 337
- и деньги 329, 330
- и законы 324, 341
- и форма правления 323, 335
- Самодержавие 453, 498 (см. также форма правления)
- Свобода 137, 346, 435, 587, 596
- мысли 231, 459
- печати 248, 457, 458 (см. душа)
- Себялюбие 188, 233, 234, 238, 263, 294, 517, 542
- и страсти 235 (см. также любовь)
- Семья 590
- Система 162, 163
- мира 140
- Скука 382, 387, 389, 416
- Слава 176, 178, 189, 190, 286, 608
- любовь (страсть) к 26, 236, 255, 542
- Случай (случайность) 22, 23, 153, 172
- определение 33 (см. воспитание, гений)
- Собственники 316, 317, 320
- Собственность 317, 564, 565
- законы 520
- право 318, 384, 385, 429, 519, 565 (см. мысль)
- Соревнование 26, 40, 436, 510
- Сословие
- буржуазное 310
- знатное 310 (см. общество, а также государство)
- Сострадание 191, 266, 268
- и страдание 267
- Споры 448, 571
- Справедливость 195, 196, 199, 243, 244, 258, 259, 519, 520, 573
- божественная 552
- и власть 200, 202, 206, 246
- и законы 198
- и сила 199, 200, 202, 586
- Страдание 100—102, 266, 267, 401, 507, 610
- связанное с предвидением 88
- физическое 86, 87, 89, 90
- и угрызения совести 88, 89 (см. возвышенное, сострадание)
- Страсть (страсти) 28, 37, 60, 61, 176, 178, 179, 234, 233, 541, 542
- искусственная 181, 188, 594 (см. разум, себялюбие)
- Страх
- как средство воспитания 566 (см. возвышенное)
- Суеверие 42, 146, 230, 355, 372, 448, 449
- Суждение (суждения) 395 (см. наблюдение, ощущение)
- Схоластика (схоласты) 14—16, 56, 171
- Счастье 138, 415, 419—421, 578
- одинаковое 379, 382
- богача праздного 416
- индивида 378, 546
- общества (нации) 378, 421, 546, 574
- трудолюбивого 416
- и богатство 384, 385, 416, 421, 547
- и труд 381, 382, 417, 419
- и удовлетворение потребностей 379, 380 (см. просвещение)
- Талант 12, 13, 307
- определение 261
- Теология (теологи) 71, 132, 159, 161, 253, 504 (см. также богослов)
- Теория
- нравственной красоты 265
- Терпимость 485, 491, 492, 550, 584 (см. также веротерпимость)

Труд 379, 380, 416, 418
— необходимость 434
— умеренный 381, 382, 417
— чрезмерный 382
 (см. счастье)
Тщеславие 28, 576

Удовольствия (удовольствие)
88, 100, 303

— как награда 436
— как чувственное (физическое) наслаждение 86, 87, 90, 101, 102, 380
— от предвидения 90, 101, 380, 381
— воображаемое и переживаемое 411, 412

Ум (умы) 60, 77, 120, 154, 236, 504, 506, 539, 540

— определение 118, 119, 178, 261

— неравенство 23, 24, 55, 67—69, 103, 112, 175, 176, 236, 238, 257, 538, 541, 543

— равенство 113, 121, 140, 150, 540, 553

— и воспитание 22, 70, 106

— и чувства 67, 70, 106, 112, 538, 552
 (см. душа, память)

Фанатизм 232, 359, 360, 448, 449

Фанатик 230, 361

Фатальность 346

Фетишизм 63, 142

Физическое

— и духовное 577

Философия (философы) 11, 55, 120, 137, 177—179, 254, 255, 285, 422, 493, 494, 503, 532, 533, 554, 587, 622

— и воспитание 16, 20

— и опыт 71, 139, 140

— и просвещение 637

 (см. религия)

Форма правления 203, 209, 321, 626

— определение 451

— деспотическая (деспотизм) 9, 185, 216, 240, 248, 290, 291, 320, 326, 455, 558, 583, 585, 594, 595

— монархическая 202, 203, 498

— республиканская 202, 203

хорошая 593

— Англии 627, 628

 (см. богатство, власть, воспитание, добродетель, законы, невежество, просвещение, роскошь, а также государство, самодержавие)

Церковь 490, 557

 (см. нравственность, а также папизм)

Человек (люди) 12, 14, 46, 93, 106, 113, 168, 236, 269, 297, 359, 470, 507, 535, 537, 577, 582, 584, 587

определение 103, 517

— природа 589

— характер 27, 28, 181, 255, 256, 258, 274, 281, 542

— добродетельный (гуманный, нравственный) 61, 87, 218, 229, 239, 247, 255, 260, 267, 295, 348, 373, 433, 452, 492

— занятый 380, 381

— здравомыслящий 579, 580

— праздный (богач) 381, 385—388, 413, 414

— просвещенный 425, 438, 446, 450

— цивилизованный 504

 (см. наука, чувствительность физическая)

Честолюбие 359, 360

Чувство (чувства) 20, 106, 108, 121

— нравственное 266

— социальные 590

 (см. возвышенное, идеи, а также ощущение)

Чувствительность физическая 86, 94, 96, 97, 166, 233, 295

— как начало идей и поступков человека 539

— как первоисточник нравственности 523, 554, 555

Этика 158

Янсенисты 366

СОДЕРЖАНИЕ

О ЧЕЛОВЕКЕ	5
Предисловие	7
Глава I. О различных точках зрения, с которых можно рассматривать человека; о том влиянии, какое может оказать на него воспитание	11
Глава II. О важном значении этого вопроса	12
Глава III. О ложной науке, или о благоприобретенном невежестве	14
Глава IV. О сухости этого предмета и о трудностях в его рассмотрении	17
Раздел I	
Воспитание различных людей по необходимости различно: оно, быть может, является причиной того умственного нера- венства, которое до сих пор приписывалось неодинаковому совершенству органов	19
Глава I. Нет двух людей, получающих одно и то же вос- питание	—
Глава II. О том моменте, когда начинается воспитание	—
Глава III. О воспитателях детства	20
Глава IV. О различных впечатлениях, производимых на нас предметами	23
Глава V. О школьном воспитании	24
Глава VI. О домашнем воспитании	—
Глава VII. О воспитании, получаемом в юношеские годы	26
Глава VIII. О случайностях, которым мы часто обязаны знаменитыми людьми	28
Глава IX. О главных причинах противоречий между пра- вилами воспитания	34
Глава X. Пример противоречивых идей или правил, полу- ченных в ранней молодости	38
Глава XI. О ложных религиях	43
Глава XII. Папизм есть человеческое учреждение	—
Глава XIII. Об универсальной религии	45

Глава XIV. Об условиях, без соблюдения которых религия становится пагубной для национального блага . . .	47
Глава XV. Какие из ложных религий были наименее вредны для блага общества?	51
Примечания	55

Раздел II

Все люди с обыкновенной, нормальной организацией обла- дают одинаковыми умственными способностями	67
Глава I. Все наши идеи получают нами посредством чувств; вследствие этого стали считать ум результатом большей или меньшей тонкости организации	—
Глава II. Разница между умом и душой	70
Первое различие	72
Второе различие	—
Третье различие	74
Глава III. О предметах, на которые действует ум	77
Глава IV. Как действует ум?	78
Глава V. О суждениях, вытекающих из сравнения абст- рактных, собирательных и других идей	80
Глава VI. Если нет интереса, то нет сравнения предметов между собою	83
Глава VII. Физическая чувствительность есть единствен- ная причина наших действий, наших мыслей, наших страстей и нашей общительности	86
Глава VIII. Об общительности	93
Глава IX. Оправдание принципов, принятых в книге «Об уме»	97
Глава X. О том, что чувственные удовольствия являются даже без ведома народов их наиболее могущественными движущими силами	100
Глава XI. О неодинаковом объеме памяти	103
Глава XII. О неодинаковом совершенстве органов чувств	106
Глава XIII. О различных способах ощущать	112
Глава XIV. Небольшое различие, замечаемое между на- шими ощущениями, не оказывает никакого влияния на умы	116
Глава XV. Об уме	118
Глава XVI. Причина различия взглядов в нравственности, политике и метафизике	122
Глава XVII. Добродетель вызывает у духовенства лишь мысль о его собственной выгоде	129
Глава XVIII. О различных представлениях, которые раз- ные народы составили себе о добродетели	133
Глава XIX. Имеется только одно средство устранить не- определенность в значении слов и только один народ, который может сделать это	136
Глава XX. Экскурсы людей и их открытия в царствах ин- теллекта были почти всегда одни и те же	138

Глава XXI. Обманы служителей культа в ложных религиях	144
Глава XXII. О единообразии средств, с помощью которых служители культа в ложных религиях сохраняют свой авторитет	147
Глава XXIII. Нет такой истины, которую нельзя было бы свести к какому-нибудь факту	150
Глава XXIV. Ума, необходимого для понимания уже известных истин, достаточно, чтобы дойти и до неизвестных	153
Примечания	154
Раздел III	
Об общих причинах неравенства умов	172
Глава I. Каковы эти причины?	—
Глава II. Всякая новая идея есть дар случая	173
Глава III. О границах власти случайности	175
Глава IV. О второй причине неравенства умов	176
Примечания	179
Раздел IV	
Люди с обычной, нормальной организацией все доступны одной и той же степени страсти; неравная сила страстей у них — всегда результат различия положений, в которые ставит их случай. Своеобразие характера каждого человека есть (как замечает Паскаль) продукт его первых привычек	181
Глава I. О малом влиянии организации и темперамента на страсти и характеры людей	—
Глава II. Об изменениях, происшедших в характере народов, и о вызвавших их причинах	182
Глава III. Об изменениях, происходящих в характере отдельных лиц	186
Глава IV. О себялюбии	188
Глава V. О любви к богатству и славе	189
Глава VI. О зависти	190
Глава VII. О справедливости	195
Глава VIII. О справедливости у естественного человека	196
Глава IX. О справедливости у цивилизованного человека и у цивилизованных народов	198
Глава X. Отдельные люди, подобно целым народам, ценят в справедливости лишь доставляемые им ею уважение и могущество	201
Глава XI. Любовь к власти является при всякой форме правления единственным двигателем людей	202
Глава XII. О добродетели	206
Глава XIII. О том, как смотрит на добродетель большинство европейцев	209
Глава XIV. Любовь к власти есть в человеке самое благоприятное предрасположение для добродетели	211

Глава XV. О гражданской нетерпимости	212
Глава XVI. Нетерпимость часто бывает роковой для государей	214
Глава XVII. Лесть приятна народам не меньше, чем государям	218
Глава XVIII. О религиозной нетерпимости	221
Глава XIX. Нетерпимость и преследование не суть божественные заповеди	223
Глава XX. Нетерпимость — основа величия духовенства	227
Глава XXI. О невозможности подавить в человеке чувство нетерпимости; о способах борьбы с его результатами	230
Глава XXII. Генеалогия страстей	233
Глава XXIII. О силе чувства себялюбия	234
Глава XXIV. О великих идеях как результатах постоянства внимания	237
Примечания	239

Раздел V

Об ошибках и противоречиях тех, принципы которых, отличные от моих, сводятся к утверждению о неодинаковом совершенстве чувств, о неодинаковом умственном уровне 257

Глава I. Противоречия автора «Эмиля» в вопросе о причинах умственного неравенства	—
Глава II. Об уме и таланте	261
Глава III. О доброте человека в младенчестве	263
Глава IV. Человек в естественном состоянии должен быть жестоким	269
Глава V. Руссо то считает, что воспитание полезно, то — что оно бесполезно	271
Глава VI. О хорошем применении отдельных идей Руссо, которое можно сделать при общественном воспитании	275
Глава VII. О мнимых преимуществах зрелого возраста по сравнению с юностью	279
Глава VIII. О хвалах, воздаваемых Руссо невежеству	281
Глава IX. Какие причины могли заставить Руссо стать защитником невежества?	285
Глава X. О причинах упадка государства	287
Глава XI. Развитие наук и искусств в деспотическом государстве задерживает его гибель	291
Примечания	293

Раздел VI

О бедствиях, порождаемых невежеством; о том, что невежество вовсе не уничтожает изнеженности; что оно вовсе не обеспечивает преданности подданных; что оно судит о самых важных вопросах, не зная их. О бедствиях, в которые эти суждения могут иногда ввергнуть нацию. О том,

что следует презирать и ненавидеть покровителей невежества	301
Глава I. О невежестве и изнеженности народов	—
Глава II. Невежество не обеспечивает верности подданных	305
Глава III. Вопрос о роскоши	307
Глава IV. Необходима ли и полезна роскошь?	—
Глава V. О роскоши и о воздержанности	308
Глава VI. О том, как образуются народы	312
Глава VII. О росте численности населения в государстве и его последствиях	315
Глава VIII. Противоположность интересов между гражданами, вызываемая увеличением их численности	318
Глава IX. О весьма неравномерном распределении национального богатства	321
Глава X. Причины чрезмерного имущественного неравенства граждан	323
Глава XI. О способах борьбы с весьма быстрым сосредоточением богатств в немногих руках	324
Глава XII. О стране, где нет денежного обращения	325
Глава XIII. Каковы источники добродетели в странах, лишенных денежного обращения?	327
Глава XIV. О странах с денежным обращением	329
Глава XV. О том, как богатства сами собою покидают государство	330
Глава XVI. О различных источниках активности народов	332
Глава XVII. О деньгах как источнике деятельности	333
Глава XVIII. О том, что следует изменить начало, губительное для больших государств, воздействуя не на роскошь, но на производящие ее причины	334
Примечания	335
Раздел VII	
Добродетели и счастье народа — следствие не святости его религии, но мудрости его законов	345
Глава I. О ничтожном влиянии религии на добродетели и счастье народов	—
Глава II. О духе религии, разрушительном для духа законодательства	348
Глава III. Какого рода религия была бы полезной?	351
Глава IV. О папистской религии	352
Глава V. Государство иезуитов	356
Глава VI. О разных причинах великих покушений	359
Глава VII. О покушениях, совершаемых под влиянием любви к славе или к отечеству	—
Глава VIII. О покушениях, совершаемых под влиянием честолюбия	360
Глава IX. О покушениях, совершаемых под влиянием фанатизма	—

Глава X. О моменте, когда интересы иезуитов требуют от них великого покушения	361
Глава XI. Только янсенизм мог уничтожить иезуитов	366
Глава XII. Исследование этой истины	367
Примечания	370

Раздел VIII

О том, что составляет счастье индивидов; об основе, на которой следует воздвигнуть здание национального счастья, состоящего необходимым образом из счастья всех частных лиц	378
Глава I. Могут ли люди, живя в общественном состоянии, быть все одинаково счастливыми?	—
Глава II. Об употреблении времени	379
Глава III. По каким причинам почти все народы несчастны?	382
Глава IV. О том, что может сделать граждан более зажиточными	383
Глава V. О чрезмерном желании богатства	385
Глава VI. О скуке	387
Глава VII. О средствах, придуманных праздными людьми, чтобы избавиться от скуки	—
Глава VIII. О влиянии скуки на нравы народов	388
Глава IX. О том, что удовольствие приобретается с большим или меньшим трудом в зависимости от формы правления данной страны и от занимаемого поста	390
Глава X. Какая любовница годится для праздного человека?	391
Глава XI. О различии романов и любви у праздного и занятого человека	392
Глава XII. О религии и религиозных обрядах как средствах от скуки	393
Глава XIII. Об изящных искусствах и о том, что в этой области называют прекрасным	395
Глава XIV. О возвышенном	397
Глава XV. О разнообразии и простоте, требуемых во всех произведениях, и особенно в произведениях изящных искусств	402
Глава XVI. О законе связи	404
Глава XVII. О ясности стиля	405
Глава XVIII. Об усовершенствованном подражании природе	408
Глава XIX. О силе абстракции	410
Глава XX. О впечатлении, производимом изящными искусствами на праздных богачей	413
Глава XXI. Об активном и пассивном состоянии человека	414
Глава XXII. Потребность в богатстве сильнее всего испытывают богачи	416

Глава XXIII. О силе лени	418
Глава XXIV. Умеренное состояние обеспечивает счастье гражданина	419
Глава XXV. Об ассоциации в нашей памяти представлений о счастье и богатстве	—
Глава XXVI. Об отдаленной пользе развиваемых мною принципов	421
Примечания	422

Раздел IX

О возможности указать правильный план законодательства; о препятствиях, которые невежество ставит его опубликованию; о том, как невежество осмеивает всякую новую идею и всякое углубленное исследование морали и политики; о том, как оно приписывает человеческому духу непостоянство, несовместимое с длительным существованием хороших законов; о воображаемой опасности, которой (если верить невежеству) должны подвергнуться государства с открытием новой идеи и в особенности истинных принципов законодательства; о слишком губительном равнодушии людей к исследованию нравственных или политических истин; о том, что одни и те же взгляды называют истинными или ложными в зависимости от временного интереса	426
Глава I. О трудности начертать правильный план законодательства	—
Глава II. О вопросах, возникающих первыми, когда желают создать хорошие законы	428
Глава III. О чрезмерности удовольствий	435
Глава IV. Об истинных причинах изменений законодательств народов	437
Глава V. Раскрытие истины пагубно лишь для того, кто высказывает ее	443
Глава VI. Познание истины всегда полезно	445
Глава VII. О том, что раскрытие истины никогда не вызывает беспорядков в государстве	447
Глава VIII. О медленности распространения истины	449
Глава IX. О правительствах	451
Глава X. Ни при какой форме правления благо государя не зависит от бедствий народов	453
Глава XI. О том, что следует говорить истину людям	456
Глава XII. О свободе печати	457
Глава XIII. О бедствиях, порождаемых равнодушием к истине	459
Глава XIV. О том, что счастье будущего поколения никогда не связано с несчастьем настоящего поколения	462
Глава XV. О том, что одни и те же взгляды кажутся истинными или ложными в зависимости от того, заинтересованы ли мы считать их теми или иными	465
Глава XVI. Интерес заставляет уважать в себе даже жестокость, которую ненавидят у других людей	466

Глава XVII. Интерес заставляет уважать преступление	467
Глава XVIII. Интерес делает святых	468
Глава XIX. Интерес заставляет знатных людей верить, что они иной породы, чем другие люди	472
Глава XX. Интерес заставляет относиться с уважением к порокам покровителя	474
Глава XXI. Интересы власть имущих оказывают большее влияние на общепринятые взгляды, чем истина	475
Глава XXII. Тайный интерес всегда скрывал от парламентам согласие между нравственностью иезуитов и нравственностью папизма	476
Глава XXIII. Интерес заставляет ежедневно отрицать правило: не делай другому того, чего ты не хотел бы, чтобы делали тебе	—
Глава XXIV. Интерес мешает и добродетельному священнику понять бедствия, порожденные папизмом	477
Глава XXV. Всякая религия, отличающаяся нетерпимостью, по существу толкает к царевбийству	479
Глава XXVI. О средствах, которые употребляет церковь для порабощения народов	481
Глава XXVII. О тех периодах, когда католическая церковь молчит о своих притязаниях	483
Глава XXVIII. О периодах, когда оживают притязания церкви	485
Глава XXIX. Факты, подтверждающие притязания церкви	486
Глава XXX. Факты, подтверждающие притязания церкви	487
Глава XXXI. О средствах обуздать честолюбие духовенства	491
Примечания	496

Раздел X

О могуществе воспитания; о способах усовершенствовать его; о препятствиях и путях прогресса этой науки. О легкости, с какой можно будет по устранении этих препятствий наметить план идеального воспитания	504
Глава I. Воспитание всемогуще	—
Глава II. О воспитании государей	507
Глава III. Преимущества общественного воспитания перед домашним	509
Глава IV. Общие идеи относительно физического воспитания	511
Глава V. В какое время и в каком положении можно давать человеку духовное воспитание	513
Глава VI. О воспитании, относящемся к различным профессиям	514
Глава VII. О нравственном воспитании человека	517
Глава VIII. Первым препятствием к усовершенствованию нравственного воспитания человека являются интересы попов	524

Глава IX. Вторым препятствием к усовершенствованию нравственного воспитания человека является несовершенство большинства правительств	527
Глава X. Всякая значительная реформа в духовном воспитании предполагает реформу в законах и форме правления	530
Глава XI. О воспитании, после того как устранили препятствия, мешающие его прогрессу	533
Краткое повторение содержания	537
Раздел I	—
Раздел II	538
Раздел III	541
Раздел IV	542
Раздел V	543
Раздел VI	544
Раздел VII	545
Раздел VIII	546
Раздел IX	548
Раздел X	550
Глава I. О сходстве моих взглядов со взглядами Локка	552
Глава II. О значении и широте принципа физической чувствительности	554
Глава III. Об обвинениях в материализме и в безбожии и об абсурдности этих обвинений	556
Глава IV. О невозможности для всякого просвещенного моралиста избежать критики со стороны духовенства	560
Примечания	562
МЫСЛИ И РАЗМЫШЛЕНИЯ	569
ПИСЬМА	603
Примечания	651
Именной указатель	667
Предметный указатель	673

Гельвеций

Г32 Сочинения в 2-х томах. Т. 2. Сост. и общ.
ред. Х. Н. Момджяна. М., «Мысль», 1974.

687 с. (АН СССР. Ин-т философии. Философ. на-
следие).

К. А. Гельвеций — выдающийся французский материа-
лист XVIII в. В данном томе содержатся заново сверенный
с оригиналом перевод одного из основных произведений фи-
лософа — «О человеке», а также впервые публикуемые на
русском языке «Мысли и размышления» и письма.

Издание снабжено примечаниями, предметным и имен-
ным указателями.

Г $\frac{10501-059}{004(01)-74}$ П. н.

1Ф

Гельвеций, Клод Адриан
СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ
Том 2

Редактор *М. Н. Делограмматик*
Младший редактор *Е. К. Тюленева*
Оформление художника *В. В. Максина*
Художественный редактор *С. М. Полесицкая*
Технический редактор *В. Н. Корнилова*
Корректор *Ч. А. Скруль*

Сдано в набор 5 сентября 1973 г. Подписано в печать
24 января 1974 г. Формат 84×108 $\frac{1}{32}$. Бумага типо-
графская № 1. Усл. печатных листов 36,12. Учетно-
издательских листов 40,83. Тираж 72 000 экз. Заказ
№ 1009. Цена 2 р. 81 к.

Издательство «Мысль».
117071. Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская
типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горь-
кого Союзполиграфпрома при Государственном коми-
тете Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград,
П-136, Гатчинская ул., 26.

